

И. Павлов



БРОДСКИЙ

Иосиф Бродский.

Стихотворения и поэмы

(1940-1996)

Неопубликованные ранние стихи [1]

(1957 – 1962)

Воспоминания

Белое небо

крутится надо мною.

Земля серая

тарахтит у меня под ногами.

Слева деревья. Справа

озеро очередное

с каменными берегами,

с деревянными берегами.

Я вытаскиваю, выдергиваю

ноги из болота,

и солнышко освещает меня

маленькими лучами. [2]

Полевой сезон

пятьдесят восьмого года.

Я к Белому морю

медленно пробираюсь.

Реки текут на север.

Ребята бредут – по пояс – по рекам.

Белая ночь над нами

легонько брезжит.

Я ищу. Я делаю из себя

человека.

И вот мы находим,

выходим на побережье.

Голубоватый ветер

до нас уже долетает.

Земля переходит в воду

с коротким плеском.

Я поднимаю руки

и голову поднимаю,

и море ко мне приходит

цветом своим белесым.

Кого мы помним,

кого мы сейчас забываем,

чего мы стоим,

чего мы еще не стоим;

вот мы стоим у моря,

и облака проплывают,

и наши следы
затягиваются водою.

<?>

Гладиаторы

Простимся.

До встреч в могиле.

Близится наше время.

Ну, что ж?

Мы не победили.

Мы умрем на арене.

Тем лучше.

Не облысеем

от женщин, от перепоя.

...А небо над Колизеем
такое же голубое,
как над родиной нашей,
которую зря покинул
ради истин,
а также
ради богатства римлян.

Впрочем,

нам не обидно.

Разве это обида?

Просто такая,

видно,

выпала нам

планида...

Близится наше время.

Люди уже расселись.

Мы умрем на арене.

Людям хочется зрелищ.

<?>

Зачем опять меняемся местами,

зачем опять, все менее нужна,

плывет ко мне московскими мостами

посольских переулков тишина?

И сызнава полет автомобильный

в ночи к полупустым особнякам,

как сызмала, о город нелюбимый,

к изогнутым и каменным цветам.

И веточки невидимо трясутся,
да кружится неведомо печаль:
унылое и легкое распутство,
отчужденности слабая печать.

Затем. Затем торопишься пожить.
Затем, что это юмор неуместный,
затем, что наши головы кружит
двадцатый век, безумное спортсменство.

Но, переменным воздухом дыша,
бесславной маяты не превышая,
служи свое, опальная душа,
короткие дела не совершая.

Меняйся, жизнь. Меняйся хоть извне
на дансинги, на Оперу, на воды;
заутреней – на колокол по мне;
безумием – на платную свободу.

Ищи, ищи неславного венка,
затем, что мы становимся любимыми,
все менее заносчивы пока
и потому все более любимы.

<?>

И вечный бой.

Покой нам только снится.

И пусть ничто

не потревожит сны.

Седая ночь,

и дремлющие птицы

качаются от синей тишины.

И вечный бой.

Атаки на рассвете.

И пули,

разучившиеся петь,

кричали нам,

что есть еще Бессмертье...

... А мы хотели просто уцелеть.

Простите нас.

Мы до конца кипели,

и мир воспринимали,

как бруствер.

Сердца рвались,

метались и храпели,

как лошади,

попав под артобстрел.

...Скажите... там...

чтоб больше не будили.

Пускай ничто

не потревожит сны.

...Что из того,

что мы не победили,

что из того,

что не вернулись мы?..

<?>

Критерии [3]

«...с маленькой смертью встреча» (Гарсиа Лорка)

Маленькая смерть собаки.

Маленькая смерть птицы.

Нормальные размеры

человеческой смерти.

<?>

К садовой ограде [4]

Снег в сумерках кружит, кружит.

Под лампочкой дворовой тлеет.

В развилке дерева лежит.
На ветке сломанной белеет.
Не то, чтобы бело-светло.
Но кажется (почти волнуя
ограду) у ствола нутро
появится, кору минуя.

По срубленной давно сосне
она ту правду изучает,
что неспособность к белизне
ее от сада отличает.
Что белый свет – внутри него.
Но, чуть не трескаясь от стужи,
почти не чувствуя того,
что снег покрыл ее снаружи.
Но все-таки безжизнен вид.
Мертвеет озеро пустое.
Их только кашель оживит
своей подспудной краснотою.

1964

*** [5]

Кто к минувшему глух
и к грядущему прост,
устремляет свой слух
в преждевременный рост.
Как земля, как вода

под небесною мглой,
в каждом чувстве всегда
сила жизни с иглой.

И невольным объят
страхом, вздрогнет, как мышь,
тот, в кого ты свой взгляд устремишь,
из угла устремишь.

Засвети же свечу
на краю темноты.
Я увидеть хочу
то, что чувствуешь ты.
В этом доме ночном,
где скрывает окно,
словно скатерть с пятном,
темноты полотно.

Ставь на скатерть стакан,
чтоб он вдруг не упал,
чтоб сквозь стол-истукан,
словно соль проступал,
незаметный в окне,
ослепительный путь -
будто льется вино
и вздымается грудь.

Ветер, ветер пришел,
шелестит у окна,
укрывается стол
за квадрат полотна,
и трепещут цветы
у него позади,
на краю темноты,
словно сердце в груди.

И чернильная тьма
наступает опять,
как движенье ума
отмечается вспять,
и сиянье звезды
на латуни осей
глушит звуки езды
на дистанции всей.

<?>

Мне говорят, что нужно уезжать.
Да-да. Благодарю. Я собираюсь.
Да-да. Я понимаю. Провожать
не следует. Да, я не потеряюсь.

Ах, что вы говорите – дальний путь.
Какой-нибудь ближайший полустанок.
Ах, нет, не беспокойтесь. Как-нибудь.
Я вовсе налегке. Без чемоданов.

Да-да. Пора идти. Благодарю.
Да-да. Пора. И каждый понимает.
Безрадостную зимнюю зарю
над родиной деревья поднимают.

Все кончено. Не стану возражать.
Ладони бы пожать – и до свиданья.
Я выздоровел. Нужно уезжать.
Да-да. Благодарю за расставанье.

Вези меня по родине, такси.
Как будто бы я адрес забываю.
В умолкшие поля меня неси.
Я, знаешь ли, с отчизны выбываю.

Как будто бы я адрес позабыл:
к окошку запотевшему приникну
и над рекой, которую любил,
я расплачусь и лодочника крикну.

(Все кончено. Теперь я не спешу.
Езжай назад спокойно, ради Бога.
Я в небо погляжу и подышу
холодным ветром берега другого.)

Ну, вот и долгожданный переезд.
Кати назад, не чувствуя печали.
Когда войдешь на родине в подъезд,
я к берегу пологому причалю.

<?>

*** [6]

Мы незримы будем, чтоб снова
в ночь играть, а потом искать
в голубом явлении слова
ненадежную благодать.

До того ли звук осторожен?
Для того ли имен драже?
Существуем по милости Божьей
вопреки словесам ворожей.

И светлей неоржавленной стали
мимолетный овал волны.
Мы вольны различать детали,

мы речной тишины полны.

Пусть не стали старше и строже
и живем на ребре реки,
мы покорны милости Божьей
крутизне дождей вопреки.

<?>

Наступает весна

Дмитрию Бобышеву

Пресловутая иголка в не менее достославном стоге,
в городском полумраке, полусвете,
в городском гаме, плеске и стоне
тоненькая песенка смерти.

Верхний свет улиц, верхний свет улиц
все рисует нам этот город и эту воду,
и короткий свист у фасадов узких,
вылетающий вверх, вылетающий на свободу.

Девочка-память бредет по городу, бренчат в ладони монеты,
мертвые листья кружатся выпавшими рублями,
над рекламными щитами узкие самолеты взлетают в небо,
как городские птицы над железными кораблями.

Громадный дождь, дождь широких улиц льется над мартом,
как в те дни возвращенья, о которых мы не позабыли.

Теперь ты идешь один, идешь один по асфальту,
и навстречу тебе летят блестящие автомобили.

Вот и жизнь проходит, свет над заливом меркнет,
шелестя платьем, тархтя каблуками, многоименна,
и ты остаешься с этим народом, с этим городом и с этим веком,
да, один на один, как ты ни есть ребенок.

Девочка-память бредет по городу, наступает вечер,
льется дождь, и платочек ее хоть выжми,
девочка-память стоит у витрин и глядит на белье столетья
и безумно свистит этот вечный мотив посредине жизни.

<?>

Памяти Феи Добровольского [7]

Мы продолжаем жить.

Мы читаем или пишем стихи.

Мы разглядываем красивых женщин,

улыбающихся миру с обложки

иллюстрированных журналов.

Мы обдумываем своих друзей,

возвращаясь через весь город

в полузамерзшем и дрожащем трамвае:

мы продолжаем жить.

Иногда мы видим деревья,

которые

черными обнаженными руками

поддерживают бесконечный груз неба,

или подламываются под грузом неба,

напоминающего по ночам землю.

Мы видим деревья,

лежащие на земле.

Мы продолжаем жить.

Мы, с которыми ты долго разговаривал

о современной живописи,

или с которыми пил на углу

Невского проспекта

пиво, -

редко вспоминаем тебя.

И когда вспоминаем,

то начинаем жалеть себя,

свои сутулые спины,

свое отвратительно работающее сердце,

начинающее неудобно ерзать

в грудной клетке

уже после третьего этажа.

И приходит в голову,

что в один прекрасный день

с ним – с этим сердцем -

приключится какая-нибудь нелепость,

и тогда один из нас
растянется на восемь тысяч километров
к западу от тебя
на грязном асфальтированном тротуаре,
выронив свои книжки,
и последним, что он увидит,
будут случайные встревоженные лица,
случайная каменная стена дома
и повисший на проводах клочок неба, -
неба,
опирающегося на те самые деревья,
которые мы иногда замечаем....

1960

Памятник

Поставим памятник

в конце длинной городской улицы
или в центре широкой городской площади,
памятник,
который впишется в любой ансамбль,
потому что он будет
немного конструктивен и очень реалистичен.

Поставим памятник,
который никому не мешает.

У подножия пьедестала

мы разобьем клумбу,

а если позволят отцы города, -
небольшой сквер,
и наши дети
будут жмуриться на толстое
оранжевое солнце,
принимая фигуру на пьедестале
за признанного мыслителя,
композитора
или генерала.

У подножия пьедестала – ручаюсь -
каждое утро будут появляться
цветы.

Поставим памятник,
который никому не мешает.

Даже шоферы
будут любоваться его величественным силуэтом.

В сквере
будут устраиваться свидания.

Поставим памятник,
мимо которого мы будем спешить на работу,
около которого
будут фотографироваться иностранцы.
Ночью мы подсветим его снизу прожекторами.

Поставим памятник лжи.

<?>

Памятник Пушкину

...И Пушкин падает в голубоватый колючий снег Э. Багрицкий.

...И тишина.

И более ни слова.

И эхо.

Да еще усталость.

...Свои стихи

доканчивая кровью,

они на землю глухо опускались.

Потом глядели медленно

и нежно.

Им было дико, холодно

и странно.

Над ними наклонялись безнадежно

седые доктора и секунданты.

Над ними звезды, вздрагивая,

пели,

над ними останавливались

ветры...

Пустой бульвар.

И пение метели. [8]

Пустой бульвар.

И памятник поэту.

Пустой бульвар.

И пение метели.

И голова

опущена устало.

...В такую ночь

ворочаться в постели

приятней,

чем стоять

на пьедесталах.

<?>

Песенка

"Пролитую слезу

из будущего привезу,

вставлю ее в колечко.

Будешь глядеть одна,

надевай его на

безымянный, конечно".

"Ах, у других мужья,

перстеньки из рыжья,

серьги из перламутра.

А у меня – слеза,

жидкая бирюза,

просыхает под утро".

"Носи перстенок, пока
виден издалека;
потом другой подберется.
А надоест хранить,
будет что уронить
ночью на дно колодца".

<?>

Песенка о Феде Добровольском

Желтый ветер манчжурский,
говорящий высоко
о евреях и русских,
закопанных в сопку.

О, домов двухэтажных
тускловатые крыши!
О, земля-то все та же.
Только небо – поближе.

Только минимум света.
Только утлые птицы,
словно облачко смерти
над землей экспедиций.

И глядит на Восток,

закрываясь от ветра,
черно-белый цветок
двадцатого века.

<?>

Посвящение Глебу Горбовскому

Уходить из любви в яркий солнечный день, безвозвратно;
Слышать шорох травы вдоль газонов, ведущих обратно,
В темном облаке дня, в темном вечере зло, полусонно
Лай вечерних собак – сквозь квадратные гнезда газона.

Это трудное время. Мы должны пережить, перегнуть эти годы,
С каждым новым страданием забывая былые невзгоды,
И встречая, как новость, эти раны и боль поминутно,
Беспокойно вступая в туманное новое утро.

Как стремительна осень в этот год, в этот год путешествий.
Вдоль белесого неба, черно-красных умолкших процессий,
Мимо голых деревьев ежечасно проносятся листья,
Ударяясь в стекло, ударяясь о камень – мечты урбаниста.

Я хочу переждать, перегнуть, пережить это время,
Новый взгляд за окно, опускаю ладонь на колени,
И белесое небо, и листья, и полоска заката сквозная,
Словно дочь и отец, кто-то раньше уходит, я знаю.

Пролетают, летят, ударяются о' землю, падают боком,
Пролетают, проносятся листья вдоль запертых окон,
Все, что видно сейчас при угасшем, померкнувшем свете,
Эта жизнь, словно дочь и отец, словно дочь и отец, но не хочется
смерти.

Оживи на земле, нет, не можешь, лежи, так и надо,
О, живи на земле, как угодно живи, даже падай,
Но придет еще время – расстанешься с горем и болью,
И наступят года без меня с ежедневной любовью.

И, кончая в мажоре, в пожаре, в мажоре полета,
соскользнув по стеклу, словно платье с плеча, как значок поворота,
Оставаясь, как прежде, надолго ль, как прежде, на месте,
Не осенней тоской – ожиданьем зимы, несмолкающей песней.

<?>

Проходя мимо театра Акимова,
голодным взглядом витрины окидывая,
выделяя слюну пресную,
я замышляю написать пьесу
во славу нашей социалистической добродетели,
побеждающей на фоне современной мебели.

Левую пьесу рукою правой
я накропаю довольно скоро,
а товарищ Акимов ее поставит,
соответственно ее сначала оформив.
И я, Боже мой, получу деньги.
И все тогда пойдет по-другому.
И бороду сбрив, я войду по ступеням
в театр... в третий зал гастронома.

<?>

Рыбы зимой

Рыбы зимой живут.
Рыбы жуют кислород.
Рыбы зимой плывут,
задевая глазами
лед.
Туда.
Где глубже.
Где море.
Рыбы.
Рыбы.
Рыбы.
Рыбы плывут зимой.
Рыбы хотят выплыть.
Рыбы плывут без света.
Под солнцем
зимним и зыбким.
Рыбы плывут от смерти

вечным путем
рыбьим.
Рыбы не льют слезы:
упираясь головой
в глыбы,
в холодной воде
мерзнут
холодные глаза
рыбы.
Рыбы
всегда молчаливы,
ибо они -
безмолвны.
Стихи о рыбах,
как рыбы,
встают поперек
горла.

<?>

Слава

Над утлой мглой столь кратких поколений,
пришедших в мир, как посетивших мир,
нет ничего достойней сожалений,
чем свет несвоевременных мерил.

По городам, поделенным на жадность,
он катится, как розовый транзит,

о, очень приблизительная жалость
в его глазах намеренно скользит.

Но снежная Россия поднимает
свой утлый дым над крышами имен,
как будто он еще не понимает,
но все же вскоре осознает он

ее полуовальные портреты,
ее глаза, а также голоса,
к эстетике минувшего столетья
анапесты мои соотнеся.

В иных домах, над запахами лестниц,
над честностью, а также над жульем,
мы доживем до аналогий лестных,
до сексуальных истин доживем.

В иных домах договорим о славе,
и в жалости потеющую длань,
как в этих скудных комнатах, оставим
агностицизма северную дань.

Прости, о, Господи, мою витиеватость,
неведенье всеобщей правоты

среди кругов, овалами чреватых,
и столь рациональной простоты.

Прости меня – поэта, человека -
о, кроткий Бог убожества всего,
как грешника или как сына века,
всего верней – как пасынка его.

<?>

Сонет

Переживи всех.
Переживи вновь,
словно они – снег,
пляшущий снег снов.

Переживи углы.
Переживи углом.
Перевяжи узлы
между добром и злом.

Но переживи миг.
И переживи век.
Переживи крик.
Переживи смех.

Переживи стих.

Переживи всех.

<?>

Сонет к Глебу Горбовскому

Мы не пьяны. Мы, кажется, трезвы.

И, вероятно, вправду мы поэты,

Когда, кропая странные сонеты,

Мы говорим со временем на «вы».

И вот плоды – ракеты, киноленты.

И вот плоды: велеречивый стих...

Рисуй, рисуй, безумное столетье,

Твоих солдат, любовников твоих,

Смакуй их своевременную славу!

Зачем и правда, все-таки, – неправда,

Зачем она испытывает нас...

И низкий гений твой переломает ноги,

Чтоб осознать в шестидесятый раз

Итоги странствований, странные итоги.

<?>

Сонет к зеркалу

Не осуждая позднего раскаянья,
не искажая истины условной,
ты отражаешь Авеля и Каина,
как будто отражаешь маски клоуна.

Как будто все мы – только гости поздние,
как будто наспех поправляем галстуки,
как будто одинаково – погостами -
покончим мы, разнообразно алчущие.

Но, сознавая собственную зыбкость,
Ты будешь вновь разглядывать улыбки
и различать за мишурою ценность,
как за щитом самообмана – нежность...

О, ощути за суетностью цельность
и на обычном циферблате – вечность!

<?>

Стихи о слепых музыкантах

Слепые блуждают
ночью.
Ночью намного проще
перейти через площадь.

Слепые живут
наощупь,
трогая мир руками,
не зная света и тени
и ощущая камни:
из камня делают
стены.
За ними живут мужчины.
Женщины.
Дети.
Деньги.
Поэтому
несокрушимые
лучше обойти
стены.
А музыка – в них
упрется.
Музыку поглотят камни.
И музыка
умрет в них,
захватанная руками.
Плохо умирать ночью.
Плохо умирать
наощупь.

Так, значит, слепым – проще...

Слепой идет

через площадь.

<?>

Стук

Свивает осень в листьях эти гнезда.

Здесь в листьях

осень, стук тепла,

плеск веток, дрожь сквозь день,

сквозь воздух,

завернутые листьями тела

птиц горячи.

Здесь дождь. Рассвет не портит

чужую смерть, ее слова, тот длинный лик,

песок великих рек, ты говоришь, да осень. Ночь

приходит,

повертывая их наискосок

к деревьям осени, их гнездам, мокрым лонам,

траве. Здесь дождь, здесь ночь. Рассвет

приходит с грунтовых аэродромов

минувших лет в Якутии. Тех лет

повернут лик,

да дважды дрожь до смерти

твоих друзей, твоих друзей, из гнезд

негромко выпавших, их дрожь. Вот на рассвете

здесь также дождь, ты тронешь ствол,

здесь гнет.

Ох, гнезда, гнезда, гнезда. Стук умерших

о теплую траву, тебя здесь больше нет.

Их нет.

В свернувшемся листе сухом, на мху истлевшем

теперь в тайге один вот след.

О, гнезда, гнезда черные умерших!

Гнезда без птиц, гнезда в последний раз

так страшен цвет, вас с каждым днем все меньше.

Вот впереди, смотри, все меньше нас.

Осенний свет свивает эти гнезда.

В последний раз шагнешь на задрожавший мост.

Смотри, кругом стволы,

ступай, пока не поздно

услышишь крик из гнезд, услышишь крик из гнезд.

<?>

Теперь я уезжаю из Москвы.

Ну, Бог с тобой, нескромное мученье.

Так вот они как выглядят, увы,

любимые столетия мишени.

Ну что ж, стреляй по перемене мест,

и салютуй реальностям небурным,
хотя бы это просто переезд
от сумрака Москвы до Петербурга.

Стреляй по жизни, равная судьба,
о, даже приблизительно не целься.
Вся жизнь моя – неловкая стрельба
по образам политики и секса.

Все кажется, что снова возвратим
бесплодность этих выстрелов бесплатных,
как некий приз тебе, Москва, о, тир -
все мельницы, танцоры, дипломаты.

Теперь я уезжаю из Москвы,
с пустым кафе расплачиваюсь щедро.
Так вот оно, подумаете вы,
бесславию в одежде разобщенья.

А впрочем, не подумаете, нет.
Зачем кружил вам облик мой случайный?
Но одиноких странствований свет
тем легче, чем их логика печальней.

Живи, живи, и делайся другим,

и, слабые дома сооружая,
живи, по временам переезжая,
и скупю дорожи недорогим.

<?>

Художник

Он верил в свой череп.

Верил.

Ему кричали:

«Нелепо!»

Но падали стены.

Череп,

Оказывается, был крепок.

Он думал:

За стенами чисто.

Он думал,

Что дальше – просто.

...Он спасся от самоубийства

Скверными папиросами.

И начал бродить по селам,

По шляхам,

Желтым и длинным;

Он писал для костелов

Иуду и Магдалину.

И это было искусство.

А после, в дорожной пыли

Его

Чумаки сивоусые

Как надо похоронили.

Молитвы над ним не читались,

Так,

Забросали глиной...

Но на земле остались

Иуды и Магдалины!

<?>

* * *

Прощай,

позабудь

и не обессудь.

А письма сожги,

как мост.

Да будет мужественным

твой путь,

да будет он прям

и прост.

Да будет во мгле

для тебя гореть

звездная мишура,

да будет надежда

ладони греть
у твоего костра.
Да будут метели,
снега, дожди
и бешеный рев огня,
да будет удач у тебя впереди
больше, чем у меня.
Да будет могуч и прекрасен
бой,
гремящий в твоей груди.

Я счастлив за тех,
которым с тобой,
может быть,
по пути.

1957

Стихи о принятии мира

Я. Гордину

Все это было, было.
Все это нас палило.
Все это лило, било,
вздергивало и мотало,
и отнимало силы,
и волокло в могилу,
и втаскивало на пьедесталы,

а потом низвергало,
а потом – забывало,
а потом вызывало
на поиски разных истин,
чтоб начисто заблудиться
в жидких кустах амбиций,
в дикой грязи простраций,
ассоциаций, концепций
и – просто среди эмоций.

Но мы научились драться
и научились греться
у спрятавшегося солнца
и до земли добираться
без лоцманов, без лоций,
но – главное – не повторяться.

Нам нравится постоянство.
Нам нравятся складки жира
на шее у нашей мамы,
а также – наша квартира,
которая маловата
для обитателей храма.

Нам нравится распускаться.
Нам нравится колоситься.
Нам нравится шорох ситца
и грохот протуберанца,
и, в общем, планета наша,

похожая на новобранца,
потеющего на марше.

3 декабря 1958

Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.

Для себя пели.
Для себя копили.
Для других умирали.
Но сначала платили налоги,
уважали пристава,
и в этом мире, безвыходно материальном,
толковали Талмуд,
оставаясь идеалистами.

Может, видели больше.
А, возможно, верили слепо.
Но учили детей, чтобы были терпимы
и стали упорны.
И не сеяли хлеба.
Никогда не сеяли хлеба.
Просто сами ложились

в холодную землю, как зерна.
И навек засыпали.
А потом – их землей засыпали,
зажигали свечи,
и в день Поминовения
голодные старики высокими голосами,
задыхаясь от голода, кричали об успокоении.
И они обретали его.
В виде распада материи.

Ничего не помня.
Ничего не забывая.
За кривым забором из гнилой фанеры,
в четырех километрах от кольца трамвая.

1958

Петухи

Звезды еще не гасли.
Звезды были на месте,
когда они просыпались
в курятнике
на насесте
и орали гортанно.

...Тишина умирала,
как безмолвие храма

с первым звуком хорала.

Тишина умирала.

Оратаи вставали

и скотину в орала

запрягали, зевая

недовольно и сонно.

Это было начало.

Приближение солнца

это все означало,

и оно поднималось

над полями,

над горами.

...Петухи отправлялись

за жемчужными зернами.

Им не нравилось просо.

Им хотелось получше.

Петухи зарывались

в навозные кучи.

Но зерно находили.

Но зерно извлекали

и об этом с насеста

на рассвете кричали:

– Мы нашли его сами.

И очистили сами.

Об удаче сообщаем

собственными голосами.

В этом сиплом хрипении
за годами,
за веками
я вижу материю времени,
открытую петухами.

1958

Пилигримы

"Мои мечты и чувства в сотый раз
Идут к тебе дорогой пилигримов" В. Шекспир

Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды горят над ними,

и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным,
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.

И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.

...И, значит, остались только
иллюзия и дорога.

И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.

Удобрить ее солдатам.

Одобрить ее поэтам.

1958

Стихи под эпитафией

«То, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку...»

Каждый пред Богом

наг.

Жалок,

наг

и убог.

В каждой музыке

Бах,
В каждом из нас
Бог.
Ибо вечность -
богам.
Бренность -
удел быков...
Богово станет
нам
Сумерками богов.
И надо небом
рискнуть,
И, может быть,
невпопад
Еще не раз нас
распнут
И скажут потом:
распад.
И мы
завоем
от ран.
Потом
взалкаем даров...
У каждого свой
храм.
И каждому свой
гроб.
Юродствуй,
воруй,
молись!

Будь одинок,
как перст!..
...Словно быкам -
хлыст,
вечен богам
крест.

1958

Камни на земле

Эти стихи о том, как лежат на земле камни,
простые камни, половина которых не видит солнца,
простые камни серого цвета,
простые камни, – камни без эпитафий.

Камни, принимающие нашу поступь, [9]
белые под солнцем, а ночью камни
подобны крупным глазам рыбы,
камни, перемалывающие нашу поступь,-
вечные жернова вечного хлеба.

Камни, принимающие нашу поступь,
словно черная вода – серые камни,
камни, украшающие шею самоубийцы,
драгоценные камни, отшлифованные благоразумием.

Камни, на которых напишут: «свобода».

Камни, которыми однажды вымостят дорогу.

Камни, из которых построят тюрьмы,
или камни, которые останутся неподвижны,
словно камни, не вызывающие ассоциаций.

Так

лежат на земле камни,
простые камни, напоминающие затылки,
простые камни, – камни без эпитафий.

1959

Лирика

О.Б.

Через два года

высохнут акации,
упадут акции,
поднимутся налоги.

Через два года

увеличится радиация.

Через два года.

Через два года.

Через два года

истреплются костюмы,

перемелем истины,
переменим моды.
Через два года
износятся юноши.
Через два года.
Через два года.

Через два года
поломаю шею,
поломаю руки,
разобью морду.
Через два года
мы с тобой поженимся.
Через два года.
Через два года.

1959

Одиночество

Когда теряет равновесие
твое сознание усталое,
когда ступеньки этой лестницы
уходят из под ног,
как палуба,
когда плюет на человечество
твое ночное одиночество, -

ты можешь

размышлять о вечности
и сомневаться в непорочности
идей, гипотез, восприятия
произведения искусства,
и – кстати – самого зачатия
Мадонной сына Иисуса.

Но лучше поклоняться данности
с глубокими ее могилами,
которые потом,
за давностью,
покажутся такими милыми.

Да.

Лучше поклоняться данности
с короткими ее дорогами,
которые потом
до странности
покажутся тебе
широкими,
покажутся большими,
пыльными,
усеянными компромиссами,
покажутся большими крыльями,
покажутся большими птицами.

Да. Лучше поклонятся данности
с убогими ее мерилami,

которые потом до крайности,
послужат для тебя перилами
(хотя и не особо чистыми),
удерживающими в равновесии
твои хромящие истины
на этой выщербленной лестнице.

1959

Определение поэзии

памяти Федерико Гарсия Лорки

Существует своего рода легенда,
что перед расстрелом он увидел,
как над головами солдат поднимается
солнце. И тогда он произнес:
«А все-таки восходит солнце...»
Возможно, это было началом стихотворения.

Запоминать пейзажи

за окнами в комнатах женщин,
за окнами в квартирах
родственников,
за окнами в кабинетах
сотрудников.

Запоминать пейзажи

за могилами единоверцев.

Запоминать,

как медленно опускается снег,
когда нас призывают к любви.

Запоминать небо,

лежащее на мокром асфальте,
когда напоминают о любви к ближнему.

Запоминать,

как сползающие по стеклу мутные потоки дождя
искажают пропорции зданий,
когда нам объясняют, что мы должны
делать.

Запоминать,

как над неприютной землею
простирает последние прямые руки
крест.

Лунной ночью

запоминать длинную тень,
отброшенную деревом или человеком.

Лунной ночью

запоминать тяжелые речные волны,
блестящие, словно складки поношенных
брюк.

А на рассвете

запоминать белую дорогу,
с которой сворачивают конвоиры,

запоминать,

как восходит солнце

над чужими затылками конвоиров.

1959

Стихи об испанце Мигуэле Сервете, еретике, сожженном кальвинистами

Истинные случаи иногда становятся притчами.

Ты счел бы все это, вероятно, лишним.

Вероятно, сейчас

ты испытываешь безразличие.

Впрочем, он

не испытывает безразличия,

ибо от него осталась лишь горсть пепла,

смешавшегося с миром, с пыльной дорогой,

смешавшегося с ветром,

с большим небом,

в котором он не находил Бога.

Ибо не обращал свой взор к небу.

Земля – она была ему ближе.

И он изучал в Сарагоссе право Человека

и кровообращение Человека -

в Париже.

Да. Он никогда не созерцал

Бога

ни в себе,

ни в небе,

ни на иконе,

потому что не отрывал взгляда

от человека и дороги.

Потому что всю жизнь уходил

от погони.

Сын века – он уходил от своего

века,

заворачиваясь в плащ

от соглядатаев,

голода и снега.

Он, изучавший потребность

и возможность

человека,

Человек, изучавший Человека для Человека.

Он так и не обратил свой взор

к небу,

потому что в 1653 году,

в Женеве,

он сгорел между двумя полюсами века:

между ненавистью человека

и невежеством человека.

1959

* * *

Лучше всего

спалось на Савеловском.

В этом

полузабытом сержантами

тупике Вселенной
со спартански жесткого
эмпээсовского ложа
я видел только одну планету:
оранжевую планету циферблата.

Голубые вологодские Саваофы,
вдыхая,
шарили по моим карманам.
Потом, уходя,
презрительно матерились:
«В таком пальте...»
Но четыре червонца,
четыре червонца
с надписями и завитками,
– я знаю сам,
где они были,
четыре червонца -
билет до Бологого.

Это были славные ночи
на Савеловском вокзале,
ночи,
достойные голоса Гомера.
Ночи,
когда после длительных скитаний
разнообразные мысли
назначали встречу

у длинной колонны Прямой Кишки
на широкой площади Желудка.

...Но этой ночью

другой займет мое место.

Сегодня ночью

я не буду спать на Савеловском
вокзале.

Сегодня ночью

я не буду угадывать
собственную судьбу
по угловатой планете.

Сегодня ночью

Я Возьму Билет

До Бологого.

Этой

ночью

я не буду придумывать

белые стихи о вокзале,-

белые, словно бумага для песен...

До свиданья, Борис Абрамыч [10].

До свиданья. За слова спасибо.

апрель 1960

Книга

«Пришлите мне книгу со счастливым концом...» Назым Хикмет

Путешественник, наконец, обретает ночлег.

Честняга-блондин расправляется с подлецом.

Крестьянин смотрит на деревья

и запирает хлев

на последней странице

книги

со счастливым концом.

Упоминавшиеся созвездия капают в тишину,

в закрытые окна, на смежающиеся ресницы.

...В первой главе деревья

молча приникли к окну,

и в уснувших больницах больные кричат, как птицы.

Иногда романы заканчиваются днем.

Ученый открывает окно, закономерность открыв,

тот путешественник

скрывается за холмом,

остальные герои встречаются в обеденный перерыв.

Экономика стабилизируется,

социолог отбрасывает сомнения.

У элегантных баров

блестят скромные машины.

Войны окончены. Подрастает поколение.

Каждая женщина может рассчитывать на мужчину.

Блондины излагают разницу

между добром и злом.

Все деревья – в полдень – укрывают крестьянина тенью.

Все самолеты благополучно

возвращаются на аэродром.

Все капитаны

отчетливо видят землю.

Глупцы умнеют. Лугны перестают врать.

У подлеца, естественно, ничего не вышло.

...Если в первой главе кто-то продолжает орать,

то в тридцатой это, разумеется же, не слышно.

Сексуальная одержимость и социальный оптимизм,
хорошие эпиграфы из вилланделей, сонетов, канцон,
полудетективный сюжет, именуемый – жизнь.

...Пришлите мне эту книгу со счастливым концом!

22 августа 1960, Ленинград

Элегия

Издержки духа – выкрики ума

и логика, – вы равно хороши,

когда опять белесая зима

бредет в полях безмолвнее души.

О чем тогда я думаю один,

зачем гляжу ей пристально вослед.

На этот раз декабрь предвосхитил

ее февральских оттепелей свет.

Какие предстоят нам холода.

Но, обогреты давностями, мы

не помним, как нисходят города

на тягостные выдохи зимы.

Безумные и злобные поля!

Безумна и безмерна тишина их.

То не покой, то темная земля

об облике ином напоминает.

Какой-то ужас в этой белизне.

И вижу я, что жизнь идет как вызов

бесславию, упавшему извне

на эту неосознанную близость.

10 декабря 1960

* * *

Теперь все чаще чувствую усталость,

все реже говорю о ней теперь,

о, помыслов души моей кустарность,

веселая и теплая артель.

Каких ты птиц себе изобретаешь,

кому их даришь или продаешь,

и в современных гнездах обитаешь,

и современным голосом поешь?

Вернись, душа, и перышко мне вынь!

Пускай о славе радио споет нам.

Скажи, душа, как выглядела жизнь,
как выглядела с птичьего полета?

Покуда снег, как из небытия,
кружит по незатейливым карнизам,
рисуй о смерти, улица моя,
а ты, о птица, вскрикивай о жизни.

Вот я иду, а где-то ты летишь,
уже не слыша сетований наших,
вот я живу, а где-то ты кричишь
и крыльями взволнованными машешь.

11 декабря 1960

Вальсок

Проснулся я, и нет руки,
а было пальцев пять.
В моих глазах пошли круги,
и я заснул опять.

Проснулся я, и нет второй.
Опасно долго спать.
Но Бог шепнул: глаза закрой,

и я заснул опять.

Проснулся я, и нету ног,

бежит на грудь слеза.

Проснулся я: несут венок,

и я закрыл глаза.

Проснулся я, а я исчез,

совсем исчез – и вот

в свою постель смотрю с небес:

лежит один живот.

Проснулся я, а я – в раю,

при мне – душа одна.

И я из тучки вниз смотрю,

а там давно война.

1960

Глаголы

Меня окружают молчаливые глаголы,

похожие на чужие головы

глаголы,

голодные глаголы, голые глаголы,

главные глаголы, глухие глаголы.

Глаголы без существительных. Глаголы – просто.

Глаголы,
которые живут в подвалах,
говорят – в подвалах, рождаются – в подвалах
под несколькими этажами
всеобщего оптимизма.

Каждое утро они идут на работу,
раствор мешают и камни таскают,
но, возводя город, возводят не город,
а собственному одиночеству памятник воздвигают.

И уходя, как уходят в чужую память,
мерно ступая от слова к слову,
всеми своими тремя временами
глаголы однажды восходят на Голгофу.

И небо над ними
как птица над погостом,
и, словно стоя
перед запертой дверью,
некто стучит, забивая гвозди
в прошедшее,
в настоящее,
в будущее время.

Никто не придет, и никто не снимет.

Стук молотка

вечным ритмом станет.

Земли гипербол лежит под ними,
как небо метафор плывет над нами!

1960

* * *

Z. K.

Лети отсюда, белый мотылек.

Я жизнь тебе оставил. Это почестъ
и знак того, что путь твой недалек.

Лети быстрее. О ветре позабочусь.

Еще я сам дохну тебе вослед.

Несись быстрее над голыми садами.

Вперед, родной. Последний мой совет:

Будь осторожен там, над проводами.

Что ж, я тебе препоручил не вестъ,
а некую настойчивую грезу;

должно быть, ты одно из тех существ,
мелькавших на полях метемпсихоза.

Смотри ж, не попади под колесо
и птиц минуй движением обманным.

И нарисуй пред ней мое лицо

в пустом кафе. И в воздухе туманном.

1960

Описание утра

А. Рутштейну

Как вагоны раскачиваются,
направо и налево,
как
кинолента рассвета
раскручивается неторопливо,
как пригородные трамваи
возникают из-за деревьев
в горизонтальном пейзаже
предместия и залива,-

я все это видел,
я посеючас
все это вижу:
их движение то же,
остановки их – точно те же,
ниже воды и пыльной
травы повыше,
о, как они катятся
по заболоченному побережью

в маленький сон
в маленький свет
природы,
из короткой перспективы
увеличиваясь, возникая,
витиеватые автострады
с грузовиками, с грузовиками, с грузовиками.

Ты плыви, мой трамвай,
ты кораблик, кораблик утлый,
никогда да не будет
с тобою кораблекрушенья.
Пассажиры твои -
обобщенные образы утра
в современной песенке
общественных отношений.

Ты плыви. Ты раскачивай
фонарики угнетенья
в бесконечное утро
и короткие жизни,
к озаренной патрицианскими
светильниками
метрополитена
реальной улыбке
человеческого автоматизма.

Увози их маленьких,
их неправедных, их справедливых.
Пусть останутся краски
лишь коричневая да голубая.
Соскочить с трамвая
и бежать к заливу,
бежать к заливу,
в горизонтальном пейзаже
падая, утопая.

1960

Сад

О, как ты пуст и нем!
В осенней полумгле
сколь призрачно царит прозрачность сада,
Где листья приближаются к земле
великим тяготением распада.

О, как ты нем!
Ужель твоя судьба
в моей судьбе угадывает вызов,
и гул плодов, покинувших тебя,
как гул колоколов, тебе не близок?

Великий сад!

Даруй моим словам

стволов кружение, истины кружение,
где я бреду к изогнутым ветвям
в паденье листьев, в сумрак вожделенья.

О, как дожить
до будущей весны
твоим стволам, душе моей печальной,
когда плоды твои унесены,
и только пустота твоя реальна.

Нет, уезжать!
Пускай когда-нибудь
меня влекут громадные вагоны.
Мой дольний путь и твой высокий путь -
теперь они тождественно огромны.

Прощай, мой сад!
Надолго ль?.. Навсегда.
Храни в себе молчание рассвета,
великий сад, роняющий года
на горькую идиллию поэта.

1960

Стрельнинская элегия

Дворцов и замков свет, дворцов и замков,

цветник кирпичных роз, зимой расцветших,
какой родной пейзаж утрат внезапных,
какой прекрасный свист из лет прошедших.

Как будто чей-то след, давно знакомый,
ты видишь на снегу в стране сонливой,
как будто под тобой не брег искомый,
а прежняя земля любви крикливой.

Как будто я себя и всех забуду,
и ты уже ушла, простилась даже,
как будто ты ушла совсем отсюда,
как будто умерла вдали от пляжа.

Ты вдруг вошла навек в электропоезд,
увидела на миг закат и крыши,
а я еще стою в воде по пояс
и дальний гром колес прекрасный слышу.

Тебя здесь больше нет. Не будет боле.
Забвенья свет в страну тоски и боли
слетает вновь на золотую тризну,
прекрасный свет над незнакомой жизнью.

Все так же фонари во мгле белеют,

все тот же теплоход в заливе стынет,
кружится новый снег, и козы блеют,
как будто эта жизнь тебя не минет.

Тебя здесь больше нет, не будет боле,
пора и мне из этих мест в дорогу.
Забвенья нет. И нет тоски и боли,
тебя здесь больше нет – и слава Богу.

Пусть подведут коня – и ногу в стремя,
все та же предо мной золотая Стрельна,
как будто вновь залив во мгле белеет,
и вьется новый снег, и козы блеют.

Как будто бы зимой в деревне царской
является мне тень любви напрасной,
и жизнь опять бежит во мгле январской
замерзшею волной на брег прекрасный.

1960

Через два года

Нет, мы не стали глуше или старше,
мы говорим слова свои, как прежде,
и наши пиджаки темны все так же,
и нас не любят женщины все те же.

И мы опять играем временами
в больших амфитеатрах одиночеств,
и те же фонари горят над нами,
как восклицательные знаки ночи.

Живем прошедшим, словно настоящим,
на будущее время не похожим,
опять не спим и забываем спящих,
и так же дело делаем все то же.

Храни, о юмор, юношей веселых
в сплошных круговоротах тьмы и света
великими для славы и позора
и добрыми – для суетности века.

1960

Песенка

По холмам поднебесья,
по дороге неблизкой,
возвращаясь без песни
из земли италийской,
над страной огородов,
над родными полями
пролетит зимородок

и помашет крылами.

И с высот Олимпийских,
недоступных для галки,
там, на склонах альпийских,
где желтеют фиалки, -
хоть глаза ее зорки
и простор не тревожит, -
видит птичка пригорки,
но понять их не может.

Между сосен на кручах
птица с криком кружится
и, замешкавшись в тучах,
вновь в отчизну стремится.
Помнят только вершины
да цветущие маки,
что на Монте-Кассино
это были поляки.

1960 (?)

* * *

Л. М.

Приходит время сожалений.
При полусвете фонарей,

при полумраке озарений
не узнавать учителей.

Так что-то движется меж нами,
живет, живет, отговорив,
и, побеждая временами,
зовет любовников своих.

И вся-то жизнь – биенье сердца,
и говор фраз, да плеск вины,
и ночь над лодочкою секса
по светлой речке тишины.

Простимся, позднее творенье
моих навязчивых щедрот,
побед унылое паренье
и утлой нежности полет.

О Господи, что движет миром,
пока мы слабо говорим,
что движет образом немилым
и дышит обликом моим.

Затем, чтоб с темного газона
от унижительных утрат

сметать межвременные зерна
на победительный асфальт.

О, все приходит понемногу
и говорит – живи, живи.
Кружи, кружи передо мною
безумным навыком любви.

Свети на горестный посев,
фонарь сегодняшней печали,
и пожимай во тьме плечами
и сокрушайся обо всех.

февраль – март 1961

* * *

Приходит март. Я сызнава служу.
В несчастливом кружении событий
изменчивую прелесть нахожу
в смешеньи незначительных наитий.

Воскресный свет все менее манит
бежать ежевечерних откровений,
покуда утомительно шумит
на улицах мой век полувоенный.

Воскресный свет. Все кажется не та,
не та толпа, и тягостны поклоны.
О, время, послужи, как пустота,
часам, идущим в доме Апполона.

А мир живет, как старый однодум,
и снова что-то страшное бормочет,
покуда мы приравниваем ум
к пределам и деяниям на ощупь.

Как мало на земле я проживу,
все занятый невечными делами,
и полдни зимние столпятся над столами,
как будто я их сызнава зову.

Но что-нибудь останется во мне -
в живущем или мертвом человеке -
и вырвется из мира и извне
расстанется, свободное навеки.

Хвала развязке. Занавес. Конец.
Конец. Разъезд. Галантность провожатых,
у светлых лестниц к зеркалам прижатых,
и лавровый заснеженный венец.

март 1961

Три главы

Глава 1

Когда-нибудь, болтливый умник,
среди знакомств пройдет зима,
когда в Москве от узких улиц
сойду когда-нибудь с ума,

на шумной родине балтийской
среди худой полувесны
протарахтят полуботинки
по лестнице полувойны,

и дверь откроется. О память,
смотри, как улица пуста,
один асфальт под каблуками,
наклон Литейного моста.

И в этом ровном полусвете
смешенья равных непогод
не дай нам Бог кого-то встретить,
ужасен будет пешеход.

И с криком сдавленным обратно
ты сразу бросишься, вослед

его шаги и крик в парадном,
дома стоят, парадных нет,

да город этот ли? Не этот,
здесь не поймают, не убьют,
сойдут с ума, сведут к поэту,
тепло, предательство, приют.

Глава 2

Полуапрель и полуслякоть, [11]

любви, любви полупитья,
и одинокость, одинакость
над полуправдой бытия,

что ж, переменим, переедем,
переживем, полудыша,
о, никогда ни тем, ни этим
не примиренная душа,

и все, что менее тоскливо,
напоминает желтый лед,
и небо Финского залива
на невский пригород плывет. [12]

Уже не суетный, небрежный,
любовник брошенный, пижон,

забывший скуку побережий
и меру времени – сезон,

чего не станет с человеком,
грехи не все, дела не все,
шумит за дюнами и снегом,
шумит за дюнами шоссе,

какая разница и разность,
и вот – автобус голубой,
глядишь в окно, и безвозвратность
все тихо едет за тобой.

Глава 3

Ничто не стоит сожалений,
люби, люби, а все одно, -
знакомств, любви и поражений
нам переставить не дано.

И вот весна. Ступать обратно
сквозь черно-белые дворы,
где на железные ограды
ложатся легкие стволы

и жизнь проходит в переулках,
как обедневшая семья.

Летит на цинковые урны
и липнет снег небытия.

Войди в подъезд неосвещенный
и вытри слезы и опять
смотри, смотри, как возмущенный
Борей все гонит воды вспять.

Куда ж идти? Вот ряд оконный,
фонарь, парадное, уют,
любовь и смерть, слова знакомых,
и где-то здесь тебе приют.

апрель 1961

Гость (поэма)

Глава 1

Друзья мои, ко мне на этот раз.
Вот улица с осенними дворцами,
но не асфальт, покрытая торцами,
друзья мои, вот улица для вас.

Здесь бедные любовники, легки,
под вечер в парикмахерских толпятся,
и сигареты белые дымятся,
и белые дрожат воротники.

Вот книжный магазин, но небогат
любовью, путешествием, стихами,
и на балконах звякают стаканы,
и занавеси тихо шелестят.

Я обращаюсь в слух, я обращаюсь в слух,
вот возгласы и платьев шум нарядный,
как эти звуки родины приятны
и коротко желание услуг.

Все жизнь не та, все, кажется, на сердце
лежит иной, несовременный груз,
и все волнует маленькую грудь
в малиновой рубашке фарисейства.

Зачем же так. Стихи мои – добрей.
Скорей от этой ругани подстрочной.
Вот фонари, под вывеской молочной
коричневые крылышки дверей.

Вот улица, вот улица, не редкость -
одним концом в коричневую мглу,
и рядом детство плачет на углу,
а мимо все проносится троллейбус.

Когда-нибудь, со временем, пойму,
что тоньше, поучительнее даже,
что проще и значительней пейзажа
не скажет время сердцу моему.

Но до сих пор обильностью врагов
меня портрет все более заботит.
И вот теперь по улице проходит
шагами быстрыми любовь.

Не мне спешить, не мне бежать вослед
и на дорогу сталкивать другого,
и жить не так. Но возглас ранних лет
опять летит.– Простите, ради Бога.

Постойте же. Вдали Литейный мост.
Вы сами видите – он крыльями разводит.
Постойте же. Ко мне приходит гость,
из будущего времени приходит.

Глава 2

Теперь покурим белых сигарет,
друзья мои, и пиджаки наденем,
и комнату на семь частей поделим,
и каждому достанется портрет.

Да, каждому портрет. Друзья, уместно ль
заметить вам, вы знаете, друзья,
приятеля теперь имею я...
Вот комната моя. Из переездов

всегда сюда. Родители, семья,
а дым отечественный запах не меняет.
...Приятель чем-то вас напоминает...
Друзья мои, вот комната моя.

Здесь родина. Здесь – будто без прикрас,
здесь – прошлым днем и нынешним театром,
но завтрашний мой день не здесь. О, завтра,
друзья мои, вот комната для вас.

Вот комната любви, диван, балкон,
и вот мой стол – вот комната искусства.
А по торцам грузовики трясутся
вдоль вывесок и розовых погон

пехотного училища. Приятель
идет ко мне по улице моей.
Вот комната, не знавшая детей,
вот комната родительских кроватей.

А что о ней сказать? Не чувствую ее,
не чувствую, могу лишь перечислить.
Вы знаете... Ах нет... Здесь очень чисто,
все это мать, старания ее.

Вы знаете, ко мне... Ах, не о том,
о комнате с приятелем, с которым...
А вот отец, когда он был майором,
фотографом он сделался потом.

Друзья мои, вот улица и дверь
в мой красный дом, вот шорох листьев мелких
на площади, где дерево и церковь
для тех, кто верит Господу теперь.

Друзья мои, вы знаете, дела,
друзья мои, вы ставите стаканы,
друзья мои, вы знаете – пора,
друзья мои с недолгими стихами.

Друзья мои, вы знаете, как странно...
Друзья мои, ваш путь обратно прост.
Друзья мои, вот гасятся рекламы.

Вы знаете, ко мне приходит гость.

Глава 3

По улице, по улице, свистя,
заглядывая в маленькие окна,
и уличные голуби летят
и клювами колотятся о стекла.

Как шепоты, как шелесты грехов,
как занавес, как штора, одинаков,
как посвист ножниц, музыка шагов,
и улица, как белая бумага.

То Гаммельн или снова Петербург,
чтоб адресом опять не ошибиться
и за углом почувствовать испуг,
но за углом висит самоубийца.

Ко мне приходит гость, ко мне приходит гость.
Гость лестницы единственной на свете,
гость совершенных дел и маленьких знакомств,
гость юности и злобного бессмертья.

Гость белой нищеты и белых сигарет,
Гость юмора и шуток непоместных.
Гость неотложных горестных карет,

вечерних и полуночных арестов.

Гость озера обид – сих маленьких морей.

Единый гость и цели и движенья.

Гость памяти моей, поэзии моей,

великий Гость побед и униженья.

Будь гостем, Гость. Я созову друзей

(пускай они возвеселятся тоже), -

веселых победительных гостей

и на Тебя до ужаса похожих.

Вот вам приятель – Гость. Вот вам приятель – ложь.

Все та же пара рук. Все та же пара глаз.

Не завсегда – Гость, но так на вас похож,

и только имя у него – Отказ.

Смотрите на него. Разводятся мосты,

ракеты, киноленты, переломы...

Любите же его. Он – менее, чем стих,

но – более, чем проповеди злобы.

Любите же его. Чем станет человек,

когда его столетие возвысит,

когда его возьмет двадцатый век -

век маленькой стрельбы и страшных мыслей?

Любите же его. Он напрягает мозг
и новым взглядом комнату обводит...

...Прощай, мой гость. К тебе приходит Гость.
Приходит Гость. Гость Времени приходит.

май 1961, Ленинград

Памяти Е. А. Баратынского

Поэты пушкинской поры,
ребята светские, страдальцы,
пока старательны пиры,
романы русские стандартны

летят, как лист календаря,
и как стаканы недопиты,
как жизни после декабря
так одинаково разбиты.

Шуми, шуми, Балтийский лед,
неси помещиков обратно.
Печален, Господи, их взлет,
паденье, кажется, печатно.

Ох, каламбур. Календари
все липнут к сердцу понемногу,
и смерть от родины вдали
приходит. Значит, слава Богу,

что ради выкрика в толпе
минувших лет, минувшей страсти
умолкла песня о себе
за треть столетия.

Но разве

о том заботились, любя,
о том пеклись вы, ненавидя?
О нет, вы помнили себя
и поздно поняли, что выйдет

на медальоне новых лет
на фоне общего портрета,
но звонких уст поныне нет
на фотографиях столетья.

И та свобода хороша,
и той стесненности вы рады!
Смотри, как видела душа

одни великие утраты.

Ну, вот и кончились года,
затем и прожитые вами,
чтоб наши чувства иногда
мы звали вашими словами.

Поэты пушкинской поры,
любимцы горестной столицы,
вот ваши светские дары,
ребята мертвые, счастливыцы.

Вы уезжали за моря,
вы забывали про дуэли,
вы столько чувствовали зря,
что умирали, как умели.

19 июня 1961, Якутск

Витезслав Незвал

На Карловом мосту ты улыбнешься,
переезжая к жизни еженощно
вагончиками пражского трамвая,
добра не зная, зла не забывая.

На Карловом мосту ты снова сходишь
и говоришь себе, что снова хочешь
пойти туда, где город вечерами
тебе в затылок светит фонарями.

На Карловом мосту ты снова сходишь,
проходим в лица пристально посмотришь,
который час кому-нибудь ответишь,
но больше на мосту себя не встретишь.

На Карловом мосту себя запомни:
тебя уносят утренние кони.
Скажи себе, что надо возвратиться,
скажи, что уезжаешь за границу.

Когда опять на родину вернешься,
плывет по Влтаве желтый пароходик.
На Карловом мосту ты улыбнешься
и крикнешь мне: печаль твоя проходит.

Я говорю, а ты меня не слышишь.
Не крикнешь, нет, и слова не напишешь,
ты мертвых глаз теперь не поднимаешь
и мой, живой, язык не понимаешь.

На Карловом мосту – другие лица.

Смотри, как жизнь, что без тебя продлится,

бормочет вновь, спешит за часом час...

Как смерть, что продолжается без нас.

29 июня 1961, Якутия

* * *

Уезжай, уезжай, уезжай,

так немного себе остается,

в теплой чашке смертей помешай

эту горечь и голод, и солнце.

Что с ней станет, с любовью к тебе,

ничего, все дольешь, не устанешь,

ничего не оставишь судьбе,

слишком хочется пить в Казахстане.

Так далеко, как хватит ума

не понять, так хотя бы запомнить,

уезжай за слова, за дома,

за великие спины знакомых.

В первый раз, в этот раз, в сотый раз

сожалея о будущем, реже

понимая, что каждый из нас

остается на свете все тем же

человеком, который привык,
поездами себя побеждая,
по земле разноситься, как крик,
навсегда в темноте пропадая.

29 июня 1961

Петербургский роман
(поэма в трех частях)

Часть 1. Утро и вечер

Глава 1

Анатолию Найману

Забудь себя и ненадолго
кирпич облупленных казарм,
когда поедешь втихомолку
на Николаевский вокзал,

когда немного отринешь,
скользя в машине вдоль реки,
смотри в блестящие витрины
на голубые пиджаки.

Но много сломанных иголок

на платье времени сгубя,
хотя бы собственных знакомых
любить, как самого себя.

Ну, вот и хлеб для аналогий,
пока в такси рюкзак и ты.
Храни вас Боже, Анатолий,
значок короткой суеты

воткните в узкую петлицу,
и посреди зеркальных рам
скользить к ногам, склоняться к лицам
и все любить по вечерам.

Глава 2

Разъезжей улицы развязность,
торцы, прилавки, кутерьма,
ее купеческая праздность,
ее доходные дома.

А все равно тебе приятно,
друзей стрельбы переживя,
на полстолетия обратно
сюда перевезти себя,

и головою поумневшей,

не замечающей меня,
склонись до смерти перед спешкой
и злобой нынешнего дня.

Скорее с Лиговки на Невский,
где магазины через дверь,
где так легко с Комиссаржевской
ты разминулся бы теперь.

Всего страшней для человека
стоять с поникшей головой
и ждать автобуса и века
на опустевшей мостовой.

Глава 3 (письмо)

Как вдоль коричневой казармы,
в решетку темную гляжу,
когда на узкие каналы
из тех парадных выхожу,

как все равны тебе делами,
чугун ограды не нужней,
но все понятней вечерами
и все страшней, и все страшней.

Любимый мой, куда я денусь,

но говорю – живи, живи,
живи все так и нашу бедность
стирай с земли, как пот любви.

Пойми, пойми, что все мешает,
что век кричит и нет мне сил,
когда столетье разобщает,
хотя б все менее просил.

Храни тебя, любимый, Боже,
вернись когда-нибудь домой,
жалей себя все больше, больше,
любимый мой, любимый мой.

Глава 4

Я уезжаю, уезжаю,
опять мы дурно говорим,
опять упасть себе мешаю
пред чешским именем твоим,

благословляй громадный поезд,
великих тамбуров окно,
в котором, вылезши по пояс,
кричит буфетное вино,

о, чьи улыбки на колени

встают в нагретых купе,
и горький грохот удаленья
опять мерещится судьбе.

Людмила, Боже мой, как странно,
что вечной полевой порой,
из петербургского романа
уже несчастливый герой,

любовник брошенный, небрежный,
но прежний, Господи, на вид,
я плачу где-то на Разъезжей,
а рядом Лиговка шумит.

Глава 5

Моста Литейного склоненность,
ремонт троллейбусных путей,
кружение набережных сонных,
как склонность набожных людей

твердить одну и ту же фразу,
таков ли шум ночной Невы,
гонимой льдинами на Пасху
меж Малоохтенской травы,

когда, склонясь через ограду,

глядит в нее худой апрель,
блестит вода, и вечно рядом
плывет мертвец Мазереель,

и, как всегда в двадцатом веке,
звучит далекая стрельба,
и где-то ловит человека
его безумная судьба,

там, за рекой среди деревьев,
все плещет память о гранит,
шумит Нева и льдины вертит
и тяжело души леденит.

Глава 6

Е. В.

Прощай, Васильевский опрятный,
огни полночные туши,
гони троллейбусы обратно
и новых юношей страши,

дохнув в уверенную юность
водой, обилием больниц,
безумной правильностью улиц,
безумной каменностью лиц.

Прощай, не стоит возвращаться,
найдя в замужестве одно -
навек на острове остаться
среди заводов и кино.

И гости машут пиджаками
далеко за полночь в дверях,
легко мы стали чужаками,
друзей меж линий растеряв.

Мосты за мною поднимая,
в толпе фаллических столбов
прощай, любовь моя немая,
моя знакомая – любовь.

Глава 7

Меж Пестеля и Маяковской
стоит шестиэтажный дом.
Когда-то юный Мережковский
и Гиппиус прожили в нем

два года этого столетья.

Теперь на третьем этаже
живет герой, и время вертит
свой циферблат в его душе.

Когда в Москве в петлицу воткнут
и в площадей неловкий толк
на полстолетия изогнут
Лубянки каменный цветок,

а Петербург середины века,
адмиралтейскому кусту
послав привет, с Дзержинской съехал
почти к Литейному мосту,

и по Гороховой троллейбус
не привезет уже к судьбе.
Литейный, бежевая крепость,
подъезд четвертый кГБ.

Главы 8 – 9

Окно вдоль неба в переплетах,
между шагами тишина,
железной сеткою пролетов
ступень бетонная сильна.

Меж ваших тайн, меж узких дырок
на ваших лицах, господа,
(from time to time, my sweet, my dear,
I left your heaven), иногда

как будто крылышки Дедала
все машут ваши голоса,
по временам я покидала,
мой милый, ваши небеса,

уже российская пристрастность
на ваши трудные дела -
хвала тебе, госбезопасность,
людскому разуму хула.

По этим лестницам меж комнат,
свое столетие терпя,
о только помнить, только помнить
не эти комнаты – себя.

Но там неловкая природа,
твои великие корма,
твои дома, как терема,
и в слугах ходит полнарода.

Не то страшит меня, что в полночь,
героя в полночь увезут,
что миром правит сволочь, сволочь.
Но сходит жизнь в неправый суд,

в тоску, в смятение, в ракеты,
в починку маленьких пружин
и оставляет человека
на новой улице чужим.

Нельзя мне более. В романе
не я, а город мой герой,
так человек в зеркальной раме
стоит вечернею порой

и оправляет ворот смятый,
скользит ладонью вдоль седин
и едет в маленький театр,
где будет сызнова один.

Глава 10

Не так приятны перемены,
как наши хлопоты при них,
знакомых круглые колени
и возникающий на миг

короткий запах злого смысла
твоих обыденных забот,
и стрелки крутятся не быстро,
и время делает аборт

любовям к ближнему, любовям
к самим себе, твердя: терпи,
кричи теперь, покуда больно,
потом кого-нибудь люби.

Да. Перемены все же мука,
но вся награда за труды,
когда под сердцем Петербурга
такие вырастут плоды,

как наши собранные жизни,
и в этом брошенном дому
все угасающие мысли
к себе все ближе самому.

Часть II. Времена года

Глава 11

Хлопки сентябрьских парадных,
свеченье мокрых фонарей.
Смотри: осенние утраты
даров осенних тяжелей,

И льется свет по переулкам,
и палец родственной души
все пишет в воздухе фигуры,

полуодевшие плащи,

висит над скомканным газоном
в обрывках утренних газет
вся жизнь, не более сезона,
и дождь шумит тебе в ответ:

не стоит сна, не стоит скуки,
по капле света и тепла
лови, лови в пустые руки
и в сутки совершай дела,

из незнакомой подворотни,
прижавшись к цинковой трубе,
смотри на мокрое барокко
и снова думай о себе.

Глава 12

На всем, на всем лежит поспешность,
на тарахтящих башмаках,
на недоверчивых усмешках,
на полуискренних стихах.

Увы, на искренних. В разрывах
все чаще кажутся милы
любви и злости торопливой

непоправимые дары.

Так все хвала тебе, поспешность,
суди, не спрашивай, губи,
когда почувствуешь уместность
самоуверенной любви,

самоуверенной печали,
улыбок, брошенных вослед, -
несвоевременной печати
неоткровенных наших лет,

но раз в году умолкший голос
негромко выкрикнет – пиши,
по временам сквозь горький холод,
живя по-прежнему, спеши.

Глава 13

Уходишь осенью обратно,
шумит река вослед, вослед,
мерцанье желтое парадных
и в них шаги минувших лет.

Наверх по лестнице непрочной,
звонок и после тишина,
войди в квартиру, этой ночью

увидишь реку из окна.

Поймешь, быть может, на мгновение,
густую штору теребя,
во тьме великое стремленье
нести куда-нибудь себя,

где двести лет, не уставая,
все плачет хор океанид,
за все мосты над островами,
за их васильевский гранит,

и перед этую стеною
себя на крике оборви
и повернись к окну спиною,
и ненадолго оживи.

Глава 14

О, Петербург, середины века
все будто минули давно,
но, озаряя посвист ветра,
о, Петербург, мое окно

горит уже четыре ночи,
четыре года говорит,
письмом четырнадцатой почты

в главе тринадцатой горит.

О, Петербург, твои карманы
и белизна твоих манжет,
романы в письмах не романы,
но только в подписи сюжет,

но только уровень погоста
с рекой на Волковом горбе,
но только зимние знакомства
дороже вчетверо тебе,

на обедневшее семейство
взирая, светят до утра
прожектора Адмиралтейства
и императора Петра.

Глава 15

Зима качает светофоры
пустыми крылышками вьюг,
с Преображенского собора
сдувая колокольный звук.

И торопливые фигурки
бормочут – Господи, прости,
и в занесенном переулке

стоит блестящее такси,

но в том же самом переулке
среди сугробов и морен
легко зимою в Петербурге
прожить себе без перемен,

пока рисует подоконник
на желтых краешках газет
непопулярный треугольник
любви, обыденности, бед,

и лишь Нева неугомонно
к заливу гонит облака,
дворцы, прохожих и колонны
и горький вымысел стиха.

Глава 16

По сопкам сызнава, по сопкам,
и радиометр трещит,
и поднимает невысоко
нас на себе Алданский щит.

На нем и с ним. Мои резоны,
как ваши рифмы, на виду,
таков наш хлеб: ходьба сезона,

четыре месяца в году.

По сопкам сызнава, по склонам,
тайга, кружащая вокруг,
не зеленой твоих вагонов,
экспресс Хабаровск – Петербург.

Вот характерный строй метафор
людей, бредущих по тайге,
о, база, лагерь или табор,
и ходит смерть невдалеке.

Алеко, господи, Алеко,
ты только выберись живым.
Алдан, двадцатое столетье,
хвала сезонам полевым.

Глава 17

Прости волнение и горечь
в моих словах, прости меня,
я не участник ваших сборищ,
и, как всегда, день ото дня

я буду чувствовать иное
волненье, горечь, но не ту.
Овладевающее мною

зимой в Таврическом саду

пинает снег и видит – листья,
четыре времени в году,
четыре времени для жизни,
а только гибнешь на лету

в каком-то пятом измереньи,
растает снег, не долетев,
в каком-то странном изумленьи
поля умолкнут, опустев,

утихнут уличные звуки,
настанет Пауза, а я
твержу на лестнице от скуки:
прости меня, любовь моя.

Глава 18

Трещала печь, героя пальцы
опять лежали на окне,
обои «Северные Альпы»,
портрет прабабки на стене,

в трельяж и в зеркало второе
всмотритесь пристальной, и вы
увидите портрет героя

на фоне мчащейся Невы,

внимать желаньям нетвердым
и все быстрее, и все быстрее
себе наматывать на горло
все ожерелье фонарей,

о, в этой комнате наскучит,
герой угрюмо повторял,
и за стеной худую участь,
бренча, утраивал рояль,

да, в этой комнате усталой
из-за дверей лови, лови
все эти юные удары
по нелюбви, по нелюбви.

Глава 19

Апрель, апрель, беги и кашляй,
роняй себя из теплых рук,
над Петропавловскою башней
смыкает время узкий круг,

нет, нет. Останется хоть что-то,
хотя бы ты, апрельский свет,
хотя бы ты, моя работа.

Ни пяди нет, ни пяди нет,

ни пяди нет и нету цели,
движенье вбок, чего скрывать,
и так оно на самом деле,
и как звучит оно – плевать.

Один – Таврическим ли садом,
один – по Пестеля домой,
один – башкой, руками, задом,
ногами. Стенка. Боже мой.

Такси, собор. Не понимаю.
Дом офицеров, майский бал.
Отпой себя в начале мая,
куда я, Господи, попал.

Глава 20

Так остановишься в испуге
на незеленых островах,
так остаешься в Петербурге
на государственных правах,

нет, на словах, словах романа,
а не ногами на траве
и на асфальте – из кармана

достанешь жизнь в любой главе.

И, может быть, живут герои,
идут по улицам твоим,
и облака над головою
плывя им говорят: Творим

одной рукою человека,
хотя бы так, в карандаше,
хотя б на день, как на три века,
великий мир в его душе.

Часть III. Свет

Глава 21 (Романс)

Весна, весна, приходят люди
к пустой реке, шумит гранит,
течет река, кого ты судишь,
скажи, кто прав, река твердит,

гудит буксир за Летним садом,
скрипит асфальт, шумит трава,
каналов блеск и плеск канавок,
и все одна, одна строфа:

течет Нева к пустому лету,
кружа мосты с тоски, с тоски,
пройдешь и ты, и без ответа
оставишь ты вопрос реки,

каналов плеск и треск канатов,
и жизнь моя полна, полна,
пустых домов, мостов горбатых,
разжатых рек волна темна,

разжатых рек, квартир и поля,
такси скользят, глаза скользят,
разжатых рук любви и горя,
разжатых рук, путей назад.

Глава 22

Отъезд. Вот памятник неровный
любви, памятник себе,
вокзал, я брошенный любовник,
я твой с колесами в судьбе.

Скажи, куда я выезжаю
из этих плачущихся лет,
мелькнет в окне страна чужая,
махнет деревьями вослед.

Река, и памятник, и крепость -
все видишь сызнава во сне,
и по Морской летит троллейбус
с любовью в запертом окне.

И нет на родину возврата,
одни страдания верны,
за петербургские ограды
обиды как-нибудь верни.

Ты все раздашь на зимних скамьях
по незнакомым городам
и скормишь собранные камни
летейским жадным воробьям.

Глава 23

К намокшим вывескам свисая,
листва легка, листва легка,
над Мойкой серые фасады
клубятся, словно облака,

твой день бежит меж вечных хлопот,
асфальта шорох деловой,
свистя под нос, под шум и грохот,
съезжает осень с Моховой,

взгляни ей вслед и, если хочешь,
скажи себе – печаль бедна,
о, как ты искренне уходишь,
оставив только имена

судьбе, судьбе или картине,
но меж тобой, бредущей вслед,
и между пальцами моими
все больше воздуха и лет,

продли шаги, продли страдания,
пока кружится голова
и обрываются желанья
в душе, как новая листва.

Глава 24

Смеркалось, ветер, утихая,
спешил к Литейному мосту,
из переулков увлекая
окурки, пыльную листву.

Вдали по площади покатоЙ
съезжали два грузовика,
с последним отсветом заката
сбивались в кучу облака.

Гремел трамвай по Миллионной,
и за версту его слышал
минувший день в густых колоннах,
легко вздыхая, утихал.

Смеркалось. В комнате героя
трещала печь и свет серел,
безмолвно в зеркало сырое
герой все пристальней смотрел.

Проходит жизнь моя, он думал,
темнеет свет, сереет свет,
находишь боль, находишь юмор,
каким ты стал за столько лет.

Глава 25

Сползает свет по длинным стеклам,
с намокших стен к ногам скользя,
о, чьи глаза в тебя так смотрят,
наверно, зеркала глаза.

Он думал – облики случайней
догадок жутких вечеров,
проходит жизнь моя, печальней
не скажешь слов, не скажешь слов.

Теперь ты чувствуешь, как странно
понять, что суть в твоей судьбе
и суть несвязного романа
проходит жизнь сказать тебе.

И ночь сдвигает коридоры
и громко говорит – не верь,
в пустую комнату героя
толчком распахивая дверь.

И возникает на пороге
пришелец, памятник, венец
в конце любви, в конце дороги,
немого времени гонец.

Глава 26

И вновь знакомый переулок
белел обрывками газет,
торцы заученных прогулок,
толкуй о родине, сосед,

толкуй о чем-нибудь недавнем,
любимом в нынешние дни,
тверди о чем-нибудь недальнем,
о смерти издали шепни,

заметь, заметь – одно и то же
мы говорим так много лет,
бежит полуночный прохожий,
спешит за временем вослед,

горит окно, а ты все плачешь
и жмешься к черному стеклу,
кого ты судишь, что ты платишь,
река все плещет на углу.

Пред ним торцы, вода и бревна,
фасадов трещины пред ним,
он ускоряет шаг неровный,
ничем как будто не гоним.

Глава 27

Гоним. Пролетами Пассажа,
свистками, криками ворон,
густыми взмахами фасадов,
толпой фаллических колонн.

Гоним. Ты движешься в испуге
к Неве. Я снова говорю:
я снова вижу в Петербурге
фигуру вечную твою.

Гоним столетьями гонений,
от смерти всюду в двух шагах,
теперь здороваюсь, Евгений,
с тобой на этих берегах.

Река и улица вдохнули
любовь в потертые дома,
в тома дневной литературы
догадок вечного ума.

Гоним, но все-таки не изгнан,
один – сквозь тарахтящий век
вдоль водостоков и карнизов
живой и мертвый человек.

Глава 28

Зимою холоден Елагин.

Полотна узких облаков
висят, как согнутые флаги,
в подковах цинковых мостков,

и мертвым лыжником с обрыва
скользит непрожитая жизнь,
и белый конь бежит к заливу,
вминая снег, кто дышит вниз,

чьи пальцы согнуты в кармане,
тепло, спасибо и за то,
да кто же он, герой романа
в холодном драповом пальто,

он смотрит вниз, какой-то праздник
в его уме жужжит, жужжит,
не мертвый лыжник – мертвый всадник
у ног его теперь лежит.

Он ни при чем, здесь всадник мертвый,
коня белеющего бег
и облака. К подковам мерзлым
все липнет снег, все липнет снег.

Глава 29

Канал туманный Грибоедов,
сквозь двести лет шуршит вода,
немного в мире переехав,
приходишь сызнава сюда.

Со всем когда-нибудь сживешься
в кругу обидчивых харит,
к ограде счастливо прижмешься,
и вечер воду озарит.

Канал ботинок твой окатит
и где-то около Невы
плеснет водой зеленоватой, -
мой Бог, неужто это вы.

А это ты. В канале старом
ты столько лет плывешь уже,
канатов треск и плеск каналов
и улиц свет в твоей душе.

И боль в душе. Вот два столетья.
И улиц свет. И боль в груди.
И ты живешь один на свете,
и только город впереди.

Глава 30

Смотри, смотри, приходит полдень,
чей свет теплей, чей свет серей
всего, что ты опять не понял
на шумной родине своей.

Глава последняя, ты встанешь,
в последний раз в своем лице
сменив усталость, жизнь поставишь,
как будто рифму, на конце.

А век в лицо тебе смеется
и вдаль бежит сквозь треск идей.
Смотри, одно и остается -
цепляться снова за людей,

за их любовь, за свет и низость,
за свет и боль, за долгий крик,
пока из мертвых лет, как вызов,
летят слова – за них, за них.

Я прохожу сквозь вечный город,
дома твердят: река, держись,
шумит листва, в громадном хоре
я говорю тебе: все жизнь.

первая половина 1961, Ленинград

Июльское интермеццо
(цикл из 9 стихов) [13]

В письме на юг

Г. Гинзбургу-Воскову

Ты уехал на юг, а здесь настали теплые дни,
нагревается мост, ровно плещет вода, пыль витает,
я теперь прохожу в переулке, все в тени, все в тени, все в тени,

и вблизи надо мной твой пустой самолет пролетает.

Господи, я говорю, помоги, помоги ему,
я дурной человек, но ты помоги, я пойду, я пойду прощусь,
Господи, я боюсь за него, нужно помочь, я ладонь подниму,
самолет летит, Господи, помоги, я боюсь.

Так боюсь за себя. Настали теплые дни, так тепло,
пригородные пляжи, желтые паруса посреди залива,
теплый лязг трамваев, воздух в листьях, на той стороне светло,
я прохожу в тени, вижу воду, почти счастливый.

Из распахнутых окон телефоны звенят, и квартиры шумят, и деревья
листвой полны,
солнце светит в дали, солнце светит в горах – над ним,
в этом городе вновь настали теплые дни.
Помоги мне не быть, помоги мне не быть здесь одним.

Пробегай, пробегай, ты любовник, и здесь тебя ждут,
вдоль решеток канала пробегай, задевая рукой гранит,
ровно плещет вода, на балконах цветы цветут,
вот горячей листвой над каналом каштан шумит.

С каждым днем за спиной все плотней закрываются окна оставленных лет,
кто-то смотрит вослед – за стеклом, все глядит холодней,

вперед, кроме улиц твоих, никого, ничего уже нет,
как поверить, что ты проживешь еще столько же дней.

Потому-то все чаще, все чаще ты смотришь назад,
значит, жизнь – только утренний свет, только сердца уверенный стук;
только горы стоят, только горы стоят в твоих белых глазах,
это страшно узнать – никогда не вернешься на Юг.

Прощайте, горы. Что я прожил, что помню, что знаю на час,
никогда не узнаю, но если приходит, приходит пора уходить,
никогда не забуду, и вы не забудьте, что сверху я видел вас,
а теперь здесь другой, я уже не вернусь, постарайтесь простить.

Горы, горы мои. Навсегда белый свет, белый снег, белый свет,
до последнего часа в душе, в ходе мертвых имен,
вечных белых вершин над долинами минувших лет,
словно тысячи рек на свиданьи у вечных времен.

Словно тысячи рек умолкают на миг, умолкают на миг, на мгновение вдруг,
я запомню себя, там, в горах, посреди ослепительных стен,
там, внизу, человек, это я говорю в моих письмах на Юг:
добрый день, моя смерть, добрый день, добрый день, добрый день.

июнь 1961

Э. Т.

Люби проездом родину друзей.

На станциях батоны покупая,
о прожитом бездумно пожалей,
к вагонному окошку прилипая.

Все тот же вальс в провинции звучит,
летит, летит в белесые колонны,
весна друзей по-прежнему молчит,
блондинкам улыбаясь благосклонно.

Отходят поезда от городов,
приходит моментальное забвенье,
десятилетия искренних трудов,
но вечного, увы, неоткровенья.

Да что там жизнь! Под перестук колес
взбредет на ум печальная догадка,
что новый недоверчивый вопрос
когда-нибудь их вызовет обратно.

Так, поезжай. Куда? Куда-нибудь,
скажи себе: с несчастьями дружу я.

Гляди в окно и о себе забудь.

Жалей проездом родину чужую.

1961

Воротишься на родину. Ну что ж.

Гляди вокруг, кому еще ты нужен,

кому теперь в друзья ты попадешь?

Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина,
смотри в окно и думай понемногу:
во всем твоя одна, твоя вина,
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму
ничья рука тебя не провожала,
как хорошо на свете одному
идти пешком с шумящего вокзала.

Как хорошо, на родину спеша,
поймать себя в словах неоткровенных
и вдруг понять, как медленно душа
заботится о новых переменах.

1961

Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона

Металлический зов в полночь
слетает с Петропавловского собора,
из распахнутых окон в переулках
мелодически звякают деревянные часы комнат,
в радиоприемниках звучат гимны.

Все стихает.

Ровный шепот девушек в подворотнях
стихает,
и любовники в июле спокойны.

Изредка проезжает машина.

Ты стоишь на мосту и слышишь,
как стихает, и меркнет, и гаснет
целый город.

Ночь приносит
из теплого темно-синего мрака
желтые квадратики окон
и мерцанье канала.

Играй, играй, Диззи Гиллеспи,
Джерри Маллиган и Ширинг, Ширинг,
в белых платьях, все вы там в белых платьях
и в белых рубашках
на сорок второй и семьдесят второй улице,
там, за темным океаном, среди деревьев,
над которыми с зажженными бортовыми огнями
летят самолеты,
за океаном.

Хороший стиль, хороший стиль

в этот вечер,
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
что там вытворяет Джерри,
баритон и скука и так одиноко,
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
звук выписывает эллипсоид так далеко за океаном,
и если теперь черный Гарнер
колотит руками по черно-белому ряду,
все становится понятным.

Эррол!

Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
какой ударник у старого Монка
и так далеко,
за океаном,
Боже мой, Боже мой, Боже мой,
это какая-то охота за любовью,
все расхватано, но идет охота,
Боже мой, Боже мой,
это какая-то погоня за нами, погоня за нами,
Боже мой,
кто это болтает со смертью, выходя на улицу,
сегодня утром.

Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
ты бежишь по улице, так пустынно, никакого шума,
только в подворотнях, в подъездах, на перекрестках,
в парадных,
в подворотнях говорят друг с другом,
и на запертых фасадах прочитанные газеты оскаливают

заголовки.

Все любовники в июле так спокойны,
спокойны, спокойны.

1961

Романс

Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед, взмахни рукой,
недалеко, за цинковой рекой.

Ах, улыбнись в оставленных домах,
я различу на улицах твой взмах.

Недалеко, за цинковой рекой,
где стекла дребезжат наперебой,
и в полдень нагреваются мосты,
тебе уже не покупать цветы.

Ах, улыбнись в оставленных домах,
где ты живешь среди вороха бумаг
и запаха увянувших цветов,
мне не найти оставленных следов.

Я различу на улицах твой взмах,
как хорошо в оставленных домах
любить других и находить других,
из комнат, бесконечно дорогих,

любовью умолкающей дыша,
навек уйти, куда-нибудь спеша.

Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед, взмахни рукой,
когда на миг все люди замолчат,
недалеко за цинковой рекой
твои шаги на целый мир звучат.

Останься на нагревшемся мосту,
роняй цветы в ночную пустоту,
когда река, блестя из пустоты,
всю ночь несет в Голландию цветы.

1961

Современная песня

Человек приходит к развалинам снова и снова,
он был здесь позавчера и вчера
и появится завтра,
его привлекают развалины.

Он говорит:

Постепенно,
постепенно научишься многим вещам, очень многим,
научишься выбирать из груды битого щебня
свои будильники и обгоревшие корешки альбомов,
привыкнешь
приходить сюда ежедневно,

привыкнешь, что развалины существуют,
с этой мыслью сживешься.

Начинает порою казаться – так и надо,
начинает порою казаться, что всему научился,
и теперь ты легко говоришь
на улице с незнакомым ребенком
и все объясняешь. Так и надо.

Человек приходит к развалинам снова,
всякий раз, когда снова он хочет любить,
когда снова заводит будильник.

Нам, людям нормальным, и в голову не приходит, как это можно вернуться
домой и найти вместо дома – развалины. Нет, мы не знаем, как это можно
потерять и ноги, и руки под поездом или трамваем – все это доходит до нас
– слава Богу – в виде горестных слухов, между тем это и есть необходимый
процент несчастий, это – роза несчастий.

Человек приходит к развалинам снова,
долго тычется палкой среди мокрых обоев и щебня,
нагибается, поднимает и смотрит.

Кто-то строит дома,
кто-то вечно их разрушает, кто-то снова их строит,
изобилие городов наполняет нас всех оптимизмом.

Человек на развалинах поднял и смотрит,
эти люди обычно не плачут.

Даже сидя в гостях у – слава Богу – целых знакомых,

неодобрительно смотрят на столбики фотоальбомов.

«В наши дни, – так они говорят, – не стоит заводить фотографий».

Можно много построить и столько же можно разрушить
и снова построить.

Ничего нет страшней, чем развалины в сердце,
ничего нет страшнее развалин,
на которые падает дождь и мимо которых
проносятся новые автомобили,
по которым, как призраки, бродят
люди с разбитым сердцем и дети в беретах,
ничего нет страшнее развалин,
которые перестают казаться метафорой
и становятся тем, чем они были когда-то:
домами.

1961

Июльское интермеццо

Девушки, которых мы обнимали,
с которыми мы спали,
приятели, с которыми мы пили,
родственники, которые нас кормили и все покупали,
братья и сестры, которых мы так любили,
знакомые, случайные соседи этажом выше,
наши однокашники, наши учителя, – да, все вместе, -
почему я их больше не вижу,
куда они все исчезли.

Приближается осень, какая по счету, приближается осень,
новая осень незнакомо шумит в листьях,
вот опять предо мною проезжают, проходят ночью,
в белом свете дня красные, неизвестные мне лица.
Неужели все они мертвы, неужели это правда,
каждый, который любил меня, обнимал, так смеялся,
неужели я не услышу издали крик брата,
неужели они ушли,
а я остался.

Здесь, один, между старых и новых улиц,
прохожу один, никого не встречаю больше,
мне нельзя входить, чистеньких лестниц узость
и чужие квартиры звонят над моей болью.

Ну, звени, звени, новая жизнь, над моим плачем,
к новым, каким по счету, любовям привыкать, к потерям,
к незнакомым лицам, к чужому шуму и к новым платьям,
ну, звени, звени, закрывай предо мною двери.

Ну, шуми надо мной, своим новым, широким флангом,
таракти подо мной, отражай мою тень
своим камнем твердым,
светлым камнем своим маячь из мрака,
оставляя меня, оставляя меня

моим мертвым.

1961

Августовские любовники

Августовские любовники,
августовские любовники проходят с цветами,
невидимые зовы парадных их влекут,
августовские любовники в красных рубашках с полуоткрытыми ртами
мелькают на перекрестках, исчезают в переулках,
по площади бегут.

Августовские любовники

в вечернем воздухе чертят
красно-белые линии рубашек, своих цветов,
распахнутые окна между черными парадными светят,
и они все идут, все бегут на какой-то зов.

Вот и вечер жизни, вот и вечер идет сквозь город,
вот он красит деревья, зажигает лампу, лакирует авто,
в узеньких переулках торопливо звонят соборы,
возвращайся назад, выходи на балкон, накинь пальто.

Видишь, августовские любовники пробегают внизу с цветами,
голубые струи реклам бесконечно стекают с крыш,
вот ты смотришь вниз, никогда не меняйся местами,

никогда ни с кем, это ты себе говоришь.

Вот цветы и цветы, и квартиры с новой любовью,
с юной плотью входящей, всходящей на новый круг,
отдавая себя с новым криком и с новой кровью,
отдавая себя, выпуская цветы из рук.

Новый вечер шумит, что никто не вернется, над новой жизнью, [14]
что никто не пройдет под балконом твоим к тебе,
и не станет к тебе, и не станет, не станет ближе
чем к самим себе, чем к своим цветам, чем к самим себе.

1961

Проплывают облака

Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,
над сумеречными деревьями звенящие, звенящие голоса,
в сумеречном воздухе пропадающие, затихающие постепенно,
в сумеречном воздухе исчезающие небеса?

Блестящие нити дождя переплетаются среди деревьев
и негромко шумят, и негромко шумят в белесой траве.
Слышишь ли ты голоса, видишь ли ты волосы с красными гребнями,
маленькие ладони, поднятые к мокрой листве?

«Проплывают облака, проплывают облака и гаснут...» -
это дети поют и поют, черные ветви шумят,
голоса взлетают между листьев, между стволов неясных,
в сумеречном воздухе их не обнять, не вернуть назад.

Только мокрые листья летят на ветру, спешат из рощи,
улетают, словно слышат издали какой-то осенний зов.
«Проплывают облака...» – это дети поют ночью, ночью,
от травы до вершин все – биение, все – дрожание голосов.

Проплывают облака, это жизнь проплывает, проходит,
привыкай, привыкай, это смерть мы в себе несем,
среди черных ветвей облака с голосами, с любовью...
«Проплывают облака...» – это дети поют обо всем.

Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,
блестящие нити дождя переплетаются, звенящие голоса,
возле узких вершин в новых сумерках на мгновение
видишь сызнава, видишь сызнава угасающие небеса?

Проплывают облака, проплывают, проплывают над рощей.
Где-то льется вода, только плакать и петь, вдоль осенних оград,
все рыдать и рыдать, и смотреть все вверх, быть ребенком ночью,
и смотреть все вверх, только плакать и петь, и не знать утрат.

Где-то льется вода, вдоль осенних оград, вдоль деревьев неясных,
в новых сумерках пенье, только плакать и петь, только листья сложить.
Что-то выше нас. Что-то выше нас проплывает и гаснет,
только плакать и петь, только плакать и петь, только жить.

1961

Шествие

(поэма) [15]

Поэма-мистерия в двух частях-актах и в 42-х главах-сценах

Идея поэмы – идея персонификации представлений о мире, и в этом смысле она – гимн баналу. Цель достигается путем вкладывания более или менее приблизительных формулировок этих представлений в уста двадцати не так более, как менее условных персонажей. Формулировки облечены в форму романсов. Романс – здесь понятие условное, по существу – монолог. Романсы рассчитаны на произнесение – и на произнесение с максимальной экспрессией: в этом, а также в некоторых длиннотах сказывается мистерийный характер поэмы. Романсы, кроме того, должны произноситься высокими голосами: нижний предел – нежелательный – баритон, верхний – идеальный – альт. Прочие наставления – у Шекспира в «Гамлете», в 3 акте.

Часть I

Пора давно за все благодарить,
за все, что невозможно подарить
когда-нибудь, кому-нибудь из вас
и улыбнуться, словно в первый раз
в твоих дверях, ушедшая любовь,
но невозможно улыбнуться вновь.

Прощай, прощай – шепчу я на ходу,
среди знакомых улиц вновь иду,

подрагивают стекла надо мной,
растет вдали привычный гул дневной,
а в подворотнях гасятся огни.
– Прощай, любовь, когда-нибудь звони.

Так оглянись когда-нибудь назад:
стоят дома в прищуренных глазах,
и мимо них уже который год
по тротуарам шествие идет.

1

Вот Арлекин толкает свой возок,
и каплет пот на уличный песок,
и Колумбина машет из возка.
А вот Скрипач, в руках его тоска
и несколько монет. Таков Скрипач.
А рядом с ним вышагивает Плач,
плач комнаты и улицы в пальто,
блестящих проносящихся авто,
плач всех людей. А рядом с ним Поэт,
давно не брит и кое-как одет
и голоден, его колотит дрожь.
А меж домами льется серый дождь,
свисают с подоконников цветы,
а там, внизу, вышагиваешь ты.
Вот шествие по улице идет,
и кое-кто вполголоса поет,
а кое-кто поглядывает вверх,
а кое-кто поругивает век,

как, например, Усталый Человек.
И шум дождя, и вспышки сигарет,
шаги и шорох утренних газет,
и шелест непроглаженных штанин
(неплохо ведь в рейтузах, Арлекин),
и звяканье оставшихся монет,
и тени их идут за ними вслед.

Любите тех, кто прожил жизнь впотьмах
и не оставил по себе бумаг
и памяти какой уж ни на есть,
не помышлял о перемене мест,
кто прожил жизнь, однако же не став
ни жертвой, ни участником забав,
в процессию по случаю попав.
Таков герой. В поэме он молчит,
не говорит, не шепчет, не кричит,
прислушиваясь к возгласам других,
не совершая действий никаких.
Я попытаюсь вас увлечь игрой:
никем не замечаемый порой,
запомните – присутствует герой.

2

Вот шествие по улице идет.
Вот ковыляет Мышкин-идиот,
в накидке над панелью наклонясь.
– Как поживаете теперь, любезный князь,
уже сентябрь, и новая зима

еще не одного сведет с ума,
ах милый, успокойтесь наконец. -
Вот позади вышагивает Лжец,
посажена изящно голова,
лежат во рту великие слова,
а рядом с ним, окончивший поход,
неустршимый рыцарь Дон Кихот
беседует с торговцем о сукне
и о судьбе. Ах, по моей вине
вам предстает ужасная толпа,
рябит в глазах, затея так глупа,
но все не зря. Вот книжка на столе,
весь разговорчик о добре и зле
свести к себе не самый тяжкий труд,
наверняка тебя не заберут.
Поставь на стол в стакан букетик зла,
найди в толпе фигуру Короля,
забытых королей на свете тьма,
сейчас сентябрь, потом придет зима.
Процессия по улице идет,
и дождь среди домов угрюмо льет.
Вот человек, Бог знает чем согрет,
вот человек – за пару сигарет
он всем раскроет честности секрет,
кто хочет, тот послушает рассказ,
Честняга – так зовут его у нас.
Представить вам осмеливаюсь я
принц-Гамлета, любезные друзья -
у нас компания – все принцы да князья.
Осмелюсь полагать, за триста лет,

принц-Гамлет, вы придумали ответ
и вы его изложите. Идет.
Процессия по улице бредет,
и кажется, что дождь уже ослаб,
маячит пестрота одежд и шляп,
принц-Гамлет в землю устремляет взор,
Честняге на ухо бормочет Вор,
но гонит Вора Честности пример
(простите – Вор, представить не успел).
Вот шествие по улице идет,
и дождь уже совсем перестает,
не может же он литься целый век,
заметьте – вот Счастливый Человек
с обычною улыбкой на устах.
– Чему вы улыбнулись? – Просто так. -
Любовники идут из-за угла,
белеют обнаженные тела,
в холодной мгле навеки обнялись,
и губы побледневшие слились.
Все та же ночь у них в глазах пустых,
навеки обнялись, навек застыв,
в холодной мгле белеют их тела,
прошла ли жизнь или любовь прошла,
стекает вниз вода и белый свет
с любовников, которых больше нет.
Ступай, ступай, печальное перо,
куда бы ты меня не привело,
болтливое худое ремесло,
в любой воде плечи мое весло.
Так зарисуем пару новых морд:

вот Крысолов из Гаммельна и Чорт,
опять в плаще и чуточку рогат,
но, как всегда, на выдумки богат.

3

Достаточно. Теперь остановлюсь.

Такой сумбур, что я не удивлюсь,
найдя свои стихи среди газет,
отправленных читателем в клозет,
самих читателей объятых сном.

Поговорим о чем-нибудь ином.

Как бесконечно шествие людей,
как заунывно пение дождей,
среди домов, а Человек озяб,
маячит пестрота одежд и шляп,
и тени их идут за ними вслед,
и шум шагов, и шорох сигарет,
и дождь все льется, льется без конца
на Крысолова, Принца и Лжеца,
на Короля, на Вора и на Плач,
и прячет скрипку под пальто Скрипач,
и на Честнягу Чорт накинул плащ.
Усталый Человек закрыл глаза,
и брызги с дон-кихотова таза
летят на Арлекина, Арлекин
Торговцу кофту протянул – накинь.
Счастливец поднимает черный зонт,
Поэт потухший поднимает взор

и воротник. Князь Мышкин-идиот
склонился над панелью: кашель бьет;
процессия по улице идет,
и дождь, чуть прекратившийся на миг,
стекает вниз с любовников нагих.

Вот так всегда – когда ни оглянись,
проходит за спиной толпою жизнь,
неведомая, странная подчас,
где смерть приходит, словно в первый раз,
и где никто-никто не знает нас.

Прислушайся – ты слышишь ровный шум,
быть может, это гул тяжелых дум,
а может, гул обычных новостей,
а может быть – печальный ход страстей.

4. Романс Арлекина

По всякой земле
балаганчик везу,
а что я видал на своем веку:
кусочек плоти бредет внизу,
кусочек металла летит наверху.

За веком век, за веком век
ложится в землю любой человек,
несчастлив и счастлив,
зол и влюблен,
лежит под землей не один миллион.

Жалей себя, пожалей себя,
одни говорят – умирай за них,
иногда судьба,
иногда стрельба,
иногда по любви, иногда из-за книг.

Ах, будь и к себе и к другим не плох,
может, тебя и помилует Бог,
однако ты ввысь не особо стремись,
ведь смерть – это жизнь, но и жизнь – это жизнь. [16]

По темной земле балаганчик везу,
а что я видал на своем веку:
кусочек плоти бредет внизу,
кусочек металла летит наверху.

5. Романс Коломбины

Мой Арлекин чуть-чуть мудрец,
так мало говорит,
мой Арлекин чуть-чуть хитрец,
хотя простак на вид,
ах, Арлекину моему
успех и слава ни к чему,
одна любовь ему нужна,
и я его жена.

Он разрешит любой вопрос,

хотя на вид простак,
на самом деле он не прост,
мой Арлекин – чудака.
Увы, он сложный человек,
но главная беда,
что слишком часто смотрит вверх
в последние года.

А в облаках летят, летят,
летят во все концы,
а в небесах свистят, свистят
безумные птенцы,
и белый свет, железный свист
я вижу из окна,
ах, Боже мой, как много птиц,
а жизнь всего одна.

Мой Арлекин чуть-чуть мудрец,
хотя простак на вид, -
нам скоро всем придет конец -
вот так он говорит,
мой Арлекин хитрец, простак,
привык к любым вещам,
он что-то ищет в небесах
и плачет по ночам.

Я Коломбина, я жена,

я ежжу вслед за ним,
свеча в фургоне зажжена,
нам хорошо одним,
в вечернем небе высоко
птенцы, а я смотрю.
Но что-то в этом от того,
чего я не люблю.

Проходят дни, проходят дни
вдоль городов и сел,
мелькают новые огни
и музыка и сор,
и в этих селах, в городках
я коврик выношу,
и муж мой ходит на руках,
а я опять пляшу.

На всей земле, на всей земле
не так уж много мест,
вот Петроград шумит во мгле,
в который раз мы здесь.
Он Арлекина моего
в свою уводит мглу.
Но что-то в этом от того,
чего я не люблю.

Сожми виски, сожми виски,

сотри огонь с лица,
да, что-то в этом от тоски,
которой нет конца!
Мы в этом мире на столе
совсем чуть-чуть берем,
мы едем, едем по земле,
покуда не умрем.

6. Романс Поэта

Как нравится тебе моя любовь,
печаль моя с цветами в стороне,
как нравится оказываться вновь
с любовью на войне, как на войне.

Как нравится писать мне об одном,
входить в свой дом как славно одному,
как нравится мне громко плакать днем,
кричать по телефону твоему:

– Как нравится тебе моя любовь,
как в сторону я снова отхожу,
как нравится печаль моя и боль
всех дней моих, покуда я дышу.

Так что еще, так что мне целовать,
как одному на свете танцевать,
как хорошо плясать тебе уже,

покуда слезы плещутся в душе.

Все мальчиком по жизни, все юнцом,
с разбитым жизнерадостным лицом,
ты кружишься сквозь лучшие года,
в руке платочек, надпись «никогда».

И жизнь, как смерть, случайна и легка,
так выбери одно наверняка,
так выбери с чем жизнь свою сравнить,
так выбери, где голову склонить.

Все мальчиком по жизни, о любовь,
без устали, без устали пляши,
по комнатам расплескивая вновь,
расплескивая боль своей души.

7. Комментарий

Вот наш Поэт, еще не слишком стар,
он говорит неправду, он устал
от улочек ночных, их адресов,
пугающих предутренних часов,
от шороха дождя о диабаз,
от редких, но недружелюбных глаз,
от рева проносящихся машин,
от силуэтов горестных мужчин
здесь, в сумраке, от беспокойных слов,

Бог знает от чего. И от себя.

Он говорит: судьба моя, судьба
брести всю жизнь по улицам другим
куда-нибудь, к друзьям недорогим,
а может быть, домой сквозь новый дождь,
и ощущать реку, стекло и дрожь
худой листвы, идти, идти назад,
знакомый и обшарпанный фасад,
вот здесь опять под вечер оживать,
и с новой жизнью жизнь свою сшивать.

Все таковы. Да, все слова, стихи,
вы бродите среди нас, как чужаки,
но в то же время – близкие друзья:
любить нельзя и умирать нельзя,
но что-нибудь останется от вас, -
хотя б любовь, хотя б – в последний раз,
а может быть, обыденная грусть,
а может быть, одни названья чувств.

Вперед, друзья. Вперед. Adieu, tristesse. [17]

Поговорим о перемене мест,
поговорим о нравах тех округ,
где нету нас, но побывал наш друг -
печальный парень, рыцарь, доброхот,
известный вам идальго Дон Кихот.

8. Романс Дон Кихота

Копье мое, копье мое, копье,
оружие, имущество мое,
могущество мое таится в нем,
я странствую по-прежнему с копьем,
как хорошо сегодня нам вдвоем.

О чем же я. Ах, эти города,
по переулкам грязная вода,
там ничего особого, о да,
немало богачей встречаю я,
но нет ни у кого из них копья!

Копье мое, копье мое, копье,
имущество, могущество мое,
мы странствуем по-прежнему вдвоем,
когда-нибудь кого-нибудь убьем,
я странствую, я странствую с копьем.

Что города с бутылками вина,
к ним близится великая война,
безликая беда – и чья вина,
что городам так славно повезло.
Как тень людей – неуязвимо зло!

Так что же ты теперь, мое копье,
имущество мое, дитя мое.

Неужто я гляжу в последний раз,
кончается мой маленький рассказ,
греми на голове, мой медный таз!

Отныне одному из нас конец!

Прощай, прощай, о Санчо, мой мудрец,
прощайте все, я больше не могу,
блести, мой таз, как ангельский венец,
по улице с несчастьями бегу.

9. Комментарий

Смешной романс. Да, все мы таковы,
страдальцы торопливые, увы,
ведь мужество смешно, забавен страх,
легко теперь остаться в дураках.
Пойди пойми, над чем смеется век,
о, как тебе неловко, человек.

Так где-то на рассвете в сентябре
бредешь в громадном проходном дворе,
чуть моросит за чугуном ворот,
сухой рукой ты вытираешь рот,
и вот выходишь на пустой проспект,
и вдоль витрин и вымокших газет,
вдоль фонарей, оград, за поворот
все дальше ты уходишь от ворот,
в которых все живут твои друзья,
которых ни любить, ни гнать нельзя,

все дальше, дальше ты. И на углу
сворачиваешь в утреннюю мглу.

Ступай, ступай. И думай о себе.

В твоей судьбе, как и в любой судьбе,
переплелись, как теплые тела,
твои дела и не твои дела
с настойчивой усталостью души.

Ты слышишь эту песенку в тиши:

Вперед-вперед, отечество мое,
куда нас гонит храброе жулье,
куда нас гонит злобный стук идей
и хор апоплексических вождей.

Вперед-вперед, за нами правота,
вперед-вперед, как наша жизнь верна,
вперед-вперед, не жалко живота,
привет тебе, счастливая война.

Вперед-вперед, за радиожраньем,
вперед-вперед, мы лучше всех живем,
весь белый свет мы слопаем живьем,
хранимые лысеющим жульем,

хвала тебе, прелестный белый свет,
хвала тебе, удачная война,
вот я из тех, которым места нет,
рассчитывай не слишком на меня.

Прощай, прощай, когда-нибудь умру,
а ты, сосед, когда-нибудь ответь
Лжецу, который делает игру,
когда тебе понадобится смерть.

Ты слышишь эту песенку в тиши.
Иди, иди, пройти квартал спешу.
Ступай, ступай, быстрее проходи,
Ступай, ступай, весь город впереди.
Ступай, ступай, начнется скоро день
твоих и не твоих поспешных дел.
Вот так всегда – здесь время вдаль идет,
а кто-то в стороне о нем поет.
Ступай, ступай, быстрее проходи.
Иди, иди, весь город впереди.
Еще на день там возникает жизнь,
но к шествию ты присоединись,
а если надо – будешь впереди,
квартал с поющим песню обойди.

10. Баллада и романс Лжеца

Не в новость ложь и искренность не в новость,
попробуйте послушать эту повесть

о горестной истории Лжеца -
балладу без счастливого конца.

Баллада

Не в новость ложь и искренность не в новость.

Какую маску надевает совесть
на старый лик, в каком она наряде
появится сегодня в маскараде?

Бог ведает. Послушайте балладу,
но разделите нежность и браваду,

реальное событие с чудесами -

все это вы проделаете сами.

Придется покорпеть с моим рассказом,
ваш разум будет заходить за разум,
что в общем для меня одно и то же.

Потрудитесь. Но истина дороже.

Я шел по переулку / по проспекту,
как ножницы – шаги / как по бумаге,
вышагиваю я / шагает Некто
среди бела дня / наоборот – во мраке.

И вновь благоухали анемоны,
выкрикивали птицы над базаром,
гудели привокзальные колонны,

но я-то проходил среди развалин.

И, Господи, что виделось, что было,
как новая весна меня ловила,
и новым колесом автомобиля
меня на переулочках давила.

И новая весна уже лежала,
любовников ногами окружала
и шарила белесыми руками
и взмахивала тонкими кругами.

Благословен приятель победивший,
благословен удачливый мужчина,
благословен любовник, придавивший
ногой – весну, соперника – машиной.

Лови, лови. Лови меня на слове,
что в улице средь солнца и метели,
что во сто крат лежащий в луже крови
счастливее лежащего в постели.

Слова Лжеца – вы скажете. Ну что же.
Я щеголяю выдумкой и ложью,
лжецу всегда несчастья дороже:

они на правду более похожи.

Романс

Актер изображает жизнь и смерть,
натягивает бороду, парик.

– Попробуйте однажды умереть! -
знакомый Лжец открыто говорит.

Он вечно продолжает свой рассказ,
вы – вечно норовите улизнуть.
Заметив вас, он хочет всякий раз
о вашей жизни что-нибудь сболтнуть.

Он вводит вас в какой-то странный мир
сквозь комнаты дремучие, как лес,
он прячется за окнами квартир,
выкрикивает издали: Я здесь!

Все правильно. Вы чувствуете страх,
все правильно – вы прячете свой взор,
вы шепчете вослед ему – дурак,
бормочете – все глупости и вздор.

Друзья мои, я вам в лицо смотрю,
друзья мои, а вас колотит дрожь,
друзья мои, я правду говорю,
но дьявольски похожую на ложь.

11. Комментарий

Шаги и шорох утренних газет,
и шум дождя, и вспышки сигарет,
и утреннего света пелена,
пустые тени пасмурного дня,
и ложь, и правда, что-нибудь возьми,
что движет невеселыми людьми.
Так чувствуешь все чаще в сентябре,
что все мы приближаемся к поре
безмерной одинокости души,
когда дела все так же хороши,
когда все так же искренни слова
и помыслы, но прежние права,
которые ты выдумал в любви
к своим друзьям, – зови их, не зови,
звони им – начинают увядать,
и больше не отрадно увидеть
в иной зиме такой знакомый след,
в знакомцах новых тот же вечный свет.

Ты облетаешь, дерево любви.
Моей не задевая головы,
слетают листья к замершей земле,
к моим ногам, раставленным во мгле.

Ты все шумишь и шум твой не ослаб,
но вижу я в твоих ветвях октябрь,
все кажется – кого-то ты зовешь,
но с новою весной не оживешь.
Да, многое дала тебе любовь,
теперь вовеки не получишь вновь
такой же свет, хоть до смерти ищи
другую жизнь, как новый хлеб души.

Да, о Лжеце. Там современный слог
и легкий крик, но не возьму я в толк,
зачем он так несдержан на язык,
ведь он-то уже понял и привык
к тому – хоть это дьявольски смешно -
что ложь и правда, кажется, одно,
что лживые и честные слова
одна изобретает голова,
одни уста способны их сказать,
чему же предпочтенье оказать.
Как мало смысла в искренних словах,
цените ложь за равенство в правах
с правдивостью, за минимум возни,
а искренность – за привкус новизны. [18]
Пусть говорит Усталый Человек.
Чего мне ждать от этаких калек,
опять пойдут неловкий стихи,
чуть-чуть литературщины, тоски;
когда-нибудь коснешься тех же мук,
и городских элегий новый звук

опять взлетит. Ну, вот и цель и хлеб:
к своим ногам вымеривать их цепь,
к своей судьбе – и поперек и вдоль
у всех у них одна и та же боль.

12. Городская элегия

(Романс Усталого Человека)

Осенний сумрак листья шевелит
и новыми газетами белеет,
и цинковыми урнами сереет,
и облаком над улочкой парит.
И на мосту троллейбус тарахтит,
вдали река прерывисто светлеет,
а маленький комок в тебе болеет
и маленькими залпами палит.

И снова наступает забытье,
и льется свет от лампы до бумаги,
глядят в окно на странное житье
пугающие уличные знаки.
Комком бумажным катится твой век
вдоль подворотен, вдоль по диабазу
и в переулках пропадает сразу.
А ты смотри, ты все смотри наверх.

Хоть что-нибудь увидишь в небесах,
за новыми заметишь облаками.

Как странно обнаружить на часах
всю жизнь свою с разжатыми руками
и вот понять: она – как забытье,
что не прожив ее четвертой части,
нежданно оказался ты во власти
и вовсе отказаться от нее.

13. Комментарий

Читатель мой, куда ты запропал.
Ты пару монологов переспал,
теперь ты посвежел – сидишь, остришь,
а вечером за преф или за бридж
от нового романа улизнешь,
конечно, если раньше не заснешь.
Так, видимо, угоднее судьбе.
О чем же я горюю, о себе.
Пожалуй, нет. Привычно говорю.
Ведь я и сам немного дарю,
привычно говорю: читатель где!
И, кажется, читаю в пустоте.

Горюй, горюй, попробуем сберечь
всех персонажей сбивчивую речь,
что легче, чем сулить и обещать,
чем автора с героями смешать,
чем вздрагивая, хмыкая, сопя
в других искать и находить себя.
Горюй, горюй. Сквозь наши времена

плывут и проползают имена
других людей, которых нам не знать,
которым суждено нас обогнать,
хотя бы потому, что и для нас
трудней любить все больше каждый раз.

Итак, за сценой нарастает джаз,
и красные софиты в три луча
выносят к рампе песню Скрипача.

14. Романс Скрипача

Тогда, когда любовью с нами нет,
тогда, когда от холода горбат,
достань из чемодана пистолет,
достань и заложь его в ломбард.

Купи на эти деньги патефон
и где-нибудь на свете потанцуй
(в затылке нарастает перезвон),
ах, ручку патефона поцелуй.

Да, слушайте совета Скрипача,
как следует стреляться сгоряча:
не в голову, а около плеча!
Живите только плача и крича!

На блюдечке я сердце понесу
и где-нибудь оставлю во дворе.
Друзья, ах, догадайтесь по лицу,
что сердца не отыщется в дыре,

проделанной на розовой груди,
и только патефоны впереди,
и только струны-струны, провода,
и только в горле красная вода.

15. Комментарий

Он отнимает скрипку от плеча,
друзья, благодарите Скрипача.
Так завернем в бумажку пятаки
и – в форточку. И взмах его руки
на дне двора беспомощно мелькнет,
он медленно наклонится, вздохнет
и, растянув в полуулыбке рот,
упавшие монеты подберет.

Вот вспоминая года после войны.
По всем дворам скитаются они,
и музыка ползет вдоль темных стен
то дважды в день, а то и трижды в день.
Свистят, свистят весь день смычки калек,
как будто наступает новый век,
сплошное пенье, скрипки, кутерьма,
и струнами опутаны дома,

и все смычки военные свистят,
и пятаки по воздуху летят.

Как учит нас столетье выбирать
тот возраст, где удачней умирать,
где целый дом роняет из окна
тот возраст, где кончается война,
тот возраст, где ты шествовал меж пуль.
Ты голову просовываешь в ноль,
просовываешь новую тоску
в ноль с хвостиком, а хвостик – к потолку.

Но где они, куда они ушли
и где твои слова их не нашли.
Ведь это все звучало не вчера,
и, слыша только скрипки со двора,
сквозь эти дни все рушится вода.
К каким делам мы перешли тогда.

Была ли это правда, или ложь,
теперь наверняка не разберешь,
но кто-то был правдив, а кто-то лжив,
но кто-то застрелился, кто-то жив,
а кто играет до сих пор в кино,
но остальные умерли давно.

Но был другой – таким и надо быть -
кто ухитрился обо всем забыть,

своей игрой столовые пленяв.

Живи, живи. Мы встретимся на днях.

Живи в послевоенных городах,
играй в столовых, вечером – в садах,
играй, играй провинциальный вальс
и мальчикам подмигивай – для нас.
Твой день пройдет, мелькнет, как легкий тур
среди смычков, огней, клавиатур,
провинциальный клен прошелестит,
и женщина знакомая простит,
и Бог простит безумный краткий век
военных и заслуженных калек,
и ты уйдешь, не задолжав за хлеб,
но искус у окна преодолев...

16

И продолжать осмеливаюсь я.
Вперед, моя громоздкая ладья,
читатель мой, медлительность прости,
мне одному приходится грести.

Вот Арлекин в проулок повернул,
а Лжец Поэту ловко подмигнул
и, за руку схватив, повлек в проход,
за ними увязался Дон Кихот.

И вот они уже у входа в бар.
Усталый Человек на тротуар
бессильно опустился и заснул,
а дождь все лил, и разносился гул
дневных забот. Скрипач висел в петле.

А мы поговорим о Короле.

17. Баллада и романс Короля

Баллада

Жил-был король, жил-был король,
он храбрый был, как лев,
жил-был король, жил-был король,
король без королев.

Он, кроме хлеба, ничего
не ел, не пил вина,
одна отрада у него
была: война, война.

И день и ночь в седле, в седле,
и день и ночь с мечом
он мчался, мчался по земле,
и кровь лилась ручьем
за ним, за ним, а впереди
рассветный ореол,
и на закованной груди
во мгле мерцал орел.

Летели дни, неслись года,
он не смыкал очей,
о, что гнало его туда,
где вечный лязг мечей,
о, что гнало его в поход,
вперед, как лошадь – плеть,
о, что гнало его вперед
искать огонь и смерть.
И сеять гибель каждый раз,
топтать чужой посев...

То было что-то выше нас,
то было выше всех.

Ответь, ответь, найди ответ,
тотчас его забудь,
ответь, ответь, найди ответ,
но сам таким не будь.
Он пред врагами честь свою
и шпагу не сложил,
он жизнь свою прожил в бою,
он жизнь свою прожил!

Гони, гони, гони коней,
богатство, смерть и власть,
но что на свете есть сильнее,

но что сильнее, чем страсть.
Враги поймут, глупцы простят,
а кто заучит роль,
тот страстотерпец, тот солдат,
солдат, мертвец, король.

Простись, простись, простимся с ним,
простимся, чья вина,
что тишь да гладь нужна одним,
другим нужна война,
и дробь копыт, и жизни дробь,
походные костры.
Одним – удар земли о гроб,
другим – кларнет зари.

Романс

– Памятью убитых, памятью всех,
если не забытых, так все ж без вех,
лежащих беззлобно – пусты уста,
без песенки надгробной, без креста.

Я то уж, наверно, ею не храним,
кто-нибудь манерно плачет по ним,
плачет, поминает землю в горсти,
меня проклиная, Господь, прости.

Нет мне изгнания ни в рай, ни в ад,
долгое дознание, кто виноват,
дело-то простое, гора костей,
Господи, не стоит судить людей.

Ежели ты выжил – садись на коня,
что-то было выше, выше меня,
я-то проезжаю вперед к огню,
я-то продолжаю свою войну.

Я проезжаю. В конце – одно.
Я-то продолжаю, не все ли равно,
все-то на свете в говне, в огне,
саксофоны смерти поют по мне.

Радость или злобу сотри с лица,
орлик мой орлик, крылья на груди,
Жизни и Смерти нет конца,
где-нибудь на свете лети, лети.

18. Комментарий

Как нравится романс его тебе.
Гадай, как оказался он в толпе,
но только слишком в дебри не залезь,
и в самом деле, что он делал здесь,
среди дождя, гудков автомашин,
кто может быть здесь более чужим,

среди обвисших канотье, манжет
и старых пузырящихся газет,
чем вылезший на монотонный фон
нечесанный смятенный солдафон.

Кошмар столетья – ядерный грибок,
но мы привыкли к топоту сапог,
привыкли к ограниченной еде,
годами лишь на хлебе и воде,
иного ничего не бравши в рот,
мы умудрялись продолжать свой род,
твердили генералов имена,
и модно хаки в наши времена;
всегда и терпеливы и скромны,
мы жили от войны и до войны,
от маленькой войны и до большой,
мы все в крови – в своей или чужой.

Не привыкать. Вот взрыв издалека.
Еще планета слишком велика,
и нелегко все то, что нам грозит
не только осознать – вообразить.

Но оборву. Я далеко залез.
Политика. Какой-то темный лес.
И жизнь и смерть и скука до небес.

Что далее. А далее – зима.

Пока пишу, остывшие дома
на кухнях заворачивают кран,
прокладывают вату между рам,
теперь ты домосед и звездочет,
октябрьский воздух в форточку течет,
к зиме, к зиме все движется в умах,
и я гляжу, как за церковным садом
железо крыш на выцветших домах
волнуется, готовясь к снегопадам.

Читатель мой, сентябрь миновал,
и я все больше чувствую провал
меж временем, что движется бегом,
меж временем и собственным стихом.

Читатель мой, ты так нетерпелив,
но скоро мы устроим перерыв,
и ты опять приляжешь на кровать,
а, может быть, пойдешь потанцевать.

Читатель мой, любитель перемен,
ты слишком много требуешь взамен
поспешного вниманья твоего.

И мне не остается ничего,
как выдумать какой-то новый ход,
чтоб избежать обилия невзгод,
полна которых косвенная речь,
все для того, чтобы тебя увлечь. [19]

Я продолжаю. Начали. Пора.

Нравоучений целая гора
из детективной песенки Вора.

19. Романс Вора

Оттуда взять, отсюда взять.

Куда потом сложить.

Рукою в глаз, коленом в зад,

и так всю жизнь прожить.

И день бежит, и дождь идет,

во мгле бежит авто,

и кто-то жизнь у нас крадет,

но непонятно кто.

Держи-лови, вперед, назад,

подонок, сука, тать!

Оттуда взять, отсюда взять,

кому потом продать.

Звонки, гудки, свистки, дела,

в конце всего – погост,

и смерть пришла, и жизнь прошла

как будто псу под хвост.

Свистеть щеглом и сыто жить,

а также лезть в ярмо,

потом и то и то сложить
и получить дерьмо.

И льется дождь, и град летит,
везде огни, вода,
но чей-то взгляд следит, следит
за мной всегда, всегда.

Влезай, влетай в окно, птенец,
вдыхай амбре дерьма,
стрельба и смерть – один конец,
а на худой – тюрьма.

И жизнь и смерть в одних часах,
о, странное родство!
Всевышний сыщик в небесах
и чье-то воровство.

Тебе меня не взять, не взять,
не вдеть кольца в ноздрю,
рукою в глаз, коленом в зад,
и головой – в петлю!

20. Комментарий

Поэты утомительно поют,
и воры нам загадки задают.

Куда девался прежний герметизм.
На что теперь похожа стала жизнь.
Сплошной бордель.
Но мы проявим такт:
объявим-ка обещанный антракт.

Танцуйте все и выбирайте дам.
Осмеливаюсь я напомнить вам:
не любят дамы скучного лица.

Теперь уж недалеко до конца.

(Уходит, следует десятиминутный джазовый проигрыш)

Конец первой части

Часть II

Уже дома пустеют до зари,
листва – внизу, и только ветер дует,
уже октябрь, читатели мои,
приходит время новых поцелуев.
Спешат, спешат над нами облака
куда-то вдаль, к затихшей непогоде.
О чем писать, об этом ли уходе.
И новый свет бежит издалека,
и нам не миновать его лучей.
И, может быть, покажется скучней
мое повествование, чем прежде.

Но, Боже мой, останемся в надежде,
что все же нам удастся преуспеть:
вам – поумнеть, а мне – не поглупеть.
Я продолжаю. Начали. Вперед.

21

Вот шествие по улице идет.
Уж вечереет, город кроет тень.
Все тот же город, тот же год и день,
и тот же дождь и тот же гул и мгла,
и тот же тусклый свет из-за угла,
и улица все та ж, и магазин,
и вот толпа гогочущих разинь.
А вечер зажигает фонари.
Студентики, фарцмены, тихари,
грузины, блядуны, инженера
и потаскушки – вечная пора,
вечерняя пора по городам,
полупарад ежевечерних дам,
воришки, алкоголики – крупа...
Однообразна русская толпа.
О них еще продолжим разговор,
впоследствии мы назовем их – Хор.
Бредет сомнамбулический отряд.
Самим себе о чем-то говорят,
князь Мышкин, Плач, Честняга, Крысолов
о чем-то говорят, не слышно слов,
а только шум. Бредут, бредут хрипя,
навек погруженные в себя,
и над Счастливецем зонтик распростерт,

и прижимается к Торговцу Чорт,
принц Гамлет руки сложит на груди,
Любовники белеют позади.

Читатель мой, внимательней взгляни:

завесою дождя отделены
от нас с тобою десять человек.

Забудь на миг свой торопливый век
и недоверчивость на время спрячь,
и в улицу шагни, накинув плащ,
и, втягивая голову меж плеч,
ты попытайся разобрать их речь.

22. Романс князя Мышкина

В Петербурге снег и непогода,
в Петербурге горестные мысли,
проживая больше год от года,
удивляться в Петербурге жизни.
Приезжать на Родину в карете,
приезжать на Родину в несчастьи,
приезжать на Родину для смерти,
умирать на Родине со страстью.
Умираешь, ну и Бог с тобою,
во гробу, как в колыбельке чистой,
привыкать на родине к любви,
привыкать на родине к убийству.
Боже мой, любимых, пережитых,
уничтожить хочешь – уничтожишь,
подними мне руку для защиты,
если пощадить меня не можешь.
Если ты не хочешь. И не надо.

И в любви, испуганно ловимой,
поскользшись на родине и падай,
оказавшись во крови любимой.
Уезжать, бежать из Петербурга.
И всю жизнь летит до поворота,
до любви, до сна, до переулка
зимняя карета идиота.

23. Комментарий

А все октябрь за окном шумит,
и переулок за ночь перемыт
не раз, не два холодной водой,
и подворотни дышат пустотой.
Теперь все позже гаснут фонари,
неясный свет октябрьской зари
не заполняет мерзлые предместья,
и все ползет по фабрикам туман,
еще не прояснившимся умам
мерещатся последние известья,
и тархтя и стеклами, и жестью,
трамваи проезжают по домам.
(В такой-то час я продолжал рассказ.
Недоуменье непротертых глаз
и невниманье полусонных душ
и торопливость, как холодный душ,
сливались в ледяющую струю
и рушились в мистерию мою.)
Читатель мой, мы в октябре живем,
в твоём воображении живом
теперь легко представится тоска

несчастливого русского князька.

Ведь в октябре несложней тосковать,
морозный воздух молча целовать,
листать мою поэму...

Боже мой,
что, если ты ее прочтешь зимой,
иль в августе воротись домой
из южных путешествий, загорев,
и только во вступленьи надоев,
довольством и вниманием убит,
я буду брошен в угол и забыт,
чтоб поразмыслить над своей судьбой,
читатель мой...

А, впрочем, чорт с тобой!

Прекрасным людям счастья не дано.

Счастливого рассветное вино,
давно кружить в их душах перестав,
мгновенно высыхает на устах,
и снова погружаешься во мрак
прекраснодушный идиот, дурак,
и дверь любви запорами гремит,
и в горле горечь тягостно шумит.

Так пей вино тоски и нелюбви,
и смерть к себе испуганно зови,
чужие души робко беребя.

Но хватит комментариев с тебя.

Читатель мой, я надоел давно.

Но все же посоветую одно:

когда придет октябрь – уходи,
по сторонам презрительно гляди,

кого угодно можешь целовать,
обманывать, любить и блядовать,
до омерзенья, до безумья пить,
но в октябре не начинай любить.
(Я умудрен, как змей или отец.)
Но перейдем к Честняге, наконец.

24. Романс для Честняги и хора

Хор:

Здесь дождь, и дым, и улица,
туман и блеск огня.

Честняга:

Глупцы, придурки, умники,
послушайте меня,
как честностью прославиться
живя в добре и зле,
что сделать, чтоб понравиться
на небе и земле.

Я знал четыре способа:

– Покуда не умрешь
надеяться на Господа...

Хор:

Ха-ха, приятель, врешь!

Честняга:

Я слышу смех, иль кажется
мне этот жуткий смех.
Друзья, любите каждого,
друзья, любите всех -
и дальнего, и ближнего,
детей и стариков...

Хор:

Ха-ха, он выпил лишнего,
он ищет дураков!

Честняга:

Я слышу смех. Наверное
я слышу шум машин;
друзья, вот средство верное,
вот идеал мужчин:
– Берите весла длинные,
топор, пилу, перо, -
и за добро творимое
получите добро,
стучите в твердь лопатами,
марайте белый лист.
– Воздастся и заплатится...

Хор:

Ха-ха, приятель, свист!
Ты нас считаешь дурнями,

считаешь за детей.

Честняга:

Я слышу смех. Я думаю,

что это смех людей.

И я скажу, что думаю,

пускай в конце концов

я не достану курева

у этих наглецов.

О, как они куражатся,

но я скажу им всем

четвертое и, кажется,

ненужное совсем,

четвертое (и лишнее),

души (и тела) лень.

– За ваши чувства высшие

цепляйтесь каждый день,

за ваши чувства сильные,

за горький кавардак

цепляйтесь крепче, милые...

Хор:

А ну, заткнись, мудака!

Чего ты добиваешься,

ты хлебало заткни,

чего ты дорываешься

над русскими людьми.

Земля и небо – Господа,

но нам дано одно.

Ты знал четыре способа,

но все они – говно.

Но что-то проворонил ты:

чтоб сытно есть и пить,

ты должен постороннему

на горло наступить.

Прости, мы извиняемся,

но знал ли ты когда,

как запросто меняются

на пережной года,

взамен обеда сытного,

взамен «люблю – люблю», -

труда, но непосильного,

с любовью – по рублю.

И нам дано от Господа

немногое суметь,

но ключ любого способа,

но главное – посметь,

посметь заехать в рожу

и обмануть посметь,

и жизнь на жизнь похожа!

Честняга:

Но более – на смерть.

25. Комментарий

Предоставляю каждому судить,

кого здесь нужно просто посадить

на цепь и за решетку. Чудеса.
Не лучше ль будет отвести глаза?
И вновь увидеть золото аллей,
закат, который пламени алей,
и шум ветвей, и листья у виска,
и чей-то слабый вздох издалека,
и за Невою воздух голубой,
и голубое небо над собой.
И сердце бьется медленней в груди,
и кажется – все беды позади,
и даже голоса их не слышны.
И посредине этой тишины
им не связать оборванную нить,
не выйти у тебя из-за спины,
чтоб сад, и жизнь, и осень заслонить.
Стихи мои как бедная листва.
К какой зиме торопятся слова.
Но как листву – испуганно лови
вокруг слова из прожитой любви,
и прижимай ладони к голове,
и по газонной согнутой траве
спеши назад – они бегут вослед,
но, кажется, что впереди их нет.
Живи, живи под шум календаря,
о чем-то непрерывно говоря,
чтоб добежать до самого конца
и, отнимая руки от лица,
увидеть, что попал в знакомый сад,
и оглянуться в ужасе назад:
– Как велики страдания твои.

Но, как всегда, не зная для кого,
твори себя и жизнь свою твори
всей силою несчастья твоего.

26

Средь шумных расставаний городских,
гудков авто и гулов заводских,
и теплых магазинных площадей
опять встречать потерянных людей,
в какое-то мгновенье вспоминать
и всплескивать руками, догонять,
едва ли не попав под колесо,
да, догонять, заглядывать в лицо,
и узнавать, и тут же целовать,
от радости на месте танцевать
и говорить о переменах дел,
«да-да, я замечаю, похудел»,
«да-да, пора заглядывать к врачу»,
и дружелюбно хлопать по плечу,
и, вдруг заметив время на часах
и телефон с ошибкой записав,
опять переминаясь и спешить,
приятеля в объятьях придушить
и торопиться за трамваем вслед,
теряя человека на пять лет.
Так обойдется время и со мной.
Мы встретимся однажды на Сенной
и, пары предложений не сказав,
раздвинув рты и зубы показав,
расстанемся опять – не навсегда ль? -

и по Садовой зашагает вдаль
мой грозный век, а я, как и всегда,
через канал, неведомо куда.

27

Вот шествие по улице идет
и нас с тобою за собой ведет,
да, нас с тобой, мой невеселый стих.
И все понятней мне желанье их
по улице куда-нибудь плестись,
все отставать и где-то разойтись,
уже навек, чтоб затерялся след,
чтоб вроде бы их не было и нет,
и это не насмешка и не трюк,
но это проще, чем петля и крюк,
а цель одна и в тот и в этот раз,
да, цель одна: пусть не тревожат нас.
Пусть не тревожат нас в осенний день.
Нам нелегко, ведь мы и плоть и тень
одновременно, вместе тень и свет,
считайте так, что нас на свете нет,
что вас толкнула тень, а не плечо.
А нам прожить хотя бы день еще,
мы не помеха, не забьемся в щель.
А может быть, у них другая цель.
Перед тобою восемь человек,
забудь на миг свой торопливый век
и недоверчивость на время спрячь.
Вон, посмотри, проходит мимо – Плач.

28. Плач

В Петербурге сутолка и дрожь,
в переулках судорожный дождь,
вдоль реки по выбоинам скул
пробегают сумеречный гул.
Это плач по каждому из нас,
это город валится из глаз,
это про-летают у аллеи
скомканные луны фонарей.
Это крик по собственной судьбе,
это плач и слезы по себе,
это плач, рыдание без слов,
погребальный гром колоколов.
Словно смерть и жизнь по временам -
это служба вечная по нам,
это вырастают у лица,
как деревья, песенки конца.
Погребальный белый пароход,
с любовным венчиком из роз,
похоронный хор и хоровод,
как Харону дань за перевоз.
Это стук по нынешним правам,
это самый новый барабан,
это саксофоны за рекой,
это общий крик – за упокой.
Ничего от смерти не убрать.
Отчего так страшно умирать,
неподвижно лежа на спине,
в освещенной вечером стране.
Оттого, что жизни нет конца,

оттого, что сколько не зови,
все равно ты видишь у лица
тот же лик с глазами нелюбви.

29. Комментарий

Тоска, тоска. Хоть закричать в окно.

На улице становится темно,
и все труднее лица различать,
и все трудней фигуры замечать,
не все ль равно. И нарастает злость.

Перед тобой не шествие, а горсть
измученных и вымокших людей.

И различать их лица все трудней.

Все те же струйки около висков,
все то же тарахтенье башмаков,
тоска ложится поперек лица.

Далеко ли, читатель до конца.

Тоска, тоска. То тише, то быстрее
вдоль тысячи горящих фонарей,
дождевиков, накидок и пальто,
поблескивая, мечутся авто,
подъезды освещенные шумят,
как десять лет вперед или назад,
и залы театральные поют,
по-прежнему ища себе приют,
по улицам бездомные снуют.

А что бы ты здесь выбрал для себя.

По переулкам, истово трубя,
нестись в автомобиле или вдруг
в знакомый дом, где счастливый твой друг

в прихожей пальцем радостно грозит
за милый неожиданный визит,
а может – с торопливостью дыша,
на хоры подниматься не спеша,
а может быть, оплакивать меня,
по тем же переулкам семеня.
Но плакать о себе – какая ложь!
Как выберешь ты, так и проживешь.
Так научись минутой дорожить,
которую дано тебе прожить,
не успевая все пересмотреть,
в которой можно даже умереть,
побольше думай, друг мой, о себе,
оказываясь в гуще и в гурьбе,
быстрее выбирайся и взгляни
хоть раз – не изнутри – со стороны.
Так выбирай светящийся подъезд,
или пластмассу театральных мест,
иль дом друзей, бывшее возлюбя.
Но одного не забывай – себя.
Окончен день. Но это для него,
да, для полугероя моего.
А здесь все те же длятся чудеса,
здесь, как и прежде, время три часа,
а может быть – часы мои не лгут -
здесь вечность без пятнадцати минут.
Здесь время врет, а рядом вечность бьет,
и льется дождь, и шествие идет
куда-нибудь по-прежнему вперед,
и наш Торговец открывает рот.

30. Романс Торговца

На свете можно все разбить,
возможно все создать,
на свете можно все купить
и столько же продать.

Как просто ставить все в актив,
в пассив поставив кровь,
купив большой презерватив,
любовь и нелюбовь.

Но как бы долго ни корпел,
но сколько б ни копил,
смотри, как мало ты успел,
как мало ты купил.

Твой дом торговый прогорит,
ты выпрыгнешь в окно,
но Кто-то сверху говорит,
что это все равно.

Ох, если б Он не наезжал
по нескольку недель
в бордель, похожий на базар,
и в город – на бордель.

Когда б Он здесь и не бывал,
не приходил во сны,
когда б Господь не набивал
стране моей цены,
то кто бы взглядывал вперед,
а кто – по сторонам,
смотрел бы счастливый народ
назад по временам,

и кто-то б думал обо мне,
и кто-нибудь звонил,
когда бы смерть пришла – в огне
меня бы схоронил,
и пепел по ветру! как пыль,
не ладанку на грудь!
Как будто не было. Но был,
но сам таким не будь.
Прощай, мой пасынок, мой сын,
смотри, как я горю,
и взором взглядывай косым
на родину свою.
Над нами время промолчит,
пройдет не говоря,
и чья-то слава закричит
немая, не моя.
В погонах века своего,
как маленький простак,
вступай, мой пасынок, в него
с улыбкой на устах,
вдыхая сперму и бензин
посередине дня,
входи в великий магазин,
не вспоминай меня.

31. Комментарий

Увы, несчастливый пример
для тех, кто помнить и любить умел
свои несовершенные дела...
Но к нам идет жестокая пора,

идет пора безумного огня.

(О, стилизованный галоп коня,
и пена по блестящим стремянам,
и всадник Апокалипсиса – к нам!)

Идет пора... Становится темней.

Взгляни на полуплоть полутеней,

взгляни на шевелящиеся рты -

о, если б хоть таким остался ты.

Ведь, может быть, они – сквозь сотни лет

каких-то полных жизнью полусвет.

Огонь. Элементарная стрельба.

Какая элегантная судьба:

лицо на фоне общего гриба,

и небольшая плата наконец

за современный атомный венец

и за прелестный водородный гром...

О, человек наедине со злом!

Вы редко были честными, друзья.

Ни сожалеть, ни плакать здесь нельзя,

отходную столетию не спеть,

хотя бы потому, что не успеть,

хоть потому, что вот мы говорим,

а с одного конца уже горим

и, может статься, завтра этот День.

И кто прочтет мою поэму. Тень.

Огонь, огонь. Столетие – в ружье!

Но – плоть о плоть и влажное белье...

Огонь, огонь. Ты чувствуешь испуг.

...Но темнота и юной плоти стук

в ночи, как современный барабан

перед атакой, и выходит Пан
и не свирель, а флейту достает,
и лес полуразрушенный поет,
растут грибы и плещутся ручьи
сквозь сонные зачатия в ночи.
Играй, играй тревогу и печаль -
кого-нибудь оказывалось жаль,
но было поздно. Видимо, судьба.
И флейта, как архангела труба,
на Страшный Суд меня не позовет.
Вот шествие по улице идет,
и остается пятеро уже.
Так что там у Счастливица на душе.

32. Романс Счастливица

Ни родины, ни дома, ни изгнания,
забвенья – нет, и нет – воспоминанья,
и боли, вызывающей усталость,
из прожитой любви не осталось.
Как быстро возвращаются обратно
встревоженные чувства, и отрадно,
что снова можно радостно и нервно
знакомцу улыбаться ежедневно.
Прекрасная, изысканная мука -
смотреть в глаза возлюбленного друга
на освещенной вечером отчизне
и удивляться продолженью жизни.
Я с каждым днем все чаще замечаю,
что все, что я обратно возвращаю, -
то в августе, то летом, то весной, -

какой-то странной блещет новизною.
Но по зиме и по земле холодной
пустым, самоуверенным, свободным
куда как легче, как невозмутимей
искать следы любви невозвратимой.
Но находить – полужнакомых женщин,
тела, дома и голоса без трещин,
себя – бегущим по снегу спортсменом,
всегда себя таким же неизменным.
Какое удивительное счастье
узнать, что ты над прожитым не властен,
что то и называется судьбою,
что где-то протянулось за тобою:
моря и горы – те, что переехал,
твои друзья, которых ты оставил,
и этот день посередине века,
который твою молодость состарил, -
– все потому, что чувствуя поспешность,
с которой смерть приходит временами,
фальшивая и искренная нежность
кричит, как жизнь, бегущая за нами.

33. Комментарий

Волнение чернеющей листвы,
волненье душ и невское волненье,
и запах загнивающей травы,
и облаков белесое гоненье,
и странная вечерняя тоска,
живущая и замкнутая немо,
и ровное дыхание стиха,

нежданно посетившее поэму
в осенние недели в октябре, -
мне радостно их чувствовать и слышать,
и снова расставаться на заре,
когда светлеет облако над крышей
и посередине грязного двора
блестит вода, пролившаяся за ночь.
Люблю тебя, рассветная пора,
и облаков стремительную рваность
над непокорной влажной головой,
и молчаливость окон над Невой,
где все вода вдоль набережных мчится
и вновь не происходит ничего,
и далеко, мне кажется, вершится
мой Страшный суд, суд сердца моего.
Я затянул, что дальше и нельзя.
Но скоро все окончится, друзья.
Да, слишком долго длится мой рассказ -
часы не остановятся для вас.
Что ж, хорошо. И этому я рад.
Мои часы два месяца стоят,
и шествие по улицам идет.
Толпа то убывает, то растет,
и, не переставая, дождик льет.
И жизнь шумит и зажигает свет,
и заболевших навещает смерть,
распахивая форточки квартир
и комнаты с багетами картин,
с пюпитрами роялей, с тишиной,
где Дочь с Отцом, где Бедный Муж с Женой

прощаются, и привыкаешь сам
считать по чувствам, а не по часам
бегущий день. И вот уже легко
понять, что до любви недалеко,
что, кажется, войны нам не достать,
до брошенных друзей рукой подать.
Как мало чувств, как мало слез из глаз
меж прежних нас и современных нас.
Так чем же мы сейчас разделены
с вчерашним днем. Лишь чувством новизны,
когда над прожитым поплачешь всласть,
над временем захватывая власть.
Октябрь, октябрь, и колотье в боку,
и самое несносное, наверно,
вдруг умереть на левом берегу
реки, среди которой ежедневно
искал и находил кричащих птиц,
и сызнова по набережным бледным
вдоль улочек и выцветших больниц
ты проносился, вздрагивал и медлил.
Октябрь, октябрь. Пойти недалеко
и одинокость выдать за свободу.
Октябрь, октябрь, на родине легко
и без любви прожить четыре года,
цепляться рукавом за каждый куст,
в пустом саду оказываться лишним
и это описание правды чувств
опять считать занятием невысшим.

Все холоднее в комнате моей,
все реже слышно хлопанье дверей
в квартире, замирающей к обеду,
все чаще письма сыплются соседу,
а у меня – сквозь приступы тоски -
все реже телефонные звонки.

Теперь полгода жить при темноте,
ладони согревать на животе,
писать в обед, пока еще светло,
смотреть в заиндевшее стекло,
и, как ребенку, радоваться дням,
когда знакомцы приезжают к нам.

Настали дни прозрачные, как свист
свирели или флейты. Мертвый лист
настойчиво желтеет меж стволов,
и с пересохших теннисных столов
на берегу среди финляндских дач
слетает век, как целлулойдный мяч.

Так в пригород и сизнова назад
приятно возвращаться в Ленинград
из путешествий получасовых,
среди кашне, платочков носовых,
среди газет, пальто и пиджаков,
приподнятых до глаз воротников
и с цинковым заливом в голове
пройти у освещенного кафе.

Закончим нашу басню в ноябре.

В осточертевшей тягостной игре
не те заводки, выкрики не те,
прощай, прощай, мое моралитэ

(и мысль моя – как белочка и круг).

Какого чорта в самом деле, друг!

Ведь не затем же, чтоб любитель книг

тебе вослед мигнул: Философик!

и хохотнул, а кто-нибудь с тоской

сочувственно промолвил бы: «на кой».

Так что там о заливе – цвет воды

и по песку замерзшему следы,

рассохшиеся дачные столы,

вода, песок, сосновые стволы,

и ветер все елозит по коре.

Закончим нашу басню в ноябре,

кота любви подтягивай к мешку.

Любовников пропустим по снежку.

35 – 36. Романсы Любовников

1

– Нет действия томительней и хуже,
медлительней, чем бегство от любви.

Я расскажу вам басню о союзе,

а время вы подставите любое.

Вот песенка о Еве и Адаме,

вот грезы простолюдина о фее,

вот мадригалы рыцаря о даме

и слезы современного Орфея.

По выпуклости-гладкости асфальта,

по сумраку, по свету Петрограда

гони меня – любовника, страдальца,

любителя, любимчика разлада.

Гони меня, мое повествованье,

подалее от рабства или власти
куда-нибудь – с развалин упования
на будущие искренние страсти.
Куда-нибудь. Не ведаю. По свету.
Немного на свете выбирая
из горестей, но радостно по следу,
несчастье по следу посылая.
Как всадники безумные за мною,
из прожитого выстрел за спиною,
так зимняя погоня за любовью
окрашена оранжевою кровью.
Так что же нам! Растущее мерцанье,
о Господи, как яростно и быстро.
Не всадника ночное восклицанье,
о Господи, а крик Мотоциклиста.
Так гонятся за нами не по следу -
по возгласу, по выкрику, по визгу,
все вертятся колесики по свету
и фарами выхватывают жизни.
Разгневанным и памятливым оком
оглянешься – и птицею воскреснешь
и обернешься вороном и волком
и ящеркой в развалинах исчезнешь.
И вдруг себя почувствуешь героем,
от страха и от радости присвистни,
как будто домик в хаосе построил
по всем законам статики и жизни.

– Бежать, бежать через дома и реки,
и все кричать – мы вместе не навеки,
останься здесь и на плече повисни,
на миг вдвоем посередине жизни.
И шум ветвей как будто шорох платья,
и снег лежит, и тишина в квартире,
и горько мне теперь твое объятие,
соединенье в разобщенном мире.
Нет-нет, не плачь, ты все равно уходишь,
когда-нибудь ты все равно находишь
у петроградских тарахтящих ставней
цветов побольше у ограды давней.[20]
И только жизнь меж нас легко проходит
и что-то вновь из наших душ уносит,
и шумный век гудит, как пароходик,
и навсегда твою любовь уносит.
Бежит река, и ты бежишь вдоль берега,
и быстро сердце устает от бега,
и снег кружит у петроградских ставень,
взмахни рукой – теперь ты все оставил.
Нет-нет, не плачь, когда других находят,
пустой рассвет легко в глаза ударит,
нет-нет, не плачь о том, что жизнь проходит
и ничего тебе совсем не дарит.
Всего лишь жизнь. Ну вот, отдай и это,
ты так страдал и так просил ответа,
спокойно спи. Здесь не разлюбят, не разбудят,
как хорошо, что ничего взамен не будет.

37. Комментарий

Любовник-оборотень, где же ты теперь,
куда опять распахиваешь дверь,
в какой парадной сызнова живешь,
в каком окошке вороном поешь.
Все ерунда. Ты в комнате сидишь
с газетой, безучастный к остальному.
Кто говорит, что вороном летишь
и серым волком по лесу ночному.
Все ерунда. Ты, кажется, уснул,
ты в сердце все утраты переставил,
ты, кажется, страдания обманул,
послушному уму их предоставил...
И нет тебя как будто бы меж нас,
и бьют часы о том, что поздний час,
и радио спокойно говорит,
и в коридоре лампочка горит.
Но всякий раз, услышав ночью вой,
я пробуждаюсь в ужасе и страхе:
да, это ты вороной и совой
выпрыгиваешь из дому во мраке.
О чем-нибудь, о чем-нибудь ином,
о чем-нибудь настойчиво и нервно,
о комнате с завешенным окном...
Но в комнате с незапертою дверью
рост крыльев в полуночные часы
и перьев шум. И некуда мне деться,
Любовник-оборотень, Господи спаси,
спаси меня от страшного соседства.
Проходит в коридоре человек,
стучит когтями по паркету птица

и в коридоре выключает свет
и выросшим крылом ко мне стучится.
Явление безумия в ночи,
нежданность и испуганность простится,
не прячься, не юродствуй, не кричи, -
никто теперь в тебе не загостится
подолее, чем нужно небесам,
подолее, чем в ночь под воскресенье,
и вскоре ты почувствуешь и сам,
что бедный ум не стоит опасенья,
что каждому дано не по уму.
Да, скоро ты и в этом разберешься
и к бедному безумью своему
привыкнешь и с соседями сживешься.
Прекрасный собеседник у меня!
Вот птичий клюв и зубы человека,
вот, падая, садясь и семеня,
ко мне, полуптенец, полукалека,
скачками приближается на миг
и шепчет мне и корчится от боли:
– Забавный птенчик в городе возник
из пепла убывающей любви,
ха-ха, а вот и я, и погляди,
потрогай перья на моей груди,
там раньше только волосы росли,
татуировки розами цвели,
а вот глаза – не бойся, идиот...

38

Вот шествие по улице идет,

поэма приближается к концу,
читатель рад, я вижу по лицу.

А, наплевать. Я столько говорил,
прикидывался, умничал, острил
и добавлял искусственно огня...

Но кто-то пишет далее меня.

Вот пешеход по улице кружит,
и снегопад вдоль окон мельтешит,
читатель мой, как заболтались мы,
глядишь – и не заметили зимы.

Пустеть домам, и улицам пустеть,
деревьям, не успевшим облететь,
теперь дрожать, чернеть на холоду,
страдать у перекрестков на виду;
а мы уже торопимся, живем,
при полумраке, полумрак жуем,
не отличая полночь от зари,
и целый день не гаснут фонари,
и солнце багровеет в небесах,[21]
и все, кто мог, уехали давно.

По вечерам мы ломимся в кино,
но выходя – мы снова в лапах вьюг.

И птицы унеслись на юг,
и голоса их в Грузии слышны;
одни вороны северу верны,
и в парках, и в бульварах городских
теперь мы замечаем только их,
и снова отражается в глазах
их каркающий крестик в небесах,
и снежный город холоден и чист,

как флейты Крысолова свист.

Вот пешеход по городу кружит,
в простом плаще от холода дрожит,
зажав листок в комочек кулака,
он ищет адрес. Он издалека.

Пойдем за ним. Он не заметит нас,
он близорук, а нынче поздний час,
а если спросит – как-то объясним.

Друзья мои, отправимся за ним.

Кого он ищет в городе моем.

Теперь на снежной улочке вдвоем
остались мы. Быть может, подойти.

Но нет. Там постовые впереди.

Так кто же он, бездомный сей юнец.

...

Кто хочет, тот послушает конец!

Из Гаммельна до Питера гонец
в полвека не домчится, Боже мой,
в дороге обзаводится семьей
и умирает в полпути, друзья!

В Россию приезжают Сыновья.

39. Романс для Крысолова и Хора

Шум шагов,

шум шагов,

бой часов,

снег летит,

снег летит,

на карниз.

Если слы-

шишь приглу-
шенный зов,
то спускай-
ся по лест-
нице вниз.
Город спит,
город спит,
спят дворцы,
снег летит
вдоль ночных
фо-нарей,
Город спит,
город спит,
спят отцы,
обхватив
животы
матерей.
В этот час,
в этот час,
в этот миг
над карни-
зами кру-
жится снег,
в этот час
мы уxo-
дим от них,
в этот час
мы уxo-
дим навек.
Нас ведет

Крысолов!
Крысолов!
вдоль па-не-
лей и цин-
ковых крыш,
и звенит
и летит
из углов
светлый хор
возвратив-
шихся крыс.
Вечный мальчик,
молодчик,
юнец,
вечный мальчик,
любовник,
дружок,
бер-нись
огля-нись,
наконец,
как вита-
ет над на-
ми снежок.
За спи-ной
полусвет,
полумрак,
только пят-
нышки, пят-
нышки глаз,
кто б ты ни

был – подлец
иль дурак,
все равно
здесь не вспом-
нят о нас!
Так за флей-
той настой-
чивей мчись,
снег следы
за-метет,
за-несет,
от безумья
забвением
лечись!
От забвения
безумье
спасет.
Так спаси-
бо тебе,
Крысолов,
на чужби-
не отцы
голосят,
так спаси-
бо за слав-
ный улов,
никаких
возвраще-
ний назад.
Как он вы-

глядит – брит
или лыс,
наплевать
на при-чес-
ку и вид,
но счастли-
вое пе-
ние крыс
как всегда
над Россией
звенит!

Вот и жизнь,
вот и жизнь
пронеслась,
вот и город
заснежен
и мглист,
только пом-
нишь безум-
ную власть
и безум-
ный уве-
ренный свист.

Так запомни
лишь несколько
слов:
нас ведет
от зари
до зари,
нас ведет

Крысолов!
Крысолов!
Нас ведет
Крысолов -
повтори.

40. Романс принца Гамлета

Как быстро обгоняют нас
возлюбленные наши.
Видит Бог,
но я б так быстро добежать не смог
и до безумья.
Ох, Гораций мой,
мне, кажется, пора домой.
Поля, дома, закат на волоске,
вот Дания моя при ветерке,
Офелия купается в реке.
Я – в Англию.
Мне в Англии не быть.
Кого-то своевременно любить,
кого-то своевременно забыть,
кого-то своевременно убить,
и сразу неременная тюрьма -
и спятить своевременно с ума.
Вот Дания. А вот ее король.
Когда-нибудь и мне такая роль...
А впрочем – нет...
Пойду-ка прикурю...
Гораций мой, я в рифму говорю!
Как быстро обгоняют нас

возлюбленные наши.

В час безумья

мне кажется – еще нормален я,

когда давно Офелия моя

лепечет языком небытия.

Так в час любви, в час безумья – вы,

покинув освещенные дома,

не зная ни безумства, ни любви,

целуете и сходите с ума.

Мне кажется, что сбился мой берет.

Вот кладбище – прекрасный винегрет,

огурчики – налево и направо,

еще внизу,

а сверху мы – приправа.

Не быть иль быть – вопрос прямолинейный

мне задает мой бедный ум, и нервный

все просится ответ: не быть, не быть,

кого-то своевременно забыть,

кого-то своевременно любить,

кого-то своевременно... Пстой!

Не быть иль быть! – какой-то звук пустой.

Здесь все, как захотелось небесам.

Я, впрочем, говорил об этом сам.

Гораций мой, я верил чудесам,

которые появятся извне.

Безумие – вот главное во мне.

Позор на Скандинавский мир.

Далеко ль до конца, Вильям Шекспир?

Далеко ль до конца, милорд.

Какого чорта, в самом деле...

41. Чорт!

Новобранцы, новобранцы, новобранцы!

ожидается изысканная драка,

принимайте новоявленного братца,

короля и помазанника из мрака.

Вот я снова перед вами – одинокий,

беспокойный и участливый уродец,

тот же самый черно-белый, длинноногий,

одинокий и рогатый полководец.

Перед веком, перед веком, перед Богом,

перед Господом, глупеющим под старость,

перед боем в этом городе убогом

помолитесь, чтобы что-нибудь осталось.

Все, что брошено, оставлено, забыто,

все, что «больше не воротится обратно»,

возвращается в беспомощную битву,

в удивительную битву за утраты.

Как фонарики, фонарики ручные,

словно лампочки на уличных витринах,

наши страсти, как страдания ночные,

этой плоти – и пространства поединок.

Так прислушивайтесь к уличному вою,

возникающему сызнова из детства,

это к мертвому торопится живое,

совершается немыслимое бегство.

Что-то рядом затевается на свете,

это снова раздвигаются кровати,

пробуждаются солдаты после смерти,

просыпаются любовники в объятьях.

И по новой зачинаются младенцы,
и поют перед рассветом саксофоны,
и торопятся, торопятся одеться
новобранцы, новобранцы, солдафоны.
Как вам нравится ваш новый полководец!
Как мне нравится построенный народец,
как мне нравятся покойники и дети,
саксофоны и ударник на рассвете!
Потому что в этом городе убогом,
где отправят нас на похороны века,
кроме страха перед Дьяволом и Богом,
существует что-то выше человека.

42

Три месяца мне было что любить,
что помнить, что твердить, что торопить,
что забывать на время. Ничего.
Теперь зима – и скоро Рождество,
и мы увидим новую толпу.
Давно пора благодарить судьбу
за зрелища, даруемые нам
не по часам, а иногда по дням,
а иногда – как мне – на месяца.
И вот теперь пишу слова конца,
стучит машинка. Смолкший телефон
и я – мы слышим колокольный звон
на площади моей. Звонит собор.
Из коридора долетает спор,
и я слова последние пишу.
Ни у кого прощенья не прошу

за все дурноты. Головы склоня,
молчат герои. Хватит и с меня.
Стучит машинка. Вот и все, дружок.
В окно летит ноябрьский снежок,
фонарь висячий на углу кадит,
вечерней службы колокол гудит,
шаги моих прохожих замело.
Стучит машинка. Шествие прошло.

сентябрь – ноябрь 1961, Ленинград

Рождественский романс [22]

Евгению Рейну, с любовью

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку

такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой,
пловец в несчастье случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый Год, под воскресенье,
плывет красotka записная,
своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,

и пахнет сладкою халвою;
ночной пирог несет сочельник
над головою.

Твой Новый Год по темно-синей
волне среди моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

28 декабря 1961

Я как Улисс

О. Б.

Зима, зима, я еду по зиме,
куда-нибудь по видимой отчизне,
гони меня, ненастье, по земле,
хотя бы вспять, гони меня по жизни.

Ну вот Москва и утренний уют
в арбатских переулках парусинных,
и чужаки по-прежнему спуют
в январских освещенных магазинах.

И желтизна разрозненных монет,
и цвет лица криптоновый все чаще,
гони меня, как новый Ганимед
хлебну земной изгнаннической чаши

и не пойму, откуда и куда
я двигаюсь, как много я теряю
во времени, в дороге повторяя:
ох, Боже мой, какая ерунда.

Ох, Боже мой, не многого прошу,
ох, Боже мой, богатый или нищий,
но с каждым днем я прожитым дышу
уверенней и сладостней и чище.

Мелькай, мелькай по сторонам, народ,
я двигаюсь, и, кажется отрадно,
что, как Улисс, гоню себя вперед,
но двигаюсь по-прежнему обратно.

Так человека встречного лови
и все тверди в искусственном порыве:
от нынешней до будущей любви
живи добрей, страдай неприхотливей.

1961

* * *

Бессмертия у смерти не прошу.
Испуганный, возлюбленный и нищий, -
но с каждым днем я прожитым дышу
уверенней и сладостней и чище.

Как широко на набережных мне,
как холодно и ветрено и вечно,
как облака, блестящие в окне,
надломленны, легки и быстротечны.

И осенью и летом не умру,
не всколыхнется зимняя простынка,
взгляни, любовь, как в розовом углу
горит меж мной и жизнью паутинка.

И что-то, как раздавленный паук,
во мне бежит и странно угасает.
Но выдохи мои и взмахи рук
меж временем и мною повисают.

Да. Времени – о собственной судьбе

кричу все громче голосом печальным.

Да. Говорю о времени себе,
но время мне отвечает молчаньем.

Лети в окне и вздрагивай в огне,
слетай, слетай на фитилечек жадный.
Свисти, река! Звони, звони по мне,
мой Петербург, мой колокол пожарный.

Пусть время обо мне молчит.
Пускай легко рыдает ветер резкий
и над моей могилою еврейской
младая жизнь настойчиво кричит.

1961 (?)

* * *

В деревне никто не сходит с ума.
По темным полям здесь приходит труд.
Вдоль круглых деревьев стоят дома,
в которых живут, рожают и мрут.
В деревне крепче сожми виски.
В каждой деревне растет трава.
В этой деревне сквозь шум реки
на круглых деревьях шумит листва.

Господи, Господи, в деревне светло,
и все, что с ума человека свело,
к нему обратится теперь на ты.
Смотри, у деревьев блестят цветы
(к бывшему мосты), но ведь здесь паром,
как блещет в твоём мозгу велодром,
умолкшей музыки ровный треск
и прямо в зубы кричит, кричит.
Из мертвой чаши глотает трек,
к лицу поднося деревянный щит.

В деревне никто не сходит с ума.
С белой часовни на склоне холма,
с белой часовни, аляповат и суров,
смотрит в поля Иоанн Богослов.
Спускаясь в деревню, посмотришь вниз -
пылит почтальон-велосипедист,
а ниже шумит река,
паром чернеет издалика,

на поезд успеешь наверняка.
А ты не уедешь, здесь денег нет
в такую жизнь покупать билет.
На всю деревню четыре письма.
В деревне никто не сходит с ума.
В пальто у реки посмотри на цветы,
капли дождя заденут лицо,
падают на воду капли воды

и расходятся, как колесо.

1961 (?)

В темноте у окна

В темноте у окна,
на краю темноты
полоса полотна
задевает цветы.

И, как моль, из угла
устремляется к ней
взгляд, острее, чем игла,
хлорофилла сильнее.

Оба вздрогнут – но пусть:

став движеньем одним,
не угроза, а грусть
устремляется к ним,
и от пут забытья
шорох век возвратит:
далеко до шитья
и до роста в кредит.

Страсть – всегда впереди,
где пространство мельчит.

Сзади прялкой в груди
Ариадна стучит.

И в дыру от иглы,
притупив острие,
льются речки из мглы,
проглотившей ее.

Засвети же свечу
или в лампочке свет.
Темнота по плечу
тем, в ком памяти нет,
кто, к минувшему глух
и к грядущему прост,
устремляет свой дух
в преждевременный рост.

Как земля, как вода
под небесною мглой,
в каждом чувстве всегда
сила жизни с иглой.
И, невольным объят
страхом, вздрогнет, как мышь,
тот, в кого ты свой взгляд
из угла устремишь.

Засвети же свечу
на краю темноты.
Я увидеть хочу
то, что чувствуешь ты

в этом доме ночном,
где скрывает окно,
словно скатерть с пятном
темноты, полотно.

Ставь на скатерть стакан,
чтоб он вдруг не упал,
чтоб сквозь стол-истукан,
словно соль, проступал,
незаметный в окно,
ослепительный Путь -
будто льется вино
и вздымается грудь.

Ветер, ветер пришел,
шелестит у окна.
Укрывается ствол
за квадрат полотна.
И трепещут цветы
у него позади
на краю темноты,
словно сердце в груди.

Натуральная тьма
наступает опять,
как движенье ума
от метафоры вспять,

и сиянье звезды
на латуни осей
глушит звуки езды
по дистанции всей.

1961 (?)

* * *

...Мой голос, торопливый и неясный,
тебя встревожит горечью напрасной,
и над моей ухмылкой усталой
ты склонишься с печалью запоздалой,
и, может быть, забыв про все на свете,
в иной стране – прости! – в ином столетьи
ты имя вдруг мое шепнешь беззлобно,
и я в могиле торопливо вздрогну.

23 января 1962

Письмо к А. Д.

Все равно ты не слышишь, все равно не услышишь ни слова,
все равно я пишу, но как странно писать тебе снова,
но как странно опять совершать повторенье прощанья.
Добрый вечер. Как странно вторгаться в молчанье.

Все равно ты не слышишь, как опять здесь весна нарастает,
как чугунная птица с тех же самых деревьев слетает,

как свистят фонари, где в ночи ты одна проходила,
распускается день – там, где ты в одиночку любила.

Я опять прохожу в том же светлом раю, где ты долго болела,
где в шестом этаже в этой бедной любви одиноко смелела,
там где вновь на мосту собираются красной гурьбою
те трамваи, что всю твою жизнь торопливо неслись за тобою.

Боже мой! Все равно, все равно за тобой не угнаться,
все равно никогда, все равно никогда не подняться
над отчизной своей, но дано увидеть на прощанье,
над отчизной своей ты летишь в самолете молчанья.

Добрый путь, добрый путь, возвращайся с деньгами и славой.
Добрый путь, добрый путь, о как ты далека, Боже правый!
О куда ты спешишь, по бескрайней земле пробегая,
как здесь нету тебя! Ты как будто мертва, дорогая.

В этой новой стране непорочный асфальт под ногою,
твои руки и грудь – ты становишься смело другою,
в этой новой стране, там где ты обнимаешь и дышишь,
говоришь в микрофон, но на свете кого-то не слышишь.

Сохраняю твой лик, устремленный на миг в безнадежность, -
безразличный тебе – за твою уходящую нежность,

за твою одинокость, за слепую твою однодумность,
за смятение твое, за твою молчаливую юность.

Все, что ты обгоняешь, отстраняешь, приносишься мимо,
все, что было и есть, все, что будет тобою гонимо, -
ночью, днем ли, зимою ли, летом, весною
и в осенних полях, – это все остается со мною.

Принимаю твой дар, твой безвольный, бездумный подарок,
грех отмытый, чтоб жизнь распахнулась, как тысяча арок,
а быть может, сигнал – дружелюбный – о прожитой жизни,
чтоб не сбиться с пути на твоей невредимой отчизне.

До свиданья! Прощай! Там не ты – это кто-то другая,
до свиданья, прощай, до свиданья, моя дорогая.
Отлетай, отплывай самолетом молчанья – в пространстве мгновенья,
кораблем забыванья – в широкое море забвенья.

27 января 1962

* * *

Уже три месяца подряд
под снегопад с аэродрома
ты едешь в черный Петроград,
и все вокруг тебе знакомо.
И все жива в тебе Москва,

и все мерещится поспешно
замоскворецкая трава,
замоскворецкие скворешни.
Летит автобус в декабре,
но все, по-прежнему печальный,
стоит в обшарпанном дворе
мой брат, мой родственник недалкий,
и трубный голос слышу я
и, как приказу, повинуюсь.
– Прошла ли молодость твоя.

Прошла, прошла. Я не волнуюсь.
Отъездом в дальние края,
отлетом в близкую отчизну
трехчасового забытья
предвижу медленную тризну
и повторяю: не забудь.
Пускай не преданность, а верность
храни в себе кому-нибудь
и новой родины поверхность
под освещением косым
люби, куда б ни закатился,
и вспоминай ее, как сын,
который с братьями простился.

январь 1962

* * *

М. Б.

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидал, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал. Поблескивал паркет.
Темнела печка. В раме запыленной
застыл пейзаж. И лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.

Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижности сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.

2 февраля 1962

* * *

Прошел сквозь монастырский сад,
в пролом просунулся, согнулся,
к воде спустился и назад
нетерпеливо оглянулся.
С пяти блестящих куполов

сквозь облетевшие деревья
был виден травяной покров
и взмах коричневого гребня
крыш монастырских, и кольцом
заводов хор многоголосый,
и там внизу, к стене лицом,
маячил гость рыжеволосый.

Оставив всякий путь назад,
оставшимся путям – на зависть,
спиной к воде, смотрел в тот сад,
молчал, на купола уставясь.
Настолько зная в этом толк,
чтоб возвращеньем не пленяться,
подумал все-таки, что долг
на эту высоту подняться
и все увидеть: от начал
до берега, где волны бьются.
Но если что и различал,
то значило: «нельзя вернуться».
И все покрылось пеленой
и погрузилось в сумрак полный.

И то, что было за спиной,
он пред собой увидел, – волны.

21 – 25 апреля 1962

Зофья (поэма)

Глава первая

В сочельник я был зван на пироги.

За окнами описывал круги
сырой ежевечерний снегопад,
рекламы загорались невпопад,
я к форточке прижался головой:
за окнами маячил постовой.

Трамваи дребезжали в темноту,
вагоны громыхали на мосту,
постукивали льдины о быки,
шуршанье доносилось от реки,
на перекрестке пьяница возник,
еще плотней я к форточке приник.

Дул ветер, развевался снегопад,
маячили в сугробе шесть лопат.
Блестела незамерзшая вода,
прекрасно индевели провода.
Поскрипывал бревенчатый настил.
На перекрестке пьяница застыл.

Все тени за окном учетверя,

качалось отражение фонаря
у пьяницы как раз над головой.
От будки отделился постовой
и двинулся вдоль стенки до угла,
а тень в другую сторону пошла.

Трамваи дребезжали в темноту,
подрагивали бревна на мосту,
шуршанье доносилось от реки,
мелькали в полутьме грузовики,
такси несло вдали во весь опор,
мерцал на перекрестке светофор.

Дул ветер, возникавшая метель
подхватывала синюю шинель.
На перекрестке пьяница икал.
Фонарь качался, тень его искал.
Но тень его запряталась в белье.
Возможно, вовсе не было ее.

Тот крался осторожно у стены,
ничто не нарушало тишины,
а тень его спешила от него,
он крался и боялся одного,
чтоб пьяница не бросился бегом.
Он думал в это время о другом.

Дул ветер, и раскачивался куст,
был снегопад медлителен и густ.
Под снежною завесою сплошной
стоял он, окруженный белизной.
Шел снегопад, и след его исчез,
как будто он явился из небес.

Нельзя было их встречу отворотить,
нельзя было его предупредить,
их трое оказалось. Третий – страх.
Над фонарем раскачивался мрак,
мне чудилось, что близится пурга.
Меж ними оставалось три шага.

Внезапно громко ветер протрубил,
меж ними промелькнул автомобиль,
метнулось белоснежное крыло.
Внезапно мне глаза заволокло,
на перекрестке кто-то крикнул «нет»,
на миг погас и снова вспыхнул свет.

Был перекресток снова тих и пуст,
маячил в полумраке черный куст.
Часы внизу показывали час.
Маячил вдалеке безглавый Спас.
Чернела незамерзшая вода.

Вокруг не видно было ни следа.

Я думаю порой о том, что ночь,
не в силах снегопада превозмочь
и даже ни на четверть, ни на треть,
не в силах сонм теней преодолеть,
который снегопад перевозносил,
дает простор для неизвестных сил.

Итак, все было пусто и темно,
еще немного я глядел в окно,
во мраке куст переставал дрожать,
трамваи продолжали дребезжать,
вдали – слегка подрагивал настил.
Я штору потихоньку опустил.

Чуть шелохнулись белые листки.
Мать штопала багровые носки,
отец чинил свой фотоаппарат.
Листал журналы на кровати брат,
а кот на калорифере урчал.
Я галстуки безмолвно изучал.

Царили тишина и полумгла,
ныряла в шерсть блестящая игла,
над ней очки блестели в полумгле,

блестели объективы на столе,
во мраке кот с урчанием дышал,
у зеркала я галстуком шуршал.

Отец чинил свой фотоаппарат,
среди журналов улыбался брат, -
рождественский рассказ о чудесах;
поблескивал за стеклами в часах,
раскачиваясь, бронзовый овал.
У зеркала я галстук надевал.

Мать штопала багровые носки,
блестели календарные листки,
горела лампа в розовом углу,
пятно ее лежало на полу,
из-под стола кошачий взгляд блестел.
У зеркала мой галстук шелестел.

Царила тишина, и кот урчал,
я, в зеркало уставившись, молчал,
дул ветер, завывающий трубой.
И в зеркало внимательно собой,
скользя глазами вверх и вниз,
я молча любовался, как Нарцисс.

Я освещен был только со спины,

черты лица мне были не видны,
белела освещенная рука.
От башмаков и до воротника
глаза движенья стали учащать,
пора мне это было прекращать.

Я задержался в зеркале еще:
блестело освещенное плечо,
я шелковой рубашкой шелестел,
ботинок мой начищенный блестел,
в тени оставшись, чуть мерцал другой,
прекрасен был мой галстук дорогой.

Царили тишина и полумгла.
В каком-то мире двигалась игла,
Бог знает что в журнале брат читал,
отец Бог весть где мыслями витал,
зажав отвертки в розовой руке.
У зеркала стоял я вдалеке.

Я думаю, что в зеркале моем
когда-нибудь окажемся втроем
во тьме, среди гнетущей тишины,
откуда-то едва освещены,
я сам и отраженье и тоска -
единственная здесь без двойника.

Бежала стрелка через циферблат,
среди журналов улыбался брат,
издалека к ботинку моему
струился свет, переходя во тьму,
лицо отца маячило в тени,
темнели фотографии родни.

Я, шторы отстранив, взглянул в окно:
кружился снег, но не было темно,
кружился над сугробами фонарь,
нетронутый маячил календарь,
маячил вдалеке безглавый Спас,
часы внизу показывали час.

Горела лампа в розовом углу,
и стулья отступали в полумглу,
передо мною мой двойник темнел,
он одевался, голову склоня.

Я поднял взгляд и вдруг остолбенел:
все четверо смотрели на меня.

Отец чинил свой фотоаппарат,
мерцал во тьме неясно циферблат,
брат, лежа на спине, смотрел во мглу,
журнал его валялся на полу,
за окнами творилась кутерьма,

дрожала в абажуре бахрома.

Царили полумрак и тишина,
была на расстоянии слышна
сквозь шерсть носка бегущая игла,
шуршанье доносилось из угла,
мне надоело об одном твердить,
пора мне было в гости уходить.

Я задержался на календаре,
итак, я оказался в январе,
за шторами безмолвствовал фонарь,
молчал передо мною календарь.
Боясь, что год окажется тяжел,
я к выходу из комнаты пошел.

Внезапно что-то стало нарастать,
брат с раскладушки попытался встать,
мать быстро поднялась из-за стола,
и вверх взвилась, упав из рук, игла,
отец схватил свой фотоаппарат,
из-под стола сверкнул кошачий взгляд.

И раздалось скрипение часов,
и лязгнул за спиной моей засов,
я быстро обернулся и застыл:

все в комнате, кому же запирать?

Отец бесшумно шторы опустил,
нельзя теперь засовам доверять.

Я пятился, и пятилось окно.

Кот прыгнул в освещенное пятно.

Под потолком, где скапливалась мгла,
сверкала ослепленная игла.

От ужаса я чуть не закричал,
среди журналов мой отец торчал.

Появится ли кто-нибудь меж нас!

Протянется ли что-нибудь из глаз,
похожее на дерево в пыли.

Уста мои разжаться не могли,
в обоях на стене явился мел,
от ужаса я весь окостенел.

Деревья в нашей комнате росли!

ветвями доставая до земли
и также доставая потолка,
вытряхивая пыль из уголка,
но корни их в глазах у нас вились,
вершины в центре комнаты сплелись.

Я вглядывался в комнату трезвей,

все было лишь шуршание ветвей,
ни хвоя, ни листва их не видна,
зима для них была соблюдена,
но ель среди них, по-моему, была,
венчала их блестящая игла.

Два дерева у матери из глаз,
по стольку же у каждого из нас,
но все они различной высоты,
вершины одинаково пусты,
одно иглу имело на конце.
У каждого два дерева в лице.

Все кончилось впотьмах, как началось,
все кончилось, бесшумно улеглось,
и снова воцарилась полумгла,
мелькнула между стульями игла,
я замер в полумраке у окна,
и снова воцарилась тишина.

Игла еще лежала на полу,
брат вздрагивал с журналами в углу,
еще не прояснился циферблат,
отец уже чинил свой аппарат,
засов обратно прыгнул в тишине,
и штора развевалась на окне.

Все кончилось, все быстро улеглось,
вновь каждому занятие нашлось.
Кот сумрачно под лампою лежал,
и свет его прекрасно окружал.
Я штору все пытался разглядеть,
раздумывал: кто мог ее задеть.

Мать молча что-то с пола подняла,
в руках ее опять была игла.
Ладонями провел я по вискам,
игла уже ныряла по носкам,
над ней очки мерцали в полумгле,
блестели объективы на столе.

Дул ветер, и сгущалась темнота,
за окнами гудела пустота,
я вынул из-за форточки вино,
снег бился в ослепленное окно
и издавал какой-то легкий звон,
вдруг зазвонил в прихожей телефон.

И тотчас же, расталкивая тьму,
я бросился стремительно к нему,
забыв, что я кого-то отпустил,
забыв, что кто-то в комнате гостил,
что кто-то за спиной моей вздыхал.

Я трубку снял и тут же услышал:

– Не будет больше праздников для вас
не будет собутыльников и ваз

не будет вам на родине жилья
не будет поцелуев и белья

не будет именинных пирогов
не будет вам житья от дураков

не будет вам поллюции во сны
не будет вам ни лета ни весны

не будет вам ни хлеба ни питья
не будет вам на родине житья

не будет вам ладони на виски
не будет очищающей тоски

не будет больше дерева из глаз
не будет одиночества для вас

не будет вам страдания и зла
не будет сострадания тепла

не будет вам ни счастья ни беды
не будет вам ни хлеба ни воды

не будет вам рыдания и слез
не будет вам ни памяти ни грез

не будет вам надежного письма
не будет больше прежнего ума.

Со временем утонете во тьме.
Ослепнете. Умрете вы в тюрьме.

Былое оборотится спиной,
подернется реальность пеленой. -

Я трубку опустил на телефон,
но говорил, разъединенный, он.

Я галстук завязал и вышел вон.

Глава вторая

В Сочельник я был зван на пироги.

За окнами описывал круги
сырой ежевечерний снегопад,
рекламы загорались невпопад,
трамваи дребезжали вдалеке,
сворачивали мальчики к реке,
подкатывали вороны к сыскной,
карнизы поражали белизной,
витрины будоражили умы,
волнение по правилам зимы
охватывало город в полутьме,
царило возбуждение в уме,
и лампочки ныряли у ворот
в закрытый снегопадом небосвод.

Фургоны отъезжали в темноту,
трамваи дребезжали на мосту,
царило возбужденье и тоска,
шуршала незамерзшая река,
раскачивался лист календаря,
качалось отраженье фонаря,
метались в полумраке на стене

окно и снегопад наедине.

Качался над сугробами забор,
раскачивался в сумраке собор,
внутри его подрагивал придел,
раскачивался колокол, гудел,
подрагивали стрелки на часах,
раскачивался Бог на небесах.

Раскачивалась штора у плеча,
за окнами двуглавая свеча
раскачивалась с чувством торжества,
раскачивался сумрак Рождества,
кто знает, как раскачивать тоску,
чтоб от прикосновения к виску
раскачивалась штора на окне,
раскачивались тени на стене,
чтоб выхваченный лампочками куст
раскачивался маятником чувств
(смятение – унижение – и месть)
с той разницей, чтоб времени не счесть,
с той разницей, чтоб времени не ждать,
с той разницей, чтоб чувств не передать.

Чтоб чувства передать через него,
не следовало в ночь под Рождество
вторгаться в наступающую мглу
двуглавыми свечами на углу,
бояться поножовщины и драк,

искусственно расталкивая мрак,
не следовало требовать огня.
Вчерашние – для завтрашнего дня.
Все чувства будут до смерти нужны,
все чувства будут вдруг обнажены
в предчувствии убийственных вестей,
как будто в поножовщине страстей
за вами кто-то гонится вослед.
Напрасно вы не выключили свет!

Сомнамбулою уличных огней,
пристанищем, ристалищем теней,
обителью, где царствует сквозняк,
качался офицерский особняк,
так, если кто-то гонится вослед,
неузнанными в блеске эполет,
затерянными в бездне анфилад,
зажавшими в ладонях шоколад,
обнявшими барочные сосцы,
окажутся пехотные юнцы,
останется непролитой их кровь,
останутся их дамы и любовь,
их яблоки, упавшие из ваз, -
предел недосягаемости ваш.

Кто вздрагивал под вывескою «вход»?
Кто вздрагивал в предчувствии невзгод,
предчувствуя безмерную беду,

кто вздрагивал единожды в году,
кто на душу не принял бы греха,
чья светлая душа была глуха,
кто вовремя уменьшил кругозор,
кто вздрагивал, предчувствуя позор?

Насмешка, издевательство и срам:

предел недосыгаемости – храм,
пример несокрушимости – орех,
пример недосыгаемости – грех,
предел невозмутимости – бокал
среди несокрушимости зеркал.

Кто выживет в прогулках у Невы,
безопаснее, прекраснее, чем вы,
прелестнее, прекраснее одет,
кто вам не оборотится во след
с прекрасною улыбкой, никогда
в чьем сердце не оставите следа,
в чьем взоре промелькнет голубизна,
в чьем взоре распластается Нева,
чье черное пальто и синева
останутся когда-нибудь без нас,
в потемках и в присутствии огней,
не чувствуя присутствия теней?
Не чувствуя ни времени, ни дат,
всеобщим Solitude и Soledad,
прекрасною рукой и головой
нащупывая корень мировой,
нащупывать в снегу и на часах,

прекрасной головою в небесах,
устами и коленями – везде
нащупывать безмерные О, Д -
в безмерной Одинокости Души,
в ДОму своем и далее – в глуши
нащупывать на рОдине весь гОД?
В неверии – о госпОди, mein Gott,
выискивать не АД уже, но ДА -
нащупывать свой выхОД в никогДА.

Безмолвно наслаждаясь из угла,
все детство наблюдая зеркала,
предел невозмутимости их – пруд,
безмерно обожая изумруд,
ухмылки изумрудные гостей -
достигнувшими возраста страстей,
почувствуем ли спрятанный в них клАД,
присущий только подлинности хлАД,
вокруг него и около кружа,
доподлинным обличьем дорожа,
доподлинно почувствуешь ли в них,
себя уже стократ переменяя,
портьеру или штору теребя,
почувствуешь ли в зеркале себя?

Укрыться за торшерами в углу,
укрыться офицером на балу,
смотреть в апоплексический портрет,

какое наслаждение и бред,
на дюреровской лошади верхом
во тьму на искушение грехом,
сжимая поредевшие виски,
въезжая в Апокалипсис тоски,
оглядываться сизнова назад -
внезапно нарастающий азарт
при виде настигающих теней,
и грохот огнедышащих коней,
и алый меч в разверстых небесах
качается, как маятник в часах.

Я вижу свою душу в зеркала,
душа моя неслыханно мала,
не более бумажного листа, -
душа моя неслыханно чиста,
прекрасная душа моя, Господь,
прелестная не менее, чем плоть,
чем далее, тем более для грез
до девочки ты душу превознес, -
прекрасная, как девочка, душа,
ты так же велика, как хороша, -
как девочке присущий оптимизм,
души моей глухой инфантилизм
всегда со мной в полуночной тиши.
За окнами ни плоти, ни души.

За окнами мерцают фонари.

Душа моя безмолвствует внутри,
безмолвствует смятение в умах,
душа моя безмолвствует впотьмах,
безмолвствует за окнами январь,
безмолвствует на стенке календарь,
безмолвствует во мраке снегопад,
неслыханно безмолвствует распад,
в затылке нарастает перезвон,
безмолвствует окно и телефон,
безмолвствует душа моя, и рот
немотствует, безмолвствует народ,
неслыханно безмолвствует зима,
от жизни и от смерти без ума.

В молчании я слышу голоса.

Безмолвствуют святые небеса,
над родиной свисая свысока.

Юродствует земля без языка.

Лишь свету от небес благодаря

мой век от зарожденья фонаря

до апокалиптических коней

одна жестикуляция теней,

белесые запястия и вен

сиреневый узор, благословен

создавший эту музыку без нот,

безногого оракула немот,

дающего на все один ответ:

молчание и непрерывный свет.

В безмолвии я слышу голоса.
Безмолвствуют земля и небеса.
В безмолвии я слышу легкий гуд,
и тени чувств по воздуху бегут.
Вопросы устремленные, как лес,
в прекрасное молчание небес,
как греза о заколотых тельцах,
теснятся в неприкаянных сердцах.
Едва ли взбудоражишь пустоту
молитвой, приуроченной к посту,
прекрасным возвращеньем в отчий дом
и маркой на конвертике пустом,
чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,
оделись в серебро авиапочт.

Как будто это ложь, а это труд,
как будто это жизнь, а это блуд,
как будто это грязь, а это кровь,
не грех – но это странная любовь.
Не чудо, но мечта о чудесах,
не праведник, а все ж поторопись
мелькнуть и потеряться в небесах
открыткой в посполитый парадиз,
как будто это ниточка и связь,
как будто, над собою не смеясь,
твердишь себе: вот Бог, а вот порог,
как будто это ты, а это Бог,
как будто век жужжит в его руке,

а жизнь твоя, как Ио, вдалеке.

Чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,
укрыли блудных сыновей и дочь
прекрасную и, адрес изменив,
чтоб чувства не усиливали миф,
не следовало в ночь под Рождество
выскакивать из дома своего,
бояться поножовщины и драк,
выскакивать от ужаса во мрак,
не следовало в панике большой
спасаться от погони за душой,
не следовало верить в чудеса,
вопросам устремляться в небеса,
не следовало письма вам писать,
не следовало плоть свою спасать.

Но в ночь под Рождество не повторять
о том, что можно много потерять,
что этого нельзя предотвратить,
чтоб жизнь свою в корову обратить.
Как будто ты ужален и ослеп,
за белою коровой вьется вслед
жужжащая небесная оса,
безмолвствуют святые небеса,
напрасно ты, безмолвствуя, бежал
ужасного, но лучшего из жал,
напрасно ты не чувствуешь одно:

страДаний Одинаково ДАно,
страДанье и забвение – труха,
страДание не стоило греха.
Почувствуешь ли в панике большой
бессмертную погоню за душой,
погоню, чтобы времени не ждать,
с той выгодой, чтоб чувства передать
в мгновение, схватившее виски,
в твой век по мановению тоски,
чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,
оделись в серебро авиапочт.
Предчувствуешь все это в снегопад
в подъезде, петроградский телепат,
и чувства распростертые смешны,
шпагатом от войны и до войны,
он шепчет, огибая Летний сад:
немыслимый мой польский адресат.

Любовь твоя – воспитанница фей,
возлюбленный твой – нынешний Орфей,
и образ твой – фотографа момент,
твой голос – отдаленный диксиленд.
Прогулки в ботаническом саду,
возлюбленного пение в аду,
возлюбленного пение сквозь сон, -
два голоса, звучащих в унисон,
органный замирающий свинец,
венчальные цветы, всему венец,
душа твоя прекрасна и тиха,

душа твоя не ведает греха,
душа твоя по-прежнему в пути,
по-прежнему с любовью во плоти.

Ничто твоей души не сокрушит.

Запомни, что душа твоя грешит!

Душа твоя неслыханно больна.

Запомни, что душа твоя одна.

От свадебного поезда конец

души твоей неслыханный венец,

души твоей венчальные цветы,

блестящие терновые кусты.

Душа твоя грехи тебе простит,

душа тебя до девочки взрастит,

душа твоя смоковницу сожжет,

душа твоя обнимет и солжет,

душа твоя тебя превознесет,

от Страшного Суда душа спасет!

Чье пение за окнами звучит?

Возлюбленный за окнами кричит.

Душа его вослед за ним парит.

Душа его обратно водворит.

Как странно ты впоследствии глядишь.

Действительно, ты странствуешь весь день,

душа твоя вослед тебе, как тень,

по комнате витает, если спишь,

душа твоя впоследствии какмышь.

Впоследствии ты сызнова пловец,
впоследствии «таинственный певец» -
душа твоя не верит в чепуху, -
впоследствии ты странник наверху.

Так, девочкой пожертвовать решаешь,
любовь твоя, души твоей страшаешь,
под черными деревьями дрожит,
совсем тебя впоследствии бежит.
На улице за окнами рябя,
там что-то убегает от тебя,
ты смотришь на заржавленный карниз,
ты смотришь не на улицу, а вниз,
ты смотришь из окна любви вослед,
ты видишь сам себя – автопортрет,
ты видишь небеса и тени чувств,
ты видишь диабаз и черный куст,
ты видишь это дерево и ад,
в сей графике никто не виноват.

Кто плотью защищен, как решетом,
за собственной душой как за щитом,
прекрасной задушевностью дыши
за выпуклым щитом своей души.
Вся жизнь твоя, минувшая как сон:
два голоса, звучавших в унисон,
деревьев развевающихся шум,
прекрасными страданиями твой ум

наполненный, как зернами гранат,
впоследствии прекрасный аргонавт,
впоследствии ты царствуешь в умах,
запомни, что ты царствуешь впотьмах,
однако же все время на виду,
запомни, что жена твоя в аду.

Уж лучше без глупца, чем без вруна,
уж лучше без певца, чем без руна,
уж лучше грешным быть, чем грешным слыть,
уж легче утонуть, чем дальше плыть.

Но участи пловца или певца

уж лучше – положиться на гребца.

Твой взор блуждает, сумрачен и дик,

доносится до слуха Эвридик

возлюбленного пение сквозь ад,

вокруг него безмолвие и смрад,

вокруг него одни его уста,

вокруг него во мраке пустота,

во мраке с черным деревом в глазу

возлюбленного пение внизу.

Какая наступает тишина

в прекрасном обрамлении окна,

когда впотьмах, недвижимый весь век,

как маятник, качнется человек,

и в тот же час, снаружи и внутри,

возникнет свет, внезапный для зари,

и ровный звон над копьями оград,
как будто это новый циферблат
вторгается, как будто не спеша
над плотью воцаряется душа,
и алый свет, явившийся извне,
внезапно воцаряется в окне,
внезапно растворяется окно,
как будто оживает полотно.

Так шествовал Орфей и пел Христос.

Так странно вам кощунствовать пришлось,
впоследствии нимало не стыдясь.

Прекрасная раскачивалась связь,
раскачивалась, истоково гремя,
цепочка между этими двумя.

Так шествовал Христос и пел Орфей,
любовь твоя, воспитанница фей,
от ужаса крича, бежала в степь,
впотьмах над ней раскачивалась цепь,
как будто циферблат и телефон,
впотьмах над ней раскачивался звон,
раскачивался бронзовый овал,
раскачивался смертный идеал.

Раскачивался маятник в холмах,
раскачивался в полдень и впотьмах,
раскачивался девочкой в окне,
раскачивался мальчиком во сне,
раскачивался чувством и кустом,
раскачивался в городе пустом,

раскачивался деревом в глазу,
раскачивался здесь и там, внизу,
раскачивался с девочкой в руках,
раскачивался крик в обиняках,
раскачивался тенью на стене,
раскачивался в чреве и вовне,
раскачивался, вечером бледнел,
при этом оглушительно звенел.

Ты, маятник, душа твоя чиста,
ты маятник от яслей до креста,
как маятник, как маятник другой,
как маятник рука твоя с деньгой,
ты маятник, отсчитывая пядь
от Лазаря к смоковнице и вспять,
как маятник от злости и любви,
ты движешься как маятник в крови.

Ты маятник, страданья нипочем,
ты маятник во мраке ни при чем,
ты маятник и маятнику брат,
твоя душа прекрасный циферблат,
как маятник, чтоб ты не забывал,
лицо твое, как маятник, овал.

Как маятник, то умник, то дурак,
ты маятник от света и во мрак
за окнами, как маятник, рябя, -
зачатие, как маятник, тебя.

Ты маятник, как маятник я сам,
ты маятник по дням и по часам,
как маятник, прости меня, Господь,
как маятник душа твоя и плоть,
ты маятник по каждой голове,
ты маятник – от девочки в траве,
ты маятник внизу и наверху,
ты маятник страданию и греху,
ты маятник от уличных теней
до апокалиптических коней.

Крик:

Я маятник. Не трогайте меня.

Я маятник для завтрашнего дня.

За будущие страсти не дрожу,
я сам себя о них предупрежу.

Самих себя увидеть в нищете,
самих себя увидеть на щите,
заметить в завсегдатаях больниц
божественная участь единиц.

Признание, награда и венец,
способность предугадывать конец,
достоинство, дарующее власть,
способность, возвышающая страсть,
способность возвышаться невпопад,
как маятник – прекрасный телепат.

Способные висеть на волоске,
способные к обману и тоске,
способные к сношению везде,
способные к опале и звезде,
способные к смешению в крови,
способные к заразе и любви,
напрасно вы не выключили свет,
напрасно вы оставили свой след,
знакомцы ваших тайн не берегут,
за вами ваши чувства побегут.
Что будет поразительней для глаз,
чем чувства, настигающие нас
с намереньем до горла нам достать?
Советую вам маятником стать.

апрель 1962

Стансы городу

Да не будет дано
умереть мне вдали от тебя,
в голубиных горах,
кривоногому мальчику вторя.
Да не будет дано
и тебе, облака торопя,
в темноте увидеть
мои слезы и жалкое горе.

Пусть меня отпоет
хор воды и небес, и гранит
пусть обнимет меня,
пусть поглотит,
мой шаг вспоминая,
пусть меня отпоет,
пусть меня, беглеца, осенит
белой ночью твоя
неподвижная слава земная.

Все умолкнет вокруг.
Только черный буксир закричит
посредине реки,
исступленно борясь с темнотою,
и летящая ночь
эту бедную жизнь обручит
с красотой твоей
и с посмертной моей правотою.

2 июня 1962

* * *

М. Б.

Ни тоски, ни любви, ни печали,
ни тревоги, ни боли в груди,
будто целая жизнь за плечами
и всего полчаса впереди.

Оглянись – и увидишь наверно:
в переулке такси тарахтят,
за церковной оградой деревья
над ребенком больным шелестят,

из какой-то неведомой дали
засвистит молодой постовой,
и бессмысленный грохот рояля
поплывет над твоей головой.

Не поймешь, но почувствуешь сразу:
хорошо бы пяти куполам
и пустому теперь диабазу
завещать свою жизнь пополам.

4 июня 1962

Диалог

"Там он лежит, на склоне.
Ветер повсюду снует.
В каждой дубовой кроне
сотня ворон поет."
"Где он лежит, не слышу.
Листва шуршит на ветру.
Что ты сказал про крышу,

слов я не разберу."

"В кронах, сказал я, в кронах
темные птицы кричат.
Слетают с небесных тронов
сотни его внучат."

"Но разве он был вороной:
ветер смеется во тьму.
Что ты сказал о коронах,
слов твоих не пойму."

"Прятал свои усилья
он в темноте ночной.
Все, что он сделал: крылья
птице черной одной."

"Ветер мешает мне, ветер.
Уйми его, Боже, уйми.
Что же он делал на свете,
если он был с людьми."

"Листьев задумчивый лепет,
а он лежит не дыша.
Видишь облако в небе,
это его душа."

"Теперь я тебя понимаю:
ушел, улетел он в ночь.
Теперь он лежит, обнимая

корни дубовых рощ."

"Крышу я делаю, крышу
из густой дубовой листвы.
Лежит он озера тише,
ниже всякой травы.
Его я венчаю мглою.
Корона ему под стать."
«Как ему там под землю.»
"Так, что уже не встать.
Там он лежит с короной,
там я его забыл."
«Неужто он был вороной.»

«Птицей, птицей он был.»

6 июня 1962

Инструкция опечаленным

Не должен быть очень несчастным
и, главное, скрытным... А. Ахматова

Я ждал автобус в городе Иркутске,
пил воду, замурованную в кране,
глотал позеленевшие закуски
в ночи в аэродромном ресторане.
Я пробуждался от авиагрома

и танцевал под гул радиовальса,
потом катил я по аэродрому
и от земли печально отрывался.
И вот летел над облаком атласным,
себя, как прежде, чувствуя бездомным,
твердил, вися над бездною прекрасной:
все дело в одиночестве бездомном.

Не следует настаивать на жизни
страдальческой из горького упрямства.
Чужбина так же сродственна отчизне,
как тупику соседствует пространство.

6 июня 1962

* * *

1

Под вечер он видит, застывши в дверях:
два всадника скачут в окрестных полях,
как будто по кругу, сквозь рощу и гать,
и долго не могут друг друга догнать.
То бросив поводья, поникнув, устав,
то снова в седле возбужденно привстав,
и быстро по светлому склону холма,
то в рощу опять, где сгущается тьма.

Два всадника скачут в вечерней грязи,
не только от дома, от сердца вблизи,

друг друга они окликают, зовут,
небесные рати за рощу плывут.
И так никогда им на свете вдвоем
сквозь рощу и гать, сквозь пустой водоем,
не ехать ввиду станционных постов,
как будто меж ними не сотня кустов!

Вечерние призраки! – где их следы,
не видеть двойного им всплеска воды,
их вновь возвращает к себе тишина,
он знает из окриков их имена.

По сельской дороге в холодной пыли,
под черными соснами, в комьях земли,
два всадника скачут над бледной рекой,
два всадника скачут: тоска и покой.

2

Пустая дорога под соснами спит,
смолкает за стеклами топот копыт,
я знаю обоих, я знаю давно:
так сердце звучит, как им мчаться дано.

Так сердце стучит: за ударом удар,
с полей наплывает холодный угар,
и волны сверкают в прибрежных кустах,
и громко играет любимый состав.

Растаял их топот, а сердце стучит!
Нисходит на шепот, но все ж не молчит,
и, значит, они продолжают скакать!
Способны умолкнуть, не могут – смолкать.

Два всадника мчатся в полночную мглу,
один за другим, пригибаясь к седлу,
по рощам и рекам, по черным лесам,
туда, где удастся им взмыть к небесам.

3

Июльской ночью в поселке темно.
Летит мошкара в золотое окно.
Горячий приемник звенит на полу,
и смелый Гиллеспи подходит к столу.

От черной печали до твердой судьбы,
от шума в начале до ясной трубы,
от лирики друга до счастья врага
на свете прекрасном всего два шага.

Я жизни своей не люблю, не боюсь,
я с веком своим ни за что не борюсь.
Пускай что угодно вокруг говорят,
меня беспокоят, его веселят.

У каждой околицы этой страны,
на каждой ступеньке, у каждой стены,
в недалёкое время, брюнет или блондин,
появится дух мой, в двух лицах един.

И просто за смертью, на первых порах,
хотя бы вот так, как развеянный прах,
потомков застав над бумагой с утра,
хоть пылью коснусь дорогого пера.

4

Два всадника скачут в пространстве ночном,
кустарник распался в тумане речном,
то дальше, то ближе, за юной тоской
несется во мраке прекрасный покой.

Два всадника скачут, их тени парят.
Над сельской дорогой все звезды горят.
Копыта стучат по заснувшей земле.
Мужчина и женщина едут во мгле.

7 – 9 июня 1962

* * *

"Был чёрный небосвод светлей тех ног,
и слиться с темнотою он не мог". [23]

В тот вечер возле нашего огня
увидели мы черного коня.

Не помню я чернее ничего.
Как уголь были ноги у него.
Он черен был, как ночь, как пустота.
Он черен был от гривы до хвоста.
Но черной по-другому уж была
спина его, не знавшая седла.
Недвижно он стоял. Казалось, спит.
Пугала чернота его копыт.

Он черен был, не чувствовал теней.
Так черен, что не делался темней.
Так черен, как полуночная мгла.
Так черен, как внутри себя игла.
Так черен, как деревья впереди,
как место между ребрами в груди.
Как ямка под землю, где зерно.
Я думаю: внутри у нас черно.

Но все-таки чернел он на глазах!
Была всего лишь полночь на часах.
Он к нам не приближался ни на шаг.
В паху его царил бездонный мрак.
Спина его была уж не видна.
Не оставалось светлого пятна.

Глаза его белели, как щелчок.

Еще страшнее был его зрачок.

Как будто был он чей-то негатив.

Зачем же он, свой бег остановив,
меж нами оставался до утра?

Зачем не отходил он от костра?

Зачем он черным воздухом дышал?

Зачем во тьме он сучьями шуршал?

Зачем струил он черный свет из глаз?

Он всадника искал себе среди нас.

28 июня 1962

* * *

А. А. Ахматовой

Закричат и захлопочут петухи,
загрохочут по проспекту сапоги,
засверкает лошадиный изумруд,
в одночасье современники умрут.

Запоет над переулком флажолет,
захохочет над каналом пистолет,
загремит на подоконнике стекло,

станет в комнате особенно светло.

И помчатся, задевая за кусты,
невидимые солдаты духоты
вдоль подстриженных по-новому аллей,
словно тени яйцевидных кораблей.

Так начнется двадцать первый, золотой,
на тропинке, красным солнцем залитой,
на вопросы и проклятия в ответ,
обволакивая паром этот свет.

Но на Марсовое поле дотемна
Вы придете одинешенька-одна,
в синем платье, как бывало уж не раз,
но навечно без поклонников, без нас.

Только трубочка бумажная в руке,
лишь такси за Вами едет вдалеке,
рядом плещется блестящая вода,
до асфальта провисают провода.

Вы поднимете прекрасное лицо -
громкий смех, как поминальное словцо,
звук неясный на нагревшемся мосту -

на мгновение взбудоражит пустоту.

Я не видел, не увижу Ваших слез,
не услышу я шуршания колес,
уносящих Вас к заливу, к деревьям,
по отечеству без памятника Вам.

В теплой комнате, как помнится, без книг,
без поклонников, но также не для них,
опирая на ладонь свою висок,
Вы напишите о нас наискосок.

Вы промолвите тогда: "О, мой Господь!
этот воздух запустевший – только плоть
дум, оставивших признание свое,
а не новое творение Твое!"

июнь 1962

Дорогому Д. Б.

Вы поете вдвоем о своем неудачном союзе.
Улыбаясь сейчас широко каждый собственной музе.
Тополя и фонтан, соболезнуя вам, рукоплещут,
в теплой комнате сна в двух углах ваши лиры трепещут.
Одинокому мне это все интересно и больно.
От громадной тоски, чтобы вдруг не заплакать невольно,

к молодым небесам за стеклом я глаза поднимаю,
на диване родном вашей песне печальной внимаю.
От фонтана бегут золотистые фавны и нимфы,
все святые страны предлагают вам взять свои нимбы,

золотистые лиры наполняют аккордами зданье
и согласно звучат, повествуя о вашем страданьи.
Это значит, весь мир, – он от ваших страстей не зависит,
но и бедная жизнь вашей бедной любви не превысит,
это ваша печаль – дорогая слоновая башня:
исчезает одна, нарождается новая басня.
Несравненная правда дорогими глаголет устами.
И все громче они ударяют по струнам перстами.
В костяное окно понеслась обоюдная мука
к небесам и в Аид – вверх и вниз, по теории звука.

Создавая свой мир, окружаем стеною и рвами
для защиты его. Оттого и пространство меж вами,
что, для блага союза, начиная ее разрушенье,
вы себя на стене сознаете все время мишенью.

18 июля 1962

Отрывок

На вас не поднимается рука.
И я едва ль осмелюсь говорить,
каким еще понятием греха

сумею этот сумрак озарить.

Но с каждым днем все более, вдвойне,
во всем себя уверенно вина,
беру любовь, затем что в той стране
вы, знаю, отвернетесь от меня.

14 августа 1962

* * *

Z. K.

Пограничной водой наливается куст,
и трава прикордонная жжется.
И боится солдат святотатственных чувств,
и поэт этих чувств бережется.

Над холодной водой автоматчик притих,
и душа не кричит во весь голос.
Лишь во славу бессилия этих двоих
завывает осенняя голость.

Да в тени междуцарствий елозят кусты
и в соседнюю рвутся державу.
И с полей мазовецких журавли темноты
непрерывно летят на Варшаву.

10 октября 1962

* * *

Я шел сквозь рощу, думая о том,
что сосны остаются за плечами,
должно быть, так, как листья под кустом:
гниют и растворяются ночами.
Что существует то, что впереди;
как например бетон, который залит
в песок, с автомобилем на груди,
где ждут меня, но что-то не сигналият.

Я быстро шел среди вечерней мглы,
мой шаг шуршал, но все кругом уснуло.
Я задевал ладонью за стволы,
и пару раз меж них шоссе мелькнуло.
Я полчаса тропинки расплетал,
потом солдатским шагом расторопным
я на бугор взбежал и увидал:
шоссе пустынным было и неровным.
Но небо, подгибая провода,
не то сливалось с ним, не то касалось.
Я молча оглянулся, и тогда
совсем другой мне роща показалась.

20 октября 1962

* * *

Все чуждо в доме новому жильцу.

Поспешный взгляд скользит по всем предметам,
чьи тени так пришельцу не к лицу,
что сами слишком мучаются этим.

Но дом не хочет больше пустовать.

И, как бы за нехваткой той отваги,
замок, не в состоянии узнавать,
один сопротивляется во мраке.

Да, сходства нет меж нынешним и тем,
кто внес сюда шкафы и стол, и думал,
что больше не покинет этих стен;
но должен был уйти, ушел и умер.

Ничем уж их нельзя соединить:
чертой лица, характером, надломом.

Но между ними существует нить,
обычно именуемая домом.

октябрь 1962

* * *

Эстонские деревья озабоченно
удерживают тусклые листья.

Эстонскою латынью у обочины
надписаны могильные кресты.

И облако седое, кропотливое
клубится и охватывает лес.

И чувство возникает сиротливое
к минувшему и будущему здесь.

Былое упоительней грядущего.
И прожитым уверенней дышу.
Ни облика, ни голоса петушьего
теперь уже в себе не нахожу.
И встреча со знакомым впечатлением,
когда я оборачиваюсь вспять,
так радостна, что вместе с удивлением
теряется желанье удивлять.
Ни ревности к грядущему, ни робости.
Лишь новым соответствием души -
рожок междугородного автобуса,
рыдающий в заоблачной тиши.

1 ноября 1962, Пирита

* * *

Откуда к нам пришла зима,
не знаешь ты, никто не знает.

Умолкло все. Она сама
холодных губ не разжимает.
Она молчит. Внезапно, вдруг
упорства ты ее не сломишь.
Вот оттого-то каждый звук
зимою ты так жадно ловишь.

Шуршанье ветра о стволы,
шуршанье крыш под облаками,
потом, как сгнившие полы,
скрипящий снег под башмаками,
а после скрип и стук лопат,
и тусклый дым, и гул рассвета...
Но даже тихий снегопад,
откуда он, не даст ответа.

И ты, входя в свой теплый дом,
взбежав к себе, скажи на милость,
не думал ты хоть раз о том,
что где-то здесь она таилась:
в пролете лестничном, в стене,
меж кирпичей, внизу под складом,
а может быть, в реке, на дне,
куда нельзя проникнуть взглядом.

Быть может, там, в ночных дворах,
на чердаках и в пыльных люстрах,
в забитых досками дверях,
в сырых подвалах, в наших чувствах,
в кладовках тех, где свален хлам...
Но видно, ей там тесно было,
она росла по всем углам
и все заполонила.

Должно быть, это просто вздор,
скопленье дум и слов неясных,
она пришла, должно быть, с гор,
спустилась к нам с вершин прекрасных:
там вечный лед, там вечный снег,
там вечный ветер скалы гложет,
туда не всходит человек,
и сам орел взлететь не может.

Должно быть, так. Не все ль равно,
когда поднять ты должен ворот,
но разве это не одно:
в полете тень и вечный холод?
Меж ними есть союз и связь
и сходство – пусть совсем немое.
Сойдясь вдвоем, соединишь,
им очень просто стать зимою.

Дела, не знавшие родства,
и облака в небесной сини,
предметы все и вещества
и чувства, разные по силе,
стихии жара и воды,
увлекшись внутренней игрою,
дают со временем плоды,
совсем неожиданные порою.

Бывает лед сильней огня,
зима – порой длиннее лета,
бывает ночь длиннее дня
и тьма вдвойне сильнее света;
бывает сад громаден, густ,
а вот плодов совсем не снимешь...
Так берегись холодных чувств,
не то, смотри, застынешь.

И люди все, и все дома,
где есть тепло покуда,
произнесут: пришла зима.
Но не поймут откуда.

ноябрь 1962

Сонет

Г. П.

Мы снова проживаем у залива,
и проплывают облака над нами,
и современный тарахтит Везувий,
и оседает пыль по переулкам,
и стекла переулков дребезжат.
Когда-нибудь и нас засыпет пепел.

Так я хотел бы в этот бедный час

приехать на окраину в трамвае,
войти в твой дом,
и если через сотни лет
придет отряд раскапывать наш город,
то я хотел бы, чтоб меня нашли
оставшимся навек в твоих объятьях,
засыпанного новою золой.

ноябрь 1962

* * *

Топилась печь. Огонь дрожал во тьме.
Древесные угли чуть-чуть искрились.
Но мысли о зиме, о всей зиме,
каким-то странным образом роились.
Какой печалью нужно обладать,
чтоб вместо парка, что за три квартала,
пейзаж неясный долго вспоминать,
но знать, что больше нет его; не стало.
Да, понимать, что все пришло к концу
тому назад едва ль не за два века, -
но мыслями блуждать в ночном лесу
и все не слышать стука дровосека.
Стоят стволы, стоят кусты в ночи.
Вдали холмы лежат во тьме угрюмо.
Луна горит, как весь огонь в печи,
и жжет стволы. Но только нет в ней шума.

ноябрь 1962

А. А. А.

1

Когда подойдет к изголовью
смотритель приспущенных век,
я вспомню запачканный кровью,
укатанный лыжами снег,
платформу в снегу под часами,
вагоны – зеленым пятном
и длинные финские сани
в сугробах под Вашим окном,
заборы, кустарники, стены
и оспинки гипсовых ваз,
и сосны – для Вас уже тени,
недолго деревья для нас. [24]

2 (явление стиха)

Не жаждал являться до срока,
он медленно шел по земле,
он просто пришел издалека
и молча лежит на столе.
Потом он звучит безучастно
и тает потом в лесу.

И вот, как тропинка с участка,
выводит меня в темноту.

Загадка ангелу

М. Б.

Мир одеял разрушен сном.
Но в чьем-то напряженном взоре
маячит в сумраке ночном
окном разрезанное море. [25]
Две лодки обнажают дно,
смыкаясь в этом с парой туфель.
Вздымающееся полотно
и волны выражают дупель.

Подушку обхватив, рука
сползает по столбам отвесным,
вторгаясь в эти облака
своим косноязычным жестом.
О камень порванный чулок,
изогнутый впотьмах, как лебедь,
раструбом смотрит в потолок,
как будто почерневший невод.

Два моря с помощью стены,
при помощи неясной мысли,
здесь как-то так разделены,
что сети в темноте повисли

пустыми в этой глубине,
но все же ожидают всплыть
от пущенной сквозь крест в окне,
связующей их обе, нити.

Звезда желтеет на волне,
маячат неподвижно лодки.
Лишь крест вращается в окне
подобием простой лебедки.
К поверхности из двух пустот
два невода ползут отвесно,
надеясь: крест перенесет
и опустит в другое место.

Так тихо, что не слышно слов,
что кажется окну пустому:
надежда на большой улов
сильней, чем неподвижность дома.
И вот уж в темноте ночной
окну с его сияньем лунным
две грядки кажутся волной,
а куст перед крыльцом – буруном.

Но дом недвижим, и забор
во тьму ныряет поплавками,
и воткнутый в крыльцо топор
один следит за топляками.

Часы стрекочут. Вдалеке
ворчаньем заглушает катер,
как давит устрицы в песке
ногой бесплотный наблюдатель.

Два глаза источают крик.
Лишь веки, издавая шорох,
во мраке защищают их
собой наподобье створок.
Как долго эту боль топить,
захлестывать моторной речью,
чтоб дать ей оспой проступить
на теплой белизне предплечья?

Как долго? До утра? Едва ль. [26]

И ветер шелестит в попытке
жасминовую снять вуаль
с открытого лица калитки.
Сеть выбрана, в кустах удоб
свистком предупреждает кражу;
и молча замирает тот,
кто бродит в темноте по пляжу.

1962

* * *

Затем, чтоб пустым разговорцем

развеять тоску и беду,
я странную жизнь стихотворца
прекрасно на свете веду.
Затем, чтоб за криком прощальным
лицо возникало в окне,
чтоб думать с улыбкой печальной,
что выпадет, может быть, мне,
как в самом начале земного
движенья – с мечтой о творце -
такое же ясное слово
поставить в недалнем конце.

1962

* * *

А. А. Ахматовой

За церквами, садами, театрами,
за кустами в холодных дворах,
в темноте за дверями парадными,
за бездомными в этих дворах.
За пустыми ночными кварталами,
за дворцами над светлой Невой,
за подъездами их, за подвалами,
за шумящей над ними листвой.
За бульварами с тусклыми урнами,
за балконами, полными сна,
за кирпичными красными тюрьмами,
где больных будоражит весна,

за вокзальными страшными люстрами,
что толкаются, тени гоня,
за тремя запоздалыми чувствами
Вы живете теперь от меня.

За любовью, за долгом, за мужеством,
или больше – за Вашим лицом,
за рекой, осененной замужеством,
за таким одиноким пловцом.

За своим Ленинградом, за дальними
островами, в мелькнувшем раю,
за своими страданиями давними,
от меня за замками семью.

Разделение не жизнью, не временем,
не пространством с кричащей толпой,

Разделение не болью, не бременем,
и, хоть странно, но все ж не судьбой.

Не пером, не бумагой, не голосом -
разделение печалью... К тому ж
правдой, больше неловкой, чем горестной:
вековой одинокостью душ.

На окраинах, там, за заборами,
за крестами у цинковых звезд,
за семью – семьюстами! – запорами
и не только за тысячу верст,
а за всею землею неполотой,
за салютом ее журавлей,

за Россией, как будто не политой
ни слезами, ни кровью моей.
Там, где впрямь у дороги непройденной
на ветру моя юность дрожит,
где-то близко холодная Родина
за финляндским вокзалом лежит,
и смотрю я в пространства окрестные,
напряженный до боли уже,
словно эти весы неизвестные
у кого-то не только в душе.

Вот иду я, парадные светятся,
за оградой кусты шелестят,
во дворе Петропаловской крепости
тихо белые ночи сидят.
Развевается белое облако,
под мостами плывут корабли,
ни гудка, ни свистка и ни окрика
до последнего края земли.
Не прошу ни любви, ни признания,
ни волнения, рукав теребя...
Долгой жизни тебе, расстояние!
Но я снова прошу для себя
безразличную ласковость добрую
и при встрече – все то же житье.
Приношу Вам любовь свою долгую,
сознавая ненужность ее.

Крик в Шереметьево

И. Е.

Что ты плачешь,

распростишься с паровозом.

Что ты слушаешь гудки

поездные.

Поклонись аэродромным березам,

голубиному прогрессу России.

Что ты смотришь все с печалью угрюмой

на платочек ее новый,

кумашный.

Поклонись этой девочке юной,

этой девочке, веселой и страшной.

Что ей стоит нас любить и лелеять.

Что ей стоит поберечь нас немного.

Кто ей, сильной,

заперечить посмеет.

Только ждет она кого-то другого!

Ничего!

Ей не грозит перестарок.

Не гожусь ей в сыновья,

а уж рад бы...

Посылаю ей все слезы в подарок,

потому что не дожить мне до свадьбы.

1962

* * *

А. Н.

Мы вышли с почты прямо на канал,
который начал с облаком сливаться
и сверху букву "п" напоминал.
И здесь мы с ним решили расставаться.

Мы попрощались. Мелко семена,
он уходил вечернею порою.
Он быстро уменьшался для меня
как будто раньше вчетверо, чем втрое.

Конечно, что-то было впереди.
Что именно – нам было неизвестно.
Для тех, кто ждал его в конце пути,
он так же увеличивался резко.

Настал момент, когда он заслонил
пустой канал с деревьями и почву,
когда он все собой заполонил.
Одновременно превратившись в точку.

1962

На титульном листе

Ты, кажется, искал здесь? Не ищи.
Гремит засов у входа неизменный.
Не стоит подбирать сюда ключи.
Не тут хранится этот клад забвенный.
Всего и блеску, что огонь в печи.
Соперничает с цепью драгоценной
цепь ходиков стенных. И, непременный,
горит фонарь под окнами в ночи.

Свет фонаря касается трубы.
И больше ничего здесь от судьбы
действительной, от времени, от века.
И если что предполагает клад,
то сам засов, не выдержавший взгляд
пришедшего с отмычкой человека.

1962

Ночной полет

В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч
и на звезды глядел,
и в кармане моем заблудившийся ключ
все звенел не у дел,
и по сетке скакал надо мной виноград,
акробат от тоски;

был далек от меня мой родной Ленинград,
и все ближе – пески.

Бессеребряной сталью мерцало крыло,
приближаясь к луне,
и чучмека в папахе рвало, и текло
это под ноги мне.
Бился льдинкой в стакане мой мозг в забытьи.
Над одною шестой
в небо ввинчивал с грохотом нимбы свои
двухголовый святой.

Я бежал от судьбы, из-под низких небес,
от распластанных дней,
из квартир, где я умер и где я воскрес
из чужих простыней;
от сжимавших рассудок махровым венцом
откровений, от рук,
припадал я к которым и выпал лицом
из которых на Юг.

Счастье этой земли, что взаправду кругла,
что зрачок не берет
из угла, куда загнан, свободы угла,
но и наоборот:
что в кошачьем мешке у пространства хитро
прогрызаешь дыру,

чтобы слез европейских сушить серебро
на азийском ветру.

Что на свете – верней, на огромной вельми,
на одной из шести -
что мне делать еще, как не хлопать дверьми
да ключами трясти!
Ибо вправду честней, чем делить наш ничей
круглый мир на двоих,
променять всю безрадостность дней и ночей
на безадресность их.

Дуй же в крылья мои не за совесть и страх,
но за совесть и стыд.
Захлебнусь ли в песках, разобьюсь ли в горах
или Бог пощадит -
все едино, как сбившийся в строчку петит
смертной памяти для:
мегалополис туч гражданина ль почитит,
отщепенца ль – земля.

Но услышишь, когда не найдешь меня ты
днем при свете огня,
как в Быково на старте грохочут винты:
это – помнят меня
зеркала всех радаров, прожекторов, лик
мой хранящих внутри;

и – внехрамовый хор – из динамиков крик
грянет медью: Смотри!
Там летит человек! не грусти! улыбнись!
Он таращится вниз
и сжимает в руке виноградную кисть,
словно бог Дионис.

1962

* * *

Огонь, ты слышишь, начал угасать.
А тени по углам – зашевелились.
Уже нельзя в них пальцем указать,
прикрикнуть, чтоб они остановились.
Да, воинство сие не слышит слов.
Построилось в каре, сомкнулось в цепи.
Бесшумно наступает из углов,
и я внезапно оказался в центре.
Все выше снизу взрывы темноты.
Подобны восклицательному знаку.
Все гуще тьма слетает с высоты,
до подбородка, комкает бумагу.
Теперь исчезли стрелки на часах.
Не только их не видно, но не слышно.
И здесь остался только блик в глазах,
застывших неподвижно. Неподвижно.
Огонь угас. Ты слышишь: он угас.
Горючий дым под потолком витает.
Но этот блик – не покидает глаз.

Вернее, темноты не покидает.

1962

* * *

Они вдвоем глядят в соседний сад,
и мысленно в той комнате огромной
уже давно. Но тени их назад
бегут вдвоем по грядке помидорной.
Стоит безмолвно деревянный дом,
но все в морщинах: стены, дверь, стропила
как будто повествуют здесь о том,
что сходство между ними наступило.
И в то же время дымную свечу
труба пускает в направлении взгляда,
вложив сюда всю зависть к кирпичу,
которая плывет через ограду.
Они ж не шелохнутся. Но из глаз
струится ровный свет в чужие розы.
И как прекрасно, что они сейчас
еще не там, совсем не там, где грезы,
что вот они и могут выбирать,
пустой участок предпочесть раките,
и там свою дилемму повторять,
как миф о Филемоне и Бавкиде.

1962

От окраины к центру

Вот я вновь посетил
эту местность любви, полуостров заводов,
парадиз мастерских и аркадию фабрик,
рай речной пароходов,
я опять прошептал:
вот я снова в младенческих ларах.
Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок.

Предо мною река
распласталась под каменно-угольным дымом,
за спиною трамвай
прогремел на мосту невредимом,
и кирпичных оград
просветлела внезапно угрюмость.
Добрый день, вот мы встретились, бедная юность.

Джаз предместий приветствует нас,
слышишь трубы предместий,
золотой диксиленд
в черных кепках прекрасный, прелестный,
не душа и не плоть -
чья-то тень над родным патефоном,
словно платье твое вдруг подброшено вверх саксофоном.

В ярко-красном кашне
и в плаще в подворотнях, в парадных

ты стоишь на виду
на мосту возле лет безвозвратных,
прижимая к лицу недопитый стакан лимонада,
и ревет позади дорогая труба комбината.

Добрый день. Ну и встреча у нас.

До чего ты бесплотна:
рядом новый закат
гонит вдаль огневые полотна.

До чего ты бедна. Столько лет,
а промчались напрасно.

Добрый день, моя юность. Боже мой, до чего ты прекрасна.

По замерзшим холмам
молчаливо несутся борзые,
среди красных болот
возникают гудки поездные,
на пустое шоссе,
пропадая в дыму редколесья,
вылетают такси, и осины глядят в поднебесье.

Это наша зима.

Современный фонарь смотрит мертвенным оком,
предо мною горят
ослепительно тысячи окон.

Возвышаю свой крик,
чтоб с домами ему не столкнуться:

это наша зима все не может обратно вернуться.

Не до смерти ли, нет,

мы ее не найдем, не находим.

От рожденья на свет

ежедневно куда-то уходим,

словно кто-то вдали

в новостройках прекрасно играет.

Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.

Значит, нету разлук.

Существует громадная встреча.

Значит, кто-то нас вдруг

в темноте обнимает за плечи,

и полны темноты,

и полны темноты и покоя,

мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою.

Как легко нам дышать,

оттого, что подобно растенью

в чьей-то жизни чужой

мы становимся светом и тенью

или больше того -

оттого, что мы все потеряем,

отбегая навек, мы становимся смертью и раем.

Вот я вновь прохожу
в том же светлом раю – с остановки налево,
предо мною бежит,
закрываясь ладонями, новая Ева,
ярко-красный Адам
вдалеке появляется в арках,
невский ветер звенит заунывно в развешанных арфах.

Как стремительна жизнь
в черно-белом раю новостроек.
Обвивается змей,
и безмолвствует небо героик,
ледяная гора
неподвижно блестит у фонтана,
вьется утренний снег, и машины летят неустанно.

Неужели не я,
освещенный тремя фонарями,
столько лет в темноте
по осколкам бежал пустырями,
и сиянье небес
у подъемного крана клубилось?
Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось.

Кто-то новый царит,
безымянный, прекрасный, всемогущий,
над отчизной горит,

разливается свет темно-синий,
и в глазах у борзых
шелестят фонари – по цветочку,
кто-то вечно идет возле новых домов в одиночку.

Значит, нету разлук.

Значит, зря мы просили прощенья
у своих мертвецов.

Значит, нет для зимы возвращенья.

Остается одно:

по земле проходить бестревожно.

Невозможно отстать. Обгонять – только это возможно.

То, куда мы спешим,
этот ад или райское место,
или попросту мрак,
темнота, это все неизвестно,
дорогая страна,
постоянный предмет воспеванья,
не любовь ли она? Нет, она не имеет названья.

Это – вечная жизнь:

поразительный мост, неумолчное слово,
проплыванье баржи,
оживленье любви, убиванье бывшего,
пароходов огни
и сиянье витрин, звон трамваев далеких,

плеск холодной воды возле брюк твоих вечношироких.

Поздравляю себя

с этой ранней находкой, с тобою,

поздравляю себя

с удивительно горькой судьбою,

с этой вечной рекой,

с этим небом в прекрасных осинах,

с описанием утрат за безмолвной толпой магазинов.

Не жилец этих мест,

не мертвец, а какой-то посредник,

совершенно один,

ты кричишь о себе напоследок:

никого не узнал,

обознался, забыл, обманулся,

слава Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся.

Слава Богу, чужой.

Никого я здесь не обвиняю.

Ничего не узнать.

Я иду, тороплюсь, обгоняю.

Как легко мне теперь,

оттого, что ни с кем не расстался.

Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.

Поздравляю себя!

Сколько лет проживу, ничего мне не надо.

Сколько лет проживу,

сколько дам на стакан лимонада.

Сколько раз я вернусь -

но уже не вернусь – словно дом запираю,

сколько дам я за грусть от кирпичной трубы и собачьего лая.

1962

Притча

"Пусть дым совется в виде той петли,

которая согнать его сумела

своим кивком с холмов родной земли".

Должно быть, в мщеньи выше нет предела.

Конечно, достигая до небес,

начнет гулять, дымить противоборство.

Не стоит крыш снимать, чтоб видел лес

сей быстрый труд, настойчивость, упорство.

Все в ход пойдет: смола, навоз, трава,

должно быть, в виде той петли разложат

в горящем очаге свои дрова.

Пусть ветер им поможет. Пусть поможет.

Нет, никогда ничья на свете власть

и всех стихий внезапное движенье

не явит ту, что просто родилась

и вот живет в их злом воображеньи.

Лес по краям. Блестящий снег хрустит,
никак не различить теней нерезких,
свидетелей того, как слабый мстит.

И он пошел во тьму с холмов еврейских.

1962

Сонет

Великий Гектор стрелами убит.
Его душа плывет по темным водам,
шуршат кусты и гаснут облака,
вдали невнятно плачет Андромаха.

Теперь печальным вечером Аякс
бредет в ручье прозрачном по колено,
а жизнь бежит из глаз его раскрытых
за Гектором, а теплая вода
уже по грудь, но мрак переполняет
бездонный взгляд сквозь волны и кустарник,
потом вода опять ему по пояс,
тяжелый меч, подхваченный потоком,
плывет вперед
и увлекает за собой Аякса.

1962

Сонет

Прошел январь за окнами тюрьмы,
и я услышал пенье заключенных,
звучащее в кирпичном сонме камер:
«Один из наших братьев на свободе».

Еще ты слышишь пенье заключенных
и топот надзирателей безгласных,
еще ты сам поешь, поешь безмолвно:
«Прощай, январь».

Лицом поверотась к окну,
еще ты пьешь глотками теплый воздух,
а я опять задумчиво бреду
с допроса на допрос по коридору
в ту дальнюю страну, где больше нет
ни января, ни февраля, ни марта.

1962

Сонет

Я снова слышу голос твой тоскливый
на пустырях – сквозь хриплый лай бульдогов,
и след родной ищущей в толпе окраин,
и вижу вновь рождественскую хвою
и огоньки, шипящие в сугробах.

Ничто верней твой адрес не укажет,
чем этот крик, блуждающий во мраке

прозрачною, хрустальной каплей яда.

Теперь и я встречаю новый год
на пустыре, в бесшумном хороводе,
и гаснут свечи старые во мне,
а по устам бежит вино Тристана,
я в первый раз на зов не отвечаю.
С недавних пор я вижу и во мраке.

1962

Стансы

Е. В., А. Д.

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.

И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,

и апрельская морось,
под затылком снежок,
и услышу я голос:
– До свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой,
– словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

1962

* * * [27]

Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам,
вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме, к треугольным домам,
вдоль оврагов пустых, по замерзшей траве, по песчаному дну,
освещенный луной, и ее замечая одну.

Гулкий топот копыт по застывшим холмам – это не с чем сравнить,
это ты там, внизу, вдоль оврагов ты вьешь свою нить,
там куда-то во тьму от дороги твоей отбегает ручей,
где на склоне шуршит твоя быстрая тень по спине кирпичей.

Ну и скачет же он по замерзшей траве, растворяясь впотьмах,

возникая вдали, освещенный луной, на бескрайних холмах,
мимо черных кустов, вдоль оврагов пустых, воздух бьет по лицу,
говоря сам с собой, растворяется в черном лесу.

Вдоль оврагов пустых, мимо черных кустов, – не отыщется след,
даже если ты смел и вокруг твоих ног завивается свет,
все равно ты его никогда ни за что не сумеешь догнать.

Кто там скачет в холмах... я хочу это знать, я хочу это знать.

Кто там скачет, кто мчится под хладною мглой, говорю,
одиноким лицом обернувшись к лесному царю, -
обращаюсь к природе от лица треугольных домов:
кто там скачет один, освещенный царицей холмов?
Но еловая готика русских равнин поглощает ответ,
из распахнутых окон бьет прекрасный рояль, разливается свет,
кто-то скачет в холмах, освещенный луной, возле самых небес,
по застывшей траве, мимо черных кустов. Приближается лес.

Между низких ветвей лошадиный сверкнет изумруд.
Кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд,
кто глядит на себя, отраженного в черной воде,
тот вернулся к себе, кто скакал по холмам в темноте.
Нет, не думай, что жизнь – это замкнутый круг небылиц,
ибо сотни холмов – поразительных круп кобылиц,
из которых в ночи, но при свете луны, мимо сонных округ,
засыпая во сне, мы стремительно скачем на юг.

Обращаюсь к природе: это всадники мчатся во тьму,

создавая свой мир по подобию вдруг твоему,
от бобровых запруд, от холодных костров пустырей
до громоздких плотин, до безгласной толпы фонарей.
Все равно – возвращенье... Все равно даже в ритме баллад
есть какой-то разбег, есть какой-то печальный возврат,
даже если Творец на иконах своих не живет и не спит,
появляется вдруг сквозь еловый собор что-то в виде копыт.

Ты, мой лес и вода! кто объедет, а кто, как сквозняк,
проникает в тебя, кто глаголет, а кто обиняк,
кто стоит в стороне, чьи ладони лежат на плече,
кто лежит в темноте на спине в ледящем ручье.
Не неволь уходить, разбираться во всем не неволь,
потому что не жизнь, а другая какая-то боль
приникает к тебе, и уже не слышать, как приходит весна,
лишь вершины во тьме непрерывно шумят, словно маятник сна.

1962

Утренняя почта для А. А. Ахматовой из города Сестрорецка

В кустах Финляндии бессмертной,
где сосны царствуют сурово,
я полон радости несметной,
когда залив и Комарово
освещены зарей прекрасной,
осенены листвой беспечной,
любовью Вашей – ежечасной
и Вашей добротою – вечной.

1962

Холмы

Вместе они любили
сидеть на склоне холма.
Оттуда видны им были
церковь, сады, тюрьма.
Оттуда они видали
заросший травой водоем.
Сбросив в песок сандалии,
сидели они вдвоем.

Руками обняв колени,
смотрели они в облака.
Внизу у кино калеки
ждали грузовика.
Мерцала на склоне банка
возле кустов кирпича.
Над розовым шпилем банка
ворона вилась, крича.

Машины ехали в центре
к бане по трем мостам.
Колокол звякал в церкви:
электрик венчался там.
А здесь на холме было тихо,

ветер их освежал.

Кругом ни свистка, ни крика.

Только комар жжужал.

Трава была там примята,

где сидели они всегда.

Повсюду черные пятна -

оставила их еда.

Коровы всегда это место

вытирали своим языком.

Всем это было известно,

но они не знали о том.

Окурки, спичка и вилка

прикрыты были песком.

Чернела вдали бутылка,

отброшенная носком.

Заслышав едва мычанье,

они спускались к кустам

и расходились в молчаньи -

как и сидели там.

По разным склонам спускались,

случалось боком ступать.

Кусты перед ними смыкались
и расступались опять.
Скользили в траве ботинки,
меж камней блестела вода.
Один достигал тропинки,
другой в тот же миг пруда.

Был вечер нескольких свадеб
(кажется, было две).
Десяток рубах и платьев
маячил внизу в траве.
Уже закат унимался
и тучи к себе манил.
Пар от земли поднимался,
а колокол все звонил.

Один, кряхтя, спотыкаясь,
другой, сигаретой дымя -
в тот вечер они спускались
по разным склонам холма.
Спускались по разным склонам,
пространство росло меж них.
Но страшный, одновременно
воздух потряс их крик.

Внезапно кусты распахнулись,
кусты распахнулись вдруг.

Как будто они проснулись,
а сон их был полон мук.
Кусты распахнулись с воем,
как будто раскрылась земля.
Пред каждым возникли двое,
железом в руках шевеля.

Один топором был встречен,
и кровь потекла по часам,
другой от разрыва сердца
умер мгновенно сам.
Убийцы тащили их в рощу
(по рукам их струилась кровь)
и бросили в пруд заросший.
И там они встретились вновь.

Еще пробирались на ощупь
к местам за столом женихи,
а страшную весть на площадь
уже принесли пастухи.
Вечерней зарей сияли
стада густых облаков.
Коровы в кустах стояли
и жадно лизали кровь.

Электрик бежал по склону
и шури́н за ним в кустах.
Невеста внизу обозленно
стояла одна в цветах.
Старуха, укрытая пледом,
крутила пред ней тесьму,
а пьяная свадьба следом
за ними неслась к холму.

Сучья под ними трещали,
они неслись, как в бреду.
Коровы в кустах мычали
и быстро спускались к пруду.
И вдруг все увидели ясно
(царила вокруг жара):
чернела в зеленой ряске,
как дверь в темноту, дыра.

Кто их оттуда поднимет,
достанет со дна пруда?
Смерть, как вода над ними,
в желудках у них вода.
Смерть уже в каждом слове,
в стебле, обвившем жердь.

Смерть в зализанной крови,
в каждой корове смерть.

Смерть в погоне напрасной
(будто ищут воров).

Будет отныне красным
млеко этих коров.

В красном, красном вагоне
с красных, красных путей,
в красном, красном бидоне -
красных поить детей.

Смерть в голосах и взорах.

Смертью полн воротник. -

Так им заплатит город:

смерть тяжела для них.

Нужно поднять их, поднять бы.

Но как превозмочь тоску:

если убийство в день свадьбы,

красным быть молоку.

Смерть – не скелет кошмарный

с длинной косой в росе.

Смерть – это тот кустарник,

в котором стоим мы все.
Это не плач похоронный,
а также не черный бант.
Смерть – это крик вороний,
черный – на красный банк.

Смерть – это все машины,
это тюрьма и сад.
Смерть – это все мужчины,
галстуки их висят.
Смерть – это стекла в бане,
в церкви, в домах – подряд!
Смерть – это все, что с нами -
ибо они – не узрят.

Смерть – это наши силы,
это наш труд и пот.
Смерть – это наши жилы,
наша душа и плоть.
Мы больше на холм не выйдем,
в наших домах огни.
Это не мы их не видим -
нас не видят они.

Розы, герань, гиацинты,
пионы, сирень, ирис -
на страшный их гроб из цинка -
розы, герань, нарцисс,
лилии, словно из басмы,
запах их прян и дик,
левкой, орхидеи, астры,
розы и сноп гвоздик.

Прошу отнести их к берегу,
вверить их небесам.
В реку их бросить, в реку,
она понесет к лесам.
К черным лесным протокам,
к темным лесным домам,
к мертвым полесским топям,
вдаль – к балтийским холмам.

Холмы – это наша юность,
гоним ее, не узнав.
Холмы – это сотни улиц,
холмы – это сонм канав.
Холмы – это боль и гордость.
Холмы – это край земли.
Чем выше на них восходишь,

тем больше их видишь вдали.

Холмы – это наши страдания.

Холмы – это наша любовь.

Холмы – это крик, рыдание,
уходят, приходят вновь.

Свет и безмерность боли,
наша тоска и страх,
наши мечты и горе,
все это – в их кустах.

Холмы – это вечная слава.

Ставят всегда напоказ
на наши страдания право.

Холмы – это выше нас.

Всегда видны их вершины,
видны средь кромешной тьмы.

Присно, вчера и ныне
по склону движемся мы.

Смерть – это только равнины.

Жизнь – холмы, холмы.

1962

* * *

Не то Вам говорю, не то
твержу с гримасой неуместной.

Рассудок мой что решето,
а не сосуд с водой небесной.
В худую пору взялся я
расписываться в чувстве чистом, -
полна сейчас душа моя
каким-то сором ненавистным.

Простите описание чувств,
фальшивую и злую ноту,
всю болтовню, но больше – грусть,
за матушку ее – длинноту.
Простите, что разверз сей хлев
пред Вами, Господи, простите.
Как будто, ног не отерев,
я в дом влезал... И не грустите:

ведь я-то помню свой оскал,
а также цену рифмованью,
а также все, что здесь искал
в грошовом самобичеваньи.
О не жалеите Ваших слов
о нас. Вы знаете ли сами,
что неубыточно любовь
делить Вам можно с небесами.

1962(?)

* * *

Что ветру говорят кусты,
листом бедны?
Их речи, видимо, просты,
но нам темны.
Перекрывая лязг ведра,
скрипящий стул -
"Сегодня ты сильнее. Вчера
ты меньше дул".
А ветер им – «Грядет зима!»
«О, не губи».
А может быть – «Схожу с ума!»
«Люби! Люби!»
И в сумерках колотит дрожь
мой мезонин...

Их диалог не разберешь,
пока один.

1962

* * *

Я памятник воздвиг себе иной!

К постыдному столетию – спиной.

К любви своей потерянной – лицом.

И грудь – велосипедным колесом.

А ягодицы – к морю полуправд.

Какой ни окружай меня ландшафт,
чего бы ни пришлось мне извинять, -
я облик свой не стану изменять.
Мне высота и поза та мила.
Меня туда усталость вознесла.

Ты, Муза, не вини меня за то.
Рассудок мой теперь, как решето,
а не богами налитый сосуд.
Пускай меня низвергнут и снесут,
пускай в самоуправстве обвинят,
пускай меня разрушат, расчленят, -

в стране большой, на радость детворе
из гипсового бюста во дворе
сквозь белые незрячие глаза
струей воды ударю в небеса.

1962

В семейный альбом

Не мы ли здесь, о посмотри,
вон там, окружены песком -
по обе стороны скамьи,
застыв, на берегу морском.

Все чудится, что рядом ты.

Все вижу сквозь ненастный вой
вливающийся в цвет воды
колеблющийся локон твой.

Как скрученные кем-то в жгут
полотна простыней ночных,
и тучи и валы бегут,
но разные пути у них.

Пуст берег, этот край земной,
где каждый деревянный дом
маячит за твоей спиной,
как лодка, что стоит вверх дном.

И вот уже как будто страх:
не верится, что дом прирос!
Но, двери распахнув, рыбаки
мешает повторить вопрос.

А ветер все свистит, крутя
столь жаждущих простых границ,
в сей бредень (или в сеть) дождя
попавшихся прибрежных птиц,

Не видно им со стороны -
как спинкою своей скамья
твердит, что мы равны, равны,
что, может быть, и мы семья.

Лишь нам здесь – ни сейчас, ни впредь,

уоставившись в пустой песок,
знак тождества не разглядеть,
сколоченный из двух досок.

зима 1962 – 1963

* * *

Вдоль темно-желтых квартир
на неизвестный простор
в какой-то сумрачный мир
ведет меня коридор.
И рукав моего пальто
немного в его грязи.
Теперь я вижу лишь то,
что от меня вблизи.

Еще в зеркалах живет
мой неопрятный вид.
Страшное слово «вперед»
губы мои кривит.
Скопище, сонм теней
спускается на тормозах.
Только всего сильнеей
электрический свет в глазах.

Словно среди тишины
вдруг заглушает крик

власти теней спины
залитый светом лик,
словно в затылке – лед
и пламень во лбу горящ,
и тела всего – перед
много превосходящ.

Коридор, мой коридор,
закадычный в ранге владык;
залитый светом взор,
залитый тьмой кадык.
Запертый от гостей,
с вечным простясь пером,
в роще своих страстей
я иду с топором.

Так как еще горит
здесь предо мною свет,
взгляд мой еще парит,
минует еще паркет,
по жилам еще бежит
темно-желтая кровь,
и сердце мое дрожит
возле охапки дров.

Так, как в конце весны
звуками полон лес, -

в мире конструкций сны
прежний теряют вес.
Так, впредь бывшего дыша,
я пред Тобой, Господь,
видимо, весь душа,
да вполовину плоть.

Словно летом в тени
и у любви в конце,
словно в лучшие дни,
пот на моем лице.
Так посреди белья
и у дров на виду
старый и новый я,
Боже, смотри, иду.

Серый на горле шарф,
сзади зеркальный шкаф,
что-то звенит в ушах,
в страшной грязи рукав,
вешалки смотрят вслед,
лампочки светят вдоль.

И если погаснет свет,
зажжет свой фонарик боль.

1962 – 1963

* * *

Черные города,
воображенья грязь.
Сдавленное «когда»,
выплюнутое «вчера»,
карканье воронка,
камерный айболит,
вдавливанье позвонка
в стиранный неолит.

– Вот что нас ждет, дружок,
до скончанья времен,
вот в чем твой сапожок
чавкать приговорен,
также как мой штиблет,
хоть и не нов на вид.
Гончую этот след
не воодушевит.

Вот оттого нога,
возраст подметки для,
и не спешит в бега,
хоть велика земля.
Так что через плечо
виден беды рельеф,
где белеет еще

лампочка, перегорев.

Впрочем, итог разрух -

с фениксом схожий смрад.

Счастье – суть роскошь двух;

горе – есть демократ.

Что для слезы – впервой,

то – лебеда росе.

Вдохновлены травой,

мы делаемся, как все.

То-то идут домой

вдоль большака столбы -

в этом, дружок, прямой

виден расчет судьбы,

чтобы не только бог,

ночь сотворивший с днем,

слиться с пейзажем мог

и раствориться в нем.

1962 – 63

На смерть Роберта Фроста

Значит, и ты уснул.

Должно быть, летя к ручью,

ветер здесь промелькнул,

задув и твою свечу.

Узнав, что смолкла вода,
и сделав над нею круг,
вновь он спешит сюда,
где дым обгоняет дух.

Позволь же, старик, и мне,
среди мертвых финских террас,
звездам в моем окне
сказать, чтоб их свет сейчас,
который блестит окрест,
сошел бы с пустых аллей,
исчез бы из этих мест
и стал бы всего светлей
в кустах, где стоит блондин,
который ловит твой взгляд,
пока ты бредешь один
в потемках... к великим... в ряд.

30 января 1963, Комарово

* * *

Деревья окружили пруд,
белеющий среди них, как плешь,
почти уже кольцом, но тут
тропинка пробивает брешь.
В негодованьи на гостей
последняя сосна дрожит.
Но черный ручеек детей

на эту белизну бежит.

Внизу еще свистят, галдят,

вверху – уже царит тоска.

Вершины, кажется, глядят

в отчаяньи на облака.

Должно быть, просят темноты

вечерней, тьмы ночей, -

чтоб эти капельки воды

забрал назад ручей.

январь 1963

Большая элегия Джону Донну

Джон Донн уснул, уснуло все вокруг.

Уснули стены, пол, постель, картины,

уснули стол, ковры, засовы, крюк,

весь гардероб, буфет, свеча, гардины.

Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы,

хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,

ночник, белье, шкафы, стекло, часы,

ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.

Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,

среди бумаг, в столе, в готовой речи,

в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле

остывшего камина, в каждой вещи.

В камзоле, башмаках, в чулках, в тенях,

за зеркалом, в кровати, в спинке стула,

опять в тазу, в распятыях, в простынях,

в метле у входа, в туфлях. Все уснуло.

Уснуло все. Окно. И снег в окне.
Соседней крыши белый скат. Как скатерть
ее конек. И весь квартал во сне,
разрезанный оконной рамой насмерть.
Уснули арки, стены, окна, все.
Булыжники, торцы, решетки, клумбы.
Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо...
Ограды, украшенья, цепи, тумбы.
Уснули двери, кольца, ручки, крюк,
замки, засовы, их ключи, запоры.
Нигде не слышен шепот, шорох, стук.
Лишь снег скрипит. Все спит. Рассвет не скоро.
Уснули тюрьмы, замки. Спят весы
среди рыбной лавки. Спят свиные туши.
Дома, задворки. Спят цепные псы.
В подвалах кошки спят, торчат их уши.
Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.
Спит парусник в порту. Вода со снегом
под кузовом его во сне сипит,
сливаясь вдалеке с уснувшим небом.
Джон Донн уснул. И море вместе с ним.
И берег меловой уснул над морем.
Весь остров спит, объятый сном одним.
И каждый сад закрыт тройным запором.
Спят клены, сосны, грабы, пихты, ель.
Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.
Лисицы, волк. Залез медведь в постель.
Наносит снег у входов нор сугробы.
И птицы спят. Не слышно пенья их.
Вороний крик не слышен, ночь, совиный

не слышен смех. Простор английский тих.
Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.
Уснуло все. Лежат в своих гробах
все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях
живые спят в морях своих рубах.
По одиночке. Крепко. Спят в объятьях.
Уснуло все. Спят реки, горы, лес.
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.
Лишь белый снег летит с ночных небес.
Но спят и там, у всех над головою.
Спят ангелы. Тревожный мир забыт
во сне святыми – к их стыду святому.
Геенна спит и Рай прекрасный спит.
Никто не выйдет в этот час из дому.
Господь уснул. Земля сейчас чужда.
Глаза не видят, слух не внемлет боле.
И дьявол спит. И вместе с ним вражда
заснула на снегу в английском поле.
Спят всадники. Архангел спит с трубой.
И кони спят, во сне качаясь плавно.
И херувимы все – одной толпой,
обнявшись, спят под сводом церкви Павла.
Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,
равно тихи, лежат в своих силлабах.
И каждый стих с другим, как близкий брат,
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.
Но каждый так далек от райских врат,
так беден, густ, так чист, что в них – единство.

Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.
Хореи спят, как стражи, слева, справа.
И спит виденье в них летейских вод.
И крепко спит за ним другое – слава.
Спят беды все. Странья крепко спят.
Пороки спят. Добро со злом обнялось.
Пророки спят. Белесый снегопад
в пространстве ищет черных пятен малость.
Уснуло все. Спят крепко толпы книг.
Спят реки слов, покрыты льдом забвенья.
Спят речи все, со всею правдой в них.
Их цепи спят; чуть-чуть звенят их звенья.
Все крепко спят: святые, дьявол, Бог.
Их слуги злые. Их друзья. Их дети.
И только снег шуршит во тьме дорог.
И больше звуков нет на целом свете.

Но чу! Ты слышишь – там, в холодной тьме,
там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.
Там кто-то предоставлен всей зиме.
И плачет он. Там кто-то есть во мраке.
Так тонок голос. Тонок, впрямь игла.
А нити нет... И он так одиноко
плывет в снегу. Повсюду холод, мгла...
Сшивая ночь с рассветом... Так высоко!
"Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,
возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,
любви моей?.. Во тьме идешь домой.
Не ты ль кричишь во мраке?" – Нет ответа.

"Не вы ль там, херувимы? Грустный хор
напомнило мне этих слез звучанье.
Не вы ль решились спящий мой собор
покинуть вдруг? Не вы ль? Не вы ль?" – Молчанье.
"Не ты ли, Павел? Правда, голос твой
уж слишком огрублен суровой речью.
Не ты ль поник во тьме седой главой
и плачешь там?" – Но тишь летит навстречу.
"Не та ль во тьме прикрыла взор рука,
которая повсюду здесь маячит?
Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,
но слишком уж высокий голос плачет".
Молчанье. Тишь. – "Не ты ли, Гавриил,
подул в трубу, а кто-то громко лает?
Но что ж лишь я один глаза открыл,
а всадники своих коней седлают.
Все крепко спит. В объятых крепкой тьмы.
А гончие уж мчат с небес толпою.
Не ты ли, Гавриил, среди зимы
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?"

"Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.
Здесь я одна скорблю в небесной выси
о том, что создала своим трудом
тяжелые, как цепи, чувства, мысли.
Ты с этим грузом мог вершить полет
среди страстей, среди грехов, и выше.
Ты птицей был и видел свой народ
повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.

Ты видел все моря, весь дальний край.
И Ад ты зрел – в себе, а после – в яви.
Ты видел также явно светлый Рай
в печальнейшей – из всех страстей – оправе.
Ты видел: жизнь, она как остров твой.
И с Океаном этим ты встречался:
со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой.
Ты Бога облетел и вспять помчался.
Но этот груз тебя не пустит ввысь,
откуда этот мир – лишь сотня башен
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,
сей страшный суд совсем не страшен.
И климат там недвижим, в той стране.
Откуда все, как сон больной в истоме.
Господь оттуда – только свет в окне
туманной ночью в самом дальнем доме.
Поля бывают. Их не пашет плуг.
Года не пашет. И века не пашет.
Одни леса стоят стеной вокруг,
а только дождь в траве огромной пляшет.
Тот первый дровосек, чей тощий конь
вбежит туда, плутая в страхе чащей,
на сосну взлезши, вдруг узрит огонь
в своей долине, там, вдали лежащей.
Все, все вдали. А здесь неясный край.
Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.
Здесь так светло. Не слышен псиный лай.
И колокольный звон совсем не слышен.
И он поймет, что все – вдали. К лесам
он лошадь повернет движеньем резким.

И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам
и бедный конь – все станет сном библейским.
Ну, вот я плачу, плачу, нет пути.
Вернуться суждено мне в эти камни.
Нельзя прийти туда мне во плоти.
Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.
Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,
в сырой земле, забыв навек, на муку
бесплодного желанья плыть вослед,
чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку.
Но чу! пока я плачем твой ночлег
смущаю здесь, – летит во тьму, не тает,
разлуку нашу здесь сшивая, снег,
и взад-вперед игла, игла летает.
Не я рыдаю – плачешь ты, Джон Донн.
Лежишь один, и спит в шкафах посуда,
покуда снег летит на спящий дом,
покуда снег летит во тьму оттуда".

Подобье птиц, он спит в своем гнезде,
свой чистый путь и жажду жизни лучшей
раз навсегда доверив той звезде,
которая сейчас закрыта тучей.
Подобье птиц. Душа его чиста,
а светский путь, хотя, должно быть, грешен,
естественней вороньего гнезда
над серую толпой пустых скворешен.
Подобье птиц, и он проснется днем.
Сейчас – лежит под покрывалом белым,

покуда сшито снегом, сшито сном
пространство меж душой и спящим телом.
Уснуло все. Но ждут еще конца
два-три стиха и скалят рот щербато,
что светская любовь – лишь долг певца,
духовная любовь – лишь плоть аббата.
На чье бы колесо сих вод не лить,
оно все тот же хлеб на свете мелет.
Ведь если можно с кем-то жизнь делить,
то кто же с нами нашу смерть разделит?
Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.
Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.
Еще рывок! И только небосвод
во мраке иногда берет иглу портного.
Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.
Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.
Того гляди и выглянет из туч
Звезда, что столько лет твой мир хранила.

7 марта 1963

* * *

А. А. А.

Блестит залив, и ветер несет
через ограду воздух влажный.
Ночь белая глядит с высот,
как в зеркало, в квадрат бумажный.
Вдвойне темней, чем он, рука

незрима при поспешном взгляде.

Но вот слова, как облака,
несутся по зеркальной глади.

24 июня 1963

Другу-стихотворцу

Нет, не посетует Муза,
если напев заурядный,
звук, безразличный для вкуса,
с лиры сорвется нарядной.

Милая, грусти не выдаст,
путая спину и перед,
песню, как платье на вырост,
к слуху пространства примерит.

Правда ведь: как ни вертеться,
искренность, сдержанность, мука,
– нечто, рожденное в сердце,
громче сердечного стука.

С этим залогом успеха
ветер – и тот не поспорит;
дальние горы и эхо
каждое слово повторят.

Вот и певец возвышает
голос – на час, на мгновенье,

криком своим заглушает
собственный ужас забвенья.
Выдохи чаще, чем вдохи,
ибо вдыхает, по сути,
больше, чем воздух эпохи:
нечто, что бродит в сосуде.

Здесь, в ремесле стихотворства,
как в состязаньи на дальность
бега, – бушует притворство,
так как велит натуральность
то, от чего уж не деться, -
взгляды, подобные сверлам,
радовать правдой, что сердце
в страхе живет перед горлом.

июнь 1963

* * *

Подтверждается дым из трубы
стариками, живущими в доме.
Подтверждается правда судьбы -
человеком с монеткой в ладони.
Точно так же движенье души,
что сродни умолкающей ноте,
замирающей в общей тиши,
подтверждает движение плоти.

Так и смерть, растяжение жил,
– не труды и не слава поэта -
подтверждает, что все-таки жил,
делал тени из ясного света.
Точно так же бросок иль рывок
подтвержден неотступною тенью.
Так и жизнь – подтверждает кивок
в толчее, – человеку – виденью...

август 1963

* * *

Вот я вновь принимаю парад
посветлевшей листвы на участке,
и, приветствуя этот возврат,
гулко дятел стучит для острастки.

И с березы прозрачной на дверь
опускается лист полусонный.
Закрываю воду, теперь [28]
пусть дожди поливают газоны.

Дым плывет над трубой, и заря
чуть кивает из сумрачной рани
золотой головой октября,
утопающей в мокром тумане.

Больше некуда мне поспешать
за бедой, за сердечной свободой.
Остается смотреть и дышать
молчаливой, холодной природой.

5 октября 1963, Комарово

Из «Старых английских песен»

Заспорят ночью мать с отцом.
И фразы их с глухим концом
велят, не открывая глаз,
застыть к стене лицом.

Рыдает мать, отец молчит.
И козодой во тьме кричит.
Часы над головой стучат,
и в голове – стучит...

Их разговор бросает в дрожь
не оттого, что слышишь ложь,
а потому, что – их дитя -
ты сам на них похож:

молчишь, как он (вздохнуть нельзя),

как у нее, ползет слеза.

«Разбудишь сына». – «Нет, он спит».

Лежит, раскрыв глаза!

И слушать грех, и грех прервать.

Не громче, чем скрипит кровать,

в ночную пору то звучит,

что нужно им и нам скрывать.

октябрь 1963

Из «Старых английских песен».

Горячая изгородь

Снег скрыл от глаз гряду камней.

И вот земля – небес бледней.

Одна лишь изгородь черна,

и снега нет на ней.

Холодный лес прикрыла мгла.

Она сама светла, бела.

Одна лишь изгородь в снегу

стоит голым-гола.

И едет всадник вдоль холмов.

Стирает конь следы волков.

Чернеет изгородь в снегу

и слышит звон подков.

Пальто черней, чем первый грач.

Она слепа. Но он-то зряч,
но так же нем и так же глух
и, как она, горяч.

1963

Из «Старых английских песен»

Замерзший повод жжет ладонь.

Угроз, команд не слышит конь.

А в лужах первый лед хрустит,
как в очаге огонь.

Не чует конь моих тревог.

И то сказать, вонзая в бок
ему носки своих сапог,
я вряд ли передать их мог.

Знаком нам путь в лесной овраг.

И, так как нам знаком наш путь,
к нему прибавить лишний шаг
смогу я как-нибудь.

Прибавим шаг к пути, как тот
сосновый ствол, что вверх растет.
И ждет нас на опушке ствол,
ружейный ствол нас ждет.

Тропа вольна свой бег сужать.
Кустам сам Бог велел дрожать.
А мы должны наш путь держать,
наш путь держать, наш путь держать.

1963

Из «Старых английских песен».

Зимняя свадьба

Я вышла замуж в январе.
Толпились гости во дворе,
и долго колокол гудел
в той церкви на горе.

От алтаря, из-под венца,
видна дорога в два конца.
Я посылаю взгляд свой вдаль,
и не вернуть гонца.

Церковный колокол гудит.
Жених мой на меня глядит.

И столько свеч для нас двоих!

И я считаю их.

1963

Переселение

М. Б.

Дверь хлопнула, и вот они вдвоем
стоят уже на улице. И ветер
их обхватил. И каждый о своем
задумался, чтоб вздрогнуть вслед за этим.

Канал, деревья замерли на миг.

Холодный вечер быстро покрывался
их взглядами, а столик между них
той темнотой, в которой оказался.

Дверь хлопнула, им вынесли шпагат,
по дну и задней стенке пропустили
и дверцы обмотали наугад,
и вышло, что его перекрестили.

Потом его приподняли с трудом.

Внутри негромко звякнула посуда.

И вот, соединенные крестом,
они пошли, должно быть, прочь отсюда.

Вдвоем, ни слова вслух не говоря.

Они пошли. И тени их мешались.

Вперед. От фонаря до фонаря.

И оба уменьшались, уменьшались.

октябрь 1963

* * *

Х. В. Горенко

В деревянном доме, в ночи
беззащитность сродни отрешенью,
обе прячутся в пламя свечи,
чтобы сделаться тотчас мишенью.

Страх растет на глазах, и окно
застилает, как туча в июле,
сократив световое пятно
до размеров отверстия пули.

Тишина на участке, темно,
и молчанье не знает по году,
то ли ужас питает оно,
то ли сердцу внушает свободу.

осень 1963

В замерзшем песке

Трехцветных птичек голоса, -
хотя с нагих ветвей
глядит зима во все глаза,
хотя земля светлей
холмов небесных, в чьих кустах
совсем ни звука нет, -
слышны отчетливей, чем страх

ревизии примет.

На волнах пляшет акробат,

сбивая мель с пути.

Все трубы зимние трубят,

но флейты не найти.

И гребень падает, бежит;

сраженный красотой,

кустарник сучьями шуршит,

а нужен козодой.

Вот так и слышишь пенье птиц,

когда трещит мороз,

не видя их упрямых лиц.

Кого, кого? (Вопрос.)

Не видя глаз, в которых власть

любви должна прочесть

не жажду, нет, но страсть, но страсть

остаться мерзнуть здесь.

декабрь 1963

Прилив

Верней песка с морской водой

(на помощь ночь зови), [29]

борись с сердечной пустотой,

вступившей в след любви.

Уму грозящим страхом полн,
беги под крепкий кров,
наполнив сердце шумом волн,
как лунку, до краев.

Но лучше, в землю ткнув носком,
когда все крепко спит,
ее засыпать тем песком,
что в голосе хрипит.

декабрь 1963

В горчичном лесу

Гулко дятел стучит по пустым
деревам, не стремясь достучаться.
Дождь и снег, пробивающий дым,
заплетаясь, шумят средь участка.
Кто-то, вниз опустивши лицо,
от калитки, все пуще и злее
от желанья взбежать на крыльцо,
семенит по размякшей аллее.

Ключ вползает, как нитка в ушко.
Дом молчит, но нажатие пальца,
от себя уводя далеко,

прижимает к нему постояльца.
И смолкает усилие в руке,
ставши тем, что из мозга не вычесть,
в этом кольцеобразном стежке
над замочной скважиной высясь.

Дом заполнен безумьем, чья нить
из того безопасного рода,
что позволит и печь затопить,
и постель застелить до прихода -
нежеланных гостей, и на крюк
дверь закрыть, привалить к ней поленья,
хоть и зная: не ходит вокруг,
но давно уж внутри – исступленье.

Все растет изнутри, в тишине,
прерываемой изредка печью.
Расползается страх по спине,
проникая на грудь по предплечью;
и на горле смыкая кольцо,
возрастая до внятности гула,
пеленой защищает лицо
от сочувствия лампы и стула.

Там, за «шторой», должно быть, сквозь сон,
сосны мечутся с треском и воем,
исхитряясь попасть в унисон

придыханью своим разнобоем.
Все сгибается, бьется, кричит;
но меж ними достаточно внятно
– в этих «ребрах» – их сердце стучит,
черно-красное в образе дятла.

Это все – эта пища уму:
«дятел бьется и ребра не гнутся»,
перифраза из них – никому
не мешало совсем задохнуться.
Дом бы должен, как хлеб на дрожжах,
вверх расти, заостря обитель,
повторяя во всех этажах,
что безумие – лучший строитель.

Продержись – все притихнет и так.
Двадцать сосен на месте кошмара.
Из земли вырастает – чердак,
уменьшается втрое опара.
Так что вдруг от виденья куста
из окна – темных мыслей круженье,
словно мяч от «сухого листа»,
изменяет внезапно движенье.

Колка дров, подметанье полов,
топка печи, стекла вытиранье,
выметанье бумаг из углов,

разрешенная стирка, старанье.

Разрешенная топка печей

и приборка постели и сора

– переносишь на время ночей,

если долго живешь без надзора.

Заостря-заостряется дом.

Ставни заперты, что в них стучаться.

Дверь на ключ – предваряя содом:

в предвкушеньи березы участка, -

обнажаясь быстрее, чем велит

время года, зовя на подмогу

каждый куст, что от взора сокрыт, -

подступают все ближе к порогу.

Колка дров, подметанье полов,

нахождение того, что оставил

на столах, повторенье без слов,

запирание повторное ставень.

Чистка печи от пепла... зола...

Оттирание кастрюль, чтоб блестели.

Возвращение размеров стола.

Топка печи, заправка постели.

1963

* * *

В твоих часах не только ход, но тишь.
Притом их путь лишен подобья круга.
Так в ходиках: не только кот, но мышь;
они живут, должно быть, друг для друга.
Дрожат, скребутся, путаются в днях.
Но их возня, грызня и неизбывность
почти что незаметна в деревнях,
где вообще в домах роится живность.
Там каждый час стирается в уме,
и лет былых бесплотные фигуры
теряются – особенно к зиме,
когда в сенях толпятся козы, овцы, куры.

1963

Исаак и Авраам

М. Б.

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».
«Сейчас иду». – Ответ средь веток мокрых
ныряет под ночным густым дождем,
как быстрый плот – туда, где гаснет окрик.

По-русски Исаак теряет звук.
Ни тень его, ни дух (стрела в излете)
не ропщут против буквы вместо двух
в пустых устах (в его последней плоти).
Другой здесь нет – пойдя ищи-свищи.

И этой также – капли, крошки, малость.

Исак вообще огарок той свечи,
что всеми Исааком прежде звалась.

И звук вернуть возможно – лишь крича:

«Исак! Исак!» – и это справа, слева:

«Исак! Исак!» – и в тот же миг свеча
колеблет ствол, и пламя рвется к небу.

Совсем иное дело – Авраам.

Холмы, кусты, врагов, друзей составить
в одну толпу, кладбища, ветки, храм -
и всех потом к нему воззвать заставить -

ответа им не будет. Будто слух
от мозга заслонился стенкой красной
с тех пор, как он утратил гласный звук
и странно изменился шум согласной.

От сих потерь он, вместо града стрел,
в ответ им шлет молчанье горла, мозга.

Здесь не свеча – здесь целый куст сгорел.

Пук хвороста. К чему здесь ведра воска?

«Идем же, Исаак». – «Сейчас иду».

«Идем быстреей». – Но медлит тот с ответом.

«Чего ты там застрял?» – «Постой». – «Я жду».

(Свеча горит во мраке полным светом).

«Идем. Не отставай». – «Сейчас, бегу».

С востока туч ползет немое войско.

«Чего ты встал?» – «Глаза полны песку».

«Не отставай». – «Нет-нет». – «Иди, не бойся».

В пустыне Исаак и Авраам

четвертый день пешком к пустому месту

идут одни по всем пустым холмам,

что зыблются сродни (под ними) тесту.

Но то песок. Один густо песок.

И в нем трава (коснись – обрежешь палец),

чей корень – если б был – давно иссох.

Она бредет с песком, трава-скиталец.

Ее ростки имеют бледный цвет.

И то сказать – откуда брать ей соки?

В ней, как в песке, ни капли влаги нет.

На вкус она – сродни лесной осоке.

Кругом песок. Холмы песка. Поля.

Холмы песка. Нельзя их счесть, измерить.

Верней – моря. Внизу, на дне, земля.

Но в это трудно верить, трудно верить.

Холмы песка. Барханы – имя им.

Пустынный свод небес кружит над ними.

Шагает Авраам. Вослед за ним

ступает Исаак в простор пустыни.

Садится солнце, в спину бьет отца.

Кружит песок. Прибавил ветер скорость.

Холмы, холмы. И нету им конца.

«Сынок, дрова с тобою?» – «Вот он, хворост».

Волна пришла и вновь уходит вспять.

Как долгий разговор, смолкает сразу,

от берега отняв песчинку, пядь

остатком мысли – нет, остатком фразы.
Но нет здесь берега, только мелкий след
двух путников рождает сходство с кромкой
песка прибрежной, – только сбоку нет
прибрежной пенной ленты – нет, хоть скромной.
Нет, здесь валы темны, светлы, черны.
Здесь море справа, слева, сзади, всюду.
И путники сии – челны, челны,
вода глотает след, вздымает судно.
«А трут, отец, с тобою?» – «Вот он, трут».
Не видно против света, смутно эдак...
Обоих их склоняя, спины трут
сквозь ткань одежд вязанки темных темных веток.
Но Авраам несет еще и мех
с густым вином, а Исаак в дорогу,
колодцы встретив, воду брал из всех.
На что они сейчас похожи сбоку?
С востока туча застит свод небес.
Выдергивает ветер пики, иглы.
Зубчатый фронт, как будто черный лес,
над Исааком, все стволы притихли.
Просветы гаснут. Будто в них сошлись
лесные звери – спины свет закрыли.
Сейчас они – по вертикали – вниз
помчат к пескам, раскинут птицы крылья.
И лес растет. Вершины вверх ползут...
И путники плывут, как лодки в море.
Барханы их внизу во тьму несут.
Разжечь костер им здесь придется вскоре.

Еще я помню: есть одна гора.

Там есть тропа, цветущих вишен арка

висит над ней, и пар плывет с утра:

там озеро в ее подножьи, largo

волна шуршит и слышен шум травы.

Тропа пуста, там нет следов часами.

На ней всегда лежит лишь тень листвы,

а осенью – ложатся листья сами.

Крадется пар, вдали блестит мысок,

беленый ствол грызут лесные мыши,

и ветви, что всегда глядят в песок,

склоняются к нему все ближе, ниже.

Как будто жаждут знать, что стало тут,

в песке тропы с тенями их родными,

глядят в упор, и как-то вниз растут,

сливаясь на тропе навечно с ними.

Пчела жужжит, блестит озерный круг,

плывет луна меж тонких веток ночи,

тень листьев двух, как цифра 8, вдруг

в безумный счет свергает быстро рощу.

Внезапно Авраам увидел куст.

Густые ветви стлались низко-низко.

Хоть горизонт, как прежде, был здесь пуст,

но это означало: цель их близко.

«Здесь недалеко», – куст шепнул ему

почти в лицо, но Авраам, однако,

не подал вида и шагнул во тьму.

И точно – Исаак не видел знака.
Он, голову подняв, смотрел туда,
где обнажались корни чащи мрачной,
разросшейся над ним – и там звезда
среди них (корней) зажгла свой свет прозрачный.
Еще одна. Минуя их, вдали
комки «земли» за «корнем» плыли слепо.
И наконец они над ним прошли.
Виденье леса прочь исчезло с неба.
И только вот теперь он в двух шагах
заметил куст (к отцу почуяв зависть).
Он бросил хворост, стал и сжал в руках
бесцветную листву, в песок уставясь.

По сути дела, куст похож на все.
На тень шатра, на грозный взрыв, на ризу,
на дельты рек, на луч, на колесо -
но только ось его придется книзу.
С ладонью сходен, сходен с плотью всей.
При беглом взгляде ленты вен мелькают.
С народом сходен – весь его рассей,
но он со свистом вновь свой ряд смыкает.
С ладонью сходен, сходен с сотней рук.
(Со всею плотью – нет в нем только речи,
но тот же рост, но тот же мир вокруг).
Весною в нем повсюду свечи, свечи.
«Идем скорей». – «Постой». – «Идем». – «Сейчас».
«Идем, не стой», – (под шапку, как под крышу).
«Давай скорей», – (упрятать каждый глаз).

«Идем быстрее. Пошли». – «Сейчас». – «Не слышу».

Он схож с гнездом, во тьму его птенцы,
взмахнув крылом зеленым, мчат по свету.

Он с кровью схож – она во все концы
стремит свой бег (хоть в нем возврата нету).

Но больше он всего не с телом схож,
а схож с душой, с ее путями всеми.

Движенье в них, в них точно та же дрожь.

Смыкаются они, а что в их сени?

Смыкаются и вновь спешат назад.

Пресечь они друг друга здесь не могут.

Мешаются в ночи, вблизи скользят.

Изогнуты суставы, лист изогнут.

Смыкаются и тотчас вспять спешат,
ныряют в темноту, в пространство, в голость,

а те, кто жаждет прочь – тотчас трещат
и падают – и вот он, хворост, хворост.

И вновь над ними ветер мчит свистя.

Оставшиеся – вмиг – за первой веткой
склоняются назад, шурша, хрустя,
гонимые в клубок пружины некой.

Все жаждет жизни в этом царстве чувств:
как облик их, с кустом пустынным схожий,
колеблет ветер здесь не темный куст,
но жизни вид, по всей земле прохожий.

Не только облик (чувств) – должно быть, весь
огромный мир – грубей, обширней, тоньше,
стократ сильней (пышней) – столпился здесь.

«Эй, Исаак. Чего ты встал? Идем же».

Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.

В нем сами буквы больше слова, шире.
"К" с веткой схоже, "У" – еще сильней.
Лишь "С" и "Т" в другом каком-то мире.
У ветки "К" отростков только два,
а ветка "У" – всего с одним суставом.
Но вот урок: пришла пора слова
учить по форме букв, в ущерб составам.
«Эй, Исаак!» – «Сейчас, иду. Иду».
(Внутри него горячий пар скопился.
Он на ходу поднес кувшин ко рту,
но поскользнулся, – тот упал, разбился).
Ночь. Рядом с Авраамом Исаак
ступает по барханам в длинном платье.
Взошла луна, и каждый новый шаг
сверкает, как серебро в песчаном злате.
Холмы, холмы. Не видно им конца.
Не видно здесь нигде предметов твердых.
Все зыбко, как песок, как тень отца.
Неясный гул растет в небесных сверлах.
Блестит луна, синеет густо даль.
Сплошная тень, исчез бесследно ветер.
«Далеко ль нам, отец?» – «О нет, едва ль»,
не глядя, Авраам тотчас ответил.
С бархана на бархан и снова вниз,
по сторонам поспешным шаря взглядом,
они бредут. Кусты простерлись ниц,
но все молчат: они идут ведь рядом.
Но Аврааму ясно все и так:
они пришли, он тувфлей ямки роет.
Шуршит трава. Теперь идти пустяк.

Они себе вот здесь ночлег устроят.
«Эй, Исаак. Ты вновь отстал. Я жду».
Он так напряг глаза, что воздух сетчат
почудился ему – и вот: "Иду.
Мне показалось, куст здесь что-то шепчет".
«Идем же». – Авраам прибавил шаг.
Луна горит. Все небо в ярких звездах
молчит над ним. Простор звенит в ушах.
Но это только воздух, только воздух.
Песок и тьма. Кусты простерлись ниц.
Все тяжелей влезать им с каждым разом.
Бредут, склонясь. Совсем не видно лиц.
...И Авраам вязанку бросил наземь.

Они сидят. Меж них горит костер.
Глаза слезятся, дым клубится едкий,
а искры прочь летят в ночной простор.
Ломают Исаак сухие ветки.
Став на колени, их, склонясь вперед,
подбросить хочет: пламя стало утлым.
Но за руку его отец берет:
"Оставь его, нам хворост нужен утром.
Нарви травы". – Устало Исаак
встает и, шевеля с трудом ногами,
бредет в барханы, где бездонный мрак
со всех сторон, а сзади гаснет пламя.
Отломленные ветки мыслят: смерть
настигла их – теперь уж только время
разлучит их, не то, что плоть, а твердь;

однако, здесь их ждет иное бремя.

Отломленные ветви мертвым сном
почили здесь – в песке нагретом, светлом.

Но им еще придется стать огнем,
а вслед за этим новой плотью – пеплом.

И лишь когда весь пепел в пыль сотрут
лавины сих песчаных орд и множеств, -
тогда они, должно быть, впрямь умрут,
исчезнув, сгинув, канув, изничтожась.

Смерть разная и эти ветви ждет.

Отставшая от леса стая волчья
несется меж ночных пустот, пустот,
и мечутся во мраке ветви молча.

Вернулся Исаак, неся траву.

На пальцы Авраам накинул тряпку:

«Подай сюда. Сейчас ее порву».

И быстро стал крошить в огонь охапку.

Чуть-чуть светлей. Исчез из сердца страх.

Затем раздул внезапно пламя ветер.

«Зачем дрова нам утром?» – Исаак

потом спросил и Авраам ответил:

"Затем, зачем вообще мы шли сюда

(ты отставал и все спешил вдогонку,

но так как мы пришли, пришла беда) -

мы завтра здесь должны закласть ягненка.

Не видел ты алтарь там, как ходил

искать траву?" – "Да что там можно видеть?

Там мрак такой, что я от мрака стыл.

Один песок". – «Ну, ладно, хочешь выпить?»

И вот уж Авраам сжимает мех

своей рукой, и влага льется в горло;
глаза же Исаака смотрят вверх:
там все сильнее гудят, сверкая, сверла.
«Достаточно», – и он отсел к огню,
отерши рот коротким жестом пьяниц.
Уж начало тепло склонять ко сну.
Он поднял взгляд во тьму – «А где же агнец?»
Огонь придал неясный блеск глазам,
услышал он ответ (почти что окрик):
"В пустыне этой... Бог ягненка сам
найдет себе... Господь, он сам усмотрит..."
Горит костер. В глазах отца янтарь.
Играет взгляд с огнем, а пламя – с взглядом.
Блестит звезда. Все ближе сонный царь
подходит к Исааку. Вот он рядом.
"Там жертвенник давнишний. Сложен он
давным-давно... Не помню кем, однако".
Холмы песка плывут со всех сторон,
как прежде, – будто куст не подал знака.

Горит костер. Вернее, дым к звезде
сквозь толщу пепла рвется вверх натужно.
Уснули все и вся. Покой везде.
Не спит лишь Авраам. Но так и нужно.
Спит Исаак и видит сон такой:
Безмолвный куст пред ним ветвями машет.
Он сам коснуться хочет их рукой,
но каждый лист пред ним смятенно пляшет.
Кто: Куст. Что: Куст. В нем больше нет корней.

В нем сами буквы больше слова, шире.
"К" с веткой схоже, "У" – еще сильней.
Лишь "С" и "Т" – в другом каком-то мире.
Пред ним все ветви, все пути души
смыкаются, друг друга бьют, толпятся.
В глубоком сне, во тьме, в сплошной тиши,
сгибаются, мелькают, ввысь стремятся.
И вот пред ним иголку куст вознес.
Он видит дальше: там, где смутно, мглисто
тот хворост, что он сам сюда принес,
срастается с живою веткой быстро.
И ветви все длинней, длинней, длинней,
к его лицу листва все ближе, ближе.
Земля блестит, и пышный куст над ней
возносится пред ним во тьму все выше.
Что ж "С" и "Т" – а КУст пронзает хмарь.
Что ж "С" и "Т" – все ветви рвутся в танец.
Но вот он понял: "Т" – алтарь, алтарь,
А "С" лежит на нем, как в путах агнец.
Так вот что КУСТ: К, У, и С, и Т.
Порывы ветра резко ветви кренят
во все концы, но встреча им в кресте,
где буква "Т" все пять одна заменит.
Не только "С" придется там уснуть,
не только "У" делиться после снами.
Лишь верхней планке стоит вниз скользнуть,
не буква "Т" – а тотчас КРЕСТ пред нами.
И ветви, видит он, длинней, длинней.
И вот они его в себя прияли.
Земля блестит – и он плывет над ней.

Горит звезда...
На самом деле – дали
рассвет уже окрасил в желтый цвет,
и Авраам, ему связавши тело,
его понес туда, откуда след
протоптан был сюда, где пламя тлело.
Весь хворост был туда давно снесен,
и Исаака он на это ложе
сложил сейчас – и все проникло в сон,
но как же мало было с явью схоже.
Он возвратился, сунул шерсть в огонь.
Та вспыхнула, обдавши руку жаром,
и тотчас же вокруг поплыла вонь;
и Авраам свой нож с коротким жалом
достал (почти оттуда, где уснул
тот нож, которым хлеб резал он в доме...)
«Ну что ж, пора», – сказал он и взглянул:
на чем сейчас лежат его ладони?
В одной – кинжал, в другой – родная плоть.
«Сейчас соединю...» – и тут же замер,
едва пробормотав: «Спаси, Господь». -
Из-за бархана быстро вышел ангел.

«Довольно, Авраам», – промолвил он,
и тело Авраама тотчас потным
внезапно стало, он разжал ладонь,
нож пал на землю, ангел быстро поднял.
"Довольно, Авраам. Всему конец.
Конец всему, и небу то отрадно,

что ты рискнул, – хоть жертве ты отец.
Ну, с этим все. Теперь пойдем обратно.
Пойдем туда, где все сейчас грустят.
Пускай они узрят, что в мире зла нет.
Пойдем туда, где реки все блестят,
как твой кинжал, но плоть ничью не ранят.
Пойдем туда, где ждут твои стада
травы иной, чем та, что здесь; где снится
твоим шатрам тот день, число когда
твоих детей с числом песка сравнится.
Еще я помню: есть одна гора.
В ее подножьях есть ручей, поляна.
Оттуда пар ползет вверх с утра.
Всегда шумит на склоне роща рьяно.
Внизу трава из русла шумно пьет.
Приходит ветер – роща быстро гнется.
Ее листва в сырой земле гниет,
потом весной опять вверх вернется.
На том стоит у листьев сходство тут.
Пройдут года – они не сменяют вида.
Стоят стволы, меж них кусты растут.
Бескрайних туч вверху несется свита.
И сонмы звезд блестят во тьме ночей,
небесный свод покрывши часто, густо.
В густой траве шумит волной ручей,
и пар в ночи растет по форме русла.
Пойдем туда, где все кусты молчат.
Где нет сухих ветвей, где птицы свили
гнездо из трав. А ветви, что торчат
порой в кострах – так то с кустов, живые.

Твой мозг сейчас, как туча, застит мрак.
Открой глаза – здесь смерти нет в помине.
Здесь каждый куст – взгляни – стоит, как знак
стремленья вверх среди равнин пустыни.
Открой глаза: небесный куст в цвету.
Взгляни туда: он ждет, чтоб ты ответил.
Ответь же, Авраам, его листу -
ответь же мне – идем". Поднялся ветер.
"Пойдем же, Авраам, в твою страну,
где плоть и дух с людьми – с людьми родными,
где все, что есть, живет в одном плену,
где все, что есть, стократ изменит имя.
Их больше станет, но тем больший мрак
от их теней им руки, ноги свяжет.
Но в каждом слове будет некий знак,
который вновь на первый смысл укажет.
Кусты окружают их, поглотит шаг
трава полей, и лес в родной лазури
мелькнет, как Авраам, как Исаак.
Идемте же. Сейчас утихнет буря.
Довольно, Авраам, испытан ты.
Я нож забрал – тебе уж он не нужен.
Холодный свет зари залил кусты.
Идем же, Исаак почти разбужен.
Довольно, Авраам. Испытан. Все.
Конец всему. Все ясно. Кончим. Точка.
Довольно, Авраам. Открой лицо.
Достаточно. Теперь все ясно точно".

Стоят шатры, и тьма овец везде.
Их тучи здесь, – нельзя их счесть. К тому же
они столпились здесь, как тучи те,
что отразились тут же рядом в луже.
Дымят костры, летают сотни птиц.
Грызутся псы, костей в котлах им вдоволь.
Стекает пот с горячих красных лиц.
Со всех сторон несется громкий говор.
На склонах овцы. Рядом тени туч.
Они ползут навстречу: солнце встало.
Свергаются ручьи с блестящих круч.
Верблюды там в тени лежат устало.
Шумят костры, летают тыщи мух.
В толпе овец оса жужжит невнятно.
Стучит топор. С горы глядит пастух:
шатры лежат в долине, словно пятна.
Сквозь щелку входа виден ком земли.
Снаружи в щель заметны руки женщин.
Сочится пыль и свет во все углы.
Здесь все полно щелей, просветов, трещин.
Никто не знает трещин, как доска
(любых пород – из самых прочных, лучших, -
пускай она толста, длинна, узка),
когда разлад начнется между сучьев.
В сухой доске обычно трещин тьма.
Но это все пустяк, что есть снаружи.
Зато внутри – смола сошла с ума,
внутри нее дела гораздо хуже.
Смола засохла, стала паром вся,
ушла наружу. В то же время место,

оставленное ей, ползет кося, -
куда, – лишь одному ему известно.
Вонзаешь нож (надрез едва ль глубок)
и чувствуешь, что он уж в чей-то власти.
Доска его упорно тянет вбок
и колется внезапно на две части.
А если ей удастся той же тьмой
и сучья скрыть, то бедный нож невольно,
до этих пор всегда такой прямой,
вдруг быстро начинает резать волны.
Все трещины внутри сродни кусту,
сплетаются, толкутся, тонут в спорах,
одна из них всегда твердит: «расту»,
и прах смолы пылится в темных порах.
Снаружи он как будто снегом скрыт.
Одна иль две – чернеют, словно окна.
Однако, «вход» в сей дом со «стенкой» слит.
Поземка намела сучки, волокна.
От взора скрыт и крепко заперт вход.
Но нож всегда (внутри, под ней, над нею)
останется слугою двух господ:
ладони и доски – и кто сильнее...
Не говоря о том уж, «в чьих глазах».
Пылится свет, струясь сквозь щелку эту.
Там, где лежат верблюды, Исаак
с каким-то пришлецом ведет беседу.
Дымят костры, летают сотни птиц.
Кричит овца, жужжит оса невнятно.
Струится пар с горячих красных лиц.
Шатры лежат в долине, словно пятна.

Бредут стада. Торчит могильный дом.

Журчит ручей, волна траву колышет.

Он встрепенулся: в воздухе пустом

он собственное имя снова слышит.

Он вдаль глядит: пред ним шатры лежат,

идет народ, с востока туча идет.

Вокруг костров, как в танце, псы кружат,

шумят кусты, и вот бугор он видит.

Стоит жена, за ней шатры, поля.

В ее руке – зеленой смоквы ветка.

Она ей машет и зовет царя:

«Идем же, Исаак». – «Идем, Ревекка».

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».

«Сейчас иду», ответ средь веток мокрых

ныряет под ночным густым дождем,

как быстрый плот, – туда, где гаснет окрик.

«Исак, не отставай». – «Нет, нет, иду»".

(Березка проявляет мощь и стойкость.)

«Исак, ты помнишь дом?» – «Да-да, найду».

«Ну, мы пошли. Не отставай». – «Не бойтесь».

«Идем, Исак». – «Постой». – «Идем». – «Сейчас».

«Идем, не стой» – (под шапку, как под крышу).

«Давай скорей», – (упрятать каждый глаз).

«Идем быстрее. Идем». – «Сейчас». – «Не слышу».

По-русски Исаак теряет звук.

Зато приобретает массу качеств,

которые за «букву вместо двух»
оплачивают втрое, в буквах прячась.
По-русски "И" – всего простой союз,
который числа действий в речи множит
(похожий в математике на плюс),
однако, он не знает, кто их сложит.
(Но суммы нам не вложено в уста.
Для этого: на свете нету звука).
Что значит "С", мы знаем из КУСТА:
"С" – это жертва, связанная туго.
А буква "А" – среди этих букв старик,
союз, чтоб между слов был звук отдельный.
По существу же, – это страшный крик,
младенческий, прискорбный, вой смертельный.
И если сдвоить, строить: ААА,
сложить бы воедино эти звуки,
которые должны делить слова,
то в сумме будет вопль страшной муки:
"Объяло пламя все суставы "К"
и к одинокой "А" стремится прямо".
Но не вздымает нож ничья рука,
чтоб кончить муку, нет вблизи Абрама.
Пол-имени еще в устах торчит.
Другую половину пламя прячет.

И СноВА жертВА на огне Кричит:
Вот то, что «ИСААК» по-русски значит.

Дождь барабанит по ветвям, стучит,
как будто за оградой кто-то плачет
невидимый. «Эй, кто там?» – Все молчит.

«Идем, Исак». – «Постой». – «Идем». – «Сейчас».

«Идем, не стой». Долдонит дождь о крышу.

"Давай скорей! Вот так с ним каждый раз.

Идем быстрее! Идем". – «Сейчас». – «Не слышу».

Дождь льется непрерывно. Вниз вода
несется по стволам, смывает копоть.
В самой листве весенней, как всегда,
намного больше солнца, чем должно быть
в июньских листьях, – лето здесь видней
вдвойне, – хоть вся трава бледнее летней.
Но там, где тень листвы висит над ней,
она уж не уступит той, последней.
В тени стволов ясней видна земля,
видней в ней то, что в ярком свете слабо.
Бесшумный поезд мчится сквозь поля,
наклонные сначала к рельсам справа,
а после – слева – утром, ночью, днем,
бесцветный дым клубами трется оземь -
и кажется вдруг тем, кто скрылся в нем,
что мчит он без конца сквозь цифру 8.
Он режет – по оси – ее венцы,
что сел, полей, оград, оврагов полны.
По сторонам – от рельс – во все концы

разрубленные к небу мчатся волны.

Сквозь цифру 8 – крылья ветряка,
сквозь лопасти стальных винтов небесных,
он мчит вперед – его ведет рука,
и сноп лучей скользит в лучах окрестных.

Такой же сноп запрятан в нем самом,
но он с какой-то страстью, страстью жадной,
в прожекторе охвачен мертвым сном:
как сноп жгутом, он связан стенкой задней.

Летит состав, во тьме не видно лиц.

Зато холмы – холмы вокруг не мнимы,
и волны от пути то вверх, то вниз
несутся, как лучи от ламп равнины.

Дождь хлещет непрерывно, Все блестит.

Завеса подворотни, окна косит,
по желобу свергаясь вниз, свистит.

Намокшие углы дома возносятся.

Горит свеча всего в одном окне.

Холодный дождь стучит по тонкой раме.

Как будто под водой, на самом дне
трепещет в темноте и жжется пламя.

Оно горит, хоть все к тому, чтоб свет
угас бы здесь, чтоб стал незрим, бесплотен.

Здесь в темноте нигде прохожих нет,
кирпич стены молчит в стене напротив.

Двор заперт, дворник запил, ночь пуста.

Раскачивает дождь замок из стали.

Горит свеча, и виден край листа.

Засовы, как вода, огонь обстали.

Задвижек волны, темный мрак щеколд,

на дне – ключи – медузы, в мерном хоре
поют крюки, защелки, цепи, болт:
все это – только море, только море.
И все ж она стремится свой свет во тьму,
призыв к себе (сквозь дождь, кирпич, сквозь доску).
К себе ль? – О нет, сплошной призыв к тому,
что в ней горит. Должно быть, к воску, к воску.
Забор дощатый. Три замка в дверях.
В нем нет щелей. Отсюда ключ не вынут.
Со всех сторон царит бездонный мрак.
Открой окно – и тотчас волны хлынут.
Засов гремит и доступ к ней закрыт.
(Рукой замок в бессильной злобе стисни.)
И все-таки она горит, горит.
Но пожирает нечто, больше жизни.
Пришла лиса, блестят глаза в окне.
Пред ней стекло, как волны, блики гасит.
Она глядит – горит свеча на дне
и длинными тенями стены красит.
Пришла лиса, глядит из-за плеча.
Чуть-чуть свистит, и что-то слышно в свисте
сродни словам. И здесь горит свеча.
Подсвечник украшают пчелы, листья.
Повсюду пчелы, крылья, пыль, цветы,
а в самом центре в медном том пейзаже
корзина есть, и в ней лежат плоды,
которые в чеканке меньше даже
семян из груш. – Но сам язык свечи,
забыв о том, что можно звать спасеньем,
дрожит над ней и ждет конца в ночи,

как летний лист в пустом лесу осеннем.

1963

* * *

Мои слова, я думаю, умрут,
и время улыбнется, торжествуя,
сопроводив мой безотрадный труд
в соседнюю природу неживую.
В былом, в грядущем, в тайнах бытия,
в пространстве том, где рыщут астронавты,
в морях бескрайних – в целом мире я
не вижу для себя уж лестной правды.
Поэта долг – пытаться единить
края разрыва меж душой и телом.
Талант – игла. И только голос – нить.
И только смерть всему шитью – пределом.

1963

Окна

Дом на отшибе сдерживает грязь,
растущую в пространстве одиноком,
с которым он поддерживает связь
посредством дыма и посредством окон.
Глядят шкафы на хлюпающий сад,
от страха створки мысленно сужают.
Три лампы настороженно висят.

Но стекла ничего не выражают.
Хоть, может быть, и это вещество
способно на сочувствие к предметам,
они совсем не зеркало того,
что чудится шкафам и табуретам.
И только с наступленьем темноты
они в какой-то мере сообщают
армаде наступающей воды,
что комнаты борьбы не прекращают;
что ей торжествовать причины нет,
хотя бы все крыльцо заняли лужи;
что здесь, в дому, еще сверкает свет,
хотя темно, совсем темно снаружи...
– но не тогда, когда молчун, старик,
во сне он видит при погасшем свете
окрестный мир, который в этот миг
плывет в его опущенные веки.

1963

* * *

Покинул во тьме постель
и в темной прихожей встал.
Рассвет озарил гостей,
которых, признаться, ждал.
Часто видел вдали.
Чаще в местах пустых.
Теперь вот они пришли,
взяв с собой понятых.

Тихо. В двух зеркалах
три голубых окна.
Тихо во всех углах
реют остатки сна.
Пол с потолком связав,
будто бы пряжу ткут.
В рамку тем самым взяв
все, что творится тут.

Тишь. Понятой прикрыл
дверь поплотнее, спит.
Слышен лишь шелест крыл
редкий и стук копыт.
В двух шагах от сего
снег заметает двор,
Двое ищут того,
кто для обоих вор.

Пусть хоть в каждой груди
что-то чужое есть,
жизнь не могла пройти,
не намекнув на мечь.
Тихо, совсем один
роюсь в горсти монет.
Глядит на меня блондин,
а рядом стоит брюнет.

Вот и проходит ночь.
Я поднимаю взор.
Оба уходят прочь.
Снова смотрит во двор,
как там витает снег,
тот, кого не найдут,
пусть хоть ищут весь век
ангел и дьявол тут.

1963

* * *

Стог сена и загон овечий
и дальше – дом полупустой -
как будто движутся навстречу
тому, что скрыто темнотой.

Всего сто метров до оврага,
который ткань свою прядет
и вскоре стены и ограду
поглотит – года не пройдет.

Хозяин-ветер неопрятен,
безмолвно движется в тиши,
и рябь холодных перекладин

граничит с пустотой в глуши.

Ушел и не спешит обратно.

Все шарит меж чужих досок.

А овцы трутся об ограду

и осыпается песок.

1963

Телефонная песня

Вослед за тем последует другой.

Хоть, кажется, все меры вплоть до лести

уж приняты, чтоб больше той рукой

нельзя было писать на этом месте.

Как в школьные года – стирал до дыр.

Но ежедневно – слышишь голос строгий;

уже на свете есть какой-то мир,

который не боится тавтологий.

Теперь и я прижал лицо к окну.

О страхе том, что гнал меня из комнат,

недостает величия припомнить:

продернутая нить сквозь тишину.

Звонки, звонки. Один другому вслед.

Под окнами толпа, огней смешенье...

Все так же смутно там, как ощущение,

что жизнь короче на один запрет.

1963

* * *

Шум ливня воскрешает по углам
салют мимозы, гаснущей в пыли.

И вечер делит сутки пополам,
как ножницы восьмерку на нули,
и в талии сужает циферблат,
с гитарой его сходство озарив.

У задержавшей на гитаре взгляд
пучок волос напоминает гриф.

Ее ладонь разглаживает шаль.

Волос ее коснуться или плеч -
и зазвучит окрепшая печаль;
другого ничего мне не извлечь.

Мы здесь одни. И, кроме наших глаз,
прикованных друг к другу в полутьме,
ничто уже не связывает нас
в зарешеченной наискось тюрьме.

1963

Ex oriente

Да, точно так же, как Тит Ливий, он
сидел в своем шатре, но был незримо
широкими песками окружен
и мял в сухих руках письмо из Рима.

Палило солнце. Столько дней подряд
он брел один безводными местами,
что выдавал теперь померкший взгляд,
что больше нет слюны в его гортани.
Палило солнце. Ртутный столбик рос.
И самый вход в его шатер угрюмый
песок занес, занес, пока он думал,
какая влага стала влагой слез.

1963

* * *

Зажегся свет. Мелькнула тень в окне.
Распахнутая дверь стены касалась.
Плафон качнулся. Но темней вдвойне
тому, кто был внизу, все показалось.
Была почти полночная пора.
Все лампы, фонари – сюда сбежались.
Потом луна вошла в квадрат двора,
и серебро и желтый свет смешались.
Свет засверкал. Намек на сумрак стерт.
Но хоть обрушь прожекторов лавину,
а свет всегда наполовину мертв,
как тот, кто освещен наполовину.

1963(?)

Полевая эклога

Стрекоза задевает волну
и тотчас устремляется кверху,
отраженье пуская ко дну,
словно камень, колодцу в проверку,
чтобы им испытать глубину
и захлопнуть над воротом дверку.

Но нигде здесь не встретишь ведра,
ни тарелки, ни банки, ни склянки.
Пустота, ни избы, ни двора,
шум листвы, ни избы, ни землянки.
Сруб колодца почти до бедра,
неумолчно кричат коноплянки.

Остается возможность во тьму
на веревке с шахтерской корзиной,
через блок перекинув тесьму,
распроставшись глазами с низиной,
опуститься в «бадье» самому
в глубину на полет стрекозиный.

Пядь за пядью веревка из рук
вверх уходит, а звезд и не видно.
Черный мох наползает вокруг
на венцы, так что все они слитно
растворяются в сумраке вдруг,
меж собой разделенные скрытно.

Но до дна не достать; и темно.

Вот и новый порядок смещений:

приближается сверху окно.

Мимо тянущих сыростью щелей,

словно камень, уходит на дно

отражение русских качелей.

Перевернут наперсток ведра,

шум листвы – словно гомон овечий.

Сруб избы достает до бедра,

да и церковь здесь в рост человеческий.

Под ногами чернеет нора, -

только ноют суставы предплечий.

Кто же ты, гулливер из лесов,

распростившийся с сумрачной пущей,

отодвинувший ногтем засов,

но протиснуться в дверь не могущий,

твердо помнящий принцип весов,

но из лужи из пригоршни пьющий.

Неужели считаешь и ты

(и ничто уж не сдвинет с решенья,

даже вкус и окраска воды),

что на дне стрекозы отраженье,

как и прежде, среди темноты
одиноким лежит без движения.

Заморозь и куски раскроши,
но в осколках его не увидишь.
Разведи в ней костер, осуши,
но глазам не представится Китеж.
Или ветром ее оглуши...
Но ничем уж ума не насытишь.

Неужели, считаешь, она
холоднее и глубже колодца, -
ведь поверхность не слишком темна.
Но наперсток натянуть придется,
добираясь ладонью до дна,
чтоб не смог невзначай уколоться.

Если что-то над грядкой встает,
значит, каждый микрон в ней прополот.
Что ж, пошарь, пусть ладонь поснует
по грязи и почувствует холод.
Там, где плоть до воды достает,
дух еще и не брался за ворот.

Есть доска и найдется бревно,
возвести можно крышу над частью

этой лужи, пробить в ней окно
и со всею возможною страстью
устремиться мизинцем на дно;
но конек заскребет по запястью.

Где «колодец»? Дощатый этаж,
облака и листва без просвета,
мох, венцы, остальной антураж
не дают тебе больше ответа.
Где «колодец»? Молчащий пейзаж
неподвижно глядит на атлета.

Где же он? Видно, там, где весы
замирают, пусты, одиноки.
Может, там, где во время грозы
прибавляется только что влаги.
Или там, где биплан стрекозы
распростер свои крылья во мраке.

Долго ищешь. Пора бы найти
хоть обломок «пилотского» кресла.
Пару щепок веревкой срасти -
вот и крылья, лишь краска облезла...
Но не сбейся в сравненьях с пути:
стрекоза исчезает, исчезла.

Настоящий изгнанник с собой
все уносит. И даже сомнению
обладанья другою судьбой
не оставит, как повод к волненью.
Даже дом деревянный с трубой
не уступит крыльца наводненью.

Отраженья – тем более. Страх
их на тусклой поверхности косит.
Если плоть превращается в прах,
как о том же двойник не попросит.
«Уноси нас с собой на крылах».
Стрекоза их, конечно, уносит.

Нет, не тот изгнанник, кого
в спину ветер, несущий проклятья,
подгоняет, толкая его,
разрывая любые объятья,
в бедный мозг, где сознание мертво,
проникая сквозь ветхое платье.

Нет, не тот, кто виденьями полн,
начинает тонуть в половодьях,
как Назон возле сумрачных волн,
ненавидящий душу и плоть их,
словно бурей застигнутый челн,
проклиная их ропот. Напротив.

Это тот неуемный пловец,
рассекающий грудью озера,
шум листвы, словно гомон овец
различающий скрытых от взора,
над которым пернатый певец
распускает все краски убора.

Нет, не тот. И не тот, кто везде
даже собственной тени несносен,
кто себя не встречает в воде
меж вершушек листвяных и сосен.
И не тот, кто рукой в пустоте
шарит так, что под кожу просинь.

Настоящий изгнанник – никто
в море света, а также среди мрака.
Тот, чья плоть, словно то решето:
мягче ветра и тверже, чем влага.
Кто бредет по дороге в пальто,
меньше леса, но больше оврага.

Что ж. Замри и смотри в небеса
до поры, когда облачным пряжам
нужно вдруг превращаться в леса,
становиться оврагами, скажем,

набегая кустом на глаза,
обращаясь к сознанию пейзажем.

В близоруком величьи своем,
с коим взгляд твой к пространству прикован,
скрыто чувство, что странный объем,
как залог тебе долгий, дарован,
что от всякой прогулки вдвоем
и от смерти вдвоем – застрахован.

Звук стучит по воде, словно плетъ
(только брызги над ней не взлетают),
проникая поверхность на треть
(и круги растворяются, тают).
Невозможно рубцы рассмотреть.
Только тучи удары считают.

Коноплян... коноплянки кричат,
и Борей заглушить их не в силах.
Только срубы колодцев торчат,
как дома на татарских могилах.
Дует ветер, и волны мельчат,
и веревки бушуют в стропилах.

В низкорослой стране ты не весь
продолжаешь упорно кружение

(дом закрыт и в колодец не влезть),
где помимо законов сложенья
заключается главная спесь
в том, что в лужах здесь нет отраженья.

То ли слезы здесь глуше угроз,
то ль на волнах других, то ли тьмою
заглушается ропот берез.
То ли тот, кто здесь бродит с сумою,
ищет ос, а находит стрекоз
даже осенью, даже зимою.

1963(?)

Стекло

Ступенька за ступенькой, дальше, вниз.
В объятия, по крайней мере, мрака.
И впрямь темно, куда ни оглянись.
Однако же бреду почти без страха.
Наверно потому, что здесь, во мне,
в моей груди, в завесе крови, хмури,
вся до конца, со всем, что есть на дне,
та лестница – но лишь в миниатюре.
Поэтому твержу, шепчу: иди.
Нельзя, я говорю, чтоб кто-то мешкал,
пока скрывает выпуклость груди,
кто увеличил, кто кого уменьшил.
Темно в глазах, вокруг темным-темно.

Огонь души в ее слепом полете
не виден был бы здесь давным-давно,
не будь у нас почти прозрачной плоти.

1963(?)

Рождество 1963 года

Спаситель родился
в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
Буран бушевал и выматывал душу
из бедных царей, доставлявших дары.
Верблюды вздымали лохматые ноги.
Выл ветер.
Звезда, пламенея в ночи,
смотрела, как трех караванов дороги
сходились в пещеру Христа, как лучи.

1963 – 1964

* * *

Садовник в ватнике, как дрозд,
по лестнице на ветку влез,
тем самым перекинув мост
к пернатым от двуногих здесь.

Но, вместо щебетанья, вдруг,

в лопатках возбуждая дрожь,
раздался характерный звук:
звук трения ножа о нож.

Вот в этом-то у певчих птиц
с двуногими и весь разрыв
(не меньший, чем в строеньи лиц),
что ножницы, как клюв, раскрыв,

на дереве, в разгар зимы,
скрипим, а не поем как раз.
Не слишком ли отстали мы
от тех, кто «отстает от нас»?

Помножив краткость бытия
на гнездышки и забытье
при пеньи, полагаю я,
мы место уточним свое.

18 января 1964

* * *

Ветер оставил лес
и взлетел до небес,
оттолкнув облака
в белизну потолка.

И, как смерть холодна,
роща стоит одна,
без стремленья вослед,
без особых примет.

январь 1964

Воронья песня

Снова пришла лиса с подведенной бровью,
снова пришел охотник с ружьем и дробью,
с глазом, налитым кровью от ненависти, как клюква.
Перезимуем и это, выронив сыр из клюва,

но поймав червяка! Извивайся, червяк чернильный
в клюве моем, как слабый, которого мучит сильный;
дергайся, сокращайся! То, что считалось суммой
судорог, обернется песней на слух угрюмой,

но оглашающей рощи, покуда рощи
не вернут себе прежней рваной зеленой мощи.
Знать, в холодную пору, мертвые рощи, рта вам
не выбирать, и скажите спасибо нам, картавым!

январь 1964, Таруса

Новый год на Канатчиковой даче

Спать, рождественский гусь,
отвернувшись к стене,
с темнотой на спине,
разжигая, как искорки бус,
свой хрусталик во сне.

Ни волхвов, ни осла,
ни звезды, ни пурги,
что младенца от смерти спасла,
расходясь, как круги
от удара весла.

Расходясь будто нимб
в шумной чаще лесной
к белым платьицам нимф,
и зимой, и весной
разрезать белизной
ленты вздувшихся лимф
за больничной стеной.

Спи, рождественский гусь.
Засыпай поскорей.
Сновидений не трусь
между двух батарей,
между яблок и слив

два крыла расстелив,
головой в сельдерей.

Это песня сверчка
в красном плинтусе тут,
словно пенье большого смычка,
ибо звуки растут,
как сверканье зрачка
сквозь большой институт.

"Спать, рождественский гусь,
потому что боюсь
клюва – возле стены
в облаках простыни,
рядом с плинтусом тут,
где рулады растут,
где я громко пою
эту песню мою".

Нимб пускает круги
наподобье пурги,
друг за другом вослед
за две тысячи лет,
достигая ума,
как двойная зима:
вроде зимних долин
край, где царь – инсулин.

Здесь, в палате шестой,
встав на страшный постой
в белом царстве спрятанных лиц,
ночь белеет ключом
пополам с главврачом

ужас тел от больниц,
облаков – от глазниц,
насекомых – от птиц.

январь 1964

Обоз

Скрип телег тем сильней,
чем больше вокруг теней,
сильней, чем дальше они
от колючей стерни.

Из колеи в колею
дерут они глотку свою
тем громче, чем дальше луг,
чем гуще листва вокруг.

Вершина голой ольхи
и желтых берез верхи
видят, уняв озноб,

как смотрит связанный сноп
в чистый небесный свод.
Опять коряга, и вот
деревья слышат не птиц,
а скрип деревянных спиц
и громкую брань возниц.

январь 1964

Песни счастливой зимы

Песни счастливой зимы

на память себе возьми,
чтоб вспоминать на ходу
звуков их глухоту;
местность, куда, как мышь,
быстрый свой бег стремишь,
как бы там не звалась,
в рифмах их улеглась.

Так что, вытянув рот,
так ты смотришь вперед,
как глядит в потолок,
глаз пыля, ангелок.

А снаружи – в провал -
снег, белей покрывал
тех, что нас занесли,
но зимы не спасли.

Значит, это весна.

То-то крови тесна

вена: только что взрежь,

море ринется в брешь.

Так что – виден насквозь

вход в бессмертие врозь,

вызывающий грусть,

но вдвойне: наизусть.

Песни счастливой зимы

на память себе возьми.

То, что спрятано в них,

не отыщешь в иных.

Здесь, от снега чисты,

воздух секут кусты,

где дрожит среди ветвей

радость жизни твоей.

январь 1964, Усть-Нарва

Прощальная ода

1

Ночь встает на колени перед лесной стеною.

Ищет ключи слепые в связке своей несметной.

Птицы твои родные громко кричат надо мною.

Карр! Чивичи-ли, карр! – словно напев посмертный.

Ветер пинает ствол, в темный сапог обутый.

Но, навстречу склонясь, бьется сосна кривая.

Снег, белей покрывал, которыми стан твой кутал,
рушится вниз, меня здесь одного скрывая.

2

Туча растет вверх. Роща, на зависть рыбе,
вдруг ныряет в нее. Ибо растет отвага.
Бог глядит из небес, словно изба на отшибе:
будто к нему пройти можно по дну оврага.
Вот я весь пред тобой, словно пенек из снега,
горло вытянув вверх – вран, но белес, как аист, -
белым паром дыша, руку подняв для смеха,
имя твое кричу, к хору птиц прибиваюсь.

3

Где ты! Вернись! Ответь! Где ты. Тебя не видно.
Все сливается в снег и в белизну святую.
Словно ангел – крылом – ты и безумье – слито,
будто в пальцах своих легкий снежок пестую.
Нет! Все тает – тебя здесь не бывало вовсе.
Просто всего лишь снег, мною не сбитый плотно.
Просто здесь образ твой входит к безумью в гости.
И отбегает вспять – память всегда бесплотна.

4

Где ты! Вернись! Ответь! Боже, зачем скрываешь?
Боже, зачем молчишь? Грешен – молить не смею.
Боже, снегом зачем след ее застилаешь.
Где она – здесь, в лесу? Иль за спиной моею?
Не обернуться, нет! Звать ее бесполезно.
Ночь вокруг, и пурга гасит огни ночлега.

Путь, проделанный ею – он за спиной, как бездна:
взгляд, нырнувший в нее, не доплывет до берега.

5

Где ж она, Бог, ответь! Что ей уста закрыло?
Чей поцелуй? И чьи руки ей слух застлали?
Где этот дом земной – погреб, овраг, могила?
Иль это я молчу? Птицы мой крик украли?
Нет, неправда – летит с зимних небес убранство.
Больше, чем смертный путь – путь между ней и мною.
Милых птиц растолкав, так взвился над страной,
что меж сердцем моим и криком моим – пространство.

6

Стало быть, в чащу, в лес. В сумрачный лес середины
жизни – в зимнюю ночь, дантову шагу вторя.
Только я плоть ищу. А в остальном – едины.
Плоть, пославшую мне, словно вожатых, горе.
Лес надо мной ревет, лес надо мной кружится,
корни в Аду пустив, ветви пустив на вырост.
Так что вниз по стволам можно и в Ад спуститься,
но никого там нет – и никого не вывести!

7

Ибо она – жива! Но ни свистком, ни эхом
не отзовется мне в этом упорстве твердом,
что припадает сном к милым безгрешным векам,
и молчанье растет в сердце, на зависть мертвым.
Только двуглавый лес – под неподвижным взглядом
осью избрав меня, ствол мне в объятья втиснув,

землю нашей любви перемежая с Адом,
кружится в пустоте, будто паук, повиснув.

8

Так что стоя в снегу, мерзлый ствол обнимая,
слыша то тут, то там разве что крик вороны,
будто вижу, как ты – словно от сна немая -
жаждешь сном отделить корни сии от кроны.
Сон! Не молчанье – сон! Страшной подобный стали,
смерти моей под стать – к черной подснежной славе -
режет лес по оси, чтоб из мертвых восстали
грезы ее любви – выше, сильнее, чем в яви!

9

Боже зимних небес, Отче звезды над полем,
Отче лесных дорог, снежных холмов владыка,
Боже, услышь мольбу: дай мне взлететь над горем
выше моей любви, выше стенанья, крика.
Дай ее разбудить! Нет, уж не речью страстной!
Нет, не правдой святой, с правдою чувств совместной!
Дай ее разбудить песней такой же ясной,
как небеса твои, – ясной, как свод небесный!

10

Отче зимних равнин, мне – за подвиг мой грешный -
сумрачный голос мой сделавший глуше, Боже,
Отче, дай мне поднять очи от тьмы кромешной!
Боже, услышь меня, давший мне душу Боже!
Дай ее разбудить, светом прильнуть к завесам
всех семи покрывал, светом сквозь них пробиться!

Дай над безумьем взмыть, дай мне взлететь над лесом,
песню свою пропеть и в темноту спуститься.

11

В разных земных устах дай же звучать ей долго.
То как любовный плач, то как напев житейский.
Дай мне от духа, Бог, чтобы она не смолкла
прежде, чем в слух любви хлынет поток летейский.
Дай мне пройти твой мир подле прекрасной жизни,
пусть не моей – чужой. Дай вослед посмотреть им.
Дай мне на землю пасть в милой моей отчизне,
лжи и любви воздав общим числом – бессмертьем!

12

Этой силы прошу в небе твоём пресветлом.
Небу нету конца. Но и любви конца нет.
Пусть все то, что тогда было таким несметным:
ложь ее и любовь – пусть все бессмертным станет!
Ибо ее душа – только мой крик утихнет -
тело оставит вмиг – песня звучит все глуше.
Пусть же за смертью плоть душу свою настигнет:
я обессмерчу плоть – ты обессмертил душу!

13

Пусть же, жизнь обогнав, с нежностью песня тронет
смертный ее порог – с лаской, но столь же мнимо,
и как ласточка лист, сорванный лист обгонит
и помчится во тьму, ветром ночным гонима.
Нет, листва, не проси даже у птиц предательств!
Песня, как ни звонка, глуше, чем крик от горя.

Пусть она, как река, этот «листок» подхватит
и понесет с собой, дальше от смерти, в море.

14

Что ж мы смертью зовем. То, чему нет возврата!
Это бессилье душ – нужен ли лучший признак!
Целой жизни во тьму бегство, уход, утрата...
Нет, еще нет могил! Но уж бушует призрак!
Что уж дальше! Смерть! Лучшим смертям на зависть!
Всем сиротствам урок: горе одно, без отчеств.
Больше смерти: в руке вместо запястья – запись.
Памятник нам двоим, жизни ушедшей – почеть!

15

Отче, прости сей стон. Это все рана. Боль же
не заглушить ничем. Дух не властен над нею.
Боже, чем больше мир, тем и страданье больше,
дольше – изгнание, вдох – глубже! о нет – больнее!
Жизнь, словно крик ворон, бьющий крылом окрестность,
поиск скрывшихся мест в милых сердцах с успехом.
Жизнь – возвращение слов, для повторенья местность
и на горчайший зов – все же ответ: хоть эхом.

16

Где же искать твои слезы, уста, объятья?
В дом безвестный внесла? В черной земле зарыла?
Как велик этот край? Или не больше платья?
Платьнца твоего? Может быть, им прикрыла?
Где они все? Где я? – Здесь я, в снегу, как стебель
горло кверху тяну. Слезы глаза мне застыт.

Где они все? В земле? В море? В огне? Не в небе ль?

Корнем в сумрак стучу. Здесь я, в снегу, как заступ.

17

Боже зимних небес, Отче звезды горящей,

словно ее костер в черном ночном просторе!

В сердце бедном моем, словно рассвет на чашу,

горе кричит на страсть, ужас кричит на горе.

Не оставляй меня! Ибо земля – все шире...

Правды своей не прячь! Кто я? – пришел – исчезну.

Не оставляй меня! Странник я в этом мире.

Дай мне в могилу пасть, а не сорваться в бездну.

18

Боже! Что она жжет в этом костре? Не знаю.

Прежде, чем я дойду, может звезда остынуть.

Будто твоя любовь, как и любовь земная,

может уйти во тьму, может меня покинуть.

Отче! Правды не прячь! Сим потрясен разрывом,

разум готов нырнуть в пение правды нервной:

Божья любовь с земной – как океан с приливом:

бегство во тьму второй – знак отступленья первой!

19

Кончено. Смерть! Отлив! Вспять уползает лента!

Пена в сером песке сохнет – быстрее чем жалость!

Что же я? Брег пустой? Черный край континента?

Боже, нет! Материк! Дном под ним продолжаюсь!

Только трудно дышать. Зыблется свет неверный.

Вместо неба и птиц – море и рыб беззубье.

Давит сверху вода – словно ответ безмерный -
и убыстряет бег сердца к ядру: в безумье.

20

Боже зимних небес. Отче звезды над полем.
Казни я не страшусь, как ни страшна разверстость
сей безграничной тьмы; тяжести дна над морем:
ибо я сам – любовь. Ибо я сам – поверхность!
Не оставляй меня! Ты меня не оставишь!
Ибо моя душа – вся эта местность божья.
Отче! Каждая страсть, коей меня пытаешь,
душу мою, меня – вдаль разгоняет больше.

21

Отче зимних небес, давший безмерность муки
вдруг прибавить к любви; к шири ее несметной,
дай мне припасть к земле, дай мне раскинуть руки,
чтобы пальцы мои свесились в сумрак смертный.
Пусть это будет крест: горе сильнее, чем доблесть!
Дай мне объятья, нет, дай мне лишь взор насытить.
Дай мне пропеть о той, чей уходящий образ
дал мне здесь, на земле, ближе Тебя увидеть!

22

Не оставляй ее! Сбей с ее крыльев наледь!
Боже, продли ей жизнь, если не сроком – местом.
Ибо она как та птица, что гнезд не знает,
но высоко летит к ясным холмам небесным.
Дай же мне сил вселить смятый клочок бумажный
в души, чьих тел еще в мире нигде не встретить.

Ибо, если следить этот полет бесстрашный,
можно внезапно твой, дальний твой край заметить!

23

Выше, выше... простясь... с небом в ночных удушьях...
выше, выше... прощай... пламя, сжегшее правду...
Пусть же песня совет... гнезда в сердцах грядущих...
выше, выше... не взмыть... в этот край астронавту...
Дай же людским устам... свистом... из неба вызвать...
это сиянье глаз... голос... Любовь, как чаша...
с вечно живой водой... ждет ли она: что брызнуть...
долго ли ждать... ответь... Ждать... до смертного часа...

24

Карр! чивичи-ли-карр! Карр, чивичи-ли... струи
снега ли... карр, чиви... Карр, чивичи-ли... ветер...
Карр, чивичи-ли, карр... Карр, чивичи-ли... фьюи...
Карр, чивичи-ли, карр. Каррр... Чечевицу видел?
Карр, чивичи-ли, карр... Карр, чивичири, чири...
Спать пора, спать пора... Карр, чивичи-ри, фьере!
Карр, чивичи-ри, каррр... фьюри, фьюри, фьюири.
Карр, чивичи-ри, карр! Карр, чивиче... чивере.

январь 1964, Таруса

Рождество 1963

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.

Шуршал песок. Костер трещал у входа.
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал младенец, и дары лежали.

январь 1964

Письма к стене

Сохрани мою тень. Не могу объяснить. Извини.
Это нужно теперь. Сохрани мою тень, сохрани.
За твоею спиной умолкает в кустах беготня.
Мне пора уходить. Ты останешься после меня.
До свиданья, стена. Я пошел. Пусть приснятся кусты.
Вдоль уснувших больниц. Освещенный луной. Как и ты.
Постараюсь навек сохранить этот вечер в груди.
Не сердись на меня. Нужно что-то иметь позади.

Сохрани мою тень. Эту надпись не нужно стирать.
Все равно я сюда никогда не приду умирать,
Все равно ты меня никогда не попросишь: вернись.
Если кто-то прижмется к тебе, дорогая стена, улыбнись.
Человек – это шар, а душа – это нить, говоришь.
В самом деле глядит на тебя неизвестный малыш.

Отпустить – говоришь – вознестись над зеленой листвою.

Ты глядишь на меня, как я падаю вниз головой.

Разнобой и тоска, темнота и слеза на глазах,
изобилье минут вдалеке на больничных часах.
Проплывает буксир. Пустота у него за кормой.
Золотая луна высоко над кирпичной тюрьмой.
Посвящаю свободе одиночество возле стены.
Завещаю стене стук шагов посреди тишины.
Обращаюсь к стене, в темноте напряженно дыша:
завещаю тебе навсегда обуздать малыша.

Не хочу умирать. Мне не выдержать смерти уму.
Не пугай малыша. Я боюсь погружаться во тьму.
Не хочу уходить, не хочу умирать, я дурак,
не хочу, не хочу погружаться в сознание во мрак.
Только жить, только жить, подпирая твой холод плечом.
Ни себе, ни другим, ни любви, никому, ни при чем.
Только жить, только жить и на все наплевать, забывать.
Не хочу умирать. Не могу я себя убивать.

Так окрикни меня. Мастерница кричать и ругать.
Так окрикни меня. Так легко малыша напугать.
Так окрикни меня. Не то сам я сейчас закричу:
Эй, малыш! – и тотчас по пространствам пустым полечу.
Ты права: нужно что-то иметь за спиной.
Хорошо, что теперь остаются во мраке за мной

не безгласный агент с голубиным плащом на плече,
не душа и не плоть – только тень на твоём кирпиче.

Изолятор тоски – или просто движенье вперед.

Надзиратель любви – или просто мой русский народ.

Хорошо, что нашлась та, что может и вас породнить.

Хорошо, что всегда все равно вам, кого вам казнить.

За тобою тюрьма. А за мною – лишь тень на тебе.

Хорошо, что ползет ярко-желтый рассвет по трубе.

Хорошо, что кончается ночь. Приближается день.

Сохрани мою тень.

январь – февраль 1964

Камерная музыка

(цикл из 5 стихов) [30]

1

Инструкция заключенному

В одиночке при ходьбе плечо

следует менять при повороте,

чтоб не зарябило и еще

чтобы свет от лампочки в пролете

падал перемененно на виски,

чтоб зрачок не чувствовал суженья.

Это не избавит от тоски,

но спасет от головокруженья.

14 февраля 1964, тюрьма

2

<A. A. A.> [31]

В феврале далеко до весны,
ибо там, у него на пределе,
бродит поле такой белизны,
что темнеет в глазах у метели.

И дрожат от ударов дома,
и трепещут, как роща нагая,
над которой бушует зима, [32]
белизной седину настигая.

15 февраля 1964

3

В одиночке желание спать
исступленья смиряет кругами,
потому что нельзя исчерпать
даже это пространство шагами.

Заклученный, приникший к окну,
отражение сам и примета
плоти той, что уходит ко дну,

поднимая волну Архимеда.

Тюрьмы строят на месте пустом. [33]

Но отборные свойства натуры
вытесняются телом с трудом
лишь в объем гробовой кубатуры.

16 февраля 1964

4

Перед прогулкой по камере

Сквозь намордник пройдя, как игла,
и по нарам разлившись, как яд,
холод вытеснит ночь из угла,
чтобы мог соскочить я в квадрат.

Но до этого мысленный взор
сонмы линий и ромбов гурьбу
заселяет в цементный простор
так, что пот выступает на лбу.

Как повсюду на свете – и тут
каждый ломтик пространства велит
столь же тщательно выбрать маршрут,
как тропинку в саду Гесперид.

17 февраля 1964

* * *

Нет, Филомела, прости:
я не успел навести
справки в кассах аллея -
в лучшей части полей
песнь твоя не слышна.
Шепчет ветру копна,
что Филомела за вход
в рощу много берет.

февраль 1964, Таруса

* * *

Сжимающий пайку изгнанья
в обнимку с гремучим замком,
прибыв на места умиранья,
опять шевелю языком.
Сияние русского ямба
упорней – и жарче огня,
как самая лучшая лампа,
в ночи освещает меня.
Перо поднимаю насилу,
и сердце пугливо стучит.
Но тень за спиной на Россию,
как птица на рощу, кричит,

да гордое эхо рассеян
засело по грудь в белизну.
Лишь ненависть с Юга на Север
спешит, обгоняя весну.
Сжигаемый кашлем надсадным,
все ниже склоняясь в ночи,
почти обжигаюсь. Тем самым
от смерти подобье свечи
собой закрываю упрямо,
как самой последней стеной.
И это великое пламя
колеблется вместе со мной.

25 марта 1964, Архангельская пересыльная тюрьма

Иллюстрация

(Л. Кранах «Венера с яблоками»)

В накидке лисьей – сама
хитрей, чем лиса с холма
лесного, что вдалеке
склон полощет в реке,

сбежав из рощи, где бог
охотясь вонзает в бок
вепрю жало стрелы,
где бушуют стволы,

покинув знакомый мыс,
пришла под яблоню из
пятнадцати яблок – к ним
с мальчуганом своим.

Головку набок склоня,
как бы мимо меня,
ребенок, сжимая плод,
тоже смотрит вперед.

апрель – май 1964

Развивая Крылова

М. Б.

Одна ворона (их была гурьба,
но вечер их в ольшанник перепрятал)
облюбовала маковку столба,
другая – белоснежный изолятор.
Друг другу, так сказать, насупротив
(как требуют инструкций незабудки),
контроль над телеграфом учредив
в глуши, не помышляющей о бунте,
они расположились над крыльцом,
возвысясь над околицей белесой,
над сосланным в изгнание певцом,
над спутницей его длинноволосой.

А те, в обнимку, думая свое,
прижавшись, чтобы каждый обогрелся,
стоят внизу. Она – на острие,
а он – на изолятор загляделся.
Одно обоим чудится во мгле,
хоть (позабыв про сажу и про копоть)
она – все об уколе, об игле...
А он – об «изоляции», должно быть.
(Какой-то непонятный перебор,
какое-то подобие аврала:
ведь если изолирует фарфор,
зачем его ворона оседлала?)

И все, что будет, зная назубок
(прослывший знатоком бывшего тонким),
он высвободил локоть, и хлопок
ударил по вороньим перепонкам.
Та, первая, замешкавшись, глаза
зажмурила и крылья распростерла.
Вторая же – взвилась под небеса
и каркнула во все воронье горло,
приказывая издали и впредь
фарфоровому шарик (над нами)
помалкивать и взапуски белеть
с забредшими в болото валунами.

17 мая 1964

Малиновка

М. Б.

Ты выпорхнешь, малиновка, из трех
малинников, припомнивши в неволе,
как в сумерках вторгается в горох
ворсистое люпиновое поле.
Сквозь сомкнутые вербные усы
туда! – где, замирая на мгновенье,
бесчисленные капельки росы
сбегают по стручкам от столкновенья.

Малинник встрепенется, но в залог
оставлена догадка, что, возможно,
охотник, расставляющий силок,
валежником хрустит неосторожно.
На деле же – лишь ленточка тропы
во мраке извивается, белея.
Не слышно ни журчанья, ни стрельбы,
не видно ни Стрельца, ни Водолея.

Лишь ночь под перевернутым крылом
бежит по опрокинувшимся кущам,
настойчива, как память о былом -
безмолвном, но по-прежнему живущем.

24 мая 1964

Для школьного возраста

М. Б.

Ты знаешь, с наступленьем темноты
пытаюсь я прикидывать на глаз,
отсчитывая горе от версты,
пространство, разделяющее нас.

И цифры как-то сходятся в слова,
откуда приближаются к тебе
смятенье, исходящее от А,
надежда, исходящая от Б.

Два путника, зажав по фонарю,
одновременно движутся во тьме,
разлуку умножая на зарю,
хотя бы и не встретившись в уме.

31 мая 1964

* * *

А. А. А.

В деревне, затерявшейся в лесах,

таращусь на просветы в небесах -
когда же загорятся Ваши окна
в небесных (москворецких) корпусах.

А южный ветер, что облака несет
с холодных, нетемнеющих высот,
того гляди, далекой Вашей Музы
аукающий голос донесет.

И здесь, в лесу, на явном рубеже
минувшего с грядущим, на меже
меж Голосом и Эхом – все же внятно
я отзовусь – как некогда уже,

не слыша очевидных голосов,
откликнулся я все ж на некий зов.
И вот теперь туда бреду безмолвно
среди людей, среди рек, среди лесов.

май 1964

* * *

Забор пронзил подмерзший наст
и вот налег плечом
на снежный вал, как аргонавт -
за золотым лучом.

Таким гребцам моря тесны.
Но кто там гребнем скрыт?
Кто в арьергарде у весны
там топчется, небрит?

Кто наблюдает, молчалив
(но рот завистливо раскрыл),
как жаворонок бестолков
среди спящих облаков?

май 1964

* * *

Звезда блестит, но ты далека.
Корова мычит, и дух молока
мешается с запахом козьей мочи,
и громко блеет овца в ночи.

Шнурки башмаков и манжеты брюк,
а вовсе не то, что есть вокруг,
мешает почувствовать мне наяву
себя – младенцем в хлеву.

май 1964

К северному краю

Северный край, укрой.

И поглубже. В лесу.

Как смолу под корой,
спрячь под веком слезу.

И оставь лишь зрачок,
словно хвойный пучок,
и грядущие дни.

И страну заслони.

Нет, не волнуйся зря:

я превращусь в глухаря,
и, как перья, на крылья мне лягут
листья календаря.

Или спрячусь, как лис,
от человеческих лиц,
от собачьего хора,
от двуствольных глазниц.

Спрячь и зажми мне рот!

Пусть при взгляде вперед
мне ничего не встретить,
кроме желтых болот.

В их купели сырой
от взоров нескромных скрой
след, если след оставлю,
и в трясины зарой.

Не мой черед умолкать.
Но пора окликать
тех, кто только не станет
облака упрекать
в красноте, в тесноте.
Пора брести в темноте,
вторя песней без слов
частоколу стволов.

Так шуми же себе
в судебной своей судьбе
над моей головою,
присужденной тебе,
но только рукой (плеча)
дай мне воды (ручья)
зачерпнуть, чтоб я понял,
что только жизнь – ничья.

Не перечь, не порочь.
Новых гроз не пророчь.
Оглянись, если сможешь -
так и уходят прочь:
идут сквозь толпу людей,
потом – вдоль рек и полей,
потом сквозь леса и горы,
все быстрее. Все быстрее.

май 1964

Ломтик медового месяца

М. Б.

Не забывай никогда,
как хлещет в пристань вода
и как воздух упруг -
как спасательный круг.

А рядом чайки галдят,
и яхты в небо глядят,
и тучи вверху летят,
словно стая утят.

Пусть же в сердце твоём,
как рыба, бьется живьем
и трепещет обрывок
нашей жизни вдвоем.

Пусть слышится устриц хруст,
пусть топорщится куст.
И пусть тебе помогает
страсть, достигшая уст,

понять без помощи слов,
как пена морских валов,
достигая земли,
рождает гребни вдали.

май 1964

Отрывок

В ганзейской гостинице «Якорь»,
где мухи садятся на сахар,
где боком в канале глубоком
эсминцы плывут мимо окон,

я сживал в обществе кружки,
глазея на мачты и пушки
и совесть свою от укора
спасая бутылкой Кагора.

Музыка гремела на танцах,
солдаты всходили на транспорт,
сгибая суконные бедра.
Маяк им подмигивал бодро.

И часто до боли в затылке
о сходстве его и бутылки

я думал, лишенный режимом
знакомства с его содержимым.

В восточную Пруссию въехав,
твой образ, в приспущенных веках,
из наших балтийских топей
я ввез контрабандой, как опий.

И вечером, с миной печальной,
спускался я к стенке причальной
в компании мыслей проворных,
и ты выступала на волнах...

май 1964

* * *

Твой локон не свивается в кольцо,
и пальца для него не подобрать
в стремлении очерчивать лицо,
как ранее очерчивала прядь,
в надежде, что нарвался на растяп,
чьим помыслам стараясь угодить,
хрусталик на уменьшенный масштаб
вниманья не успеет обратить.

Со всей неумолимостью тоски,

с действительностью грустной на ножах,
подобье подбородка и виски
большим и указательным зажав,
я быстро погружаюсь в глубину,
особенно устами, как фрегат,
идуший неожиданно ко дну
в наперстке, чтоб не плавать наугад.

По горло или все-таки по грудь,
хрусталик погружается во тьму.
Но дальше переносицы нырнуть
еще не удавалось никому.
Какой бы не почувствовал рывок
надежды, но (подальше от беды)
всегда серо-зеленый поплавок
выскакивает к небу из воды.

Ведь каждый, кто в изгнании тосковал,
рад муку, чем придется, утолить
и первый подвернувшийся овал
любимыми чертами заселить.
И то уже удваивает пыл,
что в локонах покинутых слились
то место, где их Бог остановил,
с тем краешком, где ножницы прошлись.

Ирония на почве естества,

надежда в ироническом ключе,
колеблема разлукой, как листва,
как бабочка (не так ли?) на плече:
живое или мертвое, оно,
хоть собственными пальцами творим, -
связующее легкое звено
меж образом и призраком твоим.

май 1964

В распутицу

Дорогу развезло
как реку.
Я погрузил весло
в телегу,
спасательный овал
намаслив
на всякий случай. Стал
запаслив.

Дорога как река,
зараза.
Мережей рыбака -
тень вяза.
Коню не до ухи
под носом.
Тем более, хи-хи,
колесам.

Не то, чтобы весна,
но вроде.
Разброд и кривизна.
В разброде
деревни – все подряд
хромая.
Лишь полный скуки взгляд -
прямая.

Кустарники скребут
по борту.
Спасательный хомут -
на морду.
Над яблоней моей,
над серой,
восьмерка журавлей -
на Север.

Воззри сюда, о друг -
потомок:
во всеоружьи дуг,
постромок,
и двадцати пяти
от роду,
пою на полпути
в природу.

весна 1964

* * *

К семейному альбому прикоснись
движением, похищенным (беда!)
у ласточки, нырнувшей за карниз,
похитившей твой локон для гнезда.

А здесь еще, смотри, заметены
метелью придорожные холмы.
Дом тучами придавлен до земли,
березы без ума от бахромы.

Ни ласточек, ни галок, ни сорок.
И тут кому-то явно не до них.
Мальчишка, атакующий сугроб,
беснуется – в отсутствие родных.

16 июня 1964

С грустью и с нежностью

А. Горбунову

На ужин вновь была лапша, и ты,
Мицкевич, отодвинув миску,

сказал, что обойдешься без еды.
Поэтому и я, без риску
медбрату показаться бунтарем,
последовал чуть позже за тобою
в уборную, где пробыл до отбоя.
"Февраль всегда идет за январем,
а дальше – март". – Обрывки разговора,
сверканье кафеля, фарфора;
вода звенела хрусталем.

Мицкевич лег, в оранжевый волчок
оставив свой невидящий зрачок.
А может, там судьба ему видна...
Бабанов в коридор медбрата вызвал.
Я замер возле темного окна,
и за спиною грохал телевизор.
«Смотри-ка, Горбунов, какой там хвост!»
«А глаз какой!» – "А видишь тот нарост
над плавником?" – «Похоже на нарыв».

Так в феврале мы, рты раскрыв,
тарацились в окно на звездных Рыб,
сдвигая лысоватые затылки,
в том месте, где мокрота на полу.
Где рыбу подают порой к столу,
но к рыбе не дают ножа и вилки.

16 июня 1964

* * *

Дни бегут надо мной,
словно тучи над лесом,
у него за спиной
сбившись стадом белесым.
И, застыв над ручьем,
без мычанья и звона,
налегают плечом
на ограду загона.

Горизонт на бугре
не проронит о бегстве ни слова.
И порой на заре -
ни клочка от бывшего.
Предъявляя транзит,
только вечер вчерашний
торопливо скользит
над скворешней, над пашней.

июнь 1964

* * *

Дом тучами придавлен до земли,
охлестнут, как удавкой, дорогой,
сливающейся с облаком вдали,
пустой, без червотчины двуногой.

И ветер, ухватившись за концы,
бушует в наступлении весеннем,
испуганному бляенью овцы
внимая с нескрываемым весельем.

И вороны кричат, как упыри,
сочувствуя и радуясь невзгоде
двуногого, но все-таки внутри
никто не говорит о непогоде.

Уж в том у обитателя залог
с упреком не обрушиться на Бога,
что некому вступать тут в диалог
и спятить не успел для монолога.

Стихи его то глуше, то звончей,
то с карканьем сливаются вороньим.
Так рощу разрезающий ручей
бормочет все сильней о постороннем.

июнь 1964

* * *

Не знает небесный снаряд,

пронзающий сферы подряд
(как пуля пронзает грудь),
куда устремляет путь:

спешит ли он в Эмпирей
иль это бездна, скорей.
К чему здесь расчет угла,
поскольку земля кругла.

Вот так же посмертный напев,
в пространствах земных преуспев,
меж туч гудит на лету,
пронзая свою слепоту.

июнь 1964

Сонетик

Маленькая моя, я грущу
(а ты в песке скок-поскок).
Как звездочку тебя ищу:
разлука как телескоп.

Быть может, с того конца
заглянешь (как Левенгук),
не разглядишь лица,
но услышишь: стук-стук.

Это в медвежьем углу
по воздуху (по стеклу)
царапаются кусты,
и постукивает во тьму
сердце, где проживаешь ты,
помимо жизни в Крыму.

июнь 1964

* * *

М. Б.

Как тюремный засов
разрешается звоном от бремени,
от калмыцких усов
над улыбкой прошедшего времени,
так в ночной темноте,
обнажая надежды беззубие,
по версте, по версте
отступает любовь от безумия.

И разинутый рот
до ушей раздвигая беспамятством,
как садок для щедрот
временным и пространственным пьяницам,
что в горящем доме

ухитряясь дрожать под заплатами
и уставясь во тьму,
заедают версту циферблатами, -
боль разлуки с тобой
вытесняет действительность равную
не печальной судьбой,
а простой Архимедовой правдою.

Через гордый язык,
хоронясь от законности с тщанием,
от сердечных музык
пробираются память с молчанием
в мой последний пенат
– то ль слезинка, то ль веточка вербная, -
и тебе не понять,
да и мне не расслышать, наверное,
то ли вправду звенит тишина,
как на Стиксе уключина.
То ли песня навзрыд сложена
и посмертно заучена.

июнь – июль 1964

* * *

Отскакивает мгла
от окон школы,
звонят из-за угла
колокола Николы.

И дом мой маскарадный
(двуличья признак!)
под козырек парадной
берет мой призрак.

июнь – август 1964

* * *

Осенью из гнезда
уводит на юг звезда
певчих птиц поезда.

С позабытым яйцом
висит гнездо над крыльцом
с искаженным лицом.

И как мстительный дух,
в котором весь гнев потух,
на заборе петух

кричит, пока не охрип.

И дом, издавая скрип,
стоит, как поганый гриб.

июнь – август 1964

Колесник умер, бондарь
уехал в Архангельск к жене.
И, как бык, бушует январь
им вослед на гумне.
А спаситель бадей
стоит меж чужих людей
и слышит вокруг
только шуршанье брюк.

Тут от взглядов косых
горяча, как укол,
сбивается русский язык,
бормоча в протокол.
А безвестный Гефест
глядит, как прошил окрест
снежную гладь канвой
вологодский конвой.

По выходе из тюрьмы,
он в деревне лесной
в арьергарде зимы
чинит бочки весной
и в овале бадьи
видит лицо судьи
Савельевой и тайком
в лоб стучит молотком.

июль 1964

Настеньке Томашевской в Крым

Пусть август – месяц ласточек и крыш,
подверженный привычке стародавней,
разбрасывает в Пулкове камыш
и грохает распахнутою ставней.

Придет пора, и все мои следы
исчезнут, как развалины Атланты.
И сколько ни взрослей и ни гляди
на толпы, на холмы, на фолианты,

но чувства наши прячутся не там
(как будто мы работали в перчатках),
и сыщикам, бегущим по пятам,
они не оставляют отпечатков,

Поэтому для сердца твоего,
собравшего разрозненные звенья,
по-моему, на свете ничего
не будет извинительней забвенья.

Но раз в году ты вспомнишь обо мне,

березой, а не вереском согрета,
на Севере родном, когда в окне
бушует ветер на исходе лета.

август 1964

* * *

Смотритель лесов, болот,
новый инспектор туч
(без права смотреть вперед)
инспектирует луч
солнца в вечерний час,
не закрывая глаз.

Тает последний сноп
выше крыш набекрень.
Стрелочник сонных троп,
бакенщик деревень
стоит на пыльной реке
с коромыслом в руке.

август 1964

Псковский реестр

для М. Б.

Не спутать бы азарт

и страсть (не дай нам,
Господь). Припомни март,
семейство Найман.
Припомни Псков, гусей
и, вполнекала,
фонарики, музей,
«Мытье» Шагала.

Уколы на бегу
(не шпилькой – пикой!).
Сто маковок в снегу,
на льду Великой
катанье, говоря
по правде, сдуру,
сугробы, снегири,
температуру.

Еще – объятий плен,
от жара смелый,
и вязаный твой шлем
из шерсти белой.
И черного коня,
и взгляд, печалью
сокрытый – от меня -
как плечи – шалью.

Кусты и пустыри,

деревья, кроны,
холмы, монастыри,
кресты, вороны.
И фрески те (в пыли),
где, молвить строго,
от Бога, от земли
равно немного.

Мгновенье – и прерву,
еще лишь горстка:
припомни синеву
снегов Изборска,
где разум мой парил,
как некий облак,
и времени дарил
мой «Фэд»[34] наш облик.

О синева бойниц
(глазниц)! Домашний
барраж крикливых птиц
над каждой башней,
и дальше (оборви!)
простор с разбега.
И колыбель любви
– белее снега!

Припоминай и впредь

(хотя в разлуке
уже не разглядеть:
а кто там в люльке)
те кручи и поля,
такси в равнине,
бифштексы, шницеля,
долги поныне.

Умей же по полям,
по стрелкам, верстам
и даже по рублям
(почти по звездам!),
по формам без души
со всем искусством
Колумба (о спеши!)
вернуться к чувствам.

Ведь в том и суть примет
(хотя бы в призме
разлук): любой предмет
– свидетель жизни.
Пространство и года
(мгновений гряда),
ответы на «когда»,
«куда», «откуда».

Впустив тебя в музей

(зеркальных зальцев),
пусть отпечаток сей
и вправду пальцев,
чуть отрезвит тебя -
придет на помощь
отдавшей вдруг себя
на миг, на полночь

сомнениям во власть
и укоризне,
когда печется страсть
о долгой жизни
на некой высоте,
как звук в концерте,
забыв о долготе,
– о сроках смерти!

И нежности приют
и грусти вестник,
нарушивши уют,
любви ровесник -
с пушинкой над губой
стихотворенье
пусть радует собой
хотя бы зренье.

лето 1964 (1965?)

* * *

А. Буров – тракторист – и я,
сельскохозяйственный рабочий Бродский,
мы сеяли озимые – шесть га.
Я созерцал лесистые края
и небо с реактивной полоской,
и мой сапог касался рычага.

Топорщилось зерно под бороной,
и двигатель окрестность оглашал.
Пилот меж туч закручивал свой почерк.
Лицом в поля, к движению спиной,
я сеялку собою украшал,
припудренный землицею как Моцарт.

август – сентябрь 1964

Румянцевой победам

Прядет кудель под потолком
дымок ночлежный.
Я вспоминаю под хмельком
Ваш образ нежный,
как Вы бродили меж ветвей,
стройней пастушек,
вдвоем с возлюбленной моей
на фоне пушек.

Под жерла гаубиц морских,
под Ваши взгляды
мои волнения и стих
попасть бы рады.
И дел-то всех: коня да плеть
и ногу в стремя.
Тем, первым, версты одолеть,
последним – время.

Сойдемся на берегах Невы,
а нет – Сухоны.
С улыбкою воззритесь Вы
на мисс с иконы.
Вообразив Вас за сестру
(по крайней мере),
целуя Вас, не разберу,
где Вы, где Мэри.

Но Ваш арапский конь как раз
в полях известных.
И я – достаточно увяз
в болотах местных.
Хотя б за то, что говорю
(Господь с словами),
всем сердцем Вас благодарю
– спасенным Вами.

Прозрачный перекинув мост
(упрусь в колонну),
пяток пятиконечных звезд
по небосклону
плетется ночью через Русь
– пусть к Вашим милым
устам переберется грусть
по сим светилам.

На четверть – сумеречный хлад,
на треть – упрямяство,
наполовину – циферблат,
и весь – пространство,
клянусь воздать Вам без затей
(в размерах власти
над сердцем) разностью частей -
и суммой страсти!

Простите ж, если что не так
(без сцен, стенаний).
Благословил меня коньяк
на риск признаний.
Вы все претензии – к нему.
Нехватка хлеба,
и я зажевываю тьму.
Храни Вас небо.

август – сентябрь 1964

Сонет

М. Б.

Прислушиваясь к грозным голосам,
стихи мои, отстав при переправе
за Иордан, блуждают по лесам,
оторваны от памяти и яви.
Их звуки застревают (как я сам)
на полпути к гибели и славе
(в моей груди), отныне уж не вправе
как прежде доверяться чудесам.

Но как-то глуховато, свысока,
тебя, ты слышишь, каждая строка
благодарит за то, что не погибла,
за то, что сны, обстав тебя стеной,
теперь бушуют за моей спиной
и поглощают конницу Египта.

август – сентябрь 1964, Норенская

* * *

М. Б.

Деревья в моем окне, в деревянном окне,

деревню после дождя вдвойне
окружают посредством луж
караулом усиленным мертвых душ.

Нет под ними земли – но листва в небесах,
и свое отраженье в твоих глазах,
приготовившись мысленно к дележу,
я, как новый Чичиков, нахожу.

Мой перевернутый лес, воздавая вполне
должное мне, вовне шарит рукой на дне.

Лодка, плывущая посуху, подскакивает на волне.
В деревянном окне деревьев больше вдвойне.

26 октября 1964, Норенская

* * *

М. Б.

Тебе, когда мой голос отзвучит
настолько, что ни отклика, ни эха,
а в памяти – улыбку заключит
затянутая воздухом прореха,
и жизнь моя за скобки век, бровей
навек отодвинется, пространство

зрачку расчистив так, что он, ей-ей,
уже простит (не верность, а упрямство),

– случайный, сонный взгляд на циферблат
напомнит нечто, тикавшее в лад
невесть чему, сбивавшее тебя
с привычных мыслей, с хитрости, с печали,
куда-то торопясь и торопя
настолько, что порой ночами
хотелось вдруг его остановить
и тут же – переполненное кровью,
спешившее, по-твоему, любить,
сравнить – его любовь с твоей любовью.

И выдаст вдруг тогда дрожанье век,
что было не с чем сверить этот бег, -
как твой брегет – а вдруг и он не прочь
спешить? И вот он в полночь брякнет...
Но темнота тебе в окошко звякнет
и подтвердит, что это вправду ночь.

29 октября 1964

Гвоздика

М. Б.

В один из дней, в один из этих дней,

тем более заметных, что сильнеей
дождь барабанит в стекла и почти
звонит в звонок (чтоб в комнату войти,
где стол признает своего в чужом,
а чайные стаканы – старшим);
то ниже он, то выше этажом
по лестничным топочет маршам
и снова растекается в стекле;
и Альпы громоздятся на столе,
и, как орел, парит в ущельях муха; -
то в холоде, а то в тепле
ты все шатаешься, как тень, и глухо
под нос мурлычешь песни. Как всегда,
и чай остыл. Холодная вода
под вечер выгонит тебя из комнат
на кухню, где скрипящий стул
и газовой горелки гул
твой слух заполнят,
заглушат все чужие голоса,
а сам огонь, светясь голубовато,
поглотит, ослепив твои глаза,
не оставляя пепла – чудеса! -
сучки календаря и циферблата.

Но, чайник сняв, ты смотришь в потолок,
любуйся трещинок системой,
не выключая черный стебелек
с гудящей и горящей хризантемой.

октябрь 1964

Орфей и Артемида

Наступила зима. Песнопевец,
не сошедший с ума, не умолкший,
видит след на тропинке волчий
и, как дятел-краснодеревец,
забирается на сосну,
чтоб расширить свой кругозор,
разглядев получше узор,
оттеняющий белизну.

Россыпь следов снега
на холмах испещрила, будто
в постели красавицы утро
рассыпало жемчуга.
Среди полей и дорог
перепутались нити.
Не по плечу Артемиде
их собрать в бугорок.

В скобки берет зима
жизнь. Ветвей бахрома
взгляд за собой влечет.
Новый Орфей за счет
притаившихся тварей,
обрывая большой календарь,

сокращая словарь,
пополняет свой бестиарий.

октябрь 1964

Чаша со змейкой

I

Дождливым утром, стол, ты не похож
на сельского вдовца-говоруна.
Что несколько предвидел макинтош,
хотя не допускала борона,
в том, собственно, узревшая родство,
что в ящик было вделано кольцо.
Но лето миновало. Торжество
клеенки над железом налицо.

II

Я в зеркало смотрюсь и нахожу
седые волосы (не перечесьть)
и пятнышки, которые ужу,
наверное, составили бы честь
и место к холодам (как экспонат)
в каком-нибудь виварии: на вид
хоть он витиеват и страшноват,

не так уж плодит и ядовит.

III

Асклепий, петухами мертвеца
из гроба поднимавший! незнаком
с предметом – полагаюсь на отца,
служившего Адмету пастухом.
Пусть этот кукарекающий маг,
пунцовой эспаньолкою горя,
меня не отрывает от бумаг
(хоть, кажется, я князь календаря).

IV

Пусть старый, побежденный материал
с кряхтением вгоняет в борозду
озимые. А тот, кто не соврал, -
потискает на вешалке узду.
Тут, в мире, где меняются столы,
слиянием с хозяином грозя,
поклестясь нерушимостью скалы
на почве сейсмологии нельзя.

V

На сей раз обоняние и боль,
и зрение, пожалуй, не у дел.
Не видел, как цветет желтофиоль,
да, собственно, и роз не разглядел.
Дождливые и ветреные дни
таращатся с Олимпа на четверг.
Но сердце, как инструктор в Шамони,
усиленно карабкается вверх.

VI

Моряк, заночевавший на мели,
верней, цыган, который на корню
украив у расстояния нули,
на чувств своих нанижет пятерню,
я, в сущности, желавший защитить
зрачком недостающее звено, -
лишь человек, которому шутить
по-своему нельзя, запрещено.

VII

Я, в сущности... Любители острот
в компании с искателями правд

пусть выглянут из времени вперед:
увидев, как бывалый астронавт
топорщит в замешательстве усы
при запуске космических ракет,
таращась на песочные часы,
как тикающий в ужасе брегет.

VIII

Тут в мире, где меняются столы,
слиянием с хозяином грозя,
где клясться нерушимостью скалы
на почве сейсмологии нельзя,
надев биноклярные очки,
наточим перочинные ножи,
чтоб мир не захватили новички,
коверкая сердца и падежи.

IX

Дождливым утром проседь на висках,
моряк, заночевавший на мели,
холодное стояние в носках
и Альпы, потонувшие в пыли.
И Альпы... и движение к теплу
такое же немного погодя,

как пальцы барабанят по стеклу
навстречу тарахтению дождя.

октябрь 1964

* * *

Брожу в редящем лесу.
Промозглость, серость.
Уже октябрь. На носу
Ваш праздник, Эрос.
Опять в Ваш дом набьется рать
жрецов искусства
«Столицу» жрать и проверять
стабильность чувства.

Какой простор для укоризн.
Со дня ареста
приятно чувствовать, что жизнь
у нас – ни с места.
Хлебнуть бы что-нибудь вдали
за Вашу радость,
но расстояния нули,
увы, не градус.

октябрь – декабрь 1964

Письмо в бутылке

То, куда вытянут нос и рот,
прочий куда обращен фасад,
то, вероятно, и есть «вперед»;
все остальное считай «назад».
Но так как нос корабля на Норд,
а взор пассажир устремил на Вест
(иными словами, глядит за борт),
сложность растет с переменой мест.
И так как часто плывут корабли,
на всех парусах по волнам спеша,
физики «вектор» изобрели.
Нечто бесплотное, как душа.

Левиафаны лупят хвостом
по волнам от радости кверху дном,
когда указывает на них перстом
вектор призрачным гарпуном.
Сирены не прячут прекрасных лиц
и громко со скал поют в унисон,
когда весельчак-капитан Улисс
чистит на палубе смит-вессон.
С другой стороны, пусть поймет народ,
ищущий грань меж Добром и Злом:
в какой-то мере бредет вперед
тот, кто с виду кружит в былом.
А тот, кто – по Цельсию – спит в тепле,
под балдахином и в полный рост,

с цезием в пятке (верней, в сопле),
пинает носком покрывало звезд.
А тот певец, что напрасно лил
на волны звуки, квасцы и йод,
спеша за метафорой в древний мир,
должно быть, о чем-то другом поет.

Двуликий Янус, твое лицо -
к жизни одно и к смерти одно -
мир превращают почти в кольцо,
даже если пойти на дно.
А если поплыть под прямым углом,
то, в Швецию словно, упруешься в страсть.
А если кружить меж Добром и Злом,
Левиафан разевает пасть.
И я, как витязь, который горд
коня сохранить, а живот сложить,
честно поплыл и держал Норд-Норд.
Куда – предстоит вам самим решить.
Прошу лишь учесть, что хоть рвется дух
вверх, паруса не заменят крыл,
хоть сходство в стремлениях этих двух
еще до Ньютона Шекспир открыл.

Я честно плыл, но попался риф,
и он насквозь пропорол мне бок.
Я пальцы смочил, но Финский залив
тут оказался весьма глубок.

Ладонь козырьком и грусть затая,
обозревал я морской пейзаж.
Но, несмотря на бинокли, я
не смог разглядеть пионерский пляж.
Снег повалил тут, и я застрял,
здрав к небосводу свой левый борт,
как некогда сам "Генерал-Адмирал
Апраксин". Но чем-то иным затерт.

Айсберги тихо плывут на Юг.
Гюйс шелестит на ветру.
Мыши беззвучно бегут на ют,
и, булькая, море бежит в дыру.
Сердце стучит, и летит снежок,
скрывая от глаз «воронье гнездо»,
забив до весны почтовый рожок;
и вместо «ля» раздается «до».
Тает корма, а сугробы растут.
Люстры льда надо мной висят.
Обзор велик, и градусов тут
больше, чем триста и шестьдесят.
Звезды горят и сверкает лед.
Тихо звенит мой челн.
Ундина под бушпритом слезы льет
из глаз, насчитавших миллиарды волн.

На азбуке Морзе своих зубов
я к Вам взываю, профессор Попов,

и к Вам, господин Маркони, в КОМ[36],
я свой привет пошлю с голубком.
Как пиво, пространство бежит по усам.
Пускай дирижабли и Линдберг сам
не покидают большой ангар.
Хватит и крыльев, поющих: «карр».
Я счет потерял облакам и дням.
Хрусталик не верит теперь огням.
И разум шепнет, как верный страж,
когда я вижу огонь: мираж.
Прощай, Эдисон, повредивший ночь.
Прощай, Фарадей, Архимед и проч.
Я тьму вытесняю посредством свеч,
как море – трехмачтовик, давший течь.
(И может сегодня в последний раз
мы, конюх, сражаемся в преферанс,
и «пулю» чертишь пером ты вновь,
которым я некогда пел любовь.)

Пропорот бок, и залив глубок.
Никто не виновен: наш лоцман – Бог.
И только Ему мы должны внимать.
А воля к спасенью – смиренья мать.
И вот я грустный вчиняю иск
тебе, преподобный отец Франциск:
узрев пробоину, как автомат,
я тотчас решил, что сие – стигмат.
Но, можно сказать, начался прилив,
и тут раскрылся простой секрет:

то, что годится в краю олив,
на севере дальнем приносит вред.
И, право, не нужен сверхзоркий Цейс.
Я вижу, что я проиграл процесс
гораздо стремительней, чем иной
язычник, желающий спать с женой.
Вода, как я вижу, уже по грудь,
и я отплываю в последний путь.
И, так как не станет никто провожать,
хотелось бы несколько рук пожать.

Доктор Фрейд, покидаю Вас,
сумевшего (где-то вне нас) на глаз
над речкой души перекинуть мост,
соединяющий пах и мозг.
Адье, утверждавший "терять, ей-ей,
нечего, кроме своих цепей".
И совести, если на то пошло.
Правда твоя, старина Шарло.
Еще обладатель брады густой,
Ваше сиятельство, граф Толстой,
любитель касаться ногой травы,
я Вас покидаю. И Вы правы.
Прощайте, Альберт Эйнштейн, мудрец.
Ваш не успев осмотреть дворец,
в Вашей державе слагаю скит:
Время – волна, а Пространство – кит.

Природа сама и ее щедрот
сыщики: Ньютон, Бойль-Мариотт,
Кеплер, поднявший свой лик к Луне, -
вы, полагаю, приснились мне.
Мендель в банке и Дарвин с костями
макак, отношенья мои с людьми,
их возраженья, зима, весна,
август и май – персонажи сна.
Снился мне холод и снился жар;
снился квадрат мне и снился шар,
щебет синицы и шелест трав.
И снилось мне часто, что я неправ.
Снился мне мрак и на волнах блик.
Собственный часто мне снился лик.
Снилось мне также, что лошадь ржет.
Но смерть – это зеркало, что не лжет.
Когда я умру, а сказать точней,
когда я проснусь, и когда скучней
на первых порах мне придется там,
должно быть, виденья, я вам воздам.
А впрочем, даже такая речь
признак того, что хочу сберечь
тени того, что еще люблю.
Признак того, что я крепко сплю.

Итак, возвращая язык и взгляд
к барашкам на семьдесят строк назад,
чтоб как-то их с пастухом связать;
вернувшись на палубу, так сказать,

я вижу, собственно, только нос
и снег, что Ундине уста занес
и снежный бюст превратил в сугроб.
Сечас мы исчезнем, плавучий гроб.
И вот, отправляясь навек на дно,
хотелось бы твердо мне знать одно,
поскольку я не вернусь домой:
куда указуешь ты, вектор мой?

Хотелось бы думать, что пел не зря.
Что то, что я некогда звал «заря»,
будет и дальше всходить, как встарь,
толкая худеющий календарь.
Хотелось бы думать, верней – мечтать,
что кто-то будет шары катать,
а некто – из кубиков строить дом.
Хотелось бы верить (увы, с трудом),
что жизнь водолаза пошлет за мной,
дав направление: «мир иной».

Постыдная слабость! Момент, друзья.
По крайней мере, надеюсь я,
что сохранит милосердный Бог
того, чего я лицезреть не смог.
Америку, Альпы, Кавказ и Крым,
долину Евфрата и вечный Рим,
Торжок, где почистить сапог – обряд,
и добродетелей некий ряд,

которых тут не рискну назвать,
чтоб заодно могли уповать
на Бережливость, на Долг и Честь
(хоть я не уверен в том, что вы – есть).

Надеюсь я также, что некий швед
спасет от атомной бомбы свет,
что желтые тигры убавят тон,
что яблоко Евы иной Ньютон
сжует, а семечки бросит в лес,
что «блюдца» украсят сервиз небес.

Прощайте! пусть ветер свистит, свистит.

Больше ему уж не зваться злым.

Пускай Грядущее здесь грустит:

как ни вертись, но не стать Былым.

Пусть Кант-постовой засвистит в свисток,

а в Веймаре пусть Фейербах ревет:

"Прекрасных видений живой поток
щелчок выключателя не прервет!"

Возможно, так. А возможно, нет.

Во всяком случае (ветер стих),

как только Старушка погасит свет,

я знаю точно: не станет их.

Пусть жизнь продолжает, узрев в дупле

улитку, в охотничий рог трубить,

когда на скромном своем корабле

я, как сказал перед смертью Рабле,

отправлюсь в «Великое Может Быть»...

(размыто)

Мадам, Вы простите бессвязность, был.

Ведь Вам-то известно, куда я плыл
и то, почему я, презрев компас,
курс проверял, так сказать, на глаз.

Я вижу бульвар, где полно собак.

Скамейка стоит, и цветет табак.

Я вижу фиалок пучок в петле
и Вас я вижу, мадам, в букле.

Печальный взор опуская вниз,
я вижу светлого джерси мыс,
две легкие шляпки, их четкий рант,
на каждой, как маленький кливер, бант.

А выше – о, звуки небесных арф! -
подобный голландке, в полоску шарф
и волны, которых нельзя сомкнуть,
в которых бы я предпочел тонуть.

И брови, как крылья прелестных птиц,
над взором, которому нет границ

в мире огромном ни вспять, ни впредь, -
который Незримому дал Смотреть.

Мадам, если впрямь существует связь
меж сердцем и взглядом (лучась, дробясь
и преломляясь), заметить рад:
у Вас она лишена преград.

Мадам, это больше, чем свет небес.
Поскольку на полюсе можно без
звезд копошиться хоть сотню лет.
Поскольку жизнь – лишь вбирает свет.

Но Ваше сердце, точнее – взор
(как тонкие пальцы – предмет, узор)
рождает чувства, и форму им
светом оно придает своим.

(размыто)

И в этой бутылке у Ваших стоп,
свидетельстве скромном, что я утоп,
как астронавт посреди планет,
Вы сыщете то, чего больше нет.

Вас в горлышке встретит, должно быть, грусть.

До марки добравшись – и наизусть
запомнив – придете в себя вполне.

И встреча со мною Вас ждет на дне!

Мадам! Чтоб рассеять случайный сплин,

Bottoms up! – как сказал бы Флинн.

Тем паче, что мир, как в «Пиратах», здесь
в зеленом стекле отразился весь.

(размыто)

Так вспоминайте ж меня, мадам,
при виде волн, стремящихся к Вам,
при виде стремящихся к Вам валов
в беге строк, в гуденьи слов...

Море, мадам, это чья-то речь...

Я слух и желудок не смог сберечь:
я нахлебался и речью полн...

(размыто)

Меня вспоминайте при виде волн!

(размыто)

...что парная рифма нам даст, то ей
мы возвращаем под видом дней.
Как, скажем, данные дни в снегу...
Лишь смерть оставляет, мадам, в долгу.

(размыто)

Что говорит с печалью в лице
кошке, усевшейся на крыльце,
снегирь, не спуская с последней глаз?
«Я думал, ты не придешь. Alas!»

ноябрь 1964, Норенская

Услышу и отзовусь

Сбились со счета дни, и Борей покидает озимь,
ночью при свете свечи пересчитывает стропила.
Будто ты вымолвила негромко: осень,
осень со всех сторон меня обступила.
Затихает, и вновь туч на звезды охота
вспыхивает, и дрожит в замешательстве легком стреха.

С уст твоих слетают времена года,
жизнь мою превращая, как леса и овраги, в эхо.
Это твое, тихий дождь, шум, подхваченный чащей,
так что сердце в груди шумит, как ивовый веник.
Но безучастней, чем ты, в тысячу раз безучастней,
молча глядит на меня (в стороне) можжевельник.
Темным лицом вперед (но как бы взапуски с тучей)
чем-то близким воде ботфортами в ямах брызжу,
благословляя родства с природой единственный случай,
будто за тысячу верст взор твой печальный вижу.
Разрывай мои сны, если хочешь. Безумствуй в яви.
Заливай до краев этот след мой в полях мышиных.
Как Сибелиус пой, умолкать, умолкать не вправе,
говори же со мной и гуди и свисти в вершинах.
Через смерть и поля, через жизни, страданья, версты
улыбайся, шепчи, заливайся слезами – сладость
дальней речи своей, как летучую мышь, как звезды,
кутай в тучах ночных, посылая мне боль и радость.
Дальше, дальше! где плоть уж не внемлет душе, где в уши
не вливается звук, а ныряет с душою вровень,
я услышу тебя и отвечу, быть может, глуше,
чем сейчас, но за все, в чем я не был и был виновен.
И за тенью моей он последует – как? с любовью?
Нет! скорей повлечет его склонность воды к движенью.
Но вернется к тебе, как великий прибой к изголовью,
как вожатого Дант, уступая уничтоженью.
И охватит тебя тишиной и посмертной славой
и земной клеветой, не снискавшей меж туч успеха,
то сиротство из нот, не берущих выше октавой,
чем возьмет забытье и навеки смолкшее эхо.

осень 1964

* * *

К. З.

Все дальше от твоей страны,
все дальше на восток, на север.
Но барвинка дрожащий стебель
не эхо ли восьмой струны,

природой и самой судьбой
(что видно по цветку-проныре),
нет, кажется, одной тобой
пришпиленной к российской лире.

ноябрь – декабрь 1964

* * *

Оставив простодушного скупца,
считающего выдохи и вдохи,
войной или изгнанием певца
доказывая подлинность эпохи,

действительность поклон календарю
кладет и челобитную вручает

на прошлое. И новую зарю
от Вечности в награду получает.

ноябрь – декабрь 1964

* * *

Сокол ясный, головы
не клони на скатерть.
Все страдания, увы,
оттого, что заперт.

Ручкой, юноша, не мучь
запертую дверку.
Пистолет похож на ключ,
лишь бородка кверху.

ноябрь – декабрь 1964

Сонет

«Седой венец достался мне недаром...» Анна Ахматова

Выбрасывая на берег словарь,
злоречьем торжествуя над удушьем,
пусть море осаждает календарь
со всех сторон: минувшим и грядущим.
Швыряя в стекла пригоршней янтарь,
осенним днем, за стеклами ревушим,

и гребнем, ослепительно цветущим,
когда гремит за окнами январь,
захлестывая дни, – пускай гудит,
сжимает сердце и в глаза глядит.
Но, подступая к самому лицу,
оно уступит в блеске своенравном
седому, серебристому венцу,
внесенному над тернием и лавром!

ноябрь – декабрь 1964

Einem alten Architekten in Rom [37]

I

В коляску – если только тень
действительно способна сесть в коляску
(особенно в такой дождливый день),
и если призрак переносит тряску,
и если лошадь упряжи не рвет -
в коляску, под зонтом, без верха,
мы молча взгромоздимся и вперед
покатим по кварталам Кенигсберга.

II

Дождь щиплет камни, листья, край волны.

Дразня язык, бормочет речка смутно,
чьи рыбки навсегда оглушены,
с перил моста взирают вниз, как будто
заброшены сюда взрывной волной
(хоть сам прилив не оставлял отметки).
Блестит кольчугой голавель стальной.
Деревья что-то шепчут по-немецки.

III

Вручи вознице свой сверхзоркий Цейс.
Пускай он вбок свернет с трамвайных рельс.
Ужель и он не слышит сзади звона?
Трамвай бежит в свой миллионный рейс,
трезвонит громко и, в момент обгона,
перекрывает звонкий стук подков!
И, наклонясь – как в зеркало – с холмов
развалины глядят в окно вагона.

IV

Трепещут робко лепестки травы.
Атланты, нимбы, голубки, голубки,
аканты, нимфы, купидоны, львы
смущенно прячут за собой обрубки.
Не пожелал бы сам Нарцисс иной

зеркальной глади за бегущей рамой,
где пассажиры собрались стеной,
рискнувши стать на время амальгамой.

V

Час ранний. Сумрак. Тянет пар с реки.
Вкруг урны пляшут на ветру окурки.
И юный археолог черепки
ссыпает в капюшон пятнистой куртки.
Дождь моросит. Не разжимая уст,
среди равнин, припорошенных щебнем,
среди руин больших на скромный бюст
Суворова ты смотришь со смущеньем.

VI

Пир... пир бомбардировщиков утих.
С порталов март смывает хлопья сажки.
То тут, то там торчат хвосты шутих,
стоят, навек окаменев, плюмажи.
И если здесь поковырять (по мне,
разбитый дом, как сеновал в иголках),
то можно счастье отыскать вполне
под четвертичной пеленой осколков.

VII

Клен выпускает первый клейкий лист.
В соборе слышен пилорамы свист.
И кашляют грачи в пустынном парке.
Скамейки мокнут. И во все глаза
из-за ограды смотрит вдаль коза,
где зелень распустилась на фольварке.

VIII

Весна глядит сквозь окна на себя
и узнает себя, конечно, сразу.
И зреньем наделяет тут судьба
все то, что недоступно глазу.
И жизнь бушует с двух сторон стены,
лишенная лица и черт гранита;
глядит вперед, поскольку нет спины.
Хотя теней в кустах битком набито.

IX

Но если ты не призрак, если ты
живая плоть, возьми урок с природы

и, срисовав такой пейзаж в листы,
своей душе ищи другой структуры.
Отбрось кирпичь, отбрось цемент, гранит,
разбитый в прах – и кем! – винтом крылатым,
на первый раз придав ей тот же вид,
каким сейчас ты помнишь школьный атом.

X

И пусть теперь меж чувств твоих провал
начнет зиять. И пусть за грустью томной
бушует страх и, скажем, злобный вал.
Спасти сердца и стены в век атомный,
когда скала – и та дрожит, как жердь,
возможно лишь скрепив их той же силой
и связью той, какой грозит им смерть.
И вздрогнешь ты, расслышав возглас: «милый!»

XI

Сравни с собой или примерь на глаз
любовь и страсть и – через боль – истому.
Так астронавт, пока летит на Марс,
захочет ближе оказаться к дому.
Но ласка та, что далека от рук,
стреляет в мозг, когда от верст опешишь,

проворней уст: ведь небосвод разлук
несокрушимей потолков убежищ.

XII

Чик, чик-чирик, чик-чик – посмотришь вверх
и в силу грусти, а верней, привычки
увидишь в тонких прутьях Кенигсберг.
А почему б не называться птичке
Кавказом, Римом, Кенигсбергом, а?
Когда вокруг – лишь кирпичи и щебень,
предметов нет, и только есть слова.
Но нету уст. И раздаётся щебет.

XIII

И ты простишь нескладность слов моих.
Сейчас от них один скворец в ущербе.
Но он нагонит: чик, Ich liebe dich! [38]
И, может быть, опередит: Ich sterbe! [39]
Блокнот и Цейс в большую сумку спрячь.
Сухой спиной повертись к флюгарке
и зонт сложи, как будто крылья – грач.
И только ручка выдаст хвост пулярки.

XIV

Постромки – в клочья... лошадь где?.. Подков
не слышен стук... Петля там, в руинах,
коляска катит меж пустых холмов...
Съезжает с них куда-то вниз... две длинных
шлеи за ней... И вот – в песке следы
больших колес. Шуршат кусты в засаде...

XV

И море, гребни чьи несут черты
того пейзажа, что остался сзади,
бежит навстречу. И как будто весть,
благую весть, сюда, к земной границе,
влечет валы. И это сходство здесь
уничтожает в них, лаская спицы.

ноябрь – декабрь 1964

На отъезд гостя

К. А.

Покидаешь мои небеса.
И один оборот колеса
их приводит в движение.

Я открытию рад.

И проселок сужается, взгляд
сохранив от суженья.

Чем дорога длинней,
тем суждение уже о ней.
Оттого страсотерпца

поджидает зимой торжество
и само Рождество
защищает от сжатия сердца.

Тихо блеет овца.
И кидается лайка с крыльца.
Трубы кашляют. Вот я и дома.

И, картавя, кричит с высоты
негатив Вифлеемской звезды,
провожая волхва-скопидома.

декабрь 1964

Северная почта [40]

М. Б.

Я, кажется, пою одной тебе.

Скорее тут нужда, чем скопидомство.

Хотя сейчас и ты к моей судьбе
не меньше глуховата, чем потомство.

Тебя здесь нет: сострив из-под полы,
не вызвать даже в стульях интереса,
и мудрено дожидаться похвалы
от спящего заснеженного леса.

Вот оттого мой голос глуховат,
лишенный драгоценного залога,
что я не угожу (не виноват)
совсем в специалисты монолога.

И все ж он громче шелеста страниц,
хотя бы и стремительней старея.

Но, прежде зимовавший у синиц,
теперь он занимает у Борея.

Не есть ли это взлет? Не обессудь
за то, что в этой подлинной пустыне,
по плоскости прокладывая путь,
я пользуюсь альтиметром гордыни.

Но впрямь, не различая впереди
конца и обнаруживши в бокале
лишь зеркальце свое, того гляди
отыщешь горизонт по вертикали.

Вот так, как медоносная пчела,
жужжащая меж сосен безутешно,
о если бы ирония могла
со временем соперничать успешно,
чего бы я ни дал календарю,
чтоб он не осыпался сиротливо,
приклеивая даже к январю
опавшие листочки кропотливо.

Но мастер полиграфии во мне,
особенно бушующий зимою,
хоронится по собственной вине
под снежной скрупулезной бахромою.
И бедная ирония в азарт
впадает, перемешиваясь с риском.
И выступает глуховатый бард
и борется с почтовым василиском.

Прости. Я запускаю петуха.
Но это кукареку в стратосфере,
подальше от публичного греха,
не вынудит меня, по крайней мере,
остановиться с каменным лицом,
как Ахиллес, заплучивший в пятку
стрелу хулы с тупым ее концом,
и пользоваться себя сырым яйцом,

чтобы сорвать аплодисменты всмятку.

Так ходики, оставив в стороне
от жизни два кошачьих изумруда,
молчат. Но если память обо мне
отчасти убедительнее чуда,
прости того, кто, будучи ленив,
в пророчествах воспользовался штампом,
хотя бы эдак век свой удлинив
пульсирующим, тикающим ямбом.

Снег, сталкиваясь с крышей, вопреки
природе, принимает форму крыши.
Но рифма, что на краешке строки,
взбирается к предшественнице выше.
И голос мой, на тысячной версте
столкнувшийся с твоим непостоянством,
весьма приобретает в глухоте,
по форме совпадающей с пространством.

Здесь, в северной деревне, где дышу
тобой, где увеличивает плечи
мне тень, я возбуждение гашу,
но прежде парафиновые свечи,
чтоб тенью не был сон обременен,
гашу, предоставляя им в горячке
белеть во тьме, как новый Парфенон

в периоды бессоницы и спячки.

декабрь 1964

Сонет

Ты, Муза, недоверчива к любви,
хотя сама и связана союзом
со Временем (попробуй разорви!).
А Время, недоверчивое к Музам,
щедрей последних, на беду мою
(тут щедрость не уступит аппетитам).
И если я любимую пою,
то не твоим я пользуюсь кредитом.

Не путай одинаковые дни
и рифмы. Потерпи, повремени!
А Время уж не спутает границ!
Но, может быть, хоть рифмы воскрешая,
вернет меня любимой, арку птиц
над ней то возводя, то разрушая.

декабрь 1964

* * *

Заснешь с прикушенной губой
среди мелких жуликов и пьяниц.
Заплачет горько над тобой

Овидий, первый тунядец.

Ему все снился виноград
вдали Италии родимой.
А ты что видишь? Ленинград
в зиме его неотразимой.

Когда по набережной снег
метет, врываясь на Литейный,
спиною к ветру человек
встает у лавки бакалейной.

Тогда приходит новый стих,
ему нет равного по силе.
И нет защитников таких,
чтоб эту точность защитили.

Такая жгучая тоска,
что ей положена по праву
вагона жесткая доска,
опережающая славу.

1964

Колыбельная

Зимний вечер лампу жжет,
день от ночи стережет.
Белый лист и желтый свет
отмывают мозг от бед.

Опуская пальцы рук,
словно в таз, в бесшумный круг,
отбеливая пальцы впрок
для десятка темных строк.

Лампа даст мне закурить,
буду щеки лампой брить
и стирать рубашку в ней
еженочно сотню дней.

Зимний вечер лампу жжет,
вены рук моих стрижет.
Зимний вечер лампу жжет.
На конюшне лошадь ржет.

1964

Новые стансы к Августе

М. Б.

I

Во вторник начался сентябрь.

Дождь лил всю ночь.
Все птицы улетели прочь.
Лишь я так одинок и храбр,
что даже не смотрел им вслед.
Пустынный небосвод разрушен, [41]
дождь стягивает просвет.
Мне юг не нужен.

II

Тут, захороненный живьем,
я в сумерках брожу жнивьем.
Сапог мой разрывает поле,
бушует надо мной четверг,
но срезанные стебли лезут вверх,
почти не ощущая боли.
И прутья верб,
вонзая розоватый мыс
в болото, где снята охрана,
бормочут, опрокидывая вниз
гнездо жулана.

III

Стучи и хлюпай, пузырись, шурши.
Я шаг свой не убыстрою.
Известную тебе лишь искру
гаси, туши.
Замерзшую ладонь прижав к бедру,
бреду я от бугра к бугру,
без памяти, с одним каким-то звуком,
подошвой по камням стучу.

Склоняясь к темному ручью,
гляжу с испугом.

IV

Что ж, пусть легла бессмысленности тень
в моих глазах, и пусть впиталась сырость
мне в бороду, и кепка – набекрень -
венчая этот сумрак, отразилась
как та черта, которую душе
не перейти -
я не стремлюсь уже
за козырек, за пуговку, за ворот,
за свой сапог, за свой рукав.
Лишь сердце вдруг забьется, отыскав,
что где-то я пропорот: холод
трясет его, мне в грудь попав.

V

Бормочет предо мной вода,
и тянется мороз в прореху рта.
Иначе и не вымолвить: чем может
быть не лицо, а место, где обрыв
произошел?
И смех мой крив
и сумрачную гать тревожит.
И крошит темноту дождя порыв.
И образ мой второй, как человек,
бежит от красноватых век,
подскакивает на волне
под соснами, потом под ивняками,

мешается с другими двойниками,
как никогда не затеряться мне.

VI

Стучи и хлюпай, жуй подгнивший мост.

Пусть хляби, окружив погост,
высасывают краску крестовины.

Но даже этак кончиком травы
болоту не прибавить синевы...

Топчи овины,

бушуй среди густой еще листвы,
вторгайся по корням в глубины!

И там, в земле, как здесь, в моей груди

всех призраков и мертвецов буди,

и пусть они бегут, срезая угол,

по жнивю к опустевшим деревням

и машут налетевшим дням,

как шляпы пугал!

VII

Здесь на холмах, среди пустых небес,

среди дорог, ведущих только в лес,

жизнь отступает от самой себя

и смотрит с изумлением на формы,

шумящие вокруг. И корни

вцепляются в сапог, сопя,

и гаснут все огни в селе.

И вот бреду я по ничьей земле

и у Небытия прошу аренду,

и ветер рвет из рук моих тепло,

и плещет надо мной водой дупло,
и скручивает грязь тропинки ленту.

VIII

Да, здесь как будто вправду нет меня,

я где-то в стороне, за бортом.

Топорщится и лезет вверх стерня,

как волосы на теле мертвом,

и над гнездом, в траве простертом,

вскипает муравьев возня.

Природа расправляется с былым,

как водится. Но лик ее при этом -

пусть залитый закатным светом -

неволью делается злым.

И всею пятернею чувств – пятью -

отталкиваюсь я от леса:

нет, Господи! в глазах завеса,

и я не превращусь в судью.

А если на беду свою

я все-таки с собой не слажу,

ты, Боже, отруби ладонь мою,

как финн за кражу.

IX

Друг Полидевк, тут все слилось в пятно.

Из уст моих не вырвется стенанье.

Вот я стою в распахнутом пальто,

и мир течет в глаза сквозь решето,

сквозь решето непониманья.

Я глуховат. Я, Боже, слеповат.

Не слышу слов, и ровно в двадцать ватт
горит луна. Пусть так. По небесам
я курс не проложу меж звезд и капель.
Пусть эхо тут разносит по лесам
не песнь, а кашель.

X

Сентябрь. Ночь. Все общество – свеча.
Но тень еще глядит из-за плеча
в мои листы и роется в корнях
оборванных. И призрак твой в снях
шуршит и булькает водою
и улыбается звездой
в распахнутых рывком дверях.

Темнеет надо мною свет.
Вода затягивает след.

XI

Да, сердце рвется все сильнее к тебе,
и оттого оно – все дальше.
И в голосе моем все больше фальши.
Но ты ее сочти за долг судьбе,
за долг судьбе, не требующей крови
и ранящей иглой тупой.
А если ты улыбку ждешь – постой!
Я улыбнусь. Улыбка над собой
могильной долговечней кровли
и легче дыма над печной трубой.

XII

Эвтерпа, ты? Куда зашел я, а?

И что здесь подо мной: вода? трава?

отросток лиры вересковой,

изогнутый такой подковой,

что счастье чудится,

такой, что, может быть,

как перейти на иноходь с галопа

так быстро и дыхания не сбить,

не ведаешь ни ты, ни Каллиопа.

1964

Песня

Пришел сон из семи сел.

Пришла лень из семи деревень.

Собирались лечь, да простыла печь.

Окна смотрят на север.

Сторожит у ручья скирда ничья,

и большак развезло, хоть бери весло.

Уронил подсолнух башку на стебель.

То ли дождь идет, то ли дева ждет.

Запрягай коней да поедем к ней.

Невеликий труд бросить камень в пруд.

Подопьем, на шелку постелим.

Отчего молчишь и как сыч глядишь?

Иль зубчат забор, как еловый бор,
за которым стоит терем?

Запрягай коня да вези меня.

Там не терем стоит, а сосновый скит.

И цветет вокруг монастырский луг.

Ни амбаров, ни изб, ни гумен.

Не раздумал пока, запрягай гнедка.

Всем хорош монастырь, да с лица – пустырь
и отец игумен, как есть, безумен.

1964

* * *

«Работай, работай, работай...» А. Блок

«Не спи, не спи, работай...» Б. Пастернак

Смотри: экономя усилья,
под взглядом седых мастеров,
работает токарь Васильев,
работает слесарь Петров.

А в сумрачном доме напротив
директор счета ворошит,
сапожник горит на работе,
приемщик копиркой шуршит.

Орудует дворник лопатой,
и летчик гудит в высоте,
поэт, словно в чем виноватый,
слагает стихи о труде.

О, как мы работаем! Словно
одна трудовая семья.
Работает Марья Петровна,
с ней рядом работаю я.
Работают в каждом киоске,
работают в каждом окне.

Один не работает Бродский,
все больше он нравится мне.

1964

Неоконченный отрывок

I

Ну, время песен о любви, ты вновь
склоняешь сердце к тикающей лире,
и все слышней в разноголосном клире
щебечет силлабическая кровь.

Из всех стихослагателей, со мной
столь грозно обращаешься ты с первым
и бьешь календарем своим по нервам,
споласкивая легкие слюной.

Ну, время песен о любви, начнем
раскачивать венозные деревья
и возгонять дыхание по плевре,
как пламя в позвоночнике печном.
И сердце пусть из пурпурных глубин
на помощь воспаленному рассудку
– артерии пожарные враскрутку! -
возгонит свой густой гемоглобин.

Я одинок. Я сильно одинок.
Как смоква на холмах Генисарета.
В ночи не украшает табурета
ни юбка, ни подвязки, ни чулок.
Ища простой женоподобный холм,
зрачки мои в анархии бессонной
бушуют, как прожекторы над зоной,
от мужеских отталкиваясь форм.

Кто? Бог любви? Иль Вечность? Или Ад
тебя послал мне, время этих песен?
Но все равно твой календарь столь тесен,
что стрелки превосходят циферблат,

смыкаясь (начинается! не в срок!),
как в тесноте, где комкается платье,
в немыслимое тесное объятие,
чьи локти вылезают за порог.

II

Трубят зима над сумраком полей
в фанфары юго-западного ветра,
и снег на расстояньи километра
от рвущихся из грунта тополей
кружится недоверчиво, как рой
всех ангелов, над тем, кто не безгрешен,
исследуя полдюжины скворешен
в трубу, как аустерлицкий герой.

Отходят листья в путь всея земли,
и ветви торжествуют над пространством.
Но в мужестве, столь родственном с упрямством,
крах доблести. Скворчиные кремни,
вы брошены! и клювы разодрав -
крах доблести – без ядер, без патронов
срываются с вороньих бастионов
последние защитники стремглав.

Пора! И сонмы снежные – к земле.

Пора! И снег на кровлях, на обозах.

Пора! И вот на поле он, во мгле
на пнях, наполеоном на березах.

1964 – 1965, Норенская

* * *

Он знал, что эта боль в плече
уйдется к вечеру, и влез
на печку, где на кирпиче
остывшем примостился, без

движенья глядя из угла
в окошко, как закатный луч
касался снежного бугра
и хвойной лесопилки туч.

Но боль усиливалась. Грудь
колело. Он вообразил,
что боль способна обмануть,
что, кажется, не хватит сил

ее перенести. Не столь
испуган, сколько удивлен,
он голову приподнял; боль
всегда учила жить, и он,

считавший: ежели сполна
что вытерпел – снесет и впредь,
не мог представить, что она
его заставит умереть.

Но боли не хватило дня.
В доверчивости, чьи плоды
теперь он пожинал, вина
себя, он зачерпнул воды

и впился в телогрейку ртом.
Но так была остра игла,
что даже и на свете том
– он чувствовал – терзать могла.

Он августовский вспомнил день,
как сметывал высокий стог
в одной из ближних деревень,
и попытался, но не смог

название выговорить вслух:
то был бы просто крик. А на
кого кричать, что свет потух,
что поднятая вверх копна

рассыплется сейчас, хотя
он умер. Только боль, себе
пристанища не находя,
металась по пустой избе.

1964 – 1965

Отрывок

Назо к смерти не готов.
Оттого угрюм.
От сарматских холодов
в беспорядке ум.
Ближе Рима ты, звезда.
Ближе Рима смерть.
Преимущество: туда
можно посмотреть.

Назо к смерти не готов.
Ближе (через Понт,
опустевший от судов)
Рима – горизонт.
Ближе Рима – Орион
между туч сквозит.
Римом звать его? А он?
Он ли возразит.

Точно так свеча во тьму
далеко видна.
Не готов? А кто к нему
ближе, чем она?
Римом звать ее? Любить?
Изредка взывать?
Потому что в смерти быть,
в Риме не бывать.

Назо, Рима не тревожь.
Уж не помнишь сам
тех, кому ты письма шлешь.
Может, мертвецам.
По привычке. Уточни
(здесь не до обид)
адрес. Рим ты зачеркни
и поставь: Аид.

1964 – 1965

Отрывок

Sad man jokes his own way [42]

Я не философ. Нет, я не солгу.
Я старый человек, а не философ,
хотя я отмахнуться не могу
от некоторых бешеных вопросов.

Я грустный человек, и я шучу
по-своему, отчасти уподобясь
замку. А уподобиться ключу
не позволяет лысина и совесть.
Пусть те правдоискатели, что тут
не в силах удержаться от зевоты,
себе по попугаю заведут,
и те цедить им будут анекдоты.
Вот так же, как в прогулке нагишом,
вот так – и это, знаете, без смеха -
есть что-то первобытное в большом
веселии от собственного эха.
Серьезность, к сожалению, не плюс.
Но тем, что я презрительно отплюнусь,
я только докажу, что не стремлюсь
назад, в глубокомысленную юность.
Так зрелище, приятное для глаз,
башмак заносит в мерзостную жижу.
Хоть пользу диалектики как раз
в удобстве ретроспекции я вижу.

Я не гожусь ни в дети, ни в отцы.
Я не имею родственницы, брата.
Соединять начала и концы
занятие скорей для акробата.
Я где-то в промежутке или вне.
Однако я стараюсь, ради шутки,
в действительности стоя в стороне,
настаивать, что «нет, я в промежутке»...

1964(?)

* * *

Пришла зима, и все, кто мог лететь,
покинули пустую рощу – прежде,
чем быстрый снег их перья смог задеть,
добавить что-то к легкой их одежде.
Раскраска – та ж, узор ничем не смят,
и пух не смят водой, в нее попавшей.
Они сокрылись, платья их шумят,
несясь вослед листве, пример подавшей.
Они исчезли, воздух их сокрыл,
и лес ночной сейчас им быстро дышит,
хоть сам почти не слышит шумных крыл;
они одни вверху друг друга слышат.
Они одни... и ветер вдаль, свистя,
верней – крича, холмов поверх лесистых,
швыряя вниз, толкая в грудь, крутя,
несет их всех – охапку тусклых листьев.
Раскрыты клювы, перья, пух летит,
опоры ищут крылья, перья твердой,
но пуще ветер в спины их свистит,
сверкает лист изнанкой красной, желтой.
Дуй, дуй, Борей, неси их дальше, прочь,
вонзайся в них стрелой бесплотной, колкой,
дуй, дуй, Борей, неси их вон из рощ,
то вверх, то вниз, толкай их, крылья комкай.
Дуй, дуй, Борей, неси их прочь во мгле,

щепи им клювы, лапки, что придется,
дуй, дуй, Борей, прижми их вниз, к земле,
узоры рви, прибавь с листвой им сходства.
Дуй, дуй, гони их прочь из этих мест,
дуй, дуй, кричи, свисти им вслед невнятно,
пусть круг, пятно сольются в ленту, в крест,
пусть искры, крест сольются в ленту, в пятна.
Дуй, дуй, пускай все станет в них другим,
пускай воззрится дрозд щеглиным взглядом,
пускай предстанет дятел вдруг таким,
каким был тот, кто вечно был с ним рядом.
Стволом? Листвой? Стволом. Нет-нет, листвой.
Пускай он сам за ней помчится следом.
Дуй, дуй, Борей, пускай под этот вой
сольется он с листвой не только цветом.
Пусть делит участь так, как кров делил,
пусть делит вплоть до снега, вплоть до смерти,
пускай кричит, чтоб Бог им дни продлил,
продлил листве – «с моими смерьте, смерьте».
Но тщетно, роца, тщетно, тщетно, лес,
не может слиться дом с жильцом, и вспышка
любви пройдет. Смотри, ведь он исчез.
А как же крик? Какой? Да тот. Ослышка.
Снег, снег летит, уж больше нет родства,
уж белых мух никто не клюнет слепо.
Что там чернеет? Птицы. Нет, листва,
листва к земле прижалась, смотрит в небо.
Не крылья это? Нет. Не клювы? Нет.
То листья, стебли, листья, стебли, листья,
лицом, изнанкой молча смотрят в свет,

нет, перьев нет, окраска волчья, лисья.

Снег, снег летит, со светом сумрак слит,
порыв последний тонкий ствол пинает,
лист кверху ликом бедный год сулит,
хоть сам того не знает, сам не знает.

Изнанкой кверху – грузный, полный год,
огромный колос – хлеб мышинный, птичий;
лицо к земле, не жди, не жди невзгод,
ищи в листве, ищи сейчас отличий.

Снег, снег летит, куда ты мчишься, мышь.
Уж поздно – снег, пора, чтоб все вы спали.

Зачем ерошишь копны, что шуршишь,
куда ты мчишь. Смотри, как листья пали.

Изнанкой кверху, ликом кверху, вниз,
не все ль одно – они простерлись ниц,
возврата нет для них к ветвям шумевшим.

Так что ж они шуршат, шумят, скользят,
пытаясь лечь не так, как вышло сразу,
сейчас земля и свет небес грозят
одной бедой – одною стужей глазу.

Да есть ли глаз. О нет. Да есть ли слух.

Не все ль одно, что скрыто в мертвых взорах.

Не все ль равно, коль он незряч и глух.

А есть ли голос. Нет – но слышен шорох.

Не все ль одно (листу) как лечь, как пасть,
земля поглотит, зимний снег застудит.

Один апрель во всем разбудит страсть,
разбудит страсть и шум в ветвях разбудит.

Не все ль равно, не все ль одно, как лечь,
не все ль равно, чем здесь к земле прижались,

разжали пальцы, вмиг прервали речь,
исчезли в ночь, умчались прочь, сорвались.
Во тьму, во мрак, застлали тьму ковром
неровным, пестрым, вверх и вниз изнанкой.
Не все ль одно – и снег блестит как хром,
искрясь венцом над каждой черной ранкой.
Не все ль равно – нет-нет, блестит звезда,
листва безмолвно слышит крик суровый,
слова о том, что в смертный миг уста
шепнут – то их настигнет в жизни новой.
То станет пылью, что в последний миг
небесный свет зальет; то станет гнилью,
что смотрит в землю, – листья слышат крик,
и шум вослед стремится их усилью.
Что видит глаз, о чем шепнут уста,
что встретит слух, что вдруг коснется мозга,
настигнет снова скрытый вид листа...
ищи вокруг... быстрее... пока не поздно.
Снег, снег летит; о чем в последний миг
подумаешь, тем точно станешь после, -
предметом, тенью, тем, что возле них,
птенцом, гнездом, листвою, тем, что подле.
При смерти нить способна стать иглой,
при смерти сил – мечта – желаньем страстным,
холмы – цветком, цветок – простой пчелой,
пчела – травой, трава – опять пространством.
Скворец в гнезде спешит сменить наряд
(страшась тех мест, где – мнит он – черно, пусто),
вступающий в известный сердцу ряд,
живущий в подтвержденье правды чувства.

Про это вспоминает край лишь тот,
где все полно жужжания, крику, свету,
борясь, что сил, с виденьем тьмы, пустот,
отчаянно к себе зовет победу:
"Вернись же, лето. Стог, вернись хоть стог.
Вернись же, лето, что ж ты прочь из мозга
летишь стремглав, вернись хоть ты, росток
ночной травы, вернись, уж поздно, поздно.
Вернись хоть стог, вернись хоть сноп, хоть жгут,
вернись хоть серп, вернись хоть клочок туманный
в рассветный час, вернись, вернись, лоскут
туманной ленты в сонной роще рваный.
Прочь, прочь, ночной простор (и блеск огня),
прочь, прочь, звезда над каждой черной кроной,
прочь, прочь, закат, исчезни, сумрак дня,
прочь, прочь, леса, обрывы, грач с вороной.
Прочь, прочь, холмы, овраги, тень куста,
прочь, прочь, лиса, покиньте, волки, память.
Прочь, клевер, мох, сокройтесь в те места,
где ветер мчит: ведь вас ему не ранить.
Прочь, ветер, прочь, вокруг еще светло.
Прочь, прочь, листва – с ветвей, от взора – скройся.
Прочь, лес родной, и прочь, мое крыло,
из мозга прочь, закройся клюв, не бойся".
Снег, снег летит. Прощай, скворец в гнезде.
Прощай, прощай, борись за то, чтоб вспомнить.
Спешу, спешу, смотри: уж снег везде.
Родной весной попробуй ум наполнить.
Снег, снег летит. Вокруг бело, светло.
Одна звезда горит над спящей пашней.

Чернеет лес, озера льдом светло,
и твой на дне заснул двойник всегдашний.
Засни и ты. Забудь тот крик, забудь.
Засни и ты: смотри, как соснам спится.
Всегда пред сном твердишь о чем-нибудь,
но вот в ответ совсем другое снится.
Снег, снег летит, скрывая красных лис,
волков седых, озерным льдом хрустящих,
и сны летят со снегом вместе вниз
и тают, здесь, во тьме, меж глаз блестящих.
Снег, снег летит, и хлопья быстро льнут
к ночным путям, к флюгаркам мертвых стрелок
и к перьям их, огни на миг сверкнут,
и вновь лишь ночь видна – а где – в пробелах.
Снег, снег летит и глушит каждый звук,
горох свистков до снежных баб разносит,
нельзя свистеть – и рынду рвет из рук -
нельзя звонить, и рельсы быстро косит.
Нельзя свистеть. Нельзя звонить, кричать.
Снег, снег летит, и нет ни в ком отваги.
Раскроешь рот, и вмиг к устам печать
прильнет, сама стократ белей бумаги.
Снег, снег летит, и хлопья льнут к «носкам»,
к кускам угля, к колодкам, скрытым шлаком,
к пустынным горкам, к стрелкам, к «башмакам»,
к пустым мостам, к пикетным снежным знакам.
А где столбы. Их нет, их нет, каюк.
Нельзя снести ни с чем посредством почты.
Нельзя свистеть, нельзя звонить на юг,
стучать ключом, уж только избы – точки.

Снег, снег летит, и хлопья льнут к трубе,
к «тарелкам» льнут, к стаканам красным, к брусу,
к латуни льнут, сокрывшей свист в себе,
к торцу котла, к буграм разборным, к флюсу.

Заносит все: дыру, где пар пищит,
масленку, болт, рождает ужас точность,
площадки все, свисток, отбойный щит,
прожектор скрыт, торчат холмы песочниц.

Заносит все: весь тендер сверху вниз,
скрывает шток, сугроб растет с откоса,
к кулисам льнет, не видно щек кулис,
заносит путь, по грудь сокрыл колеса.

Где будка? Нет: один большой сугроб.

Инжектор, реверс, вместе с прочей медью,
не скрипнув, нет, нырнули в снежный гроб,
последний дым послав во тьму за смертью.

Все, все занес. Нырнул разъезд в пургу.

Не хочет всплыть. Нет сил скитаться в тучах.

Погасло все. «Столыпин» спит в снегу.

И избы спят. Нет-нет, не будит ключ их.

Заносит все: ледник, пустой думпкал,
толпу платформ заносит ровно, мерно,
гондолы все, больших дрезин оскал,
подъемный парк, иглу стрелы, цистерну.

Заносит пульмана в полночной мгле,
заносит крыши, окна, стенки, двери,
подножки их, гербы, замки, суфле,
зато внутри темно, по крайней мере.

Пути в снегу, составы, все в снегу,
вплетают ленты в общий снежный хаос,
сливаясь с ним, срываясь с ним в пургу.
Исчез вокзал. Плывет меж туч пакгауз.
Часы – их нет. И желтый портик взят
в простор небес – когда? – не вспомнить часа.
Лишь две дуги карнизов тут скользят,
как буквы "С", слетев со слова «касса».
Исчезло все, но главный зимний звук
нашел себе (пускай безмолвный) выход.
Ни буквы нет на сотню верст вокруг.
Но что сильней – сильней, чем страсть и прихоть?
Но все молчит, но все молчит, молчит.
И в самой кассе здесь не видно света,
весь мир исчез, и лишь метель стучит,
как поздний гость, в окно и в дверь буфета.

«Огонь и свет – меж них разрыва нет».
Чем плох пример? хоть он грозит бездушьем
тому, кто ждет совсем иных примет:
союз с былым сильней, чем связь с грядущим...
Метель стучит. Какой упорный стук.
Но тверд засов, и зря свеча трепещет.
Напрасно, зря. И вот уж стул потух,
зато графин у входа ярко блещет.
Совсем собор... Лишь пол – воды черней.
Зато берега светлы, но ярче – правый...
Холмы, как волны, но видней вдвойне,
и там, в холмах, блестит собор двуглавый.

Состав подгонишь – все блестит как снег.
Холмы как снег, и мост – как будто иней
покрыл его, и как там брать разбег:
зеленый там горит совсем как синий.
Молчанье, тишь. Вокзал лежит в тени.
Пути блестят. «Какой зажгли?» – "Как будто...
как будто синий". – «Спятил». – «Сам взгляни».
Взаправду в небе лютик светит смутно...
Налей еще... вон этой, красной. Да...
Свеча дрожит, то ту, то эту стену
залив огнем... Куда ты встал, куда?
Куда спешишь: метель гремит. «На смену».

Вон этой, красной... лучше вместе с ней
терпеть метель и ночь (ловлю на слове),
чем с кем живым... Ведь только кровь – красней...
А так она – погуще всякой крови...
Налей еще... Смотри: дрожит буфет.
Метель гремит. Должно быть, мчит товарный...
Не нравится мне, слышишь... красный цвет:
во рту всегда какой-то вкус угарный.
В Полесье, помню, был дощатый пост...
Помощник жил там полный год с родными.
Разбил им клумбы... все тотчас же в рост...
А маки, розы – что ж я делал с ними?
Поверишь – рвал, зрачок не смог снести
оскомы той – они и так уж часты.
Поверишь – рвал... бросал в песок, в кусты.
Зато уж там – повсюду флоксы, астры...

Не верь, не верь. Куда ж ты встал? Пора?
Ну что ж, ступай. Неужто полночь? Полночь.
Буфет дрожит, звенит. Тебе с утра?
Белым-бело... Бог в помощь... ладно... В помощь.

Метель гремит. Товарный мчит во тьму.
Буфет дрожит, как лист осенней ночью.
Примчался волк и поднял лик к нему.
Глядит из туч Латона вместе с дочью.
Состав ревет – верней, один гудок
взревел во тьме – все стадо спит – и скрежет
стоит такой... того гляди, как рог,
в пустой буфет громадный буфер врежет.
Дрожит графин, дрожит стакан с вином,
дрожит пейзаж, сползает на пол веник,
дрожит мой стол, дрожит герань с окном,
ножи звенят, как горстка мелких денег...
А помнишь – в Орше: точно так же – ночь.
Весна? весна. А мы в депо. Не вспомнил?
Буфет открыт – такой, как здесь, точь-в-точь.
Луна горит, и звезды смотрят в Гомель.
На стрелке – кровь. А в небе – желтый свет:
горит луна меж всех созвездий близких.
Не грех смешать – и вот он дал в буфет,
и тот повис на двух чугунных дисках.

Торец котла глядит своей звездой
невесть куда, но только прочь от смерти.

Котел погас. Но дым валит густой.

(Сама труба нет-нет мелькнет в просвете.)

Горит буфет; и буфер влез в огонь,
вдвоем с луной дробясь в стекле бутылок.

Трещит линоль, и к небу рвется вонь,
прожектор бьет сквозь черный стул в затылок.

Пылает стол, взметает дым кайму
бумажных штор, и тут же скатерть, вторя
струе вина, в большой пролом, во тьму
сквозь весь пожар бежит, как волны моря.

Светлым-светло, глазам смотреть невмочь,
как край стекла, залитый светом, блещет.

Задев его, снаружи льется ночь,
густой рекой беззвучно на пол хлещет.

И щель в полу дрожит: сейчас хлебну.

Не трусь! Не трусь! Трещат торцы сухие.

Салат и сельдь, сверкнув, идут ко дну.

Тарелки – вдрызг, но сельдь в своей стихии.

Лишь ценник цел (одна цена, без слов!),
торчит из волн (как грот, выдавший виды).

Иным пловцам руно морских валов
втройне длинней, чем шерсть овец Колхиды.

И пламя – в дверь. Но буфер дверь прижал.

В окно – нельзя: оттуда звезды льются.

Еще чуть-чуть, и ночь зальет пожар.

Столкнув яйцо, огонь вскочил на блюде.

И вплавь, и вплавь, минуя стойку, печь,

гребя вдоль них своей растущей тенью

к сухой стене, – но доски дали течь,

буфет осел и хлещет наземь тенью.

Шипит мускат, на волны масло льет.
Чугунный брус прижался к желтым стульям.
Торец котла своей звездой вперед,
Бог весть куда, глядит сквозь бывший пульман.
Бегун в песке. Другой бегун – в леске.
Блестящий рельс сплелся с кулисой насмерть.
Нельзя разнять. И шток застыл в броске.
И тендер сам по грудь зарылся в насыпь.
Улисс огня плывет в ночной простор.
Кусты чадят. Вокруг трава ослепла:
в былую жизнь прожектор луч простер,
но в данный миг пред ним лишь горстка пепла.
А в нем пейзаж (не так ли жизнь в былом) -
полесский край, опушка в копнах сена,
изгиб реки; хоть тут железный лом
сейчас блестит сильнее излучин Сейма.
Былое спит. И сильный луч померк.
Отбойный щит в сухой траве простерся.
Одна труба взглянуть способна вверх:
луна ведет подсчет убыткам ОРСа.

Пожарник, спать, и суд линейный, спать!
Полесье, спать! Метель пошла тиранить.
Чугунный конь бежит по рельсам вспять.
Буфет, кряхтя, встает, упершись в память.
На стрелке – гм – неужто там салат?
Нет-нет, взгляни: салат блеснет в тарелке.

Инспектор, спать! (А суд линейный рад.)

А где же сельдь? Должно быть, вышла к стрелке.

На стрелке – черт, налей еще сюда.

Налей еще вон этой, красной. Впрочем,

налей вон той, чуть-чуть... ах, там вода.

Тогда давай уж красной. Стоп. Не очень.

На стрелке – черт! Как застит свет слеза.

Неужто пьян? Нет-нет, послушны ноги...

А в небе что? – Не грех закрыть глаза.

Закрывать глаза и вверх свернуть с дороги.

Повсюду ночь. Нырнул в пургу откос.

Флюгарки спят в своей застывшей жести.

Инспектор, прочь! Не суй свой длинный нос.

Быстрее вали в постель с портфелем вместе.

Инспектор, спать! Ни рук, ни глаз, ни уст -

блестит окно, инспектор дремлет дома.

Стакан мой пуст, и вот буфет мой пуст,

и сам я пьян, чтоб клясть портфель фантома.

Пурга свистит. Зрачок идет ко дну

в густой ночи. Нужна ли страсти память?

Слезится глаз. Нужна, как ночь огню.

Что ж! тем верней во мрак хрусталик канет.

Вперед, зрачок. Слезись. Не клюнет сельдь.

Леса (слеза) дрожит, и к тонкой жерди

стремится дрожь – и вот трепещет жердь:

леса длинна, но вряд ли глубже смерти.

Кто клюнул? Смерть? Ответь! Леса кружит,

и гнется жердь, как тонкий мост – вернее:

леса кружит, и вот мой мозг дрожит:
втянуть сюда иль кануть вслед за нею?

Снег, снег летит. Куда все скрылись, мать!
Стаканы спят, припав к салфеткам грязным.
Лишь печь горит, способна век внимать,
раскрыв свой рот, моим словам бессвязным.
Гори, гори и слушай песнь мою.
И если нет во мне стремленья к мнимым
страстям – возьми ее в струю,
в свою струю – и к небу вместе с дымом.
Зрачок на дне. Другой в огне. При мне
лишь песнь моя да хлеб на грязной вилке.
Гори сильней. Ведь каждый звук в огне
бушует так, как некий дух в бутылке.
Пусть все мертво. Но здесь, в чужом краю
в час поздний, печь, быть может, в час последний,
я песнь свою тебе одной пою;
метель свистит, и ночь гремит в передней.

Пришла зима. Из снежных житниц снег
летит в поля, в холмы, в леса, в овраги,
на крыши к нам (щедр!), порой – до стрех
скрывает их – и те белей бумаги.
Пришла зима. Исчез под снегом луг.
Белым-бело. И видит каждый ворон,
как сам Борей впрягся в хрустальный плуг,
вслед норд-ост влечет упряжку борон.

Греби, греби, свисти, свисти. Шалишь!
Ведь это все, не правда ль, ветры, прихоть.
Ну что взойдет из наших темных крыш?
Какой росток из наста пустит Припять?
Греби, греби, свисти, свисти, зима.
Свисти, Борей, и мчись, норд-ост, меж просек!
Труба дымит. Лиса скользит с холма.
Овца дрожит. Никто не жнет, не косит.
Никто не жнет. Лишь мальчик, сжав снежок,
стащив треух, ползет на приступ скрытно.
Ура, сугроб! и ядра мечет в бок.
Ура, копна! хотя косцов не видно.
Греби, греби, свисти, свисти, скрывай
от взоров лес, поля, овраги, гумна,
заборы, пни, и край земли сливай
с чертой небес безумно, нет, бездумно.
И пусть – ни зги, и пусть уж нет дорог
меж сел, меж туч, и пусть пурга тиранит.
Того гляди, с пути собьется Бог
и в поздний час в Полесье к нам нагрянет.
Греби, греби, греми, как майский гром.
Спеши, спеши попасть в поля разверсты.
Греми, греми, раскрой и тот закрой,
раскрой закрой, откуда льются звезды.
Раскрой врата – и слышен зимний скрип,
и рваных туч бегут поспешно стаи.
Позволь узреть Весы, Стрельца и Рыб,
Стрельца и Рыб... и Рыб... Хоть реки стали.
Врата скрипят, и смотрит звездный мир
на точки изб, что спят в убранстве снежном,

и чуть дрожит, хоть месяц дым затмил,
свой негатив узрев в пространстве снежном.

Пришла зима. Ни рыб, ни мух, ни птиц.
Лишь воет волк да зайцы пляшут храбро.
Стучит пешня: плотва, встречай сестриц!
Поет рожок, чтоб дать мишень кентавру.

1964 – 1965

На смерть Т. С. Элиота

I

Он умер в январе, в начале года.
Под фонарем стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
ему своих красот кордебалет.
От снега стекла становились уже.
Под фонарем стоял глашатай стужи.
На перекрестках замерзали лужи.
И дверь он запер на цепочку лет.

Наследство дней не упрекнет в банкротстве
семейство Муз. При всем своем сиротстве,
поэзия основана на сходстве
бегущих вдаль однообразных дней.

Плеснув в зрачке и растворившись в лимфе,
она сродни лишь эолийской нимфе,
как друг Нарцисс. Но в календарной рифме
она другим наверняка видней.

Без злых гримас, без помышленья злого,
из всех щедрот Большого Каталога
смерть выбирает не красоты слога,
а неизменно самого певца.
Ей не нужны поля и перелески,
моря во всем великолепном блеске;
она щедра, на небольшом отрезке
себе позволив накоплять сердца.

На пустырях уже пылали елки,
и выметались за порог осколки,
и водворялись ангелы на полке.
Католик, он дожил до Рождества.
Но, словно море в шумный час прилива,
за волнолом плеснувши, справедливо
назад вбирает волны, торопливо
от своего ушел он торжества.

Уже не Бог, а только Время, Время
зовет его. И молодое племя
огромных волн его движенья бремя
на самый край цветущей бахромы

легко возносит и, простившись, бьется
о край земли, в избытке сил смеется.
И январем его залив вдается
в ту сушу дней, где остаемся мы.

II

Читающие в лицах, маги, где вы?
Сюда! И поддержите ореол:
Две скорбные фигуры смотрят в пол.
Они поют. Как схожи их напевы!
Две девы – и нельзя сказать, что девы.
Не страсть, а боль определяет пол.
Одна похожа на Адама впол-
оборота, но прическа – Евы.

Склоняя лица сонные свои,
Америка, где он родился, и -
и Англия, где умер он, унылы,
стоят по сторонам его могилы.
И туч плывут по небу корабли.

Но каждая могила – край земли.

III

Аполлон, сними венок,
положи его у ног
Элиота, как предел
для бессмертья в мире тел.

Шум шагов и лиры звук
будет помнить лес вокруг.
Будет памяти служить
только то, что будет жить.

Будет помнить лес и дол.
Будет помнить сам Эол.
Будет помнить каждый знак,
как хотел Гораций Флакк.

Томас Стерн, не бойся коз.
Безопасен сенокос.
Память, если не гранит,
одуванчик сохранит.

Так любовь уходит прочь,
навсегда, в чужую ночь,
прерывая крик, слова,
став незримой, хоть жива.

Ты ушел к другим, но мы
называем царством тьмы
этот край, который скрыт.
Это ревность так велит.

Будет помнить лес и луг.
Будет помнить все вокруг.
Словно тело – мир не пуст! -
помнит ласку рук и уст.

12 января 1965

1 января 1965 года

Волхвы забудут адрес твой.
Не будет звезд над головой.
И только ветра сиплый вой
расслышишь ты, как встарь.
Ты сбросишь тень с усталых плеч,
задув свечу, пред тем как лечь.
Поскольку больше дней, чем свеч
сулит нам календарь.

Что это? Грусть? Возможно, грусть.
Напев, знакомый наизусть.
Он повторяется. И пусть.

Пусть повторится впредь.
Пусть он звучит и в смертный час,
как благодарность уст и глаз
тому, что заставляет нас
порою вдаль смотреть.

И молча глядя в потолок,
поскольку явно пуст чулок,
поймешь, что скупость – лишь залог
того, что слишком стар.
Что поздно верить чудесам.
И, взгляд подняв свой к небесам,
ты вдруг почувствуешь, что сам
– чистосердечный дар.

январь 1965

Без фонаря

В ночи, когда ты смотришь из окна
и знаешь, как далеко до весны,
привычным очертаньям валуна
не ближе до присутствия сосны.

С невидимой улыбкой хитреца
сквозь зубы ты продергиваешь нить,
чтоб пальцы (или мускулы лица)
в своем существованьи убедить.

И сердце что-то екает в груди,
напуганное страшной тишиной
пространства, что чернеет впереди
не менее, чем сумрак за спиной.

январь – февраль 1965

* * *

Т. Р.

Из ваших глаз пустившись в дальний путь,
все норовлю – воистину вдали! -
увидеть вас, хотя назад взглянуть
мешает закругление земли.

Нет, выпуклость холмов невелика.
Но тут и обрывается пучок,
сбегающий с хрустального станка
от Ариадны, вкравшейся в зрачок.

И, стало быть, вот так-то, вдалеке,
обрывок милый сжав в своей руке,
бреду вперед. Должно быть, не судьба
нам свидеться – и их соединить,
хотя мой путь, верней, моя тропа

сужается и переходит в нить.

январь – февраль 1965

Март

Дни удлиняются. Ночи
становятся все короче.
Нужда в языке свечи
на глазах убывает,
все быстрее остывают
на заре кирпичи.

И от снега до боли
дни бескрайней, чем поле
без межи. И уже
ни к высокому слогу,
ни к пространству, ни к Богу
не прибьется душе.

И не видит предела
своим движениям тело.
Только изгородь сна
делит эти уголья
ради их плодородья.
Так приходит весна.

март 1965, Норенская

Менуэт

(Набросок)

Прошла среда и наступил четверг,
стоит в углу мимозы фейерверк,
и по столу рассыпаны колонны
моих элегий, свернутых в рулоны.

Бежит рекой перед глазами время,
и ветер пальцы запускает в темя,
и в ошую уже видней
не более, чем в одесную, дней.

Холодный март овладевает лесом.
Свеча на стены смотрит с интересом.
И табурет сливается с постелью.
И город выколот из глаз метелью.

апрель 1965

* * *

Моя свеча, бросая тусклый свет,
в твой новый мир осветит бездорожье.
А тень моя, перекрывая след,
там, за спиной, уходит в царство Божье.

И где б ни лег твой путь: в лесах, меж туч
– везде живой огонь тебя окликнет.
Чем дальше ты уйдешь – тем дальше луч,
тем дальше луч и тень твоя проникнет!
Пусть далека, пусть даже не видна,
пусть изменив – назло стихам-приметам, -
но будешь ты всегда озарена
пусть слабым, но неповторимым светом.
Пусть гаснет пламя! Пусть смертельный сон
огонь предпочитает запустенью.
Но новый мир твой будет потрясен
лицом во тьме и лучезарной тенью.

до 1 мая 1965

Ex ponto

(Последнее письмо Овидия в Рим)

Тебе, чьи миловидные черты
должно быть не страшатся увяданья,
в мой Рим, не изменившийся, как ты,
со времени последнего свиданья,
пишу я с моря. С моря. Корабли
сюда стремятся после непогоды,
чтоб подтвердить, что это край земли.
И в трюмах их не отыскать свободы.

до 1 мая 1965

Пророчество

М. Б.

Мы будем жить с тобой на берегу,
отгородившись высоченной дамбой
от континента, в небольшом кругу,
сооруженном самодельной лампой.
Мы будем в карты воевать с тобой
и слушать, как безумствует прибой,
покашливать, вздыхая неприметно,
при слишком сильных дуновеньях ветра.

Я буду стар, а ты – ты молода.
Но выйдет так, как учат пионеры,
что счет пойдет на дни – не на года, -
оставшиеся нам до новой эры.
В Голландии своей наоборот
мы разведем с тобою огород
и будем устриц жарить за порогом
и солнечным питаться осьминогом.

Пускай шумит над огурцами дождь,
мы загорим с тобой по-эскимосски,
и с нежностью ты пальцем проведешь
по девственной, нетронутой полоске.
Я на ключицу в зеркало взгляну
и обнаружу за спиной волну

и старый гейгер в оловянной рамке
на выцветшей и пропотевшей ляжке.

Придет зима, безжалостно крутя
осоку нашей кровли деревянной.
И если мы произведем дитя,
то назовем Андреем или Анной.
Чтоб, к сморщенному личику привит,
не позабыт был русский алфавит,
чей первый звук от выдоха продлится
и, стало быть, в грядущем утвердится.

Мы будем в карты воевать, и вот
нас вместе с козырями отнесет
от берега извилистость отлива.
И наш ребенок будет молчаливо
смотреть, не понимая ничего,
как мотылек колотится о лампу,
когда настанет время для него
обратно перебраться через дамбу.

1 мая 1965

* * *

«Камерная музыка».

Ночь. Камера. Волчок

хуярит прямо мне в зрачок.
Прихлебывает чай дежурный.
И сам себе кажусь я урной,
куда судьба сгребает мусор,
куда плюется каждый мусор.

Колючей проволоки лира
маячит позади сортира.
Болото всасывает склон.
И часовой на фоне неба
вполне напоминает Феба.
Куда забрел ты, Апполон!

24 мая 1965, КПЗ

* * *

Маятник о двух ногах
в кирзовых сапогах,
тикающий в избе
при ходьбе.

Вытянуто, как яйцо,
белеет лицо
вроде белой тарелки,
лишенное стрелки.

В ящике из тишины,
от стены до стены,
в полумраке. Впервой
вниз головой.

Памятник самому
себе, одному,
не всадник с копьем,
не обелиск -
вверх острием
диск.

май 1965

* * *

В деревне Бог живет не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам.
В деревне он – в избытке. В чугуне
он варит по субботам чечевицу,
приплясывает сонно на огне,
подмигивает мне, как очевидцу.
Он изгороди ставит. Выдает
девицу за лесничего. И в шутку
устраивает вечный недолет
объездчику, стреляющему в утку.
Возможность же все это наблюдать,

к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту.

6 июня 1965 * Датировано 1964 в SP. – С. В.

* * *

Колокольчик звенит -
предупреждает мужчину
не пропустить годовщину.
Одуванчик в зенит
задирает головку
беззаботную – в ней
больше мыслей, чем дней.
Выбегает на бровку
придорожную в срок
ромашка – неточный,
одноразовый, срочный
пророк.

Пестрота полевых
злаков пользует грудь от удушья.
Кашка, сумка пастушья
от любых болевых
ощущений зрачок
в одночасье готовы избавить.
Жизнь, дружок, не изба ведь.
Но об этом молчок,

чтоб другим не во вред
(всюду уши: и справа, и слева).
Лишь пучку курослепа
доверяешь секрет.

Колокольчик дрожит
под пчелою из улья
на исходе июля.
В тишине дребезжит
горох-самострел.
Расширяется поле
от обидной неволи.
Я на год постарел
и в костюме шута
от жестокости многоочитой
хоронюсь под защитой
травяного щита.

21 июля 1965

Июль. Сенокос

Всю ночь бесшумно, на один вершок,
растет трава. Стрекошет, как движок,
всю ночь кузнечик где-то в борозде.
Бредет рябина от звезды к звезде.

Спят за рекой в тумане три косца.

Всю ночь согласно бьются их сердца.

Они разжали руки в тишине

и от звезды к звезде бредут во сне.

июль 1965

* * *

Сбегают капли по стеклу

как по лицу. Смотри,

как взад-вперед, от стен к столу

брожу внутри. Внутри.

Дрожит фитиль. Стекает воск.

И отблеск слаб, размыт.

Вот так во мне трепещет мозг,

покуда дождь шумит.

лето 1965

* * *

Как славно вечером в избе,

запутавшись в своей судьбе,

отбросить мысли о себе

и, притворясь, что спишь,

забыть о мире сволочном

и слушать в сумраке ночном,

как в позвоночнике печном

разбушевдалась мышь.

Как славно вечером собрать
листки в случайную тетрадь
и знать, что некому соврать:
«низвергнут!», «вознесен!».
Столпотворению причин
и содержательных мужчин
предпочитая треск лучин
и мышеловки сон.

С весны не топлено, и мне
в заплесневелой тишине
быстрее закутаться в кашне,
чем сердце обнажить.
Ни своенравный педагог,
ни группа ангелов, ни Бог,
перешагнув через порог
нас не научат жить.

август – сентябрь 1965

Курс акций

О как мне мил кольцеобразный дым!
Отсутствие заботы, власти.
Какое поощрение грусти.
Я полюбил свой деревянный дом.

Закат ласкает табуретку, печь,
зажавшие окурочек пальцы.
И синий дым нанизывает кольца
на яркий безымянный луч.

За что нас любят? За богатство, за
глаза и за избыток мощи.
А я люблю безжизненные вещи
за кружевные очертанья их.

Одушевленный мир не мой кумир.
Недвижимость – она ничем не хуже.
Особенно, когда она похожа
на движимость.
Не правда ли, Амур,
когда табачный дым вступает в брак,
барак приобретает сходство с храмом.

Но не понять невесте в платье скромном,
куда стремится будущий супруг.

август – сентябрь 1965

Одной поэтессе

Я заражен нормальным классицизмом.

А вы, мой друг, заражены сарказмом.

Конечно, просто сделаться капризным,
по ведомству акцизному служа.

К тому ж, вы звали этот век железным.

Но я не думал, говоря о разном,
что, зараженный классицизмом трезвым,
я сам гулял по острию ножа.

Теперь конец моей и вашей дружбе.

Зато – начало многолетней тяжбе.

Теперь и вам продвинуться по службе
мешает Бахус, но никто другой.

Я оставляю эту ниву тем же,
каким взошел я на нее. Но так же
я затвердел, как Геркуланум в пемзе.

И я для вас не шевельну рукой.

Оставим счеты. Я давно в неволе.

Картофель ем и сплю на сеновале.

Могу прибавить, что теперь на воре
уже не шапка – лысина горит.

Я эпигон и попугай. Не вы ли
жизнь попугая от себя скрывали?

Когда мне вышли от закона «вилы»,
я вашим прорицаньем был согрет.

Служенье Муз чего-то там не терпит.
Зато само обычно так торопит,
что по рукам бежит священный трепет,
и несомненна близость Божества.
Один певец подготавливает рапорт,
другой рождает приглушенный ропот,
а третий знает, что он сам – лишь рупор,
и он срывает все цветы родства.

И скажет смерть, что не поспеть сарказму
за силой жизни. Проницая призму,
способен он лишь увеличить плазму.
Ему, увы, не озарить ядра.
И вот, столь долго состоя при Музах,
я отдал предпочтенье классицизму,
хоть я и мог, как старец в Сиракузах,
взирать на мир из глубины ведра.

Оставим счеты. Вероятно, слабость.
Я, предвкушая ваш сарказм и радость,
в своей глуши благословляю разность:
жужжанье ослепительной осы
в простой ромашке вызывает робость.
Я сознаю, что предо мною пропасть.
И крутится сознание, как лопасть
вокруг своей негнущейся оси.

Сапожник строит сапоги. Пирожник
сооружает крендель. Чернокнижник
листает толстый фолиант. А грешник
усугубляет, что ни день, грехи.
Влекут дельфины по волнам треножник,
и Аполлон обозревает ближних -
в конечном счете, безгранично внешних.
Шумят леса, и небеса глухи.

Уж скоро осень. Школьные тетради
лежат в портфелях. Чаровницы, вроде
вас, по утрам укладывают пряди
в большой пучок, готовясь к холодам.
Я вспоминаю эпизод в Тавриде,
наш обоюдный интерес к природе,
всегда в ее дикорастущем виде,
и удивляюсь, и грущу, мадам.

август – сентябрь 1965, Норенская

Два часа в резервуаре [43]

Мне скучно, бес... А. С. Пушкин

Я есть антифашист и антифауст.
Их либе жизнь и обожаю хаос.
Их бин хотеть, геноссе официрен,
дем цайт цум Фауст коротко шпацирен.

II

Но подчиняясь польской пропаганде,
он в Кракове грустил о фатерланде,
мечтал о философском диаманте
и сомневался в собственном таланте.
Он поднимал платочки женщин с пола.
Он горячился по вопросам пола.
Играл в команде факультета в поло.

Он изучал картежный катехизис
и познавал картезианства сладость.
Потом полез в артезианский кладезь
эгоцентризма. Боевая хитрость,
которой отличался Клаузевиц,
была ему, должно быть, незнакома,
поскольку фатер был краснодеревец.

Цумбайшпиль, бушевала глаукома,
чума, холера унд туберкулезен.
Он защищался шварце папиросен.
Его влекли цыгане или мавры.
Потом он был помазан в бакалавры.
Потом снискал лиценциата лавры
и пел студентам: «Кембрий... динозавры...»

Немецкий человек. Немецкий ум.
Тем более, когито эрго сум.

Германия, конечно, юбер аллес.

(В ушах звучит знакомый венский вальс.)

Он с Краковом простился без надрыва

и покатил на дрожках торопливо

за кафедрой и честной кружкой пива.

III

Сверкает в тучах месяц-молодчина.

Огромный фолиант. Над ним – мужчина.

Чернеет меж густых бровей морщина.

В глазах – арабских кружев чертовщина.

В руке дрожит кордовский черный грифель,

в углу – его рассматривает в профиль

арабский представитель Меф-ибн-Стофель.

Пылают свечи. Мышь скребет под шкафом.

«Герр доктор, полночь». «Яволь, шлафен, шлафен».

Две черных пасти произносят: «мяу».

Неслышно с кухни входит идиш фрау.

В руках ее шипит омлет со шпеком.

Герр доктор чертит адрес на конверте:

«Готт штрафе Ингланд, Лондон, Франсис Бекон».

Приходят и уходят мысли, черти.

Приходят и уходят гости, годы...

Потом не вспомнить платья, слов, погоды.

Так проходили годы шито-крыто.

Он знал арабский, но не знал санскрита.

И с опозданием, гей, была открыта
им айне кляйне фройляйн Маргарита.

Тогда он написал в Каир депешу,
в которой отказал он черту душу.
Приехал Меф, и он переоделся.
Он в зеркало взглянул и убедился,
что навсегда теперь переродился.
Он взял букет и в будуар девицы
отправился. Унд вени, види, вици.

IV

Их либе ясность. Я. Их либе точность.
Их бин просить не видеть здесь порочность.
Ви намекайт, что он любил цветочниц.
Их понимайт, что даст ист ганце срочность.
Но эта сделка махт дер гроссе минус.
Ди тойчно шпрахе, махт дер гроссе синус:
душа и сердце найн гехапт на вынос.

От человека, аллес, ждате напрасно:
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно».
Меж нами дьявол бродит ежечасно
и поминутно этой фразы ждет.
Однако, человек, майн либе геррен,
настолько в сильных чувствах неуверен,
что поминутно лжет, как сивый мерин,
но, словно Гете, маху не дает.

Унд гроссер дихтер Гете дал описку,
чем весь сюжет подверг а ганце риску.
И Томас Манн сгубил свою подписку,
а шер Гуно смутил свою артистку.
Искусство есть искусство есть искусство...
Но лучше петь в раю, чем врать в концерте.
Ди Кунст гехапт потребность в правде чувства.

В конце концов, он мог бояться смерти.
Он точно знал, откуда взялись черти.
Он съел дер дог в Ибн-Сине и в Галене.
Он мог дас вассер осушить в колене.
И возраст мог он указать в полене.
Он знал, куда уходят звезд дороги.

Но доктор Фауст ниц не знал о Боге.

V

Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.
Есть разница меж них. И есть единство.
Одним вредит, других спасает плоть.
Неверье – слепота, а чаще – свинство.

Бог смотрит вниз. А люди смотрят вверх.
Однако, интерес у всех различен.

Бог органичен. Да. А человек?

А человек, должно быть, ограничен.

У человека есть свой потолок,
держась вообще не слишком твердо.
Но в сердце льстец отыщет уголок,
и жизнь уже видна не дальше черта.

Таков был доктор Фауст. Таковы
Марло и Гете, Томас Манн и масса
певцов, интеллигентов унд, увы,
читателей в среде другого класса.

Один поток сметает их следы,
их колбы – доннерветтер! – мысли, узы...
И дай им Бог успеть спросить: «Куды?!» -
и услышать, что вслед им крикнут Музы.

А честный немец сам дер вег цурюк,
не станет ждать, когда его попросят.
Он вальтер достает из теплых брюк
и навсегда уходит в вальтер-клозет.

VI

Фройляйн, скажите: вас ист дас «инкубус»?

Инкубус дас ист айне кляйне глобус.

Нох гроссер дихтер Гете задал ребус.

Унд ивиковы злые журавли,

из веймарского выпорхнув тумана,

ключ выхватили прямо из кармана.

И не спасла нас зоркость Эккермана.

И мы теперь, матрозен, на мели.

Есть истинно духовные задачи.

А мистика есть признак неудачи

в попытке с ними справиться. Иначе,

их бин, не стоит это толковать.

Цумбайшпиль, потолок – предверье крыши.

Поэмой больше, человеком – ницше.

Я вспоминаю Богоматерь в нише,

обильный фриштик, поданный в кровать.

Опять зептембер. Скука. Полнолуние.

В ногах мурлычет серая колдунья.

А под подушку положил колун я...

Сейчас бы шнапсу... это... апгемахт.

Яволь. Зептембер. Портится характер.

Буксует в поле тарахтящий трактор.

Их либе жизнь и «Фелькиш Беобахтер».

Гут нахт, майн либе геррен. Я. Гут нахт.

8 сентября 1965, Норенская

Под занавес

А. А. Ахматовой

Номинально пустынный,
но в душе – скандалист,
отдает за полтинник -
за оранжевый лист -
свои стружья и репья,
все вериги – вразвес, -
деревушки отрепья,
благолепье небес.

Отыскав свою чашу,
он, не чувствуя ног,
устремляется в чашу,
словно в шумный шинок,
и потом, с разговенья,
там горланит в глуши,
обретая забвенье
и спасенье души.

На последнее золото
прикупив синевы,
осень в пятнах заката
песнопевца листвы
учит щедрой разлуке.
Но тому – благодать -
лишь чужбину за звуки,

а не жизнь покидать.

20 сентября 1965

* * *

Не тишина – немота.

Усталость и ломота:

голова, голова болит.

Ветер в листве.

Ветер волосы шевелит

на больной голове.

Пой же, поэт,

новой зимы приход.

Без ревности, без

боли, пой на ходу,

ибо время в обрез,

белизну, наготу.

Пой же, поэт,

тело зимы, коль нет

другого в избе.

Зима мила и бела.

Но нельзя догола

раздеваться тебе.

октябрь – ноябрь 1965

* * *

В канаве гусь, как стереотруба,
и жаворонок в тучах, как орел,
над барвинком в лесу, как ореол,
раздвоенная заячья губа.

Цветами яркими балкон заставь
и поливать их молоком заставь
сестренку или брата.

Как хорошо нам жить вдвоем,
мне – растворяться в голосе твоём,
тебе – в моей ладони растворяться,
дверями друг от друга притворяться,
чревовещать,
скучать,
молчать при воре,
по воскресеньям церковь навещать,
священника встречать
в притворе.

1965

Зимним вечером на сеновале

Снег сено запорошил
сквозь щели под потолком.
Я сено разворошил

и встретился с мотыльком.

Мотылек, мотылек,
от смерти себя сберег,
забравшись на сеновал.
Выжил, зазимовал.

Выбрался и глядит,
как «летучая мышь» чадит,
как ярко освещена
бревенчатая стена.
Приблизив его к лицу,
я вижу его пыльцу
отчетливей, чем огонь,
чем собственную ладонь.

Среди вечерней мглы
мы тут совсем одни.
И пальцы мои теплы,
как июльские дни.

1965

* * *

1

Мужчина, засыпающий один,

ведет себя как женщина. А стол
ведет себя при этом как мужчина.
Лишь Муза нарушает карантин
и как бы устанавливает пол
присутствующих. В этом и причина
ее визитов в поздние часы
на снежные Суворовские дачи
в районе приполярной полосы.
Но это лишь призыв к самоотдаче.

2

Умеющий любить, умеет ждать
и призракам он воли не дает.
Он рано по утрам встает.
Он мог бы и попозже встать,
но это не по правилам. Встает
он с петухами. Призрак задает
от петуха, конечно, деру. Дать
его легко от петуха. И ждать
он начинает. Корму задает
кобыле. Отправляется достать
воды, чтобы телятам дать.
Дрова курочит. И, конечно, ждет.
Он мог бы и попозже встать.
Но это ему призрак не дает
разлеживаться. И петух дает
приказ ему от сна восстать.

Он из колодца воду достает.
Кто напоит, не захоти он встать.
И призрак исчезает. Но под стать
ему день ожиданья настает.
Он ждет, поскольку он умеет ждать.
Вернее, потому что он встает.
Так, видимо, приказывая встать,
знать о себе любовь ему дает.
Он ждет не потому, что должен встать
чтоб ждать, а потому, что он дает
любить всему, что в нем встает,
когда уж невозможно ждать.

3

Мужчина, засыпающий один,
умеет ждать. Да что и говорить.
Он пятерней исследует колтуны.
С летучей мышью, словно Аладдин,
бредет в гумно он, чтоб зерно закрыть.
Витийствует с пипеткою фортуны
из-за какой-то капли битый час.
Да мало ли занятий. Отродясь
не знал он скуки. В детстве иногда
подсчитывал он птичек на заборе.
Теперь он (о не бойся, не года) -
теперь шаги считает, пальцы рук,
монетки в рукавице, а вокруг

снежок кружится, склонный к Терпсихоре.

Вот так он ждет. Вот так он терпит. А?

Не слышу: кто-то слабо возражает?

Нет, Муз он отродясь не обижает.

Он просто шутит. Шутки не беда.

На шутки тоже требуется время.

Пока состришь, пока произнесешь,
пока дойдет. Да и в самой системе,
в системе звука часики найдешь.

Они беззвучны. Тем-то и хорош
звук речи для него. Лишь ветра вой
барьер одолевает звуковой.

Умеющий любить, он, бросив кнут,
умеет ждать, когда глаза моргнут,
и говорить на языке минут.

Вот так он говорит со сквозняком.

Умеющий любить на циферблат
с теченьем дней не только языком
становится похож, но, в аккурат
как под стеклом, глаза под козырьком.

По сути дела взгляд его живой
отверстие пружины часовой.

Заря рывком из грязноватых туч
к его глазам вытаскивает ключ.

И мозг, сжимаясь, гонит по лицу
гримасу боли – впрямь по образцу

секундной стрелки. Судя по глазам,
себя он останавливает сам,
старая не по дням, а по часам.

4

Влюбленность, ты похожа на пожар.
А ревность – на не знающего где
горит и равнодушного к воде
брандмейстера. И он, как Абельяр,
карабкается, собственно, в огонь.
Отважно не щадя своих погон,
в дыму и, так сказать, без озарений.
Но эта вертикальность устремлений,
о ревность, говорю тебе, увы,
сродни – и продолжение – любви,
когда вот так же, не щадя погон,
и с тем же равнодушием к судьбе
забрасываешь лютню на балкон,
чтоб Мурзиком взобраться по трубе.

Высокие деревья высоки
без посторонней помощи. Деревья
не станут с ним и сравнивать свой рост.
Зима, конечно, серебрит виски,
морозный кислород бушует в плевре,
скворешни отбиваются от звезд,

а он – от мыслей. Шевелится сук,
который оседлал он. Тот же звук
– скрипучий – издают ворота.
И застывает он вполоборота
к своей деревне, остальную часть
себя вверяет темноте и снегу,
невидимому лесу, бегу
дороги, предает во власть
Пространства. Обретают десны
способность переплюнуть сосны.
Ты, ревность, только выше этажом.
А пламя рвется за пределы крыши.
И это – нежность. И гораздо выше.
Ей только небо служит рубежом.
А выше страсть, что смотрит с высоты
бескрайней, на пылающее зданье.
Оно уже со временем на ты.
А выше только боль и ожиданье.
И дни – внизу, и ночи, и звезда.
Все смешано. И, видно, навсегда.
Под временем... Так мастер этикета,
умея ждать, он (бес его язвы)
венчает иерархию любви
блестящей пирамидою Брегета.

Поет в хлеву по-зимнему петух.
И он сжимает веки все плотнее.
Когда-нибудь ему изменит слух
иль просто Дух окажется сильнее.

Он не услышит кукареку, нет,
и милый призрак не уйдет. Рассвет
наступит. Но на этот раз
он не захочет просыпаться. Глаз
не станет протирать. Вдвоем навеки,
они уж будут далеки от мест,
где вьется снег и замерзают реки.

1965

Неоконченный отрывок

В стропилах воздух ухает, как сыч.
Скрипит ольха у дальнего колодца.
Бегущий лес пытается настичь
бегущие поля. И удается
порой березам вырваться вперед
и вклиниться в позиции озимых
шеренгой или попросту вразброд,
особенно на склоне и в низинах.
Но озими, величия полны,
спасаясь от лесного гарнизона,
готовы превратиться в валуны,
как нимфы из побасенок Назона.

Эгей, эгей! Холмистый край, ответь,
к кому здесь лучше присоединиться?
К погоне, за которую медведь?
К бегущим, за которых медуница?

В ответ – рванье сырой галиматыи
ольшаника с водою в голенищах
да взвизгиванья чибиса – судьи
осенних состязаний среди нищих.

1965, Норенская

Осень в Норенской

Мы возвращаемся с поля. Ветер
гремит перевернутыми колоколами ведер,
коверкает голые прутья ветел,
бросает землю на валуны.
Лошади бьются среди оглобель
черными корзинами вздутых ребер,
обрацают оскаленный профиль
к ржавому зубью бороны.

Ветер сучит замерзший щавель,
пучит платки и косынки, шарит
в льняных подолах старух, превращает
их в тряпичные кочаны.
Харкая, кашляя, глядя долу,
словно ножницами по подолу,
бабы стригут сапогами к дому,
рвутся на свои топчаны.

В складках мелькают резинки ножниц.

Зрачки слезятся виденьем рожц,
гонимых ветром в глаза колхозниц,
как ливень гонит подобья лиц
в голые стекла. Под боронами
борозды разбегаются пред валунами.
Ветер расшвыривает над волнами
рыхлого поля кулигу птиц.

Эти виденья – последний признак
внутренней жизни, которой близок
всякий возникший снаружи призрак,
если его не спугнет вконец
благовест ступицы, лязг тележный,
вниз головой в колее колесной
перевернувшийся мир телесный,
реющий в тучах живой скворец.

Небо темней; не глаза, но грабли
первыми видят сырые кровли,
вырисовывающиеся на гребне
холма – вернее, бугра вдали.
Три версты еще будет с лишним.
Дождь панует в просторе нищем,
и липнут к кирзовым голенищам
бурые комья родной земли.

1965

Песенка

Пришла весна. Наконец
в деревне у нас кузнец.
На нем литовский пиджак
и армейский кушак.

Новый кузнец у нас
по имени Альгердас.
Он в кузнице ест и пьет
и подковы кует.

Он носит, увы, кольцо.
Но делят усы лицо,
словно военный шрам,
пополам, пополам.

Он в кузнице ест и спит.
И видит во сне копыт
виноградную гроздь,
и видит во сне он гвоздь.

Кузнец, он дружит с огнем.
Приятно думать о нем
и смотреть ему вслед
девушке в двадцать лет!

1965, Норенская

Песенка о свободе[44]

Булату Окуджаве

Ах, свобода, ах, свобода.

Ты – пятое время года.

Ты – листик на ветке ели.

Ты – восьмой день недели.

Ах, свобода, ах, свобода.

У меня одна забота:

почему на свете нет завода,

где бы делалась свобода?

Даже если, как считал ученый,

ее делают из буквы черной,

не хватает нам бумаги белой.

Нет свободы, как ее ни делай.

Почему летает в небе птичка?

У нее, наверно, есть привычка.

Почему на свете нет завода,

где бы делалась свобода?

Даже если, как считал философ,

ее делают из нас, отбросов,

не хватает равенства и братства,

чтобы в камере одной собраться.

Почему не тонет в море рыбка?

Может быть, произошла ошибка?

Отчего, что птичке с рыбкой можно,

для простого человека сложно?
Ах, свобода, ах, свобода.
На тебя не наступает мода.
В чем гуляли мы и в чем сидели,
мы бы сняли и тебя надели.
Почему у дождевой у тучки
есть куда податься от могучей кучки?
Почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?
Ах, свобода, ах, свобода.
У тебя своя погода.
У тебя – капризный климат.
Ты наступишь, но тебя не примут.

1965

* * *

Пустые, перевернутые лодки
похожи на солдатские пилотки
и думать заставляют о войне,
приковывая зрение к волне.
Хотя они – по-своему – лишь эхо
частей, не развивающих успеха,
того десятибалльного ура,
что шлюпку опрокинуло вчера.

1965, Норенская

Стансы

Китаец так походит на китайца,
как заяц – на другого зайца.
Они настолько на одно лицо,
что кажется: одно яйцо
снесла для них старушка-китаянка,
а может быть – кукушка-коноплянка.

Цветок походит на другой цветок.
Так ноготок похож на ноготок.
И василек похож на василек.
По Менделю не только стебелек,
но даже и сама пыльца
не исключает одного лица.

И много-много дней уже подряд
мы, не желая напрягать свой взгляд
в эпоху авторучек и ракет,
так получаем нацию, букет.
Нет ценности у глаза пионерской
и пристальности селекционерской.

Когда дракон чешуйчатый с коня
Егория – в том случае, меня
сразит, и, полагаю, навсегда
перевернет икону – и когда
в гробу лежать я буду, одинок,

то не цветы увижу, а венок.

Желая деде сделать впечатленье,
цветочных чашечек дарю скопленье,
предпочитая исключенью – массу.
Вот так мы в разум поселяем расу,
на расстояние – увы – желтка
опасность удаляя от белка.

Весь день брожу я в пожелтевшей роще
и нахожу предел китайской мощи
не в белизне, что поджидает осень,
а в сень ступив вечнозеленых сосен.
И как бы жизни выхожу за грань.
«Поставь в ту вазу с цаплями герань!»

1965

Феликс

Пьяной горечью Фалерна чашу мне наполни, мальчик. А. С. Пушкин (из Катутла)

!

Дитя любви, он знает толк в любви.
Его осведомленность просто чудо.
Должно быть, это у него в крови.
Он знает лучше нашего, откуда
он взялся. И приходится смотреть
в окошко, втолковать ему пытаюсь

все таинство, и, Господи, краснеть.
Его уж не устраивают аист,
собачки, птички... Брем ему не враг,
но чем он посодействует? Ведь нечем.
Не то чтобы в его писаньях мрак.
Но этот мальчик слишком... человечен.
Он презирает бремовский мирок.
Скорее – притворяясь удивленным
(в чем можно видеть творчества залог),
он склонен рыться в неодушевленном.
Белье горит в глазах его огнем,
диван его приковывает к пятнам.
Он назван в честь Дзержинского, и в нем
воистину исследователь спрятан.
И, спрашивая, знает он ответ.
Обмолвки, препинания, смятенье
нужны ему, как цезий для ракет,
чтоб вырваться за скобки тяготенья.
Он не палач. Он врачеватель. Но
избавив нас от правды и боязни,
он там нас оставляет, где темно.
И это хуже высылки и казни.
Он просто покидает нас, в тупик
поставив, отправляя в дальний угол,
как внуков расшалившихся старик,
и яростно кидается на кукол.
И те врача признать в нем в тот же миг
готовы под воздействием иголок,
когда б не расковыривал он их,
как самый настоящий археолог.

Но будущее, в сущности, во мгле.
Его-то уж во мгле, по крайней мере.
И если мы сегодня на земле,
то он уже, конечно, в стратосфере.
В абстракциях прокладывая путь,
он щупает подвязки осторожно.
При нем опасно ляжку подтянуть,
а уж чулок поправить – невозможно,
Он тут как тут. Глаза его горят
(как некие скопления туманных
планет, чьи существа не говорят),
а руки, это главное, в карманах.
И самая далекая звезда
видна ему на дне его колодца.
А что с ним будет, Господи, когда
до средств он превентивных доберется!
Гагарин – не иначе. И стакан
придавливает к стенке он соседской.
Там спальня. Межпланетный ураган
бушует в опрокинувшейся детской.
И слыша, как отец его, смеясь,
на матушке расстегивает лифчик,
он, нареченный Феликсом, трясясь,
бормочет в исступлении: «Счастливчик».

Да, дети только дети. Пусть азарт
подхлестнут приближающимся мартом...
Однако авангард есть авангард,
и мы когда-то были авангардом.

Теперь мы остаемся позади,
и это, понимаешь, неприятно -
не то что эти зубы в бигуди,
растерзанные трусики и пятна.
Все это ерунда. Но далеко ль
уйдет он в познании украдкой?
Вот, например, герань, желтофиоль
ему уже не кажутся загадкой.
Да, книги, – те его ошеломят.
Все Жанны эти, Вертеры, Эмили...
Но все ж они – не плоть, не аромат.
Надолго ль нас они ошеломили?
Они нам были, более всего,
лишь средством достижения успеха.
Порою – подтвержденьем. Для него
они уже, по-моему, лишь эхо.
К чему ему и всадница, и конь,
и сумрачные скачки по оврагу?
Тому, в ком разгорается огонь,
уж лучше не подсовывать бумагу.
Представь себе иронию, когда
какой-нибудь отъявленный Ромео
все проиграет Феликсу. Беда!
А просто обращался неумело
с ундиной белолицей – рикошет
убийственный стрелков макулатуры.
И вот тебе, пожалуйста – сюжет!
И может быть, вторые Диоскуры.
А может, это – живопись. Вопрос
некстати, молвишь, заданный. Некстати ль?

Знаток любви, исследователь поз
и сам изобретатель – испытатель,
допустим, положения – бутон
на клумбе; и расчеты интервала,
в цветении подобранного в тон
пружинистой клумбой покрывала.
Не живопись? На клумбе с бахромой.
Подрамник в белоснежности упрямой...
И вот тебе цветение зимой.
И, в пику твоим фикусам, за рамой.
Нет, это хорошо, что он рывком
проскакивает нужное пространство!
Он наверстает в чем-нибудь другом,
упрямством заменяя постоянство.
Все это – и чулки, и бельецо,
все лифчики, которые обмякли -
ведь это маска, скрывшая лицо
чего-то грандиозного, не так ли?
Все это – аллегория. Он прав:
все это линза, полная лучами,
пучком собачек, ласточек и трав.
Он прав, что оставляет за плечами
подробности – он знает результат!
А в этом-то и суть иносказаний!
Он прав, как наступающий солдат,
бегущий от словесных состязаний.
Завоеватель! Кир! Наполеон!
Мишень свою на звездах обнаружив,
сквозь тучи он взлетает, заряжен,
в знакомом окружении из кружев.

Он – авангард. Спешит иль не спешит,
мы отстаем, и это неприятно.
Он ростом мал? Но губы хороши!
Пусть речь его туманна и невнятна.
Он мчится, закусивши удила.
Пробел он громоздит на промежутке.
И, может быть, он – экая пчела! -
такой отыщет лютик-баламутик
(а тот его жужжание поймет
и тонкий хоботок ему раскрасит),
что я воображаю этот мед,
не чуждый ни скворечников, ни псек!

II

Эрот, не объяснишь ли ты причин
того (конечно, в частности, не в массе),
что дети превращаются в мужчин
упорно застревая в ипостаси
подростка. Чудодейственный нектар
им сохраняет внешнюю невинность.
Что это: наказание или дар?
А может быть, бессмертья разновидность?
Ведь боги вечно молоды, а мы
как будто их подобия, не так ли?
Хоть кудри наши вроде бахромы,
а в старости и вовсе уж из пакли.
Но Феликс – исключенье. Право
закона – в исключении. Астарта
поклонница мужчин без живота.
А может, это свойство авангарда?

Избранничество? Миф календаря?
Какой-нибудь фаллической колонне
служение? И роль у алтаря?
И, в общем, ему место в Парфеноне.
Ответ, Эрот, загадка велика.
Хотелось бы, хоть речь твоя бесплотна,
хоть что-то в жизни знать наверняка.
Хоть мнение о Феликсе. – "Охотно.
Хоть лирой привлекательно звеня,
настойчиво и несколько цветисто,
ты заставляешь говорить меня,
чтоб избежать прозванья моралиста.

Причина в популярности любви
и в той необходимости полярной,
бушующей неистово в крови,
что делает любовь... непопулярной.
Вот так же, как скопление планет
астронома заглатывает призма,
все бесконечно малое, поэт,
в любви куда важней релятивизма.
И мы про календарь не говорим
(особенно зимой твоей морозной).
Он ростом мал? – тем лучше обозрим
какой-нибудь особой скрупулезной.
Поскольку я гляжу сюда с высот,
мне кажется, он ростом не обижен:
все, даже неподвижное, растет
в глазах того, кто сам не неподвижен.

И данный мой ответ на твой вопрос
отнюдь не апология смиренья.
Ведь Феликс твой немислимый подросток
за время твоего стихотворенья.
Не сетуй же, что все ж ты не дошел
до подлинного смысла авангарда.
Пусть зависть вызывает ореол
заметного на финише фальстарта.
Но зрите мироздания углы,
должно быть, одинаково вы оба,
поскольку хоботок твоей пчелы
всего лишь разновидность телескопа.
Но не напрасно вопрошаешь ты,
что выше человека, ниже Бога,
хотя бы с точки зренья высоты,
как пагода, костел и синагога.

Туда не проникает телескоп.
А если тебе чудится острота
в словах моих – тогда ты не Эзоп.
Приветствие Эзопу от Эрота".

III

Налей вина и сам не уходи,
мой собеседник в зеркале. Быть может,
хотя сейчас лишь утро впереди,
нас кто-нибудь с тобою потревожит.
Печь выстыла, но прыгать в темноту
не хочется. Не хочется мне «кар»а,

роняемого клювом на лету,
чтоб ночью просыпаться от угара.

Сроднишься с беспорядком в голове.

Сроднишься с тишиною; для разбега
не отличая шелеста в траве
от шороха кружащегося снега.

А это снег. Шумит он? Не шумит.

Лишь пар тут шелестит, когда ты дышишь.

И если гром снаружи загремит,
сроднишься с ним и грома не услышишь.

Сроднишься, что дымок от папирос
слегка сопротивляется зловонью,
и рощицу всклокоченных волос,
как продолженье хаоса, ладонью
придавишь; и широкие круги
пойдут там, как на донышке колодца.

И разум испугается руки,
хотя уже ничто там не уймется.

Сроднишься. Лысоват. Одутловат.

Ссутулясь, в полушубке полинялом.

Часы определяя наугад.

И не разлей водою с одеялом.

Состаришься. И к зеркалу рука
потянется. «Тут зеркало осталось».

И в зеркале увидишь старика.

И это будет подлинная старость.

Такая же, как та, когда, хрипя,
помешивает искорки в камине;

когда не будет писем от тебя,
как нету их, возлюбленная, ныне.
Как та, когда глядит и не моргнет
таившееся с юности бесстыдство...

И Феликса ты вспомнишь, и кольнет
не ревность, а скорее любопытство.
Так вот где ты настиг его! Так вот
оно, его излюбленное место,
давнишнее. И, стало быть, живот
он прятал под матроской. Интересно.
С полярных, значит, начали концов.
Поэтому и действовал он скрытно.
Так вот куда он гнал своих гонцов.
И он сейчас в младенчестве. Завидно!
И Феликса ты вспомнишь: не моргнет,
бывало, и всегда в карманах руки.
(Да, подлинная старость!) И кольнет.
Но что это: по поводу разлуки
с Пиладом негодующий Орест?
Бегущая за вепрем Аталанта?
Иль зависть заурядная? Протест
нормального – явлению таланта?

Нормальный человек – он восстает
противу сверхъестественного. Если
оно с ним даже курит или пьет,
поблизости разваливаясь в кресле.

Нормальный человек – он ни за что
не спустит из... А что это такое
нормальный че... А это решето
в обычном состоянии покоя.

IV

Как жаль, что архитекторы в былом,
немножко помешавшись на фасадах
(идущих, к сожалению, на слом),
висячие сады на балюстрадах
лепившие из гипса, виноград
развесившие щедро на балконы,
насытившие, словом, Ленинград,
к пилястрам не лепили панталоны.
Так был бы мир избавлен от чумы
штанишек, доведенных inferнально
до стадии простейшей бахромы.
И Феликс развивался бы нормально.

1965

Фламарион

М. Б.

Одним огнем порождены
две длинных тени.
Две области поражены
теньями теми.

Одна – она бежит отсель
сквозь бездорожье
за жизнь мою, за колыбель,
за царство Божье.

Другая – поспешает вдаль,
летит за тучей
за жизнь твою, за календарь,
за мир грядущий.

Да, этот язычок огня, -
он род причала:
конец дороги для меня,
твоей – начало.

Да, станция. Но погляди
(мне лестно):
не будь ее, моей ладьи,
твоя б – ни с места.

Тебя он за грядою туч
найдет, окликнет.
Чем дальше ты, тем дальше луч
и тень – проникнет.

Тебя, пусть впереди темно,
пусть ты незрима,
пусть слабо он осветит, но
неповторимо.

Так, шествуя отсюда в темь,
но без тревоги,
ты свет мой превращаешь в темь
на полдороге.

В отместку потрясти дозволю
твой мир – полярный -
лицом во тьме и тенью столь,
столь лучезарной.

Огонь, предпочитая сам
смерть – запустенью,
все чаще шарит по лесам
моею тенью.

Все шарит он, и, что ни день,
доступней взгляду,
как мечется не мозг, а темь
от рая к аду.

1965

Кулик

В те времена убивали мух,
ящериц, птиц.
Даже белый лебяжий пух
не нарушал границ.

Потом по периметру той страны,
вившемуся угрем,
воздвигли четыре глухих стены,
дверь нанесли углем.

Главный пришел и сказал, что снег
выпал и нужен кров.
И вскоре был совершен набег
в лес за охапкой дров.

Дом был построен. В печной трубе
пламя гудело, злясь.
Но тренье глаз о тела себе
подобных рождает грязь.

И вот пошла там гулять в пальто
без рукавов чума.

Последними те умирали, кто
сразу сошел с ума.

Так украшает бутылку блик,
вмятина портит щит,
На тонкой ножке стоит кулик
и, глядя вперед, молчит.

1965(?)

Набережная р. Пряжки

Автомобиль напомнил о клопе,
и мне, гуляющему с лютней,
все показалось мельче и уютней
на берегу реки на букву «пэ»,
петлявшей, точно пыльный уж.
Померкший взор опередил ботинки,
застывшие перед одной из луж,
в чьем зеркале бутылки
деревьев, переполненных своим
вином, меняли контуры, и город
был потому почти неотрезвим.
Я поднял ворот.

Холодный ветер развернул меня
лицом на Запад, и в окне больницы
внезапно, как из крепостной бойницы,

мелькнула вспышка желтого огня.

1965(?)

Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром

На объективность

Зла и добра, больно умен, грань почто топчешь?

Та ли пора? Милый Дамон, глянь, на что ропщешь.

Против вины чьей, не кричи, страсть обуяла?

Ты ли с жены тащишь в ночи часть одеяла?

Топчешь, крича: «Благо не печь. Благо не греет».

Но без луча, что ни перечь, семя не зреет.

Пусто речешь: «Плевел во ржи губит всю веру».

В хлебе, что ешь, много ль, скажи, видел плевелу?

«Зло входит в честь разных времен: в наши и в оны».

Видишь ли днесь, милый Дамон, злу Пантеоны?

"Зло и добро парюю рук часто сдается.

Деве равно все, что вокруг талии вьется.

Чую, смущен, волю кружить птице двуглавой..."

Левой, Дамон, дел не свершить, сделанных правой.

"Так. Но в гробу, узком вельми, зреть себя нага,

бывши во лбу пядей семи, – это ли благо?

Нынче стою. Завтра, пеняй, лягу колодой".

Душу свою, друг, не равняй с милой природой!

Жизнь не медаль, видная нам словом и бюстом.

В жизни есть даль, близкая снам, чуждая чувствам

злым и благим, где ни ногой Бог и свобода.
Что до богинь, в деве нагой зрим антипода.
Кабы не так, были сейчас волками в стае.
Герб на пятак был бы у нас, решка – в Китае.
Сплющили б лоб. В бездну сошло б солнце Давида.
Был бы потоп. Брали бы в гроб аз алфавита.
Полно, Дамон. Всюду свой рубль, свой иероглиф.
Царь Соломон зрением вглубь так ли уродлив?
Страсти не рать: сих областей в ночь не воруют.
Полно стирать грани страстей. Так не воют.
Жизнь не медаль. Мир – не чекан двух оборотов.
В жизни есть даль, тянуща ан птиц желторотых.
Видно, бежит грубых рамен маетность птичья.
Мудрый, как жид, милый Дамон, вот тебе притча:
Скраден сосуд. Ловит, глядишь, страж голодранца.
Вора спасут ноги, ты мнишь? Только пространство!

Тот же простор прячет благих Кесаря копий,
строит шатер, греет нагих, в ссадину корпий
кладет, как хлеб кладет в уста, потчует сирот.
В овчий вертеп прячет Христа – хер тебе, Ирод.
Аз воздаст: застит рабам перлы в короне.
Волю дает, дав по рогам, белой корове.
В землях и днях твердый рубеж царствию кладет.
В жадных песках, смерти промеж, делает кладезь.
Кесаря мощь копья о плащ нощи иступит,
воинству роц, воинству чащ цифрой уступит.
Коль не пришит к месту, то жать стало ли уши?
Суша страшит – морем бежать можешь от суши.

Что есть длиной близко сравнить с пахотой Млечной?

К деве одной сердце стремить – что бесконечней?

Что не расчесть: матери ждать плод из утробы
дольше, чем здесь грани стирать блага и злобы.

В грешной душе коль натерел в скорбну годину,
мнишь, что уже мир обозрел? Драхму едину.

Право, Дамон, зря ты сравнил. Вышло печально.

Друг, убежден: ты возомнил сходство случайно.

Есть в рубеже смертном надрыв, страшно до дури.

Слабой душе смерть есть призыв к бегству к Натуре.

Так ли ты, мнил, будешь в гробу? Мнил: постоянство.

Ан получил злую судьбу: вечное странство.

Ищешь, гляжу, путь к рубежу с черного хода.

Друг, не сужу. Больше скажу: Бог – не природа.

Друг, не боись. Я не грожу. С миром рассорюсь.

Глядячи ввысь, больше скажу: Бог и не совесть.

Он – их творец. Ноне проверь, милый приятель,
кто нам: дворец – жизни пример – или создатель?

Выше ль глава день ото дня с перечня комнат?

Эти слова пусть от меня Кушнер запомнит.

Пусть (не вини: это не суд) помнят поющи:

в жизни есть дни, где не спасут честность и кущи.

Загнанный зверь статуй певца с цоколя сбросит,
ибо, поверь, нищи сердца с мертвого спросят.

Зла и добра, милый Дамон, грань почто топчешь?

Та ли пора? Больно умен. Глянь, на что ропщешь.

То, что вчера дух веселя, ноне уж плохо?
Та ли пора? Та ли земля? Та ли эпоха?
Друг, не сочти этих словес «с пушки по мухам».
Дело прочти – сказано есть: "нищие духом
пьют благодать" – узрят, внемли, царство небесно.
Что ж отдавать им на земли царство любезно?
То ли не стыд? Ан отдаем. Благо, не пищей.
Так и плодит – кабы вдвоем! – нищего нищий.
Пусто твердишь: «Светоч и тьма – вроде два брата».
Сам и плодишь. Резвость ума хуже разврата.
В том-то и суть: крепок орех – порчены зубы.
Не обессудь: это и грех. Грех не прелюбы.
Спать не любя суть чепуха. Много мотиву.
Грех на себя. Нету греха ближних противу.
Скорбно ли есть душу терзать? Скорбно ли аще
грешную десть на душу взять? Сахару слаще.

Каяться мнишь, схиму принять, лбом да о паперть.
После глядишь, спереди гладь, белая скатерть.
Бога узрел! Сзади одна мелкая сошка.
В этом, пострел, благость видна. Так и спасешься.
Тож кораблю в бурю канал нужен для бегства.
Сильно скорблю: Каин не знал этого средства.
Как ни греши, можно ухват счистить от сажи.
Выкуп души благом чреват. Драхма все та же!
Полно, Дамон, что за тоска правда двуличья.
Я утомлен. Альфа людска – духа величье.
Дух – благодать тверди иной к горсточке праха,
дабы не знать в глине земной смертного страха.

Дух – это нить с небом связать глины уродство,
дабы лишить мест осязать наше сиротство.
Нитку порвешь оных щедрот – кайся на ветер.
Каяться то ж ждать, чтобы тот благом ответил,
кого аж, больно умен, вытолкал в груди.
Много не дашь этим, Дамон, форы Иуде.

Где раздобыть, Муза-сестра, тело, размером
могуще быть Зла и Добра в мире примером?
Сколь ни кружу взором своим всюду по свету,
все не слежу равного им в мире предмету.
Сиречь, сужу, мыслею дьясь: здесь они сиры.
Больше скажу: грудью сойдясь, две этих Силы,
чужды побед, рубятся в прах, точно капуста.
Виктора нет. То-то и страх: главные чувства
в черной земле мертвы лежат в роще цветущей.
Молча вдали враны кружат жизни грядущей.
Умер пароль, ведший нас чрез часты тенета.
"Льется отколь, полная слез, плачуца нота?
Чей там хорал в землю ведет часть превосходну?"
Тот, кто терял, тот и поет песню отходну.
Кто обладал, может поднять плач по урону.
«Кто пострадал?» Разве понять это Дамону?
Царь во главе, можно простить, век не ночует.
Могущий две бездны вместить третью почует!

Пусто рядить, лира, правож. Муза устала.
Все прекратить! Мне невтерпеж. Сердца не стало.

Спорщик мой где? В окнах ни зги. Пусто на кресле.
Дать по балде, чтобы мозги горлом полезли!
Силы ушли. Где мой Критон? Где ему деться?
Вижу: вдали к деве Дамон в спальню крадется.
Снег у крылец след порошит. Хитро устроил!
Бедный чернец. «Плоть не грешит». То и усвоил.
Впрочем, богат. Драхму язык держит прилежно.
То ль наугад к деве проник, действуя нежно,
то ли на дно Лоты глядит с борта корыты...
Вижу одно: с кем-то стоит, губы раскрыты.
Не разглядеть – дева, старик? – в точности лика.
Что тут скорбеть? Вот и достиг сходства велика.
Вот тебе месть: сам разгляди сразу два зайца.
Тщишься расчесть, милый, поди, с кем оказался?
Действуй смелей! Больно умен. Вместо ответа:
стоят твоей драхмы, Дамон, дева и Лета.

Четверть листа. Свечи трещат. Тени перечут.
Смотрит звезда в полный ушат. Мыши щебечут.
Бросим перо. Хаять глупца – это ли доблесть?
Так ли хитро? Древня венца сим не сподоблюсь.
Образы, прочь! Чашу с вином! Чествуем древних.
Поздняя ночь. Снег за окном в виде деревьев.

март 1966

Остановка в пустыне

Теперь так мало греков в Ленинграде,

что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал. В такой архитектуре
есть что-то безнадежное. А впрочем,
концертный зал на тыщу с лишним мест
не так уж безнадежен: это – храм,
и храм искусства. Кто же виноват,
что мастерство вокальное дает
сбор больший, чем знамена веры?
Жаль только, что теперь издалека
мы будем видеть не нормальный купол,
а безобразно плоскую черту.
Но что до безобразия пропорций,
то человек зависит не от них,
а чаще от пропорций безобразья.

Прекрасно помню, как ее ломали.
Была весна, и я как раз тогда
ходил в одно татарское семейство,
неподалеку жившее. Смотрел
в окно и видел Греческую церковь.
Все началось с татарских разговоров;
а после в разговор вмешались звуки,
сливавшиеся с речью поначалу,
но вскоре – заглушившие ее.
В церковный садик въехал экскаватор
с подвешенной к стреле чугунной гирей.
И стены стали тихо поддаваться.
Смешно не поддаваться, если ты

стена, а пред тобою – разрушитель.

К тому же экскаватор мог считать
ее предметом неодушевленным
и, до известной степени, подобным
себе. А в неодушевленном мире
не принято давать друг другу сдачи.
Потом – туда согнали самосвалы,
бульдозеры... И как-то в поздний час
сидел я на развалинах абсиды.
В провалах алтаря зияла ночь.
И я – сквозь эти дыры в алтаре -
смотрел на убегавшие трамваи,
на вереницу тусклых фонарей.
И то, чего вообще не встретишь в церкви,
теперь я видел через призму церкви.

Когда-нибудь, когда не станет нас,
точнее – после нас, на нашем месте
возникнет тоже что-нибудь такое,
чему любой, кто знал нас, ужаснется.
Но знавших нас не будет слишком много.
Вот так, по старой памяти, собаки
на прежнем месте задирают лапу.
Ограда снесена давным-давно,
но им, должно быть, грезится ограда.
Их грезы перечеркивают явь.
А может быть, земля хранит тот запах:

асфальту не осилить запах псины.
И что им этот безобразный дом!
Для них тут садик, говорят вам – садик.
А то, что очевидно для людей,
собакам совершенно безразлично.
Вот это и зовут: «собачья верность».
И если довелось мне говорить
всерьез об эстафете поколений,
то верю только в эту эстафету.
Вернее, в тех, кто ощущает запах.

Так мало нынче в Ленинграде греков,
да и вообще – вне Греции – их мало.
По крайней мере, мало для того,
чтоб сохранить сооруженья веры.
А верить в то, что мы сооружаем,
от них никто не требует. Одно,
должно быть, дело нацию крестить,
а крест нести – уже совсем другое.
У них одна обязанность была.
Они ее исполнить не сумели.
Непаханое поле заросло.
"Ты, сеятель, храни свою соху,
а мы решим, когда нам колоситься".
Они свою соху не сохранили.

Сегодня ночью я смотрю в окно
и думаю о том, куда зашли мы?

И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там, впереди?
Не ждет ли нас теперь другая эра?
И если так, то в чем наш общий долг?
И что должны мы принести ей в жертву?

первая половина 1966

Неоконченный отрывок

В стропилах воздух ухаает, как сыч.
Скрипит ольха у дальнего колодца.
Бегущий лес пытается настичь
бегущие поля. И удается
порой березам вырваться вперед
и вклиниться в позиции озимых
шеренгой или попросту вразброд,
особенно на склоне и в низинах.
Но озими, величия полны,
спасаясь от лесного гарнизона,
готовы превратиться в валуны,
как нимфы из побасенок Назона.

Эгей, эгей! Холмистый край, ответь,
к кому здесь лучше присоединиться?
К погоне, за которую медведь?
К бегущим, за которых медуница?

Неоконченный отрывок

Отнюдь не вдохновение, а грусть
меня склоняет к описанию вазы.
В окне шумят раскидистые вязы.
Но можно только увеличить груз
уже вполне достаточный, скребя
пером перед цветущею колодой.
Петь нечто, сотворенное природой,
в конце концов, описывать себя.
Но гордый мир одушевленных тел
скорей в себе, чем где-то за горами,
имеет свой естественный предел,
который не расширишь зеркалами.

Другое дело – глиняный горшок.
Пусть то, что он – недвижимость, неточно.
Но движимость тут выражена в том, что
он из природы делает прыжок
в бездушие. Он радует наш глаз
бездушием, которое при этом
и позволяет быть ему предметом,
я думаю, в отличие от нас.
И все эти повозки с лошадьми,
тем паче – нарисованные лица
дают, как все, что создано людьми,
им от себя возможность отделиться.

Античный зал разжевывает тьму.
В окне торчит мускулатура Штробля.
И своды, как огромная оглобля,
елозят по затылку моему.
Все эти яйцевидные шары,
мне чуждые, как Сириус, Канопус,
в конце концов напоминают глобус
иль более далекие миры.
И я верчусь, как муха у виска,
над этими пустыми кратерами,
отталкивая русскими баграми
метафору, которая близка.
Но что ж я, впрочем? Эта параллель
с лишенным возвращенья астронавтом
дороже всех. Не склонный к полуправдам,
могу сказать: за тридевять земель
от жизни захороненный во мгле,
предмет уже я неодушевленный.
Нет скорби о потерянной земле,
нет страха перед смертью во Вселенной...

1966

Освоение космоса

Чердачное окно отворено.
Я выглянул в чердачное окно.
Мне подоконник врезался в живот.

Под облаками кувыркали голубь.
Над облаками синий небосвод
не потолок напоминал, а прорубь.

Светило солнце. Пахло резедой.
Наш флюгер верещал, как козодой.
Дом тень свою отбрасывал. Забор
не тень свою отбрасывал, а зебру,
что несколько уродовало двор.
Поодаль гумна оседали в землю.

Сосед-петух над клушей мельтешил.
А наш петух тоску свою глушил,
такое видя, в сильных кукареках.
Я сухо этой драмой пренебрег,
включил приемник «Родина» и лег.
И этот Вавилон на батарейках

донес, что в космос взвился человек.
А я лежал, не поднимая век,
и размышлял о мире многоликом.
Я рассуждал: зевай иль примечай,
но все равно о малом и великом
мы, если узнаем, то невзначай.

1966

Стихи на бутылке, подаренной Андрею Сергееву

1

На склоне лет я на ограду влез
Я удовлетворял свой интерес
к одной затворнице и зная
что между нами проходная
я подтянулся на руках
ныряла в облаках
Луна и ввысь
из радио неслись
обрывки вальса
и я Луной залюбовался
я примостился между копий
открылся вид балтийских топей
к девице в общежитие я лез
а увидал владычицу небес

2

Я,
о моя
милая, вспять
смотрю и опять
те вспоминаю края,
где не слышать филломел,
края, где небесный мел
больше земной доски.
Я учился там жить,
доходил от тоски
и раскрашивал дверь,
бегал к пруду,

ждал то, чего
теперь
не жду.

3

Цинтия смотрит назад, назад
и видит: входит Проперций в сад,
в руках у него цветы.
Проперций смотрит вперед.
Цинтия, где же ты?
А Цинтия в рот
воды набрала.
Полет орла
Цинтия в тучах зрит.
Не слышит, что говорит
ее возлюбленный друг.
Клубится роз аромат
вокруг Проперция, и вокруг
деревья, деревья шумят, шумят.

4

Увы,
из Москвы
снова я должен
уехать. Я дожил:
остался без денег
и ни один бездельник
не выдаст мне, как ни проси,
на такси.

1966

* * *

Сумев отгородиться от людей,
я от себя хочу отгородиться.
Не изгородь из тесаных жердей,
а зеркало тут больше пригодится.
Я озираю хмурые черты,
щетину, бугорки на подбородке...

Трельяж для разводящейся четы,
пожалуй, лучший вид перегородки.
В него влезают сумерки в окне,
край пахоты с огромными скворцами
и озеро – как брешь в стене,
увенчанной еловыми зубцами.

Того гляди, что из озерных дыр
да и вообще – через любую лужу
сюда ползет посторонний мир.
Иль этот уползет наружу.

1966

* * *

Сумерки. Снег. Тишина. Весьма

тихо. Аполлон вернулся на Демос.
Сумерки, снег, наконец, сама
тишина – избавит меня, надеюсь,
от необходимости – прости за дерзость -
объяснять самый факт письма.

Праздники кончились – я не дам
соврать своим рифмам. Остатки влаги
замерзают. Небо белей бумаги
розовеет на западе, словно там
складывают смятые флаги,
разбирают лозунги по складам.

Эти строчки, в твои персты
попав (когда все в них уразумеешь
ты), побелеют, поскольку ты
на слово и на глаз не веришь.
И ты настолько порозовеешь,
насколько побелеют листы.

В общем, в словах моих новизны
хватит, чтоб не скучать сороке.
Пестроту июля, зелень весны
осень превращает в черные строки,
и зима читает ее упреки
и зачитывает до белизны.

Вот и метель, как в лесу игла,
гудит. От Бога и до порога
бело. Ни запятой, ни слога.
И это значит: ты все прочла.
Страхивать хлопья опасно, строго
говоря, с твоего чела.

Нету – письма. Только крик сорок,
не понимающих дела почты.
Но белизна вообще залог
того, что под ней хоронится то, что
превратится впоследствии в почки, в точки,
в буйство зелени, в буквы строк.

Пусть не бессмертие – перегной
вберет меня. Разница только в поле
сих существительных. В нем тем боле
нет преимущества передо мной.
Радуюсь, встретив сороку в поле,
как завидевший берег Ной.

Так утешает язык певца,
превосходя самое природу,
свои окончания без конца
по падежу, по числу, по роду
меня, Бог знает кому в угоду,

глядя в воду глазами пловца.

1966

* * *

Вполголоса – конечно, не во весь -
прощаюсь навсегда с твоим порогом.
Не шелохнется град, не встрепенется весь
от голоса приглушенного.
С Богом!
По лестнице, на улицу, во тьму...
Перед тобой – окраины в дыму,
простор болот, вечерняя прохлада.
Я не преграда взору твоему,
словам твоим печальным – не преграда.
И что оно – отсюда не видать.
Пучки травы... и лиственниц убранство...
Тебе не в радость, мне не в благодать
безлюдное, доступное пространство.

1966(?)

* * * [45]

1

День кончился, как если бы она
была жива и, сидя у окна,
глядела на садящееся в сосны
светило угасающего дня
и не хотела зажигать огня,

а вспышки яркие морозной оспы
в стекле превосходили Млечный Путь,
и чай был выпит, и пора уснуть...
День кончился, как делали все дни
ее большой и невыносимой жизни,
и солнце село, и в стекле зажглись не
соцветья звезд, но измороси; ни
одна свеча не вспыхнула, и чай
был выпит, и, задремывая в кресле,
ты пробуждался, вздрагивая, если
вдруг половица скрипнет невзначай.
Но то был скрип, не вызванный ничьим
присутствием; приходом ли ночным,
уходом ли. То был обычный скрип
рассохшегося дерева, чей возраст
дает возможность самому
поскрипывать, твердя, что ни к чему
ни те, кто вызвать этот звук могли б,
ни тот, кто мог расслышать этот возглас.
День кончился. И с точки зренья дня
все было вправду кончено. А если
что оставалось – оставалось для
другого дня, как если бы мы влезли,
презрев чистописанье, на поля,
дающие нам право на длинноту,
таща свой чай, закаты, вензеля
оконной рамы, шорохи, дремоту.

2

Она так долго прожила, что дни

теперь при всем своем разнообразье
способны, вероятно, только разве
то повторять, что делали они
при ней.

<1966?>

* * *

Сначала в бездну свалился стул,
потом – упала кровать,
потом – мой стол. Я его толкнул
сам. Не хочу скрывать.
Потом – учебник «Родная речь»,
фото, где вся семья.
Потом четыре стены и печь.
Остались пальто и я.
Прощай, дорогая. Сними кольцо,
выпиши вестник мод.
И можешь плюнуть тому в лицо,
кто место мое займет.

1966(?)

Речь о пролитом молоке

I

1

Я пришел к Рождеству с пустым карманом.

Издатель тянет с моим романом.
Календарь Москвы заражен Кораном.
Не могу я встать и поехать в гости
ни к приятелю, у которого плачут детки,
ни в семейный дом, ни к знакомой девке.
Всюду необходимы деньги.
Я сижу на стуле, трясусь от злости.

2

Ах, проклятое ремесло поэта.
Телефон молчит, впереди диета.
Можно в месткоме занять, но это -
все равно, что занять у бабы.
Потерять независимость много хуже,
чем потерять невинность. Вчуже,
полагаю, приятно мечтать о муже,
приятно произносить «пора бы».

3

Зная мой статус, моя невеста
пятый год за меня ни с места;
и где она нынче, мне неизвестно:
правды сам черт из нее не выбьет.
Она говорит: "Не горюй напрасно.
Главное – чувства! Единогласно?"
И это с ее стороны прекрасно.
Но сама она, видимо, там, где выпьет.

4

Я вообще отношусь с недоверьем к ближним.

Оскорбляю кухню желудком лишним.
В довершение всего досаждаю личным
взглядом на роль человека в жизни.
Они считают меня бандитом,
издеваются над моим аппетитом.
Я не пользуюсь у них кредитом.
«Наливайте ему пожиже!»

5

Я вижу в стекле себя холостого.
Я факта в толк не возьму простого,
как дожил до от Рождества Христова
Тысяча Девятьсот Шестьдесят Седьмого.
Двадцать шесть лет непрерывной тряски,
рытья по карманам, судейской таски,
ученья строить Закону глазки,
изображать немого.

6

Жизнь вокруг идет как по маслу.
(Подразумеваю, конечно, массу.)
Маркс оправдывается. Но, по Марксу,
давно пора бы меня зарезать.
Я не знаю, в чью пользу сальдо.
Мое существование парадоксально.
Я делаю из эпохи сальто.
Извините меня за резвость!

7

То есть, все основания быть спокойным.

Никто уже не кричит: «По коням!»
Дворяне выведены под корень.
Ни тебе Пугача, ни Стеньки.
Зимний взят, если верить байке.
Джугашвили хранится в консервной банке.
Молчит орудие на полубаке.
В голове моей – только деньги.

8

Деньги прячутся в сейфах, в банках,
в полу, в чулках, в потолочных балках,
в несгораемых кассах, в почтовых бланках.
Наводняют собой Природу!
Шумят пачки новеньких ассигнаций,
словно вершины берез, акаций.
Я весь во власти галлюцинаций.
Дайте мне кислороду!

9

Ночь. Шуршание снегопада.
Мостовую тихо скребет лопата.
В окне напротив горит лампада.
Я торчу на стальной пружине.
Вижу только лампаду. Зато икону
я не вижу. Я подхожу к балкону.
Снег на крыши кладет попону,
и дома стоят, как чужие.

II

10

Равенство, брат, исключает братство.

В этом следует разобраться.

Рабство всегда порождает рабство.

Даже с помощью революций.

Капиталист развел коммунистов.

Коммунисты превратились в министров.

Последние плодят морфинистов.

Почитайте, что пишет Луций.

11

К нам не плывет золотая рыбка.

Маркс в производстве не вяжет лыка.

Труд не является товаром рынка.

Так говорить – оскорблять рабочих.

Труд – это цель бытия и форма.

Деньги – как бы его платформа.

Нечто помимо путей прокорма.

Размотаем клубочек.

12

Вещи больше, чем их оценки.

Сейчас экономика просто в центре.

Объединяет нас вместо церкви,

объясняет наши поступки.

В общем, каждая единица

по своему существу – девица.

Она желает объединиться.

Брюки просятся к юбке.

13

Шарик обычно стремится в лузу.

(Я, вероятно, терзаю Музу.)

Не Конкуренции, но Союзу

принадлежит прекрасное завтра.

(Я отнюдь не стремлюсь в пророки.

Очень возможно, что эти строки

сократят ожидания сроки:

«Год засчитывать за два».)

14

Пробил час, и пора настала

для брачных уз Труда – Капитала.

Блеск презируемого металла

(дальше – изображение в лицах)

приятней, чем пустота в карманах,

проще, чем чехарда тиранов,

лучше цивилизации наркоманов,

общества, выросшего на шприцах.

15

Грех первородства – не суть сиротства.

Многим, бесспорно, любезней скотство.

Проще различье найти, чем сходство:

«У Труда с Капиталом контактов нету».

Тьфу-тьфу, мы выросли не в Исламе,

хватит трепаться о пополаме.

Есть влечение между полами.

Полюса создают планету.

16

Как холостяк я грущу о браке.
Не жду, разумеется, чуда в раке.
В семье есть ямы и буераки.
Но супруги – единственный тип владельцев
того, что они создают в усладе.
Им не требуется «Не укради».
Иначе все пойдем Христа ради.
Поберегите своих младенцев!

17

Мне, как поэту, все это чуждо.
Больше: я знаю, что «коемуждо...»
Пишу и вздрагиваю: вот чушь-то,
неужто я против законной власти?
Время спасет, коль они неправы.
Мне хватает скандальной славы.
Но плохая политика портит нравы.
Это уж – по нашей части!

18

Деньги похожи на добродетель.
Не падая сверху – Аллах свидетель, -
деньги чаще летят на ветер
не хуже честного слова.
Ими не следует одолжаться.
С нами в гроб они не ложатся.
Им предписано умножаться,
словно в баснях Крылова.

19

Задние мысли сильнее передних.

Любая душа переплюнет ледник.

Конечно, обществу проповедник
нужней, чем слесарь, науки.

Но, пока нигде не слышать пророка,
предлагаю – дабы еще до срока
не угодить в объятия порока:
займите чем-нибудь руки.

20

Я не занят, в общем, чужим блаженством.

Это выглядит красивым жестом.

Я занят внутренним совершенством:
полночь – полбанки – лира.

Для меня деревья дороже леса.

У меня нет общего интереса.

Но скорость внутреннего прогресса
больше, чем скорость мира.

21

Это – основа любой известной
изоляции. Дружба с бездной
представляет сугубо местный
интерес в наши дни. К тому же
это свойство несовместимо
с братством, равенством и, вестимо,
благородством невозместимо,
недопустимо в муже.

22

Так, тоскуя о превосходстве,
как Топтыгин на воеводстве,
я пою вам о производстве.
Буде указанный выше способ
всеми правильно будет понят,
общество лучших сынов нагонит,
факел разума не уронит,
осчастливит любую особь.

23

Иначе – верх возьмут телепаты,
буддисты, спириты, препараты,
фрейдисты, неврологи, психопаты.
Кайф, состояние эйфории,
диктовать нам будет свои законы.
Наркоманы прицепят себе погоны.
Шприц повесят вместо иконы
Спасителя и Святой Марии.

24

Душу затянут большой вуалью.
Объединят нас сплошной спиралью.
Воткнут в розетку с этил-моралью.
Речь освободят от глагола.
Благодаря хорошему зелью,
закружимся в облаках каруселью.
Будем опускаться на землю
исключительно для укола.

25

Я уже вижу наш мир, который
покрыт паутиной лабораторий.
А паутиною траекторий
покрыт потолок. Как быстро!
Это неприятно для глаза.
Человечество увеличивается в три раза.
В опасности белая раса.
Неизбежно смертоубийство.

26

Либо нас перережут цветные.
Либо мы их сошлем в иные
миры. Вернемся в свои пивные.
Но то и другое – не христианство.
Православные! Это не дело!
Что вы смотрите обалдело?!
Мы бы предали Божье Тело,
расчищая себе пространство.

27

Я не воспитывался на софистах.
Есть что-то дамское в пацифистах.
Но чистых отделять от нечистых -
не наше право, поверьте.
Я не указываю на скрижали.
Цветные нас, бесспорно, прижали.
Но не мы их на свет рожали,
не нам предавать их смерти.

28

Важно многим создать удобства.

(Это можно найти у Гоббса.)

Я сижу на стуле, считаю до ста.

Чистка – грязная процедура.

Не принято плясать на могиле.

Создать изобилие в тесном мире -

это по-христиански. Или:

в этом и состоит Культура.

29

Нынче поклонники оборота

«Религия – опиум для народа»

поняли, что им дана свобода,

дожили до золотого века.

Но в таком реестре (издержки слога)

свобода не выбрать – весьма убога.

Обычно тот, кто плюет на Бога,

плюет сначала на человека.

30

«Бога нет. А земля в ухабах».

«Да, не видать. Отключусь на бабах».

Творец, творящий в таких масштабах,

делает слишком большие рейды

между объектами. Так что то, что

там Его царствие, – это точно.

Оно от мира сего заочно.

Сядьте на свои табуреты.

31

Ночь. Переулок. Мороз блокады.
Вдоль тротуаров лежат карпаты.
Планеты раскачиваются, как лампы,
которые Бог возжег в небосводе
в благоговеньи своем великом
перед непознанным нами ликом
(поэзия делает смотр уликам),
как в огромном кивоте.

III

32

В Новогоднюю ночь я сижу на стуле.
Ярким блеском горят кастрюли.
Я прикладываюсь к микстуре.
Нерв разошелся, как черт в сосуде.
Ощущаю легкий пожар в затылке.
Вспоминаю выпитые бутылки,
вологодскую стражу, Кресты, Бутырки.
Не хочу возражать по сути.

33

Я сижу на стуле в большой квартире.
Ниагара клокочет в пустом сортире.
Я себя ощущаю мишенью в тире,
вздрагиваю при малейшем стуке.
Я закрыл парадное на засов, но

ночь в меня целит рогами Овна,
словно Амур из лука, словно
Сталин в XVII съезд из «тулки».

34

Я включаю газ, согреваю кости.
Я сижу на стуле, трясусь от злости.
Не желаю искать жемчуга в компосте!
Я беру на себя эту смелость!
Пусть изучает навоз кто хочет!
Патриот, господа, не крыловский кочет.
Пусть КГБ на меня не дробит.
Не брэнчи ты в подкладке, мелочь!

35

Я дышу серебром и харкаю медью!
Меня ловят багром и дырявой сетью.
Я дразню гусей и иду к бессмертью,
дайте мне хворостину!
Я беснуюсь, как мышь в темноте сусека!
Выносите святых и портрет Генсека!
Раздается в лесу топор дровосека.
Поваляюсь в сугробе, авось остыну.

36

Ничего не остыну! Вообще забудьте!
Я помышляю почти о бунте!
Не присягал я косому Будде,
за червонец помчусь за зайцем!
Пусть закроется – где стамеска! -

яснополянская хлебобрезка!
Непротивленье, панове, мерзко.
Это мне – как серпом по яйцам!

37

Как Аристотель на дне колодца,
откуда не ведаю что берется.
Зло существует, чтоб с ним бороться,
а не взвешивать в коромысле.
Всех скорбящих по индивиду,
всех подверженных конъюнктивиту, -
всех к той матери по алфавиту:
демократия в полном смысле!

38

Я люблю родные поля, лощины,
реки, озера, холмов морщины.
Все хорошо. Но дерьмо мужчины:
в теле, а духом слабы.
Это я верный закон накнокал.
Все утирается ясный сокол.
Господа, разбейте хоть пару стекол!
Как только терпят бабы?

39

Грустная ночь у меня сегодня.
Смотрит с обоев былая сотня.
Можно поехать в бордель, и сводня -
нумизматка – будет согласна.
Лень отклеивать, суетиться.

Остается тихо сидеть, поститься
да напротив в окно креститься,
пока оно не погасло.

40

"Зелень лета, эх, зелень лета!
Что мне шепчет куст бересклета?
Хорошо пройтись без жилета!
Зелень лета вернется.
Ходит девочка, эх, в платочке.
Ходит по полю, рвет цветочки,
Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.
В небе ласточка вьется".

14 января 1967

К стихам

«Скучен вам, стихи мои, ящик...» Кантемир

Не хотите спать в столе. Прытко
возражаете: "Быв здраву,
корчиться в земле суть пытка".
Отпускаю вас. А что ж? Праву
на свободу возражать – грех. Мне же
хватит и других – здесь, мыслю,
не стихов – грехов. Все реже
сочиняю вас. Да вот, кислу
мину позабыл аж даве
сделать на вопрос: "Как вирши?"

Прибавляете лучей к славе?"

Прибавляю, говорю. Вы же
оставляете меня. Что ж! Дай вам
Бог того, что мне ждаться поздно.
Счастья, мыслю я. Даром,
что я сам вас сотворил. Розно
с вами мы пойдем: вы – к людям,
я – туда, где все будем.

До свидания, стихи. В час добрый.

Не боюсь за вас; есть средство
вам перенести путь долгий:
милые стихи, в вас сердце
я свое вложил. Коль в Лету
канет, то скорбеть мне перву.
Но из двух оправ – я эту
смело предпочел сему перлу.
Вы и краше и добрей. Вы тверже
тела моего. Вы проще
горьких моих дум – что тоже
много вам придаст сил, мощи.
Будут за все то вас, верю,
более любить, чем ноне
вашего творца. Все двери
настежь будут вам всегда. Но не
грустно эдак мне слыть нищу:
я войду в одне, вы – в тыщу.

22 мая 1967

Морские маневры

Атака птеродактилей на стадо

ихтиозавров.

Вниз на супостата

пикирует огнедышащий ящер -

скорей потомок, нежели наш пращур.

Какой-то год от Рождества Христова.

Проблемы положенья холостого.

Гостиница.

И сотрясает люстру

начало возвращения к моллюску.

июнь 1967, Севастополь

* * *

Отказом от скорбного перечня – жест

большой широты в крохоборе! -

сжимая пространство до образа мест,

где я пресмыкался от боли,

как спившийся кравец в предсмертном бреду,

заплатой на барское платье

с изнанки твоих горизонтов кладу

на подвижность эту заклятье!

Проулки, предместья, задворки – любой
твой адрес – пустырь, палисадник, -
что избрано будет для жизни тобой,
давно, как трагедии задник,
настолько я обжил, что где бы любви
своей не воздвигла ты ложе,
все будет не краше, чем храм на крови,
и общим бесплодием схоже.

Прими ж мой процент, разменяв чистоган
разлуки на брачных голубок!
За лучшие дни поднимаю стакан,
как пьет инвалид за обрубок.
На разницу в жизни свернув костыли,
будь с ней до конца солидарной:
не мягче на сплетне себе постели,
чем мне – на листве календарной.

И мертвым я буду существенней для
тебя, чем холмы и озера:
не большую правду скрывает земля,
чем та, что открыта для взора!
В тылу твоём каждый растоптанный знак
воспрянет, как петел ледащий.
И будут круги расширяться, как зрак -
вдогонку тебе, уходящей.

Глушеною рыбой всплывая со дна,
кочуя, как призрак – по ребрам,
как тело, истлевшее прежде рядна,
как тень моя, взапуски с небом,
повсюду начнет возвещать обо мне
тебе, как заправский мессия,
и корчится будут на каждой стене
в том доме, чья крыша – Россия.

июнь 1967

В Паланге

Коньяк в графине – цвета янтаря,
что, в общем, для Литвы симптоматично.
Коньяк вас превращает в бунтаря.
Что не практично. Да, но романтично.
Он сильно обрубаёт якоря
всему, что неподвижно и статично.

Конец сезона. Столики вверх дном.
Ликуют белки, шишками насытятся.
Храпит в буфете русский агроном,
как свыкшийся с распутицею витязь.
Фонтан журчит, и где-то за окном
милуются Юрате и Каститис.

Пустые пляжи чайками живут.

На солнце сохнут пестрые кабины.
За дюнами транзисторы ревут
и кашляют курляндские камины.
Каштаны в лужах сморщенных плывут
почти как гальванические мины.

К чему вся метрополия глуха,
то в дюжине провинций переняли.
Поет апостол рачьего стиха
в своем невразумительном журнале.
И слепок первородного греха
свой образ тиражирует в канале.

Страна, эпоха – плюнь и разотри!
На волнах пляшет пограничный катер.
Когда часы показывают «три»,
слышны, хоть заплыви за дебаркадер,
колокола костела. А внутри
на муки Сына смотрит Богоматерь.

И если жить той жизнью, где пути
действительно расходятся, где фланги,
бесстыдно обнажаясь до кости,
заводят разговор о бумеранге,
то в мире места лучше не найти
осенней, всеми брошенной Паланги.

Ни русских, ни евреев. Через весь
огромный пляж двухлетний археолог,
ушедший в свою собственную спесь,
бредет, зажав фаянсовый осколок.
И если сердце разорвется здесь,
то по-литовски писанный некролог

не превзойдет наклейки с коробка,
где брякают оставшиеся спички.
И солнце, наподобье коlobка,
зайдет, на удивление синичке
на миг за кучевые облака
для траура, а может, по привычке.

Лишь море будет рокотать, скорбя
безлично – как бывает у артистов.
Паланга будет, кашляя, сопя,
прислушиваться к ветру, что неистов,
и молча пропускать через себя
республиканских велосипедистов.

осень 1967

* * *

Волосы за висок
между пальцев бегут,

как волны, наискосок,
и не видно губ,
оставшихся на берегу,
лица, сомкнутых глаз,
замерших на бегу
против течения. Раз-

розненный мир черт
нечем соединить.
Ночь напролет след,
путеводную нить
ищут язык, взор,
подобно борзой,
упираясь в простор,
рассеченный слезой.

Вверх по течению, вниз -
я. Сомкнутых век
не раскрыв, обернись:
там, по течению вверх,
что (не труди глаза)
там у твоей реки?
Не то же ли там, что за
устьем моей руки?

Мир пятерни. Срез
ночи. И мир ресниц.

Тот и другой без
обозримых границ.
И наши с тобой слова,
помыслы и дела
бесконечны, как два
ангельские крыла.

1967

Отрывок

Октябрь – месяц грусти и простуд,
а воробьи – пролетарьят пернатых -
захватывают в брошенных пенатах
скворечники, как Смольный институт.
И воронье, конечно, тут как тут.

Хотя вообще для птичьего ума
понятья нет страшнее, чем зима,
куда сильней страшится перелета
наш длинноносый северный Икар.
И потому пронзительное «карр!»
звучит для нас как песня патриота.

1967

Отрывок

М. Б.

Ноябрьским днем, когда защищены
от ветра только голые деревья,
а все необнаженное дрожит,
я медленно бреду вдоль колоннады
дворца, чьи стекла чествуют закат
и голубей, слетевшихся гурьбою
к заполненным окурками весам
слепой богини.

Старые часы
показывают правильное время.
Вода бурлит, и облака над парком
не знают толком что им предпринять,
и пропускают по ошибке солнце.

1967

По дороге на Скирос [46]

Я покидаю город, как Тезей -
свой Лабиринт, оставив Минотавра
смердеть, а Ариадну – ворковать
в объятьях Вакха.
Вот она, победа!
Апофеоз подвижничества! Бог
как раз тогда подстраивает встречу,
когда мы, в центре завершив дела,
уже бредем по пустырю с добычей,
навек уходя из этих мест,
чтоб больше никогда не возвращаться.

В конце концов, убийство есть убийство.
Долг смертных ополчаться на чудовищ.
Но кто сказал, что чудовища бессмертны?
И – дабы не могли мы возомнить
себя отличными от побежденных -
Бог отнимает всякую награду
(тайком от глаз ликующей толпы)
и нам велит молчать. И мы уходим.

Теперь уже и вправду – навсегда.
Ведь если может человек вернуться
на место преступления, то туда,
где был унижен, он прийти не сможет.
И в этом пункте планы Божества
и наше ощущение униженья
настолько абсолютно совпадают,
что за спиной остаются: ночь,
смердящий зверь, ликующие толпы,
дома, огни. И Вакх на пустыре
милуется в потемках с Ариадной.

Когда-нибудь придется возвращаться.
Назад. Домой. К родному очагу.
И ляжет путь мой через этот город.
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной
двуострого меча, поскольку город

обычно начинается для тех,
кто в нем живет, с центральных площадей
и башен.

А для странника – с окраин.

1967

Прощайте, мадемуазель Вероника

I

Если кончу дни под крылом голубки,
что вполне реально, раз мясорубки
становятся роскошью малых наций -

после множества комбинаций

Марс перемещается ближе к пальмам;

а сам я мухи не трону пальцем

даже в ее апогей, в июле -

словом, если я не умру от пули,

если умру в постели, в пижаме,

ибо принадлежу к великой державе,

II

то лет через двадцать, когда мой отпрыск,

не сумеет отоварить лавровый отблеск,

сможет сам зарабатывать, я осмелюсь

бросить свое семейство – через

двадцать лет, окружен опекой,

по причине безумия, в дом с аптекой

я приду пешком, если хватит силы,

за единственным, что о тебе в России

мне напомнит. Хоть против правил

возвращаться за тем, что другой оставил.

III

Это в сфере нравов сочтут прогрессом.

Через двадцать лет я приду за креслом,
на котором ты предо мной сидела
в день, когда для Христова тела
завершались распятия муки -
в пятый день Страстной ты сидела, руки
скрестив, как Буонапарт на Эльбе.
И на всех перекрестках белели вербы.
Ты сложила руки на зелень платья,
не рискуя их раскрывать в объятья.

IV

Данная поза, при всей приязни,
это лучшая гемма для нашей жизни.
И она отнюдь не неподвижность. Это -
апофеоз в нас самих предмета:
замена смиренья простым покоем.
То есть, новый вид христианства, коим
долг дорожить и стоять на страже
тех, кто, должно быть, способен, даже
когда придет Гавриил с трубою,
мертвый предмет продолжать собою!

V

У пророков не принято быть здоровым.
Прорицатели в массе увечны. Словом,
я не более зряч, чем назонов Калхас.

Потому прорицать – все равно, что кактус
или львиный зев подносить к забралу.
Все равно, что учить алфавит по Брайлю.
Безнадежно. Предметов, по крайней мере,
на тебя похожих наощупь, в мире,
что называется, кот наплакал.
Какова твоя жертва, таков оракул.

VI

Ты, несомненно, простишь мне этот
гаерский тон. Это – лучший метод
сильные чувства спасти от массы
слабых. Греческий принцип маски
снова в ходу. Ибо в наше время
сильные гибнут. Тогда как племя
слабых – плодится и врозь и оптом.
Прими же сегодня, как мой постскрипtum
к теории Дарвина, столь пожухлой,
эту новую правду джунглей.

VII

Через двадцать лет, ибо легче вспомнить
то, что отсутствует, чем восполнить
это чем-то иным снаружи;
ибо отсутствие права хуже,
чем твое отсутствие, – новый Гоголь,
насмотреться сумею, бесспорно, вдоволь,
без оглядки вспять, без былой опаски, -
как волшебный фонарь Христовой Пасхи
оживляет под звуки воды из крана

спинку кресла пустого, как холст экрана.

VIII

В нашем прошлом – величье. В грядущем – проза.

Ибо с кресла пустого не больше спроса,
чем с тебя, в нем сидевшей Ла Гарды тише,
руки сложив, как писал я выше.

Впрочем, в сумме своей наших дней объятья
много меньше раскинутых рук распятыя.

Так что эта находка певца хромого
сейчас, на Страстной Шестьдесят Седьмого,
предо мной маячит подобьем вето
на прыжки в девяностые годы века.

IX

Если меня не спасет та птичка,
то есть, если она не снесет яичка
и в сем лабиринте без Ариадны
(ибо у смерти есть варианты,
предвидеть которые – тоже доблесть)
я останусь один и, увы, сподоблюсь
холеры, доноса, отправки в лагерь,
то – если только не ложь, что Лазарь
был воскрешен, то я сам воскресну.
Тем скорее, знаешь, приближусь к креслу.

X

Впрочем, спешка глупа и греховна. Vale!
То есть некуда так поспешать. Едва ли
может крепкому креслу грозить погибель.

Ибо у нас на Востоке мебель
служит трем поколениям кряду.
А я исключаю пожар и кражу.
Страшней, что смешать его могут с кучей
других при уборке. На этот случай
я даже сделать готов зарубки,
изобразив голубка голубки.

XI

Пусть теперь кружит, как пчелы ульев,
по общим орбитам столов и стульев
кресло твое по ночной столовой.
Клеймо – не позор, а основа новой
астрономии, что – перейдем на шепот -
подтверждает армейско-тюремный опыт:
заклейменные вещи – источник твердых
взглядов на мир у живых и мертвых.
Так что мне не взирать, как в подобны лица,
на похожие кресла с тоской Улисса.

XII

Я – не сборщик реликвий. Подумай, если
эта речь длинновата, что речь о кресле
только повод проникнуть в другие сферы.
Ибо от всякой великой веры
остаются, как правило, только мощи.
Так суди же о силе любви, коль вещи
те, к которым ты прикоснулась ныне,
превращаю – при жизни твоей – в святыни.
Посмотри: доказуют такие нравы

не величье певца, но его державы.

XIII

Русский орел, потеряв корону,
напоминает сейчас ворону.
Его, горделивый недавно, клекот
теперь превратился в картавый рокот.
Это – старость орлов или – голос страсти,
обернувшийся следствием, эхом власти.
И любовная песня – немногим тише.
Любовь – имперское чувство. Ты же
такова, что Россия, к своей удаче,
говорить не может с тобой иначе.

XIV

Кресло стоит и вбирает теплый
воздух прихожей. В стояк за каплей
падает капля из крана. Скромно
стрекочет будильник под лампой. Ровно
падает свет на пустые стены
и на цветы у окна, чьи тени
стремятся за раму продлить квартиру.
И вместе все создает картину
того в этот миг – и вдали, и возле -
как было до нас. И как будет после.

XV

Доброй ночи тебе, да и мне – не бденья.
Доброй ночи стране моей для сведенья
личных счетов со мной пожелай оттуда,

где, посредством верст или просто чуда,
ты превратишься в почтовый адрес.
Деревья шумят за окном, и абрис
крыш представляет границу суток...
В неподвижном теле порой рассудок
открывает в руке, как в печи, заслонку.
И перо за тобою бежит в догонку.

XVI

Не догонит!.. Поелику ты – как облак.
То есть, облик девы, конечно, облик
души для мужчины. Не так ли, Муза?
В этом причины и смерть союза.
Ибо души – бесплотны. Ну что ж, тем дальше
ты от меня. Не догонит!.. Дай же
на прощание руку. На том спасибо.
Величава наша разлука, ибо
навсегда расстаемся. Смолкает цитра.
Навсегда – не слово, а вправду цифра,
чьи нули, когда мы зарастем травой,
перекроют эпоху и век с лихвою.

1967

* * *

Сын! Если я не мертв, то потому
что, связок не щадя и перепонок,
во мне кричит все детское: ребенок
один страшится уходить во тьму.

Сын! Если я не мертв, то потому
что молодости пламенной – я молод -
с ее живыми органами холод
столь дальних палестин не по уму.

Сын! Если я не мертв, то потому
что взрослый не зовет себе подмогу.
Я слишком горд, чтобы за то, что Богу
предписывалось, братья самому.

Сын! Если я не мертв, то потому
что близость смерти ложью не унижу.
Я слишком стар. Но и вблизи не вижу
там избавленья сердцу моему.

Сын! Если я не мертв, то потому
что знаю, что в Аду тебя не встречу.
Апостол же, чьей воле я перечу,
в Рай не позволит занести чуму.

Сын! Я бессмертен. Не как оптимист.
Бессмертен как животное. Что строже.
Все волки для охотника – похожи.
А смерть – ничтожный физиогномист.

Грех спрашивать с разрушенных орбит!
Но лучше мне кривиться в укоризне,
чем быть тобой неузнанным при жизни.
Услышь меня, отец твой не убит.

1967

Фонтан

Из пасти льва
струя не журчит и не слышно рыка.
Гиацинты цветут. Ни свистка, ни крика,
никаких голосов. Неподвижна листва.
И чужда обстановка сия для столь грозного лика,
и нова.
Пересохли уста,
и гортань проржавела: металл не вечен.
Просто кем-нибудь наглухо кран заверчен,
хоронящийся в куцах, в конце хвоста,
и крапива опутала вентиль. Спускается вечер;
из куста
сонм теней
выбегает к фонтану, как львы из чащи.
Окружают сородича, спящего в центре чаши,
перепрыгнув барьер, начинают носиться в ней,
лизжут морду и лапы вождя своего. И, чем чаще,
тем темней
грозный облик. И вот

наконец он сливается с ними и резко
оживает и прыгает вниз. И все общество резво
убегает во тьму. Небосвод
прячет звезды за тучу, и мыслящий трезво
назовет
похищенье вождя -
так как первые капли блестят на скамейке -
назовет похищенье вождя приближеньем дождя.
Дождь спускает на землю косые линейки,
строая в воздухе сеть или клетку для львиной семейки
без узла и гвоздя.
Теплый
дождь
моросит.
Как и льву, им гортань
не остудишь.
Ты не будешь любим и забыт не будешь.
И тебя в поздний час из земли воскресит,
если чудищем был ты, компания чудищ.
Разгласит
твой побег
дождь и снег.
И, не склонный к простуде,
все равно ты вернешься в сей мир на ночлег.
Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде.
Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие люди
и голубки – в ковчег.

1967

Элегия на смерть Ц. В. [47]

В пространстве, не дыша,
несется без дорог
еще одна душа
в невидимый чертог.

А в сумраке, внизу,
измученный сосуд
в кладбищенском лесу
две лошади везут.

Отсюда не воззвать,
отсюда не взглянуть.
Расставшихся в кровать
больницы не вернуть.

Простились без тоски,
друг другу не грозя,
при жизни не враги,
по смерти не друзья.

Сомненья не унять.
Шевелится в груди
стремленье уравниять
столь разные пути.

Пускай не объяснить
и толком не связать,
пускай не возопить,
но шепотом сказать,

что стынувший старик,
плывущий в темноте,
пронзительней, чем крик
«Осанна» в высоте.

Поскольку мертвецы
не ангелам сродни,
а наши близнецы.
Поскольку в наши дни

доступнее для нас,
из вариантов двух,
страдание на глаз
бессмертия на слух.

1967

1 сентября 1939 года

День назывался «первым сентября».

Детишки шли, поскольку – осень, в школу.

А немцы открывали полосатый
шлагбаум поляков. И с гуденьем танки,
как ногтем – шоколадную фольгу,
разгладили улан.

Достань стаканы
и выпьем водки за улан, стоящих
на первом месте в списке мертвецов,
как в классном списке.

Снова на ветру
шумят березы и листва ложится,
как на оброненную конфедератку,
на кровлю дома, где детей не слышно.

И тучи с громыханием ползут,
минуя закатившиеся окна.

1967

Postscriptum

Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существование для тебя.
...В который раз на старом пустыре
я запускаю в проволочный космос
свой медный грош, увенчанный гербом,
в отчаянной попытке возвеличить
момент соединения... Увы,
тому, кто не способен заменить
собой весь мир, обычно остается

крутить щербатый телефонный диск,
как стол на спиритическом сеансе,
покуда призрак не ответит эхом
последним воплям зуммера в ночи.

1967

* * *

Время года – зима. На границах спокойствие. Сны
переполнены чем-то замужним, как вязким вареньем.
И глаза праотца наблюдают за дрожью блесны,
торжествующей втуне победу над щучьим веленьем.

Хлопни оземь хвостом, и в морозной декабрьской мгле
ты увидишь, oprичь своего неприкрытого срама -
полумесяц плывет в запыленном оконном стекле
над крестами Москвы, как лихая победа Ислама.

Куполов, что голов, да и шпилей – что задранных ног.
Как за смертным порогом, где встречу друг другу назначим,
где от пуза кумирен, градирен, кремлей, синагог,
где и сам ты хорош со своим минаретом стоячим.

Не купись на басах, не сорвись на глухой фистуле.
Коль не подлую власть, то самих мы себя перебором.
Застегни же зубчатую пасть. Ибо если лежать на столе,

то не все ли равно – ошибиться крюком или морем.

1967-1970

Anno Domini

М. Б.

Провинция справляет Рождество.

Дворец Наместника увит омелой,

и факелы дымятся у крыльца.

В проулках – толчея и озорство.

Веселый, праздный, грязный, очумелый

народ толпится позади дворца.

Наместник болен. Лежа на одре,

покрытый шалью, взятой в Альказаре,

где он служил, он размышляет о

жене и о своем секретаре,

внизу гостей приветствующих в зале.

Едва ли он ревнует. Для него

сейчас важней замкнуться в скорлупе

болезней, снов, отсрочки перевода

на службу в Метрополию. Зане

он знает, что для праздника толпе

совсем не обязательна свобода;

по этой же причине и жене

он позволяет изменять. О чем
он думал бы, когда б его не грызли
тоска, припадки? Если бы любил?
Невольню зябко поводя плечом,
он гонит прочь пугающие мысли.
...Веселье в зале умеряет пыл,

но все же длится. Сильно опьянев,
вожди племен стеклянными глазами
взирают в даль, лишённую врага.
Их зубы, выражавшие их гнев,
как колесо, что сжато тормозами,
застряли на улыбке, и слуга

подкладывает пищу им. Во сне
кричит купец. Звучат обрывки песен.
Жена Наместника с секретарем
выскальзывают в сад. И на стене
орел имперский, выклевавший печень
Наместника, глядит нетопырем...

И я, писатель, повидавший свет,
пересекавший на осле экватор,
смотрю в окно на спящие холмы
и думаю о сходстве наших бед:

его не хочет видеть Император,
меня – мой сын и Цинтия. И мы,

мы здесь и сгинем. Горькую судьбу
гордыня не возвысит до улики,
что отошли от образа Творца.
Все будут одинаковы в гробу.
Так будем хоть при жизни разнолики!
Зачем куда-то рваться из дворца -

отчизне мы не судьи. Меч суда
погрязнет в нашем собственном позоре:
наследники и власть в чужих руках.
Как хорошо, что не плывут суда!
Как хорошо, что замерзает море!
Как хорошо, что птицы в облаках

субтильны для столь тягостных телес!
Такого не поставишь в укоризну.
Но может быть находится как раз
к их голосам в пропорции наш вес.
Пускай летят поэтому в отчизну.
Пускай орут поэтому за нас.

Отечество... чужие господа
у Цинтии в гостях над колыбелью

склоняются, как новые волхвы.

Младенец дремлет. Теплится звезда,
как уголь под остывшею купелью.

И гости, не коснувшись головы,

нимб заменяют ореолом лжи,
а непорочное зачатие – сплетней,
фигурой умолчанья об отце...

Дворец пустеет. Гаснут этажи.

Один. Другой. И, наконец, последний.

И только два окна во всем дворце

горят: мое, где, к факелу спиной,
смотрю, как диск луны по редколесью
скользит и вижу – Цинтию, снега;

Наместника, который за стеной
всю ночь безмолвно борется с болезнью
и жжет огонь, чтоб различить врага.

Враг отступает. Жидкий свет зари,
чуть занимаясь на Востоке мира,
вползает в окна, норовя взглянуть
на то, что совершается внутри,
и, натываясь на остатки пира,
колеблется. Но продолжает путь.

январь 1968, Паланга

* * *

Е. Р.

Я выпил газированной воды
под башней Белорусского вокзала
и оглянулся, думая, куда
отсюда бросить кости.
Вылезала
из-под домов набрякшая листва.
Из метрополитеновского горла
сквозь турникеты масса естества,
как черный фарш из мясорубки, перла.
Чугунного Максимыча спина
маячила, жужжало мото-вело,
неслись такси, грузинская шпана,
вцепившись в розы, бешено ревела.
Из-за угла несло нашатырем,
лаврентием и средствами от зуда.
И я был чужд себе и четырем
возможным направлениям отсюда.
Красавица уехала.
Ни слез,
ни мыслей, настигающих подругу.
Огни, столпотворение колес,
пригодных лишь к движению по кругу.

18 июля 1968, Москва

Песня пустой веранды

Not with a bang but a whimper. [48] T.S.Eliot

Март на исходе, и сад мой пуст.

Старая птица, сядь на куст,
у которого в этот день
только и есть, что тень.

Будто и не было тех шести
лет, когда он любил цвести;
то есть грядущее тем, что наг,
делает ясный знак.

Или, быломu в противовес,
гол до земли, но и чужд небес,
он, чьи ветви на этот раз -
лишь достижение глаз.

Знаю и сам я не хуже всех:
грех осуждать нищету. Но грех
так обнажать – поперек и вдоль -
язвы, чтоб вызвать боль.

Я бы и сам его проклял, но
где-то птице пора давно

сесть, чтоб не смешить ворон;
пусть это будет он.

Старая птица и голый куст,
соприкасаясь, рождают хруст.
И, если это принять всерьез,
это – апофеоз.

То, что цвело и любило петь,
стало тем, что нельзя терпеть
без сострадания – не к их судьбе,
но к самому себе.

Грустно смотреть, как, сыграв отбой,
то, что было самой судьбой
призвано скрасить последний час,
меняется раньше нас.

То есть предметы и свойства их
одушевленное нас самих.
Всюду сквозит одержимость тел
манией личных дел.

В силу того, что конец страшит,
каждая вещь на земле спешит

больше вкусить от своих ковриг,
чем позволяет миг.

Свет – ослепляет. И слово – лжет.
Страсть утомляет. А горе – жжет,
ибо страданье – примат огня
над единицей дня.

Лучше не верить своим глазам
да и устам. Оттого что Сам
Бог, предваряя Свой Страшный Суд,
жаждет казнить нас тут.

Так и рождается тот устав,
что позволяет, предметам дав
распоряжаться своей судьбой,
их заменять собой.

Старая птица, покинь свой куст.
Стану отныне посредством уст
петь за тебя, и за куст цвести
буду за счет горсти.

Так изменились твои черты,
что будто на воду села ты,

лапки твои на вид мертвей
цепких нагих ветвей.

Можешь спокойно лететь во тьму.

Встану и место твое займу.

Этот поступок осудит тот,
кто не встречал пустот.

Ибо, чужда четверем стенам,
жизнь, отступая, бросает нам
полые формы, и нас язвит
их нестерпимый вид.

Знаю, что голос мой во сто раз
хуже, чем твой – пусть и низкий глас.
Но даже режущий ухо звук
лучше безмолвных мук.

Мир если гибнет, то гибнет без
грома и лязга; но также не с
робкой, прощающей грех слепой
веры в него, мольбой.

В пляске огня, под напором льда
подлинный мира конец – когда

песня, которая всем горчит,
выше нотой звучит.

октябрь 1968

Письмо генералу Z.

"Война, Ваша Светлость, пустая игра.

Сегодня – удача, а завтра – дыра..."

Песнь об осаде Ла-Рошели

Генерал! Наши карты – дерьмо. Я пас.

Север вовсе не здесь, но в Полярном Круге.

И Экватор шире, чем ваш лампас.

Потому что фронт, генерал, на Юге.

На таком расстоянии любой приказ

превращается рацией в буги-вуги.

Генерал! Ералаш перерос в бардак.

Бездорожье не даст подвести резервы

и сменить белье: простыня – наждак;

это, знаете, действует мне на нервы.

Никогда до сих пор, полагаю, так

не был загажен алтарь Минервы.

Генерал! Мы так долго сидим в грязи,

что король червей загодя ликует,

и кукушка безмолвствует. Упаси,
впрочем, нас услышать, как она кукует.
Я считаю, надо сказать мерси,
что противник не атакует.

Наши пушки уткнулись стволами вниз,
ядра размякли. Одни горнисты,
трубы свои извлекая из
чехлов, как заядлые онанисты,
драют их сутками так, что вдруг
те исторгают звук.

Офицеры бродят, презрев устав,
в галифе и кителях разной масти.
Рядовые в кустах на сухих местах
предаются друг с другом постыдной страсти,
и краснеет, спуская пунцовый стяг,
наш сержант-холостяк.

—
Генерал! Я сражался всегда, везде,
как бы ни были шансы малы и шатки.
Я не нуждался в другой звезде,
кроме той, что у вас на шапке.
Но теперь я как в сказке о том гвозде:
вбитом в стену, лишенном шляпки.

Генерал! К сожалению, жизнь – одна.
Чтоб не искать доказательств вящих,
нам придется испить до дна
чашу свою в этих скромных чашах:
жизнь, вероятно, не так длинна,
чтоб откладывать худшее в долгий ящик.

Генерал! Только душам нужны тела.
Души ж, известно, чужды злорадства,
и сюда нас, думаю, завела
не стратегия даже, но жажда братства:
лучше в чужие вступать дела,
коли в своих нам не разобраться.

Генерал! И теперь у меня – мандраж.
Не пойму, отчего: от стыда ль, от страха ль?
От нехватки дам? Или просто – блажь?
Не помогает ни врач, ни знахарь.
Оттого, наверно, что повар ваш
не разбирает, где соль, где сахар.

Генерал! Я боюсь, мы зашли в тупик.
Это – месья пространства косою сажени.
Наши пики ржавеют. Наличье пик -
это еще не залог мишени.
И не двинется тень наша дальше нас
даже в закатный час.

—
Генерал! Вы знаете, я не трус.
Выньте досье, наведите справки.
К пуле я безразличен. Плюс
я не боюсь ни врага, ни ставки.
Пусть мне прилепят бубновый туз
между лопаток – прошу отставки!

Я не хочу умирать из-за
двух или трех королей, которых
я вообще не видал в глаза
(дело не в шорах, но в пыльных шторах).
Впрочем, и жить за них тоже мне
неохота. Вдвойне.

Генерал! Мне все надоело. Мне
скучен крестовый поход. Мне скучен
вид застывших в моем окне
гор, перелесков, речных излучин.
Плохо, ежели мир вовне
изучен тем, кто внутри измучен.

Генерал! Я не думаю, что ряды
ваши покинув, я их ослаблю.
В этом не будет большой беды:
я не солист, но я чужд ансамблю.

Вынув мундштук из своей дуды,
жгу свой мундир и ломаю саблю.

—
Птиц не видать, но они слышны.

Снайпер, томясь от духовной жажды,
то ли приказ, то ль письмо жены,
сидя на ветке, читает дважды,
и берет от скуки художник наш
пушку на карандаш.

Генерал! Только Время оценит вас,
ваши Канны, флешы, каре, когорты.
В академиях будут впадать в экстаз;
ваши баталии и натюрморты
будут служить расширению глаз,
взглядов на мир и вообще аорты.

Генерал! Я вам должен сказать, что вы
вроде крылатого льва при входе
в некий подъезд. Ибо вас, увы,
не существует вообще в природе.
Нет, не то чтобы вы мертвы
или же биты – вас нет в колоде.

Генерал! Пусть меня отдадут под суд!
Я вас хочу ознакомить с делом:

сумма страданий дает абсурд;
пусть же абсурд обладает телом!
И да маячит его сосуд
чем-то черным на чем-то белом.

Генерал, скажу вам еще одно:
Генерал! Я взял вас для рифмы к слову
«умирал» – что было со мною, но
Бог до конца от зерна полову
не отделил, и сейчас ее
употреблять – вранье.

На пустыре, где в ночи горят
два фонаря и гниют вагоны,
наполовину с себя наряд
сняв шутовской и сорвав погоны,
я застываю, встречая взгляд
камеры Лейц или глаз Горгоны.

Ночь. Мои мысли полны одной
женщиной, чудной внутри и в профиль.
То, что творится сейчас со мной,
ниже небес, но превыше кровель.
То, что творится со мной сейчас,
не оскорбляет вас.

Генерал! Вас нету, и речь моя
обращена, как обычно, ныне
в ту пустоту, чьи края – края
некой обширной, глухой пустыни,
коей на картах, что вы и я
видеть могли, даже нет в помине.

Генерал! Если все-таки вы меня
слышите, значит, пустыня прячет
некий оазис в себе, маня
всадника этим; а всадник, значит,
я; я пришпориваю коня;
конь, генерал, никуда не скачет.

Генерал! Воевавший всегда как лев,
я оставляю пятно на флаге.
Генерал, даже карточный домик – хлев.
Я пишу вам рапорт, припадаю к фляге.
Для переживших великий блеф
жизнь оставляет клочок бумаги.

осень 1968

Почти элегия

В былые дни и я переживал
холодный дождь под колоннадой Биржи.
И полагал, что это – Божий дар.

И, может быть, не ошибался. Был же
и я когда-то счастлив. Жил в плену
у ангелов. Ходил на вурдалаков.
Сбегавшую по лестнице одну
красавицу в парадном, как Иаков,
подстерегал.
Куда-то навсегда
ушло все это. Спряталось. Однако
смотрю в окно и, написав «куда»,
не ставлю вопросительного знака.
Теперь сентябрь. Передо мною – сад.
Далекий гром закладывает уши.
В густой листве налившись груши
как мужеские признаки висят.
И только ливень в дремлющий мой ум,
как в кухню дальних родственников – скарред,
мой слух об эту пору пропускает:
не музыку еще, уже не шум.

осень 1968

* * *

Весы качнулись. Молвить не греша,
ты спятила от жадности, Параша.
Такое что-то на душу, спеша
разбогатеть, взяла из ералаша,
что тотчас поплыла моя душа
наверх, как незагруженная чаша.

Отшельник без вещей и с багажом
пушинка и по форме и по смыслу,
коль двое на постель да нагишом
взойдут, скроив физиономью кислу;
и, хоть живешь ты выше этажом,
неможно не задраться коромыслу.

Параша, равновесию вредит
не только ненормальный аппетит,
но самое стремленье к равновесью,
что видно и в стараниях блудниц,
в запорах, и в стирании границ
намеренном меж городом и весью.

Параша, ты отныне далека.
Возносит тяготение к прелюбам.
И так как мне мешают облака,
рукой дындып сложимши перед клювом,
не покажу вам с другом кулака
и ангелов своих не покажу вам.

Прощай, Параша! Выключив часы
здесь наверху, как истинный сиделец
я забываю все твои красы,
которым я отныне не владелец,
и зрю вблизи полнощные Весы,

под коими родился наш младенец.

1968

Неоконченный отрывок

F. W.

Самолет летит на Вост,
расширяя круг тех мест
– от страны к другой стране, -
где тебя не встретить мне.

Обгоняя дни, года,
тенью крыльев «никогда»
на земле и на воде
превращается в «нигде».

Эта боль сильнее, чем та:
слуху зренье не чета,
ибо время – область фраз,
а пространство – пища глаз.

На лесах, полях, жилье,
точно метка – на белье,
эта тень везде – хоть плачь
оттого, что просто зряч.

Частокол застав, границ
– что горе воззреть, что ниц, -
как он выглядит с высот,
леprozорий для двухсот
миллионов?

1968

Памяти Т. Б.

1

Пока не увяли цветы и лента
еще не прошла через известь лета,
покуда черна и вольна цыганить,
ибо настолько длинна, что память
моя, как бы внемля ее призыву,
потянет ее, вероятно, в зиму, -

2

прими от меня эту рифмо-лепту,
которая если пройдет сквозь Лету,
то потому что пошла с тобою,
опередившей меня стопою;
и это будет тогда, подруга,
твоя последняя мне услуга.

3

Вот уж не думал увидеть столько
роз; это – долг, процент, неустойка

лета тому, кто бесспорно должен
сам бы собрать их в полях, но дожил
лишь до цветенья, а им оставил
полную волю в трактовке правил.

4

То-то они тут и спят навалом.
Ибо природа честна и в малом,
если дело идет о боли
нашей; однако, не в нашей воле
эти мотивы назвать благими;
смерть – это то, что бывает с другими.

5

Смерть – это то, что бывает с другими.
Даже у каждой пускай богини
есть фавориты в разряде смертных,
точно известно, что вовсе нет их
у Персефоны; а рябь извилин
тем доверяет, чей брак стабилен.

6

Все это помнить, пока есть сила,
пока все это свежо и сыро,
пока оболочка твоя, – вернее,
прощанье с ней для меня больнее,
чем расставанье с твоей душою,
о каковой на себя с большою

7

радостью Бог – о котором после,
будет ли то Магомет, Христос ли,
словом сама избрала кого ты
раньше, при жизни – возьмет заботы
о несомненном грядущем благе -
пока сосуд беззащитной влаги.

8

С того разреши мне на этом свете
сказать о ее, оболочки, смерти,
о том, что случилось в тот вечер в Финском
Заливе и стало на зависть сфинксам
загадкой – ибо челнок твой вовсе
не затонул, но остался возле.

9

Вряд ли ты знала тогда об этом,
лодка не может и быть предметом
бденье души, у которой сразу
масса забот, недоступных глазу,
стоит ей только покинуть тело;
вряд ли ты знала, едва ль хотела

10

мучить нас тайной, чья сложность либо
усугубляет страданье (ибо
повод к разлуке важней разлуки);
либо она облегчает муки
при детективном душевном складе;
даже пускай ты старалась ради

11

этих последних, затем что все же
их большинство, все равно похоже,
что и для них, чьи глаза от плача
ты пожелала сберечь, задача
неразрешима; и блеск на перлах
их многоточия – слезы первых.

12

Чаяк не спросишь, и тучи скрылись.
Что бы смогли мы увидеть, силясь
глянуть на все это птичьим взглядом?
Как ты качалась на волнах рядом
с лодкой, не внемля их резким крикам,
лежа в столь малом и столь великом

13

от челнока расстоянья. Точно
так и бывает во сне; но то, что
ты не цеплялась, – победа яви:
ибо страдая во сне, мы вправе
разом проснуться и с дрожью в теле
впиться пальцами в край постели.

14

Чаяк не спросишь, и нету толка
в гомоне волн. Остаются только
тучи – но их разгоняет ветер.
Ибо у смерти всегда свидетель -

он же и жертва. И к этой новой
роли двойной ты была готовой.

15

Впрочем и так, при любом разбросе
складов душевных, в самом вопросе
«Чем это было?» разгадки средство.
Самоубийством? Разрывом сердца
в слишком холодной воде залива?
Жизнь позволяет поставить «либо».

16

Эта частица отнюдь не фора
воображенью, но просто форма
тождества двух вариантов, выбор
между которыми – если выпал -
преображает неподвижность чистых
двух параллельных в поток волнистых.

17

Эта частица – кошмар пророков -
способ защиты от всех упреков
в том, что я в саване хищно роюсь,
в том, что я «плохо о мертвой» – то есть
самоубийство есть грех и вето;
а я за тобой полагаю это.

18

Ибо, включая и этот случай,
все ж ты была христианкой лучшей,

нежели я. И, быть может, с точки
зрения тюркских певцов, чьи строчки
пела ты мне, и вообще Ислама,
в этом нет ни греха, ни срама.

19

Толком не знаю. Но в каждой вере
есть та черта, что по крайней мере
объединяет ее с другими:
то не запреты, а то, какими
люди были внизу, при жизни,
в полной серпов и крестов отчизне.

20

Так что ты можешь идти без страха:
ризы Христа иль чалма Аллаха,
соединенье газели с пловом
или цветущие кущи – словом,
в два варианта Эдема двери
настежь открыты, смотря по вере.

21

То есть одетый в любое платье
Бог тебя примет в свое объятье,
и не в любви тут дело Отчей:
в том, что, нарушив довольно общий
смутный завет, ты другой, подробный,
твердо хранила: была ты доброй.

22

Это на счетах любых дорожке:

здесь на земле, да и в горних тоже.

Время повсюду едино. Годы

жизни повсюду важней, чем воды,

рельсы, петля или вскрытие вены;

все эти вещи почти мгновенны.

23

Так что твой грех, говоря по сути,

равен – относится к той минуте,

когда ты глотнула последний воздух,

в легких с которым лежать на водах

так и осталась, качаясь мерно.

А добродетель твоя, наверно,

24

эту минуту и ветра посвист

перерастет, как уже твой возраст

переросла, ибо день, когда я

данные строки, почти рыдая,

соединяю, уже превысил

разность выбитых в камне чисел.

25

Черная лента цыганит с ветром.

Странно тебя оставлять нам в этом

месте, под грудой цветов, в могиле,

здесь, где люди лежат, как жили:

в вечной своей темноте, в границах;

разница вся в тишине и птицах.

26

Странно теперь, когда ты в юдоли
лучшей, чем наша, нам плакать. То ли
вера слаба, то ли нервы слабы:
жалость уместней Господней Славы
в мире, где души живут лишь в теле.
Плачу, как будто на самом деле

27

что-то остаться могло живое.
Ибо, когда расстаются двое,
то, перед тем как открыть ворота,
каждый берет у другого что-то
в память о том, как их век был прожит:
тело – незримость; душа, быть может,

28

зренье и слух. Оттого и плачу,
что неглубоко надежду прячу,
будто слышишь меня и видишь,
но со словами ко мне не выйдешь:
ибо душа, что набрала много,
речь не взяла, чтоб не гневить Бога.

29

Плачу. Вернее, пишу, что слезы
льются, что губы дрожат, что розы
вянут, что запах лекарств и дерна
резок. Писать о вещах, бесспорно,

тебе до смерти известных, значит
плакать за ту, что сама не плачет.

30

Разве ты знала о смерти больше
нежели мы? Лишь о боли. Боль же
учит не смерти, но жизни. Только
то ты и знала, что сам я. Столько
было о смерти тебе известно,
сколько о браке узнать невеста

31

может – не о любви: о браке.
Не о накале страстей, о шлаке
этих страстей, о холодном, колком
шлаке – короче, об этом долгом
времени жизни, о зимах, летах.
Так что сейчас, в этих черных лентах,

32

ты как невеста. Тебе, не знавшей
брака при жизни, из жизни нашей
прочь уходящей, покрытой дерном,
смерть – это брак, это свадьба в черном,
это те узы, что год от года
только прочнее, раз нет развода.

33

Слышишь, опять Персефоны голос?
Тонкий в руках ее вьется волос

жизни твоей, рассеченный Паркой.

То Персефона поет над прялкой
песню о верности вечной мужу;
только напев и плывет наружу.

34

Будем помнить тебя. Не будем
помнить тебя. Потому что людям
свойственна тяга к объектам зримым
или к предметам настолько мнимым,
что не под силу сердечным нетям.
И, не являясь ни тем, ни этим,

35

ты остаешься мазком, наброском,
именем, чуждым своим же тезкам
и не бросающим смертной тени
даже на них. Что поделать с теми,
тел у кого, чем имен, намного
больше? Но эти пока два слога -

36

Таня – еще означают тело
только твое, не пуская в дело
анестезию рассудка, ими
губы свои раздвигая, имя
я подвергаю твое огласке
в виде последней для тела ласки.

37

Имя твое расстается с горлом
сдавленным. Пользуясь впредь глаголом,
созданным смертью, чтоб мы пропажи
не замечали, кто знает, даже
сам я считать не начну едва ли,
будто тебя «умерла» и звали.

38

Если сумею живым, здоровым
столько же с этим прожить я словом
лет, сколько ты прожила на свете,
помни: в Две Тысячи Первом лете,
с риском быть вписанным в святотатцы,
стану просить, чтоб расширить святцы.

39

Так, не сумевши ступать по водам,
с каждым начнешь становиться годом,
туфельки следом на водах тая,
все беспредметней; и – сам когда я
не дотянувши до этой даты,
посуху двину туда, куда ты

40

первой ушла, в ту страну, где все мы
души всего лишь, бесплотны, немы,
то есть где все – мудрецы, придурки, -
все на одно мы лицо, как тюрки, -
вряд ли сыщу тебя в тех покоях,
встреча с тобой оправдание коих.

41

Может, и к лучшему. Что сказать бы
смог бы тебе я? Про наши свадьбы,
роды, разводы, поход сквозь трубы
медные, пламень, чужие губы;
то есть, с каким беспримерным рвением
трудимся мы над твоим забвеньем.

42

Стоит ли? Вряд ли. Не стоит строчки.
Как две прямых расстанутся в точке,
пересекаясь, простимся. Вряд ли
свидимся вновь, будь то Рай ли, Ад ли.
Два этих жизни посмертной вида
лишь продолженье идей Эвклида.

43

Спи же. Ты лучше была, а это
в случае смерти всегда примета,
знак невозможности, как при жизни,
с худшим свиданья. Затем что вниз не
спустишься. Впрочем, долой ходули -
до несвиданья в Раю, в Аду ли.

1968(?)

Подражая Некрасову, или Любовная песнь Иванова

Кажинный раз на этом самом месте

я вспоминаю о своей невесте.

Вхожу в шалман, заказываю двести.

Река бежит у ног моих, зараза.

Я говорю ей мысленно: бежи.

В глазу – слеза. Но вижу краем глаза

Литейный мост и силуэт баржи.

Моя невеста полюбила друга.

Я как узнал, то чуть их не убил.

Но Кодекс строг. И в чем моя заслуга,
что выдержал характер. Правда, пил.

Я пил как рыба. Если б с комбината

не выгнали, то сгнил бы на корню.

Когда я вижу будку автомата,

то я вхожу и иногда звоню.

Подходит друг, и мы базлаем с другом.

Он говорит мне: Как ты, Иванов?

А как я? Я молчу. И он с испугом

Зайди, кричит, взглянуть на пацанов.

Их мог бы сделать я ей. Но на деле

их сделал он. И точка, и тире.

И я кричу в ответ: На той неделе.

Но той недели нет в календаре.

Рука, где я держу теперь полбанки,

сжимала ей сквозь платье буфера.

И прочее. В углу на оттоманке.

Такое впечатление, что вчера.

Мослы, переполняющие брюки,

валялись на кровати, все в шерсти.

И горло хочет громко крикнуть: Суки!

Но почему-то говорит: Прости.

За что? Кого? Когда я слышу чаек,

то резкий крик меня бросает в дрожь.

Такой же звук, когда она кончает,

хотя потом еще мычит: Не трожь.

Я знал ее такой, а раньше – целой.

Но жизнь летит, забыв про тормоза.

И я возьму еще бутылку белой.

Она на цвет как у нее глаза.

1968

Подсвечник

Сатир, покинув бронзовый ручей,
сжимает канделябр на шесть свечей,
как вещь, принадлежащую ему.
Но, как сурово утверждает опись,
он сам принадлежит ему. Увы,
все виды обладанья таковы.
Сатир – не исключенье. Посему
в его мошонке зеленеет окись.

Фантазия подчеркивает явь.
А было так: он перебрался вплавь
через поток, в чьем зеркале давно
шестью ветвями дерево шумело.
Он обнял ствол. Но ствол принадлежал
земле. А за спиной уничтожал
следы поток. Просвечивало дно.
И где-то щебетала Филомела.

Еще один продлись все это миг,
сатир бы одиночество постиг,
ручьям свою ненужность и земле;
но в то мгновенье мысль его ослабла.
Стемнело. Но из каждого угла
«Не умер» повторяли зеркала.
Подсвечник воцарился на столе,
пленяя завершенностью ансамбля.

Нас ждет не смерть, а новая среда.

От фотографий бронзовых вреда
сатиру нет. Шагнув за Рубикон,
он затвердел от пейс до гениталий.

Наверно, тем искусство и берет,
что только уточняет, а не врет,
поскольку основной его закон,
бесспорно, независимость деталей.

Зажжем же свечи. Полно говорить,
что нужно чей-то сумрак озарить.

Никто из нас другим не властелин,
хотя поползновения зловещи.

Не мне тебя, красавица, обнять.

И не тебе в слезах меня пенять;
поскольку заливает стеарин
не мысли о вещах, но сами вещи.

1968

Прачечный мост

F. W.

На Прачечном мосту, где мы с тобой
уподоблялись стрелкам циферблата,
обнявшись в двенадцать перед тем,
как не на сутки, а навек расстаться,

– сегодня здесь, на Прачечном мосту,
рыбак, страдая комплексом Нарцисса,
таращится, забыв о поплавке,
на зыбкое свое изображение.

Река его то молодит, то старит.
То проступают юные черты,
то набегают на чело морщины.
Он занял наше место. Что ж, он прав!
С недавних пор все то, что одиноко,
символизирует другое время;
а это – ордер на пространство. Пусть
он смотреться спокойно в наши воды
и даже узнает себя. Ему
река теперь принадлежит по праву,
как дом, в который зеркало внесли,
но жить не стали.

1968

* * *

Просыпаюсь по телефону, бреюсь,
чищу зубы, харкаю, умываюсь,
вытираюсь насухо, ем яйцо.
Утром есть что делать, раз есть лицо.
Поздно вечером он говорит подруге,
что зимою лучше всего на Юге;
она, пристегивая чулок,

глядит в потолок.

В этом году в феврале собачий

холод. Птицы чернорабочей

крик сужает Литейный мост.

Туча вверху,

как отдельный мозг.

1968

Строфы

I

На прощанье – ни звука.

Граммфон за стеной.

В этом мире разлука -

лишь прообраз иной.

Ибо врозь, а не подле

мало веки смежать

вплоть до смерти. И после

нам не вместе лежать.

II

Кто бы ни был виновен,

но, идя на правед,

воздаяния ровень

с невинными ждешь.
Тем верней расстаемся,
что имеем в виду,
что в Раю не сойдемся,
не столкнемся в Аду.

III

Как подзол раздирает
бороздою соха,
правота разделяет
беспощадней греха.
Не вина, но оплошность
разбивает стекло.
Что скорбеть, расколовшись,
что вино утекло?

IV

Чем тесней единенье,
тем кромешней разрыв.
Не спасет затемненья
ни рапид, ни наплыв.
В нашей твердости толка
больше нету. В чести -
одаренность осколка

жизнь сосуда вести.

V

Наполняйся же хмелем,
осушайся до дна.
Только емкость поделим,
но не крепость вина.
Да и я не загублен,
даже ежели впредь,
кроме сходства зазубрин,
общих черт не узреть.

VI

Нет деленья на чуждых.
Есть граница стыда
в виде разницы в чувствах
при словце «никогда».
Так скорбим, но хороним,
переходим к делам,
чтобы смерть, как синоним,
разделить пополам.

VII[49]

...

VIII

Невозможность свиданья
превращает страну
в вариант мирозданья,
хоть она в ширину,
завидуя к славе,
не уступит любой
залетейской державе;
превзойдет голытьбой.

IX

...

X

Что ж без пользы неволишь
уничтожить следы?
Эти строки всего лишь

подголосок беды.

Обрастание сплетней
подтверждает к тому ж:
расставанье заметней,
чем слияние душ.

XI

И, чтоб гончим не выдал
– ни моим, ни твоим -
адрес мой храпоидол
или твой – херувим,
на прощанье – ни звука;
только хор Аонид.
Так посмертная мука
и при жизни саднит.

1968

Шесть лет спустя

М. Б.

Так долго вместе прожили, что вновь
второе января пришлось на вторник,
что удивленно поднятая бровь,
как со стекла автомобиля – дворник,
с лица сгоняла смутную печаль,

незамутненной оставляя даль.

Так долго вместе прожили, что снег
коль выпадет, то думалось – навеки,
что, дабы не зажмуривать ей век,
я прикрывал ладонью их, и веки,
не веря, что их пробуют спасти,
метались там, как бабочки в горсти.

Так чужды были всякой новизне,
что тесные объятия во сне
бесчестили любой психоанализ;
что губы, припадавшие к плечу,
с моими, задувавшими свечу,
не видя дел иных, соединялись.

Так долго вместе прожили, что роз
семейство на обшарпанных обоях
сменилось целой рощею берез,
и деньги появились у обоих,
и тридцать дней над морем, языкат,
грозил пожаром Турции закат.

Так долго вместе прожили без книг,
без мебели, без утвари, на старом
диванчике, что – прежде чем возник -

был треугольник перпендикуляром,
восставленным знакомыми стоймя
над слившимися точками двумя.

Так долго вместе прожили мы с ней,
что сделали из собственных теней
мы дверь себе – работаешь ли, спишь ли,
но створки не распахивались врозь,
и мы прошли их, видимо, насквозь
и черным ходом в будущее вышли.

1968

Элегия

М. Б.

Подруга милая, кабак все тот же.
Все та же дрянь красуется на стенах,
все те же цены. Лучше ли вино?
Не думаю; не лучше и не хуже.
Прогресса нет. И хорошо, что нет.

Пилот почтовой линии, один,
как падший ангел, глушит водку. Скрипки
еще по старой памяти волнуют
мое воображение. В окне
маячат белые, как девство, крыши,

и колокол гудит. Уже темно.

Зачем лгала ты? И зачем мой слух
уже не отличает лжи от правды,
а требует каких-то новых слов,
неведомых тебе – глухих, чужих,
но быть произнесенными могущих,
как прежде, только голосом твоим.

1968, Паланга

Открытка из города К.

Томасу Венцлова

Развалины есть праздник кислорода
и времени. Новейший Архимед
прибавить мог бы к старому закону,
что тело, помещенное в пространство,
пространством вытесняется.

Вода

дробит в зеркале пасмурном руины
Дворца Курфюрста; и, небось, теперь
пророчествам реки он больше внимлет,
чем в те самоуверенные дни,
когда курфюрст его отгрохал.

Кто-то

среди развалин бродит, вороша
листву запрошлогоднюю. То – ветер,

как блудный сын, вернулся в отчий дом
и сразу получил все письма.

1968(?)

Элегия

А. Г. Найману

Однажды этот южный городок
был местом моего свиданья с другом;
мы оба были молоды и встречу
назначили друг другу на молу,
сооруженном в древности; из книг
мы знали о его существовании.
Немало волн разбилось с той поры.
Мой друг на суше захлебнулся мелкой,
но горькой ложью собственной; а я
пустился в странствия.
И вот я снова
стою здесь нынче вечером. Никто
меня не встретил. Да и самому
мне некому сказать уже: приди
туда-то и тогда-то.
Вопли чаек.
Плеск разбивающихся волн.
Маяк, чья башня привлекает взор
скорей фотографа, чем морехода.
На древнем камне я стою один,
печаль моя не оскверняет древность -

усугубляет. Видимо, земля
воистину кругла, раз ты приходишь
туда, где нету ничего, помимо
воспоминаний.

1968(?), Ялта

Горбунов и Горчаков

I. Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось, Горбунов?»

«Да, собственно, лисички». «Снова?» «Снова».

«Ха-ха, ты насмешил меня, нет слов».

"А я не вижу ничего смешного.

Врач говорит: основа всех основ -

нормальный сон". "Да ничего дурного

я не хотел... хоть сон того, не нов".

«А что попишешь, если нет иного?»

"Мы, ленинградцы, видим столько снов,

а ты никак из этого, грибного,

не вырвешься". "Скажи мне, Горчаков,

а что вам, ленинградцам, часто снится?"

"Да как когда... Концерты, лес смычков.

Проспекты, переулки. Просто лица.

(Сны состоят как будто из клочков.)

Нева, мосты. А иногда – страница,

и я ее читаю без очков!

(Их отбирает перед сном сестрица.)"

«Да, этот сон сильней моих зрачков!»

«Ну что ты? Часто снится и больница».

"Не нужно жизни. Знай себе смотри.

Вот это сон! И вправду день не нужен.

Такому сну мешает свет зари.

И как, должно быть, злишься ты, разбужен...

Проклятие, Мицкевич! Не ори!..

Держу пари, что я проспал бы ужин".

"Порой мне также снятся снегири.

Порой ребенок прыгает по лужам.

И это – я..." "Ну что ж ты, говори.

Чего ты смолк?" "Я, кажется, простужен.

Тебе зачем все это?" «Просто так».

"Ну вот, я говорю, мне снится детство.

Мы с пацанами лезем на чердак.

И снится старость. Никуда не деться

от старости... Какой-то кавардак:

старик, мальчишка..." «Грустное соседство».

"Ну, Горбунов, какой же ты простака!

Ведь эти сновиденья только средство

ночь провести поинтересней". «Как?!»

«Чтоб ночью дня порастрясти наследство».

"Ты говоришь «наследство»? Вот те на!
Позволь, я обращусь к тебе с вопросом:
а как же старость? Старость не видна.
Когда ж это ты был седоволосым?"
"Зачем хрипит Бабанов у окна?
Зачем Мицкевич вертится под носом?
На что же нам фантазия дана?
И вот воображеньем, как насосом,
я втягиваю старость в царство сна".

"Но, Горчаков, тогда прости, не ты,
не ты себе приснишься". "Истуканов
тебе подобных просто ждут Кресты,
и там не выпускают из стаканов!
А кто ж мне снится? Что молчишь? В кусты?"
«Гор-кевич. В лучшем случае, Гор-банов».
«Ты спятил, Горбунов!» "Твои черты,
их – седина; таких самообманов
полно и наяву до тошноты".
«Ходить тебе в пижаме без карманов».

«Да я и так в пижаме без кальсон».
«Порой мне снится печка, головешки...»
"Да, Горчаков, вот это сон так сон!
Проспекты, разговоры. Просто вещи.
Рояль, поющий скрипке в унисон.
И женщины. И, может, что похлеще".
«Вчера мне снился стол на шесть персон».

"А сны твои – они бывают вещи?"

Иль попросту все мчится колесом?"

«Да как сказать; те – вещи, те – зловещи».

«Фрейд говорит, что каждый – пленник снов».

"Мне говорили: каждый – раб привычки.

Ты ничего не спутал, Горбунов?"

«Да нет, я даже помню вид странички».

«А Фрейд не врет?» "Ну, мало ли врунов...

Но вот, допустим, хочется клубнички..."

«То самое, в штанах?» "И без штанов.

А снится, что клюют тебя синички.

Сны откровенней всех говорунов".

«А как же, Горбунов, твои лисички?»»

"Мои лисички – те же острова.

(Да и растут лисички островками.)

Проспекты те же, улочки, слова.

Мы говорим, как правило, рывками.

Подобно тишине, меж них – трава.

Но можно прикоснуться к ним руками!

Отсюда их обширные права,

и кажутся они мне поплавками,

которые несет в себе Нева

того, что у меня под башмаками".

"Так, значит, ты одни из рыбаков,

которые способны бесконечно
взирать на положение поплавков,
не правда ли?" «Пока что безупречно».
"А в сумерках конструкции крючков
прикидывать за ужином безопасно?"
«И прятать по карманам червячков!»
«Боюсь, что ты застрянешь здесь навечно».
«Ты хочешь огорчить меня?» "Конечно.
На то я, как известно, Горчаков".

II. Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» "Да, миска киселя
и овощи". "Ну, все повеселее.
А что снаружи?" «Звездные поля».
«Смотрю, в тебе замашки Галилея».
"Вторая половина февраля
отмечена уходом Водолея,
и Рыбы водворяются, суля,
что скоро будет в реках потеплее".
«А что земля?» «Что, собственно, земля?»
«Ну, что внизу?» «Больничная аллея».

"Да, знаешь, ты действительно готов.
Ты метишь, как я чувствую, в Ньютоны.
На буйном тоже некий Хомутов
– кругом галдеж, блевотина и стоны -

твердит: я – Гамильтон, и я здоров;
а сам храпит, как наши харитоны".
"Шло при Петре строительство портов,
и наезжали разные тевтоны.
Фамилии нам стоили трудов.
Возможно, Хомутовы – Гамильтоны".

«Натоплено, а чувствую озноб».
«Напрасно ты к окошку прислонился».
«Из-за твоих сверкающих зазноб».
«Ну что же, убедился?» "Усомнился.
Я вижу лишь аллею и сугроб".
«Вон Водолей с кувшином наклонился».
«Нам телескоп иметь здесь хорошо б».
«Да, хорошо б». «И ты б угомонился».
«Что?! Телескоп?! На кой мне телескоп!»
«Ну, Горбунов, чего ты взбеленился?»

"С ногами на постель мою ты влез.
Я думаю, что мог бы потрудиться
снять шлепанцы". "Но холодно мне без,
без шлепанцев. Не следует сердиться.
Я зябну потому, что интерес
к сырým лисичкам в памяти гнездится".
"Не снился Фрейду этакий прогресс!
Прогресса же не следует стыдиться:
приснится активисту мокрый лес,
а пассивист способен простудиться".

"Лисички не безвредны, и, по мне,
они враги душевному здоровью.
Ты ценишь их?" «С любовью наравне».
«А что ты понимаешь под любовью?»
«Разлуку с одиночеством». «Вполне?»
"Возможность наклониться к изголовью
и к жизни прикоснуться в тишине
дыханием, руками или бровью..."
«На что ты там уставился в окне?»
«Само сопротивление суесловью».

«Не дашь ли ты мне яблока?» «Лови».
«Ну, что твои лисички-невелички?»
"Я думаю обычно о любви
всегда, когда смотрю я на лисички.
Не знаю где – в уме или в крови, -
но чувствуешь подобье переклички".
"Привычка и нормальное, увы,
стремление рассудка к обезличке".
"То область рук. А в сфере головы -
отсутствие какой-либо привычки".

"И, стало быть, во сне, когда темно,
ты гредишь о лисичках?" «Постоянно».
«Вернее, о любви?» "Ну все равно.
По-твоему, наверно, это странно?"

"Не странно, а, по-моему, грешно.
Грешно и, как мне думается, срамно!
Чему ты улыбаешься?" «Смешно».
«Не дашь ли ты мне яблока?» "Я дам, но
понять тебе лисичек не дано".
"Лисички – это, знаешь, полигамно.

Вот! Я тебя разделал под орех!
Есть горечь в горчаковской укоризне!"
"Зачем ты говоришь, что это грех?
Грех – то, что наказуемо при жизни.
А как накажешь, если стрелы всех
страданий жизни собрались, как в призме,
в моей груди? Мне мнится без помех
грядущее". "Мы, стало быть, на тризне
присутствуем?" "И, стало быть, мой смех
сегодня говорит об оптимизме".

«А Страшный Суд?» "А он – движенье вспять,
в воспоминанья. Как в кинокартине.
Да что там Апокалипсис! Лишь пять,
пять месяцев в какой-нибудь пустыне.
А я пол-жизни протрубил и спать
с лисичками мне хочется отныне.
Я помню то, куда мне отступить
от Огненного Ангела Твердыни..."
«Боль сокрушит гордыню». "Ни на пядь;
боль наплатала дерево гордыни".

«Ты, значит, не боишься темноты?»
«В ней есть ориентиры». «Поклянись мне».
"И я с ориентирами на ты.
Полно ориентиров, только свистни".
«Находчивость – источник суеты».
"Я не уверен в этом афоризме.
Душа не ощущает тесноты".
«Ты думаешь? А в мертвом организме?»
"Я думаю, душа за время жизни
приобретает смертные черты".

III. Горбунов в ночи

"Больница. Ночь. Враждебная среда...
Все это не трагедия... К тому же
и приговоры Страшного Суда
тем легче для души моей, чем хуже
ей было во плоти моей... Всегда,
когда мне скверно, думаю, что ту же
боль вынесу вторично без труда.
Так мальчика прослеживают в муже...
Лисички занесли меня сюда.
А то, что с ними связано, снаружи.

Они теперь мне снятся. А жена

не снится мне. И правильно. Где тонко,
там рвется. Эта мысль не лишена...
Я сделал ей намернно ребенка.
Я думал, что останется она.
Хоть это – психология подонка.
Но, видимо, добрался я до дна.
Не знаю, как душа, а перепонка
цела. Я слышу шелест полотна.
Поет в зубах Бабанова гребенка...

Я голос чей-то слышу в тишине.
Но в нем с галлюцинациями слуха
нет общего: давление на дне -
давление безвредное для уха.
И голос тот противоречит мне.
Уверенно, настойчиво и глухо.
Кому принадлежит он? Не жене.
Не ангелам. Поскольку царство духа
безмолвствует с женою наравне.
Жаль, нет со мною старого треуха!

Больничная аллея. Ночь. Сугроб.
Гудит ольха, со звездами сражаясь.
Из-за угла в еврейский телескоп
глядит медбрат, в жида преображаясь.
Сужается постель моя, как гроб.
Хрусталик с ней сражается, сужаясь.
И кровь шумит, как клюквенный сироп.

И щиколотки стынут, обнажаясь.
И делится мой разум, как микроб,
в молчаньи безгранично размножаясь!

Нас было двое. То есть к алтарю...

Она ушла. Задетый за живое,
теперь я вечно с кем-то говорю.
Да, было двое. И осталось двое!
Февраль идет на смену январю.
Вот так, напоминая о конвое,
алтарь, благодаря календарю,
препятствует молчанью, каковое
я тем уничтожаю, что творю
в себе второе поле силовое.

Она ушла. Я одержим собой.

Собой? А не позвать ли Горчакова?
Эй, Горчаков!.. Да нет, уже отбой.
Да так ли это, впрочем, бестолково,
когда одни уста наперебой
поют двоих в отсутствии алькова?
Я сам слежу за собственной губой.
Их пополам притягивает слово.
Я – круг в сеченьи. Стало быть, любой
из нас двоих – магнитная подкова.

Ночь. Губы на два голоса поют.

Ты думаешь, не много ли мне чести?
Но в этом есть особенный уют:
пускай противоречие, но вместе.
Они почти семейство создают
в молчаньи. А тем более – в присесте.
Возлюбленному верхняя приют.
А нижняя относится к невесте.
Но то, что на два делится, то тут
разделится, бесспорно, и на двести.

А все, что увеличилось вдвойне,
приемлемо и больше не ничтожно.
Проблему одиночества вполне
решить за счет раздвоенности можно.
Отчаянье раскачивает мне,
как доску, душу надвое, как нож, но
не я с ним остаюсь наедине.
А если двоедушие безбожно,
то не дрова нуждаются в огне,
а греет то, что противоположно.

Ты, Боже, если властен сразу двум,
двум голосам внимать, притом бегущим
из уст одних, и видеть в них не шум,
а вид борьбы минувшего с грядущим,
восхить к Себе мой кашляющий ум,
микробы расселив его по кущам,
и сумму дней и судорожных дум

Ты раздели им жестом всемогущим.
А мне оставь, как разность этих сумм,
победу над молчаньем и удушьем.

А ежели мне впрямь необходим
здесь слушатель, то, Господи, не мешкай:
пошли мне небожителя. Над ним
ни болью не возвышусь, ни усмешкой,
поскольку он для них неуязвим.
По мне, коль оборачиваться решкой,
то пусть не Горчаков, а херувим
возносится над грязною ночлежкой
и кружит над рыданиями и слезкой
прямым благословением Твоим".

IV Горчаков и врачи

«Ну, Горчаков, давайте ваш доклад».
«О Горбунове?» «Да, о Горбунове».
"Он выражает беспартийный взгляд
на вещи, на явления – в основе
своей диалектический; но ряд -
но ряд его высказываний внове
для нас". "Они, бесспорно, говорят
о редкостной насыщенности крови
азотом, разложившим аппарат
самоконтроля". "Сросшиеся брови,

асимметричность подбородка, жир
на подбородке. Нос его расцвечен
сосудами, раздавшимися вширь..."
«Я думаю, разрушенная печень».
"Компрессами и путаницей жил
асимметричный лоб его увенчан.
Лисички – его слабость и кумир.
Он так непривлекателен для женщин.
"Преувеличен внутренний наш мир,
а внешний, соответственно, уменьшен", -

вот характерный для него язык.
В таких вот выражениях примерных
свой истинный показывает лик
сторонник непартийных, эфемерных
воззрений..." "В этом чувствуется сдвиг
налево от открытий достоверных
марксизма". «Недостаточно улик».
«А как насчет явлений атмосферных?»
«А он отвык от женщины?» "Отвык.
В нем нет телодвижений, характерных

для этого... ну как его... ах ты!.."

«Спокойно, Горчаков!» «...для женолюба».

"А как он там... ну, в смысле наготы?..
Там органы и прочее?" "Сугубо,

сугубо от нужды и до нужды.

Простите, что высказываюсь грубо".

«Ну что вы! Не хотите ли воды?»

«Воды?» «А вы хотели коньяку бы?»

«Не признаю я этой ерунды».

«Зачем же вы облизывали губы?»

«Не знаю... Что-то связано с водой».

«Что именно?» «Не помню, извините».

«Наверное, стакан перед едой?»

"Да нет же, вы мне спутали все нити...

Постойте, вижу... человек... худой...

вокруг – пустыня... Азия... взгляните:

ползут пески татарскою ордой,

пылает солнце... как его?... в зените.

Он окружен враждебною средой...

И вдруг – колодец..." «Дальше! Не тяните!»

"А дальше вновь все пусто и мертво.

Колодец... это самое... сокрылся".

«Эй, Горчаков! Что с вами?» "Я... того.

Я, знаете, того... заговорился.

Во всем великолепии своего

идеализма нынче он раскрылся".

«Кто? Горбунов?» "Ну да, я про него.

Простите мне, товарищи, что сбился".

«Нет-нет, вы продолжайте. Ничего».

"Я слишком в Горбунова углубился...

Он – беспартийный, вот его беда!
И если день особенно морозен,
он сильно отклоняется туда...
ну, влево, к отопленью..." «Грандиозен!»
«А он религиозен?» "О, да-да!
Он так религио... религиозен!
Я даже опасуюсь иногда:
того гляди, что бухнется он оземь
и станет Бога требовать сюда".
«Он так от беспартийности нервозен».

«Он влево уклоняется». «Ха-ха!»
«Чему вы усмехаетесь, коллега?»
"Тому, что это, в общем, чепуха:
от Горчакова батареи слева,
от Горбунова, стало быть..." "Ага!
Как в шахматах? Король и королева?
Напротив!" «Справедливо». "От греха
запишем, так сказать, для подогрева
два мнения". «Идея неплоха».
"Какая ж это песня без припева?"

Ну вот и заключение... шнурков!
подшить!.. Эй, Гочаков, вы не могли бы
автограф свой?" «Я нынче без очков».
«Мои не подойдут?» "Да подошли бы.

Так: «влево уклоняется»... каков!
... "и вправо"... справедливо! Справедливы
два мнения. Мы этих барчуков...
Одно из двух: мы выкурим их, либо..."
"Спасибо вам, товарищ Горчаков.
На Пасху мы вас выпустим". "Спасибо.

Да-да. Благодарю. Благодарить...
Не сделать ли поклона поясного?...
Где Горбунов?! Глаза ему раскрыть!..
О, ужас, я же истины – ни слова...
Да, собственно, откуда эта прыть?
Плевать на параноика лесного!
Уток теряет собственную нить,
когда под ним беснуется основа.
Как странно Горчакову говорить
безумными словами Горбунова!"

V Песня в третьем лице

«И он ему сказал». "И он ему
сказал". «И он сказал». «И он ответил».
«И он сказал». «И он». "И он во тьму
воззрится и сказал". «Слова на ветер».
«И он ему сказал». "Но, так сказать,
сказать «сказал» сказать совсем не то, что
он сам сказал". "И он "к чему влезать

в подробности" сказал; все ясно. Точка".

«Один сказал другой сказал струит».

«Сказал греха струит сказал к веригам».

«И молча на столе сказал стоит».

«И, в общем, отдает татарским игом».

«И он ему сказал». "А он связал
и свой сказал и тот, чей отзвук замер".

«И он сказал». «Но он тогда сказал».

«И он ему сказал; и время занял».

«И он сказал». "Вот так булыжник вдруг
швыряют в пруд. Круги – один, четыре..."

«И он сказал». "И это – тот же круг,
но радиус его, бесспорно, шире".

«Сказал – кольцо». «Сказал – еще кольцо».

«И вот его сказал уткнулся в берег».

"И собственный сказал толкнул в лицо,
вернувшись вспять". «И больше нет Америк».

«Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал».

«Суть поезда». «Все дальше, дальше рейсы».

«И вот уже сказал почти вокзал».

«Никто из них не хочет лечь на рельсы».

«И он сказал». «А он сказал в ответ».

«Сказал исчез». «Сказал пришел к перрону».

«И он сказал». "Но раз сказал – предмет,
то также относиться должно к ону".

«И он ему». «И он». «И он ему».

«И я готов считать, что вечер начат».

«И он ему». "И все это к тому,

что оба суть одно взаимно значат".
«Он, собственно, вопрос». «Ему – ответ».
«Потом наоборот». «И нет различья».
«Конечно, между ними есть просвет».
«Но лишь как средство избежать двуличья».
«Он кем (ему) приходится ему?»
"И в неживой возможны ли природе
сношенья неподсудные уму?"
«Пусть не родня обычная, но вроде?»
"Чего не разберет судебный зал!
Сидит судья; очки его без стекол".
«Он кто ему?» «Да он ему – сказал».
«И это грандиознее, чем свекор».

"Огромный дом. Слепые этажи.
Два лика, побледневшие от вони".
«Они не здесь». «А где они, скажи?»
«Где? В он-ему-сказале или в оне».
"Огромный дом. Фигуры у окна.
И гомон, как под сводами вокзала.
Когда здесь наступает тишина?"
«Лишь в промежутках он-ему-сказала».
«Сказала, знаешь, требует она».
«Но это же сказал во время она».
«А все-таки приятна тишина».
«Страшнее, чем анафема с амвона».
«Так, значит, тут страшатся тишины?»
"Да нет; как обстоятельствами места
и времени, все объединены

сказалом наподобие инцеста".

«И это образ действия?» "О да.

Они полны сношеньями своими".

«Когда они умолкнут?» «Никогда».

«Наверное, как собственное имя».

"Да, собственное имя – концентрат.

Оно не допускает переносов,

замен, преобразований и утрат".

«И это, в общем, двигатель вопросов».

"Вот именно! И косвенная речь

в действительности – самая прямая".

"И этим невозможно пренебречь

без личного ущерба". "И, внимая,

тому, что Он Сказал произнесет,

как дети у церковного притвора,

мы как бы приобщаемся высот,

достигнутых еще до разговора".

«Что вам приснилось, Он Ему Сказал?»

«Кругом – врачи». «Рассказывать подробно».

"Мне ночью снился океанский вал.

Мне снилось море". «Неправдоподобно!»

"Должно быть, он забыл уже своих

лисичек". «Невозможно!» «Вероятно».

«Да нет, он отвечает за двоих».

«И это уж, конечно, необъятно».

"Я видел сонмы сумеречных вод.

Отчетливо и ясно. Но при этом,
я видел столь же ясно небосвод..."
«И это вроде выстрела дуплетом».
"И гребни, словно гривы жеребцов,
расставшихся с утопленной повозкой".
"А не было там, знаете, гребцов,
утопленников?" "Я не Айвазовский.
Я видел гребни пенившихся круч.
И берег – как огромная подкова...
И Он Сказал носился между туч
с улыбкой Горбунова, Горчакова".

VI Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось? Говори».
"Да я ж тебе сказал о разговоре
с комиссией". "Да брось ты, не хитри.
Я сам его подслушал в коридоре".
«Ну вот, я говорю...» "Держу пари,
ты станешь утверждать, что снится море".
«Да, море, разумеется». "Не ври,
не верю". "Не настаиваю. Горе
невелико". "Ты только посмотри,
как залупился! Истинно на воре
и шапка загорается". «Ну, брось».
«Чего ж это я брошу, интересно?»

«Да я же, Горчаков, тебя насквозь...»

«Нашелся рентгенолог!» "Неуместно подшучиваешь. Как бы не пришлось раскаиваться". «Выдумашь!» "Честно.

Как только мы оказывались врозь, комиссии вдруг делалось известно, о чем мы тут... Сексотничал, небось? Чего же ты зарделся, как невеста?"

«Ты сердишься?» «Да нет, я не сержусь».

«Не мучь меня!» «Что, я – тебя? Занятно!»

«Ты сердишься». «Ну хочешь, побожусь?»

«Тебе же это будет неприятно».

«Да нет, я не особенно стыжусь».

«Вот это уже искренне». "Обратно

за старое? Неужто я кажусь

тебе достойным слезки? Непонятно".

«А что ж не побожился?» "Я боюсь,

что ты мне не поверишь". «Вероятно».

«Я что-то в этом смысла не пойму».

«Я смешиваю зерна и полу».

"Вот видишь, ты не веришь ничему:

ни Знамению Крестному, ни слову".

"Война в Крыму. Все, видимо, в дыму.

Цитирую по дедушке Крылову...

Отсюда ты отправишься в тюрьму".

«Ты шел бы, подобру да поздорову...»

«Чего ты там тарацишься во тьму?»

«Уланову я вижу и Орлову».

«Я, знаешь ли, смотаюсь в коридор».

«Зачем?» «Да так, покалывает темя».

«Зачем ты вечно спрашиваешь?» «Вздор!»

«Что, истины выискиваешь семя?»

«Ты тоже ведь тарацишься во двор».

«Секотишь, вероятно, сучье племя».

«Я просто расширяю кругозор».

«Не веря?» "Недоверчивость не бремя.

Ты знаешь, и донос, и разговор -

все это как-то скрашивает время".

«А время как-то скрашивает дни».

"Вот, кажется, и темя отпустило...

Ну, что тебе приснилось, не темни!"

"А, все это тоскливо и постыло...

Ты лучше посмотрел бы на огни".

«Ну, тени от дощатого настила...»

«Орлова! и Уланова в тени...»

«Ты знаешь, как бы кофе не остыло».

"Война была, ты знаешь, и они

являлись как бы символами тыла".

"Вторая половина февраля.

Смотри-ка, что показывают стрелки".

«Я думаю, лишь радиус нуля».

«А цифры?» "Как бордюрик на тарелке...

Сервиз я видел, сделанный а ля
мейсенские..." «Мне нравятся подделки».

"Там надпись: «мастерская короля»
и солнце – вроде газовой горелки".

«Сейчас я взял бы вермуту». "А я
сейчас не отказался бы от грелки..."

Смотри, какие тени от куста!"

"Прости, но я материю все ту же...
те часики..." «Обратно неспроста?»

"Ты судишь обо мне гораздо хуже,
чем я того..." «Виной твои уста».

«Неужто ж ноль?» «Ага». «Но почему же?»

«Да просто так; снаружи – пустота».

«Зато внутри теплее, чем снаружи».

"Ну, эти утепленные места
являются лишь следствиями стужи".

«А как же быть со штабелями дров?»

"Наверное, связующие звенья...

О, Господи, как дует из углов!

И холодно, и голоден как зверь я".

«Болезни – это больше докторов».

«Подворье грандиознее преддверья».

«Но все-таки, ты знаешь, это кров».

"Давай-ка, Горчаков, без лицемерья;

и знай – реальность высказанных слов
огромней, чем реальность недоверья".

«Да, стужа грандиознее тепла».

«А время грандиознее, чем стрелка».

«А дерево грандиознее дупла».

«Дупло же грандиознее, чем белка».

«А белка грациознее орла».

«А рыбка... это самое... где мелко».

«Мне хочется раздеться догола!»

«Где радиус, там вилка и тарелка!»

«А дерево, сгоревшее дотла...»

«Едва ли грандиознее, чем грелка».

VII Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» "Да, прежняя трава.

Все овощи..." "Не стоит огорчаться.

Нам птичьи тут отпущены права".

«Но мясо не должно бы запрещаться».

«Взгляни-ка лучше: новые дрова...»

«Имею же я право возмущаться!»

"Ну нет, администрация права,

права в пределах радиуса". "Вжаться

в сей радиус не жаждет голова,

а брюхо..." "Не желаю возвращаться

к изложенному выше; и к тому ж,
мне кажется, пошаливает почка".
«Но сам-то я – вне радиуса». "Чушь!
А кто же предо мной?" «Лишь оболочка».
"Ну, о неограниченности душ
слыхал я что-то в молодости. Точка".
"Да нет, помимо этого, я – муж.
Снаружи и жена моя, и дочка".
"Тебе необходим холодный душ!
Где именно?" «На станции Опочка».

«Наверное, приснилось». "Ни фига.
Скорее, это я тебе приснился".
«Опочка где-то в области». «Ага».
«Далеко ты того... распространился».
«Мне следует удариться в бега».
«Не стоит. Ты весьма укоренился».
"Ты прав. Но, говорят, одна нога...
другая там... Вообще я обленился!
Не сделать семимильного шага!"
«Ну-ну, угомонись». «Угомонился».

«Ты сколько зарабатывал?» "Семьсот;
по-старому". «И где же?» «В учрежденьи».
«Боишься, что спросил и донесет?»
«Ну кто тебе откажет в наслажденьи?»
«Тебя мое молчанье не спасет».

«Да, знаешь ли, по зрелом рассуждени...»

"Приятнее считать, что я сексот,
чем размышлять о местонахождени".

"Увы, до столь пронзительных высот
мешает мне взорлить происхождение".

«Так что ж ты заседаешь на меню?»

"Еще не превратился в ветерана
и трижды то же самое на дню..."

«Ты меряешь в масштабах ресторана».

«Я вписываю в радиус родню».

"Тебе, должно быть, резали барана
для ужина". "Я, собственно, клоню
к тому, что мне отказываться рано
от прошлого". «Кончай пороть херню».

«А что тебе не нравится?» «Пространно».

«Я радиус расширил до родни».

«Тем хуже для тебя оно, тем хуже».

"Я только ножка циркуля. Они -
опора неподвижная снаружи".

"И это как-то скрашивает дни,
чем шире этот радиус?" "Чем уже.

На свете так положено: одни
стоят, другие двигаются вчуже".

"Бывают неподвижные огни,
расширенные радиусом лужи".

«Я двигаюсь!» "Не ведаю, где старт,
но финиш – ленинградские сугробы".
"Я жив, пока я двигаюсь. Декарт
мне мог бы позавидовать". "Еще бы!
Мне нравится твой искренний азарт".
"А мне твои душевные трущобы
наскучили". "А что твой миллиард -
ну, звездные ковши и небоскребы?"
«Восходит Овн, курирующий март».
«Иметь здесь телескоп нам хорошо бы».

"Вот именно. Нам стали бы видны
опоры наши дальние". "Начатки
движения". "Мы чувствовать должны
устойчивость Опочки и Камчатки".
"Я в марте родился. Мне суждены
шатания. Мне сняли отпечатки...
Как жаль, что мы дрожать принуждены:
опоры наши дальние столь шатки..."
"Которые под Овном рождены,
должны ходить в каракулевой шапке".

«Ты думаешь, от холода дрожу?»
«А сверься с посиневшими пальцами».
«А ты?» "Я Близнецам принадлежу.
Я в мае родился, под Близнецами".
«Тепло тебе?» «Поскольку я сужу...»

«Короче! Не мудри с немудрецами!»

"В сравнении с тобой я нахожу,
что вовсе мне не холодно". «С концами!»

«В чем дело, Горчаков?» «Не выношу!»

«Да нет, все это правда – с месяцами».

"Увы, на телескоп не наскрести,
и мы своих опор не наблюдаем".

"Пусть радиус у жизни не в чести,
сам циркуль, Горчаков, неувядаем".

"Еще умру тут, Господи прости,
считая, что тот свет необитаем".

«Нет, не умрешь, напрасно не грусти».

«Ты думаешь?» «Обсудим». «Обсуждаем».

"Тот груз, которым нынче обладаем,
в другую жизнь нельзя перенести".

VIII Горбунов в ночи

"Твой довод мне бессмертие сулит!
Мой разум, как извилины подстилки,
сияньем твоих доводов залит -
не к чести моей собственной коптилки..."

Проклятие, что делает колит!

И мысли – словно демоны в бутылке.

Твой светоч мой фитиль не веселит!

О Горбунов! от слов твоих в затылке,

воспламеняясь, кровь моя бурлит -
от этой искры, брошенной в опилки!

Ушел... Мне остается монолог.

Плюс радиус ночного циферблата...

Оставил только яблоки в залог
и смылся, наподобие Пилата!

Попробуем забиться в уголок,
исследуем окраины халата.

Водрузим на затылок котелок
с присохшими остатками салата...

Какие звезды?! Пол и потолок.

В окошке – отражается палата.

Ночь. Окна – бесконечности оплот.

Палата в них двоится и клубится.

За окнами – решетки переплет:
наружу отраженью не пробиться.

В пространстве этом – задом наперед -
постелью мудрено не ошибиться.

Но сон меня сегодня не берет.

Уснуть бы... и вообще – самоубиться!

Рискуя – раз тут все наоборот -
тем самым в свою душу углубиться!

Уснуть бы... Санитары на посту.

Приносит ли им пользу отраженья?

Оно лишь умножает тесноту,
поскольку бесконечность – умноженье.
Я сам уже в глазах своих расту,
и стекла, подхлестнув воображенье,
сжимают между койками версту...
Я чувствую во внутренностях жженье,
взирая на далекую звезду.
Основа притяженья – торможенье!

Нормальный сон – основа всех основ!
Верней, выздоровления основа.
Эй, Горбунов!.. на кой мне Горбунов?!
Уменьшим свою речь на Горбунова!
Сны откровенней всех говорунов
и грандиозней яблока глазного.
Фрейд говорит, что каждый – пленник снов.
Как странно в это вдумываться снова...
Могилы исправляют горбунов!..
Конечно, за отсутствием иного

лекарства... А сия галиматья -
лишь следствие молчания соседних
кроватей. Ибо чувствую, что я
тогда лишь есмь, когда есть собеседник!
В словах я приобщаюсь бытия!
Им нужен продолжатель и наследник!
Ты, Горбунов, мой высший судия!
А сам я – только собственный посредник

меж спящим и лишенным забытья,
смотритель своих выбитых передних...

Ночь. Форточка... О если бы медбрат
открыл ее... Не может быть и речи.
На этот – ныне запертый – квадрат
приходятся лицо мое и плечи.
Ведь это означало бы разврат,
утечку отражения. А течи
тем плохи, что любой дегенерат
решился бы, поскольку недалече,
удрать хоть головою в Ленинград...
О Горбунов! я чувствую при встрече

с тобою, как нормальный идиот,
себя всего лишь радиусом стрелки!
Никто меня, я думаю, не ждет
ни здесь, ни за пределами тарелки,
заполненной цифирью. Анекдот!
Увы, тебе масштабы эти мелки!
Грядет твое мучение! Ты тот,
которому масштаб его по мерке.
Весь ужас, что с тобой произойдет,
ступеньки разновидность или дверки

туда, где заждались тебя. Грешу
лишь тем, что не смогу тебя дозваться.

Ты, Горбунов! Покуда я дышу,
во власть твою я должен отдаваться!
К тебе свои молитвы возношу!
Мне некуда от слов твоих деваться!
Приди ко мне! Я слов твоих прошу.
Им нужно надо мною раздаваться!
Затем-то я на них и доношу,
что с ними неспособен расставаться,

когда ты удаляешься... Прости!
Не то, чтобы страшился я разлуки...
Зажав освобождение в горсти,
к тебе свои протягиваю руки.
Как все, что предстоит перенести -
источник равнодушия и скуки -
не помни, Горбунов, меня, не мсти!
Как эхо, продолжающее звуки,
стремясь их от забвения спасти,
люблю и предаю тебя на муки".

IX Горбунов и врачи

«Ну, Горбунов, рассказывайте нам».
«О чем?» «О ваших снах». «Об оболочке».
«И называйте всех по именам».
«О циркуле». «Рассказывай о дочке».
«Дочь не имеет отношенья к снам».

«Давай-ка, Горбунов, без проволочки».
«Мне снилось море». «Ну его к хренам».
«Да, лучше обойдемся без примочки».
«Без ваших по морям да по волнам».
«Начните, если хочется, с Опочки».

«Зачем вам это?» «Нужно». «И сполна».
«Для вашей пользы». "Реплика во вкусе
вопросов Красной Шапочки. Она,
вы помните, спросила у бабуся
насчет ушей, чья странная длина...
«не бойся» – та в ответ, – «ахти, боюся»,
«чтоб лучше слышать внучку!» "Вот те на!
Не думали о вас мы, как о трусе".
«К тому ж в итоге крошка спасена».
«Во всем есть плюсы». «Думайте о плюсе».

«Чего молчите?» "Просто невтерпеж!
Дождется, что придется рассердиться!"
«Чего ты дожидаясь?» "Что ложь,
не встретив возражений, испарится".
«И что тогда?» "Естественнее все ж
на равных толковать, как говорится".
"Ну, мне осточертел его скулеж.
Давайте вприснем кальцию, сестрица".
«Он весь дрожит». "Естественная дрожь.
То мысли обостряются от шприца".

"Ну, Горбунов, припомнили ли вы,
что снилось?" «Только море». «А лисички?»

«Увы, их больше не было». «Увы!»

«Я свыкся с ними. Это – по привычке».

"О женщинах, когда они мертвы
или смотались к черту на кулички,

так сетуют мужчины". "Вы правы:

«увы» – мужская реплика. Кавычки".

«Но может быть и возгласом вдовы».

«Запишем обе мысли в рапортчике».

"Сны обнажают тайную канву
того, что совершается в мужчине".

"А то, что происходит наяву,
не так нас занимает по причине..."

«Причину я и сам вам назову».

"Да: Горчаков. Но дело не в личине,
им принятой скорей по озорству;
но в снах у вас – тенденция к пучине".

"Вы сон мой превращаете в Неву.

А устье говорит не о кончине,

скорей о размножении". "Едва ль
терпимо, чтоб у всяческих отбросов
пошло потомство". "Экая печаль.

Река, как уверяет нас философ,
стоит на месте, убегая вдаль".

«И это, говорят, вопрос вопросов».
«Отсюда Ньютон делает мораль».
«Ага! опять Ньютон!» «И Ломоносов».
«А что у нас за окнами?» "Февраль.
Пора метелей, спячки и доносов".

"Как месяц, он единственный в году
по дням своим". «Подобие калеки».
«Но легче ведь прожить его?» "К стыду,
признаюсь: легче легкого". «А реки?»
«Что – реки?» «Замыкаются во льду».
«Но мы-то говорим о человеке».
«Вы знаете, что ждет вас?» "На беду,
подозреваю: справка об опеке?"
"Со всем, что вы имеете в виду,
вы, в общем, здесь останетесь навеки".

"За что?!.. а впрочем, следует в узде
держаться себя... нет выхода другого".
«И кликнуть Горчакова». "О звезде
с ним можно побеседовать". «Толково».
«Везде есть плюсы». «Именно. Везде».
"И сам он вездесущ, как Иегова;
хотя он и доносит". "На гвозде,
как правило, и держится подкова".
"Как странно Горбунову на кресте
рассчитывать внизу на Горчакова".

«Зачем преувеличивать?» "К чему,
милейший, эти мысли о Голгофе?"
«Но это – катастрофа». "Не пойму:
вы вечность приравняли к катастрофе?"
"Он вечности не хочет потому,
что вечность – точно пробка в полуштофе".
«Да, все это ему не по уму».
«Эй, Горбунов, желаете ли кофе?»
«Почто меня покинул!» "Вы к кому
зываете?" "Опять о Горчакове

тоскует он". "Не дочка, не жена,
а Горчаков!" «Все дело в эгоизме».
«Да Горчаков ли?» "Форма не важна.
Эй, Горбунов, а ну-ка покажись мне.
Твоя, ты знаешь, участь решена".
«А Горчаков?» "Предайся укоризне:
отныне вам разлука суждена.
Отпустим. Не вздыхай об этом слизи".
"Отныне, как обычно после жизни,
начнется вечность". «Просто тишина».

X Разговор на крыльце

«Огромный город в сумраке густом».
«Расчерченная школьная тетрадка».

«Стоит огромный сумасшедший дом».
«Как вакуум внутри миропорядка».
"Фасад скрывает выстуженный двор,
заваленный сугробами, дровами".
"Не есть ли это тоже разговор,
коль все это описано словами?"
"Здесь – люди, и сошедшие с ума
от ужасов – утробных и загробных".
"А сами люди? Именно сама
возможность называть себе подобных
людьми?" "Но выражение их глаз?
Конечности их? Головы и плечи?"
"Вещь, имя получившая, тотчас
становится немедля частью речи".
«И части тела?» «Именно они».
«А место это?» «Названо же домом».
«А дни?» «Поименованы же дни».
"О, все это становится Содомом

слов алчущих! Откуда их права?"
«Тут имя прозвучало бы зловеще».
"Как быстро разбухает голова
словами, пожирающими вещи!"
«Бесспорно, это голову кружит».
«Как море – Горбунову; нездорово».
"Не море, значит, на берег бежит,
а слово надвигается на слово".
«Слова – почти подобие мощей!»
"Коль вещи эти где-нибудь да висли...

Названия – защита от вещей".

«От смысла жизни». «В некотором смысле».

«Ужель и от страдания Христа?»

«От всякого страдания». «Бог с вами!»

"Он сам словами пользовал уста...

Но он и защитил себя словами".

«Тем, собственно, пример его и вещь!»

«Гарантия, что в море – не утонем».

"И смерть его – единственная вещь
двузначная". «И, стало быть, синоним».

"Но вечность-то? Иль тоже на столе
стоит она сказалом в казакине?"

"Единственное слово на земле,
предмет не поглотившее поныне".

«Но это ли защита от словес?»

«Едва ли». "Осеняющийся Крестным
Знаменем спасется". «Но не весь».

«В синониме не более воскреснем».

«Не более». "А ежели в любви?"

Она – сопротивленью суесловью".

"Вы либо небожитель; либо вы
мешаете потенцию с любовью".

«Нет слова, столь лишенного примет».

"И нет непроницаемой покрова,
столь полно поглотившего предмет,
и более щемящего, как слово".

"Но ежели взглянуть со стороны,
то можно, в общем, сделать замечанье:

и слово – вещь. Тогда мы спасены!"

"Тогда и начинается молчанье.

Молчанье – это будущее дней,
катящихся навстречу нашей речи,
со всем, что мы подчеркиваем в ней,
с присутствием прощания при встрече.

Молчанье – это будущее слов,
уже пожавших гласными всю вещьность,
страшащуюся собственных углов;
волна, перекрывающая вечность.

Молчанье есть грядущее любви;
пространство, а не мертвая помеха,
лишающее бьющийся в крови
фальцет ее и отклика, и эха.

Молчанье – настоящее для тех,
кто жил до нас. Молчание – как сводня,
в себе объединяющая всех,
в глаголющее вхожая сегодня.

Жизнь – только разговор перед лицом
молчанья". «Пререкание движений».
«Речь сумерек с расплывшимся концом».
«И стены – воплощенье возражений».

«Огромный город в сумраке густом».

«Речь хаоса, изложенная кратко».

"Стоит огромный сумасшедший дом,
как вакуум внутри миропорядка".

«Проклятие, как дует из углов!»

"Мой слух твое проклятие не колет:
не жизнь передо мной – победа слов".

«О как из существительных глаголет!»

"Так птица вылетает из гнезда,
гонимая заботами о харче".

"Восходит над равниною звезда
и ищет собеседника поярче".

"И самая равнина, сколько взор
охватывает, с медленностью почты
поддерживает ночью разговор".

«Чем именно?» «Неровностями почвы».

"Как различить ночных говорунов,
хоть смысла в этом нету никакого?"

"Когда повыше – это Горбунов,
а где пониже – голос Горчакова".

XI Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось?» «Как всегда».

«Тогда я и не спрашиваю». "Так-то,
проснулось чувство – как его? – стыда".

«Скорее чувство меры или такта».

«Хорош!» "А что поделаешь? Среда
заела. И зависимость от факта".

«Какого?» «Попадания сюда».

"Ты довести способен до инфаркта.

Пошел ты вместе с фактами... туда".

«Давай, не будем прерывать контакта».

«Зачем тебе?» «А кто его». "Ну что ж...

Так ты меня покинешь?" «После Пасхи».

«Куда же ты отсюда пойдешь?»

«Домой пойду». «А примут без опаски?»

«Я думаю». «А где же ты живешь?»

«Не предаю я адреса огласке».

«Сдается мне, дружок, что это ложь».

«Как хочешь». «Не рассказывай мне сказки».

«Ты все равно ко мне не попадешь».

«О чем ты?» «Я все больше о развязке».

«Тогда ты прав». «Я думаю, что прав».

«Лишь думаешь?» "Ну, вырвалось случайно.

Я сомневаться не имею прав".

«А чем займешься дома?» «Это тайна».

"Подобный стиль беседовать избрав,
контакта хочешь? Странно чрезвычайно".

«Не стиль таков, а, собственно, мой нрав».

«А может, хочешь яблока ты?» "Дай, но
не расколюсь я, яблоко забрав...

Понять и бросить, вира или майна -

вот род моих занятий основной.

Все прочее считаю посторонним".

"Глаза мне застилает пеленой!

Поднять и бросить! – это же синоним
всего происходящего со мной".

«Ну, мы тебя, не бойся, не уроним».

«Что значит „мы“?» "Не нервничай, больной.

Хошь, научу гаданью по ладоням?"

«Прости, я повернусь к тебе спиной.»

"Ужель мы нашу дружбу похороним?!

Ты должен быть, по-моему, добрей".

«Таким я вышел, видимо, из чрева».

«Но бытие...» «Чайку тебе?» "Налей...

определяет..." «Греть?» "Без подогрева...

сознание... Ну, ладно, подогрей".

«Прочел бы это справа ты налево».

«Да что же я, по-твоему – еврей?»

"Еврей снял это яблоко со древа

познания". "Ты, братец, дуралей.

Сняла-то Ева". «Видно, он и Ева».

"А все ж он был по-своему умен.

Является создателем науки.

И имя звучно". "Лучше без имен.

Боюсь, не отхватили бы мне руки

за этот смысловой полиндромон".

"Он тоже обрекал себя на муки.

Теперь он вождь народов и племен".

«Панмонголизм! как много в этом звуке».

«Он тоже, вроде, был приговорен».

«Наверно, не к разлуке». "Не к разлуке.

Что есть разлука?" "Знаешь, не пойму,
зачем тебе?" «Считай, для картотеки».

"Разлука – это судя по тому,
с кем расстаешься. Дело в человеке.

Где остаешься. Можно ль одному
остаться там, подавшись в имяреки?

Коль с близким, – отдаешь его кому?

Надолго ли?" «А ежели навеки?»

"Тогда стоишь и пялишься во тьму
такую, как опущенные веки

обычно создают тебе для сна.

И вздрагиваешь изредка от горя,
поскольку мрака явственность ясна.

И ни тебе лисичек или моря".

"А ежели за окнами весна?

Весной все легче". «Спорно это». "Споря,
не забывай, что в окнах – белизна".

«Тогда ты – словно вырванное с поля».

«Земля не кровоточит, как десна».

"Ну, видимо, на то Господня воля...

А что тебе разлука?" "Трепотня...

Ну, за спиной закрывшиеся двери.

И, если это день, сиянье дня".

«А если ночь?» "Смотря по атмосфере.

Ну, может, свет горящего огня.

А нет – скамья, пустующая в сквере".

"Ты расставался с кем-нибудь, храня
воспоминанья?" «Лучше на примере».

«Ну, что ты скажешь, потеряв меня?»

«Вообще-то, я не чувствую потери».

"Не чувствуешь? А все твоё нытьё

о дружбе?" "Это верно и поныне.

Пока у нас совместное житьё,

нам лучше, видно, вместе по причине

того, что бытие..." "Да не на "е"!

Не бытие, а бытие". "Да ты не -

не придирайся... да, небытие,

когда меня не будет и в помине,

придаст своеобразие равнине".

«Ты, стало быть, молчание мое...»

XII Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Я ужинал. А ты?»

«Я ужинал». «И как тебе капуста?»

"Щи оставляют в смысле густоты

желать, конечно, лучшего: не густо".

"А щи вообще, как правило, пусты.

Есть даже поговорка". "Это грустно.

Хоть уксуса чуть-чуть для остроты!"
«Все – пусто». "Отличается на вкус-то,
наверно, пустота от пустоты".
«Не жвачки мне хотелось бы, а хруста».

"В такие нас забросило места,
что ничего не остается, кроме
как постничать задолго до Поста".
«Ты говоришь о сумасшедшем доме?»
«Да, наша география проста».
«А что потом?» "Ты вечно о потоме!
Когда – потом?" «По снятии с креста».
«О чем ты?!» «Отнесись как к идиоме».
«Положат хоть лаврового листа».
«А разведут по-прежнему на броне».

"Да, все это не кончится добром.
Бром вреден – так я думаю – здоровью".
"И волосы вылазят. Это – бром!
Ты приглядишься к любому изголовью:
Бабанов расстается с сербром,
Мицкевич – с высыпающейся бровью.
И у меня на темени разгром.
Он медленно приводит к малокровью".
"Бром – стенка между бесом и ребром,
чтоб мы мозги не портили любовью.

Я в армии глотал его". «Один?»

"Всей армией. Мы выдумали слово.

Он назывался «противостоин».

Какая с ним Уланова-Орлова!"

"Я был брюнет, а делаюсь блондин.

Пробор разрушен! Жалкая основа...

А ткани нет... не вышло до седин

дожить..." «Не забывай же основного».

«Чего не забывать мне, господин?»

«Быть может, не потребуются снова».

«Кто?» «Кудри». «Вероятно». «Не дрожи».

«Мне холодно». "Засунул бы ты руки

под одеяло". «Правильно». "Скажи,

что есть любовь?" «Сказал...» "Но в каждом звуке

другие рубежи и этажи".

«Любовь есть предисловие к разлуке».

«Не может быть!» "Я памятником лжи

согласен стать, чтоб правнуки и внуки

мне на голову клали!" «Не блажи».

«Я это, как и прочее, от скуки».

«Проклятие, как дует от окна».

«Залеплено замазкой». "Безобразно.

Смотри, и батарея холодна!"

"Здесь вообще и холодно и грязно...

Смотри, звезда над деревом видна -

без телескопа". "Видно и на глаз, но

звезда не появляется одна".

"Я вдруг подумал – но, конечно, праздно -
что если крест да распилить бы на
дрова, взойдет ли дым крестообразно?"

«Ты спятил!» "Я не спятил, а блюду
твой интерес". "Похвальная сердечность.
Но что имеешь, собственно, ввиду?"
«Согреть окоченевшую конечность».
"«Да, все мои конечности во льду».
«Я прав». "Но в этом есть бесчеловечность.
Сложи поленья лучше как звезду".
"Звезда, ты прав, напоминает вечность;
не то, что крест, к великому стыду".
«Не вечность, а дурную бесконечность».

«Который час?» «По-видимому, ночь».
«Молю, не начинай о Зодиаке».
"Снаружи и жена моя, и дочь.
Что о любви, то верно и о браке".
"Я тоже поджениться бы непрочь.
А вот тебе не следовало". "Паки
и паки, я гляжу, тебе невмочь,
что я женат". «Женился бы на мраке!»
"Ну, я к однообразью неохоч.
В семье есть ямы, есть и буераки".

«Который час?» «Да около ноля».

«О, это поздно». "Не имея вкуса
к цифири, я скажу тебе, что для
меня все "о" – предшественницы плюса".

"Ну, дали мои губы кругаля...

То ж следствие зевоты и прикуса.

Чего ты добиваешься, валя
все в кучу?" «Недоступности Эльбруса».

"А соразмерной впадины Земля
не создала?" «Отпраздновала труса».

"Уж если размышляешь о горе,
то думай о Голгофе, по причине
того, что март уже в календаре,
и я исчезну где-нибудь в лощине".

"Иль в облаке сокрывшись, как в чадре,
сыграешь духа в этой чертовщине".

"На свой аршин ты меряшь, тире,
твоей двуглавой снеговой вершине
не уместиться ввек в моем аршине,
сжимающем сугробы во дворе".

XIII Разговоры о море

"Твой довод мне бессмертие сулит.
Но я, твоим пророчествам на горе,
уже наполовину инвалид.

Как снов моих прожектор в коридоре,
твой светоч мою тьму не веселит...
Но это не в укор, и не в укор
все дело. То есть, пусть его горит!..
В открытом и в смежающемся взоре
все время что-то мощное бурлит,
как будто море. Думаю, что море".

"Больница. Ночь. Враждебная среда.
Внимать я не могу тебе без дрожи
от холода, но также от стыда
за светоч. Ибо море – это все же
есть впадина. Однако же туда
я не сойду, хоть истина дороже...
Но я не причиню тебе вреда!
Куда уж больше! Видимо, ты тоже
не столь уверен, море ли... Беда.
На что все это, Господи, похоже?"

"Пожалуй, море... Чайки на молу
над бабой, в них швыряющейся коркой.
И ветер треплет драную полу,
хлеца волнообразною оборкой
ей туфли... И стоит она в пылу
визгливой битвы, с выбившейся челкой,
швыряет хлеб и пялится во мглу...
Как будто став внезапно дальноркой,
высматривает в Турции пчелу".

"Да, это море. Именно оно.

Пучина бытия, откуда все мы,
как витязи, явились так давно,
что, не коснись ты снова этой темы,
забыл бы я, что существует дно
и горизонт, и прочие системы
пространства, кроме той, где суждено
нам видеть только крашенные стены
с лиловыми их полосами; но
умеющие слышати, да немь".

"Есть в жизни нечто большее, чем мы,
что греет нас, само себя не грея,
что громоздит на впадины холмы
– хотя бы и при помощи Борея,
друг другу их несущего взаимы.
Я чувствую, что шествую во сне я
ступеньками, ведущими из тьмы
то в бездну, то в преддверье эмпирея,
один, среди цветущей бахромы -
бессонным эскалатором Нерея".

"Но море слишком чуждая среда,
чтоб верить в чьи-то странствия по водам.
Конечно, если не было там льда.
Похоже, Горбунов, твоим невзгодам

конца не видно. Видно, на года,
как вся эта история с исходом,
рассчитаны они... Невесть куда
все дальше побредешь ты с каждым годом,
туда, где с морем соткана вода.
К кому воззвать под этим небосводом?"

"Для этого душа моя слаба.
Я – волны, а не крашенные наши
простенки узрю всюду, где судьба
прибьет меня – от Рая до парашаи.
И это, Горчаков, не похвальба:
в таком водонебесном ералаше,
о чем бы и была моя мольба?
Для слышати умеющего краше
валов артиллерийская пальба,
чем слезное моление о чаше".

"Но это – грех!... да что же я? Браня
тебя, забыл о выходке с дровами...
Мне помнится, ты спрашивал меня,
что снится мне. Я выразил словами,
и я сказал, что сон – наследье дня,
а ты назвал лисички островами.
Я это говорю тебе, клоня
к тому, что жестко нам под головами.
Теперь ты видишь море – трепотня!
И тот же сон, хоть с большими правами".

«А что есть сон?» «Основа всех основ».
«И мы в него впадаем, словно реки».
"Мы в темноту впадаем, и хренов
твой вымысел. Что спрашивать с калеки!"
«Сон – выход из потемок». "Горбунов!
В каком живешь, ты забываешь, веке.
Твой сон не нов!" «И человек не нов».
«Зачем ты говоришь о человеке?»
«А человек есть выходец из снов».
«А что же в нем решающее?» "Веки.

Закроешь их и видишь темноту".
«Хотя бы и при свете?» "И при свете...
И вдруг заметишь первую черту.
Одна, другая... третья на примете.
В ушах шумит и холодно во рту.
Потом бегут по набережной дети,
и чайки хлеб хватают на лету..."
«А нет ли там меня, на парашюте?»
"И все, что вижу я в минуту ту,
реальнее, чем ты на табурете".

XIV Разговор в разговоре

"Но это – бред! Ты слышишь, это – бред!

Поди сюда, Бабанов, ты свидетель!
Смотри: вот я встаю на табурет!
На мне халат без пуговиц и петель!
Ну, Горбунов, узрел меня ты?" «Нет».
«А цвет кальсон?» «Ей-Богу, не заметил».
"Сейчас я разможжу тебе портрет!
Ну, Горбунов, считай, поднялся ветер!
Сейчас из моря будет винегрет!
Ты слышишь, гад?" «Да я уже ответил».

"Ах так! Так пустим в дело кулаки!
Учить, учить приходится болванов!
На, получай! А ну-ка, прореки,
кто вдарил: Горчаков или Бабанов?"
«По-моему, Гор-банов». "Ты грехи
мне отпускаешь, вижу я! Из кранов
сейчас польет твой окиян!" «Хи-хи».
«А ты что ржешь?! У, скопище баранов!»
«Чего вы расшумелись, старики?»
«Уйди, Мицкевич!» "Я из ветеранов,

и я считаю, ежели глаза
чувак закрыл – завязывай; тем боле,
что ночь уже". "Да я и врезал за,
за то, что он закрыл их не от боли".
«Сказал тебе я: жми на тормоза».
"Ты что, Мицкевич? Охренел ты, что ли?
Да на кого ты тянешь, стрекоза?"

«Я пасть те разорву!» «Ой-ой, мозоли!»
«Эй, мужики, из-за чего буза?»
«Да пес поймет». "На хвост кому-то соли

насыпали". «Атас, идут врачи!»

«В кровати, живо!» «Я уже в постели!»

"Ты, Горбунов, закройся и молчи,
как будто спишь". "А он и в самом деле
уже заснул". «Атас, звенят ключи!»

«Заснул? Не может быть! Вы обалдели!»

«Заткнись, кретин!» «Бабанов, не дрочи».

«Оставь его». «Я, правда, еле-еле».

«Ну, Горбунов, попробуй настучи».

«Да он заснул». «Ну, братцы, залетели».

«Как следует приветствовать врачей?»

«Вставанием... вставайте, раскоряки!»

«Есть жалобы у вас насчет харчей?»

«Я слышал шум, но я не вижу драки».

«Какая драка, свет моих очей?»

«Медбрат сказал, что здесь дерутся». «Враки».

«Ты не юли мне». «Чей это ручей?»

«Да это ссака». "Я же не о ссаке.

Не из чего, я спрашиваю – чей?"

«Да, чей, орлы?» «Кубанские казаки».

«Мицкевич!» «Ась?» «Чтоб вытереть, аспид!»

«Да, мы, врачи, заботимся о быте».
«А Горбунов что не встает?» «Он спит».
«Он, значит, спит, а вы еще не спите».
«Сейчас ложимся». «Верно, это стыд».
«Ну, мы пошли». «Смотрите, не храпите».
«Чтоб слышно, если муха пролетит!»
«Мне б на оправку». «Утром, потерпите».
«Ты, Горчаков, ответственный за быт».
«Да, вот вам новость: спутник на орбите».

«Ушли». «Эй, Горчаков, твоя моча?»
«Иди ты на...» «Ну, закрываем глазки».
«На Пасху хорошо бы кулича».
«Да, разговеться. Маслица, колбаски...»
«Чего же не спросил ты у врача?»
"Ты мог бы это сделать без опаски:
он спрашивал". «Забыл я сгоряча».
«Заткнитесь, вы. Заладили о Пасхе».
"Глянь, Горчаков-то, что-то бормоча,
льнет к Горбунову". «Это для отмазки».

"Ты вправду спишь? Да, судя по всему,
ты вправду спишь... Как спутались все пряди...
Как все случилось, сам я не пойму.
Прости меня, прости мне, Бога ради.
Постой, подушку дай приподниму...
Удобней так?.. Я сам с собой в разладе.
Прости... Мне это все не по уму.

Спи... если вправду говорить о взгляде,
тут задержаться не на чем ему -
тут все преграда. Только на преграде.

Спи, Горбунов. Пока труба отбой
не пропоет... Всем предпочту наградам
стеречь твой сон... а впрочем, с ней, с трубой!
Ты не привык, а я привык к преградам.
Прости меня с моею похвальбой.
Прости меня со всем моим разладом...
Спи, спи, мой друг. Я посижу с тобой.
Не над тобой, не под – а просто рядом.
А что до сроков – я прожду любой,
пока с тобой не повстречаюсь взглядом...

Что видишь? Море? Несколько морей?
И ты бредешь сквозь волны коридором...
И рыбы молча смотрят из дверей...
Я – за тобой... но тотчас перед взором
всплывают мириады пузырей...
Мне не пройти, не справиться с напором...
Что ты сказал?!.. Почудилось... Скорей
всего, я просто брежу разговором...
Смотри-ка, как бесчинствует Борей:
подушка смята, конечно с пробором..."

1965 – 1968

Зимним вечером в Ялте

Сухое левантинское лицо,
упрятанное оспинками в бачки.
Когда он ищет сигарету в пачке,
на безымянном тусклое кольцо
внезапно преломляет двести ватт,
и мой хрусталик вспышки не выносит:
я щурюсь; и тогда он произносит,
глотаю дым при этом, «виноват».

Январь в Крыму. На черноморский берег
зима приходит как бы для забавы:
не в состоянии удержаться снег
на лезвиях и остриях агавы.
Пустуют рестораны. Дымят
ихтиозавры грязные на рейде.
И прелых лавров слышен аромат.
«Налить вам этой мерзости?» «Налейте».

Итак – улыбка, сумерки, графин.
Вдали буфетчик, стискивая руки,
дает круги, как молодой дельфин
вокруг хамсой заполненной фелюки.
Квадрат окна. В горшках – желтофиоль.
Снежинки, проносящиеся мимо.
Остановись, мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо.

январь 1969

Посвящается Ялте

История, рассказанная ниже,
правдива. К сожалению, в наши дни
не только ложь, но и простая правда
нуждается в солидных подтвержденьях
и доводах. Не есть ли это знак,
что мы вступаем в совершенно новый,
но грустный мир? Доказанная правда
есть, собственно, не правда, а всего
лишь сумма доказательств. Но теперь
не говорят «я верю», а «согласен».

В атомный век людей волнует больше
не вещи, а строение вещей.
И как ребенок, распатронив куклу,
рыдает, обнаружив в ней труху,
так подоплеку тех или иных
событий мы обычно принимаем
за самые события. В этом есть
свое очарование, поскольку
мотивы, отношения, среда
и прочее – все это жизнь. А к жизни
нас приучили относиться как
к объекту наших умозаключений.

И кажется порой, что нужно только
переплести мотивы, отношенья,
среду, проблемы – и произойдет
событие; допустим – преступление.
Ан нет. За окнами – обычный день,
накрапывает дождь, бегут машины,
и телефонный аппарат (клубок
катодов, спаек, клемм, сопротивлений)
безмолвствует. Событие, увы,
не происходит. Впрочем, слава богу.

Описанное здесь случилось в Ялте.
Естественно, что я пойду навстречу
указанному выше представленью
о правде – то есть стану потрошить
ту куколку. Но да простит меня
читатель добрый, если кое-где
прибавлю к правде элемент искусства,
которое, в конечном счете, есть
основа всех событий (хоть искусство
писателя не есть искусство жизни,
а лишь его подобье).

Показанья

свидетелей даются в том порядке,
в каком они снимались. Вот пример
зависимости правды от искусства,
а не искусства – от наличья правды.

"Он позвонил в тот вечер и сказал, что не придет. А мы с ним сговорились еще во вторник, что в субботу он ко мне заглянет. Да, как раз во вторник. Я позвонил ему и пригласил его зайти, и он сказал: «В субботу». С какой целью? Просто мы давно хотели сесть и разобрать совместно один дебют Чигорина. И все. Другой, как вы тут выразились, цели у встречи нашей не было. При том условии, конечно, что желание увидеться с приятным человеком не называют целью. Впрочем, вам видней... но, к сожалению, в тот вечер он, позвонив, сказал, что не придет. А жаль! я так хотел его увидеть.

Как вы сказали: был взволнован? Нет. Он говорил своим обычным тоном. Конечно, телефон есть телефон; но, знаете, когда лица не видно, чуть-чуть острее воспринимаешь голос. Я не слышал волнения... Вообще-то он как-то странно составлял слова. Речь состояла более из пауз, всегда смущавших несколько. Ведь мы молчанье собеседника обычно

воспринимаем как работу мысли.
А это было чистое молчанье.
Вы начинали ощущать свою
зависимость от этой тишины,
и это сильно раздражало многих.
Нет, я-то знал, что это результат
контузии. Да, я уверен в этом.
А чем еще вы объясните... Как?
Да, значит, он не волновался. Впрочем,
ведь я сужу по голосу и только.
Скажу во всяком случае одно:
тогда во вторник и потом в субботу
он говорил обычным тоном. Если
за это время что-то и стряслось,
то не в субботу. Он же позвонил!
Взволнованные так не поступают!
Я, например, когда волнуюсь... Что?
Как протекал наш разговор? Извольте.
Как только прозвучал звонок, я тотчас
снял трубку. "Добрый вечер, это я.
Мне нужно перед вами извиниться.
Так получилось, что прийти сегодня
я не сумею". Правда? Очень жаль.
Быть может, в среду? Мне вам позвонить?
Помилуйте, какие тут обиды!
Так до среды? И он: «Спокойной ночи».
Да, это было около восьми.
Повесив трубку, я прибрал посуду
и вынул доску. Он в последний раз
советовал пойти ферзем Е-8.

То был какой-то странный, смутный ход.

Почти нелепый. И совсем не в духе

Чигорина. Нелепый, странный ход,

не изменявший ничего, но этим

на нет сводивший самый смысл этюда.

В любой игре существенен итог:

победа, поражение, пусть ничейный,

но все же – результат. А этот ход -

он как бы вызывал у тех фигур

сомнение в своем существовании.

Я просидел с доской до поздней ночи.

Быть может, так когда-нибудь и будут

играть, но что касается меня...

Простите, я не понял: говорит ли

мне что-нибудь такое имя? Да.

Пять лет назад мы с нею разошлись.

Да, правильно: мы не были женаты.

Он знал об этом? Думаю, что нет.

Она бы говорить ему не стала.

Что? Эта фотография? Ее

я убирал перед его приходом.

Нет, что вы! вам не нужно извиняться.

Такой вопрос естественен, и я...

Откуда мне известно об убийстве?

Она мне позвонила в ту же ночь.

Вот у кого взволнованный был голос!"

2

"Последний год я виделась с ним редко,

но виделась. Он приходил ко мне

два раза в месяц. Иногда и реже.
А в октябре не приходил совсем.
Обычно он предупреждал звонком
заранее. Примерно за неделю.
Чтоб не случилось путаницы. Я,
вы знаете, работаю в театре.
Там вечно неожиданности. Вдруг
заболевает кто-нибудь, сбегает
на киносъемку – нужно заменять.
Ну, в общем, в этом духе. И к тому же
– к тому ж он знал, что у меня теперь...
Да, верно. Но откуда вам известно?
А впрочем, это ваше амплуа.
Но то, что есть теперь, ну, это, в общем,
серьезно. То есть я хочу сказать,
что это... Да, и несмотря на это
я с ним встречалась. Как вам объяснить!
Он, видите ли, был довольно странным
и непохожим на других. Да все,
все люди друг на друга непохожи.
Но он был непохож на всех других.
Да, это в нем меня и привлекало.
Когда мы были вместе, все вокруг
существовать переставало. То есть,
все продолжало двигаться, вертеться -
мир жил; и он его не заслонял.
Нет! я вам говорю не о любви!
Мир жил. Но на поверхности вещей
– как движущихся, так и неподвижных -
вдруг возникало что-то вроде пленки,

вернее – пыли, придававшей им
какое-то бессмысленное сходство.
Так, знаете, в больницах красят белым
и потолки, и стены, и кровати.
Ну, вот представьте комнату мою,
засыпанную снегом. Правда, странно?
А вместе с тем, не кажется ли вам,
что мебель только выиграла б от
такой метаморфозы? Нет? А жалко.
Я думала тогда, что это сходство
и есть действительная внешность мира.
Я дорожила этим ощущением.

Да, именно поэтому я с ним
совсем не порывала. А во имя
чего, простите, следовало мне
расстаться с ним? Во имя капитана?
А я так не считаю. Он, конечно,
серьезный человек, хоть офицер.
Но это ощущение для меня
всего важнее! Разве он сумел бы
мне дать его? О Господи, я только
сейчас и начинаю понимать,
насколько важным было для меня
то ощущение! Да, и это странно.
Что именно? Да то, что я сама
отныне стану лишь частичкой мира,
что и на мне появится налет
той патины. А я-то буду думать,

что непохожа на других!.. Пока
мы думаем, что мы неповторимы,
мы ничего не знаем. Ужас, ужас.

Простите, я налью себе вина.

Вы тоже? С удовольствием. Ну, что вы,
я ничего не думаю! Когда

и где мы познакомились? Не помню.

Мне кажется, на пляже. Верно, там:

в Ливадии, на санаторском пляже.

А где еще встречаешься с людьми

в такой дыре, как наша? Как, однако,

вам все известно обо мне! Зато

вам никогда не угадать тех слов,

с которых наше началось знакомство.

А он сказал мне: "Понимаю, как

я вам противен, но..." – что было дальше,

не так уж важно. Правда, ничего?

Как женщина, советую принять

вам эту фразу на вооруженье.

Что мне известно о его семье?

Да ровным счетом ничего. Как будто,

как будто сын был у него – но где?

А впрочем, нет, я путаю: ребенок

у капитана. Да, мальчишка, школьник.

Угрюм; но, в общем, вылитый отец...

Нет, о семье я ничего не знаю.

И о знакомых тоже. Он меня

ни с кем, насколько помню, не знакомил.

Простите, я налью себе еще.

Да, совершенно верно: душный вечер.

Нет, я не знаю, кто его убил.

Как вы сказали? Что вы! Это – тряпка.

Сошел с ума от ферзевых гамбитов.

К тому ж они приятели. Чего

я не могла понять, так этой дружбы.

Там, в ихнем клубе, они так дымят,
что могут завонять весь южный берег.

Нет, капитан в тот вечер был в театре.

Конечно, в штатском! Я не выношу
их форму. И потом мы возвращались
обратно вместе.

Мы его нашли

в моем парадном. Он лежал в дверях.

Сначала мы решили – это пьяный.

У нас в парадном, знаете, темно.

Но тут я по плащу его узнала:

на нем был белый плащ, но весь в грязи.

Да, он не пил. Я знаю это твердо;

да, видимо, он полз. И долго полз.

Потом? Ну, мы внесли его ко мне
и позвонили в отделение. Я?

Нет – капитан. Мне было просто худо.

Да, все это действительно кошмар.

Вы тоже так считаете? Как странно.

Ведь это ваша служба. Вы правы:
да, к этому вообще привыкнуть трудно.
И вы ведь тоже человек... Простите!
Я неудачно выразилась. Да,
пожалуйста, но мне не наливайте.
Мне хватит. И к тому ж я плохо сплю,
а утром – репетиция. Ну, разве
как средство от бессонницы. Вы в этом
убеждены? Тогда – один глоток.
Вы правы, нынче очень, очень душно.
И тяжело. И совершенно нечем
дышать. И все мешает. Духота.
Я задыхаюсь. Да. А вы? А вы?
Вы тоже, да? А вы? А вы? Я больше -
я больше ничего не знаю. Да?
Я совершенно ничего не знаю.
Ну, что вам нужно от меня? Ну, что вы...
Ну, что ты хочешь? А? Ну что? Ну что?"

3

"Так вы считаете, что я обязан
давать вам объяснения? Ну, что ж,
обязан так обязан. Но учтите:
я вас разочарую, так как мне
о нем известно безусловно меньше,
чем вам. Хотя того, что мне известно,
достаточно, чтобы сойти с ума.
Вам это, полагаю, не грозит,
поскольку вы... Да, совершенно верно:
я ненавижу этого субъекта.

Причины вам, я думаю, ясны.

А если нет – вдаваться в объяснения
бессмысленно. Тем более, что вас,
в конце концов, интересуют факты.
Так вот: я признаю, что ненавидел.

Нет, мы с ним не были знакомы. Я -
я знал, что у нее бывает кто-то.
Но я не знал, кто именно. Она,
конечно, ничего не говорила.
Но я-то знал! Чтоб это знать, не нужно
быть Шерлок Холмсом, вроде вас. Вполне
достаточно обычного вниманья.
Тем более... Да, слепота возможна.
Но вы совсем не знаете ее!
Ведь если мне она не говорила
об этом типе, то не для того,
чтоб что-то скрыть! Ей просто не хотелось
расстраивать меня. Да и скрывать
там, в общем, было нечего. Она же
сама призналась – я ее припер
к стене – что скоро год, как ничего
уже меж ними не было... Не понял -
поверил ли я ей? Ну да, поверил.
Другое дело, стало ли мне легче.

Возможно, вы и правы. Вам видней.
Но если люди что-то говорят,

то не за тем, чтоб им не доверяли.
По мне, само уже движенье губ
существенней, чем правда и неправда:
в движеньи губ гораздо больше жизни,
чем в том, что эти губы произносят.
Вот я сказал вам, что поверил; нет!
Здесь было нечто большее. Я просто
увидел, что она мне говорит.
(Заметьте, не услышал, но увидел!)
Поймите, предо мной был человек.
Он говорил, дышал и шевелился.
Я не хотел считать все это ложью,
да и не мог... Вас удивляет, как
с таким подходом к человеку все же
я ухитрился получить четыре
звезды? Но это – маленькие звезды.
Я начинал совсем иначе. Те,
с кем начинал я, – те давно имеют
большие звезды. Многие и по две.
(Прибавьте к вашей версии, что я
еще и неудачник; это будет
способствовать ее правдоподобию.)
Я, повторяю, начинал иначе.
Я, как и вы, везде искал подвох.
И находил, естественно. Солдаты
такой народ – все время норовят
начальство охмурить... Но как-то я
под Кошице, в сорок четвертом, понял,
что это глупо. Предо мной в снегу
лежало двадцать восемь человек,

которым я не доверял, – солдаты.

Что? Почему я говорю о том,

Что не имеет отношения к делу?

Я только отвечал на ваш вопрос.

Да, я – вдовец. Уже четыре года.

Да, дети есть. Один ребенок, сын.

Где находился вечером в субботу?

В театре. А потом я провожал
ее домой. Да, он лежал в парадном.

Что? Как я реагировал? Никак.

Конечно, я узнал его. Я видел
их вместе как-то раз в универмаге.

Они там что-то покупали. Я
тогда и понял...

Дело в том, что с ним
я сталкивался изредка на пляже.

Нам нравилось одно и то же место -
там, знаете, у сетки. И всегда
я видел у него на шее пятна...

Те самые, ну, знаете... Ну, вот.

Однажды я сказал ему – ну, что-то
насчет погоды, – и тогда он быстро
ко мне нагнулся и, не глядя на
меня, сказал: «Мне как-то с вами неохота»,

и только через несколько секунд
добавил: «разговаривать». При этом
все время он смотрел куда-то вверх.

Вот в ту минуту я, клянусь вам, мог

убить его. В глазах моих стемнело,
я ощутил, как заливают мозг
горячая волна, и на мгновение,
мне кажется, я потерял сознание.
Когда я наконец пришел в себя,
он возлежал уже на прежнем месте,
накрыв лицо газетой, и на шее
темнели эти самые подтеки...
Да, я не знал тогда, что это – он.
По счастью, я еще знаком с ней не был.

Потом? Потом он, кажется, исчез:
я как-то не встречал его на пляже.
Потом был вечер в доме офицеров,
и мы с ней познакомились. Потом
я увидел их там в универмаге...
Поэтому его в субботу ночью
я сразу же узнал. Сказать вам правду,
я до известной степени был рад.
Иначе все могло тянуться вечно,
и всякий раз после его визитов
она была немного не в себе.
Теперь, надеюсь, все пойдет как надо.
Сначала будет малость тяжело,
но я-то знаю, что в конце концов
убитых забывают, и к тому же
мы, видимо, уедем. У меня
есть вызов в Академию. Да, в Киев.
Ее возьмут в любой театр, а сын

с ней очень дружит. И возможно, мы

с ней заведем и своего ребенка.

Я – хахаха – как видите, еще...

Да, я имею личное оружие.

Да нет, не «стечкин» – просто у меня
еще с войны трофейный «парабеллум».

Ну да, раненье было огнестрельным".

4

"В тот вечер батя отвалил в театр,

а я остался дома вместе с бабкой.

Ага, мы с ней смотрели телевизор.

Уроки? Так ведь то ж была суббота!

Да, значит телевизор. Про чего?

Сейчас уже не помню. Не про Зорге?

Ага, про Зорге! Только до конца

я не смотрел – я видел это раньше.

У нас была экскурсия в кино.

Ну вот... С какого места я ушел?

Ну, это там, где Клаузен и немцы.

Верней, японцы... и потом они

еще плывут вдоль берега на лодке.

Да, это было после девяти.

Наверно. Потому что гастроном

они в субботу закрывают в десять,

а я хотел мороженого. Нет,

я посмотрел в окно – ведь он напротив.

Да, и тогда я захотел пройтись.

Нет, бабке не сказался. Почему?

Она бы зарычала – ну, пальто,

перчатки, шапка – в общем, все такое.

Ага, был в куртке. Нет, совсем не в этой,
а в той, что с капюшоном. Да, она
на молнии.

Да, положил в карман.

Да нет, я просто знал, где ключ он прячет...

Конечно, просто так! И вовсе не
для хвастовства! Кому бы стал я хвастать?

Да, было поздно и вообще темно.

О чем я думал? Ни о чем не думал.

По-моему, я просто шел и шел.

Что? Как я очутился наверху?

Не помню... в общем, потому что сверху
спускаешься когда, перед тобой
все время – гавань. И огни в порту.

Да, верно, и стараешься представить,
что там творится. И вообще когда
уже домой – приятнее спускаться.

Да, было тихо и была луна.

Ну, в общем было здорово красиво.

Навстречу? Нет, никто не попадался.

Нет, я не знал, который час. Но «Пушкин»
в субботу отправляется в двенадцать,
а он еще стоял – там, на корме,
салон для танцев, где цветные стекла,
и сверху это вроде изумруда.

Ага, и вот тогда...

Чего? Да нет же!

Еенный дом над парком, а его
я встретил возле выхода из парка.
Чего? А вообще у нас какие
с ней отношения? Ну как – она
красивая. И бабка так считает.
И вроде ничего, не лезет в душу.
Но мне-то это, в общем, все равно.
Папаша разберется...
Да, у входа.
Ага, курил. Ну да, я попросил,
а он мне не дал, и потом... Ну, в общем,
он мне сказал: «А ну катись отсюда»
и чуть попозже – я уж отошел
шагов на десять, может быть, и больше -
вполголоса прибавил: «негодяй».
Стояла тишина, и я услышал.
Не знаю, что произошло со мной!
Ага, как будто кто меня ударил.
Мне словно чем-то залило глаза,
и я не помню, как я обернулся
и выстрелил в него! Но не попал:
он продолжал стоять на прежнем месте
и, кажется, курил. И я... и я...
Я закричал и бросился бежать.
А он – а он стоял...
Никто со мною
так никогда не говорил! А что,
а что я сделал? Только попросил.
Да, папиросу. Пусть и папиросу!
Я знаю, это плохо. Но у нас

почти все курят. Мне и не хотелось
курить-то даже! Я бы не курил,
я только подержал бы... Нет же! нет же!
Я не хотел себе казаться взрослым!
Ведь я бы не курил! Но там, в порту,
везде огни и светлячки на рейде...
И здесь бы тоже... Нет, я не могу
как следует все это... Если можно,
прошу вас: не рассказывайте батю!
А то убьет... Да, положил на место.
А бабка? Нет, она уже уснула.
Не выключила даже телевизор,
и там мелькали полосы... Я сразу,
я сразу положил его на место
и лег в кровать! Не говорите батю!
Не то убьет! Ведь я же не попал!
Я промахнулся! Правда? Правда? Правда?!"

5

Такой-то и такой-то. Сорок лет.
Национальность. Холост. Дети – прочерк.
Откуда прибыл. Где прописан. Где,
когда и кем был найден мертвым. Дальше
идут подозреваемые: трое.
Итак, подозреваемые – трое.
Вообще, сама возможность заподозрить
трех человек в убийстве одного
весьма красноречива. Да, конечно,
три человека могут совершить
одно и то же. Скажем, съесть цыпленка.

Но тут – убийство. И в самом том факте,
что подозрение пало на троих,
залог того, что каждый был способен
убить. И этот факт лишает смысла
все следствие – поскольку в результате
расследования только узнаешь,
кто именно; но вовсе не о том, что
другие не могли... Ну что вы! Нет!
Мороз по коже? Экий вздор! Но в общем
способность человека совершить
убийство и способность человека
расследовать его – при всей своей
преемственности видимой – бесспорно
не равнозначны. Вероятно, это
как раз эффект их близости... О да,
все это грустно...

Как? Как вы сказали?!

Что именно само уже число
лиц, на которых пало подозрение,
объединяет как бы их и служит
в каком-то смысле алиби? Что нам
трех человек не накормить одним
цыпленком? Безусловно. И, выходит,
убийца не внутри такого круга,
но за его пределами. Что он
из тех, которых не подозреваешь?!

Иначе говоря, убийца – тот,
кто не имеет повода к убийству?!

Да, так оно и вышло в этот раз.

Да-да, вы правы... Но ведь это... это...

Ведь это – апология абсурда!
Апофеоз бессмысленности! Бред!
Выходит, что тогда оно – логично.
Постойте? Объясните мне тогда,
в чем смысл жизни? Неужели в том,
что из кустов выходит мальчик в куртке
и начинает в вас палить?! А если,
а если это так, то почему
мы называем это преступлением?
И, сверх того, расследуем! Кошмар.
Выходит, что всю жизнь мы ждем убийства,
что следствие – лишь форма ожидания,
и что преступник вовсе не преступник,
и что...

Простите, мне нехорошо.

Поднимемся на палубу; здесь душно...

Да, это Ялта. Видите, вон там -
там этот дом. Ну, чуть повыше, возле
мемориала... Как он освещен!

Красиво, правда?.. Нет, не знаю, сколько
дадут ему. Да, это все уже
не наше дело. Это – суд. Наверно,
ему дадут... Простите, я сейчас
не в силах размышлять о наказании.

Мне что-то душно. Ничего, пройдет.

Да, в море будет несравненно легче.

Ливадия? Она вон там. Да-да,
та группа фонарей. Шикарно, правда?

Да, хоть и ночью. Как? Я не расслышал?

Да, слава Богу. Наконец плывем.

—
«Колхида» вспенила бурун, и Ялта -
с ее цветами, пальмами, огнями,
отпускниками, льнущими к дверям
закрытых заведений, точно мухи
к зажженным лампам, – медленно качнулась
и стала поворачиваться. Ночь
над морем отличается от ночи
над всякой сушею примерно так же,
как в зеркале встречающийся взгляд -
от взгляда на другого человека.
«Колхида» вышла в море. За кормой
струился пенистый, шипящий след,
и полуостров постепенно таял
в полночной тьме. Вернее, возвращался
к тем очертаньям, о которых нам
твердит географическая карта.

январь – февраль 1969

В альбом Натальи Скавронской

Осень. Оголенность тополей
раздвигает коридор аллей
в нашем не-имении. Ставни бьются
друг о друга. Туч невпроворот,
солнце забуксует. У ворот
лужа, как расколотое блюдце.

Спинка стула, платица без плеч.
Ни тебя в них больше не облечь,
ни сестер, раздавшихся за лето.
Пальцы со следами до-ре-ми.
В бельэтаже хлопают дверьми,
будто бы палят из пистолета.

И моя над бронзовым узлом
пятерня, как посуху – веслом.
«Запираем» – кличут – «Запираем!»
Не рыдай, что будущего нет.
Это – тоже в перечне примет
места, именуемого Раем.

Запрягай же, жизнь моя сестра,
в бричку яблонь серую. Пора!
По проселкам, перелескам, гатям,
за семь верст некрашенных и вод,
к станции, туда, где небосвод
заколочен досками, покатым.

Ну, пошел же! Шляпу придержи
да под хвост не опускай вожжи.
Эх, целуйся, сталкивайся лбами!
То не в церковь белую к венцу -
прямо к света нашего концу,

точно в рощу вместе за грибами.

октябрь 1969, Коктебель

С видом на море

И. Н. Медведевой

I

Октябрь. Море поутру

лежит щекой на волнорезе.

Стручки акаций на ветру,

как дождь на кровельном железе,

чечетку выбивают. Луч

светила, вставшего из моря,

скорей пронзителен, чем жгуч;

его пронзительности вторя,

на весла севшие гребцы

глядят на снежные зубцы.

II

Покуда храбрая рука

Зюйд-Веста, о незримых пальцах,

расчесывает облака,

в агавах взрывчатых и пальмах

производя переполох,

свершивший туалет без мыла

пророк, застигнутый врасплох

при сотворении кумира,

свой первый кофе пьет уже

на набережной в неглиже.

III

Потом он прыгает, крестясь,
в прибой, но в схватке рукопашной
он терпит крах. Обзаведясь
в киоске прессою вчерашней,
он размещается в одном
из алюминиевых кресел;
гниют баркасы кверху дном,
дымит на горизонте крейсер,
и сохнут водоросли на
затылке плоском валуна.

IV

Затем он покидает брег.
Он лезет в гору без усилий.
Он возвращается в ковчег
из олеандр и бугенвилей,
настолько сросшийся с горой,
что днище течь дает как будто,
когда сквозь заросли порой
внизу проглядывает бухта;
и стол стоит в ковчеге том,
давно покинутом скотом.

V

Перо. Чернильница. Жара.
И льнет линолеум к подошвам...
И речь бежит из-под пера
не о грядущем, но о прошлом;

затем что автор этих строк,
чьей пронизательности беркут
мог позавидовать, пророк,
который нынче опровергнут,
утратив жажду прорицать,
на лире пробует бряцать.

VI

Приехать к морю в несезон,
помимо материальных выгод,
имеет тот еще резон,
что это – временный, но выход
за скобки года, из ворот
тюрьмы. Посмеиваясь криво,
пусть Время взяток не берет -
Пространство, друг, сребролюбиво!
Орел двугривенника прав,
четыре времени поправ!

VII

Здесь виноградники с холма
бегут темно-зеленым туком.
Хозяйки белые дома
здесь топят розоватым буком.
Петух вечерний голосит.
Крутя замедленное сальто,
луна разбиться не грозит
о гладь щербатую асфальта:
ее и тьму других светил
залив бы с легкостью вместил.

VIII

Когда так много позади
всего, в особенности – горя,
поддержки чьей-нибудь не жди,
сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее. Оно
и глубже. Это превосходство -
не слишком радостное. Но
уж если чувствовать сиротство,
то лучше в тех местах, чей вид
волнует, нежели язвит.

октябрь 1969, Коктебель

Конец прекрасной эпохи

Потому что искусство поэзии требует слов,
я – один из глухих, облысевших, угрюмых послов
второсортной державы, связавшейся с этой, -
не желая насиловать собственный мозг,
сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск
за вечерней газетой.

Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый накал
в этих грустных краях, чей эпиграф – победа зеркал,
при содействии луж порождает эффект изобилья.
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.
Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, -

это чувство забыл я.

В этих грустных краях все рассчитано на зиму: сны,
стены тюрем, пальто; туалеты невест – белизны
новогодней, напитки, секундные стрелки.

Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей;
пуританские нравы. Белье. И в руках скрипачей -
деревянные грелки.

Этот край недвижим. Представляя объем валовой
чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой,
вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках.
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.
Даже стулья плетеные держатся здесь
на болтах и на гайках.

Только рыбы в морях знают цену свободе; но их
немота вынуждает нас как бы к созданию своих
этикеток и касс. И пространство торчит преискурантом.
Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах,
свойства тех и других оно ищет в сырых овощах.
Кочет внемлет курантам.

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрал,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.

И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут -
тут конец перспективы.

То ли карту Европы украли агенты властей,
то ль пятерка шестых остающихся в мире частей
чересчур далека. То ли некая добрая фея
надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу.
Сам себе наливаю кагор – не кричать же слугу -
да чешу котофея...

То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом,
то ли дернуть отсюда по морю новым Христом.
Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза,
паровоз с кораблем – все равно не сгоришь от стыда:
как и челн на воде, не оставит на рельсах следа
колесо паровоза.

Что же пишут в газетах в разделе «Из зала суда»?
Приговор приведен в исполнение. Взглянувши сюда,
обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе,
как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены;
но не спит. Ибо брезговать кумполлом сны
продырявленным вправо.

Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те

времена, неспособные в общей своей слепоте
отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек.
Белоглазая чужд дальше смерти не хочет взглянуть.
Жалко, блюдец полно, только не с кем стола вертануть,
чтоб спросить с тебя, Рюрик.

Зоркость этих времен – это зоркость к вещам тупика.
Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевком по стене. И не князя будить – динозавра.
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора
да зеленого лавра.

декабрь 1969

Дидона и Эней

Великий человек смотрел в окно,
а для нее весь мир кончался краем
его широкой, греческой тунки,
обильем складок походившей на
остановившееся море.
Он же
смотрел в окно, и взгляд его сейчас
был так далек от этих мест, что губы
застыли, точно раковина, где
таится гул, и горизонт в бокале
был неподвижен.
А ее любовь

была лишь рыбой – может и способной
пуститься в море вслед за кораблем
и, рассекая волны гибким телом,
возможно, обогнать его... но он -
он мысленно уже ступил на сушу.
И море обернулось морем слез.
Но, как известно, именно в минуту
отчаянья и начинает дуть
попутный ветер. И великий муж
покинул Карфаген.

Она стояла
перед костром, который разожгли
под городской стеной ее солдаты,
и видела, как в мареве костра,
дрожавшем между пламенем и дымом,
беззвучно рассыпался Карфаген

задолго до пророчества Катона.

1969

Отрывок

Из слез, дистиллированных зрачком,
гортань мне омывающих, наружу
не пущенных и там, под мозжечком,
образовавших ледяную лужу,
из ночи, перепачканной трубой,
превосходящей мужеский капризнак,

из крови, столь испорченной тобой,
– и тем верней – я создаю твой призрак,
и мне, как псу, не оторвать глаза
от перекрестка, где многоголосо
остервенело лают тормоза,
когда в толпу сбиваются колеса
троллейбусов, когда на красный свет
бежит твой призрак, страх перед которым
присущ скорее глохнущим моторам,
чем шоферам. И если это бред,
ночной мой бред, тогда – сожми виски.
Но тяжкий бред ночной непрерываем
будильником, грохочущим трамваем,
огромный город рвущим на куски,
как белый лист, где сказано «прощай».
Но уничтожив адрес на конверте,
тыходишь в дом, чьи комнаты лишай
забвения стрижет, и мысль о смерти
приюта ищет в меркнувшем уме
на ощупь, как случайный обитатель
чужой квартиры пальцами во тьме
по стенам шарит в страхе выключатель.

1969

Из «Школьной антологии»

1. Э. Ларионова

Э. Ларионова. Брюнетка. Дочь
полковника и машинистки. Взглядом
напоминала взгляд на циферблат.
Она стремилась каждому помочь.
Однажды мы лежали рядом
на пляже и крошили шоколад.
Она сказала, поглядев вперед,
туда, где яхты не меняли галса,
что если я хочу, то я могу.
Она любила целоваться. Рот
напоминал мне о пещерах Карса.
Но я не испугался.
Берегу
воспоминанье это, как трофей,
уж на каком-то непонятном фронте
отбитый у неведомых врагов.
Любитель сдобных баб, запечный котофей,
Д. Куликов возник на горизонте,
на ней женился Дима Куликов.
Она пошла работать в женский хор,
а он трубит на номерном заводе.
Он – этакий костистый инженер...
А я все помню длинный коридор
и нашу свалку с нею на комодке.
И Дима – некрасивый пионер.

Куда все делось? Где ориентир?
И как сегодня обнаружить то, чем
их ипостаси преображены?

В ее глазах таился странный мир,
еще самой ей непонятный. Впрочем,
не понятый и в качестве жены.

Жив Куликов. Я жив. Она – жива.

А этот мир – куда он подевался?

А может, он их будит по ночам?..

И я все бормочу свои слова.

Из-за стены несутся клочья вальса,
и дождь шумит по битым кирпичам...

2. О. Поддобрый

Олег Поддобрый. У него отец
был тренером по фехтованию. Твердо
он знал все это: выпады, укол.
Он не был пожирателем сердец.
Но, как это бывает в мире спорта,
он из офсайда забивал свой гол.
Офсайд был ночью. Мать была больна,
и младший брат вопил из колыбели.
Олег вооружился топором.
Вошел отец, и началась война.
Но вовремя соседи подросли
и сына одолели вчетвером.

Я помню его руки и лицо,
потом – рапиру с ручкой деревянной:

мы фехтовали в кухне иногда.
Он раздобыл поддельное кольцо,
плескался в нашей коммунальной ванной...
Мы бросили с ним школу, и тогда
он поступил на курсы поваров,
а я фрезеровал на «Арсенале».
Он пек блины в Таврическом саду.
Мы развлекались переноской дров
и продавали елки на вокзале
под Новый Год.
Потом он, на беду,
в компании с какой-то шантрапой
взял магазин и получил три года.
Он жарил свою пайку на костре.
Освободился. Пережил запой.
Работал на строительстве завода.
Был, кажется, женат на медсестре.
Стал рисовать. И будто бы хотел
учиться на художника. Местами
его пейзажи походили на -
на натюрморт. Потом он залетел
за фокусы с больничными листами.
И вот теперь – настала тишина.
Я много лет его не вижу. Сам
сидел в тюрьме, но там его не встретил.
Теперь я на свободе. Но и тут
нигде его не вижу.
По лесам
он где-то бродит и вдыхает ветер.
Ни кухня, ни тюрьма, ни институт

не приняли его, и он исчез.
Как Дед Мороз, успев переодеться.
Надеюсь, что он жив и невредим.
И вот он возбуждает интерес,
как остальные персонажи детства.
Но больше, чем они, невозвратим.

3. Т. Зими́на

Т. Зими́на, прелестное дитя.
Мать – инженер, а батюшка – учетчик.
Я, впрочем, их не видел никогда.
Была невпечатлительна. Хотя
на ней женился пограничный летчик.
Но это было после. А беда
с ней раньше приключилась. У нее
был родственник. Какой-то из райкома.
С машиною. А предки жили врозь.
У них там было, видимо, свое.
Машина – это было незнакомо.
Ну, с этого там все и началось.
Она переживала. Но потом
дела пошли как будто на поправку.
Вдали маячил сумрачный грузин.
Но вдруг он угодил в казенный дом.
Она же – отдала себя прилавку
в большой галантерейный магазин.
Белье, одеколоны, полотно

– ей нравилась вся эта атмосфера,
секреты и поклонники подруг.
Прохожие таращатся в окно.
Вдали – Дом Офицеров. Офицеры,
как птицы, с массой пуговиц, вокруг.

Тот летчик, возвратившись из небес,
приветствовал ее за миловидность.
Он сделал из шампанского салют.
Замужество. Однако в ВВС
ужасно уважается невинность,
возводится в какой-то абсолют.
И этот род схоластики виной
тому, что она чуть не утопилась.
Нашла уж мост, но грянула зима.
Канал покрылся коркой ледяной.
И вновь она к прилавку торопилась.
Ресницы опушила бахрома.
На пепельные волосы струит
сияние неоновая люстра.
Весна – и у распахнутых дверей
поток из покупателей бурлит.
Она стоит и в сумрачное русло
глядит из-за белья, как Лорелей.

4. Ю. Сандул

Ю. Сандул. Добродушие хорька.
Мордашка, заострявшаяся к носу.
Наушничал. Всегда – воротничок.
Испытывал восторг от козырька.
Витийствовал в уборной по вопросу,
прикалывать ли к кителю значок.
Прикалывал. Испытывал восторг
вообще от всяких символов и знаков.
Чтил титулы и звания, до слез.
Любил именовать себя «физорг».
Но был старообразен, как Иаков,
считал своим бичем фурункулез.
Подвержен был воздействию простуд,
отсидивался дома в непогоду.
Дрочил таблицы Брадиса. Тоска.
Знал химию и рвался в институт.
Но после школы загремел в пехоту,
в секретные подземные войска.

Теперь он что-то сверлит. Говорят,
на «Дизеле». Возможно и неточно.
Но точность тут, пожалуй, ни к чему.
Конечно, специальность и разряд.
Но, главное, он учится заочно.
И здесь мы приподнимем бахрому.
Он в сумерках листает «Сопромат»
и впитывает Маркса. Между прочим,
такие книги вечером как раз
особый источают аромат.

Не хочется считать себя рабочим.

Охота, в общем, в следующий класс.

Он в сумерках стремится к рубежам
иным. Сопротивление металла
в теории приятнее. О да!
Он рвется в инженеры, к чертежам.
Он станет им, во что бы то ни стало.
Ну, как это... количество труда,
прибавочная стоимость... прогресс...
И вся эта схоластика о рынке...
Он лезет сквозь дремучие леса.
Женился бы. Но времени в обрез.
И он предпочитает вечеринки,
случайные знакомства, адреса.

«Наш будущий – улыбка – инженер».

Он вспоминает сумрачную массу
и смотрит мимо девушек в окно.
Он одинок на собственный манер.
Он изменяет собственному классу.
Быть может, перебарщиваю. Но
использование класса напрокат
опаснее мужского вероломства.
– Грех молодости. Кровь, мол, горяча. -
я помню даже искренний плакат
по поводу случайного знакомства.
Но нет ни диспансера, ни врача

от этих деклассированных, чтоб
себя предохранить от воспаления.

А если нам эпоха не жена,
то чтоб не передать такой микроб
из этого – в другое поколение.

Такая эстафета не нужна.

5. А. Чегодаев

А. Чегодаев, коротышка, врун.

Язык, к очкам подвешенный. Гримаса
сомнения. Мыслитель. Обожал
касаться самых задушевных струн
в сердцах преподавателей – вне класса.

Чем покупал. Искал и обнажал
пороки наши с помощью стенной
с фрейдистским сладострастием (границу
меж собственным и общим не провести).

Родители, блистая сединой,
доили знаменитую таблицу.

Муж дочери создателя и тесть
в гостиной красовались на стене
и взапуски курировали детство
то бачками, то патлами бранды.

Шли дни, и мальчик впитывал вполне
полярное величье, чье соседство
в итоге принесло свои плоды.

Но странные. А впрочем, борода
верх одержала (бледный исцелитель
курсисток русских отступил во тьму):
им овладела раз и навсегда
романтика больших газетных литер.
Он подал в Исторический. Ему
не повезло. Он спасся от сетей,
расставленных везде военкоматом,
забился в угол. И в его мозгу
замельтешила масса областей
познания: Бионика и Атом,
проблемы Астрофизики. В кругу
своих друзей, таких же мудрецов,
он размышлял о каждом варианте:
какой из них эффектнее с лица.
Он подал в Горный. Но в конце концов
нырнул в Автодорожный, и в дисканте
внезапно зазвучала хрипотца:
"Дороги есть основа... Такова
их роль в цивилизации... Не боги,
а люди их... Нам следует расти..."
Слов больше, чем предметов, и слова
найдутся для всего. И для дороги.
И он спешил их все произнести.
Один, при росте в метр шестьдесят,
без личной жизни, в суতোлке парной
чем мог бы он внимание привлечь?
Он дал обет, предания гласят,
безбрачия – на всякий, на пожарный.

Однако покровительница встреч
Венера поджидала за углом
в своей миниатюрной ипостаси -
звезда, не отличающая ночь
от полудня. Женитьба и диплом.
Распределение. В очереди к кассе
объявлять новых родственников: дочь!

Бескрайние таджикские холмы.
Машины роют землю. Чегодаев
рукой с неповзрослевшего лица
стирает пот оттенка сулемы,
честит каких-то смуглых негодяев.
Слова ушли. Проникнуть до конца
в их сущность он – и выбраться по ту
их сторону – не смог. Застрял по эту.
Шоссе ушло в коричневую мглу
обоими концами. Весь в поту,
он бродит ночью голый по паркету
не в собственной квартире, а в углу
большой земли, которая – кругла,
с неясной мыслью о зеленых листьях.
Жена храпит... о Господи, хоть плачь...
Идет к столу и, свесясь из угла,
скрипя в душе и хорохорясь в письмах,
ткет паутину. Одинокий ткач.

Анциферова. Жанна. Сложена
была на диво. В рубенсовском вкусе.
В фамилии и имени всегда
скрывалась офицерская жена.
Курсант-подводник оказался в курсе
голландской школы живописи. Да
простит мне Бог, но все-таки как вещь
бывает голос пионерской речи!
А так мы выражали свой восторг:
«Берешь все это в руки, маешь вещь!»
и «Эти ноги на мои бы плечи!»
...Теперь вокруг нее – Владивосток,

сырые сопки, бухты, облака.
Медведица, глядящаяся в спальню,
и пихта, заменяющая ель.
Одна шестая вправду велика.
Ложась в постель, как циркуль в готовальню,
она глядит на флотскую шинель,
и пуговицы, блещущие в ряд,
напоминают фонари квартала
и детство и, мгновение спустя,
огромный, черный, мокрый Ленинград,
откуда прямо с выпускного бала
перешагнула на корабль шутя.

Счастливица? Да. Кройка и шитье.
Работа в клубе. Рейды по горящим
осенним сопкам. Стирка дотемна.
Да и воспоминанья у нее
сливаются все больше с настоящим:
из двадцати восьми своих она
двенадцать лет живет уже вдали
от всех объектов памяти, при муже.
Подлодка выплывает из пучин.
Поселок спит. И на краю земли
дверь хлопает. И делается уже
от следствий расстояние причин.

Бомбардировщик стонет в облаках.
Хорал лягушек рвется из канавы.
Позванивает горка хрусталя
во время каждой стойки на руках.
И музыка струится с Окинавы,
журнала мод страницы шевеля.

7. А. Фролов

Альберт Фролов, любитель тишины.
Мать штемпелем стучала по конвертам
на почте. Что касается отца,
он пал за независимость чухны,
успев продлить фамилию Альбертом,

но не выдав Альбертова лица.

Сын гений свой воспитывал в тиши.

Я помню эту шишку на макушке:

он сполз на зоологии под стол,

не выяснив отсутствия души

в совместно распатроненной лягушке.

Что позже обеспечило простор

полету его мыслей, каковым

он предавался вплоть до института,

где он вступил с архангелом в борьбу.

И вот, как согрешивший херувим,

он пал на землю с облака. И тут-то

он обнаружил под рукой трубу.

Звук – форма продолженья тишины,

подобье развивающейся ленты.

Солируя, он скашивал зрочки

на раструб, где мерцали, зажжены

софитами, – пока аплодисменты

их там не задували – светлячки.

Но то бывало вечером, а днем -

днем звезд не видно. Даже из колодца.

Жена ушла, не выстирав носки.

Старуха-мать заботилась о нем.

Он начал пить, впоследствии – колоться
черт знает чем. Наверное, с тоски,

с отчаянья – но дьявол разберет.

Я в этом, к сожалению, не сведущ.

Есть и другая, кажется, шкала:

когда играешь, видишь наперед
на восемь тактов – ампулы ж, как светочь
шестнадцать озаряли... Зеркала

дворцов культуры, где его состав
играл, вбирали хмуро и учтиво
черты, экземой траченные. Но
потом, перевоспитывать устав
его за разложение коллектива,
уволители. И, выдавив: «говно!»

он, словно затухающее «ля»,
не сделав из дальнейшего маршрута
досужих достояния очес,
как строчка, что влезает на поля,
вернее – доводя до абсолюта
идею увольнения, исчез.

Второго января, в глухую ночь,
мой теплоход отшвартовался в Сочи.
Хотелось пить. Я двинул наугад
по переулкам, уходившим прочь
от порта к центру, и в разгаре ночи
набрел на ресторацию «Каскад».

Шел Новый Год. Поддельная хвоя
свисала с пальм. Вдоль столиков кружился
грузинский сброд, поющий «Тбилисо».
Везде есть жизнь, и тут была своя.
Услышав соло, я насторожился
и поднял над бутылками лицо.

«Каскад» был полон. Чудом отыскав
проход к эстраде, в хаосе из лязга
и запахов я сгорбленной спине
сказал: «Альберт» и тронул за рукав;
и страшная, чудовищная маска
оборотилась медленно ко мне.

Сплошные струпья. Высохшие и
набрякшие. Лишь слипшиеся пряди,
нетронутые струпьями, и взгляд
принадлежали школьнику, в мои,

как я в его, косившему тетради
уже двенадцать лет тому назад.

«Как ты здесь оказался в несезон?»

Сухая кожа, сморщенная в виде
коры. Зрачки – как белки из дупла.

«А сам ты как?» "Я, видишь ли, Язон.

Язон, застрявший на зиму в Колхиде.

Моя экзема требует тепла..."

Потом мы вышли. Редкие огни,
небес предотвращавшие с бульваром
слияние. Квартальный – осетин.

И даже здесь держащийся в тени
мой провожатый, человек с футляром.

«Ты здесь один?» «Да, думаю, один».

Язон? Наверяд ли. Иов, небеса
ни в чем не упрекающий, а просто
сливающийся с ночью на живот
и смерть... Береговая полоса,
и острый запах водорослей с Оста,
незримой пальмы шорохи – и вот

все вдруг качнулось. И тогда во тьме
на миг блеснуло что-то на причале.

И звук поплыл, вплетаясь в тишину,
вдогонку удалявшейся корме.

И я услышал, полную печали,
«Высокую-высокую луну».

1966 – 1969

* * *

Здесь жил Швейгольц, зарезавший свою
любовницу – из чистой показухи.

Он произнес: «Теперь она в Раю».

Тогда о нем курсировали слухи,
что сам он находился на краю
безумия. Вранье! Я восстаю.

Он был позер и даже для старухи -
мамаши – я был вхож в его семью -
не делал исключения.

Она
скитается теперь по адвокатам,
в худом пальто, в платке из полотна.

А те за дверью проклинаят матом
ее акцент и что она бедна.

Несчастливая, она его одна
на свете не считает виноватым.

Она бредет к троллейбусу. Со дна
сознания всплывает мальчик, ласки
стыдившийся, любивший молоко,

болевший, перечитывавший сказки...

И все, помимо этого, мелко!

Сойти б сейчас... Но ехать далеко.

Троллейбус полн. Смеющиеся маски.

Грузин кричит над ухом «Сулико».

И только смерть одна ее спасет

от горя, нищеты и остального.

Настанет май, май тыща девятьсот

сего от Р. Х., шестьдесят седьмого.

Фигура в белом «рак» произнесет.

Она ее за ангела, с высот

сошедшего, сочтет или земного.

И отлетит от пересохших сот

пчела, ее столь жалившая.

Дни

пойдут, как бы не ведая о раке.

Взирая на больничные огни,

мы как-то и не думаем о мраке.

Естественная смерть ее сродни

окажется насильственной: они -

дни – движутся. И сын ее в бараке

считает их, Господь его храни.

1969

* * *

А здесь жил Мельц. Душа, как говорят...

Все было с ним до армии в порядке.

Но, сняв противоатомный наряд,

он обнаружил, что потеют пятки.
Он тут же перевел себя в разряд
больных, неприкасаемых. И взгляд
его померк. Он вписывал в тетрадки
свои за препаратом препарат.
Тетрадки громоздились.
В темноте
он бешено метался по аптекам.
Лекарства находились, но не те.
Он льстил и переплачивал по чекам,
глотал и тут же слушал в животе.
Отчаивался. В этой суете
он был, казалось, прежним человеком.
И наконец он подошел к черте
последней, как мне думалось.
Но тут
плюгавая соседка по квартире,
по виду настоящий лилипут,
взяла его за главный атрибут,
еще реальный в сумеречном мире.
Он всунул свою голову в хомут,
и вот, не зная в собственном сортире
спокойствия, он подал в институт.
Нет, он не ожил. Кто-то за него
науку грыз. И не преобразился.
Он просто погрузился в естество
и выволок того, кто мне грозился
заняться плазмой, с криком «каково!?»
Но вскоре, в довершение всего,
он крепко и надолго заразился.

И кончилось минутное родство
с мальчишкой. Может, к лучшему.
Он вновь
болтается по клиникам без толка.
Когда сестра выкачивает кровь
из вены, он приходит ненадолго
в себя – того, что с пятками. И бровь
он морщит, словно колется иголка,
способный только вымолвить, что "волка
питают ноги", услышав: «Любовь».

1969

* * *

А здесь жила Петрова. Не могу
припомнить даже имени. Ей-Богу.
Покажется, наверное, что лгу,
а я – не помню. К этому порогу
я часто приближался на бегу,
но только дважды... Нет, не берегу
как память, ибо если бы помногу,
то вспомнил бы... А так вот – ни гу-гу.
Верней, не так. Скорей, наоборот
все было бы. Но нет и разговору
о чем-то ярком... Дьявол разберет!
Лишь помню, как в полуночную пору,
когда ворвался муж, я – сумасброд -
подобно удирающему вору,
с балкона на асфальт по светофору

сползал по-рачы, задом-наперед.
Теперь она в милиции. Стучит
машинкою. Отжившие матроны
глядят в окно. Там дерево торчит.
На дереве беснуются вороны.
И опись над кареткою кричит:
«Расстрелянные в августе патроны».
Из сумки вылезают макароны.
И за стеной уборная журчит.
Трагедия? О если бы.

1969

* * *

Я начинаю год, и рвет огонь
на пустыре иссохшей елки остов
– обглоданного окуня скелет!
И к небу рвется новый Фаэтон,
и солнце в небесах плывет, как остров,
и я на север мчусь в расцвете лет.

Я начинаю год на свой манер,
и тень растет от плеч моих покатых,
как море, разевающее зев
всем женогрудым ястребам галер,
всем ястребиным женщинам фрегатов,
всем прелестям рыбоподобных дев.

Ах, Аполлон, тебе не чужд словарь
аргосский и кудрявый календарь,
так причеши мой пенный след трезубцем!
Когда гремит за окнами январь,
мне нужен буколический букварь,
чтоб август не смеялся над безумцем.

1969(?)

* * *

Я пробудился весь в поту:
мне голос был – "Не все коту -
сказал он – масленица. Будет -
он заявил – Великий Пост.
Ужо тебе прищемят хвост".
Такое каждого разбудит.

1969?

* * *

...и Тебя в Вифлеемской вечерней толпе
не признает никто: то ли спичкой
озарил себе кто-то пушок на губе,
то ли в спешке искру электричкой
там, где Ирод кровавые руки вздымал,
город высек от страха из жести;
то ли нимб засветился, в диаметре мал,

на века в неприглядном подъезде.

1969 – 1970(?)

Открытка с тостом

Н. И.

Желание горькое – впрямь!

свернуть в вологодскую область,

где ты по колхозным дворам

шатаешься с правом на обыск.

Все чаще ночами, с утра

во мгле, под звездой над дорогой.

Вокруг старики, детвора,

глядящие с русской тревогой.

За хлебом юриста – земель

за тридевять пустишься: власти

и – в общем-то – честности хмель

сильней и устойчивей страсти.

То судишь, то просто живешь,

но ордер торчит из кармана.

Ведь самый длиннейший правож

короче любви и романа.

Из хлева в амбар, – за порог.

Все избы, как дырки пустые

под кружевом сельских дорог.
Шофер посвящен в понятия.
У замкнутой правды в плену,
не сводишь с бескрайности глаза,
лаская родную страну
покрышками нового ГАЗа.

Должно быть, при взгляде вперед,
заметно над Тверью, над Волгой:
другой вырастает народ
на службе у бедности долгой.
Скорей равнодушный к себе,
чем быстрый и ловкий в работе,
питающий в частной судьбе
безжалостность к общей свободе.

...За изгородь в поле, за дом,
за новую русскую ясность,
бредущую в поле пустом,
за долгую к ней непричастность.
Мы – памятник ей, имена
ее предыстории – значит:
за эру, в которой она
как памятник нам замаячит.

Так вот: хоть я все позабыл,
как водится: бедра и плечи,

хоть страсть (но не меньше, чем пыл)
длинней защитительной речи,
однако ж из памяти вон, -
хоть адреса здесь не поставлю,
но все же дойдет мой поклон,
куда я его ни направлю.

За русскую точность, по дну
пришедшую Леты, должно быть.
Вернее, за птицу одну,
что нынче вонзает в нас коготь.
За то что... остатки гнезда...
при всей ее ясности строгой...
горят для нее как звезда...
Да, да, как звезда над дорогой.

1969 – 1970

* * *

Это было плаванье сквозь туман.
Я сидел в пустом корабельном баре,
пил свой кофе, листал роман;
было тихо, как на воздушном шаре,
и бутылок мерцал неподвижный ряд,
не привлекая взгляд.

Судно плыло в тумане. Туман был бел.

В свою очередь, бывшее также белым
судно (см. закон вытеснения тел)
в молоко угодившим казалось мелом,
и единственной черною вещью был
кофе, пока я пил.

Моря не было видно. В белесой мгле,
спеленавшей со всех нас сторон, абсурдным
было думать, что судно идет к земле -
если вообще это было судном,
а не сгустком тумана, как будто влил
кто в молоко белил.

1969 – 1970

Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе

Якову Гордину

Не по торговым странствуя делам,
разбрасывая по чужим углам
свой жалкий хлам,
однажды поутру
с тяжелым привкусом во рту
я на берег сошел в чужом порту.

Была зима.

Зернистый снег сек щеку, но земля

была черна для белого зерна.

Хрипел ревун во всю дурную мочь.

Еще в парадных столбенела ночь.

Я двинул прочь.

О, города земли в рассветный час!

Гостиницы мертвы. Недвижность чаш,

незрячесть глаз

слепых богинь.

Сквозь вас пройти немудрено нагим,

пока не грянул государства гимн.

Густой туман

листал кварталы, как толстой роман.

Тяжелым льдом обложенный Лиман,

как смолкнувший язык материка,

серел, и, точно пятна потолка,

шли облака.

И по восставшей в свой кошмарный рост

той лестнице, как тот матрос,

как тот мальпост,

наверх, скребя

ногтем перила, скулы серебра

слезой, как рыба, я втащил себя.

Один как перст,
как в ступе зимнего пространства пест,
там стыл апостол перемены мест
спиной к отчизне и лицом к тому,
в чью так и не случилось бахрому
шагнуть ему.

Из чугуна

он был изваян, точно пахана
движений голос произнес: "Хана
перемещеньям!" – и с того конца
земли поддакнули звон бубенца
с куском свинца.

Податливая внешне даль,
творя пред ним свою горизонталь,
во мгле синела, обнажая сталь.
И ощутил я, как сапог – дресва,
как марширующий раз-два,
тоску родства.

Поди, и он

здесь подставлял скулу под аквилон,
прикидывая, как убраться вон,
в такую же – кто знает – рань,
и тоже чувствовал, что дело дрянь,
куда ни глянь.

И он, видать,
здесь ждал того, чего нельзя не ждать
от жизни: воли. Эту благодать,
волнам доступную, бог русских нив
сокрыл от нас, всем прочим осенив,
зане – ревнив.

Грек на фелюке уходил в Пирей
порожняком. И стайка упырей
вываливалась из срамных дверей,
как черный пар,
на выученный наизусть бульвар.
И я там был, и я там в снег блевал.

Наш нежный Юг,
где сердце сбрасывало прежде выюк,
есть инструмент державы, главный звук
чей в мироздании – не сорок сороков,
рассчитанный на череду веков,
но лязг оков.

И отлит был
из их отходов тот, кто не уплыл,
тот, чей, давясь, проговорил
«Прощай, свободная стихия» рот,

чтоб раствориться навсегда в тюрьме широт,
где нет ворот.

Нет в нашем грустном языке строки
отчаянней и больше вопреки
себе написанной, и после от руки
сто лет копируемой. Так набегает на
пляж в Ланжероне за волной волна,
земле верна.

1969(?), 70(?)

Лесная идиллия

Она:

Ах, любезный пастушок,
у меня от жизни шок.

Он:

Ах, любезная пастушка,
у меня от жизни – юшка.

Вместе:

Руки мерзнут. Ноги зябнуть.
Не пора ли нам дерябнуть.

II

Она:

Ох, любезный мой красавчик,
у меня с собой мерзавчик.

Он:

Ах, любезная пастушка,
у меня с собой косушка.

Вместе:

Славно выпить на природе,
где не встретишь бюст Володи!

III

Она:

До свиданья, девки-козы,
возвращайтесь-ка в колхозы.

Он:

До свидания, буренки,
дайте мне побыть в сторонке.

Вместе:

Хорошо принять лекарства
от судьбы и государства!

IV

Она:

Мы уходим в глушь лесную.

Брошу книжку записную.

Он:

Удаляемся от света.

Не увижу сельсовета.

Вместе:

Что мы скажем честным людям?

Что мы с ними жить не будем.

V

Он:

Что мы скажем как с облавой

в лес заявится легавый?

Она:

Что с миленком по душе

жить, как Ленин, в шалаше.

Вместе:

Ах, пастушка, ты – философ!

Больше нет к тебе вопросов.

VI

Она:

Буду голой в полнолуние
я купаться, как Колдунья.

Он:

И на зависть партизанам
стану я твоим Тарзаном.

Вместе:

В чаще леса, гой-еси,
лучше слышно Би-Би-Си!

VII

Она:

Будем воду без закуски
мы из речки пить по-русски.

Он:

И питаюсь всухомятку
станем слушать правду-матку.

Вместе:

Сладко слушать за границу,
нам дающую пшеницу.

VIII

Она:

Соберу грибов и ягод,
чтобы нам хватило на год.

Он:

Лес, приют листов и шишек,
не оставит без дровишек.

Вместе:

Эх, топорик дровосека
крепче темени генсека!

IX

Она:

Я в субботу дроле баню
под корягою сварганю.

Он:

Серп и молот бесят милку.
Подарю ей нож и вилку.

Вместе:

Гей да брезгует шершавый
ради гладкого державой!

X

Она:

А когда зима нагрянет
милка дроле печкой станет.

Он:

В печке той мы жар раздуем.
Ни черта. Презимуем.

Вместе:

Говорят, чем стужа злее,
тем теплее в мавзолее.

XI

Она:

Глянь, стучит на елке дятел
как стукач, который спятил.

Он:

Хорошо вослед вороне
вдаль глядеть из-под ладони.

Вместе:

Елки-палки, лес густой!
Нет конца одной шестой.

XII

Она:

Ах, вдыхая запах хвои,
с дролей спать приятней вдвое!

Он:

Хорошо дышать березой,
пьяный ты или тверезый.

Вместе:

Если сильно пахнет тленом,
это значит где-то Пленум.

XIII

Она:

Я твоя, как вдох озона.
Нас разлучит только зона.

Он:

Я, пастушка, твой до гроба.
Если сядем, сядем оба.

Вместе:

Тяжелы статей скрижали.
Сядем вместе. Как лежали.

XIV

Она:

Что за мысли, в самом деле!

Точно гриб поганый съели.

Он:

Дело в нем, в грибе поганом:

В животе чекист с наганом.

Вместе:

Ну-ка вывернем нутро

на состав Политбюро!

XV

Она:

Славься, лес, и славься, поле!

Стало лучше нашей дроле!

Он:

Славьтесь, кущи и опушки!

Полегчало враз пастушке!

Вместе:

Хорошо предаться ласке

после сильной нервной встряски.

XVI

Она:

Хорошо лобзать моншера
без Булата и торшера.

Он:

Славно слушать пенье пташки
лежа в чаще на милашке.

Вместе:

Слава полю! Слава лесу!
Нет – начальству и прогрессу.

Вместе:

С государством щей не сваришь.
Если сваришь – отберет.
Но чем дальше в лес, товарищ,
тем, товарищ, больше в рот.

Ни иконы, ни Бердяев,
ни журнал «За рубежом»
не спасут от негодяев,
пьющих нехотя Боржом.

Глянь, стремленье к перемене
вредно даже Ильичу.
Бросить все к едрене фене -
вот что русским по плечу.

Власти нету в чистом виде.
Фараону без раба
и тем паче – пирамиде
неизбежная труба.

Приглядись, товарищ, к лесу!
И особенно к листве.
Не чета КПССу,
листья вечно в большинстве!

В чем спасенье для России?
Повернуть к начальству «жэ».
Волки, мишки и косые
это сделали уже.

Мысль нагнать четвероногих
нам, имеющим лишь две,
привлекательнее многих
мыслей в русской голове.

Бросим должность, бросим званья,
лицемерить и дрожать.
Не пора ль венцу созданья
лапы теплые пожать?

<1960-e>

* * *

Миновала зима. Весна
еще далека. В саду
еще не всплыли со дна
три вершины в пруду.

Но слишком тревожный взгляд
словно паучью нить
тянет к небу собрат
тех, кто успели сгнить.

Там небесный конвой
в зоне темных аллей
залил все синевой
кроме двух снегирей.

<1960-e>

* * *

На прения с самим
собою ночь
убив, глотаешь дым,
уже не прочь
в набрякшую гортань
рукой залезть.
По пуговицам грань
готов провесть.

Чиня себе правож,
душе, уму,
порою изведешь
такую тьму
и времени и слов,
что ломит грудь,
что в зеркало готов
подчас взглянуть.

Но это только ты,
и жизнь твоя
уложена в черты
лица, края
которого тверды
в беде, в труде
и, видимо, чужды
любой среде.

Но это только ты.
Твое лицо
для спорящей четы
само кольцо.
Не зеркала вина,
что скривлен рот:
ты Лотова жена
и сам же Лот.

Но это только ты.
А фон твой – ад.
Смотри без суеты
вперед. Назад
без ужаса смотри.
Будь прям и горд,
раздроблен изнутри,
на ощупь тверд.

<1960-e>

* * *

Ну, как тебе в грузинских палестинах?
Грустишь ли об оставленных осинах?
Скучаешь ли за нашими лесами,
когда интересуешься Весами,
горящими над морем в октябре?
И что там море? Так же ли просторно,
как в рифмах почитателя Готорна?

И глубже ли, чем лужи во дворе?

Ну как там? Помышляешь об отчизне?

Ведь край земли еще не крайность жизни?

Сам материк поддерживает то, что
не в силах сделать северная почта.

И эта связь доподлинно тверда,
покуда еще можно на конверте
поставить «Ленинград» вместо смерти.

И, может быть, другие города.

Считаю версты, циркули разинув.

Увы, не хватит в Грузии грузинов,
чтоб выложить прямую между нами.

Гораздо лучше пользоваться днями
и железнодорожным забытьем.

Суметь бы это спутать с забываньем,
прибытие – с далеким пребываньем
и с собственным своим небытием.

<1960-e>

* * *

Однажды во дворе на Моховой

стоял я, сжав растерзанный букетик,
сужались этажи над головой,
и дом, как увеличенный штакетник,

меня брал в окружение (заодно -
фортификаций требующий ящик
и столик свежавыкрашенный, но
тоскующий по грохоту костяшек).

Был август, месяц ласточек и крыш,
вселяющий виденья в коридоры,
из форточек выглядывал камыш,
за стеклами краснели помидоры.
И вечер, не заглядывавший вниз,
просвечивал прозрачные волокна
и ржавый возвеличивал карниз,
смеркалось, и распахивались окна.
Был вечер, и парадное уже
как клумба потемневшая разбухло.
Тут и узрел я: в третьем этаже
маячила пластмассовая кукла.
Она была, увы, расчленена,
безжизненна, и (плачь, антибиотик)
конечности свисали из окна,
и сумерки приветствовал животик.

Малыш, расвирепевший, словно лев,
ей ножки повыдергивал из чресел.
Но клею, так сказать, не пожалев,
папаша ее склеил и повесил
сушиться, чтоб бедняжку привести
в порядок. И отшлепать забияку.

И не предполагал он потрясти
слонявшегося в сумерки зеваку.
Он скромн. Океаны переплыв
в одном (да это слыхано ли?) месте
(плачь, Амундсен с Папаниным), открыв
два полюса испорченности вместе.
Что стоит пребывание на льду
и самая отважная корзина
ракеты с дирижаблями – в виду
откупоренной банки казеина!

<1960-e>

* * *

Похож на голос головной убор.
Верней, похож на головной убор мой голос.
Верней, похоже, горловой напор
топорщит на моей ушанке волос.
Надстройка речи над моим умом
возвышенной шнурков на мне самом,
возвышеннее мягкого зверька,
завязанного бантиком шнурка.

Кругом снега, и в этом есть своя
закономерность, как в любом капризе.
Кругом снега. И только речь моя
напоминает о размерах жизни.
А повторить еще разок-другой

«кругом снега» и не достать рукой
до этих слов, произнесенных глухо -
вот унижение моего треуха.

Придет весна, зазеленеет глаз.

И с криком птицы в облаках воскреснут.

И жадно клювы в окончания фраз

они вонзят и в небесах исчезнут.

Что это: жадность птиц или мороз?

Иль сходство с шапкой слов? Или всерьез

«кругом снега» проговорил я снова,

и птицы выхватили слово,

хотя совсем зазеленел мой глаз.

Лесной дороги выдернутый крюк.

Метет пурга весь день напропалую.

Коснулся губ моих отверстый клюв,

и слаще я не знаю поцелуя.

Гляжу я в обознавшуюся даль,

похитившую уст моих печаль

взамен любви, и, расправляя плечи,

машу я шапкой окрыленной речи.

<1960-e>

* * *

Предпоследний этаж

раньше чувствует тьму,
чем окрестный пейзаж;
я тебя обниму
и закутаю в плащ,
потому что в окне
дождь – заведомый плач
по тебе и по мне.

Нам пора уходить.
Рассекает стекло
серебристая нить.
Навсегда истекло
наше время давно.
Переменим режим.
Дальше жить суждено
по брегетам чужим.

<1960-e>

* * *

Сознание, как шестой урок,
выводит из казенных стен
ребенка на ночной порог.
Он тащится во тьму затем,
чтоб, тучам показав перстом
на тонущий в снегу погост,
себя здесь осенить крестом
у церкви в человеческий рост.

Скопление мертвецов и птиц.
Но жизни остается миг
в пространстве между двух десниц
и в стороны от них. От них.
Однако же, стремясь вперед,
так тяжек напряженный взор,
так сердце сдавлено, что рот
не пробует вдохнуть простор.
И только за спиною сад
покинуть неизвестный край
зовет его, как путь назад,
знакомый, как собачий лай.
Да в тучах из холодных дыр
луна старается блеснуть,
чтоб подсказать, что в новый мир
забор указывает путь.

<1960-e>

Уточнение

Откуда ни возьмись -
как резкий взмах -
Божественная высь
в твоих словах -
как отповедь, верней,
как зов: «за мной!» -
над нежностью моей,
моей, земной.
Куда же мне? На звук!

За речь. За взгляд.
За жизнь. За пальцы рук.
За рай. За ад.
И, тень свою губя
(не так ли?), хоть
за самого себя.
Верней, за плоть.
За сдержанность, запал,
всю боль – верней,
всю лестницу из шпал,
стремянку дней
восставив – поднимусь!
(Не тело – пуст!)
Как эхо, я коснусь
и стоп, и уст.
Звучи же! Меж ветвей,
в глуши, в лесу,
здесь, в памяти твоей,
в любви, внизу
постичь – на самом дне!
не по плечу:
нисходишь ли ко мне,
иль я лечу.

<1960-e>

* * *

Я пепел посетил. Ну да, чужой.
Но родственное что-то в нем маячит,

хоть мы разделены такой межой...
Нет, никаких алмазов он не прячет.
Лишь сумерки ползли со всех сторон.
Гремел трамвай. А снег блестел в полете.
Но, падая на пепел, таял он,
как таял бы, моей коснувшись плоти.
Неужто что-то тлело там, внизу,
хотя дожди и ветер все сметали.
Но пепел замирает на весу,
но слишком далеко не улетает.
Ну да, в нем есть не то что связь, но нить,
какое-то неясное старанье
уже не суть, но признак сохранить.
И слышно то же самое желанье
в том крике инвалида «Эй, сынок». -
Среди развалин требуется помощь
увлекшемуся поисками ног,
не видящему снега. Полночь, полночь.
Вся эта масса, ночь – теперь вдвойне
почувствовать, поверить заставляют:
иные не горят на том огне,
который от других не оставляет
не только половины существа,
другую подвергая страшным мукам,
но иногда со смертью естества
разделаться надеется и с духом.
Иные же сгорают. И в аду,
оставшемся с оставленною властью,
весь век сопротивляются дождю,
который все их смешивает с грязью.

Но пепел с пеплом многое роднит.
Роднит бугры блестящий снег над ними.
Увековечат мрамор и гранит
заметившего разницу меж ними.
Но правда в том, что если дождь идет,
нисходит ночь, потом заря бледнеет,
и свет дневной в развалинах встает,
а на бугре ничто не зеленеет,
– то как же не подумать вдруг о том,
подумать вдруг, что если умирает,
подумать вдруг, что если гибнет дом,
вернее – если человек сгорает,
и все уже пропало: грезы, сны,
и только на трамвайном повороте
стоит бугор – и нет на нем весны -
то пепел возвышается до плоти.
Я пепел посетил. Бугор тепла
безжизненный. Иначе бы – возникла...
Трамвай прогрохотал из-за угла.
Мелькнул огонь. И снова все затихло.
Да, здесь сгорело тело, существо.
Но только ночь угрюмо шепчет в ухо,
что этот пепел спрятал дух его,
а этот ужас – форма жизни духа.

<1960-e>

Science Fiction

Тыльная сторона светила не горячей

слезящих мои зрачки
его лицевых лучей;
так же оно слепит неизвестных зевак
через стеклянную дверь
с литерами ЕФАК. [50]

Лысеющий человек – или, верней, почти,
человек без пальто, зажмуриваясь, к пяти
литрам крови своей, опираясь на
стойку, присоединяет полный стакан вина.

И, скорбя, что миры, вбирающие лучи
солнца, жителям их
видимы лишь в ночи,
озирает он тень, стоящую за спиной;
но неземная грусть
быстротечней земной.

15 января 1970, Ялта

Акростих [51]

Ударник снов, отец Петра,
Фигурой – бог, в костюмах узких
Людей, бутылок, женщин русских
Язон – но и знаток нутра!
Нагана мысленный носитель,
Духовных ценностей спаситель, -

Увековечь его, Пракситель!

22.01.1970

Песня о Красном Свитере [52]

Владимиру Уфлянду

В потетеле английской красной шерсти я
не бздюм крещенских холодов нашествия,

и будущее за Шексной, за Воркслою
теперь мне видится одетым в вещь заморскую.

Я думаю: обзаведись валютою,
мы одолели бы природу лютую.

Я вижу гордые строенья с ванными,
заполненными до краев славянами,

и тучи с птицами, с пропеллером скрещенными,
чтобы не связываться зря с крещеными,

чьи нравы строгие и рук в лицо сование
смягчает тайное голосование.

Там в клубе, на ночь глядя, одноразовый
перекрывается баян пластинкой джазовой,

и девки щурятся там, отдышался чтобы я,
дырявый от расстрелов воздух штопая.

Там днем ученые снимают пенку с опытов,
И Файбишенко там горит звездой, и Рокотов,

зане от них пошла доходов астрономия,
и там пылюсь на каждой полке в каждом доме я.

Вот, думаю, во что все это выльется.

Но если вдруг начнет хромать кириллица

от сильного избытка вещи фирменной,
приникни, серафим, к устам и вырви мой,

чтобы в широтах, грубой складкой схожих с робою,
в которых Азию легко смешать с Европою,

он трепыхался, поджидая басурманина,
как флаг, оставшийся на льдине от Папанина.

9(?) февраля 1970

Памяти профессора Браудо

Люди редких профессий редко, но умирают,
уравнивая свой труд с прочими. Землю роют
люди прочих профессий, и родственники назавтра
выглядят, как природа, лишившаяся ихтиозавра.

Март – черно-белый месяц, и зренья в марте
приспособляется легче к изображенью смерти;
снег, толчая колес, и поднимает ворот
бредущий за фотоснимком, едущим через город.

Голос из телефона за полночь вместо фразы
по проволоке передает как ожерелье слезы;
это – немой клавир, и на рычаг надавишь,
ибо для этих нот не существует клавиш.

Переводя иглу с гаснущего рыданья,
тикает на стене верхнего «до» свиданья,
в опустевшей квартире, ее тишине на зависть,
крутится в темноте с вечным молчаньем запись.

17 марта 1970

Разговор с небожителем

Здесь, на земле,
где я впадал то в истовость, то в ересь,
где жил, в чужих воспоминаньях греясь,
как мышь в золе,
где хуже мыши
глодал петит родного словаря,
тебе чужого, где, благодаря
тебе, я на себязираю свыше,

уже ни в ком
не видя места, коего глаголом
коснуться мог бы, не владея горлом,
давясь кивком
звонкоголосой падали, слюной
кропя уста взамен кастальской влаги,
кренясь Пизанской башнею к бумаге
во тьме ночной,

тебе твой дар
я возвращаю – не зарыл, не пропил;
и, если бы душа имела профиль,
ты б увидал,
что и она
всего лишь слепок с горестного дара,

что более ничем не обладала,
что вместе с ним к тебе обращена.

Не стану жечь

тебя глаголом, исповедью, просьбой,
проклятыми вопросами – той оспой,
которой речь
почти с пелен
заражена – кто знает? – не тобой ли;
надежным, то есть, образом от боли
ты удален.

Не стану ждать

твоих ответов, Ангел, поелику
столь плохо представляемому лику,
как твой, под стать,
должно быть, лишь
молчанье – столь просторное, что эха
в нем не сподобятся ни всплески смеха,
ни вопль: «Услышь!»

Вот это мне

и блазнит слух, привыкший к разнобою,
и облегчает разговор с тобою
наедине.

В Ковчег птенец,

не возвратившись, доказует то, что

вся вера есть не более, чем почта
в один конец.

Смотри ж, как, наг
и сир, жлоблюсь о Господе, и это
одно тебя избавит от ответа.
Но это – подтверждение и знак,
что в нищете
влачащий дни не уstraшитcя кражи,
что я кладу на мысль о камуфляже.
Там, на кресте,

не возоплю: «Почто меня оставил?!»
Не превращу себя в благою весть!
Поскольку боль – не нарушение правил:
страданье есть
способность тел,
и человек есть испытатель боли.
Но то ли свой ему неведом, то ли
ее предел.

—
Здесь, на земле,
все горы – но в значении их узком -
кончаются не пиками, но спуском
в кромешной мгле,
и, сжав уста,
стигматы завернув свои в дерюгу,

идешь на вещи по второму кругу,
сойдя с креста.

Здесь, на земле,
от нежности до умоисступленья
все формы жизни есть приспособленье.
И в том числе
взгляд в потолок
и жажда слиться с Богом, как с пейзажем,
в котором нас разыскивает, скажем,
один стрелок.

Как на сопле,
все виснет на крюках своих вопросов,
как вор трамвайный, бард или философ -
здесь, на земле,
из всех углов
несет, как рыбой, с одесной и с левой
слиянием с природой или с девой
и башней слов!

Дух-исцелитель!
Я из бездонных мозеровских блюд
так нахлебался варева минут
и римских литер,
что в жадный слух,
который прежде не был привередлив,

не входят щебет или шум деревьев -
я нынче глух.

О нет, не помощь
зову твою, означенная высь!
Тех нет объятий, чтоб не разошлись
как стрелки в полночь.
Не жгу свечи,
когда, разжав железные объятия,
будильники, завернутые в платья,
гремят в ночи!

И в этой башне,
в правнучке вавилонской, в башне слов,
все время недостроенной, ты кров
найти не дашь мне!
Такая тишь
там, наверху, встречает златоротца,
что, на чердак карабкаясь, летишь
на дно колодца.

Там, наверху -
услышь одно: благодарю за то, что
ты отнял все, чем на своем веку
владел я. Ибо созданное прочно,
продукт труда
есть пища вора и прообраз Рая,

верней – добыча времени: теряя

(пусть навсегда)

что-либо, ты

не смей кричать о преданной надежде:

то Времени, невидимые прежде,

в вещах черты

вдруг проступают, и теснится грудь

от старческих морщин; но этих линий -

их не разгладишь, тающих как иней,

коснись их чуть.

Благодарю...

Верней, ума последняя крупица

благодарит, что не дал прилепиться

к тем кущам, корпусам и словарю,

что ты не в масть

моим задаткам, комплексам и форам

зашел – и не предал их жалким формам

меня во власть.

—
Ты за утрату

горазд все это отомщеньем счесть,

моим приспособленьем к циферблату,

борьбой, слияньем с Временем – Бог весть!

Да полно, мне ль!

А если так – то с временем неблизким,

затем что чудится за каждым диском
в стене – туннель.

Ну что же, рой!

Рой глубже и, как вырванное с мясом,
шей сердцу страх пред грустною порой,
пред смертным часом.

Шей бездну мук,
старайся, перебарщивай в усердьи!
Но даже мысль о – как его! – бессмертьи
есть мысль об одиночестве, мой друг.

Вот эту фразу

хочу я прокричать и посмотреть
вперед – раз перспектива умереть
доступна глазу -
кто издали
откликнется? Последует ли эхо?
Иль ей и там не встретится помеха,
как на земли?

Ночная тишь...

Стучит башкой об стол, заснув, заочник.

Кирпичный будоражит позвоночник

печнаямышь.

И за окном

толпа деревьев в деревянной раме,

как легкие на школьной диаграмме,
объята сном.

Все откололось...

И время. И судьба. И о судьбе...

Осталась только память о себе,
негромкий голос.

Она одна.

И то – как шлак перегоревший, гравий,
за счет каких-то писем, фотографий,
зеркал, окна, -

исподтишка...

и горько, что не вспомнить основного!

Как жаль, что нету в христианстве бога -
пускай божка -

воспоминаний, с пригоршней ключей
от старых комнат – идолица с ликом
старьевщика – для коротанья слишком
глухих ночей.

Ночная тишь.

Вороньи гнезда, как каверны в бронхах.

Отрепья дыма роются в обломках
больничных крыш.

Любая речь

безадресна, увы, об эту пору -

чем я сумел, друг-небожитель, спору
нет, пренебречь.

Страстная. Ночь.

И вкус во рту от жизни в этом мире,
как будто наследил в чужой квартире
и вышел прочь!

И мозг под током!

И там, на тридевятом этаже
горит окно. И, кажется, уже
не помню толком,

о чем с тобой

витийствовал – верней, с одной из кукол,
пересекающих полночный купол.

Теперь отбой,

и невдомек,

зачем так много черного на белом?

Гортань исходит грифелем и мелом,

и в ней – комок

не слов, не слез,

но странной мысли о победе снега -

отбросов света, падающих с неба, -

почти вопрос.

В мозгу горчит,

и за стеною в толщину страницы

вопит младенец, и в окне больницы
старик торчит.

Апрель. Страстная. Все идет к весне.

Но мир еще во льду и в белизне.

И взгляд младенца,

еще не начинавшего шагов,

не допускает таянья снегов.

Но и не деться

от той же мысли – задом наперед -

в больнице старику в начале года:

он видит снег и знает, что умрет

до таянья его, до ледохода.

март – апрель 1970

* * * [53]

А. Кушнеру

Ничем, Певец, твой юбилей

мы не отметим, кроме лести

рифмованной, поскольку вместе

давно не видим двух рублей.

Суть жизни все-таки в вещах.

Без них – ни холодно, ни жарко.

Гость, приходящий без подарка,

как сигарета натошак.

Подобный гость дерьмо и тварь
сам по себе. Тем паче, в массе.
Но он – герой, когда в запасе
имеет кой-какой словарь.

Итак, приступим. Впрочем, речь
такая вещь, которой, Саша,
когда б не эта бедность наша,
мы предпочли бы пренебречь.

Мы предпочли бы поднести
перо Монтеня, скальпель Вовси,
скальп Вознесенского, а вовсе
не оду, Господи прости.

Вообще, не свергни мы царя
и твердые имей мы деньги,
дали б мы по деревеньке
Четырнадцатого сентября.

Представь: имение в глуши,
полсотни душ, все тихо, мило;
прочешь стишки иль двинуть в рыло

равно приятно для души.

А девки! девки как одна.

Или одна на самом деле.

Прекрасна во поле, в постели

да и как Муза не дурна.

Но это грезы. Няяву

ты обладатель неименья

в вонючем Автово, – каменья,

напоминающий ботву

гнилой капусты небосвод,

заводы, фабрики, больницы

и золотушные девицы,

и в лужах радужный тавот.

Не слышно даже петуха.

Ларьки, звучанье похабели.

Приходит мысль о Коктебеле -

но там болезнь на букву "Х".

Паршивый мир, куда ни глянь.

Куда поскачем, конь крылатый?

Везде дебил иль соглядатай

или талантливая дрянь.

А эти лучшие умы:

Иосиф Бродский, Яков Гордин -

на что любой из них пригоден?

Спасибо, не берут займы.

Спасибо, поднесли стишок.

А то могли бы просто водку

глотать и драть без толку глотку,

у ближних вызывая шок.

Нет, европейцу не понять,

что значит жить в Петровом граде,

писать стихи пером в тетради

и смрадный воздух обонять.

Довольно, впрочем. Хватит лезть

в твою нам душу, милый Саша.

Хотя она почти как наша.

Но мы же обещали лезть,

а получилось вон что. Нас

какой-то бес попутал, видно,

и нам, конечно, Саша, стыдно,

а ты – ты думаешь сейчас:

спустить бы с лестницы их всех,
задернуть шторы, снять рубашку,
достать перо и промокашку,
расположиться без помех

и так начать без суеты,
не дожидаясь вдохновенья:
"я помню чудное мгновенье,
передо мной явилась ты".

сентябрь 1970

На 22-е декабря 1970 года Якову Гордину от Иосифа Бродского

Сегодня масса разных знаков
– и в небесах, и на воде -
сказали мне, что быть беде:
что я напьюсь сегодня, Яков.

Затем, что день прохладный сей
есть твоего рожденья дата
(о чем, конечно, в курсе Тата
и малолетний Алексей).

И я схватил, мой друг, едва
отбросив утром одеяло,
газету «Правда». Там стояло
под словом «Правда» – Двадцать Два.

Ура! – воскликнул я. – Ура!
Я снова вижу цифры эти!
И ведь не где-нибудь: в газете!
Их не было еще вчера.

Пусть нету в скромных цифрах сих
торжественности (это ясно),
но их тождественность прекрасна
и нет соперничества в них!

Их равнозначность хороша!
И я скажу, друг Яков, смело,
что первая есть как бы тело,
вторая, следственно, душа.

К чему бросать в былое взгляд
и доверять слепым приметам?
К тому же, это было летом
и двадцать девять лет назад.

А ты родился до войны.

Зимой. Пускай твой день рожденья
на это полусовпадение
глядит легко, со стороны.

Не опускай, друг Яков, глаз!

Ни в чем на свете нету смысла.

И только наши, Яков, числа
живут до нас и после нас.

При нас – отчасти... Жизнь сложна.

Сложны в ней даже наслажденья.

Затем она лишь и нужна,
чтоб праздновать в ней день рожденья!

Зачем еще? Один твердит:

цель жизни – слава и богатство.

Но слава – дым, богатство – гадство.

Твердящий так – живым смердит.

Другой мечтает жить в глуши,

бродить в полях и все такое.

Он утверждает: цель – в покое
и в равновесии души.

А я скажу, что это – вздор.

Пошел он с этой целью к черту!

Когда вблизи кровавят морду,
куда девать спокойный взор?

И даже если не вблизи,

а вдалеке? И даже если

сидишь в тепле в удобном кресле,

а кто-нибудь сидит в грязи?

Все это жвачка: смех и плач,

«мы правы, ибо мы страдаем».

И быть не меньшим негодяем

бедняк способен, чем богач.

И то, и это – скверный бред:

стяжанье злата, равновесья.

Я – homo sapiens, и весь я

противоречий винегрет.

Добро и Зло суть два кремня,

и я себя подвергну риску,

но я скажу: союз их искру

рождает на предмет огня.

Огонь же – рвется от земли,
от Зла, Добра и прочей швали,
почти всегда по вертикали,
как это мы узнать могли.

Я не скажу, что это – цель.
Еще сравнят с воздушным шаром.
Но нынче я охвачен жаром!
Мне сильно хочется отсель!

То свойства Якова во мне -
его душа и тело или
две цифры – все воспламенили!
Боюсь, распространюсь вовне.

Опасность эту четко зря,
хочу иметь вино в бокале!
Не то рванусь по вертикали
Двадцать Второго декабря!

Горю! Но трезво говорю:
Твое здоровье, Яков! С Богом!
Да-с, мы обязаны во многом
Природе и календарю.

Игра. Случайность. Может быть,
слепой природы самовластье.
Но разве мы такое счастье
смогли бы логикой добыть?

Жаме! Нас мало, господа,
и меньше будет нас с годами.
Но, дни влача в тюрьме, в бедламе,
мы будем праздновать всегда

сей праздник! Прочие – мура.
День этот нами изберется
дним Добродушья, Благородства -
Днем Качеств Гордина – Ура!

1970

Дебют

I

Сдав все свои экзамены, она
к себе в субботу пригласила друга,
был вечер, и закупорена туго
была бутылка красного вина.

А воскресенье началось с дождя,
и гость, на цыпочках прокравшись между
скрипучих стульев, снял свою одежду

с непрочно в стену вбитого гвоздя.

Она достала чашку со стола
и выплеснула в рот остатки чая.
Квартира в этот час еще спала.
Она лежала в ванне, ощущая

всей кожей облупившееся дно,
и пустота, благоухая мылом,
ползла в нее через еще одно
отверстие, знакомящее с миром.

2

Дверь тихо притворившая рука
была – он вздрогнул – выпачкана; пряча
ее в карман, он услышал, как сдача
с вина плеснула в недрах пиджака.

Проспект был пуст. Из водосточных труб
лилась вода, сметавшая окурки.
Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки,
и почему-то вдруг с набрякших губ

сорвалось слово (Боже упаси
от всякого его запечатленья),
и если б тут не подошло такси,

остолбенел бы он от изумленья.

Он раздевался в комнате своей,
не глядя на припахивавший потом
ключ, подходящий к множеству дверей,
ошеломленный первым оборотом.

1970

Дерево

Бессмысленное, злобное, зимой
безлиственное, стадии угля
достигнувшее колером, самой
природой предназначенное для
отчаянья, – которого объем
никак не калькулируется, – но
в слепом повиновении своем
уже переборщившее, оно,
ушедшее корнями в перегной
из собственных же листьев и во тьму -
вершиною, стоит передо мной,
как символ всепогодности, к чему
никто не призывал нас, несмотря
на то, что всем нам свойственна пора,
когда различья делаются зря
для солнца, для звезды, для топора.

1970

Неоконченное

Друг, тяготея к скрытым формам лести
невесть кому – как трезвый человек
тяжелым рассуждениям о смерти
предпочитает толки о болезни -
я, загрязняя жизнь как черновик
дальнейших снов, твой адрес на конверте
своим гриппозным осушаю паром,
чтоб силы заразной достичь
смогли мои химические буквы
и чтоб, прильнувший к паузам и порам
сырых листов, я все-таки опричь
пейзажа зимней черноморской бухты,
описанной в дальнейшем, воплотился
в том экземпляре мира беловом,
где ты, противодействуя насилью
чухонской стужи веточкою тирса,
при ощущеньи в горле болевом
полощешь рот аттической солью.

Зима перевалила через горы
как альпинист с тяжелым рюкзаком,
и снег лежит на чахлой повилке,
как в ожидании Леандра Геро,
зеленый Понт соленым языком
лобзает полы тающей тунки,
но дева ждет и не меняет позы.

Азийский ветер, загасив маяк
на башне в Сесте, хлопает калиткой
и на ночь глядя баламутит розы,
в саду на склоне впавшие в столбняк,
грохочет опрокинувшейся лейкой
вниз по ступенькам, мимо цинерарий,
знак восклицанья превращая в знак
вопроса, гнет акацию; две кошки,
составившие весь мой бестиарий,
ныряют в погреб, и терзает звук
в пустом стакане дребезжащей ложки.

Чечетка ставень, взвизгиванье, хаос.

Такое впечатленье, что пловец
не там причалил и бредет задами
к возлюбленной. Кряхтя и чертыхаясь,
в соседнем доме генерал-вдовец
впускает пса. А в следующем доме
в окне торчит заряженное дробью
ружье. И море далеко внизу
ломает свои ребра дышлом мола,
захлестывая гривой всю оглоблю.
И сад стреножен путами лозы.
И чувствуя отсутствие глагола
для выраженья невозможной мысли
о той причине, по которой нет
Леандра, Геро – или снег, что то же,
сползает в воду, и ты видишь после
как озаряет медленный рассвет

ее дымящееся паром ложе.

Но это ветреная ночь, а ночи
различны меж собою, как и дни.
И все порою выглядит иначе.
Порой так тихо, говоря короче,
что слышишь вздохи камбалы на дне,
что достигает пионерской дачи
заморский скрип турецкого матраса.
Так тихо, что далекая звезда,
мерцающая в виде компромисса
с чернилами ночного купороса,
способна слышать шорохи дрозда
в зеленой шевелюре кипариса.
И я, который пишет эти строки,
в негромком скрипе вечного пера,
ползущего по клеткам в полумраке,
совсем недавно метивший в пророки,
я слышу голос своего вчера,
и волосы мои впадают в руки.

Друг, чти пространство! Время не преграда
вторженью стужи и гуденью вьюг.
Я снова убедился, что природа
верна себе и, обалдев от гуда,
я бросил Север и бежал на Юг
в зеленое, родное время года.

1970

Желтая куртка

Подросток в желтой куртке, привалясь
к ограде, а точнее – к орущей пасти
мадам Горгоны, созерцает грязь
проезжей части.

В пустых его зрачках сквозит – при всей
отчужденности их от мыслей лишних -
унынье, с каковым Персей
смотрел на то, что превратил в булыжник.

Лодыжки, восклицания девиц,
спешащих прочь, не оживляют взгляда;
но вот комочки желтых ягодиц
ожгла сквозь брюки холодом ограда,

он выпрямляется и, миг спустя,
со лба отбрасывая пряди,
кидается к автобусу – хотя
жизнь позади длиннее жизни сзади.

Прохладный день. Сырое полотно
над перекрестком. Схожее с мишенью

размазанное желтое пятно;
подвижное, но чуждое движенью.

1970

Мужик и енот

(басня)

Мужик, гуляючи, забрел в дремучий бор,
где шел в тот миг естественный отбор.
Животные друг другу рвали шерсть,
крушили ребра, грызли глотку,
сражаясь за сомнительную честь покрыть молодку,
чей задик замшевый маячил вдалеке.

Мужик, порывшись в ладном сюртуке,
достал блокнот и карандашик, без
которых он не выходил из дома,
и, примостясь на жертвах бурелома,
взялся описывать процесс:

Сильнейший побеждал. Слабейший
– нет.

И как бы узаконивая это,
над лесом совершался ход планет,
и с помощью их матового света,
Мужик природу зорко наблюдал,

и над бумагой карандаш летал,
в систему превращая кавардак.

А в это время мимо шел Енот,
он заглянул в исписанный блокнот
и молвил так:

"Конечно, победитель победил,
и самку он потомством наградил.

Так на зверином повелось веку.

Но одного не понимаю я:

как все-таки не стыдно Мужики
примеры брать у дикого зверья?

В подобном рассмотрении вещей
есть нечто обезьянье, ей-же-ей".

Мужик наш был ученым мужиком,
но с языком животных не знаком,
и на Енота искреннюю речь
ответил только пожиманьем плеч.
Затем он встал и застегнул сюртук.

Но слова «обезьянье» странный звук
застрял в мозгу. И он всегда, везде
употреблял его в своем труде,
принесшем ему вскоре торжество
и чтимом нынче, как Талмуд.
Что интереснее всего,

так это то, что за подобный труд
ему, хоть он был стар и лыс,
никто гортань не перегрыз.

1970

Пенье без музыки

F. W.

Когда ты вспомнишь обо мне
в краю чужом – хоть эта фраза
всего лишь вымысел, а не
пророчество, о чем для глаза,

вооруженного слезой,
не может быть и речи: даты
из омута такой лесой
не вытащишь – итак, когда ты

за тридевять земель и за
морями, в форме эпилога
(хоть повторяю, что слеза,
за исключением былого,

все уменьшает) обо мне
вспомнешь все-таки в то Лето

Господне и вздохнешь – о не
вздыхай! – обозревая это

количество морей, полей,
разбросанных меж нами, ты не
 заметишь, что толпу нулей
 возглавила сама.

В гордыне

твоей иль в слепоте моей
 все дело, или в том, что рано
 об этом говорить, но ей-
 же Богу, мне сегодня странно,

что, будучи кругом в долгу,
 поскольку ограждал так плохо
 тебя от худших бед, могу
 от этого избавить вздоха.

Грядущее есть форма тьмы,
 сравнивая с ночным покоем.

В том будущем, о коем мы
 не знаем ничего, о коем,

по крайности, сказать одно

сейчас я в состоянии точно:
что порознь нам суждено
с тобой в нем пребывать, и то, что

оно уже настало – рев
метели, превращенье крика
в глухое толковище слов
есть первая его улика -

в том будущем есть нечто, вещь,
способная утешить или
– настолько-то мой голос вещь! -
занять воображенье в стиле

рассказов Шахразады, с той
лишь разницей, что это больше
посмертный, чем весьма простой
страх смерти у нее – позволь же

сейчас, на языке родных
осин, тебя утешить; и да
пусть тени на снегу от них
толпятся как триумф Эвклида.

—
Когда ты вспомнишь обо мне,

дня, месяца, Господня Лета
такого-то, в чужой стране,
за тридевять земель – а это

гласит о двадцати восьми
возможностях – и каплей влаги
зрачок вооружишь, возьми
перо и чистый лист бумаги

и перпендикуляр стоймя
восставь, как небесам опору,
меж нашими с тобой двумя
– да, точками: ведь мы в ту пору

уменьшимся и там, Бог весть,
невидимые друг для друга,
почтем еще с тобой за честь
слыть точками; итак, разлука

есть проведение прямой,
и жаждущая встречи пара
любовников – твой взгляд и мой -
к вершине перпендикуляра

поднимется, не отыскав

убежища, помимо горних
высот, до ломоты в висках;
и это ли не треугольник?

Рассмотрим же фигуру ту,
которая в другую пору
заставила бы нас в поту
холодном пробуждаться, полу-

безумных лезть под кран, дабы
рассудок не спалила злоба;
и если от такой судьбы
избавлены мы были оба -

от ревности, примет, комет,
от приворотов, порч, снадобья
– то, видимо, лишь на предмет
черчения его подобья.

Рассмотрим же. Всему свой срок,
поскольку теснота, незрячесть
объятия – сама залог
незримости в разлуке – прячась

друг в друге, мы скрывались от

пространства, положив границей
ему свои лопатки, – вот
оно и воздает сторицей

предательству; возьми перо
и чистую бумагу – символ
пространства – и, представив про-
порцию – а нам по силам

представить все пространство: наш
мир все же ограничен властью
Творца: пусть не наличьем страж
заоблачных, так чьей-то страстью

заоблачной – представь же ту
пропорцию прямой, лежащей
меж нами – ко всему листу
и, карту подстелив для вящей

подробности, разбей чертеж
на градусы, и в сетку втисни
длину ее – и ты найдешь
зависимость любви от жизни.

Итак, пускай длина черты

известна нам, а нам известно,
что это – как бы вид четы,
пределов тех, верней, где места

свиданья лишена она,
и ежели сия оценка
верна (она, увы, верна),
то перпендикуляр, из центра

восставленный, есть сумма сих
пронзительных двух взглядов; и на
основе этой силы их
находится его вершина

в пределах стратосферы – вряд
ли суммы наших взглядов хватит
на большее; а каждый взгляд,
к вершине обращенный, – катет.

Так двух прожекторов лучи,
исследуя враждебный хаос,
находят свою цель в ночи,
за облаком пересекаясь;

но цель их – не мишень солдат:

она для них – сама услуга,
как зеркало, куда глядят
не смеющиеся друг на друга

взглянуть; итак, кому ж, как не
мне, катету, незриму, нему,
доказывать тебе вполне
обыденную теорему

обратную, где, муча глаз
доказанных обильем пугал,
жизнь требует найти от нас
то, чем располагаем: угол.

Вот то, что нам с тобой дано.
Надолго. Навсегда. И даже
пускай в неощутимой, но
в материи. Почти в пейзаже.

Вот место нашей встречи. Грот
заоблачный. Беседка в тучах.
Приют гостеприимный. Род
угла; притом, один из лучших

хотя бы уже тем, что нас

никто там не застигнет. Это
лишь наших достоянье глаз,
верх собственности для предмета.

За годы, ибо негде до -
до смерти нам встречаться боле,
мы это обживем гнездо,
таща туда по равной доле

скарб мыслей одиноких, хлам
невысказанных слов – все то, что
мы скопим по своим углам;
и рано или поздно точка

указанная обретет
почти материальный облик,
достоинство звезды и тот
свет внутренний, который облак

не застит – ибо сам Эвклид
при сумме двух углов и мрака
вокруг еще один сулит;
и это как бы форма брака.

Вот то, что нам с тобой дано.

Надолго. Навсегда. До гроба.

Невидимым друг другу. Но

оттуда обозримы оба

так будем и в ночи и днем,

от Запада и до Востока,

что мы, в конце концов, начнем

от этого зависеть ока

всевидящего. Как бы явь

на тьму ни налагала арест,

возьми его сейчас и вставь

в свой новый гороскоп, покамест

всевидящее око слов

не стало разбирать. Разлука

есть сумма наших трех углов,

а вызванная ею мука

есть форма тяготенья их

друг к другу; и она намного

сильней подобных форм других.

Уж точно, что сильней земного.

—

Схоластика, ты скажешь. Да,

схоластика и в прятки с горем
лишенная примет стыда
игра. Но и звезда над морем -

что есть она как не (позволь
так молвить, чтоб высокий в этом
не узрела ты штиль) мозоль,
натертая в пространстве светом?

Схоластика. Почти. Бог весть.
Возможно. Усмотри в ответе
согласие. А что не есть
схоластика на этом свете?

Бог ведает. Клонясь ко сну,
я вижу за окном кончину
зимы; и не найти весну:
ночь хочет удержать причину

от следствия. В моем мозгу
какие-то квадраты, даты,
твоя или моя к виску
прижатая ладонь...
Когда ты

однажды вспомнишь обо мне,
окутанную вспомни мраком,
висящую вверху, вовне,
там где-нибудь, над Скагерраком,

в компании других планет,
мерцающую слабо, тускло,
звезду, которой, в общем, нет.
Но в том и состоит искусство

любви, вернее, жизни – в том,
чтоб видеть, чего нет в природе,
и в месте прозревать пустом
сокровища, чудовищ – вроде

крылатых женогрудых львов,
божков невероятной мощи,
вещающих судьбу орлов.
Подумай же, насколько проще

творения подобных дел,
плетения их оболочки
и прочих кропотливых дел -
вселение в пространство точки!

Ткни пальцем в темноту. Невесть
куда. Куда укажет ноготь.
Не в том суть жизни, что в ней есть,
но в вере в то, что в ней должно быть.

Ткни пальцем в темноту – туда,
где в качестве высокой ноты
должна была бы быть звезда;
и, если ее нет, длинноты,

затасканных сравнений лоск
прости: как запоздалый кочет,
униженный разлукой мозг
возвыситься невольюно хочет.

1970

Сонет

Е. Р.

Сначала вырастут грибы. Потом
пройдут дожди. Дай Бог, чтоб кто-нибудь
под этими дождями смог промокнуть.

Во всяком случае, еще не раз
здесь, в матовом чаду полуподвальной

кофейни, где багровые юнцы
невесть чего ждут от своих красавиц,
а хор мужчин, записанный на пленку,
похабно выкликает имя той,
которую никто уже вовеки
под эти своды не вернет, – не раз
еще, во всяком случае, я буду
сидеть в своем углу и без тоски
прикидывать, чем кончится все это.

1970, Ялта

Страх

Вечеромходишь в подъезд, и звук
шагов тебе самому
страшен настолько, что твой испуг
одушевляет тьму.

Будь ты другим и имей черты
другие, и, пряча дрожь,
по лестнице шел бы такой как ты,
ты б уже поднял нож.

Но здесь только ты; и когда с трудом
ты двери своей достиг,
ты хлопаешь ею – и в грохоте том
твой предательский крик.

1970

* * *

– Ты знаешь, сколько Сидорову лет? -
– Который еще Сидоров? – Да брось ты!
Который приезжал к Петрову в гости.
На «Волге». – Этот старый драндулет? -

– Напрасно ты валяешь дурака.
Все наши так и вешаются бабы
ему на шею... Сколько ты дала бы
ему? – Я не дала бы... сорока. -

– Какой мужик! и сорока-то нет,
а все уже: машина и квартира.
Мне все дыханье аж перехватило,
когда вошел он в Колькин кабинет. -

– Чего он с Николаем? – Чертежи.
Какие-то конструкции... а в профиль
он как киноактер. – Обычный кобель,
всех дел, что на колесах. – Не скажи... -

– Ты лучше бы смотрела за своим!

В чем ходит! Отощал! – Поедет в отпуск,
там нагуляет. – А чего ваш отпрыск,
племяш мой то есть? – Навязался с ним.

Пойми, мне нужен Сидоров. Он весь... -
Ты просто сука. – Сука я, не сука,
но, как завиху Сидорова, сухо
и горячо мне делается здесь.

1970

Чаепитие

"Сегодня ночью снился мне Петров.
Он, как живой, стоял у изголовья.
Я думала спросить насчет здоровья,
но поняла бестактность этих слов".

Она вздохнула и перевела
взгляд на гравюру в деревянной рамке,
где человек в соломенной панамке
сопровождал угрюмого вола.

Петров женат был на ее сестре,
но он любил свояченицу; в этом
сознавшись ей, он позапрошлым летом,
поехав в отпуск, утонул в Днестре.

Вол. Рисовое поле. Небосвод.
Погонщик. Плуг. Под бороздою новой
как зернышки: «на память Ивановой»
и вовсе неразборчивое: «от...»

Чай выпит. Я встаю из-за стола.
В ее зрачке поблескивает точка
звезды – и понимание того, что,
воскресни он, она б ему дала.

Она спускается за мной во двор
и обращает скрытый поволокой,
верней, вооруженный ею взор
к звезде, математически далекой.

1970

Aqua vita nuova

F. W.

Шепчу «прощай» неведомо кому.
Не призраку же, право, твоему,
затем что он, поддакивать горазд,
в ответ пустой ладони не подаст.

И в этом как бы новая черта:
триумф уже не голоса, но рта,
как рыбой раскрываемого для
беззвучно пузырящегося «ля».

Аквариума признанный уют,
где слез не льют и песен не поют,
где в воздухе повисшая рука
приобретает свойства плавника.

Итак тебе, преодолевшей вид
конечности сомкнувших нереид,
из наших вод выпрастывая бровь,
пишу о том, что холодеет кровь,

что плотность боли площадь мозжечка
переросла. Что память из зрачка
не выколоть. Что боль, заткнувши рот,
на внутренние органы орет.

1970

Post aetatem nostram [54]

А. Я. Сергееву

«Империя – страна для дураков».

Движение перекрыто по причине
приезда Императора. Толпа
теснит легионеров, песни, крики;
но паланкин закрыт. Объект любви
не хочет быть объектом любопытства.

В пустой кофейне позади дворца
бродяга-грек с небритым инвалидом
играют в домино. На скатертях
лежат отбросы уличного света,
и отголоски ликования мирно
шевелият шторы. Проигравший грек
считает драхмы; победитель просит
яйцо вкрутую и щепотку соли.

В просторной спальне старый откупщик
рассказывает молодой гетере,
что видел Императора. Гетера
не верит и хохочет. Таковы
прелюдии у них к любовным играм.

II Дворец

Изваянные в мраморе сатир
и нимфа смотрят в глубину бассейна,
чья гладь покрыта лепестками роз.
Наместник, босиком, собственноручно
кровавит морду местному царю

за трех голубок, угоревших в тесте
(в момент разделки пирога взлетевших,
но тотчас же попадавших на стол).
Испорчен праздник, если не карьера.
Царь молча извивается на мокром
полу под мощным, жилистым коленом
Наместника. Благоуханье роз
туманит стены. Слуги безучастно
глядят перед собой, как изваянья.
Но в гладком камне отраженья нет.

В неверном свете северной луны,
свернувшись у трубы дворцовой кухни,
бродяга-грек в обнимку с кошкой смотрят,
как два раба выносят из дверей
труп повара, завернутый в рогожу,
и медленно спускаются к реке.
Шуршит щебенка.
Человек на крыше
старается зажать кошачью пасть.

III

Покинутый мальчишкой брадобрей
глядится молча в зеркало – должно быть,
грустя о нем и начисто забыв
намыленную голову клиента.
«Наверно, мальчик больше не вернется».
Тем временем клиент спокойно дремлет
и видит чисто греческие сны:

с богами, с кифаредами, с борьбой
в гимнасиях, где острый запах пота
щекочет ноздри.

Снявшись с потолка,
большая муха, сделав круг, садится
на белую намыленную щеку
заснувшего и, утопая в пене,
как бедные пельтасты Ксенофонта
в снегах армянских, медленно ползет
через провалы, выступы, ущелья
к вершине и, минуя жерло рта,
взобраться норовит на кончик носа.

Грек открывает страшный черный глаз,
и муха, взыв от ужаса, взлетает.

IV

Сухая послепраздничная ночь.

Флаг в подворотне, схожий с конской мордой,
жуёт губами воздух. Лабиринт
пустынных улиц залит лунным светом:
чудовище, должно быть, крепко спит.

Чем дальше от дворца, тем меньше статуй
и луж. С фасадов исчезает лепка.
И если дверь выходит на балкон,
она закрыта. Видимо, и здесь
ночной покой спасают только стены.

Звук собственных шагов вполне зловещ
и в то же время беззащитен; воздух
уже пронизан рыбою: дома
кончаются.

Но лунная дорога
струится дальше. Черная фелукка
ее пересекает, словно кошка,
и растворяется во тьме, дав знак,
что дальше, собственно, идти не стоит.

V

В расклеенном на уличных щитах
«Послании к властителям» известный,
известный местный кифаред, кипя
негодованьем, смело выступает
с призывом Императора убрать
(на следующей строчке) с медных денег.

Толпа жестикулирует. Юнцы,
седые старцы, зрелые мужчины
и знающие грамоте гетеры
единогласно утверждают, что
«такого прежде не было» – при этом
не уточняя, именно чего
«такого»:
мужества или холуйства.

Поэзия, должно быть, состоит

в отсутствии отчетливой границы.

Невероятно синий горизонт.

Шуршание прибоя. Растянувшись,
как ящерица в марте, на сухом
горячем камне, голый человек
лушит ворованный миндаль. Поодаль
два скованных между собой раба,
сбравшиеся, видно, искупаться,
смеясь, друг другу помогают снять
свое тряпье.

Невероятно жарко;
и грек сползает с камня, закатив
глаза, как две серебряные драхмы
с изображеньем новых Диоскуров. [55]

VI

Прекрасная акустика! Строитель
недаром вшей кормил семнадцать лет
на Лемносе [56]. Акустика прекрасна.

День тоже восхитителен. Толпа,
отлившаяся в форму стадиона,
застыв и затаив дыханье, внемлет

той ругани, которой два бойца
друг друга осыпают на арене,

чтоб, распаясь, схватиться за мечи.

Цель состязанья вовсе не в убийстве,
но в справедливой и логичной смерти.
Законы драмы переходят в спорт.

Акустика прекрасна. На трибунах
одни мужчины. Солнце золотит
кудрлатых львов правительственной ложи.
Весь стадион – одно большое ухо.

«Ты падаль!» – «Сам ты падаль». – «Мразь и падаль!»
И тут Наместник, чье лицо подобно
гноющемуся вымени, смеется.

VII Башня

Прохладный полдень.
Теряющийся где-то в облаках
железный шпиль муниципальной башни
является в одно и то же время
громоотводом, маяком и местом
подъема государственного флага.
Внутри же – размещается тюрьма.

Подсчитано когда-то, что обычно -
в сатрапиях, во время фараонов,

у мусульман, в эпоху христианства -
сидело иль бывало казнено
примерно шесть процентов населения.
Поэтому еще сто лет назад
дед нынешнего цезаря задумал
реформу правосудья. Отменив
безнравственный обычай смертной казни,
он с помощью особого закона
те шесть процентов сократил до двух,
обязанных сидеть в тюрьме, конечно,
пожизненно. Не важно, совершил ли
ты преступление или невиновен;
закон, по сути дела, как налог.
Тогда-то и воздвигли эту Башню.

Слепящий блеск хромированной стали.
На сорок третьем этаже пастух,
лицо просунув сквозь иллюминатор,
свою улыбку посылает вниз
пришедшей навестить его собаке.

VIII

Фонтан, изображающий дельфина
в открытом море, совершенно сух.
Вполне понятно: каменная рыба
способна обойтись и без воды,
как та – без рыбы, сделанной из камня.
Таков вердикт третейского суда.
Чьи приговоры отличает сухость.

Под белой колоннадою дворца
на мраморных ступеньках кучка смуглых
вождей в измятых пестрых балахонах
ждет появления своего царя,
как брошенный на скатерти букет -
заполненной водой стеклянной вазы.

Царь появляется. Вожди встают
и потрясают копьями. Улыбки,
объятия, поцелуи. Царь слегка
смущен; но вот удобство смуглой кожи:
на ней не так видны кровоподтеки.

Бродяга-грек зовет к себе мальчика.
«О чем они болтают?» – «Кто, вот эти?»
«Ага». – «Благодарят его». – «За что?»
Мальчишка поднимает ясный взгляд:
«За новые законы против нищих».

IX Зверинец

Решетка, отделяющая льва
от публики, в чугунном варианте
воспроизводит путаницу джунглей.

Мох. Капли металлической росы.

Лиана, оплетающая лотос.

Природа имитируется с той
любовью, на которую способен
лишь человек, которому не все
равно, где заблудиться: в чаще или
в пустыне.

X Император

Атлет-легионер в блестящих латах,
несущий стражу возле белой двери,
из-за которой слышится журчанье,
глядит в окно на проходящих женщин.
Ему, торчащему здесь битый час,
уже казаться начинает, будто
не разные красавицы внизу
проходят мимо, но одна и та же.

Большая золотая буква М,
украшившая дверь, по сути дела,
лишь прописная по сравнению с той,
огромной и пунцовой от натуги,
согнувшейся за дверью над проточной
водою, дабы рассмотреть во всех
подробностях свое отображение.

В конце концов, проточная вода

ничуть не хуже скульпторов, все царство
изображеньем этим наводнивших.

Прозрачная, журчащая струя.

Огромный, перевернутый Верзувий, [57]
над ней нависнув, медлит с изверженьем.

Все вообще теперь идет со скрипом.

Империя похожа на трирему
в канале, для триремы слишком узком.

Гребцы колотят веслами по суше,
и камни сильно обдирают борт.

Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли!

Движенье есть, движенье происходит.

Мы все-таки плывем. И нас никто
не обгоняет. Но, увы, как мало
похоже это на былую скорость!

И как тут не вздохнешь о временах,
когда все шло довольно гладко.

Гладко.

XI

Светильник гаснет, и фитиль чадит
уже в потемках. Тоненькая струйка
всплывает к потолку, чья белизна
в крошечном мраке в первую минуту
согласна на любую форму света.

Пусть даже копать.

За окном всю ночь
в неполотом саду шумит тяжелый
азийский ливень. Но рассудок – сух.
Настолько сух, что, будучи охвачен
холодным бледным пламенем объятья,
воспламеняешься быстрее, чем лист
бумаги или старый хворост.

Но потолок не видит этой вспышки.

Ни копоти, ни пепла по себе
не оставляя, человек выходит
в сырую темень и бредет к калитке.
Но серебристый голос козодоя
велит ему вернуться.

Под дождем
он, повинуясь, снова входит в кухню
и, снявши пояс, высыпает на
железный стол оставшиеся драхмы.

Затем выходит.

Птица не кричит.

XII

Задумав перейти границу, грек
достал вместительный мешок и после
в кварталах возле рынка изловил
двенадцать кошек (почерней) и с этим
скребущимся, мяукающим грузом

он прибыл ночью в пограничный лес.

Луна светила, как она всегда
в июле светит. Псы сторожевые,
конечно, заливали все ущелье
тоскливым лаем: кошки перестали
в мешке скандалить и почти притихли.
И грек промолвил тихо: "В добрый час.

Афина, не оставь меня. Ступай
передо мной", – а про себя добавил:
"На эту часть границы я кладу
всего шесть кошек. Ни одну больше".
Собака не взберется на сосну.
Что до солдат – солдаты суеверны.

Все вышло лучшим образом. Луна,
собаки, кошки, суеверье, сосны -
весь механизм сработал. Он взобрался
на перевал. Но в миг, когда уже
одной ногой стоял в другой державе,
он обнаружил то, что упустил:

оборотившись, он увидел море.

Оно лежало далеко внизу.

В отличие от животных, человек
уйти способен от того, что любит
(чтоб только отличиться от животных!)

Но, как слюна собачья, выдают
его животную природу слезы:

«О, Талласа!..» [58]

Но в этом скверном мире
нельзя торчать так долго на виду,
на перевале, в лунном свете, если
не хочешь стать мишенью. Вскинув ношу,
он осторожно стал спускаться вниз,
в глубь континента; и вставал навстречу

еловый гребень вместо горизонта.

1970

С февраля по апрель (цикл из 5 стихов)

1969 – 1970

1

Морозный вечер.

Мосты в тумане. Жительницы грота
на кровле Биржи клацают зубами.

Бесчеловечен,

верней, безлюден перекресток. Рота

матросов с фонарем идет из бани.

В глубинах ростра -

вороний кашель. Голые деревья,
как легкие на школьной диаграмме.

Вороньи гнезда

чернеют в них кавернами. Отрепья
швыряет в небо газовое пламя.

Река – как блузка,

на фонари расстегнутая. Садик
дворцовый пуст. Над статуями кровель
курится люстра
луны, в чьем свете император-всадник
свой высеребрил изморозью профиль.

И барку возле

одним окном горящего Сената
тяжелым льдом в норд-ост перекосило.

Дворцы промерзли,

и ждет весны в ночи их колоннада,
как ждут плоты на Ладоге буксира.

2

В пустом, закрытом на просушку парке

старуха в окружении овчарки -
в том смысле, что она дает круги

вокруг старухи – вяжет красный свитер,
и налетевший на деревья ветер,
терзая волосы, щадит мозги.

Мальчишка, превращающий в рулады
посредством палки кружево ограды,
бежит из школы, и пунцовый шар
садится в деревянную корзину,
распластывая тени по газону;
и тени ликвидируют пожар.

В проулке тихо, как в пустом пенале.
Остатки льда, плывущие в канале,
для мелкой рыбы – те же облака,
но как бы опрокинутые навзничь.
Над ними мост, как неподвижный Гринвич;
и колокол гудит издалека.

Из всех щедрот, что выделила бездна,
лишь зренье тебе служит безвозмездно,
и счастлив ты, и, не смотря ни на
что, жив еще. А нынешней весной
так мало птиц, что вносишь в записную
их адреса, и в святцы – имена.

3 Шиповник в апреле

Шиповник каждую весну

пытается припомнить точно
свой прежний вид:
свою окраску, кривизну
изогнутых ветвей – и то, что
их там кривит.

В ограде сада поутру
в чугунных обнаружив прутьях
источник зла,
он суетится на ветру,
он утверждает, что не будь их,
проник бы за.

Он корни запустил в свои
же листья, адово исчадьё,
храм на крови.
Не воскрешение, но и
не непорочное зачатъё,
не плод любви.

Стремясь предохранить мундир,
вернее – будущую зелень,
бутоны, тень,
он как бы проверяет мир;
но самый мир недостоверен
в столь хмурый день.

Безлиственный, сухой, нагой,
он мечется в ограде, тыча
иглой в металл
копья чугунного – другой
апрель не дал ему добычи
и март не дал.

И все ж умение куста
свой прах преобразить в горнило,
загнать в нутро,
способно разомкнуть уста
любые. Отыскать чернила.
И взять перо.

4 Стихи в апреле

В эту зиму с ума
я опять не сошел, а зима
глядь и кончилась. Шум ледохода
и зеленый покров
различаю – и значит здоров.
С новым временем года
поздравляю себя
и, зрачок о Фонтанку слепя,
я дроблю себя на сто.
Пятерней по лицу
провожу – и в мозгу, как в лесу,
оседание наста.

Дотянув до седин,
я смотрю, как буксир среди льдин
пробирается к устью. Не ниже
поминания зла
превращенье бумаги в козла
отпущенья обид. Извини же
за возвышенный слог;
не кончается время тревог,
не кончаются зимы.
В этом – суть перемен,
в толчее, в перебранке Камен
на пиру Мнемозины.

апрель 1969 5 Фонтан памяти героев обороны полуострова Ханко
Здесь должен быть фонтан, но он не бьет.
Однако сырость северная наша
освобождает власти от забот,
и жажды не испытывает чаша.

Нормальный дождь, обещанный в четверг,
надежней ржавых труб водопровода.
Что позабудет сделать человек,
то наверстает за него природа.

И вы, герои Ханко, ничего
не потеряли: метеопрогнозы
твердят о постоянстве H₂O,

затмившем человеческие слезы.

1969 – 1970

* * *

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.

Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?

За дверью бессмысленно все, особенно – возглас счастья.

Только в уборную – и сразу же возвращайся.

О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.

Потому что пространство сделано из коридора

и кончается счетчиком. А если войдет живая

милка, пасть разевая, выгони не раздевая.

Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.

Что интересней на свете стены и стула?

Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером

таким же, каким ты был, тем более – изувеченным?

О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову

в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.

В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.

Ты написал много букв; еще одна будет лишней.

Не выходи из комнаты. О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

1970(?)

* * *

О этот искус рифмы плесть!
Отчасти месть, но больше лесть
со стороны ума – душе:
намек, что оба в барыше
от пережитого...

1970?

* * *

Осень
выгоняет меня из парка,
сучит жидкую озимь
и плетется за мной по пятам,
ударяется оземь

шелудивым листом
и, как Парка,
оплетает меня по рукам и портам
паутиной дождя;
в небе прячется прялка
кисеи этой жалкой,
и там
гром гремит,
как в руке пацана пробежавшего палка
по чугунным цветам.

Аполлон, отними
у меня свою лиру, оставь мне ограду
и внемли мне вельми
благосклонно: гармонию струн
заменяю – прими -
неспособностью прутьев к разладу,
превращая твоё до-ре-ми
в громовую руладу,
как хороший Перун.

Полно петь о любви,
пой об осени, старое горло!
Лишь она своей шатер распростерла
над тобою, струя
ледяные свои
бороздящие суглинок сверла,
пой же их и криви

лысым теменем их остря;
налетай и трави
свою дичь, оголтелая свора!
Я добыча твоя.

1970 – 1971

Суббота (9 января)

Суббота. Как ни странно, но тепло.
Дрозды кричат, как вечером в июне.
А странно потому, что накануне
боярышник царапался в стекло,
преследуемый ветром (но окно
я не открыл), акации трещали
и тучи, пламенея, возвещали
о приближеньи заморозков.
Но
все обошлось, и даже дрозд поет.
С утра возился с чешскими стихами.
Вошла соседка, попросила йод;
ушла, наполнив комнату духами.
И этот запах в середине дня,
воспоминаний вызволив лавину,
испортил всю вторую половину.
Не так уж необычно для меня.

Уже темно, и ручку я беру,
чтоб записать, что ощущаю вялость,

что море было смирным поутру,
но к вечеру опять разбушевалось.

1971

* * *

Э. Р.

Второе Рождество на берегу
незамерзающего Понта.
Звезда Царей над изгородью порта.
И не могу сказать, что не могу
жить без тебя – поскольку я живу.
Как видно из бумаги. Существую;
глотаю пиво, пачкаю листву и
топчу траву.

Теперь в кофейне, из которой мы,
как и пристало временно счастливым,
беззвучным были выброшены взрывом
в грядущее, под натиском зимы
бежав на Юг, я пальцами черчу
твое лицо на мраморе для бедных;
поодаль нимфы прыгают, на бедрах
задрав парчу.

Что, боги, – если бурое пятно

в окне символизирует вас, боги, -
стремились вы нам высказать в итоге?
Грядущее настало, и оно
переносимо; падает предмет,
скрипач выходит, музыка не длится,
и море все морщинистей, и лица.
А ветра нет.

Когда-нибудь оно, а не – увы -
мы, захлестнет решетку променада
и двинется под возгласы «не надо»,
вздымая гребни выше головы,
туда, где ты пила свое вино,
спала в саду, просушивала блузку,
– круша столы, грядущему моллюску
готовя дно.

январь 1971, Ялта

Любовь

Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью
не приносили утешенья мне.

Ты снилась мне беременной, и вот,

проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки

и выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва

умышленного. Ибо в темноте -
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготы.

В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных, – тогда я
не дернусь к выключателю и прочь

руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,

впадающих в зависимость от яви,
с моей недостижимостью в ней.

11 февраля 1971

Литовский дивертисмент

Томасу Венцлова

1. Вступление

Вот скромная приморская страна.

Свой снег, аэропорт и телефоны,

свои евреи. Бурый особняк

диктатора. И статуя певца,

отечество сравнившего с подругой,

в чем проявился пусть не тонкий вкус,

но знанье географии: южане

здесь по субботам ездят к северянам

и, возвращаясь под хмельком пешком,

порой на Запад забредают – тема

для скетча. Расстоянья таковы,

что здесь могли бы жить гермафродиты.

Весенний полдень. Лужи, облака,

бесчисленные ангелы на кровлях

бесчисленных костелов; человек

становится здесь жертвой толчеи

или деталью местного барокко.

2. Леиклос [59]

Родиться бы сто лет назад
и сохнущей поверх перины
глазеть в окно и видеть сад,
кресты двуглавой Катарины;
стыдиться матери, икать
от наведенного лорнета,
тележку с рухлядью толкать
по желтым переулкам гетто;
вздыхать, накрывшись с головой,
о польских барышнях, к примеру;
дождаться Первой мировой
и пасть в Галиции – за Веру,
Царя, Отечество, – а нет,
так пейсы переделать в бачки
и перебраться в Новый Свет,
блюя в Атлантику от качки.

3. Кафе «Неринга»

Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе,
провожаемо дребезгом блюдец, ножей и вилок,
и пространство, прищурившись, подшофе,
долго смотрит ему в затылок.

Потерявший изнанку пунцовый круг
замирает поверх черепичных кровель,
и кадык заостряется, точно вдруг
от лица остается всего лишь профиль.

И веления щучьего слыша речь,
подавальщица в кофточке из батиста
перебирает ногами, снятыми с плеч
местного футболиста.

4. Герб

Драконоборческий Егорий,
копье в горниле аллегорий
утратив, сохранил досель
коня и меч, и повсеместно
в Литве преследует он честно
другим не видимую цель.

Кого он, стиснув меч в ладони,
решил настичь? Предмет погони
скрыт за пределами герба.

Кого? Язычника? Гяура?

Не весь ли мир? Тогда не дура
была у Витовта губа.

5. Amicum-philosophum de melancholia, mania et plica polonica [60]

Бессонница. Часть женщины. Стекло
полно рептилий, рвущихся наружу.

Безумье дня по мозжечку стекло
в затылок, где образовало лужу.

Чуть шевельнись – и ощутит нутро,
как некто в ледяную эту жижу

обмакивает острое перо
и медленно выводит «ненавижу»
по росписи, где каждая крива
извилина. Часть женщины в помаде
в слух запускает длинные слова,
как пятерню в завшивленные пряди.
И ты в потемках одинок и наг
на простыне, как Зодиака знак.

6. Palangen [61]

Только море способно взглянуть в лицо
небу; и путник, сидящий в дюнах,
опускает глаза и сосет винцо,
как изгнанник-царь без орудий струнных.
Дом разграблен. Стада у него – свели.
Сына прячет пастух в глубине пещеры.
И теперь перед ним – только край земли,
и ступать по водам не хватит веры.

7. Dominikanaj [62]

Сверни с проезжей части в полу-
слепой проулок и, войдя
в костел, пустой об эту пору,
сядь на скамью и, погода,
в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога:
– Прости меня.

1971

Натюрморт

Verr? la morte e avr? tuoi occhi. [63] C. Pavese

I

Вещи и люди нас
оказывают. И те,
и эти терзают глаз.
Лучше жить в темноте.

Я сижу на скамье
в парке, глядя вслед
проходящей семье.
Мне опротивел свет.

Это январь. Зима.
Согласно календарю.
Когда опротивеет тьма,
тогда я заговорю.

II

Пора. Я готов начать.
Не важно, с чего. Открыть
рот. Я могу молчать.
Но лучше мне говорить.

О чем? О днях, о ночах.

Или же – ничего.

Или же о вещах.

О вещах, а не о

людях. Они умрут.

Все. Я тоже умру.

Это бесплодный труд.

Как писать [64] на ветру.

III

Кровь моя холодна.

Холод ее лютей

реки, промерзшей до дна.

Я не люблю людей.

Внешность их не по мне.

Лицами их привит

к жизни какой-то не-

покидаемый вид.

Что-то в их лицах есть,

что противно уму.

Что выражает лесть

неизвестно кому.

IV

Вещи приятней. В них

нет ни зла, ни добра
внешне. А если вник
в них – и внутри нутра.

Внутри у предметов – пыль.

Прах. Древоточец-жук.
Стенки. Сухой мотыль.
Неудобно для рук.

Пыль. И включенный свет
только пыль озарит.
Даже если предмет
герметично закрыт.

V

Старый буфет извне
так же, как изнутри,
напоминает мне
Нотр-Дам де Пари.

В недрах буфета тьма.
Швабра, епитрахиль
пыль не сотрут. Сама
вещь, как правило, пыль

не тщится перебороть,

не напрягает бровь.
Ибо пыль – это плоть
времени; плоть и кровь.

VI

Последнее время я
сплю среди бела дня.
Видимо, смерть моя
испытывает меня,

поднося, хоть дышу,
зеркало мне ко рту, -
как я переносу
небытие на свету.

Я неподвижен. Два
бедра холодны, как лед.
Венозная синева
мрамором отдает.

VII

Преподнося сюрприз
суммой своих углов,
вещь выпадает из
миропорядка слов.

Вещь не стоит. И не

движется. Это – бред.

Вещь есть пространство, вне
коего вещи нет.

Вещь можно грохнуть, сжечь,
распотрошить, сломать.
Бросить. При этом вещь
не крикнет: «Ебена мать!»

VIII

Дерево. Тень. Земля
под деревом для корней.
Корявые вензеля.
Глина. Гряда камней.

Корни. Их переплет.
Камень, чей личный груз
освобождает от
данной системы уз.

Он неподвижен. Ни
сдвинуть, ни унести.
Тень. Человек в тени,
словно рыба в сети.

IX

Вещь. Коричневый цвет

вещи. Чей контур стерт.

Сумерки. Больше нет

ничего. Натюрморт.

Смерть придет и найдет

тело, чья гладь визит

смерти, точно приход

женщины, отразит.

Это абсурд, вранье:

череп, скелет, коса.

"Смерть придет, у нее

будут твои глаза".

Х

Мать говорит Христу:

– Ты мой сын или мой

Бог? Ты прибит к кресту.

Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,

не поняв, не решив:

ты мой сын или Бог?

То есть мертв или жив?

Он говорит в ответ:

– Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

1971

Октябрьская песня

V. S.

Чучело перепелки

стоит на каминной полке.

Старые часы, правильно стрекоча,
радуют ввечеру смятые перепонки.

Дерево за окном – пасмурная свеча.

Море четвертый день глухо гудит у дамбы.

Отложи свою книгу, возьми иглу;
штопай мое белье, не зажигая лампы:
от золота волос
светло в углу.

1971

* * *

Л. В. Лифшицу

Я всегда твердил, что судьба – игра.

Что зачем нам рыба, раз есть икра.
Что готический стиль победит, как школа,
как способность торчать, избежав укола.
Я сижу у окна. За окном осина.
Я любил немногих. Однако – сильно.

Я считал, что лес – только часть полена.
Что зачем вся дева, раз есть колено.
Что, устав от поднятой веком пыли,
русский глаз отдохнет на эстонском шпиле.
Я сижу у окна. Я помыл посуду.
Я был счастлив здесь, и уже не буду.

Я писал, что в лампочке – ужас пола.
Что любовь, как акт, лишена глагола.
Что не знал Эвклид, что, сходя на конус,
вещь обретает не ноль, но Хронос.
Я сижу у окна. Вспоминаю юность.
Улыбнусь порою, порой отплюнусь.

Я сказал, что лист разрушает почку.
И что семя, упавши в дурную почву,
не дает побега; что луг с поляной
есть пример рукоблудья, в Природе данный.
Я сижу у окна, обхватив колени,
в обществе собственной грузной тени.

Моя песня была лишена мотива,
но зато ее хором не спеть. Не диво,
что в награду мне за такие речи
своих ног никто не кладет на плечи.
Я сижу у окна в темноте; как скорый,
море гремит за волнистой шторой.

Гражданин второсортной эпохи, гордо
признаю я товаром второго сорта
свои лучшие мысли и дням грядущим
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.
Я сижу в темноте. И она не хуже
в комнате, чем темнота снаружи.

1971

«Рембрандт. Офорты» [65]

I

"Он был настолько дерзок, что стремился
познать себя..." Не больше и не меньше,
как самого себя.

Для достижения этой
недостижимой цели он сначала
вооружился зеркалом, но после,
сообразив, что главная задача

не столько в том, чтоб видеть, сколько в том,
чтоб рассказать о виденном голландцам,
он взялся за офортную иглу
и принялся рассказывать.

О чем же

он нам поведал? Что он увидал?

Он обнаружил в зеркале лицо, которое
само в известном смысле
есть зеркало.

Любое выражение

лица -лишь отражение того,
что происходит с человеком в жизни.

А происходит разное:

сомненья,

растерянность, надежды, гневный смех -

как странно видеть, что одни и те же

черты способны выразить весьма

различные по сути ощущения.

Еще страннее, что в конце концов

на смену гневу, горечи, надеждам

и удивлению приходит маска

спокойствия -такое ощущение,

как будто зеркало от всех своих

обязанностей хочет отказаться

и стать простым стеклом, и пропускать

и свет и мрак без всяческих препятствий.

Таким он увидал свое лицо.

И заключил, что человек способен
переносить любой удар судьбы,
что горе или радость в равной мере
ему к лицу: как пышные одежды
царя. И как лохмотья нищеты.

Он все примерил и нашел, что все,
что он примерил, оказалось впору.

II

И вот тогда он посмотрел вокруг.

Рассматривать других имеешь право
лишь хорошенько рассмотрев себя.

И чередою перед ним пошли
аптекари, солдаты, крысоловы,
ростовщики, писатели, купцы -

Голландия смотрела на него
как в зеркало. И зеркало сумело
правдиво -и на многие века -

запечатлеть Голландию и то, что
одна и та же вещь объединяет
все эти – старые и молодые – лица;
и имя этой общей вещи -свет.

Не лица разнятся, но свет различен:

Одни, подобно лампам, изнутри

освещены. Другие же – подобны
всему тому, что освещают лампы.

И в этом -суть различия.

Но тот,

кто создал этот свет, одновременно

(и не без оснований) создал тень.

А тень не просто состоянье света,

но нечто равнозначное и даже

порой превосходящее его.

Любое выражение лица -

растерянность, надежда, глупость, ярость

и даже упомянутая маска

спокойствия -не есть заслуга жизни

иль самых мускулов лица, но лишь

заслуга освещенья.

Только эти

две вещи -тень и свет – нас превращают

в людей.

Неправда?

Что ж, поставьте опыт:

задуйте свечи, опустите шторы.

Чего во мраке стоят ваши лица?

III

Но люди думают иначе. Люди
считают, что они о чем-то спорят,
поступки совершают, любят, лгут,
пророчествуют даже.
Между тем,
они всего лишь пользуются светом
и часто злоупотребляют им,
как всякой вещью, что досталась даром.
Одни порою застыт свет другим.
Другие заслоняются от света.
А третьи норовят затмить весь мир
своей персоной -всякое бывает.
А для иных он сам внезапно гаснет.

IV

И вот когда он гаснет для того,
кого мы любим, а для нас не гаснет
когда ты можешь видеть только лишь
тех, на кого ты и смотреть не хочешь
(и в том числе, на самого себя),

тогда ты обращаешь взор к тому,
что прежде было только задним планом
твоих портретов и картин -
к земле...

Трагедия окончена. Актер
уходит прочь. Но сцена -остается
и начинает жить своею жизнью.

Что ж, в виде благодарности судьбе
изобрази со всею страстью сцену.

Ты произнес свой монолог. Она
переживет твои слова, твой голос
и гром аплодисментов, и молчанье,
столь сильно осязаемое после
аплодисментов. А потом -тебя,
все это пережившего.

V

Ну, что ж,
ты это знал и раньше. Это – тоже
дорожка в темноту.
Но так ли надо
страшиться мрака? Потому что мрак
всего лишь форма сохраненья света
от лишних трат, всего лишь форма сна,
подобье передышки.

А художник -

художник должен видеть и во мраке.

Что ж, он и видит. Часть лица.

Клочок какой-то ткани. Краешек телеги.

Затылок чей-то. Дерево. Кувшин.

Все это как бы сновиденья света,
уснувшего на время крепким сном.

Но рано или поздно он проснется.

<1971>

24 декабря 1971 года

V. S.

В Рождество все немного волхвы.

В продовольственных слякоть и давка.

Из-за банки кофейной халвы

производит осаду прилавка

грудой свертков навьюченный люд:

каждый сам себе царь и верблюд.

Сетки, сумки, авоськи, кульки,

шапки, галстуки, сбитые набок.

Запах водки, хвои и трески,

мандаринов, корицы и яблок.

Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.

И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломаются в двери,
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере:
ни животных, ни яслей, ни Той,
над Которою – нимб золотой.

Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства -
основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть еще, но уж воля благая
в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.

Валит снег; не дымят, но трубят

трубы кровель. Все лица, как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
Кто грядет – никому непонятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.

Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь – звезда.

январь 1972

Одному тирану

Он здесь бывал: еще не в галифе -
в пальто из драпа; сдержанный, сутулый.
Арестом завсегдаев кафе
покончив позже с мировой культурой,
он этим как бы отомстил (не им,
но Времени) за бедность, униженья,
за скверный кофе, скуку и сраженья
в двадцать одно, проигранные им.

И Время проглотило эту месть.

Теперь здесь людно, многие смеются,

гремят пластинки. Но пред тем, как сесть
за столик, как-то тянет оглянуться.
Везде пластмасса, никель – все не то;
в пирожных привкус бромистого натра.
Порой, перед закрытьем, из театра
он здесь бывает, но инкогнито.

Когда он входит, все они встают.
Одни – по службе, прочие – от счастья.
Движением ладони от запястья
он возвращает вечеру уют.
Он пьет свой кофе – лучший, чем тогда,
и ест рогалик, примостившись в кресле,
столь вкусный, что и мертвые «о да!»
воскликнули бы, если бы воскресли.

январь 1972

Сретенье [66]

Анне Ахматовой

Когда она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук

Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взоров небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу; но он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведено старцу сему,
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
дитя: он – Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,

и слава Израиля в нем." – Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. «Слова-то какие...»
И старец сказал, повернувшись к Марии:

"В лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышение других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружием, Мария, которым

терзаема плоть его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око".

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед

Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.

Почти подгоняем их взглядами, он
шел молча по этому храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.

И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропею
душа Симеона несла пред собою

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотолле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

16 февраля 1972

Письма римскому другу (из Марциала)

Нынче ветрено и волны с перехлестом.
Скоро осень, все изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги.

Дева тешит до известного предела -
дальше локтя не пойдешь или колена.
Сколь же радостней прекрасное вне тела:
ни объятья невозможны, ни измена!

—
Посылаю тебе, Постум, эти книги.

Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, да обжорство.

Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных -
лишь согласное гуденье насекомых.

—

Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он – деловит, но незаметен.
Умер быстро – лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.

Рядом с ним – легионер, под грубым кварцем.
Он в сражениях империю прославил.
Сколько раз могли убить! а умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.

—

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгамихватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.

И от Цезаря далеко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники – ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

Этот ливень переждать с тобой, гетера,
я согласен, но давай-ка без торговли:
брать сестерций с покрывающего тела -
все равно что дранку требовать от кровли.

Протекаю, говоришь? Но где же лужа?
Чтобы лужу оставлял я – не бывало.
Вот найдешь себе какого-нибудь мужа,
он и будет протекать на покрывало.

Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.

Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.
Разыщу большой кувшин, воды налью им...
Как там в Ливии, мой Постум, – или где там?
Неужели до сих пор еще воюем?

Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
Худощавая, но с полными ногами.
Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица.
Жрица, Постум, и общается с богами.

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.
Или сливами. Расскажешь мне известья.
Постелю тебе в саду под чистым небом
и скажу, как называются созвездья.

—

Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит.
Забери из-под подушки сбереженья,
там немного, но на похороны хватит.

Поезжай на вороной своей кобыле
в дом гетер под городскую нашу стену.
Дай им цену, за которую любили,
чтоб за ту же и оплакивали цену.

—

Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце,
стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.

Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На разошедшей скамейке – Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

март 1972

1972 год

Виктору Гольшеву

Птица уже не влетает в форточку.
Девушка, как зверь, защищает кофточку.
Подскользнувшись о вишневую косточку,
я не падаю: сила трения
возрастает с падением скорости.
Сердце скачет, как белка, в хворосте
ребер. И горло поет о возрасте.
Это – уже старение.

Старение! Здравствуй, мое старение!
Крови медленное струение.
Некогда стройное ног строение
мучает зрение. Я заранее
область своих ощущений пятаю,
обувь скидая, спасаю ватю.
Всякий, кто мимо идет с лопатю,
ныне объект внимания.

Правильно! Тело в страстях раскаялось.
Зря оно пело, рыдало, скалилось.
В полости рта не уступит кариес

Греции древней, по меньшей мере.
Смрадно дыша и треща суставами,
пачкаю зеркало. Речь о саване
еще не идет. Но уже те самые,
кто тебя вынесет, входят в двери.

Здравствуй, младое и незнакомое
племя! Жужжащее, как насекомое,
время нашло, наконец, искомое
лакомство в твердом моем затылке.
В мыслях разброд и разгром на темени.
Точно царица – Ивана в тереме,
чую дыхание смертной темени
фибрами всеми и жмусь к подстилке.

Боязно! То-то и есть, что боязно.
Даже когда все колеса поезда
прокатятся с грохотом ниже пояса,
не замирает полет фантазии.
Точно рассеянный взор отличника,
не отличая очки от лифчика,
боль близорука, и смерть расплывчата,
как очертанья Азии.

Все, что и мог потерять, утрачено
начисто. Но и достиг я начерно
все, чего было достичь назначено.

Даже кукушки в ночи звучание
трогает мало – пусть жизнь оболгана
или оправдана им надолго, но
старение есть отрастание органа
слуха, рассчитанного на молчание.

Старение! В теле все больше смертного.
То есть, не нужного жизни. С медного
лба исчезает сияние местного
света. И черный прожектор в полдень
мне заливает глазные впадины.
Силы из мышц у меня украдены.
Но не ищу себе перекладины:
совестно братья за труд Господень.

Впрочем, дело, должно быть, в трусости.
В страхе. В технической акта трудности.
Это – влияние грядущей трупности:
всякий распад начинается с воли,
минимум коей – основа статистики.
Так я учил, сидя в школьном садике.
Ой, отойдите, друзья-касатики!
Дайте выйти во чисто поле!

Я был как все. То есть жил похожею
жизнью. С цветами входил в прихожую.
Пил. Валял дурака под кожу.

Брал, что давали. Душа не зарилась
на не свое. Обладал опорой,
строил рычаг. И пространству впору я
звук извлекал, дуя в дудку полую.
Что бы такое сказать под занавес?!

Слушай, дружина, враги и братие!
Все, что творил я, творил не ради я
славы в эпоху кино и радио,
но ради речи родной, словесности.
За какое реченье-жречество
(сказано ж доктору: сам пусть лечится)
чаши лишившись в пиру Отечества,
нынче стою в незнакомой местности.

Ветрено. Сыро, темно. И ветрено.
Полночь швыряет листву и ветви на
кровлю. Можно сказать уверенно:
здесь и скончаю я дни, теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы,
черпая кепкой, что шлемом суздальским,
из океана волну, чтоб сузился,
хрупая рыбу, пускай сырая.

Старение! Возраст успеха. Знания
правды. Изнанки ее. Изгнания.
Боли. Ни против нее, ни за нее

я ничего не имею. Коли ж
переборщат – возоплю: нелепица
сдерживать чувства. Покамест – терпится.
Ежели что-то во мне и теплится,
это не разум, а кровь всего лишь.

Данная песня – не вопль отчаянья.
Это – следствие одичания.
Это – точней – первый крик молчания,
царствие чье представляю суммою
звуков, исторгнутых прежде мокрою,
затвердевшей ныне в мертвую
как бы натуру, гортанью твердою.
Это и к лучшему. Так я думаю.

Вот оно – то, о чем я глаголаю:
о превращении тела в голую
вещь! Ни горе не гляжу, ни долу я,
но в пустоту – чем ее не высветли.
Это и к лучшему. Чувство ужаса
вещи не свойственно. Так что лужица
подле вещи не обнаружится,
даже если вещица при смерти.

Точно Тезей из пещеры Миноса,
выйдя на воздух и шкуру вынеся,
не горизонт вижу я – знак минуса

к прожитой жизни. Острей, чем меч его,
лезвие это, и им отрезана
лучшая часть. Так вино от трезвого
прочь убирают, и соль – от пресного.
Хочется плакать. Но плакать нечего.

Бей в барабан о своем доверии
к ножницам, в коих судьба материи
скрыта. Только размер потери и
делает смертного равным Богу.
(Это суждение стоит галочки
даже в виду обнаженной парочки.)
Бей в барабан, пока держишь палочки,
с тенью своей маршируя в ногу!

18 декабря 1972

Бабочка

I

Сказать, что ты мертва?
Но ты жила лишь сутки.
Как много грусти в шутке
Творца! едва
могу произнести
«жила» – единство даты
рожденья и когда ты
в моей горсти
рассыпалась, меня
смущает вычесьть

одно из двух количеств
в пределах дня.

II

Затем, что дни для нас -
ничто. Всего лишь
ничто. Их не приколешь,
и пищей глаз
не сделаешь: они
на фоне белом,
не обладая телом
незримы. Дни,
они как ты; верней,
что может весить
уменьшенный раз в десять
один из дней?

III

Сказать, что вовсе нет
тебя? Но что же
в руке моей так схоже
с тобой? и цвет -
не плод небытия.
По чьей подсказке
и так кладутся краски?
Навряд ли я,
бормочущий комок
слов, чуждых цвету,
вообразить бы эту
палитру смог.

IV

На крылышках твоих
зрачки, ресницы -
красавицы ли, птицы -
обрывки чьих,
скажи мне, это лиц,
портрет летучий?
Каких, скажи, твой случай
частиц, крупиц
являет натюрморт:
вещей, плодов ли?
и даже рыбной ловли
трофей простерт.

V

Возможно, ты – пейзаж,
и, взявши лупу,
я обнаружу группу
нимф, пляску, пляж.
Светло ли там, как днем?
иль там уныло,
как ночью? и светило
какое в нем
взошло на небосклон?
чьи в нем фигуры?
Скажи, с какой природы
был сделан он?

VI

Я думаю, что ты -

и то, и это:

звезды, лица, предмета

в тебе черты.

Кто был тот ювелир,

что бровь не хмуря,

нанес в миниатюре

на них тот мир,

что сводит нас с ума,

берет нас в клещи,

где ты, как мысль о вещи,

мы – вещь сама?

VII

Скажи, зачем узор

такой был даден

тебе всего лишь на день

в краю озер,

чья амальгама впрок

хранит пространство?

А ты – лишает шанса

столь краткий срок

попасть в сачок,

затрепетать в ладони,

в момент погони

пленишь зрачок.

VIII

Ты не ответишь мне

не по причине

застенчивости и не
со зла, и не
затем, что ты мертва.
Жива, мертва ли -
но каждой Божьей твари
как знак родства
дарован голос для
общенья, пенья:
продления мгновенья,
минуты, дня.

IX

А ты – ты лишена
сего залога.
Но, рассуждая строго,
так лучше: на
кой ляд быть у небес
в долгу, в реестре.
Не сокрушайся ж, если
твой век, твой вес
достойны немоты:
звук – тоже бремя.
Бесплотнее, чем время,
беззвучней ты.

X

Не ощущая, не
дожив до страха,
ты вьешься легче праха
над клумбой, вне

похожих на тюрьму
с ее удушьем
минувшего с грядущим,
и потому,
когда летишь на луг,
желая корму,
преобретает форму
сам воздух вдруг.

XI

Так делает перо,
скользя по глади
расчерченной тетради,
не зная про
судьбу своей строки,
где мудрость, ересь
смешались, но доверясь
толчкам руки,
в чьих пальцах бьется речь
вполне немая,
не пыль с цветка снимая,
но тяжесть с плеч.

XII

Такая красота
и срок столь краткий,
соединясь, догадкой
кривят уста:
не высказать ясней,
что в самом деле

мир создан был без цели,
а если с ней,
то цель – не мы.
Друг-энтомолог,
для света нет иголок
и нет для тьмы.

XIII

Сказать тебе «Прощай»,
как форме суток?
Есть люди, чей рассудок
стрижет лишай
забвенья; но взгляни:
тому виною
лишь то, что за спиною
у них не дни
с постелью на двоих,
не сны дремучи,
не прошлое – но тучи
сестер твоих!

XIV

Ты лучше, чем Ничто.
Верней: ты ближе
и зримее. Внутри же
на все сто
ты родственна ему.
В твоём полете
оно достигло плоти;
и потому

ты в сутолке дневной
достойна взгляда
как легкая преграда
меж ним и мной.

1972

В озерном краю

В те времена в стране зубных врачей,
чьи дочери выписывают вещи
из Лондона, чьи стиснутые клещи
вздымают вверх на знамени ничей
Зуб Мудрости, я, прячущий во рту
развалины почище Парфенона,
шпион, лазутчик, пятая колонна
гнилой провинции – в быту
профессор красноречия – я жил
в колледже возле Главного из Пресных
Озер, куда из недорослей местных
был призван для вытягиванья жил.

Все то, что я писал в те времена,
сводилось неизбежно к многоточью.
Я падал, не расстегиваясь, на
постель свою. И ежели я ночью
отыскивал звезду на потолке,
она, согласно правилам сгоранья,
сбегала на подушку по щеке

быстрей, чем я загадывал желанье.

1972

Набросок

Холуй трясется. Раб хохочет.

Палач свою секиру точит.

Тиран кромсает каплуна.

Сверкает зимняя луна.

Се вид Отчества, гравюра.

На лежаке – Солдат и Дура.

Старуха чешет мертвый бок.

Се вид Отечества, лубок.

Собака лает, ветер носит.

Борис у Глеба в морду просит.

Кружатся пары на балу.

В прихожей – куча на полу.

Луна сверкает, зренье муча.

Под ней, как мозг отдельный, – туча...

Пускай Художник, паразит,

другой пейзаж изобразит.

1972

Одиссей Телемаку

Мой Телемак,

Троянская война

окончена. Кто победил – не помню.

Должно быть, греки: столько мертвецов

вне дома бросить могут только греки...

И все-таки ведущая домой

дорога оказалась слишком длинной,

как будто Посейдон, пока мы там

теряли время, растянул пространство.

Мне неизвестно, где я нахожусь,

что предо мной. Какой-то грязный остров,

кусты, постройки, хрюканье свиней,

заросший сад, какая-то царица,

трава да камни... Милый Телемак,

все острова похожи друг на друга,

когда так долго странствуешь, и мозг

уже сбивается, считая волны,

глаз, засоренный горизонтом, плачет,

и водяное мясо застит слух.

Не помню я, чем кончилась война,

и сколько лет тебе сейчас, не помню.

Расти большой, мой Телемак, расти.

Лишь боги знают, свидимся ли снова.

Ты и сейчас уже не тот младенец,

перед которым я сдержал быков.

Когда б не Паламед, мы жили вместе.
Но может быть и прав он: без меня
ты от страстей Эдиповых избавлен,
и сны твои, мой Телемак, безгрешны.

1972

* * *

Осенний вечер в скромном городке,
гордящимся присутствием на карте
(топограф был, наверное, в азарте
иль с дочкою судьи накоротке).

Уставшее от собственных причуд
Пространство как бы скидывает бремя
величья, ограничиваясь тут
чертами Главной улицы; а Время
взирает с неким холодком в кости
на циферблат колониальной лавки,
в чьих недрах все, что смог произвести
наш мир: от телескопа до булавки.

Здесь есть кино, салуны, за углом
одно кафе с опущенною шторой,
кирпичный банк с распластным орлом
и церковь, о наличии которой
и ею расставляемых сетей,

когда б не рядом с почтой, позабыли.

И если б здесь не делали детей,
то пастор бы крестил автомобили.

Здесь буйствуют кузнечики в тиши.

В шесть вечера, как вследствие атомной
войны, уже не встретишь ни души.

Луна вплывает, вписываясь в темный
квадрат окна, что твой Экклезиаст.

Лишь изредка несущийся куда-то
шикарный «бьюик» фарами обдаст
фигуру Неизвестного Солдата.

Здесь снится вам не женщина в трико,
а собственный ваш адрес на конверте.

Здесь утром, видя скисшим молоко,
молочник узнает о вашей смерти.

Здесь можно жить, забыв про календарь,
глотать свой бром, не выходить наружу,
и в зеркало глядеться, как фонарь
глядится в высыхающую лужу.

1972

Песня невинности, она же – опыта

"On a cloud I saw a child,
and he laughing said to me..." W. Blake

1

Мы хотим играть на лугу в пятнашки,
не ходить в пальто, но в одной рубашке.
Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть,
мы, готовя уроки, хотим не плакать.

Мы учебник прочтем, вопреки заглавью.
То, что нам приснится, и станет явью.
Мы полюбим всех, и в ответ – они нас.
Это самое лучшее: плюс на минус.

Мы в супруги возьмем себе дев с глазами
дикой лани; а если мы девы сами,
то мы юношей стройных возьмем в супруги,
и не будем чаять души в друг друге.

Потому что у куклы лицо в улыбке,
мы, смеясь, свои совершим ошибки.
И тогда живущие на покое
мудрецы нам скажут, что жизнь такое.

2

Наши мысли длинней будут с каждым годом.
Мы любую болезнь победим иодом.
Наши окна завешены будут тюлем,
а не забраны черной решеткой тюрем.

Мы с приятной работы вернемся рано.
Мы глаза не спустим в кино с экрана.
Мы тяжелые брошки приколем к платьям.
Если кто без денег, то мы заплатим.

Мы построим судно с винтом и паром,
целиком из железа и с полным баром.
Мы взойдем на борт и получим визу,
и увидим Акрополь и Мону Лизу.

Потому что число континентов в мире
с временами года, числом четыре,
перемножив и баки залив горючим,
двадцать мест поехать куда получим.

3

Соловей будет петь нам в зеленой чаще.
Мы не будем думать о смерти чаще,
чем ворона в виду огородных пугал.
Согрешивши, мы сами и станем в угол.

Нашу старость мы встретим в глубоком кресле,
в окружении внуков и внучек. Если
их не будет, дадут посмотреть соседи
в телевизоре гибель шпионской сети.

Как нас учат книги, друзья, эпоха:
завтра не может быть также плохо,
как вчера, и слово сие писати
в tempi следует нам passati.

Потому что душа существует в теле,
жизнь будет лучше, чем мы хотели.
Мы пирог свой зажарим на чистом сале,
ибо так вкуснее: нам так сказали.

«Hear the voice of the Bard!» W. Blake 1

Мы не пьем вина на краю деревни.
Мы не дадим себя в женихи царевне.
Мы в густые щи не макаем лапоть.
Нам смеяться стыдно и скушно плакать.

Мы дугу не гнем пополам с медведем.
Мы на сером волке вперед не едем,
и ему не встать, уколовшись шприцем
или оземь грянувшись, стройным принцем.

Зная медные трубы, мы в них не трубим.
Мы не любим подобных себе, не любим
тех, кто сделан был из другого теста.
Нам не нравится время, но чаще – место.

Потому что север далек от юга,
наши мысли цепляются друг за друга.
Когда меркнет солнце, мы свет включаем,
завершая вечер грузинским чаем.

2

Мы не видим восходов из наших пашен.
Нам судья противен, защитник страшен.
Нам дороже свайка, чем матч столетья.
Дайте нам обед и компот на третье.

Нам звезда в глазу, что слеза в подушке.
Мы боимся короны во лбу лягушки,
бородавок на пальцах и прочей мрази.
Подарите нам тюбик хорошей мази.

Нам приятней глупость, чем хитрость лисья.
Мы не знаем, зачем на деревьях листья.
И, когда их срывает Борей до срока,
ничего не чувствуем, кроме шока.

Потому что тепло переходит в холод,
наш пиджак зашит, а тулуп проколот.
Не рассудок наш, а глаза ослабли,
чтоб искать отличие орла от цапли.

3

Мы боимся смерти, посмертной казни.

Нам знаком при жизни предмет боязни:

пустота вероятней и хуже ада.

Мы не знаем, кому нам сказать «не надо».

Наши жизни, как строчки, достигли точки.

В изголовьи дочки в ночной сорочке

или сына в майке не встать нам снами.

Наша тень длиннее, чем ночь пред нами.

То не колокол бьет над угрюмым вечем!

Мы уходим во тьму, где светить нам нечем.

Мы спускаем флаги и жжем бумаги.

Дайте нам припасть напоследок к фляге.

Почему все так вышло? И будет ложью

на характер свалить или Волю Божью.

Разве должно было быть иначе?

Мы платили за всех, и не нужно сдачи.

1972

Похороны Бобо [67]

1

Бобо мертва, но шапки недолой.

Чем объяснить, что утешаться нечем.

Мы не приколем бабочку иглой

Адмиралтейства – только изувечим.

Квадраты окон, сколько ни смотри

по сторонам. И в качестве ответа

на «Что стряслось» пустую изнутри

открой жестянку: «Видимо, вот это».

Бобо мертва. Кончается среда.

На улицах, где не найдешь ночлега,

белым-бело. Лишь черная вода

ночной реки не принимает снега.

2

Бобо мертва, и в этой строчке грусть.

Квадраты окон, арок полукружья.

Такой мороз, что коль убьют, то пусть

из огнестрельного оружия.

Прощай, Бобо, прекрасная Бобо.

Слеза к лицу разрезанному сыру.

Нам за тобой последовать слабо,

но и стоять на месте не под силу.

Твой образ будет, знаю наперед,

в жару и при морозе-ломаносе
не уменьшаться, но наоборот
в неповторимой перспективе Росси.

3

Бобо мертва. Вот чувство, дележу
доступное, но скользкое, как мыло.
Сегодня мне приснилось, что лежу
в своей кровати. Так оно и было.

Сорви листок, но дату переправь:
нуль открывает перечень утратам.
Сны без Бобо напоминают явь,
и воздух входит в комнату квадратом.

Бобо мертва. И хочется, уста
слегка разжав, произнести: «Не надо».
Наверно, после смерти – пустота.
И вероятнее, и хуже Ада.

4

Ты всем была. Но, потому что ты
теперь мертва, Бобо моя, ты стала
ничем – точнее, сгустком пустоты.
Что тоже, как подумаешь, немало.

Бобо мертва. На круглые глаза

вид горизонта действует, как нож, но
тебя, Бобо, Кики или Заза
им не заменят. Это невозможно.

Идет четверг. Я верю в пустоту.
В ней как в Аду, но более херово.
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.

1972

Торс

Если вдруг забредаешь в каменную траву,
выглядающую в мраморе лучше, чем наяву,
иль замечаешь фавна, предавшегося возне
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,
можешь выпустить посох из натруженных рук:
ты в Империи, друг.

Воздух, пламень, вода, фавны, наяды, львы,
взятые из природы или из головы, -
все, что придумал Бог и продолжать устал
мозг, превращено в камень или металл.
Это – конец вещей, это – в конце пути
зеркало, чтоб войти.

Встань в свободную нишу и, закатив глаза,
смотри, как проходят века, исчезая за
углом, и как в паху прорастает мох
и на плечи ложится пыль – этот загар эпох.
Кто-то отколет руку, и голова с плеча
скатится вниз, стуча.

И останется торс, безымянная сумма мышц.
Через тысячу лет живущая в нише мышь с
ломаным когтем, не одолев гранит,
выйдя однажды вечером, пискнув, просеменит
через дорогу, чтоб не прийти в нору
в полночь. Ни поутру.

1972

Неоконченный отрывок

Во время ужина он встал из-за стола
и вышел из дому. Луна светила
по-зимнему, и тени от куста,
превозмогая завитки ограды,
так явственно чернели на снегу,
как будто здесь они пустили корни.
Сердцебиенье, ни души вокруг.

Так велико желание всего
живущего преодолеть границы,

распространиться ввысь и в ширину,
что, стоит только выглянуть светилу,
какому ни на есть, и в тот же миг
окрестности становятся добычей
не нас самих, но устремлений наших.

1972(?)

* * *

С красавицей налаживая связь,
вдоль стен тюрьмы, где отсидел три года,
лететь в такси, разбрызгивая грязь,
с бутылкой в сетке – вот она, свобода!

Щекочет ноздри невский ветерок.

Судьба родных сознания не гложет.

Ах! только соотечественник может

постичь очарованье этих строк!..

1972(?)

Роттердамский дневник

I

Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда.

Раскрывши зонт, я поднимаю ворот.

Четыре дня они бомбили город,

и города не стало. Города

не люди и не прячутся в подъезде

во время ливня. Улицы, дома
не сходят в этих случаях с ума
и, падая, не призывают к мести.

II

Июльский полдень. Капает из вафли
на брючину. Хор детских голосов.
Вокруг – громады новых корпусов.
У Корбюзье то общее с Люфтваффе,
что оба потрудились от души
над переменной облика Европы.
Что позабудут в ярости циклопы,
то трезво завершат карандаши.

III

Как время ни целебно, но культя,
не видя средств отличия от цели,
саднит. И тем сильнее – от панацеи.
Ночь. Три десятилетия спустя
мы пьем вино при крупных летних звездах
в квартире на двадцатом этаже -
на уровне, достигнутом уже
взлетевшими здесь некогда на воздух.

июль 1973, Роттердам

Лагуна

I

Три старухи с вязаньем в глубоких креслах
толкуют в холле о муках крестных;

пансион «Академия» вместе со
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот
телевизора; сунув гроссбух под локоть,
клерк поворачивает колесо.

II

И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще.

III

Венецийских церквей, как сервизов чайных,
слышен звон в коробке из-под случайных
жизней. Бронзовый осьминог
люстры в трельяже, заросшем ряской,
лижет набрякший слезами, лаской,
грязными снами сырой станок.

IV

Адриатика ночью восточным ветром
канал наполняет, как ванну, с верхом,
лодки качает, как люльки; фиш,
а не вол в изголовьи встает ночами,
и звезда морская в окне лучами
штору шевелит, покуда спишь.

V

Так и будем жить, заливая мертвой
водой стеклянной графина мокрый
пламень граппы, кромсая леща, а не
птицу-гуся, чтобы нас насытил
предок хордовый Твой, Спаситель,
зимней ночью в сырой стране.

VI

Рождество без снега, шаров и ели,
у моря, стесненного картой в теле;
створку моллюска пустив ко дну,
пряча лицо, но спиной пленяя,
Время выходит из волн, меняя
стрелку на башне – ее одну.

VII

Тонущий город, где твердый разум
внезапно становится мокрым глазом,
где сфинксов северных южный брат,
знающий грамоте лев крылатый,
книгу захлопнув, не крикнет «ратуй!»,
в плеске зеркал захлебнуться рад.

VIII

Гондолу бьет о гнилые сваи.
Звук отрицает себя, слова и
слух; а также державу ту,
где руки тянутся хвойным лесом
перед мелким, но хищным бесом
и слюну леденит во рту.

IX

Скрестим же с левой, вобравшей когти,
правую лапу, согнувши в локте;
жест получим, похожий на
молот в серпе, – и, как чорт Солохе,
храбро покажем его эпохе,
принявшей образ дурного сна.

X

Тело в плаще обживает сферы,
где у Софии, Надежды, Веры
и Любви нет грядущего, но всегда
есть настоящее, сколь бы горек
не был вкус поцелуев эбре и гоек,
и города, где стопа следа

XI

не оставляет – как челн на глади
водной, любое пространство сзади,
взятое в цифрах, сводя к нулю -
не оставляет следов глубоких
на площадях, как «прощай» широких,
в улицах узких, как звук «люблю».

XII

Шпили, колонны, резьба, лепнина
арок, мостов и дворцов; взгляни на-
верх: увидишь улыбку льва
на охваченной ветров, как платьем, башне,

несокрушимой, как злак вне пашни,
с поясом времени вместо рва.

XIII

Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым
лицом, сравнимым во тьме со снятым
с безымянного пальца кольцом, грызя
ноготь, смотрит, объят покоем,
в то «никуда», задержаться в коем
мысли можно, зрачку – нельзя.

XIV

Там, за нигде, за его пределом
– черным, бесцветным, возможно, белым -
есть какая-то вещь, предмет.
Может быть, тело. В эпоху тренья
скорость света есть скорость зренья;
даже тогда, когда света нет.

1973

Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова

I

Взбаламутивший море
ветер рвется как ругань с расквашенных губ
в глубь холодной державы,
заурядное до-ре-
ми-фа-соль-ля-си-до извлекая из каменных труб.
Не-царевны-не-жабы
припадают к земле,

и сверкает звезды оловянная гривна.

И подобье лица
растекается в черном стекле,
как пощечина ливня.

II

Здравствуй, Томас. То – мой
призрак, бросивший тело в гостинице где-то
за морями, гребя
против северных туч, поспешает домой,
вырываясь из Нового Света,
и тревожит тебя.

III

Поздний вечер в Литве.
Из костелов бредут, хороня запятые
свечек в скобках ладоней. В продрогших дворах
куры роются клювами в жухлой дресве.
Над жнивьем Жемайтии
вьется снег, как небесных обителей прах.
Из раскрытых дверей
пахнет рыбой. Малец полуголый
и старуха в платке загоняют корову в сарай.
Запоздалый еврей
по брусчатке местечка гремит балаголой,
вожжи рвет
и кричит залихватски: «Герай!»

IV

Извини за вторжение.

Сочти появление за
возвращенье цитаты в ряды «Манифеста»:
чуть картавей,
чуть выше октавой от странствий в дали.
Потому – не крестись,
не ломай в кулаке картуза:
сгину прежде, чем грянет с насеста
петушиное «пли».
Извини, что без спросу.
Не паться от страха в чулан:
то, кордонов за счет, расширяет свой радиус брэнность.
Мстя, как камень колодцу кольцом грязевым,
над Балтийской волной
я жужжу, точно тот моноплан -
точно Дариус и Геренас,
но не так уязвим.

V

Поздний вечер в Империи,
в нищей провинции.
Вброд
перешедшее Неман еловое войско,
ощетинившись пиками, Ковно в потемки берет.
Багровеет известка
трехэтажных домов, и бульжник мерцает, как
пойманный лещ.
Вверх взвивается занавес в местном театре.
И выносят на улицу главную вещь,
разделенную на три
без остатка.

Сквозняк тербит бахрому
занавески из тюля. Звезда в захолустье
светит ярче: как карта, упавшая в масть.
И впадает во тьму,
по стеклу барабана, руки твоей устье.
Больше некуда впасть.

VI

В полночь всякая речь
обретает ухватки слепца.
Так что даже «отчизна» наощупь – как Леди Годива.
В паутине углов
микрофоны спецслужбы в квартире певца
пишут скрежет матраца и всплески мотива
общей песни без слов.
Здесь панует стыдливость. Листва, норовя
выбрать между своей лицевой стороной и изнанкой,
возмущает фонарь. Отменив рупора,
миру здесь о себе возвещают, на муравья
наступив ненароком, невнятной морзянкой
пульса, скрипом пера.

VII

Вот откуда твои
щек мучнистость, безадресность глаза,
шепелявость и волосы цвета спитой,
тусклой чайной струи.
Вот откуда вся жизнь как нетвердая честная фраза,
на пути к запятой.
Вот откуда моей,

как ее продолжение вверх, оболочки
в твоих стеклах расплывчатость, бунт голытьбы
ивняка и т.п., очертанья морей,
их страниц перевернутость в поисках точки,
горизонта, судьбы.

VIII

Наша письменность, Томас! с моим, за поля
выходящим сказуемым! с хмурым твоим домоседством
подлежащего! Прочный, чернильный союз,
кружева, вензеля,
помесь литеры римской с кириллицей: цели со средством,
как велел Макроус!

Наши оттиски! в смятых сырых простынях -
этих рыхлых извилинах общего мозга! -
в мягкой глине возлюбленных, в детях без нас.

Либо – просто синяк
на скуле мироздания от взгляда подростка,
от попытки на глаз
расстоянье прикинуть от той ли литовской корчмы
до лица, многооко смотрящего мимо,
как раскосый монгол за земной частокол,
чтоб вложить пальцы в рот – в эту рану Фомы -
и, нащупав язык, на манер серафима
переправить глагол.

IX

Мы похожи;
мы, в сущности, Томас, одно:
ты, коптящий окно изнутри, я, смотрящий снаружи.

Друг для друга мы суть

обоюдное дно

амальгамовой лужи,

неспособной блеснуть.

Покривись – я отвечу ухмылкой кривой,

отзовусь на зевоту немотой, раздирающей полость,

разольюсь в три ручья

от стоваттной слезы над твоей головой.

Мы – взаимный конвой,

проступающий в Касторе Поллукс,

в просторечье – ничья,

пат, подвижная тень,

приводимая в действие жаркой лучиной,

эхо возгласа, сдача с рубля.

Чем сильнее жизнь испорчена, тем

мы в ней неразличимей

ока праздного дня.

Х

Чем питается призрак? Отбросами сна,

отрубями границ, шелухой цифири:

явь всегда наравит сохранить адреса.

Переулок сдвигает фасады, как зубы десна,

желтизну подворотни, как сыр простофили,

пожирает лиса

темноты. Место, времени мстя

за свое постоянство жильцом, постояльцем,

жизнью в нем, отпирает засов, -

и, эпоху спустя,

я тебя застаю в замусоленной пальцем

сверхдержаве лесов
и равнин, хорошо сохраняющей мысли, черты
и особенно позу: в сырой конопляной
многоверстной рубахе, в гудящих стальных бигуди
Мать-Литва засыпает над плесом,
и ты
припадаешь к ее неприкрытой, стеклянной,
поллитровой груди.

XI

Существуют места,
где ничто не меняется. Это -
заменители памяти, кислый триумф фиксажа.
Там шлагбаум на резкость наводит верста.
Там чем дальше, тем больше в тебе силуэта.
Там с лица сторожа
моложавей. Минувшее смотрит вперед
настороженным глазом подростка в шинели,
и судьба нарушителем пятится прочь
в настоящую старость с плевком на стене,
с ломотой, с бесконечностью в форме панели
либо лестницы. Ночь
и взаправду граница, где, как татарва,
территориям прожитой жизни набегом
угрожает действительность, и наоборот,
где дрова переходят в деревья и снова в дрова,
где что веко не спрячет,
то явь печенегом
как трофей подберет.

XII

Полночь. Сойка кричит

человеческим голосом и обвиняет природу
в преступлениях термометра против нуля.

Витовт, бросивший меч и похеривший щит,
погружается в Балтику в поисках броду
к шведам. Впрочем, земля
и сама завершается молотом, погнавшимся за
как по плоским ступенькам, по волнам
убежавшей свободой.

Усилья бобра
по постройке запруды венчает слеза,
расставаясь с проворным
ручейком серебра.

XIII

Полночь в лиственном крае,
в губернии цвета пальто.

Колокольная клинопись. Облако в виде отреза
на рядно сопредельной державе.

Внизу
пашни, скирды, плато
черепицы, кирпич, колоннада, железо,
плюс обутый в кирзу
человек государства.

Ночной кислород
наводняют помехи, молитва, сообщенья
о погоде, известия,
храбрый Кощей
с округленными цифрами, гимны, фокстрот,

болеро, запрещенья
безымянных вещей.

XIV

Призрак бродит по Каунасу, входит в собор,
выбегает наружу. Плетется по Лайсвис-аллее.
Входит в «Тюльпе», садится к столу.
Кельнер, глядя в упор,
видит только салфетки, огни бакалеи,
снег, такси на углу,
просто улицу. Бьюсь об заклад,
ты готов позавидовать. Ибо незримость
входит в моду с годами – как тела уступка душе,
как намек на грядущее, как маскхалат
Рая, как затянувшийся минус.
Ибо все в барыше
от отсутствия, от
бестелесности: горы и доли,
медный маятник, сильно привыкший к часам,
Бог, смотрящий на все это дело с высот,
зеркала, коридоры,
соглядатай, ты сам.

XV

Призрак бродит бесцельно по Каунасу. Он
суть твое прибавление к воздуху мысли
обо мне,
суть пространство в квадрате, а не
энергичная проповедь лучших времен.
Не завидуй. Причисли

привиденье к родне,
к свойствам воздуха – так же, как мелкий петит,
рассыпаемый в сумраке речью картавой,
вроде цокота мух,
неспособный, поди, утолить аппетит
новой Клио, одетой заставой,
но ласкающий слух
обнаженной Урании.
Только она,
Муза точки в пространстве и Муза утраты
очертаний, как скарред – гроши,
в состояньи сполна
оценить постоянство: как форму расплаты
за движение – души.

XVI

Вот откуда пера,
Томас, к буквам привязанность.
Вот чем
объясняться должно тяготенье, не так ли?
Скрепя
сердце, с хриплым «пора!»
отрывая себя от родных заболоченных вотчин,
что скрывать – от тебя!
от страницы, от букв,
от – сказать ли! – любви
звука к смыслу, бесплотности – к массе
и свободы к – прости
и лица не криви -
к рабству, данному в мясе,

во плоти, на кости,
эта вещь воспаряет в чернильный ночной эмпирей
мимо дремлющих в нише
местных ангелов:
выше
их и нетопырей.

XVII

Муза точки в пространстве! Вещей, различаемых лишь
в телескоп! Вычитанья
без остатка! Нуля!
Ты, кто горлу велишь
избегать причитанья
превышения «ля»
и советуешь сдержанность! Муза, прими
эту арию следствия, петую в ухо причине,
то есть песнь двойнику,
и взгляни на нее и ее до-ре-ми
там, в разреженном чине,
у себя наверху
с точки зрения воздуха.
Воздух и есть эпилог
для сетчатки – поскольку он необитаем.
Он суть наше «домой»,
восвояси вернувшийся слог.
Сколько жаброй его ни хватаем,
он успешно латаем
светом взапуски с тьмой.

XVIII

У всего есть предел:

горизонт – у зрачка, у отчаянья – память,
для роста -
расширение плеч.

Только звук отделяться способен от тел,
вроде призрака, Томас.

Сиротство

звука, Томас, есть речь!

Оттолкнув абажур,
глядя прямо перед собою,

видишь воздух:

анфас

сонмы тех,

кто губою

наследил в нем

до нас.

XIX

В царстве воздуха! В равенстве слога глотку
кислорода. В прозрачных и сбившихся в облак
наших выдохах. В том
мире, где, точно сны к потолку,
к небу льнут наши «о!», где звезда обретает свой облик,
продиктованный ртом.

Вот чем дышит вселенная. Вот

что петух кукарекал,

упреждая гортани великую сушь!

Воздух – вещь языка.

Небосвод -

хор согласных и гласных молекул,

в просторечии – душ.

XX

Оттого-то он чист.

Нет на свете вещей, безупречней

(кроме смерти самой)

отбеляющих лист.

Чем белее, тем бесчеловечней.

Муза, можно домой?

Восвояси! В тот край,

где бездумный Борей попирает беспечно трофеи

уст. В грамматику без

препинания. В рай

алфавита, трахеи.

В твой безликий ликбез.

XXI

Над холмами Литвы

что-то вроде мольбы за весь мир

раздается в потемках: бубнящий, глухой, невеселый

звук плывет над селеньями в сторону Куршской Косы.

То Святой Казимир

с Чудотворным Николой

коротают часы

в ожидании зимней зари.

За пределами веры,

из своей стратосферы,

Муза, с ними призри

на певца тех равнин, в рукотворную тьму

погруженных по кровлю,

на певца усмиренных пейзажей.

Обнеси своей стражей

дом и сердце ему.

1974

На смерть друга

Имяреку, тебе, – потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, – от меня, анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса -
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где наощупь и слух наколол ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфodelей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей -
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,

вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чья застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

1973

Война в убежище Киприды

Смерть поступает в виде пули из
магнолиевых зарослей, попарно.
Взрыв выглядит как временная пальма,
которую раскачивает бриз.

Пустая вилла. Треснувший фронтон
со сценами античной рукопашной.
Пылает в море новый Фаэтон,
с гораздо меньшим грохотом упавший.

И в позах для рекламного плаката
на гальке, раскаленной добела,
маячат неподвижные тела,
оставшись загорать после заката.

21 июля 1974

«Барбизон Террас»

Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне.

Постояльцы храпят, не снимая на ночь

черных очков, чтоб не видеть снов.

Портье с плечами тяжелоатлета

листает книгу жильцов, любуясь

внутренностями Троянского подержанного коня.

Шелест кизилового куста

оглушает сидящего на веранде

человека в коричневом. Кровь в висках

стучит, как не принятое никем

и вернувшееся восвояси морзе.

Небо похоже на столпотворение генералов.

Если когда-нибудь позабудешь

сумму углов треугольника или площадь

в заколдованном круге, вернись сюда:

амальгама зеркала в ванной прячет

сильно сдобренный милой кириллицей волапюк

и совершенно секретную мысль о смерти.

1974

20 сонетов к Марии Стюарт

I

Мари, шотландцы все-таки скоты.

В каком колене клетчатого клана
предвиделось, что двинешься с экрана
и оживишь, как статуя, сады?

И Люксембургский, в частности? Сюды
забрел я как-то после ресторана
взглянуть глазами старого барана
на новые ворота и пруды.

Где встретил Вас. И в силу этой встречи,
и так как "все бывшее ожило
в отжившем сердце", в старое жерло
вложив заряд классической картечи,
я трачу, что осталось в русской речи
на Ваш анфас и матовые плечи.

II

В конце большой войны не на живот,
когда что было, жарили без сала,
Мари, я видел мальчиком, как Сара
Леандр шла топ-топ на эшафот.

Меч палача, как ты бы не сказала,
приравнивает к полу небосвод
(см. светило, вставшее из вод).

Мы вышли все на свет из кинозала,
но нечто нас в час сумерек зовет

назад, в «Спартак», в чьей плюшевой утробе
приятнее, чем вечером в Европе.
Там снимки звезд, там главная – брюнет,
там две картины, очередь на обе.
И лишнего билета нет.

III

Земной свой путь пройдя до середины,
я, заявившись в Люксембургский сад,
смотрю на затвердевшие седины
мыслителей, письменников; и взад-
вперед гуляют дамы, господины,
жандарм синеет в зелени, усат,
фонтан мурлычит, дети голосят,
и обратиться не к кому с «иди на».
И ты, Мари, не покладая рук,
стоишь в гирлянде каменных подруг -
французских королев во время оно -
безмолвно, с воробьем на голове.
Сад выглядит, как помесь Пантеона
со знаменитой «Завтрак на траве».

IV

Красавица, которую я позже

любил сильней, чем Босуэла – ты,
с тобой имела общие черты
(шепчу автоматически «о, Боже»,
их вспоминая) внешние. Мы тоже
счастливой не составили четы.
Она ушла куда-то в макинтоше.
Во избежанье роковой черты,
я пересек другую – горизонта,
чье лезвие, Мари, острей ножа.
Над этой вещью голову держа,
не кислорода ради, но азота,
бурлящего в раздувшемся зобу,
гортань... того... благодарит судьбу.

V

Число твоих любовников, Мари,
превысило собою цифру три,
четыре, десять, двадцать, двадцать пять.
Нет для короны большего урона,
чем с кем-нибудь случайно переспать.
(Вот почему обречена корона;
республика же может устоять,
как некая античная колонна).
И с этой точки зренья ни на пядь
не сдвинете шотландского барона.
Твоим шотландцам было не понять,
чем койка отличается от трона.

В своем столетьи белая ворона,
для современников была ты блядь.

VI

Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги,
Все разлетелось к черту, на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее, виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! все не по-людски!
Я Вас любил так сильно, безнадежно,
как дай Вам бог другими – – – но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит – по Пармениду – дважды
сей жар в груди, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавилась от жажды
коснуться – «бюст» зачеркиваю – уст!

VII

Париж не изменился. Плас де Вож
по-прежнему, скажу тебе, квадратна.
Река не потекла еще обратно.
Бульвар Распай по-прежнему пригож.

Из нового – концерты за бесплатно
и башня, чтоб почувствовать – ты вошь.
Есть многие, с кем свидеться приятно,
но первым прокричавши «как живешь?»

В Париже, ночью, в ресторане... Шик
подобной фразы – праздник носоглотки.
И входит айне кляйне нахт мужик,
внося мордovorот в кoсоворотке.
Кафе. Бульвар. Подруга на плече.
Луна, что твой генсек в параличе.

VIII

На склоне лет, в стране за океаном
(открытой, как я думаю, при Вас),
деля помятый свой иконостас
меж печкой и продавленным диваном,
я думаю, сведи удача нас,
понадобились вряд ли бы слова нам:
ты просто бы звала меня Иваном,
и я бы отвечал тебе «Alas».
Шотландия нам стлала бы матрас.
Я б гордым показал тебя славянам.
В порт Глазго, караван за караваном,
пошли бы лапти, пряники, атлас.
Мы встретили бы вместе смертный час.

Топор бы оказался деревянным.

IX

Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг
сражения. «Ты кто такой?» – «А сам ты?»
«Я кто такой?» – «Да, ты». – «Мы протестанты».
«А мы – католики». – «Ах, вот как!» Хряск!
Потом везде валяются останки.
Шум нескончаемых вороньих дрязг.
Потом – зима, узорчатые санки,
примерка шали: «Где это – Дамаск?»
«Там, где самец-павлин прекрасней самки».
«Но даже там он не проходит в дамки»
(за шашками – передохнув от ласк).
Ночь в небольшом по-голливудски замке.

Опять равнина. Полночь. Входят двое.
И все сливается в их волчьем вое.

X

Осенний вечер. Якобы с Каменной.
Увы, не поднимающей чела.
Не в первый раз. В такие вечера

все в радость, даже хор краснознаменный.
Сегодня, превращаясь во вчера,
себя не утруждает переменной
пера, бумаги, жижицы пельменной,
изделия хромого бочара
из Гамбурга. К подержанным вещам,
имеющим царапины и пятна,
у времени чуть больше, вероятно,
доверия, чем к свежим овощам.
Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете
в посадском, молью траченом жакете.

XI

Лязг ножниц, ощущение озноба.
Рок, жадный до каракуля с овцы,
что брачные, что царские венцы
снимает с нас. И головы особо.
Прощай, юнцы, их гордые отцы,
разводы, клятвы верности до гроба.
Мозг чувствует, как башня небоскреба,
в которой не общаются жильцы.
Так пьянствуют в Сиаме близнецы,
где пьет один, забуревают – оба.
Никто не прокричал тебе «Атас!»
И ты не знала «я одна, а вас...»,
глуша латынью потолок и Бога,
увы, Мари, как выговорить «много».

XII

Что делает Историю? – Тела.

Искусство? – Обезглавленное тело.

Взять Шиллера: Истории влетело

от Шиллера. Мари, ты не ждала,

что немец, закусивши удила,

поднимет старое, по сути, дело:

ему-то вообще какое дело,

кому дала ты или не дала?

Но, может, как любая немчура,

наш Фридрих сам страшился топора.

А во-вторых, скажу тебе, на свете

ничем (вообрази это), опричь

Искусства, твои стати не постичь.

Историю отдай Елизавете.

XIII

Баран трясет кудряшками (они же

– руно), вдыхая запахи травы.

Вокруг Гленкорны, Дугласы и иже.

В тот день их речи были таковы:

«Ей отрубили голову. Увы».

«Представьте, как рассердятся в Париже».

"Французы? Из-за чьей-то головы?

Вот если бы ей тянули пониже..."

«Так не мужик ведь. Вышла в неглиже».

«Ну, это, как хотите, не основа...»

«Бесстыдство! Как просвечивала жэ!»

«Что ж, платья, может, не было иного».

"Да, русским лучше; взять хоть Иванова:

звучит как баба в каждом падеже".

XIV

Любовь сильней разлуки, но разлука

длинней любви. Чем статнее гранит,

тем явственней отсутствие ланит

и прочего. Плюс запаха и звука.

Пусть ног тебе не вскидывать в зенит:

на то и камень (это ли не мука?),

но то, что страсть, как Шива шестирука,

бессильна – юбку, он не извинит.

Не от того, что столько утекло

воды и крови (если б голубая!),

но от тоски расстегиваться врозь

воздвиг бы я не камень, но стекло,

Мари, как воплощение гудбая

и взгляда, проникающего сквозь.

XV

Не то тебя, скажу тебе, сгубило,
Мари, что женихи твои в бою
поднять не звали плотников стропила;
не «ты» и «вы», смешавшиеся в "ю";
не чьи-то симпатичные чернила;
не то, что – за печатями семью -
Елизавета Англию любила
сильней, чем ты Шотландию свою
(замечу в скобках, так оно и было);
не песня та, что пела соловью
испанскому ты в камере уныло.
Они тебе заделали свинью
за то, чему не видели конца
в те времена: за красоту лица.

XVI

Тьма скрадывает, сказано, углы.
Квадрат, возможно, делается шаром,
и, на ночь глядя залитым пожаром,
багровый лес незримому курлы
беззвучно внемлет порами коры;

лай сеттера, встревоженного шалым
сухим листом, возносится к стожарам,
смотрящим на озимые бугры.

Немногое, чем блазнилась слеза,
сумело уцелеть от перехода
в сень пережня. Вечному перу
из всех вещей, бросавшихся в глаза,
осталось следовать за временами года,
петь на голос «Унылую Пору».

XVII

То, что исторгло изумленный крик
из аглицкого рта, что к мату
склоняет падкий на помаду
мой собственный, что отвернуть на миг
Филиппа от портрета лик
заставило и снарядить Армаду,
то было — — — не могу тираду
закончить — — — в общем, твой парик,
упавший с головы упавшей
(дурная бесконечность), он,
твой суть единственный поклон,
пускай не вызвал рукопашной
меж зрителей, но был таков,
что поднял на ноги врагов.

XVIII

Для рта, проговорившего «прощай»
тебе, а не кому-нибудь, не все ли
одно, какое хлебово без соли
разжевывать впоследствии. Ты, чай,
привычная к не-доремифасоли.
А если что не так – не осерчай:
язык, что крыса, копошится в соре,
выискивает что-то невзначай.

Прости меня, прелестный истукан.
Да, у разлуки все-таки не дура
губа (хоть часто кажется – дыра):
меж нами – вечность, также – океан.
Причем, буквально. Русская цензура.
Могли бы обойтись без топора.

XIX

Мари, теперь в Шотландии есть шерсть
(все выглядит как новое из чистки).
Жизнь бег свой останавливает в шесть,
на солнечном не сказываясь диске.

В озерах – и по-прежнему им несть
числа – явились монстры (василиски).
И скоро будет собственная нефть,
шотландская, в бутылках из-под виски.
Шотландия, как видишь, обошлась.
И Англия, мне думается, тоже.
И ты в саду французском непохожа
на ту, с ума сводившую вчерась.
И дамы есть, чтоб предпочесть тебе их,
но непохожие на вас обеих.

XX

Пером простым – неправда, что мятежным!

я пел про встречу в некоем саду
с той, кто меня в сорок восьмом году
с экрана обучала чувствам нежным.

Предоставляю вашему суду:

- а) был ли он учеником прилежным,
- б) новую для русского среду,
- с) слабость к окончаниям падежным.

В Непале есть столица Катманду.

Случайное, являясь неизбежным,
приносит пользу всякому труду.

Ведя ту жизнь, которую веду,
я благодарен бывшим белоснежным
листам бумаги, свернутым в дуду.

1974

Над восточной рекой

Боясь расплескать, проношу головную боль
в сером свете зимнего полдня вдоль
оловянной реки, уносящей грязь к океану,
разделившему нас с тем размахом, который глаз
убеждает в мелочных свойствах масс.
Как заметил гном великану.

В на попа поставленном царстве, где мощь крупиц
выражается дробью подметок и взглядом ниц,
испытующим прочность гравия в Новом Свете,
все, что помнит твердое тело pro
vita sua – чужого бедра тепло
да сухой букет на буфете.

Автостадо гремит; и глотает свой кислород,
схожий с локтем на вкус, углекислый рот;
свет лежит на зрачке, точно пыль на свечном огарке.
Голова болит, голова болит.

Ветер волосы шевелит
на больной голове моей в буром парке.

1974

На смерть Жукова

Вижу колонны замерших звуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же, прими их – жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и, военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.

1974

* * *

Песчаные холмы, поросшие сосной.
Здесь сыро осенью и пасмурно весной.
Здесь море треплет на ветру оборки
свои бесцветные, да из соседских дач
порой послышится то детский плач,
то взвизгнет Лемешев из-под плохой иголки.

Полынь на отмели и тростника гнилье.
К штакетнику выходит снять белье

мать-одиночка. Слышен скрип уключин:
то пасынок природы, хмурый финн,
плывет извлечь свой невод из глубин,
но невод этот пуст и перекручен.

Тут чайка снизится, там промелькнет баклан.
То алюминиевый аэроплан,
уместный более среди облаков, чем птица,
стремится к северу, где бьет баклуши швед,
как губка некая, вбирая серый цвет,
и пресным воздухом не тяготится.

Здесь горизонту придают черты
своей доступности безлюдные форты.
Здесь блеклый парус одинокой яхты,
чертя прозрачную вдали лазурь,
вам не покажется питомцем бурь,
но – заболоченного устья Лахты.

И глаз, привыкший к уменьшенью тел
на расстоянии, иной предел
здесь обретает – где вообще о теле
речь не заходит, где утрат не жаль:
затем что большую предполагает даль
потеря из виду, чем вид потери.

Когда умру, пускай меня сюда
перенесут. Я никому вреда
не причиню, в песке прибрежном лежа.
Объятий ласковых, тугих клешней
равно бежавшему не отыскать нежней,
застираннее и безгрешней ложа.

1974

Темза в Челси

I

Ноябрь. Светило, поднявшееся натошак,
замирает на банке соды в стекле аптеки.
Ветер находит преграду во всех вещах:
в трубах, в деревьях, в движущемся человеке.
Чайки бдят на оградах, что-то клюют жида;
неколесный транспорт ползет по Темзе,
как по серой дороге, извивающейся без нужды.
Томас Мор взирает на правый берег с тем же
вождедением, что прежде, и напрягает мозг.
Тусклый взгляд из себя прочней, чем железный мост
принца Альберта; и, говоря по чести,
это лучший способ покинуть Челси.

II

Бесконечная улица, делая резкий крюк,
выбегает к реке, кончаясь железной стрелкой.
Тело сыплет шаги на землю из мятых брюк,
и деревья стоят, словно в очереди за мелкой
осетриной волн; это все, на что

Темза способна по части рыбы.

Местный дождь затмевает трубу Агриппы.

Человек, способный взглянуть на сто
лет вперед, узреет побуревший портик,
который вывеска «бар» не портит,
вереницу барж, ансамбль водосточных флейт,
автобус у галереи Тэйт.

III

Город Лондон прекрасен, особенно в дождь. Ни жезль
для него не преграда, ни кепка или корона.

Лишь у тех, кто зонты производит, есть
в этом климате шансы захвата трона.

Серым днем, когда вашей спины настичь
даже тень не в силах и на исходе деньги,
в городе, где, как ни темней кирпич,
молоко будет вечно белеть на сырой ступеньке,
можно, глядя в газету, столкнуться со
статьей о прохожем, попавшим под колесо;
и только найдя абзац о том, как скорбит родня,
с облегченьем подумать: это не про меня.

IV

Эти слова мне диктовала не
любовь и не Муза, но потерявший скорость
звук пыливый, бесцветный голос;
я отвечал, лежа лицом к стене.

«Как ты жил в эти годы?» – "Как буква "г" в «ого».

«Опиши свои чувства». – «Смуцался дороговизне».

«Что ты любишь на свете сильнее всего?» -

«Реки и улицы – длинные вещи жизни».

«Вспоминаешь о прошлом?» – "Помню, была зима.

Я катался на санках, меня продуло".

«Ты боишься смерти?» – "Нет, это та же тьма;
но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула".

V

Воздух живет той жизнью, которой нам не дано
уразуметь – живет своей голубою,
ветреной жизнью, начинаясь над головою
и нигде не кончаясь. Взглянув в окно,
видишь шпиль и трубы, кровлю, ее свинец;
это – начало большого сырого мира,
где мостовая, которая нас вскормила,
собой представляет его конец
преждевременный... Брезжит рассвет, проезжает почта.
Больше не во что верить, опричь того, что
покуда есть правый берег у Темзы, есть
левый берег у Темзы. Это – благая весть.

VI

Город Лондон прекрасен, в нем всюду идут часы.
Сердце может только отстать от Большого Бена.
Темза катится к морю, разбухшая, точно вена,
и буксиры в Челси дерут басы.
Город Лондон прекрасен. Если не ввысь, то вширь
он раскинулся вниз по реке как нельзя безбрежной.
И когда в нем спишь, номера телефонов прежней
и бегущей жизни, слившись, дают цифирь
астрономической масти. И палец, вращая диск

зимней луны, обретает бесцветный писк
«занято»; и этот звук во много
раз неизбежней, чем голос Бога.

1974

Колыбельная Трескового Мыса [68]

А. Б.

I
Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикады
умолкают в траве газонов. Классические цитаты
на фронтонах неразличимы. Шпиль с крестом безучастно
чернеет, словно бутылка, забытая на столе.
Из патрульной машины, лоснящейся на пустыре,
звякают клавиши Рэя Чарльза.

Выползая из недр океана, краб на пустынном пляже
зарывается в мокрый песок с кольцами мыльной пряжи,
дабы остынуть, и засыпает. Часы на кирпичной башне
лязгают ножницами. Пот катится по лицу.
Фонари в конце улицы, точно пуговицы у
расстегнутой на груди рубашки.

Духота. Светофор мигает, глаз превращая в средство
передвиженья по комнате к тумбочке с виски. Сердце
замирает на время, но все-таки бьется: кровь,
поблуждав по артериям, возвращается к перекрестку.

Тело похоже на свернутую в рулон трехверстку,
и на севере поднимают бровь.

Странно думать, что выжил, но это случилось. Пыль
покрывает квадратные вещи. Проезжающий автомобиль
продлевает пространство за угол, мстя Эвклиду.
Темнота извиняет отсутствие лиц, голосов и проч.,
превращая их не столько в бежавших прочь,
как в пропавших из виду.

Духота. Сильный шорох набрякших листьев, от
какового еще сильнее выступает пот.
То, что кажется точкой во тьме, может быть лишь одним – звездой.
Птица, утратившая гнездо, яйцо
на пустой баскетбольной площадке кладет в кольцо.
Пахнет мятой и резедой.

II

Как бессчетным женам гарема всеильный Шах
изменить может только с другим гаремом,
я сменил империю. Этот шаг
продиктован был тем, что несло горелым
с четырех сторон – хоть живот крести;
с точки зренья ворон, с пяти.

Дуя в полулю дудку, что твой факир,
я прошел сквозь строй янычар в зеленом,

чуя яйцами холод их злых секир,
как при входе в воду. И вот, с соленым
вкусом этой воды во рту,
я пересек черту

и поплыл сквозь баранину туч. Внизу
извивались реки, пылили дороги, желтели риги.
Супротив друг друга стояли, топча росу,
точно длинные строчки еще не закрытой книги,
армии, занятые игрой,
и чернели икрой

города. А после сгустился мрак.
Все погасло. Гудела турбина, и ныло темя.
И пространство пятилось, точно рак,
пропуская время вперед. И время
шло на запад, точно к себе домой,
выпачкав платье тьмой.

Я заснул. Когда я открыл глаза,
север был там, где у пчелки жало.
Я увидел новые небеса
и такую же землю. Она лежала,
как это делает отродясь
плоская вещь: пылясь.

Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже
одиночество. Кожа спины благодарна коже
спинки кресла за чувство прохлады. Вдали рука на
подлокотнике деревенеет. Дубовый лоск
покрывает костяшки суставов. Мозг
бьется, как льдинка о край стакана.

Духота. На ступеньках закрытой биллиардной некто
вырывает из мрака свое лицо пожилого негра,
чиркая спичкой. Белозубая колоннада
Окружного Суда, выходящая на бульвар,
в ожидании вспышки случайных фар
утопает в пышной листве. И надо

всем пылают во тьме, как на празднике Валтасара,
письмена «Кока-колы». В заросшем саду курзала
тихо журчит фонтан. Изредка вялый бриз,
не сумевши извлечь из прутьев простой рулады,
шебуршит газетой в литье ограды,
сооруженной, бесспорно, из

спинок старых кроватей. Духота. Опирающийся на ружье,
Неизвестный Союзный Солдат делается еще
более неизвестным. Траулер трется ржавой
переносицей о бетонный причал. Жужжа,
вентилятор хватает горячий воздух США
металлической жаброй.

Как число в уме, на песке оставляя след,
океан громоздится во тьме, миллионы лет
мертвой зыбью баюкая щепку. И если резко
шагнуть с дебаркадера вбок, вовне,
будешь долго падать, руки по швам; но не
воспоследует всплеска.

IV

Перемена империи связана с гулом слов,
с выделением слюны в результате речи,
с лобачевской суммой чужих углов,
с возрастанием исподволь шансов встречи
параллельных линий (обычной на
полюсе). И она,

перемена, связана с колкой дров,
с превращением мятой сырой изнанки
жизни в сухой платяной покров
(в стужу – из твида, в жару – из нанки),
с затвердевающим под орех
мозгом. Вообще из всех

внутренностей только одни глаза
сохраняют свою студенистость. Ибо
перемена империи связана с взглядом за
море (затем, что внутри нас рыба

дремлет); с фактом, что ваш пробор,
как при взгляде в упор

в зеркало, влево сместился... С больной десной
и с изжогой, вызванной новой пищей.

С сильной матовой белизной
в мыслях – суть отраженьем писчей
гладкой бумаги. И здесь перо
рвется поведать про

сходство. Ибо у вас в руках
то же перо, что и прежде. В рощах
те же растения. В облаках
тот же гудящий бомбардировщик,
летающий неведомо что бомбить.
И сильно хочется пить.

V

В городках Новой Англии, точно вышедших из прибоя,
вдоль всего побережья, поблескивая рябою
чешуей черепицы и дранки, уснувшими косяками
стоят в темноте дома, угодивши в сеть
континента, который открыли сельдь
и треска. Ни треска, ни

сельдь, однако же, тут не сподобились гордых статуй,
невзирая на то, что было бы проще с датой.

Что касается местного флага, то он украшен
тоже не ими и в темноте похож,
как сказал бы Салливен, на чертеж
в тучи заданных башен.

Духота. Человек на веранде с обмотанным полотенцем
горлом. Ночной мотылек всем незавидным тельцем,
ударяясь в железную сетку, отскакивает, точно пуля,
посланная природой из невидимого куста
в самое себя, чтоб выбить одно из ста
в середине июля.

Потому что часы продолжают идти непрерывно, боль
затухает с годами. Если время играет роль
панацеи, то в силу того, что не терпит спешки,
ставши формой бессоницы: пробираясь пешком и вплавь,
в полушарьи орла сны содержат дурную явь
полушария решки.

Духота. Неподвижность огромных растений, далекий лай.
Голова, покачнувшись, удерживает на край
памяти сползшие номера телефонов, лица.
В настоящих трагедиях, где занавес – часть плаща,
умирает не гордый герой, но, по швам треща
от износу, кулиса.

Потому что поздно сказать «прощай»
и услышать что-либо в ответ, помимо
эха, звучащего как «на чай»
времени и пространству, мнимо
величавым и возводящим в куб
все, что сорвется с губ,

я пишу эти строки, стремясь рукой,
их выводящей почти вслепую,
на секунду опередить «на кой?»,
с оных готовое губ в любую
минуту слететь и поплыть сквозь ночь,
увеличиваясь и проч.

Я пишу из Империи, чьи края
опускаются в воду. Снявши пробу с
двух океанов и континентов, я
чувствую то же почти, что глобус.
То есть дальше некуда. Дальше – ряд
звезд. И они горят.

Лучше взглянуть в телескоп туда,
где присохла к изнанке листа улитка.
Говоря «бесконечность», в виду всегда
я имел искусство деленья литра
без остатка на три при свете звезд,
а не избыток верст.

Ночь. В парвеноне хрипит «ку-ку».
Легионы стоят, прислонясь к когортам,
форумы – к циркам. Луна вверху,
как пропавший мяч над безлюдным кортом.
Голый паркет – как мечта ферзя.
Без мебели жить нельзя.

VII

Только затканый сплошь паутиной угол имеет право
именоваться прямым. Только услышав «браво»,
с полу встает актер. Только найдя опору,
тело способно поднять вселенную на рога.
Только то тело движется, чья нога
перпендикулярна полу.

Духота. Толчая тараканов в амфитеатре тусклой
цинковой раковины перед бесцветной тушей
высохшей губки. Поворачивая корону,
медный кран, словно цезарево чело,
низвергает на них не щадящую ничего
водяную колонну.

Пузырьки на стенках стакана похожи на слезы сыра.
Несомненно, прозрачной вещи присуща сила
тяготения вниз, как и плотной инертной массе.
Даже девять-восемьдесят одна, журча,

преломляет себя на манер луча
в человеческом мясе.

Только груда белых тарелок выглядит на плите,
как упавшая пагода в профиль. И только те
вещи чтимы пространством, чьи черты повторимы: розы.
Если видишь одну, видишь немедля две:
насекомые ползают, в алой жужжа ботве, -
пчелы, осы, стрекозы.

Духота. Даже тень на стене, уж на что слаба,
повторяет движенье руки, утирающей пот со лба.
Запах старого тела острее, чем его очертанья. Трезвость
мысли снижается. Мозг в суповой кости
тает. И некому навести
взгляда на резкость.

VIII

Сохрани на холодные времена
эти слова, на времена тревоги!
Человек выживает, как фиш на песке: она
уползает в кусты и, встав на кривые ноги,
уходит, как от пера – строка,
в недра материка.

Есть крылатые львы, женогрудые сфинксы. Плюс
ангелы в белом и нимфы моря.

Для того, на чьи плечи ложится груз
темноты, жары и – сказать ли – горя,
они разбегающихся милей
от брошенных слов нулей.

Даже то пространство, где негде сесть,
как звезда в эфире, приходит в ветхость.
Но пока существует обувь, есть
то, где можно стоять, поверхность,
суша. И внемлют ее пески
тихой песне трески:

"Время больше пространства. Пространство – вещь.
Время же, в сущности, мысль о вещи.
Жизнь – форма времени. Карп и лещ -
сгустки его. И товар похлеще -
сгустки. Включая волну и твердь
суши. Включая смерть.

Иногда в том хаосе, в свалке дней,
возникает звук, раздаётся слово.
То ли «любить», то ли просто «эй».
Но пока разобрать успеваю, снова
все сменяется рябью слепых полос,
как от твоих волос".

IX

Человек размышляет о собственной жизни, как ночь о лампе.

Мысль выходит в определенный момент за рамки
одного из двух полушарий мозга
и сползает, как одеяло, прочь,
обнажая неведомо что, точно локоть; ночь,
безусловно, громоздка,

но не столь бесконечна, чтоб точно хватить на оба.

Понемногу африка мозга, его европа,
азия мозга, а также другие капли
в обитаемом море, осью скрипя сухой,
обращаются мятой своей щекой
к элекрической цапле.

Чу, смотри: Алладин произносит «сезам» – перед ним золотая груда,
Цезарь бродит по спящему форуму, кличет Брута,
соловей говорит о любви богдыхану в беседке; в круге
лампы дева качает ногой колыбель; нагой
папуас отбивает одной ногой
на песке буги-вуги.

Духота. Так спросонья озябшим коленом пиная мрак,
понимаешь внезапно в постели, что это – брак:
что за тридевять с лишним земель повернулось на бок
тело, с которым давным-давно
только и общего есть, что дно
океана и навык

наготы. Но при этом – не встать вдвоем.
Потому что пока там – светло, в твоём
полушарьи темно. Так сказать, одного светила
не хватает для двух заурядных тел.
То есть глобус склеен, как Бог хотел.
И его не хватило.

Х

Опуская веки, я вижу край
ткани и локоть в момент изгиба.
Местность, где я нахожусь, есть рай,
ибо рай – это место бессилья. Ибо
это одна из таких планет,
где перспективы нет.

Тронь своим пальцем конец пера,
угол стола: ты увидишь, это
вызовет боль. Там, где вещь остра,
там и находится рай предмета;
рай, достижимый при жизни лишь
тем, что вещь не продлишь.

Местность, где я нахожусь, есть пик
как бы горы. Дальше – воздух, Хронос.
Сохрани эту речь; ибо рай – тупик.
Мыс, вдающийся в море. Конус.

Нос железного корабля.

Но не крикнуть «Земля!».

Можно сказать лишь, который час.

Это сказав, за движеньем стрелки

тут остается следить. И глаз

тонет беззвучно в лице тарелки,

ибо часы, чтоб в раю уют

не нарушать, не бьют.

То, чего нету, умножь на два:

в сумме получишь идею места.

Впрочем, поскольку они – слова,

цифры тут значат не больше жеста,

в воздухе тающего без следа,

словно кусочек льда.

XI

От великих вещей остаются слова языка, свобода

в очертаньях деревьев, цепкие цифры года;

также – тело в виду океана в бумажной шляпе.

Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме:

на его лице, у него в уме

ничего, кроме ряби.

Состоя из любви, грязных снов, страха смерти, праха,

осязая хрупкость кости, уязвимость паха,

тело служит в виду океана цедящей семя
крайней плотью пространства: слезой скулу серебря,
человек есть конец самого себя
и вдается во Время.

Восточный конец Империи погружается в ночь – по горло.

Пара раковин внемлет улиткам его глагола:

то есть слышит собственный голос. Это

развивает связки, но гасит взгляд.

Ибо в чистом времени нет преград,

порождающих эхо.

Духота. Только если, вздохнувши, лечь
на спину, можно направить сухую речь
вверх – в направленьи исконно немых губерний.

Только мысль о себе и о большой стране

вас бросает в ночи от стены к стене,

на манер колыбельной.

Спи спокойно поэтому. Спи. В этом смысле – спи.

Спи, как спят только те, кто сделал свое пи-пи.

Страны путают карты, привыкнув к чужим широтам.

И не спрашивай, если скрипнет дверь,

«Кто там?» – и никогда не верь

отвечающим, кто там.

XII

Дверь скрипит. На пороге стоит треска.

Просит пить, естественно, ради Бога.

Не отпустишь прохожего без куска.

И дорогу покажешь ему. Дорога

извивается. Рыба уходит прочь.

Но другая, точь-в-точь

как ушедшая, пробует дверь носком.

(Меж собой две рыбы, что два стакана).

И всю ночь идут они косяком.

Но живущий около океана

знает, как спать, приглушив в ушах

мерный тресковый шаг.

Спи. Земля не кругла. Она

просто длинна: бугорки, лоцины.

А длинней земли – океан: волна

набегает порой, как на лоб морщины,

на песок. А земли и волны длинней

лишь вереница дней.

И ночей. А дальше – туман густой:

рай, где есть ангелы, ад, где черти.

Но длинней стократ вереницы той

мысли о жизни и мысль о смерти.

Этой последней длинней в сто раз

мысль о Ничто; но глаз

вряд ли проникнет туда, и сам
закрывается, чтобы увидеть вещи.
Только так – во сне – и дано глазам
к вещи привыкнуть. И сны те вещи
или зловещи – смотря кто спит.
И дверью треска скрипит.

1975

Гуернавака

Октавио Пасу

В саду, где М., французский протеже,
имел красавицу густой индейской крови,
сидит певец, прибывший издаля.
Сад густ, как тесно набранное "Ж".
Летает дрозд, как сросшиеся брови.
Вечерний воздух звонче хрусталя.

Хрусталь, заметим походя, разбит.
М. был здесь императором три года.
Он ввел хрусталь, шампанское, балы.
Такие вещи скрашивают быт.
Затем республиканская пехота
М. расстреляла. Грустное курлы

доносится из плотной синевы.

Селяне околачивают груши.

Три белых утки плавают в пруду.

Слух различает в ропоте листвы
жаргон, которым пользуются души,
общаясь в переполненном Аду.

Отбросим пальмы. Выделив платан,
представим М., когда перо отбросив,
он скидывает шелковый шлафрок
и думает, что делает братан
(и тоже император) Франц-Иосиф,
насвистывая с грустью «Мой сурок».

"С приветом к вам из Мексики. Жена
сошла с ума в Париже. За стеною
дворца стрельба, пылают петухи.
Столица, милый брат, окружена
повстанцами. И мой сурок со мною.
И гочкис популярнее сохи.

И то сказать, третичный известняк
известен как отчаянная почва.
Плюс экваториальная жара.
Здесь пуля есть естественный сквозняк.
Так чувствуют и легкие, и почка.

Потею, и слезает кожура.

Опричь того, мне хочется домой.

Скучаю по отеческим трущобам.

Пошлите альманахов и поэм.

Меня убьют здесь, видимо. И мой
сурок со мною, стало быть. Еще вам
моя мулатка кланяется. М".

Конец июля прячется в дожди,
как собеседник в собственные мысли.
Что, впрочем, вас не трогает в стране,
где меньше впереди, чем позади.
Бренчит гитара. Улицы раскисли.
Прохожий тонет в желтой пелене.

Включая пруд, все сильно заросло.
Кишат ужи и ящерицы. В кронах
клубятся птицы с яйцами и без.
Что губит все династии – число
наследников при недостатке в тронах.
И наступают выборы и лес.

М. не узнал бы местности. Из ниш
исчезли бюсты, портики пожухли,
стена осела деснами в овраг.

Насытишь взгляд, но мысль не удлинишь.

Сады и парки переходят в джунгли.

И с губ срывается невольно: рак.

1975

1867

В ночном саду под гроздью зреющего манго

Максимильян танцует то, что станет танго.

Тень воз – вращается подобьем бумеранга,
температура, как под мышкой, тридцать шесть.

Мелькает белая жилетная подкладка.

Мулатка тает от любви, как шоколадка,
в мужском объятии посапывая сладко.

Где надо – гладко, где надо – шерсть.

В ночной тиши под сенью девственного леса

Хуарец, действуя как двигатель прогресса,
забывшим начисто, как выглядят два песо,
пеонам новые винтовки выдает.

Затворы клацают; в расчерченной на клетки

Хуарец ведомости делает отметки.

И попугай весьма тропической расцветки
сидит на ветке и так поет:

Презренье к ближнему у нюхающих розы
пускай не лучше, но честней гражданской позы.
И то, и это порождает кровь и слезы.
Тем паче в тропиках у нас, где смерть, увы,

распространяется, как мухами – зараза,
иль как в кафе удачно брошенная фраза,
и где у черепа в кустах всегда три глаза,
и в каждом – пышный пучок травы.

1975

Мерида

Коричневый город. Веер
пальмы и черепица
старых построек.
С кафе начиная, вечер
входит в него. Садится
за пустующий столик.

В позлащенном лучами
ультрамарине неба
колокол, точно
кто-то бренчит ключами:
звук, исполненный неги

для бездомного. Точка

загорается рядом

с колокольной собора.

Видимо, Веспер.

Проводив его взглядом,

полным пусть не укора,

но сомнения, вечер

допивает свой кофе,

красящий его скулы.

Платит за эту

чашку. Шляпу на брови

надвинув, встает со стула,

складывает газету

и выходит. Пустая

улица провожает

длинную в черной

паре фигуру. Стая

теней его окружает.

Под навесом – никчемный

сброд: дурные манеры,

пятна, драные петли.

Он бросает устало:

"Господа офицеры.

Выступайте немедленно.

Время настало.

А теперь – врассыпную.

Вы, полковник, что значит
этот луковый запах?"

Он отвязывает вороную
лошадь. И скачет
дальше на запад.

1975

В отеле «Континенталь»

Победа Мондриана. За стеклом -
пир кубатуры. Воздух или выпит
под девяносто градусов углом,
иль щедро залит в параллелепипед.

В проем оконный вписано, бедро
красавицы – последнее оружие:
раскрыв халат, напоминает про
пускай не круг, хотя бы полукружье,
но сектор циферблата.

Говоря

насчет ацтеков, слава краснокожим
за честность вычесть из календаря
дни месяца, в которые «не можем»
в платоновой пещере, где на брата

приходится кусок пиэрквдрата.

1975

Мексиканский романсеро

Кактус, пальма, агава.

Солнце встает с Востока,

улыбаясь лукаво,

а приглядишь – жестоко.

Испепеленные скалы,

почва в мертвой коросте.

Череп в его оскале!

И в лучах его – кости!

С голой шеей, уродлив,

на телеграфном насесте

стервятник – как иероглиф

падали в буром тексте

автострады. Направо

пойдешь – там стоит агава.

Она же – налево. Прямо -

груда ржавого хлама.

—

Вечерний Мехико-Сити.

Лень и слепая сила

в нем смешаны, как в сосуде.

И жизнь течет, как текила.

Улицы, лица, фары.

Каждый второй – усатый.

На Авениде Реформы -

масса бронзовых статуй.

Подле каждой, на кромке

тротуара, с рукою

протянутой – по мексиканке

с грудным младенцем. Такою

фигурой – присохшим плачем -

и увенчать бы на деле

памятник Мексике. Впрочем,

и под ним бы сидели.

—

Сад громоздит листву и

не выдает нас зною.

(Я не знал, что существую,

пока ты была со мною.)

Площадь. Фонтан с рябою
нимфою. Скаты кровель.
(Покуда я был с тобою,
я видел все вещи в профиль.)

Райские кущи с адом
голосов за спиною.
(Кто был все время рядом,
пока ты была со мною?)

Ночь с багровой луною,
как сургуч на конверте.
(Пока ты была со мною,
я не боялся смерти.)

Вечерний Мехико-Сити.
Большая любовь к вокалу.
Бродячий оркестр в беседке
горланит «Гвадалахару».

Веселый Мехико-Сити.
Точно картина в раме,
но неизвестной кисти,
он окружен горами.

Вечерний Мехико-Сити.

Пляска веселых литер
кока-колы. В зените
реет ангел-хранитель.

Здесь это связано с риском
быть подстреленным сходу,
сделаться обелиском
и представлять Свободу.

—

Что-то внутри, похоже,
сорвалось и расколосось.
Произнося «О, Боже»,
слышу собственный голос.

Так страницу мараешь
ради мелкого чуда.
Так при этом взираешь
на себя ниоткуда.

Это, Отче, издержки
жанра (правильней – жара).
Сдача медная с решки
безвозмездного дара.

Как несхоже с мольбою!

Так, забыв рыболова,
рыба рваной губою
тщетно дергает слово.

Веселый Мехико-Сити.

Жизнь течет, как текила.

Вы в харчевне сидите.

Официантка забыла

о вас и вашем омлете,
заболтавшись с брюнетом.
Впрочем, как все на свете.
По крайней мере, на этом.

Ибо, смерти помимо,
все, что имеет дело
с пространством, – все заменимо.
И особенно тело.

И этот вам уготован
жеребий, как мясо с кровью.
В нищей стране никто вам
вслед не смотрит с любовью.

Стелющаяся полого
грунтовая дорога,
как пыльная форма бреда,
вас приводит в Ларедо.

С налитым кровью глазом
вы осядете наземь,
подломивши колени,
точно бык на арене.

Жизнь бессмысленна. Или
слишком длинна. Что в силе
речь о нехватке смысла
оставляет – как числа

в календаре настенном.
Что удобно растениям,
камню, светилам. Многим
предметам. Но не двуногим.

1975

К Евгению

Я был в Мексике, взбирался на пирамиды.
Безупречные геометрические громады
рассыпаны там и сям на Тегуантепекском перешейке.

Хочется верить, что их воздвигли космические пришельцы,
ибо обычно такие вещи делаются рабами.
И перешеек усеян каменными грибами.

Глиняные божки, поддающиеся подделке
с необычайной легкостью, вызывающей кривотолки.
Барельефы с разными сценами, снабженные перевитым
туловищем змеи неразгаданным алфавитом
языка, не знавшего слова «или».
Что бы они рассказали, если б заговорили?

Ничего. В лучшем случае, о победах
над соседним племенем, о разбитых
головах. О том, что слитая в миску
Богу Солнца людская кровь укрепляет в последнем мышцу;
что вечерняя жертва восьми молодых и сильных
обеспечивает восход надежнее, чем будильник.

Все-таки лучше сифилис, лучше жерла
единорогов Кортеса, чем эта жертва.
Ежели вам глаза суждено скормить воронам,
лучше если убийца – убийца, а не астроном.
Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось
толком узнать, что вообще случилось.

Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,

всюду жестокость и тупость воскликнут: "Здравствуй,
вот и мы!" Лень загонять в стихи их.
Как сказано у поэта, «на всех стихиях...»
Далеко же видел, сидя в родных болотах!
От себя добавлю: на всех широтах.

1975

Заметка для энциклопедии

Прекрасная и нищая страна.
На Западе и на Востоке – пляжи
двух океанов. Посредине – горы,
леса, известняковые равнины
и хижины крестьян. На Юге – джунгли
с руинами великих пирамид.
На Севере – плантации, ковбои,
переходящие невольничьи в США.
Что позволяет перейти к торговле.

Предметы вывоза – марихуана,
цветной металл, посредственное кофе,
сигары под названием «Корона»
и мелочи народных мастеров.
(Прибавлю: облака). Предметы ввоза -
все прочее и, как всегда, оружие.
Обзаведясь которым, как-то легче
заняться государственным устройством.

История страны грустна; однако,
нельзя сказать, чтоб уникальна. Главным
злом признано вторжение испанцев
и варварское разрушение древней
цивилизации ацтеков. Это
есть местный комплекс Золотой Орды.
С той разницею, впрочем, что испанцы
действительно разжились золотишком.

Сегодня тут республика. Трехцветный
флаг развевается над президентским
палаццо. Конституция прекрасна.
Текст со следами сильной чехарды
диктаторов лежит в Национальной
Библиотеке под зеленым, пуле-
непробиваемым стеклом – причем
таким же, как в роллс-ройсе президента.

Что позволяет сквозь него взглянуть
в грядущее. В грядущем население,
бесспорно, увеличится. Пеон
как прежде будет взмахивать мотыгой
под жарким солнцем. Человек в очках
листать в кофейне будет с грустью Маркса.
И ящерица на валуне, задрав
головку в небо, будет наблюдать

полет космического аппарата.

1975

Осенний крик ястреба

Северозападный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
курицы по двору обветшалой
фермы, суслика на меже.

На воздушном потоке распластанный, одинокий,
все, что он видит – гряды покатых
холмов и серебро реки,
вьющейся точно живой клинок,
сталь в зазубринах перекатов,
схожие с бисером городки

Новой Англии. Упавшие до нуля
термометры – словно лары в нише;
стынут, обуздывая пожар
листьев, шпиги церквей. Но для
ястреба, это не церкви. Выше
лучших помыслов прихожан,

он парит в голубом океане, сомкнувши клюв,
с прижатою к животу плюсною
– когти в кулак, точно пальцы рук -
чуя каждым пером поддув
снизу, сверкая в ответ глазною
ягодюю, держа на Юг,

к Рио-Гранде, в дельту, в распаренную толпу
буков, прячущих в мощной пене
травы, чьи лезвия остры,
гнездо, разбитую скорлупу
в алую крапинку, запах, тени
брата или сестры.

Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,
бьющееся с частотою дрожи,
точно ножницами сечет,
собственным движимое теплом,
осеннюю синеву, ее же
увеличивая за счет

еле видного глазу коричневого пятна,
точки, скользящей поверх вершины
ели; за счет пустоты в лице
ребенка, замершего у окна,
пары, вышедшей из машины,

женщины на крыльце.

Но восходящий поток его поднимает вверх
выше и выше. В подбрюшных перьях
щиплет холодом. Глядя вниз,
он видит, что горизонт померк,
он видит как бы тринадцать первых
штатов, он видит: из

труб поднимается дым. Но как раз число
труб подсказывает одинокой
птице, как поднялась она.

Эк куда меня занесло!

Он чувствует смешанную с тревогой
гордость. Перевернувшись на

крыло, он падает вниз. Но упругий слой
воздуха его возвращает в небо,
в бесцветную ледяную гладь.

В желтом зрачке возникает злой
блеск. То есть, помесь гнева
с ужасом. Он опять

низвергается. Но как стенка – мяч,
как падение грешника – снова в веру,
его выталкивает назад.

Его, который еще горяч!
В черт-те что. Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад

птиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса – крупа далеких
звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.

И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк,
клюва, похожий на визг эриний,
вырывается и летит вонне
механический, нестерпимый звук,
звук стали, впившейся в алюминий;
механический, ибо не

предназначенный ни для чьих ушей:
людских, срывающейся с березы
белки, тьявкающей лисы,
маленьких полевых мышей;
так отливаться не могут слезы
никому. Только псы

задирают морды. Пронзительный, резкий крик

страшной, кошмарнее ре-диеза
алмаза, режущего стекло,
пересекает небо. И мир на миг
как бы вздрагивает от пореза.
Ибо там, наверху, тепло

обжигает пространство, как здесь, внизу,
обжигает черной оградой руку
без перчатки. Мы, восклицая "вон,
там!" видим вверху слезу
ястреба, плюс паутину, звуку
присущую, мелких волн,

разбегающихся по небосводу, где
нет эха, где пахнет апофеозом
звука, особенно в октябре.
И в кружеве этом, сродни звезде,
сверкая, скованная морозом,
инеем, в серебре,

опушившем перья, птица плывет в зенит,
в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда
перл, сверкающую деталь.
Мы слышим: что-то вверху звенит,
как разбивающаяся посуда,
как фамильный хрусталь,

чьи осколки, однако, не ранят, но
тают в ладони. И на мгновение
вновь различаешь кружки, глазки,
веер, радужное пятно,
многоточия, скобки, звенья,
колоски, волоски -

бывший привольный узор пера,
карту, ставшую горстью юрких
хлопьев, летящих на склон холма.
И, ловя их пальцами, детвора
выбегает на улицу в пестрых куртках
и кричит по-английски «Зима, зима!»

1975

Декабрь во Флоренции

«Этот, уходя, не оглянулся...» Анна Ахматова

I

Двери вдыхают воздух и выдыхают пар; но
ты не вернешься сюда, где, разбившись попарно,
населенье гуляет над обмелевшим Арно,
напоминая новых четвероногих. Двери
хлопают, на мостовую выходят звери.
Что-то вправду от леса имеется в атмосфере
этого города. Это – красивый город,
где в известном возрасте просто отводишь взор от

человека и поднимаешь ворот.

II

Глаз, мигая, заглядывает, погружаясь в сырые
сумерки, как таблетки от памяти, фонари; и
твой подъезд в двух минутах от Синьории
намекает глухо, спустя века, на
причину изгнания: вблизи вулкана
невозможно жить, не показывая кулака; но
и нельзя разжать его, умирая,
потому что смерть – это всегда вторая
Флоренция с архитектурой Рая.

III

В полдень кошки заглядывают под скамейки, проверяя, черны ли
тени. На Старом Мосту – теперь его починили -
где бюстует на фоне синих холмов Челлини,
бойко торгуют всяческой бранзулеткой;
волны перебирают ветку, журча за веткой.
И золотые пряди склоняющейся за редкой
вещью красавицы, роющейся меж коробок
под несытыми взглядами молодых торговков,
кажутся следом ангела в державе черноголовых.

IV

Человек превращается в шорох пера на бумаге, в кольцо
петли, клинышки букв и, потому что скользко,
в запятые и точки. Только подумать, сколько
раз, обнаружив "м" в заурядном слове,
перо спотыкалось и выводило брови!

То есть, чернила честнее крови,
и лицо в потемках, словами наружу – благо
так куда быстрее просыхает влага -
смеется, как скомканная бумага.

V

Набережные напоминают оцепеневший поезд.
Дома стоят на земле, видимы лишь по пояс.
Тело в плаще, ныряя в сырую полость
рта подворотни, по ломаным, обветшалым
плоским зубам поднимается мелким шагом
к воспаленному небу с его шершавым
неизменным «16»; пугающий безголосьем,
звонок порождает в итоге скрипучее «просим, просим»:
в прихожей вас обступают две старые цифры "8".

VI

В пыльной кофейне глаз в полумраке кепки
привыкает к нимфам плафона, к амурам, к лепке;
ощущая нехватку в терцинах, в клетке
дряхлый щегол выводит свои коленца.
Солнечный луч, разбившийся о дворец, о
купол собора, в котором лежит Лоренцо,
проникает сквозь штору и согревает вены
грязного мрамора, кадку с цветком вербены;
и щегол разливается в центре проволочной Равенны.

VII

Выдыхая пары, вдыхая воздух, двери
хлопают во Флоренции. Одну ли, две ли

проживаешь жизни, смотря по вере,
вечером в первой осознаешь: неправда,
что любовь движет звезды (Луну – недавно),
ибо она делит все вещи на два -
даже деньги во сне. Даже, в часы досуга,
мысли о смерти. Если бы звезды Юга
двигались ею, то – в стороны друг от друга.

VIII

Каменное гнездо оглашаемо громким визгом
тормозов; мостовую пересекаешь с риском
быть за{п/к}леваннным насмерть. В декабрьском низком
небе громада яйца, снесенного Брунеллески,
вызывает слезу в зрачке, наторевшем в блеске
куполов. Полицейский на перекрестке
машет руками, как буква "ж", ни вниз, ни
вверх; репродукторы лают о дороговизне.
О, неизбежность "ы" в правописаньи «жизни»!

IX

Есть города, в которые нет возврата.
Солнце бьется в их окна, как в гладкие зеркала. То
есть, в них не проникнешь ни за какое золото.
Там всегда протекает река под шестью мостами.
Там есть места, где припадал устами
тоже к устам и пером к листам. И
там рябит от аркад, колоннад, от чугунных пугал;
там толпа говорит, осаждая трамвайный угол,
на языке человека, который убыл.

1976

* * *

Михаилу Барышникову

Классический балет есть замок красоты,
чьи нежные жильцы от прозы дней суровой
пиликающей ямой оркестровой
отделены. И задраны мосты.

В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад,
и, крылышкуя скорописью ляжек,
красавица, с которою не ляжешь,
одним прыжком выпархивает в сад.

Мы видим силы зла в коричневом трико,
и ангела добра в невыразимой пачке.
И в силах пробудить от элизийской спячки
орация Чайковского и Ко.

Классический балет! Искусство лучших дней!
Когда шипел ваш грог, и целовали в обе,
и мчались лихачи, и пелось бобэоби,
и ежели был враг, то он был – маршал Ней.

В зрачках городских желтели купола.
В каких рождались, в тех и умирали гнездах.
И если что-нибудь взлетало в воздух,
то был не мост, а Павлова была.

Как славно ввечеру, вдали Всея Руси,
Барышникова зреть. Талант его не стерся!
Усилие ноги и судорога торса
с вращением вокруг собственной оси

рождают тот полет, которого душа
как в девках заждалась, готовая озлиться!
А что насчет того, где выйдет приземлиться, -
земля везде тверда; рекомендую США.

1976

Новый Жюль Верн

Л. и Н. Лифшиц

1

Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна.
Корвет разрезает волны профилем Франца Листа.
Поскрипывают канаты. Голая обезьяна
с криком выскакивает из кабины натуралиста.

Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то,

только бутылки в баре хорошо переносят качку.

Ветер относит в сторону окончание анекдота,
и капитан бросается с кулаками на мачту.

Порой из кают-компания раздаются аккорды последней вещицы Брамса.

Штурман играет циркулем, задумавшись над прямою
линией курса. И в подзорной трубе пространство
впереди быстро смешивается с оставшимся за кормою.

II

Пассажир отличается от матроса

шорохом шелкового белья,
условиями питания и жилья,
повтореньем какого-нибудь бессмысленного вопроса.

Матрос отличается от лейтенанта

отсутствием эполет,
количеством лент,
нервами, перекрученными на манер каната.

Лейтенант отличается от капитана

нашивками, выраженьем глаз,
фотокарточкой Бланш или Франсуаз,
чтением «Критики чистого разума», Мопассана и «Капитала».

Капитан отличается от Адмиралтейства

одинокими мыслями о себе,
отвращением к синеве,
воспоминаньем о длинном уик-энде, проведенном в имени тестя.

И только корабль не отличается от корабля.

Переваливаясь на волнах, корабль
выглядит одновременно как дерево и журавль,
из-под ног у которых ушла земля.

III Разговор в кают-компани

"Конечно, эрцгерцог монстр! но как следует разобраться
– нельзя не признать за ним некоторых заслуг..."

"Рабы обсуждают господ. Господа обсуждают рабство.
Какой-то порочный круг!" «Нет, спасательный круг!»

«Восхитительный херес!» "Я всю ночь не могла уснуть.

Это жуткое солнце: я сожгла себе плечи".

"...а если открылась течь? я читал, что бывают течи.

Представьте себе, что открылась течь, и мы стали тонуть!

Вам случалось тонуть, лейтенант?" «Никогда. Но акула меня кусала».

"Да? любопытно... Но, представьте, что – течь... И представьте
себе..."

«Что ж, может, это заставит подняться на палубу даму в 12-б».

«Кто она?» «Это дочь генерал-губернатора, плывущая в Кюрасао».

IV Разговоры на палубе

"Я, профессор, тоже в молодости мечтал
открыть какой-нибудь остров, зверушку или бациллу".
«И что же вам помешало?» "Наука мне не под силу.
И потом – тити-мити". «Простите?» «Э-э... презренный металл».

«Человек, он есть кто?! Он – вообще – комар!»
«А скажите, месье, в России у вас, что – тоже есть резина?»
"Вольдемар, перестаньте! Вы кусаетесь, Вольдемар!
Не забывайте, что я..." «Простите меня, кузина».

«Слышишь, кореш?» «Чего?» «Чего это там вдали?»
«Где?» «Да справа по борту». «Не вижу». «Вон там». "Ах, это...
Вроде бы кит. Завернуть не найдется?" "Не-а, одна газета...
Но оно увеличивается! Смотри!... Оно увели..."

V

Море гораздо разнообразнее суши.
Интереснее, чем что-либо.
Изнутри, как и снаружи. Рыба
интереснее груши.

На земле существуют четыре стены и крыша.
Мы боимся волка или медведя.
Медведя, однако, меньше и зовем его «Миша».
А если хватит воображенья – «Федя».

Ничего подобного не происходит в море.

Кита в его первозданном, диком
виде не трогает имя Бори.

Лучше звать его Диком.

Море полно сюрпризов, некоторые неприятны.

Многим из них не отыскать причины;
ни свалить на Луну, перечисляя пятна,
ни на злую волю женщины или мужчины.

Кровь у жителей моря холодней, чем у нас; их жуткий
вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке.

Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали «закона джунглей»
либо – внесли бы в оный свои поправки.

VI

"Капитан, в этих местах затонул «Черный принц»
при невыясненных обстоятельствах". "Штурман Бенц!
ступайте в свою каюту и хорошенько проспитесь".

"В этих местах затонул также русский «Витязь».

"Штурман Бенц! Вы думаете, что я
шучу?" «При невыясненных обстоя...»

Неукоснительно надвигается корвет.

За кормою – Европа, Азия, Африка, Старый и Новый свет.

Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса.

И пространство хранит ответ.

VII

«Ирина!» «Я слушаю». «Взгляни-ка сюда, Ирина».

«Я же сплю». «Все равно. Посмотри-ка, что это там?» «Да где?»

«В иллюминаторе». «Это... это, по-моему, субмарина».

«Но оно извивается!» "Ну и что из того? В воде

все извивается". «Ирина!» «Куда ты тащишь меня?! Я раздета!»

«Да ты только взгляни!» "О боже, не напирай!

Ну, гляжу. Извивается... но ведь это... Это...

Это гигантский спрут!.. И он лезет к нам! Николай!.."

VIII

Море внешне безжизненно, но оно

полно чудовищной жизни, которую не дано

постичь, пока не пойдешь на дно.

Что подтверждается сетью, тралом.

Либо – пляской волн, отражающих как бы в вялом

зеркале творящееся под одеялом.

Находясь на поверхности, человек может быстро плыть.

Под воду, однако, он умеряет прыть.

Внезапно он хочет пить.

Там, под водой, с пересохшей глоткой,

жизнь представляется вдруг короткой.

Под водой человек может быть лишь подводной лодкой.

Изо рта вырываются пузыри.

В глазах возникает эквивалент зари.

В ушах раздается бесстрастный голос, считающий: раз, два, три.

IX

"Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри гигантского осьминога.

Чудо, что письменные принадлежности и твоя фотокарточка уцелели.

Сыро и душно. Тем не менее, не одиноко:

рядом два дикаря, и оба играют на укалеле.

Главное, что темно. Когда напрягаю зрение,

различаю какие-то арки и своды. Сильно звенит в ушах.

Постараюсь исследовать систему пищеваренья.

Это – единственный путь к свободе. Целую. Твой верный Жак".

"Вероятно, так было в утробе... Но спасибо и за осьминога.

Ибо мог бы просто пойти на дно, либо – попасть к акуле.

Все еще в поисках. Дикари, увы, не подмога:

о чем я их не спрошу, слышу странное «хули-хули».

Вокруг бесконечные, скользкие, вьющиеся туннели.

Какая-то загадочная, переплетающаяся система.

Вероятно, я брежу, но вчера на панели

мне попался некто, назвавшийся капитаном Немо".

"Снова Немо. Пригласил меня в гости. Я

пошел. Говорит, что он вырастил этого осьминога.

Как протест против общества. Раньше была семья,
но жена и т. д. И ему ничего иного
не осталось. Говорит, что мир потонул во зле.
Осьминог (сокращенно – Ося) карает жесткосердые
и гордыню, воцарившиеся на Земле.
Обещал, что если останусь, то обрету бессмертье".

"Вторник. Ужинали у Немо. Было вино, икра
(с «Принца» и «Витязя»). Дикари подавали, скаля
зубы. Обсуждали начатую вчера
тему бессмертья, «Мысли» Паскаля, последнюю вещь в «Ля Скала».
Представь себе вечер, свечи. Со всех сторон – осьминог.
Немо с его бородой и с глазами голубыми, как у младенца.
Сердце сжимается, как подумаешь, как он тут одинок..."

(Здесь обрываются письма к Бланш Деларю от лейтенанта Бенца).

Х

Когда корабль не приходит в определенный порт
ни в назначенный срок, ни позже,
Директор Компании произносит: «Черт!»,
Адмиралтейство: «Боже».

Оба неправы. Но откуда им знать о том,
что приключилось. Ведь не допросишь чайку,
ни акулу с ее набитым ртом,
не направишь овчарку

по следу. И какие вообще следы
в океане? Все это сущий
бред. Еще одно торжество воды
в состязании с сушей.

В океане все происходит вдруг.
Но потом еще долго волна тербит скитальцев:
доски, обломки мачты и спасательный круг;
все – без отпечатка пальцев.

И потом наступает осень, за ней – зима.
Сильно дует сирокко. Лучшего адвоката
молчаливые волны могут свести с ума
красотою заката.

И становится ясно, что нечего вопрошать
ни посредством горла, ни с помощью радиозонда
синюю рябь, продолжающую улучшать
линию горизонта.

Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк
факты, которых, собственно, кот наплакал.
Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк
и оседает на пол.

Горизонт улучшается. В воздухе соль и йод.

Вдалеке на волне покачивается какой-то
безымянный предмет. И колокол глухо бьет
в помещении Ллойда.

1976

Развивая Платона

I

Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река
высовывалась бы из-под моста, как из рукава – рука,
и чтоб она впадала в залив, растопырив пальцы,
как Шопен, никому не показывавший кулака.

Чтобы там была Опера, и чтоб в ней ветеран-
тенор исправно пел арию Марио по вечерам;
чтоб Тиран ему аплодировал в ложе, а я в партере
бормотал бы, сжав зубы от ненависти: «баран».

В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб.
По отсутствию дыма из кирпичных фабричных труб
я узнавал бы о наступлении воскресенья
и долго бы трясся в автобусе, мучая в жмене руб.

Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой

там, где нога продолжает начатое головой.

Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные – пенальти и уголовной.

II

Там была бы Библиотека, и в залах ее пустых
я листал бы тома с таким же количеством запятых,
как количество скверных слов в ежедневной речи,
не прорвавшихся в прозу, ни, тем более, в стих.

Там стоял бы большой Вокзал, пострадавший в войне,
с фасадом, куда занятней, чем мир вовне.

Там при виде зеленой пальмы в витрине авиалиний
просыпалась бы обезьяна, дремлющая во мне.

И когда зима, Фортунатус, облакает квартал в рядно,
я б скучал в Галерее, где каждое полотно
– особенно Энгра или Давида -
как родимое выглядело бы пятно.

В сумерках я следил бы в окне стада
мычащих автомобилей, снующих туда-сюда
мимо стройных нагих колонн с дорической прической,
безмятежно белеющих на фронтоне Суда.

III

Там была бы эта кофейня с недурным бланманже,

где, сказав, что зачем нам двадцатый век, если есть уже
девятнадцатый век, я бы видел, как взор коллеги
надолго сосредотачивается на вилке или ноже.

Там должна быть та улица с деревьями в два ряда,
подъезд с торсом нимфы в нише и прочая ерунда;
и портрет висел бы в гостиной, давая вам представление
о том, как хозяйка выглядела, будучи молода.

Я внимал бы ровному голосу, повествующему о вещах,
не имеющих отношения к ужину при свечах,
и огонь в камельке, Фортунатус, бросал бы багровый отблеск
на зеленое платье. Но под конец зачах.

Время, текущее в отличие от воды
горизонтально от вторника до среды,
в темноте там разглаживало бы морщины
и стирало бы собственные следы.

IV

И там были бы памятники. Я бы знал имена
не только бронзовых всадников, всунувших в стремяна
истории свою ногу, но и ихних четвероногих,
учитывая отпечаток, оставленный ими на

населении города. И с присохшей к губе

сигаретою сильно за полночь возвращаясь пешком к себе,
как цыган по ладони, по трещинам на асфальте
я гадал бы, икая, вслух о его судьбе.

И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж,
подрывную активность, бродяжничество, менаж-
а-трау, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала,
тыча в меня натруженными указательными: «Не наш!» -

я бы втайне был счастлив, шепча про себя: "Смотри,
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри
то, на что ты так долго глядел снаружи;
запоминай же подробности, восклицая «Vive la Patrie!»

1976

Часть речи (цикл из 20 стихов) [69]

1975 – 1976

* * *

Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря,
дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;

поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне -
как не сказано ниже по крайней мере -
я взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.

1975 – 1976 * * *

Север крошит металл, но щадит стекло.
Учит гортань проговаривать «впусти».
Холод меня воспитал и вложил перо
в пальцы, чтоб их согреть в горсти.

Замерзая, я вижу, как за моря
солнце садится и никого кругом.
То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля
закругляется под каблуком.

И в гортани моей, где положен смех
или речь, или горячий чай,
все отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, «прощай».

1975 – 1976 * * *

Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложащуюся, точно под татарву.

Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обгаренный князь.
Растекаясь широкой стрелой по косо́й скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полету, осень в стекле внизу
узнает по лицу слезу.
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.

1975 * * *

Это – ряд наблюдений. В углу – тепло.
Взгляд оставляет на вещи след.
Вода представляет собой стекло.
Человек страшней, чем его скелет.

Зимний вечер с вином в нигде.
Веранда под натиском ивняка.
Тело покоится на локте,
как морена вне ледника.

Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекут с проступившем сквозь бахрому
оттиском «доброй ночи» уст,
не имевших сказать кому.

1975 – 1976 * * *

Потому что каблук оставляет следы – зима.

В деревянных вещах замерзая в поле,
по проходим себя узнают дома.

Что сказать ввечеру о грядущем, коли
вспоминанья в ночной тиши
о тепле твоих – пропуск – когда уснула,
тело отбрасывает от души
на стену, точно тень от стула
на стену ввечеру свеча,
и под скатертью стянутым к лесу небом
над силосной башней, натертый крылом грача
не отбелишь воздух колючим снегом.

1975 – 1976 * * *

Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с
плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса
налетают порывы резкого ветра. Голос
старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла.
Низвергается дождь: перекрученные канаты
хлещут спины холмов, точно лопатки в бане.
Средизимнее море шевелится за огрызками колоннады,
как соленый язык за выбитыми зубами.
Одичавшее сердце все еще бьется за два.
Каждый охотник знает, где сидят фазаны, – в лужице под лежащим.
За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра,
как сказуемое за подлежащим.

1975 – 1976 * * *

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,

и отсюда – все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос,
если вьется вообще. Облокотясь на локоть,
раковина ушная в них различит не рокот,
но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,
кипящий на керосинке, максимум – крики чаек.
В этих плоских краях то и хранит от фальши
сердце, что скрыться негде и видно дальше.
Это только для звука пространство всегда помеха:
глаз не посетует на недостаток эха.

1975 * * *

Что касается звезд, то они всегда.
То есть, если одна, то за ней другая.
Только так оттуда и можно смотреть сюда:
вечером, после восьми, мигая.
Небо выглядит лучше без них. Хотя
освоение космоса лучше, если
с ними. Но именно не сходя
с места, на голой веранде, в кресле.
Как сказал, половину лица в тени
пряча, пилот одного снаряда,
жизни, видимо, нету нигде, и ни
на одной из них не удержишь взгляда.

1975 * * *

В
городке, из которого смерть расползлась по школьной карте,
мостовая блестит, как чешуя на карпе,
на столетнем каштане оплывают тугие свечи,

и чугунный лес скучает по пылкой речи.

Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки,
проступают ранки гвоздики и стрелки кирхи;
вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,
но никто не сходит больше у стадиона.

Настоящий конец войны – это на тонкой спинке
венского стула платье одной блондинки,
да крылатый полет серебристой жужжащей пули,
уносящей жизни на Юг в июле.

1975, Мюнхен * * *

Около океана, при свете свечи; вокруг
поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной.
Вечеру у тела, точно у Шивы, рук,
дотянуться желающих до бесценной.
Упадая в траву, сова настигает мышь,
беспричинно поскрипывают стропила.
В деревянном городе крепче спишь,
потому что снится уже только то, что было.
Пахнет свежей рыбой, к стене прилип
профиль стула, тонкая марля вяло
шевелится в окне; и луна поправляет лучом прилив,
как сползающее одеяло.

1975 * * *

Ты забыла деревню, затерянную в болотах
залесенной губернии, где чучел на огородах
отродясь не держат – не те там злаки,
и дорогой тоже все гати да буераки.
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,

а как жив, то пьяный сидит в подвале,
либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
говорят, калитку, не то ворота.

А зимой там колют дрова и сидят на репе,
и звезда моргает от дыма в морозном небе.

И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили.

1975 * * *

Тихотворение мое, мое немое,
однако, тяглое – на страх поводьям,
куда пожалуемся на ярмо и
кому поведаем, как жизнь проводим?
Как поздно за полночь ища глазунью
луны за шторой зажженной спичкою,
вручную стряхиваешь пыль безумия
с осколков желтого оскала в писчую.
Как эту борзопись, что гуще патоки,
там не размазывай, но с кем в колене и
в локте хотя бы преломить, опять-таки,
ломоть отрезанный, тихотворение?

1975 – 1976 * * *

Темно-синее утро в заиндедевшей раме
напоминает улицу с горящими фонарями,
ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,
толчею в раздевалке в восточном конце Европы.
Там звучит «ганнибал» из худого мешка на стуле,
сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре;
что до черной доски, от которой мороз по коже,

так и осталась черной. И сзади тоже.

Дребезжащий звонок серебристый иней
преобразил в кристалл. Насчет параллельных линий
все оказалось правдой и в кость оделось;
неохота вставать. Никогда не хотелось.

1975 – 1976 * * *

С точки зрения воздуха, край земли
всюду. Что, скашивая облака,
совпадает – чем бы не замели
следы – с ощущением каблука.
Да и глаз, который глядит окрест,
скашивает, что твой серп, поля;
сумма мелких слагаемых при перемене мест
неузнаваемое нуля.

И улыбка скользнет, точно тень грача
по щербатой изгороди, пышный куст
шиповника сдерживая, но крича
жимолостью, не разжимая уст.

1975 – 1976 * * *

Заморозки на почве и облысение леса,
небо серого цвета кровельного железа.
Выходя во двор нечетного октября,
ежась, число округляешь до «ох ты бля».
Ты не птица, чтоб улететь отсюда,
потому что как в поисках милой всю-то
ты проехал вселенную, дальше вроде
нет страницы податься в живой природе.
Зазимует же тут, с черной обложкой рядом,

проницаемой стужей снаружи, отсюда – взглядом,
за бугром в чистом поле на штабель слов
пером кириллицы наколов [70].

1975 – 1976 * * *

Всегда остается возможность выйти из дому на
улицу, чья коричневая длина
успокоит твой взгляд подъездами, худобою
голых деревьев, бликами луж, ходьбою.
На пустой голове бриз шевелит ботву,
и улица вдалеке сужается в букву "У",
как лицо к подбородку, и лающая собака
вылетает из поворотни, как скомканная бумага.

Улица. Некоторые дома
лучше других: больше вещей в витринах;
и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума,
то, во всяком случае, не внутри них.

1975 – 1976 * * *

Итак, прогревает. В памяти, как на меже,
прежде доброго злака маячит плевел.
Можно сказать, что на Юге в полях уже
высевают сорго – если бы знать, где Север.
Земля под лапкой грача действительно горяча;
пахнет тесом, свежей смолой. И крепко
зажмурившись от слепящего солнечного луча,
видишь внезапно мучнистую щеку клерка,
беготню в коридоре, эмалированный таз,
человека в жеваной шляпе, сводящего хмуро брови,
и другого, со вспышкой, чтоб озарить не нас,

но обмякшее тело и лужу крови.

1975 – 1976 * * *

Если что-нибудь петь, то перемену ветра,
западного на восточный, когда замерзшая ветка
перемещается влево, поскрипывая от неохоты,
и твой кашель летит над равниной к лесам Дакоты.
В полдень можно вскинуть ружью и выстрелить в то, что в поле
кажется зайцем, предоставляя пуле
увеличить разрыв между сбившемся напрочь с темпа
пишущим эти строки пером и тем, что
оставляет следы. Иногда голова с рукою
сливаются, не становясь строкою,
но под собственный голос, перекатывающийся картаво,
подставляя ухо, как часть кентавра.

1975 – 1976 * * *

...и при слове «грядущее» из русского языка
выбегают черные мыши и всей оравой
отгрызают от лакомого куска
памяти, что твой сыр дырявой.
После стольких лет уже безразлично, что
или кто стоит у окна за шторой,
и в мозгу раздается не земное «до»,
но ее шуршание. Жизнь, которой,
как дареной вещи, не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече.
От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.

1975 * * *

Я не то что схожу с ума, но устал за лето.

За рубашкой в комод полезешь, и день потеряян.

Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это -
города, человеков, но для начала – зелень.

Стану спать не раздевшись или читать с любого
места чужую книгу, покамест остатки года,
как собака, сбежавшая от слепого,
переходят в положенном месте асфальт.

Свобода -

это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Ширази,
и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.

1975

Пятая годовщина

Падучая звезда, тем паче – астероид
на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.
Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.

—

Там хмурые леса стоят в своей рванине.
Уйдя из точки "А", там поезд на равнине
стремится в точку "Б". Которой нет в помине.

Начала и концы там жизнь от взора прячет.

Покойник там незрим, как тот, кто только зачат.

Иначе – среди птиц. Но птицы мало значат.

Там в сумерках рояль бренчит в висках бемолью.

Пиджак, вися в шкафу, там поедает молью.

Оцепеневший дуб кивает лукоморью.

—

Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.

Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик.

Неугомонный Терек там ищет третий берег.

Там дедушку в упор рассматривает внучек.

И к звездам до сих пор там запускают жучек

плюс офицеров, чьих не осознать получек.

Там зелень щавеля смущает зелень лука.

Жужжание пчелы там главный принцип звука.

Там копия, щадя оригинал, безрука.

—

Зимой в пустых садах трубят гипербореи,

и ребер больше там у пыльной батареи

в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее

нащупывает их рукой замерзшей странник.

Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.

Там мучает охранник во сне штыка трехгранник.

От дождевой струи там плохо спичке серной.

Там говорят «свои» в дверях с усмешкой скверной.

У рыбной чешуи в воде там цвет консервный.

—

Там при словах «я за» течет со щек известка.

Там в церкви образа коптит свеча из воска.

Порой дает раза соседним странам войско.

Там пышная сирень бушует в полисаде.

Пивная цельный день лежит в глухой осаде.

Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади.

Там в воздухе висят обрывки старых арий.

Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий.

В лесах полно куниц и прочих ценных тварей.

—

Там, лежучи плашмя на рядовой холстине,
отбрасываешь тень, как пальма в Палестине.

Особенно – во сне. И, на манер пустыни,

там сахарный песок пересекаем мухой.

Там города стоят, как двинутые рюхой,
и карта мира там замещена пеструхой,

мычащей на бугре. Там схож закат с порезом.
Там вдалеке завод дымит, гремит железом,
не нужным никому: ни пьяным, ни тверезым.

—

Там слышен крик совы, ей отвечает филин.
Овацию листвы унять там вождь бессилён.
Простую мысль, увы, пугает вид извилин.

Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.
Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий план запорот.

Других примет там нет – загадок, тайн, диковин.
Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.
Там в моде серый цвет – цвет времени и бревен.

—

Я вырос в тех краях. Я говорил «закурим»
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.
Привык к свинцу небес и к айвазовским бурям.

Там, думал, и умру – от скуки, от испуга.
Когда не от руки, так на руках у друга.
Видать, не рассчитал. Как квадратуру круга.

Видать, не рассчитал. Зане в театре задник
важнее, чем актер. Простор важней, чем всадник.
Передних ног простор не отличит от задних.

—

Теперь меня там нет. Означенной пропаже
дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.
Отсутствие мое большой дыры в пейзаже

не сделало; пустяк: дыра, – но небольшая.
Ее затянут мох или пучки лишая,
гармонии тонов и проч. не нарушая.

Теперь меня там нет. Об этом думать странно.
Но было бы чудней изображать барана,
дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,

—

паясничать. Ну что ж! на все свои законы:
я не любил жлобства, не целовал иконы,
и на одном мосту чугунный лик Горгоны

казался в тех краях мне самым честным ликом.
Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом
варьянте, я своим не подавился криком

и не окаменел. Я слышу Музы лепет.

Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет:
мой углекислый вздох пока что в вышних терпят,

—

и

без костей язык, до внятных звуков лаком,
судьбу благодарит кириллицыным знаком.
На то она судьба, чтоб понимать на всяком

наречьи. Предо мной – пространство в чистом виде.

В нем места нет столпу, фонтану, пирамиде.

В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.

Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох.

Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,
эпоха на колесах нас не догонит, босых.

—

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.

Зане не знаю я, в какую землю лягу.

Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

4 июня 1977

Квинтет

Марку Стрэнду

I

Веко подергивается. Из рта
вырывается тишина. Европейские города
настигают друг друга на станциях. Запах мыла
выдает обитателю джунглей приближающегося врага.
Там, где ступила твоя нога,
возникают белые пятна на карте мира.

В горле першит. Путешественник просит пить.
Дети, которых надо бить,
оглашают воздух пронзительным криком. Веко
подергивается. Что до колонн, из-за
них всегда появляется кто-нибудь. Даже прикрыв глаза,
даже во сне вы видите человека.

И накапливается как плевков в груди:
"Дай мне чернил и бумаги, а сам уйди
прочь!" И веко подергивается. Невнятные причитанья
за стеной (будто молятся) увеличивают тоску.
Чудовищность творящегося в мозгу
придает незнакомой комнате знакомые очертанья.

II

Иногда в пустыне ты слышишь голос. Ты
вытаскиваешь фотоаппарат запечатлеть черты.
Но – темнеет. Присядь, перекинься шуткой
с говорящей по-южному, нараспев,

обезьянкой, что спрыгнула с пальмы и, не успев
стать человеком, сделалась проституткой.

Лучше плыть пароходом, качающимся на волне,
участвуя в географии, в голубизне, а не
только в истории – этой коросте суши.
Лучше Гренландию пересекать, скрипя
лыжами, оставляя после себя
айсберги и тюленьи туши.

Алфавит не даст позабыть тебе
цель твоего путешествия – точку "Б".
Там вороне не сделаться вороном, как ни каркай;
слышен лай дворняг, рожь заглушил сорняк;
там, как над шкуркой зверька скорняк,
офицеры Генштаба орудут над порыжевшей картой.

III

Тридцать семь лет я смотрю в огонь.
Веко подергивается. Ладонь
покрывается потом. Полицейский, взяв документы,
выходит в другую комнату. Воздвигнутый впопыхах,
обелиск кончается нехотя в облаках,
как удар по Эвклиду, как след кометы.

Ночь; дожив до седин, ужинаешь один,
сам себе быдло, сам себе господин.

Вобла лежит поперек крупно набранного сообщенья
об изверженьи вулкана черт знает где,
иными словами, в чужой среде,
упираясь хвостом в «Последние Запрещенья».

Я понимаю только жужжанье мух
на восточных базарах! На тротуаре в двух
шагах от гостиницы, рыбой, попавшей в сети,
путешественник ловит воздух раскрытым ртом:
сильная боль, на этом убив, на том
продолжается свете.

IV

«Где это?» – спрашивает, приглаживая вихор,
племянник. И, пальцем блуждая по складкам гор,
«Здесь» – говорит племянница. Поскрипывают качели
в старом саду. На столе букет
фиалок. Солнце слепит паркет.
Из гостиной доносятся пассажи виолончели.

Ночью над плоскогорьем висит луна.
От валуна отделяется тень слона.
В серебре ручья нет никакой корысти.
В одинокой комнате простыню
комкает белое (смуглое) просто ню -
живопись неизвестной кисти.

Весной в грязи копошится труженик-муравей,
появляется грач, твари иных кровей;
листва прикрывает ствол в месте его изгиба.
Осенью ястреб дает круги
над селеньем, считая цыплят. И на плечах слуги
болтается белый пиджак сагиба...

V

Было ли сказано слово? И если да, -
на каком языке? Был ли мальчик? И сколько льда
нужно бросить в стакан, чтоб остановить Титаник
мысли? Помнит ли целое роль частиц?
Что способен подумать при виде птиц
в аквариуме ботаник?

Теперь представим себе абсолютную пустоту.
Место без времени. Собственно воздух. В ту
и в другую, и в третью сторону. Просто Мекка
воздуха. Кислород, водород. И в нем
мелко подергивается день за днем
одинокое веко.

Это – записки натуралиста. За-
писки натуралиста. Капающая слеза
падает в вакууме без всякого ускоренья.
Вечнозеленое неврастение, слыша жжу
це-це будущего, я дрожу,
вцепившись ногтями в свои коренья.

1977

Письма династии Минь

I

"Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки
вырвался и улетел. И, на ночь глядя, таблетки
богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного,
откидывается на подушки и, включив заводного,
погружается в сон, убаюканный ровной песней.
Вот такие теперь мы празднуем в Поднебесной
невеселые, нечетные годовщины.
Специальное зеркало, разглаживающее морщины,
каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке.
Небо тоже исколото шпильями, как лопатки
и затылок больного (которого только спину
мы и видим). И я иногда объясняю сыну
богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки.
Это письмо от твоей, возлюбленный, Дикой Утки
писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне императрица.
Почему-то вокруг все больше бумаги, все меньше риса".

II

"Дорога в тысячу ли начинается с одного
шага, – гласит пословица. Жалко, что от него
не зависит дорога обратно, превосходящая многократно
тысячу ли. Особенно отсчитывая от "о".
Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли -
тысяча означает, что ты сейчас вдали
от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова

перекидывается на цифры; особенно на нули.

Ветер несет нас на Запад, как желтые семена
из лопнувшего стручка, – туда, где стоит Стена.
На фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф,
как любые другие неразборчивые письма.
Движение в одну сторону превращает меня
в нечто вытянутое, как голова коня.
Силы, жившие в теле, ушли на трение тени
о сухие колосья дикого ячменя".

1977

Сан-Пьетро

Третью неделю туман не слезает с белой
колокольни коричневого, захоластного городка,
затерявшегося в глухоманном углу
Северной Адриатики. Электричество
продолжает в полдень гореть в таверне.
Плитняк мостовой отливает желтой
жареной рыбой. Оцепеневшие автомобили
пропадают из виду, не заводя мотора.
И вывеску не дочитать до конца. Уже
не терракота и охра впитывают в себя
сырость, но сырость впитывает охру и терракоту.

Тень, насыщающаяся от света,

радуется при виде снимаемого с гвоздя
пальто совершенно по-христиански. Ставни
широко растопырены, точно крылья
погрузившихся с головой в чужие
неурядицы ангелов. Там и сям
слезающая струпьями штукатурка
обнажает красную, воспаленную кладку,
и третью неделю сохнувшие исподники
настолько привыкли к дневному свету
и к своей веревке, что человек
если выходит на улицу, то выходит
в пиджаке на голое тело, в туфлях на босу ногу.

В два часа пополудни силуэт почтальона
приобретает в подъезде резкие очертанья,
чтоб, мгновенье спустя, снова сделаться силуэтом.

Удары колокола в тумане
повторяют эту же процедуру.

В итоге невольно оглядываешься через плечо
самому себе вслед, как иной прохожий,
стремясь рассмотреть получше щиколотки прошелестевшей
мимо красавицы, но – ничего не видишь,
кроме хлопьев тумана. Безветрие, тишина.

Направленье потеряно. За поворотом
фонари обрываются, как белое многоточье,
за которым следует только запах
водорослей и очертанья пирса.

Безветрие; и тишина как ржанье
никогда не сбивающейся с пути

чугунной кобылы Виктора-Эммануила.

II

Зимой обычно смеркается слишком рано;

где-то вовне, снаружи, над головою.

Туго спеленутые клочковатой

марлей стрелки на городских часах

отстают от меркнувшего вдалеке

рассеянного дневного света.

За сигаретами вышедший постоялец

возвращается через десять минут к себе

по пробуравленному в тумане

его же туловищем туннелю.

Ровный гул невидимого аэроплана

напоминает жужжание пылесоса

в дальнем конце гостиничного коридора

и поглощает, стихая, свет.

«Неббия»[71], – произносит, зевая, диктор,

и глаза на секунду слипаются, наподобье

раковины, когда проплывает рыба

(зрачок погружается ненадолго

в свои перламутровые потемки);

и подворотня с лампочкой выглядит, как ребенок,

поглощенный чтением под одеялом;

одеяло все в складках, как тога Евангелиста

в нише. Настоящее, наше время

со стуком отскакивает от бурого кирпича

базилики, точно белый

кожаный мяч, вколачиваемый в нее

школьниками после школы.

Щербатые, но не мыслящие себя
в профиль, обшарпанные фасады.
Только голые икры кривых балясин
одушевляют наглухо запертые балконы,
где вот уже двести лет никто
не появляется: ни наследница, ни кормилица.
Облюбованные брачующимися и просто
скучающими чудищами карнизы.
Колоннада, оплывшая как стеарин.
И слепое, агатовое великолепье
непроницаемого стекла,
за которым скрываются кушетка и пианино:
старые, но именно светом дня
оберегаемые успешно тайны.

В холодное время года нормальный звук
предпочитает тепло гортани капризам эха.
Рыба безмолствует; в недрах материка
распевает горlinkа. Но ни той, ни другой не слышно.
Повисший над пресным каналом мост
удерживает расплывчатый противоположный берег
от попытки совсем отделиться и выйти в море.
Так, дохнув на стекло, выводят инициалы
тех, с чьим отсутствием не смириться;
и подтек превращает заветный вензель
в хвост морского конька. Вбирай же красной
губкою легких плотный молочный пар,

выдыхаемый всплывшею Амфитритой
и ее nereидами! Протяни
руку – и кончики пальцев коснутся торса,
покрытого пузырьками
и пахнущего, как в детстве, йодом.

III

Выстиранная, выглаженная простыня
залива шуршит оборками, и бесцветный
воздух на миг сгущается в голубя или в чайку,
но тотчас растворяется. Вытащенные из воды
лодки, баркасы, гондолы, плоскодонки,
как непарная обувь, разбросаны на песке,
поскрипывающим под подошвой. Помни:
любое движенье, по сути, есть
перенесение тяжести тела в другое место.
Помни, что прошлому не уложиться
без остатка в памяти, что ему
необходимо будущее. Твердо помни:
только вода, и она одна,
всегда и везде остается верной
себе – нечувствительной к метаморфозам, плоской,
находящейся там, где сухой земли
больше нет. И патетика жизни с ее началом,
серединой, редющим календарем, концом
и т. д. стусевывается в виду
вечной, мелкой, бесцветной ряби.

Жесткая, мертвая проволока виноградной

лозы мелко вздрагивает от собственного напряженья.

Деревья в черном саду ничем
не отличаются от ограды, выглядящей
как человек, которому больше не в чем
и – главное – некому признаваться.

Смеркается; безветрие, тишина.

Хруст ракушечника, шорох раздавленного гнилого
тростника. Пинаемая носком
жестянка взлетает в воздух и пропадает
из виду. Даже спустя минуту
не слышать звука ее паденья
в мокрый песок. Ни, тем более, всплеска.

1977

Шорох акации

Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска
уводят людей из города. По вечерам – тоска.
В любую из них спокойно можно ввести войска.
И только набравши номер одной из твоих подруг,
не уехавшей до сих пор на юг,
насторожишься, услышав хохот и волапюк,

и молча положишь трубку: город захвачен; строй
переменился: все чаще на светофорах – «Стой».
Приобретая газету, ее начинаешь с той
колонки, где «что в театрах» рассыпало свой петит.
Ибсен тяжеловесен, А. П. Чехов претит.

Лучше пойти пройтись, нагулять аппетит.

Солнце всегда садится за телебашней. Там
и находится Запад, где выручают дам,
стреляют из револьвера и говорят «не дам»,
если попросишь денег. Там поет «ла-ди-да»,
трепеща в черных пальцах, серебряная дуда.
Бар есть окно, прорубленное туда.

Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк.
Это одно способно привести вас в восторг.
Единственное, что выдает Восток,
это – клинопись мыслей: любая из них – тупик,
да на банкнотах не то Магомет, не то его горный пик,
да шелестящее на ухо жаркое «ду-ю-спик».

И когда ты потом петляешь, это – прием котла,
новые Канны, где, обдавая запахами нутра,
в ванной комнате, в четыре часа утра,
из овала над раковиной, в которой бурлит моча,
на тебя тарашится, сжав рукоять меча,
Завоеватель, старающийся выговорить «ча-ча-ча».

1977

В Англии

Диане и Алану Майерс

I. Брайтон-рок

Ты возвращаешься, сизый цвет ранних сумерек. Меловые скалы Сассекса в море отбрасывают запах сухой травы и длинную тень, как ненужную черную вещь. Рябое море на сушу выбрасывает шум прибоя и остатки ультрамарина. Из сочетанья всплеска лишней воды с лишней тьмой возникают, резко выделяя на фоне неба шпили церквей, обрывы скал, эти сизые, цвета пойманной рыбы, летние сумерки; и я прихожу в себя. В зарослях беззаботно вскрикивает коноплянка. Чистая линия горизонта с облаком напоминает веревку с выстиранной рубашкой, и танкер перебирает мачтами, как упавший на спину муравей. В сознании всплывает чей-то телефонный номер – порванная ячейка опустевшего невода. Бриз овеивает щеку. Мертвая зыбь баюкает беспокойную щепку, и отражение полощется рядом с оцепеневшей лодкой. В середине длинной или в конце короткой жизни спускаешься к волнам не выкупаться, но ради темно-серой, безлюдной, бесчеловечной глади, схожей цветом с глазами, глядящими, не мигая, на нее, как две капли воды. Как молчанье на попугая.

II. Северный Кенсингтон

Шорох «Ирландского времени», гонимого ветром по железнодорожным путям к брошенному депо, шелест мертвой полыни, опередившей осень, серый язык воды подле кирпичных десен.

Как я люблю эти звуки – звуки бесцельной, но
длящейся жизни, к которым уже давно
ничего не прибавить, кроме шуршащих галькой
собственных грузных шагов. И в небо запустишь гайкой.

Только мышь понимает прелести пустыря -
ржавого рельса, выдернутого штыря,
проводов, не способных взять выше сиплого до-диеза,
поражения времени перед лицом железа.

Ничего не исправить, не использовать впредь.

Можно только залить асфальтом или стереть
взрывом с лица земли, свыкшегося с гримасой
бетонного стадиона с орущей массой.

И появится мышь. Медленно, не спеша,
выйдет на середину поля, мелкая, как душа
по отношению к плоти, и, приподняв свою
обезумевшую мордочку, скажет «не узнаю».

III. Сохо

В венецианском стекле, окруженном тяжелой рамой,
отражается матовый профиль красавицы с рваной раной
говорящего рта. Партнер созерцает стены,
где узоры обоев спустя восемь лет превратились в "Сцены
скачек в Эпсоме". – Флаги. Наездник в алом
картузе рвется к финишу на полуторагодовалом
жеребце. Все слилось в сплошное пятно. В ушах завывает ветер.

На трибунах творится невообразимое... – "не ответил
на второе письмо, и тогда я решила..." Голос
представляет собой борьбу глагола с
ненаставшим временем. Молодая, худая
рука перебирает локоны, струящиеся, не впадая

никуда, точно воды многих
рек. Оседлав деревянных четвероногих,
вокруг стола с недопитым павшие смертью храбрых
на чужих простынях джигитуют при канделябрах
к подворотне в -ском переулке, засыпанном снегом. – Флаги
жухнут. Ветер стихает; и капли влаги
различимы становятся у соперника на подбородке,
и трибуны теряются из виду... – В подворотне
светит желтая лампочка, чуть золотя сугробы,
словно рыхлую корочку венской сдобы. Однако, кто бы
ни пришел сюда первым, колокол в переулке
не звонит. И подковы сивки или каурки
в настоящем прошедшем, даже достигнув цели,
не оставляют следов на снегу. Как лошади карусели.

IV. Ист Финчли

Вечер. Громоздкое тело движется в узкой,
стриженной под полубокс аллее с рядами фуксий
и садовой герани, точно дредноут в мелком
деревенском канале. Перепачканный мелом
правый рукав пиджака, так же как самый голос,
выдает род занятий – "Розу и гладиолус
поливать можно реже, чем далии и гиацинты,
раз или два в неделю". И он мне приводит цифры
из «Советов любителю-садоводу»
и строку из Вергилия. Земля поглощает воду
с неожиданной скоростью, и он прячет глаза. В гостиной,
скупо обставленной, нарочито пустынной,
жена – он женат вторым браком, – как подобает женам,
раскладывает, напевая, любимый Джоном

Голсуорси пасьянс «Паук». На стене акварель: в воде отражается вид моста неизвестно где.

Всякий живущий на острове догадывается, что рано или поздно все это кончается; что вода из-под крана, прекращая быть пресной, делается соленой, и нога, хрустевшая гравием и соломой, ощущает внезапный холод в носке ботинка.

В музыке есть то место, когда пластинка начинает вращаться против движенья стрелки.

И на камине маячит чучело перепелки, понадеявшейся на бесконечность лета, ваза с веточкой бересклета и открытки с видом базара где-то в Алжире – груды пестрой материи, бронзовые сосуды, сзади то ли верблюды, то ли просто холмы; люди в тюрбанах. Не такие, как мы.

Аллегория памяти, воплощенная в твердом карандаше, зависшем в воздухе над кроссвордом.

Дом на пустынной улице, стелящейся покато, в чьих одинаковых стеклах солнце в часы заката отражается, точно в окне экспресса, уходящего в вечность, где не нужны колеса.

Милая спальня (между подушек – кукла), где ей снятся ее «кошмары». Кухня; издающая запах чая гудящая хризантема газовой плитки. И очертания тела

оседают на кресло, как гуща, отделяющаяся от жижи.

Посредине абсурда, ужаса, скуки жизни
стоят за стеклом цветы, как вывернутые наизнанку
мелкие вещи – с розой, подобно знаку
бесконечности из-за пучка восьмерок,
с колесом георгина, буксующим меж распорок,
как расхристанный локомотив Боччони,
с танцовщицами-фуксиями и с еще не
распустившейся далией. Плавающий в покое
мир, где не спрашивают "что такое?
что ты сказал? повтори" – потому что эхо
возвращает того воробья неизменно в ухо
от китайской стены; потому что ты
произнес только одно: «цветы».

V. Три рыцаря

В старой ротонде аббатства, в алтаре, на полу
спят вечным сном три рыцаря, поблескивая в полу-
мраке ротонды, как каменные осетры,
чешуею кольчуги и жабрами лат. Все три
горбоносы и узколицы, и с головы до пят
рыцари: в панцире, шлеме, с длинным мечом. И спят
дольше, чем бодрствовали. Сумрак ротонды. Руки
скрещены на груди, точно две севрюги.

За щелчком аппарата следует вспышка – род
выстрела (все, что нас отбрасывает вперед,

на стену будущего, есть как бы выстрел). Три
рыцаря, не шелохнувшись, повторяют внутри
камеры то, что уже случилось – либо при Пуатье,
либо в святой земле: путешественник в канотье
для почивших за-ради Отца и Сына
и Святого Духа ужаснее сарацина.

Аббатство привольно раскинулось на берегу реки.
Купы зеленых деревьев. Белые мотыльки
порхают у баптистерия над клумбой и т. д.
Прохладный английский полдень. В Англии, как нигде,
природа скорее успокаивает, чем увлекает глаз;
и под стеной ротонды, как перед раз
навсегда опустившимся занавесом в театре,
аплодисменты боярышника ты не разделишь на три.

VI. Йорк

W. H. A.

Бабочки северной Англии пляшут над лебедею
под кирпичной стеною мертвой фабрики. За средою
наступает четверг, и т. д. Небо пышет жаром,
и поля выгорают. Города отдают лежалым
полосатым сукном, георгины страдают жаждой.
И твой голос – "Я знал трех великих поэтов. Каждый
был большой сукин сын" – раздается в моих ушах
с неожиданной четкостью. Я замедляю шаг

и готов оглянуться. Скоро четыре года,

как ты умер в австрийской гостинице. Под стрелкой перехода
ни души: черепичные кровли, асфальт, известка,
тополя. Честер тоже умер – тебе известно
это лучше, чем мне. Как костяшки на пыльных счетах,
воробыи восседают на проводах. Ничто так
не превращает знакомый подъезд в толчею колонн,
как любовь к человеку; особенно, если он

мертв. Отсутствие ветра заставляет тугие листья
напрягать свои мышцы и нехотя шевелиться.
Танец белых капустниц похож на корабль в бурю.
Человек приносит с собою тупик в любую
точку света; и согнутое колено
размножает тупым углом перспективу плена,
как журавлиный клин, когда он берет
курс на юг. Как все движущееся вперед.

Пустота, поглощая солнечный свет на общих
основаньях с боярышником, увеличивается наощупь
в направлении вытянутой руки, и
мир сливается в длинную улицу, на которой живут другие.
В этом смысле он – Англия. Англия в этом смысле
до сих пор Империя и в состояньи – если
верить музыке, булькающей водой, -
править морями. Впрочем – любой средой.

Я в последнее время немного сбиваюсь, скалюсь

отраженью в стекле витрины; покамест палец
набирает свой номер, рука опускает трубку.
Стоит закрыть глаза, как вижу пустую шляпку,
замерзшую на воде посредине бухты.
Выходя наружу из телефонной будки,
слышу голос скворца, в крике его – испуг.
Но раньше, чем он взлетает, звук

растворяется в воздухе. Чьей беспредметной сини
и сродни эта жизнь, где вещи видней в пустыне,
ибо в ней тебя нет. И вакуум постепенно
заполняет местный ландшафт. Как сухая пена,
овцы покоятся на темнозеленых волнах
йоркширского вереска. Кордебалет проворных
бабочек, повинуюсь невидимому смычку,
мельтешит над заросшей канавой, не давая зрачку

ни на чем задержаться. И вертикальный стебель
иван-чая длинней уходящей на север
древней Римской дороги, всеми забытой в Риме.
Вычитая из меньшего большее, из человека – Время,
получаешь в остатке слова, выделяющиеся на белом
фоне отчетливей, чем удается телом
это сделать при жизни, даже сказав «лови!».

Что источник любви превращает в объект любви.

VII

Английские каменные деревни.

Бутылка собора в окне харчевни.

Коровы, разбредшиеся по полям.

Памятники королям.

Человек в костюме, побитом молью,
проводит поезд, идущий, как все тут, к морю,
улыбается дочке, уезжающей на Восток.
Раздается свисток.

И бескрайнее небо над черепицей
тем синее, чем громче птицей
оглашаемо. И чем громче поет она,
тем все меньше видна.

1976

Полярный исследователь

Все собаки съедены. В дневнике
не осталось чистой страницы. И бисер слов
покрывает фото супруги, к ее щеке
мушку даты сомнительной приколов.
Дальше – снимок сестры. Он не щадит сестру:
речь идет о достигнутой широте!
И гангрена, чернея, взбирается по бедру,
как чулок девицы из варьете.

22 июля 1978

* * *

М. Б.

Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной
струн, продолжающая коричневеть в гостиной,
белеть а-ля Казимир на выстиранном просторе,
темнеть – особенно вечером – в коридоре,
спой мне песню о том, как шуршит портьера,
как включается, чтоб оглушить полтела,
тень, как лиловая муха сползает с карты
и закат в саду за окном точно дым эскадры,
от которой осталась одна матроска,
позабывтая в детской. И как расческа
в кулаке дрессировщика-турка, как рыбку – леской,
возвышает болонку над Ковалевской
до счастливого случая тьякнуть сорок
раз в день рожденья, – и мокрый порох
гасит звезды салюта, громко шипя, в стакане,
и стоят графины кремлем на ткани.

22 июля 1978

* * *

Восславим приход весны! Ополоснем лицо,
чирьи прижжем проверенным креозотом

и выйдем в одной рубахе босиком на крыльцо,
и в глаза ударит свежестью! горизонтом!
будущим! Будущее всегда
наполняет землю зерном, голоса – радушьем,
наполняет часы ихним туда-сюда;
вздрагнув, себя застаешь в грядущем.
Весной, когда крик пернатых будит леса, сады,
вся природа, от ящериц до оленей,
устремлена туда же, куда ведут следы
государственных преступлений.

<1978>

* * *

Время подсчета цыплят ястребом; скирд в тумане,
мелочи, обжигающей пальцы, звеня в кармане;
северных рек, чья волна, замерзая в устье,
вспоминает истоки, южное захолустье
и на миг согревается. Время коротких суток,
снимаемого плаща, разбухших ботинок, судорог
в желудке от желтой вареной брюквы;
сильного ветра, треплющего хоругви
листолюбивого воинства. Пора, когда дело терпит,
дни на одно лицо, как Ивановы-братья,
и кору задирает жадный, бесстыдный трепет
пальцев. Чем больше пальцев, тем меньше платья.

<1978>

Полдень в комнате

I

Полдень в комнате. Тот покой,
когда наяву, как во
сне, пошевелив рукой,
не изменить ничего.

Свет проникает в окно, слепя.

Солнце, войдя в зенит,
луч кладя на паркет, себя
этим деревенит.

Пыль, осевшая в порах скул.

Калорифер картав.

Тело, застыв, продлевает стул.

Выглядит, как кентавр

II

вспять оглянувшийся: тень, затмив

профиль, чье ремесло -

затвердевать, уточняет миф,

повторяя число

членов. Их переход от слов

к цифрам не удивит.

Глаз переводит, моргнув, число в

несовершенный вид.

Воздух, в котором ни встать, ни сесть,
ни, тем более, лечь,
воспринимает «четыре», «шесть»,
«восемь» лучше, чем речь.

III

Я родился в большой стране,
в устье реки. Зимой
она всегда замерзала. Мне
не вернуться домой.

Мысль о пространстве рождает «ах»,
оперу, взгляд в лорнет.
В цифрах есть нечто, чего в словах,
даже крикнув их, нет.

Птица щебечет, из-за рубежа
вернувшись в свое гнездо.
Муха бьется в стекле, жужжа
как «восемьдесят». Или – «сто».

IV

Там был город, где, благодаря
точности перспектив,
было вдогонку бросаться зря,
что-либо упустив.

Мост над замерзшей рекой в уме
сталью своих хрящей
мысли рождает о другой зиме -
то есть, зиме вещей,

где не встретить следов; рельеф
выглядит, как стекло.
Только маятник, замерев,
источает тепло.

V

Воздух, бесцветный и проч., зато
необходимый для
существования, есть ничто,
эквивалент нуля.

Странно отсчитывать от него
мебель, рога лося,
себя; задумываться, «ого»
в итоге произнося.

Взятая в цифрах, вещь может дать
тамерланову тьму,
род астрономии. Что подстать
воздуху самому.

VI

Там были также ряды колонн,
забрёдшие в те снега,
как захваченные в полон,
раздетые донага.

В полдень, гордясь остротой угла,
как возвращенный луч,
обезболивала игла
содержимое туч.

Слово, сказанное наугад,
вслух, даже слово лжи,
воспламеняло мозг, как закат
верхние этажи.

VII

Воздух, в сущности, есть плато,
пат, вечный шах, тщета,
ничья, классическое ничто,
гегелевская мечта.

Что исторгает из глаз ручьи.

Полдень. Со стороны
мозг неподвижной пластинки, чьи
бороздки засорены.

Полдень; жевательный аппарат
пробует завести,
кашлянув, плоский пи-эр-квадрат -
музыку на кости.

VIII

Там были комнаты. Их размер
порождал ералаш,
отчего потолок, в чей мел
взор устремлялся ваш,

только выигрывал. Зеркала
копили там дотемна
пыль, оседавшую, как зола
Геркуланума, на

обитателей. Стопки книг,
стулья, в окне – слюда
инея. То, что случилось в них,
случалось там навсегда.

IX

Звук уступает свету не в
скорости, но в вещах,
внятных даже окаменев,
обветшав, обнищав.

Оба преломлены, искажены,
сокращены: сперва -
до потемок, до тишины;
превращены в слова.

Можно вспомнить закат в окне,
либо – мольбу, отказ.
Оба счастливы только вне
тела. Вдали от нас.

Х

Я был скорее звуком, чем -
стыдно сказать – лучом
в царстве, где торжествует чернь,
прикидываясь грачом

в воздухе. Я ночевал в ушных
раковинах: ласкал
впадины, как иной жених -
выпуклости; пускал

петуха. Но, устремляясь ввысь,
звук скидывает балласт:
сколько в зеркало не смотришь,
оно эха не даст.

XI

Там принуждали носить пальто,
ибо холод лепил
тело, забытое теми, кто
раньше его любил,

мраморным. Т. е. без легких, без
имени, черт лица,
в нише, на фоне пустых небес,
на карнизе дворца.

Там начинало к шести темнеть.
В восемь хотелось лечь.
Но было естественней каменеть
в профиль, утратив речь.

XII

Двуногое – впрочем, любая тварь
(ящерица, нетопырь) -
прячет в своих чертах букварь,
клеточную цифирь.

Тело, привыкшее к своему
присутствию, под ремнем
и тканью, навязывает уму
будущее. Мысль о нем.

Что – лишнее! Тело в анфас уже
само есть величина!
сумма! Особенно – в неглиже,
и лампа не включена.

XIII

В будущем цифры рассеют мрак.
Цифры не умира.
Только меняют порядок, как
телефонные номера.

Сонм их, вечным пером привит
к речи, расширит рот,
удлинит собой алфавит;
либо наоборот.

Что будет выглядеть, как мечтой
взысканная земля
с синей, режущей глаз чертой -
горизонтом нуля.

XIV

Или – как город, чья красота,
неповторимость чья
была отраженьем своим сыта,
как Нарцисс у ручья.

Так размножаются камень, вещь,
воздух. Так зрелый муж,
осознавший свой жуткий вес,
не избегает луж.

Так, по выпуклому лицу
памяти всеми пятью скребя,
ваше сегодня, подстать слепцу,
опознает себя.

XV

В будущем, суть в амальгаме, суть
в отраженном вчера
в столбике будет падать ртуть,
летом – жужжать пчела.

Там будут площади с эхом, в сто
превосходящим раз
звук. Что только повторит то,
что обнаружит глаз.

Мы не умрем, когда час придет!
Но посредством ногтя
с амальгамы нас соскребет
какое-нибудь дитя!

XVI

Знай, что белое мясо, плоть,
искренний звук, разгон
мысли ничто не повторит – хоть
наплоди легион.

Но, как звезда через тыщу лет,
ненужная никому,
что не так источает свет,
как поглощает тьму,

следуя дальше, чем тело, взгляд
глаз, уходя вперед,
станет назад посылать подряд
все, что в себя вберет.

<1978>

* * *

Пора забыть верблюжий этот гам
и белый дом на улице Жуковской. Анна Ахматова

Помнишь свалку вещей на железном стуле,
то, как ты подпевала бездумному "во саду ли,
в огороде", бренчавшему вечером за стеною;
окно, завешанное выстиранной простынею?

Непроходимость двора из-за сугробов, щели,
куда задувало не хуже, чем в той пещере,
преграждали доступ царям, пастухам, животным,
оставляя нас греться теплом животным
да армейской шинелью. Что напевала вьюга
переходящим за полночь в сны друг друга,
ни пружиной не скрипнув, ни половицей,
неповторимо ни голосом наяву, ни птицей,
прилетевшей из Ялты. Настоящее пламя
пожирало внутренности игрушечного аэроплана
и центральный орган державы плоской,
где китайская грамота смешана с речью польской.
Не отдернуть руки, не избежать ожога,
измеряя градус угла чужого
в геометрии бедных, чей треугольник кратный
увенчан пыльной слезой стоваттной.
Знаешь, когда зима тревожит бор Красноносом,
когда торжество крестьянина под вопросом,
сказуемое, ведомое подлежащим,
уходит в прошедшее время, жертвуя настоящим,
от грамматики новой на сердце пряча
окончание шепота, крика, плача.

<1978>

Строфы

М. Б.

I

Наподобье стакана,

оставившего печать
на скатерти океана,
которого не перекричать,
светило ушло в другое
полушарие, где
оставляют в покое
только рыбу в воде.

II

Вечером, дорогая,
здесь тепло. Тишина
молчанием попугая
буквально завершена.
Луна в кусты чистотела
льет свое молоко:
неприкосновенность тела,
зашедшая далеко.

III

Дорогая, что толку
пререкаться, вникать
в случившееся. Иголку
больше не отыскать
в человеческом сене.
Впору вскочить, разя
ть; либо – вместе со всеми
передвигать ферзя.

IV

Все, что мы звали личным,

что копили, греша,
время, считая лишним,
как прибой с голыша,
стачивает – то лаской,
то посредством резца -
чтобы кончить цикладской
вещью без черт лица.

V

Ах, чем меньше поверхность,
тем надежда скромней
на безупречную верность
по отношению к ней.
Может, вообще пропажа
тела из виду есть
со стороны пейзажа
дальнозоркости месь.

VI

Только пространство корысть
в тычущем вдаль персте
может найти. И скорость
света есть в пустоте.
Так и портится зренья:
чем ты дальше проник;
больше, чем от старенья
или чтения книг.

VII

Так же действует плотность

тьмы. Ибо в смысле тьмы
у вертикали плоскость
сильно берет займы.
Человек – только автор
сжатого кулака,
как сказал авиатор,
уходя в облака.

VIII

Чем безнадежней, тем как-то
проще. Уже не ждешь
занавеса, антракта,
как пылкая молодежь.
Свет на сцене, в кулисах
меркнет. Выходишь прочь
в рукоплесканье листьев,
в американскую ночь.

IX

Жизнь есть товар на вынос:
торса, пениса, лба.
И географии примесь
к времени есть судьба.
Нехотя, из-под палки
признаешь эту власть,
подчиняешься Парке,
обожаящей прясть.

X

Жухлая незабудка

мозга кривит мой рот.
Как тридцать третья буква,
я пячусь всю жизнь вперед.
Знаешь, все, кто далече,
по ком голосит тоска -
жертвы законов речи,
запятых языка.

XI

Дорогая, несчастных
нет! нет мертвых, живых.
Все – только пир согласных
на их ножках кривых.
Видно, сильно превысил
свою роль свинопас,
чей нетронутый бисер
переживет всех нас.

XII

Право, чем гуще россыпь
черного на листе,
тем безразличней особь
к прошлому, к пустоте
в будущем. Их соседство,
мало проча добра,
лишь ускоряет бегство
по бумаге пера.

XIII

Ты не услышишь ответа,

если спросишь «куда»,
так как стороны света
сводятся к царству льда.
У языка есть полюс,
север, где снег сквозит
сквозь Эльзевир; где голос
флага не водрузит.

XIV

Бедность сих строк – от жажды
что-то спрятать, сберечь;
обернуться. Но дважды
в ту же постель не лечь.
Даже если прислуга
там не сменит белье.
Здесь – не Сатурн, и с круга
не соскочить в нее.

XV

С той дурной карусели,
что воспел Гесиод,
сходят не там, где сели,
но где ночь застаёт.
Сколько глаза ни колешь
тьмой – расчетом благим
повторимо всего лишь
слово: словом другим.

XVI

Так барашка на вертел

нижут, разводят жар.
Я, как мог, обессмертил
то, что не удержал.
Ты, как могла, простила
все, что я натворил.
В общем, песня сатира
вторит шелесту крыл.

XVII

Дорогая, мы квиты.
Больше: друг к другу мы
точно оспа привиты
среди общей чумы.
Лишь объекту злоречья
вместе с шансом в пятно
уменьшаться, предплечье
в утешенье дано.

XVIII

Ах, за щедрость пророчеств -
дней грядущих шантаж -
как за бич наших отчеств,
память, много не дашь.
Им присуща, как аист
свертку, приторность кривд.
Но мы живы, покамест
есть прощенье и шрифт.

XIX

Эти вещи сольются

в свое время в глазу
у воззрившихся с блюдца
на пестроту внизу.

Полагаю, и вправду
хорошо, что мы врозь -
чтобы взгляд астронавту
напрягать не пришлось.

XX

Вынь, дружок, из кивота
лик Пречистой Жены.
Вставь семейное фото -
вид планеты с луны.
Снять нас вместе мордатый
не сподобился друг,
проморгал соглядатай;
в общем, всем недосуг.

XXI

Неуместней, чем ящер
в филармонии, вид
нас вдвоем в настоящем.
Тем верней удивит
обитателей завтра
разведенная смесь
сильных чувств динозавра
и кириллицы смесь.

XXII [72]

Все кончается скукой,

а не горечью. Но
это новой наукой
плохо освещено.
Знавший истину стоик -
стоик только на треть.
Пыль садится на столик,
и ее не стереть.

XXII

Эти строчки по сути
болтовня старика.
В нашем возрасте судьи
удлиняют срока.
Иванову. Петрову.
Своей хрупкой кости.
Но свободному слову
не с кем счеты свести.

XXIII

Так мы лампочку тушим,
чтоб сшибить табурет.
Разговор о грядущем -
тот же старческий бред.
Лучше все, дорогая,
доводить до конца,
темноте помогая
мускулами лица.

XXIV

Вот конец перспективы

нашей. Жаль, не длинней.

Дальше – дивные дивы
времени, лишних дней,
скачек к финишу в шорах
городов, и т. п.;
лишних слов, из которых
ни одно о тебе.

XXV

Около океана,
летней ночью. Жара
как чужая рука на
темени. Кожура,
снятая с апельсина,
жухнет. И свой обряд,
как жрецы Элевсина,
мухи над ней творят.

XXVI

Облокотясь на локоть,
я слушаю шорох лип.
Это хуже, чем грохот
и знаменитый всхлип.
Это хуже, чем детям
сделанное «бо-бо».
Потому что за этим
не следует ничего.

1978

К. Х.

Когда снег заметает море и скрип сосны
оставляет в воздухе след глубже, чем санный полоз,
до какой синевы могут дойти глаза? до какой тишины
может упасть безучастный голос?
Пропадая без вести из виду, мир вовне
сводит счеты с лицом, как с заложником Мамелюка.
...так моллюск фосфоресцирует на океанском дне,
так молчанье в себя вбирает всю скорость звука,
так довольно спички, чтобы разжечь плиту,
так стенные часы, сердцебиенью вторя,
остановившись по эту, продолжают идти по ту
сторону моря.

1975

* * *

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озираю полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,

надевал на себя что сызнава входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.

Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнания, не оставляя корок.

Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.

Только с горем я чувствую солидарность.

Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

24 мая 1980

* * *

Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве.

В эту пору – разгул Пинкертонам,
и себя настагаешь в любом естестве
по небрежности оттиска в оном.

За такие открытия не требуют мзды;
тишина по всему околотку.

Сколько света набилось в осколок звезды,
на ночь глядя! как беженцев в лодку.

Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота,
отщепенец, стервец, вне закона.

За душой, как ни шарь, ни черта. Из рта -
пар клубами, как профиль дракона.

Помолись лучше вслух, как второй Назорей,
за бредущих с дарами в обеих

половинках земли самозванных царей
и за всех детей в колыбелях.

1980

Стихи о зимней кампании 1980-го года

«В полдневный зной в долине Дагестана...» М. Ю. Лермонтов

I

Скорость пули при низкой температуре
сильно зависит от свойств мишени,
от стремленья согреться в мускулатуре
торса, в сложных переплетеньях шеи.
Камни лежат, как второе войско.
Тень вжимается в суглинок поневоле.
Небо – как осыпающаяся известка.
Самолет растворяется в нем наподобье моли.
И пружиной из вспоротого матраца
поднимается взрыв. Брызгающая воронкой,
как сбежавшая пенка, кровь, не успев впитаться
в грунт, покрывается твердой пленкой.

II

Север, пастух и сеятель, гонит стадо
к морю, на Юг, распространяя холод.
Ясный морозный полдень в долине Чучмекистана.
Механический слон, задирая хобот
в ужасе перед черной мышью
мины в снегу, изрыгает к горлу
подступивший комок, одержимый мыслью,

как Магомет, сдвинуть с места гору.
Снег лежит на вершинах; небесная кладовая
отпускает им в полдень сухой избыток.
Горы не двигаются, передавая
свою неподвижность телам убитых.

III

Заунывное пение славянина
вечером в Азии. Мерзнущая, сырая
человеческая свинина
лежит на полу караван-сарая.
Тлеет кизяк, ноги окоченели;
пахнет тряпьем, позабытой баней.
Сны одинаковы, как шинели.
Больше патронов, нежели воспоминаний,
и во рту от многих «ура» осадок.
Слава тем, кто, не поднимая взора,
шли в абортарий в шестидесятых,
спасая отечество от позора!

IV

В чем содержанье жужжанья трутня?
В чем – летательного аппарата?
Жить становится так же трудно,
как строить домик из винограда
или – карточные ансамбли.
Все неустойчиво (раз – и сдуло):
семьи, частные мысли, сакли.
Над развалинами аула
ночь. Ходя под себя мазутом,

стынет железо. Луна от страха
потонуть в сапоге разутом
прячется в тучи, точно в чалму Аллаха.

V

Праздный, никем не вдыхаемый больше воздух.

Ввезенная, сваленная как попало
тишина. Растущая, как опара,
пустота. Существовай на звездах
жизнь, раздались бы аплодисменты,
к рампе бы выбежал артиллерист, мигая.
Убийство – наивная форма смерти,
тавтология, ария попугая,
дело рук, как правило, цепкой бровью
муху жизни ловящей в своих прицелах
молодежи, знакомой с кровью
понаслышке или по ломке целок.

VI

Натяни одеяло, вырой в трухе матраса
ямку, заляг и слушай «уу» сирены.
Новое оледененье – оледененье рабства
наползает на глобус. Его морены
подминают державы, воспоминанья, блузки.
Бормоча, выкатывая орбиты,
мы превращаемся в будущие моллюски,
бо никто нас не слышит, точно мы трилобиты.
Дует из коридора, скважин, квадратных окон.
Поверни выключатель, свернись в калачик.
Позвоночник чтит вечность. Не то что локон.

Утром уже не встать с карачек.

VII

В стратосфере, всеми забыта, сучка
лает, глядя в иллюминатор.
«Шарик! Шарик! Прием. Я – Жучка».
Шарик внизу, и на нем экватор.
Как ошейник. Склоны, поля, овраги
повторяют своей белизною скулы.
Краска стыда вся ушла на флаги.
И в занесенной подклети куры
тоже, вздрагивая от побудки,
кладут непорочного цвета яйца.
Если что-то чернеет, то только буквы.
Как следы уцелевшего чудом зайца.

1980

* * *

М. Б.

То не Муза воды набирает в рот.
То, должно, крепкий сон молодца берет.
И махнувшая вслед голубым платком
наезжает на грудь паровым катком.

И не встать ни раком, ни так словам,
как назад в осиновый строй дровам.

И глазами по наволочке лицо
растекается, как по сковороде яйцо.

Горячей ли тебе под сукном шести
одеял в том садке, где – Господь прости -
точно рыба – воздух, сырой губой
я хватал то, что было тогда тобой?

Я бы заячьи уши пришил к лицу,
наглотался б в лесах за тебя свинцу,
но и в черном пруду из дурных коряг
я бы всплыл пред тобой, как не смог «Варяг».

Но, видать, не судьба, и года не те.
И уже седина стыдно молвить – где.
Больше длинных жил, чем для них кровей,
да и мысли мертвых кустов кривей.

Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него – и потом сотри.

1980

Эклога 4-я (зимняя)

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas:

magnus ab integro saeculorum nascitur ordo...[73] Virgil. Eclogue IV

Дереку Уолкотту

Зимой смеркается сразу после обеда.

В эту пору голодных нетрудно принять за сытых.

Зевок загоняет в берлогу простую фразу.

Сухая, сгущенная форма света -

снег – обрекает ольшаник, его засыпав,

на бессоницу, на доступность глазу

в темноте. Роза и незабудка

в разговорах всплывают все реже. Собаки с вялым

энтузиазмом кидаются по следу, ибо сами

оставляют следы. Ночь входит в город, будто

в детскую: застаёт ребенка под одеялом;

и перо скрипит, как чужие сани.

II

Жизнь моя затянулась. В речитативе вьюги

обострившийся слух различает невольно тему

оледенения. Всякое «во-саду-ли»

есть всего-лишь застывшее «буги-вуги».

Сильный мороз суть откровенье телу

о его грядущей температуре

либо – вздох Земли о ее богатом
галактическом прошлом, о злом морозе.
Даже здесь щека пунцовеет, как редиска.
Космос всегда отливает слепым агатом,
и вернувшееся восвояси «морзе»
попискивает, не застав радиста.

III

В февралю лиловеют заросли краснотала.
Неизбежная в профиле снежной бабы
дорожает морковь. Ограниченный бровью,
взгляд на холодный предмет, на кусок металла,
лютей самого металла – дабы
не пришлось его с кровью

отдирать от предмета. Как знать, не так ли
озирал свой труд в день восьмой и после
Бог? Зимой, вместо сбора ягод,
затыкают щели кусками пакли,
охотней мечтают об общей пользе,
и вещи становятся старше на год.

IV

В стужу панель подобна сахарной карамели.
Пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую.
Реже снятся дома, где уже не примут.
Жизнь моя затянулась. По крайней мере,
точных примет с лихвой хватило бы на вторую
жизнь. Из одних примет можно составить климат

либо пейзаж. Лучше всего безлюдный,
с девственной белизной за пеленою кружев,
– мир, не слышавший о лондонах и парижках,
мир, где рассеянный свет – генератор будней,
где в итоге вздрагиваешь, обнаружив,
что и тут кто-то прошел на лыжах.

V

Время есть холод. Всякое тело, рано
или поздно, становится пищею телескопа:
остывает с годами, удаляется от светила.
Стекло зацветает сложным узором: рама
суть хрустальные джунгли хвоща, укропа
и всего, что взрастило

одинокчество. Но, как у бюста в нише,
глаз зимой скорее закатывается, чем плачет.
Там, где роятся сны, за пределом зренья,
время, упавшее сильно ниже
нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик
шалуна из русского стихотворенья.

VI

Жизнь моя затянулась. Холод похож на холод,
время – на время. Единственная преграда -
теплое тело. Упрямое, как ослица,
стоит оно между ними, поднявши ворот,

как пограничник держась приклада,
грядущему не позволяя слиться

с прошлым. Зимой на самом деле
вторник он же суббота. Днем легко ошибиться:
свет уже выключили или еще не включили?
Газеты могут печататься раз в неделю.
Время глядится в зеркало, как певица,
позабывшая, что это – «Тоска» или «Лючия».

VII

Сны в холодную пору длинней, подробней.
Ход конем лоскутное одеяло
заменяет на досках паркета прыжком лягушки.
Чем больше лютует пурга над кровлей,
тем жарче требует идеала
голое тело в тряпичной гуще.

И вам снятся настурции, бурный Терек
в тесном ущелье, мушиный куколь
между стеной и торцом буфета:
праздник кончиков пальцев в плену бретелек.
А потом все стихает. Только горячий уголь
тлеет в серой золе рассвета.

VIII

Холод ценит пространство. Не обнажая сабли,
он берет урочища, веси, грады.

Населенье сдается, не сняв треуха.

Города – особенно, чьи ансамбли,
чьи пилястры и колоннады
стоят как пророки его триумфа,

смутно белея. Холод слетает с неба
на парашюте. Всяческая колонна
выглядит пятой, жаждет переворота.
Только ворона не принимает снега,
и вы слышите, как кричит ворона
картавым голосом патриота.

IX

В феврале чем позднее, тем меньше ртути.

Т. е. чем больше времени, тем холоднее. Звезды
как разбитый термометр: каждый квадратный метр
ночи ими усеян, как при салюте.

Днем, когда небо под стать известке,
сам Казимир бы их не заметил,

белых на белом. Вот почему незримы
ангелы. Холод приносит пользу
ихнему воинству: их, крылатых,
мы обнаружили бы, воззри мы
вправду горе, где они как по льду
скользят белофиннами в маскхалатах.

X

Я не способен к жизни в других широтах.

Я нанизан на холод, как гусь на вертел.

Слава голой березе, колючей ели,

лампочке желтой в пустых воротах,

– слава всему, что приводит в движенье ветер!

В зрелом возрасте это – вариант колыбели,

Север – честная вещь. Ибо одно и то же

он твердит вам всю жизнь – шепотом, в полный голос

в затянувшейся жизни – разными голосами.

Пальцы мерзнут в унтах из оленьей кожи,

напоминая забравшемуся на полюс

о любви, о стоянии под часами.

XI

В сильный мороз даль не поет сиреной.

В космосе самый глубокий выдох

не гарантирует вдоха, уход – возврата.

Время есть мясо немой Вселенной.

Там ничего не тикает. Даже выпав

из космического аппарата,

ничего не поймаете: ни фокстрота,

ни Ярославны, хоть на Путивль настроясь.

Вас убивает на внеземной орбите

отнюдь не отсутствие кислорода,

но избыток Времени в чистом, то есть

без примеси вашей жизни, виде.

XII

Зима! Я люблю твою горечь клюквы
к чаю, блюда с дольками мандарина,
твой миндаль с арахисом, граммов двести.
Ты раскрываешь цыплячьи клювы
именами «Ольга» или «Марина»,
произносимыми с нежностью только в детстве

и в тепле. Я пою синеву сугроба
в сумерках, шорох фольги, чистоту бемоля -
точно «чижика» где подбирает рука Господня.
И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого
города, мерзнувшего у моря,
меня согревают еще сегодня.

XIII

В определенном возрасте время года
совпадает с судьбой. Их роман недолог,
но в такие дни вы чувствуете: вы правы.
В эту пору неважно, что вам чего-то
не досталось; и рядовой фенолог
может описывать быт и нравы.

В эту пору ваш взгляд отстает от жеста.
Треугольник больше не пылкая теорема:
все углы затянула плотная паутина,
пыль. В разговорах о смерти место

играет все большую роль, чем время,
и слюна, как полтина,

XIV

обжигает язык. Реки, однако, вчуже
скованы льдом; можно надеть рейтузы;
прикрутить к ботинку железный полоз.
Зубы, устав от чечетки стужи,
не стучат от страха. И голос Музы
звучит как сдержанный, частный голос.

Так рождается эклога. Взамен светила
загорается лампа: кириллица, грешным делом,
разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли,
знает больше, чем та сивилла,
о грядущем. О том, как чернеть на белом,
покуда белое есть, и после.

1980

* * *

Восходящее желтое солнце следит косыми
глазами за мачтами голой рощи,
идущей на всех парах к Цусиме
крещенских морозов. Февраль короче
прочих месяцев и оттого лютее.
Кругосветное плавание, дорогая,
лучше кончить, руку согнув в локте и

вместе с дредноутом догорая
в недрах камина. Забудь Цусиму!
Только огонь понимает зиму.
Золотистые лошади без уздечек
масть в дымоходе меняют на масть воронью.
И в потемках стрекочет огромный черный кузнечик,
которого не накрыть ладонью.

1978

* * *

Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою.
И она скукоживается на глазах, под рукою.
Зеленая нитка, следом за голубою,
становится серой, коричневой, никакою.
Уж и краешек, вроде, виден того батиста.
Ни один живописец не напишет конец аллеи.
Знать, от стирки платье невесты быстрее садится,
да и тело не делается белее.
То ли сыр пересох, то ли дыханье сперло.
Либо: птица в профиль ворона, а сердцем – кенар.
Но простая лиса, перегрызая горло,
не разбирает, где кровь, где тенор.

<1980>

Пьяцца Маттеи

I

Я пил из этого фонтана

в ущелье Рима.

Теперь, не замочив кафтана,
канаю мимо.

Моя подружка Микелина
в порядке штрафа
мне предпочла кормить павлина
в имени графа.

II

Граф, в сущности, совсем не мерзок:

он сед и строен.

Я был с ним по-российски дерзок,
он был расстроен.

Но что трагедия, измена
для славянина,
то ерунда для джентльмена
и дворянина.

III

Граф выиграл, до клубнички лаком,

в игре без правил.

Он ставит Микелину раком,
как прежде ставил.

Я тоже, впрочем, не в накладе:
и в Риме тоже
теперь есть место крикнуть «Бляди!»,
вздохнуть «О Боже».

IV

Не смешивает пахарь с пашней

плодов плачевных.

Потери, точно скот домашний,
блюдет кочевник.

Чем был бы Рим иначе? гидом,
толпой музея,
автобусом, отелем, видом
Терм, Колизея.

V

А так он – место грусти, выи,
склоненной в баре,
и двери, запертой на виа
дельи Фунари.

Сидишь, обдумывая строчку,
и, пригорюнясь,
глядишь в невидимую точку:
почти что юность.

VI

Как возвышает это дело!

Как в миг печали
все забываешь: юбку, тело,
где, как кончали.

Пусть ты последняя рванина,
пыль под забором,
на джентльмена, дворянина
кладешь с прибором.

VII

Нет, я вам доложу, утрата,

завал, непруха
из вас творят аристократа
хотя бы духа.
Забудем о дешевом графе!
Заломим брови!
Поддать мы в миг печали вправе
хоть с принцем крови!

VIII

Зима. Звенит хрусталь фонтана.
Цвет неба – синий.
Подсчитывает трамонтана
иголки пиний.
Что год от февраля отрезал,
он дрожью роздал,
и кутается в тогу цезарь
(верней, апостол).

IX

В морозном воздухе, на редкость
прозрачном, око,
невольно наводясь на резкость,
глядит далеко -
на Север, где в чаду и в дыме
кует червонцы
Европа мрачная. Я – в Риме,
где светит солнце!

X

Я, пасынок державы дикой

с разбитой мордой,
другой, не менее великой
приемыш гордый, -
я счастлив в этой колыбели
Муз, Права, Граций,
где Назо и Вергилий пели,
вещал Гораций.

XI

Попробуем же отстраниться,
взять век в кавычки.
Быть может, и в мои страницы
как в их таблички,
кириллицею не побрезгав
и без ущерба
для зренья, главная из Резвых
взглянет – Эвтерпа.

XII

Не в драчке, я считаю, счастье
в чертоге царском,
но в том, чтоб, обручив запястье
с котлом швейцарским,
остаток плоти терракоте
подвергнуть, сини,
исколотой Буонаротти
и Борромини.

XIII

Спасибо, Парки, Провиденье,

ты, друг-издатель,
за перечисленные деньги.
Сего податель
векам грядущим в назиданье
пьет шоколатта
кон панна в центре мироздания
и циферблата!

XIV

С холма, где говорил октавой
порой иною
Тасс, созерцаю величавый
вид. Предо мною -
не купола, не черепица
со Св. Отцами:
то – мир вскормившая волчица
спит вверх сосцами!

XV

И в логове ее я – дома!
Мой рот оскален
от радости: ему знакома
судьба развалин.
Огрызок цезаря, атлета,
певца тем паче
есть вариант автопортрета.
Скажу иначе:

XVI

усталый раб – из той породы,

что зрим все чаще -
под занавес глотнул свободы.
Она послаще
любви, привязанности, веры
(креста, овала),
поскольку и до нашей эры
существовала.

XVII

Ей свойственно, к тому ж, упрямство.

Покуда Время
не поглупеет как Пространство
(что вряд ли), семя
свободы в злом чертополохе,
в любом пейзаже
даст из удушливой эпохи
побег. И даже

XVIII

сорвись все звезды с небосвоа,
исчезни местность,
все ж не оставлена свобода,
чья дочь – словесность.
Она, пока есть в горле влага,
не без приюта.
Скрипи, перо. Черней, бумага.
Лети, минута.

февраль 1981

Горение

М. Б.

Зимний вечер. Дрова
охваченные огнем -
как женская голова
ветреным ясным днем.

Как золотиться прядь,
слепотою грозя!
С лица ее не убрать.
И к лучшему, что нельзя.

Не провести пробор,
гребнем не разделить:
может открыться взор,
способный испепелить.

Я всматриваюсь в огонь.
На языке огня
раздается «не тронь»
и вспыхивает «меня!»

От этого – горячо.
Я слышу сквозь хруст в кости

захлебывающееся «еще!»
и бешеное «пусти!»

Пылай, пылай предо мной,
рваное, как блатной,
как безумный портной,
пламя еще одной

зимы! Я узнаю
патлы твои. Твою
завивку. В конце концов -
раскаленность щипцов!

Ты та же, какой была
прежде. Тебе не впрок
раздевшийся догола,
скинувший все швырок.

Только одной тебе
и свойственно, вещь губя,
приравниванье к судьбе
сжигаемого – себя!

Впивающееся в нутро,
взвивающееся вовне,

наряженное пестро,
мы снова наедине!

Это – твой жар, твой пыл!
Не отпирайся! Я
твой почерк не позабыл,
обугленные края.

Как ни скрывай черты,
но предаст тебя суть,
ибо никто, как ты,
не умел захлестнуть,

выдохнуться, воспрясть,
метнуться наперерез.
Назорею б та страсть,
воистину бы воскрес!

Пылай, полыхай, греши,
захлебывайся собой.
Как менада пляши
с закушенной губой.

Вой, трепещи, тряси
вволю плечом худым.

Тот, кто вверху еси,
да глотает твой дым!

Так рвутся, треща, шелка,
обнажая места.
То промелькнет щека,
то полыхнут уста.

Так рушатся корпуса,
так из развалин икр
прядают, небеса
вызвездив, сонмы искр.

Ты та же, какой была.
От судьбы, от жилья
после тебя – зола,
тусклые уголья,

холод, рассвет, снежок,
пляска замерзших розг.
И как сплошной ожог -
не удержавший мозг.

1981

Прилив

I

В северной части мира я отыскал приют,
в ветреной части, где птицы, слетев со скал,
отражаются в рыбах и, падая вниз, клюют
с криком поверхность рябых зеркал.

Здесь не прийти в себя, хоть запишись на ключ.

В доме – шаром покати, и в станке – кондей.

Окно с утра занавешено рванью туч.

Мало земли, и не видать людей.

В этих широтах панует вода. Никто

пальцем не ткнет в пространство, чтоб крикнуть: «вон!»

Горизонт себя выворачивает, как пальто,

наизнанку с помощью рыхлых волн.

И себя отличить не в силах от снятых брюк,

от висящей фуфайки – знать, чувств в обрез

либо лампа темнит – трогаешь ихний крюк,

чтобы, руку отдернув, сказать: «воскрес».

II

В северной части мира я отыскал приют,

между сырым аквилоном и кирпичом,

здесь, где подковы волн, пока их куют,

обрастают гривой и ни на чем

не задерживаются, точно мозг, топя
в завитках перманента набрякший перл.
Тот, кто привел их в движение, на себя
приучить их оглядываться не успел!

Здесь кривится губа, и не стоит базлать
про квадратные вещи, ни про свои черты,
потому что прибой неизбежнее, чем базальт,
чем прилипший к нему человек, чем ты.

И холодный порыв затолкает обратно в пасть
лай собаки, не то, что твои слова.
При отсутствии эха вещь, чтоб ее украсть,
увеличить приходится раза в два.

III

В ветреной части мира я отыскал приют.
Для нее я – присохший ком, но она мне – щит.
Здесь меня найдут, если за мной придут,
потому что плотная ткань завсегда морщит

в этих широтах цвета дурных дрожжей;
карту избавив от пограничных дряг,
точно скатерть, составленная из толчеи ножей,
расстиляется, издавая лязг.

И, один приглашенный на этот бескрайний пир,
я о нем отзовусь, кости не в пример, тепло.
Потому что, как ни считай, я из чаши пил
больше, чем по лицу текло.

Нелюдей от живых хорошо отличать в длину.
Но покуда Борей забираться в скулу горазд
и пока толковище в разгаре, пока волну
давит волна, никто тебя не продаст.

IV

В северной части мира я водрузил кирпич!
Знай, что душа со временем пополам
может все повторить, как попугай, опричь
непрерывности, свойственной местным сырым делам!

Так, кромсая отрез, кравчик кричит: «сукно!»
Можно выдернуть нитку, но не найдешь иглы.
Плюс пустые дома стоят как давным-давно
отвернутые на бану углы.

В ветреной части мира я отыскал приют.
Здесь никто не крикнет, что ты чужой,
убирайся назад, и за постой берут
выцветаньем зрачка, ржавую чешуей.

И фонарь на молу всю ночь дребезжит стеклом,
как монах либо мусор, обутый в жесть.

И громоздкая письменность с ревом идет на слом,
никому не давая себя прочесть.

V

Повернись к стене и промолви: «я сплю, я сплю».

Одеяло серого цвета, и сам ты стар.

Может, за ночь под веком я столько снов накоплю,
что наутро море крикнет мне: «наверстал!»

Все равно, на какую букву себя послать,
человека всегда настигает его же храп,
и в исподнем запутавшись, где ералаш, где гладь,
шевелюсь, разбираешь, как донный краб.

Вот про что напевал, пряча плавник, лихой
небожитель, прощенного в профиль бледней греха,
заливая глаза на камнях ледяной ухой,
чтобы ты наострился слагать из костей И. Х.

Так впадает – куда, стыдно сказать – клешня.

Так следы оставляет в туче кто в ней парил.

Так белеет ступня. Так ступени кладут плашмя,
чтоб по волнам ступать, не держась перил.

Эклога 5-я (летняя)

Марго Пикен

I

Вновь я слышу тебя, комариная песня лета!

Потные муравьи спят в тени курослепа.

Муха сползает с пыльного эполета
лопуха, разжалованного в рядовые.

Выражение «ниже травы» впервые
означает гусениц. Буровые

вышки разросшегося кипрея

в джунглях бурьяна, вьюнка, пырея
синеют от близости эмпирея.

Салют бесцветного болиголова
сотрясаем грабками пожилого
богомолы. Темно-лилова,

сердцевина репейника напоминает мину,
взорвавшуюся как бы наполовину.

Дягиль тянется точно рука к графину.

И паук, как рыбачка, латает крепкой
ниткой свой невод, распятый терпкой
полынью и золотой сурепкой.

Жизнь – сумма мелких движений. Сумрак
в ножнах осоки, трепет пастушьих сумок,
меняющийся каждый миг рисунок
конского щавеля, дрожь люцерны,
чабреца, тимофеевки – драгоценны
для понимания законов сцены,

не имеющей центра. И злак, и плевел
в полдень отбрасывают на север
общую тень, ибо их посеял
тот же ветреный сеятель, кривотолки
о котором и по сей день не смолкли.
Вслушайся, как шуршат метелки

петушка-или-курочки! что лепечет
ромашки отрывистый чет и нечет!
как мать-и-мачеха им перечит,
как болтает, точно на грани бреда,
примятая лебедою Леда
нежной мяты. Лужайки лета,

освещенные солнцем! бездомный мотыль,
пирамида крапивы, жара и одурь.
Пагоды папортника. Поодаль -
анис, как рухнувшая колонна,
минарет шалфея в момент наклона -
травяная копия Вавилона,

зеленая версия Третьеримска!

где вправо сворачиваешь не без риска
вынырнуть слева. Все далеко и близко.

И кузнечик в погоне за балериной
капустницы, как герой былинный,
замирает перед сухой былинкой.

II

Воздух, бесцветный вблизи, в пейзаже
выглядит синим. Порою – даже
темно-синим. Возможно, та же
вещь случается с зеленью: удаленность
взора от злака и есть зеленость
оного злака. В июле склонность

флоры к разрыву с натуралистом,
дав потемнеть и набрякнуть листьям,
передается с загаром лицам.

Сумма красивых и некрасивых,
удаляясь и приближаясь, в силах
глаз измучить почище синих

и зеленых пространств. Окраска
вещи на самом деле маска
бесконечности, жадной к деталям. Масса,
увы, не кратное от деленья

энергии на скорость зренья
в квадрате, но ощущение тренья

о себе подобных. Вглядись в пространство!
в его одинаковое убранство
поблизосте и вдалеке! в упрямство,
с каким, независимо от размера,
зелень и голубая сфера
сохраняет колер. Это – почти что вера,

род фанатизма! Жужжанье мухи,
увязшей в липучке, – не голос муки,
но попытка автопортрета в звуке
"ж". Подобие алфавита,
тело есть знак размноженья вида
за горизонт. И пейзаж – лишь свита

убежавших в Азию, к стройным пальмам,
особей. Верное ставням, спальням,
утро в июле мусолит пальцем
пачки жасминовых ассигнаций,
лопаются стручки акаций,
и воздух прозрачнее комбинаций

спящей красавицы. Душный июль! Избыток
зелени и синевы – избытых

форм бытия. И в глазных орбитах -
остановившееся, как Аттила
перед мятым щитом, светило:
дальше попросту не хватило

означенной голубой кудели
воздуха. В одушевленном теле
свет узнает о своем пределе
и преломляется, как в итоге
длинной дороги, о чьем истоке
лучше не думать. В конце дороги -

III

бабочки, мальвы, благоуханье сена,
река вроде Оредежи или Сейма,
расположившиеся подле семьи
дачников, розовые наяды,
их рискованные наряды,
плеск; пронзительные рулады

соек тревожат прибрежный тальник,
скрывающий белизну опальных
мест у скидывающих купальник
в зарослях; запах хвои, обрывы
цвета охры; жара, наплывы
облаков; и цвета мелкой рыбы

волны. О, водоемы лета! Чаще
всего блестящие где-то в чаще
пруды или озера – части
воды, окруженные сушей; шелест
осоки и камышей, замшелость
коряги, нежная ряска, прелесть

желтых кувшинок, бесстрастность лилий,
водоросли – или рай для линий -
и шастающий, как Христос, по синей
глади жук-плавунец. И порою окунь
всплеснет, дабы окинуть оком
мир. Так высовываются из окон

и немедленно прячутся, чтоб не выпасть.

Лето! пора рубах на выпуск,
разговоров про ядовитость
грибов, о поганках, о белых пятнах
мухоморов, полемики об опятах
и сморчках; тишины объятых

сонным покоем лесных лужаек,
где в полдень истома глаза смежает,
где пчела, если вдруг ужалит,
то приняв вас сослепу за махровый
мак или за вещь, коровой
оставленную, и взлетает, пробой

обескуражена и громоздка.

Лес – как ломаная расческа.

И внезапная мысль о себе подростка:

«выше кустарника, ниже ели»

оглушает его на всю жизнь. И еле

видный жаворонок сыплет трели

с высоты. Лето! пора зубрежки

к экзаменам формул, орла и решки;

прыщи, бубоны одних, задержки

других – от страха, что не осилишь;

силуэты техникумов, училищ,

даже во сне. Лишь хлысты удилиц

с присвистом прочь отгоняют беды.

В образовавшиеся просветы

видны сандалии, велосипеды

в траве; никелированные педали

как петлицы кителей, как медали.

В их резине и в их металле

что-то от будущего, от века

Европы, железных дорог – чья ветка

и впрямь, как от порыва ветра,

дает зеленые полустанки -

лес, водочка, лицо крестьянки,
изгородь – и из твоей жестянки

расползаются вправо-влево
вырытые рядом со стенкой хлева
червяки. А потом – телега
с наваленными на нее кулями
и бегущий убранными полями
проселок. И где-то на дальнем плане

церковь – графином, суслоны, хаты,
крытые шифером с толью скаты
и стекла, ради чьих рам закаты
и существуют. И тень от спицы,
удлиняясь до польской почти границы,
бежит вдоль обочины за матерком возницы

как лохматая Жучка, она же Динка;
и ты глядишь на носок ботинка,
в зубах травинка, в мозгу блондинка
с каменной дачей – и в верхотуре
только журавль, а не вестник бури.
Слава нормальной температуре! -

на десять градусов ниже тела.
Слава всему, до чего есть дело.

Всему, что еще вам не надоело!
Рубашке болтающейся, подсохнув,
панаме, выглядящей, как подсолнух,
вальсу издалека «На сопках».

IV

Развевающиеся занавески летних
сумерек! крынками полный ледник,
сталин или хрущев последних
тонущих в треске цикад известий,
варенье, сделанное из местной
брусники. Обмазанные известкой

щиколотки яблоневого аллеи
чем темнее становится, тем белее;
а дальше высятся бармалеи
настоящих деревьев в сгущенной синьке
вечера. Кухни, зады, косынки,
слюдяная форточка керосинки

с адским пламенем. Ужины на верандах!
Картошка во всех ее вариантах.
Лук и редиска невероятных
размеров, укроп, огурцы из кадки,
помидоры, и все это – прямо с грядки,
и, наконец, наигравшись в прятки,

пыльные емкости! Копоть лампы.

Пляска теней на стене. Таланты
и поклонники этого действия. Латы
самовара и рафинад, от соли
отличаемый с помощью мухи. Соло
удода в малиннике. Или – ссоры

лягушек в канаве у сеновала.

И в латах кипящего самовара -
ужимки вытянутого овала,
шорох газеты, курлы отрыжек;
из гостиной доносится четкий «чижик»;
и мысль Симонида насчет лодыжек

избавляет на миг каленый
взгляд от обоев и ответвлений
боярышника: вид коленей
всегда недостаточен. Тем дороже
тело, что ткань, его скрыв, похоже
помогает скользить по коже,

лишенной узоров, присущих ткани,
вверх. Тем временем чай в стакане,
остывая, туманит грани,
и пламя в лампе уже померкло.
А после под одеялом мелко
дрожит, тускло мерцая, стрелка

нового компаса, определяя
Север не хуже, чем удалая
мысль прокурора. Обрывки лая,
пазы в рассохшемся табурете,
сонное кукареку в подклети,
крик паровоза. Потом и эти

звуки смолкают. И глухо – глуше,
чем это воспринимают уши -
листва, бесчисленная, как души
живших до нас на земле, лопочет
нечто на диалекте почек,
как языками, чей рваный почерк

– кляксы, клинопись лунных пятен -
ни тебе, ни стене невнятен.

И долго среди бугров и вмятин
матраса вертишься, расплетая,
где иероглиф, где запятая;
и снаружи шумит густая,

еще не желтая, мощь Китая.

1981

* * *

М. Б.

Я был только тем, чего
ты касалась ладонью,
над чем в глухую, воронью
ночь склоняла чело.

Я был лишь тем, что ты
там, снизу, различала:
смутный облик сначала,
много позже – черты.

Это ты, горяча,
ошую, одесную
раковину ушную
мне творила, шепча.

Это ты, теребя
штору, в сырую полость
рта вложила мне голос,
окликавший тебя.

Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,

даровала мне зрячесть.

Так оставляют след.

Так творятся миры.

Так, сотворив их, часто

оставляют возвращаться,

расточая дары.

Так, бросаем то в жар,

то в холод, то в свет, то в темень,

в мирозданьи потерян,

кружится шар.

1981

Римские элегии

Бенедетте Кравиери

I

Пленное красное дерево частной квартиры в Риме.

Под потолком – пыльный хрустальный остров.

Жалюзи в час заката подобны рыбе,

перепутовавшей чешую и остов.

Ставя босую ногу на красный мрамор,

тело делает шаг в будущее – одеться.

Крикни сейчас «замри» – я бы тотчас замер,

как этот город сделал от счастья в детстве.

Мир состоит из наготы и складок.

В этих последних больше любви, чем в лицах.
Как и тенор в опере тем и сладок,
что исчезает навек в кулисах.
На ночь глядя, синий зрачок полощет
свой хрусталик слезой, доводя его до сверканья.
И луна в головах, точно пустая площадь:
без фонтана. Но из того же камня.

II

Месяц замерших маятников (в августе расторопна
только муха в гортани высохшего графина).
Цифры на циферблатах скрещиваются, подобно
прожекторам ПВО в поисках серафима.
Месяц спущенных штор и зачехленных стульев,
потного двойника в зеркале над комодом,
пчел, позабывших расположение ульев
и улетевших к морю покрыться медом.
Хлопчи же, струя, над белоснежной, дряблой
мышцей, играй куделью седых подпалин.
Для бездомного торса и праздных граблей
ничего нет ближе, чем вид развалин.
Да и они в ломаном "р" еврея
узнают себя тоже; только слюнным раствором
и скрепляешь осколки, покамест Время
варварским взглядом обводит форум.

III

Черепица холмов, раскаленная летним полднем.
Облака вроде ангелов – в силу летучей тени.
Так счастливый булыжник грешит с голубым исподним

длинноногой подруги. Я, певец дребедени,
лишних мыслей, ломаных линий, прячусь
в недрах вечного города от светила,
навязавшего цезарям их незрячесть
(этих лучей за глаза б хватило
на вторую вселенную). Желтая площадь; одурь
полдня. Владелец «веспы» мучает передачу.
Я, хватаясь рукою за грудь, поодаль
считаю с прожитой жизни сдачу.
И как книга, раскрытая сразу на всех страницах,
лавр шелестит на выжженной балюстраде.
И Колизей – точно череп Аргуса, в чьих глазницах
облака проплывают как память о бывшем стаде.

IV

Две молодых брюнетки в библиотеке мужа
той из них, что прекрасней. Два молодых овала
сталкиваются над книгой в сумерках, точно Муза
объясняет Судьбе то, что надиктовала.
Шорох старой бумаги, красного крепдешина,
воздух пропитан лавандой и цикламеном.
Перемена прически; и локоть – на миг – вершина,
привыкшая к ветреным переменам.
О, коричневый глаз впитывает без усилий
мебель того же цвета, шторы, плоды граната.
Он и зорче, он и нежней, чем синий.
Но синему – ничего не надо!
Синий всегда готов отличить владельца
от товаров, брошенных вперемежку
(т. е. время – от жизни), дабы в него взглядеться.

Так орел стремится взглядеться в решку.

V

Звуки рояля в часы обеденного перерыва.

Тишина уснувшего переулка

обрастает бемолью, как чешуею рыба,

и коричневая штукатурка

дышит, хлопая жаброй, прелым

воздухом августа, и в горячей

полости горла холодным перлом

перекатывается Гораций.

Я не воздвиг уходящей к тучам

каменной вещи для их острастки.

О своем – и о любом – грядущем

я узнал у буквы, у черной краски.

Так задремывают в обнимку

с «лейкой», чтоб, преломляя в линзе

сны, себя опознать по снимку,

очнувшись в более длинной жизни.

VI

Обними чистый воздух, а ля ветви местных пиний:

в пальцах – не больше, чем на стекле, на тюле.

Но и птичка из туч вниз не вернется синей,

да и сами мы вряд ли боги в миниатюре.

Оттого мы и счастливы, что мы ничтожны. Дали,

выси и проч. брезгают гладью кожи.

Тело обратно пространству, как ни крути педали.

И несчастны мы, видимо, оттого же.

Привались лучше к кортику, скинь бахилы,

сквозь рубашку стена холодит предплечье;
и смотри, как солнце садится в сады и виллы,
как вода, наставница красноречья,
льется из ржавых скважин, не повторяя
ничего, кроме нимфы, дующей в окарину,
кроме того, что она – сырая
и превращает лицо в руину.

VII

В этих узких улицах, где громоздка
даже мысль о себе, в этом клубке извилин
прекратившего думать о мире мозга,
где то взвинчен, то обессилен,
переставляешь на площадях ботинки
от фонтана к фонтану, от церкви к церкви
– так иголка шаркает по пластинке,
забывая остановиться в центре, -
можно смириться с невзрачной дробью
остающейся жизни, с влеченьем прошлой
жизни к законченности, к подобью
целого. Звук, из земли подошвой
извлекаемый – ария их союза,
серенада, которую время оно
напевает грядущему. Это и есть Карузо
для собаки, сбежавшей от граммофона.

VIII

Бейся, свечной язычок, над пустой страницей,
трепещи, пригинаем выдохом углекислым,
следуй – не приближаясь! – за вереницей

литер, стоящих в очередях за смыслом.

Ты озаряешь шкаф, стенку, сатира в нише
– большую площадь, чем покрывает почерк!

Да и копоть твоя воспаряет выше

помыслов автора этих строчек.

Впрочем, в ихнем ряду ты обретаешь имя;
вечным пером, в память твоих subtilных
запятых, на исходе тысячелетья в Риме
я вывожу слова «факел», «фитиль», «светильник»,
а не точку – и комната выглядит как в начале.

(Сочиняя, перо мало что сочинило).

О, сколько света дают ночами
сливающиеся с темнотой чернила!

IX

Скорлупа куполов, позвоночники колоколен.

Колоннады, раскинувшей члены, покой и нега.

Ястреб над головой, как квадратный корень
из бездонного, как до молитвы, неба.

Свет пожинает больше, чем он посеял:
тело способно скрыться, но тень не спрячешь.

В этих широтах все окна глядят на Север,
где пьешь тем больше, чем меньше значишь.

Север! в огромный айсберг вмерзшее пианино,
мелкая оспа кварца в гранитной вазе,
не способная взгляда остановить равнина,
десять бегущих пальцев милого Ашкенази.

Больше туда не выдвигать кордона.

Только буквы в когорты строит перо на Юге.

И золотистая бровь, как закат на карнизе дома,

поднимается вверх, и темнеют глаза подруги.

X

Частная жизнь. Рваные мысли, страхи.

Ватное одеяло бесформенней, чем Европа.

С помощью мятой куртки и голубой рубахи
что-то еще отражается в зеркале гардероба.

Выпьем чаю, лицо, чтобы раздвинуть губы.

Воздух обложен комнатой, как оброком.

Сойки, вспорхнув, покидают купы

паний – от брошенного ненароком

взгляда в окно. Рим, человек, бумага;

хвост дописанной буквы – точно мелькнула крыса.

Так уменьшаются вещи в их перспективе, благо

тут она безупречна. Так на льду Танаиса

пропадая из виду, дрожа всем телом,

высохшим лавром прикрывши темя,

бредут в лежащее за пределом

всякой великой державы время.

XI

Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина.

Бюст, причинное место, бедра, колечки ворса.

Обожженная небом, мягкая в пальцах глина -

плоть, принявшая вечность как анонимность торса.

Вы – источник бессмертья: знавшие вас нагими

сами стали катуллом, статуями, трояном,

августом и другими. Временные богини!

Вам приятнее верить, нежели постоянным.

Слався, круглый живот, лядвие с нежной кожей!

Белый на белом, как мечта Казимира,
летним вечером я, самый смертный прохожий,
среди развалин, торчаших как ребра мира,
нетерпеливым ртом пью вино из ключицы;
небо бледней щеки с золотистой мушкой.
И купала смотрят вверх, как сосцы волчицы,
накормившей Рема и Ромула и уснувшей.

XII

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
благодарен за все; за куриный хрящик
и за стрекот ножниц, уже кроющих
мне пустоту, раз она – Твоя.
Ничего, что черна. Ничего, что в ней
ни руки, ни лица, ни его овала.
Чем незримей вещь, тем оно верней,
что она когда-то существовала
на земле, и тем больше она – везде.
Ты был первым, с кем это случилось, правда?
Только то и держится на гвозде,
что не делится без остатка на два.
Я был в Риме. Был залит светом. Так,
как только может мечтать обломок!
На сетчатке моей – золотой пятак.
Хватит на всю длину потемок.

1981

Венецианские строфы (1)

Сюзанне Зонтаг

I

Мокрая коновязь пристани. Понурая ездочка
машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну.

Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая
вразнобой тишину.

Чем доверчивей мавр, тем чернее от слов бумага,
и рука, дотянуться до горлышка коротка,
прижимает к лицу кружева смятого в пальцах Яго
каменного платка.

II

Площадь пустынна, набережные безлюдны.

Больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе:
дева в шальварах наигрывает на лютне
такому же Мустафе.

О, девятнадцатый век! Тоска по востоку! Поза
изгнанника на скале! И, как лейкоцит в крови,
луна в твореньях певцов, сгоравших от туберкулеза,
писавших, что – от любви.

III

Ночью здесь делать нечего. Ни нежной Дузе, ни арий.

Одинокий каблук выстукивает диабаз.

Под фонарем ваша тень, как дрогнувший карбонарий,
отшатывается от вас

и выдыхает пар. Ночью мы разговариваем

с собственным эхом; оно обдает теплом

мраморный, гулкий, пустой аквариум

с запотевшим стеклом.

IV

За золотой чешуей всплывших в канале окон -
масло в бронзовых рамах, угол рояля, вещь.
Вот что прячут внутри, штору задернув, окунь!
жаброй хлопая, лещ!
От нечаянной встречи под потолком с богиней,
сбросившей все с себя, кружится голова,
и подъезды, чье небо воспалено ангиной
лампочки, произносят "а".

V

Как здесь били хвостом! Как здесь лещами вились!
Как, вертясь, нерестясь, шли косяком в овал
зеркала! В епанче белый глубокий вырез
как волновал!
Как сирокко – лагуну. Как посреди панели
здесь превращались юбки и панталоны в щи!
Где они все теперь – эти маски, полишинели,
перевертни, плащи?

VI

Так меркнут люстры в опере; так на убыль
к ночи идут в объеме медузами купола.
Так сужается улица, вьющаяся как угорь,
и площадь – как камбала.
Так подбирает гребни, выпавшие из женских
взбитых причесок, для дочерей Нерей,
оставляя нетронутым желтый бесплатный жемчуг
уличных фонарей.

VII

Так смолкают оркестры. Город сродни попытке
воздуха удержать ноту от тишины,
и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры,
плохо освещены.

Только фальцет звезды меж телеграфных линий -
там, где глубоким сном спит гражданин Перми. [74]

Но вода аплодирует, и набережная – как иней,
осевший на до-ре-ми.

VIII

И питомец Лоррена, согнув колено,
спихивая, как за борт, буквы в конец строки,
тщится рассудок предохранить от крена
выпитому вопреки.

Тянет раздеться, скинуть суконный панцирь,
рухнуть в кровать, прижаться к живой кости,
как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем
нежность не соскрести.

1982

Венецианские строфы (2)

Геннадию Шмакову

I

Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус.
От пощечины булочника матовая щека
приобретает румянец, и вспыхивает стеклярус

в лавке ростовщика.

Мусорщики плывут. Как прутьями по ограде
школьники на бегу, утренние лучи
перебирают колонны, аркады, пряди
водорослей, кирпичи.

II

Долго светает. Голый, холодный мрамор
бедер новой Сусанны сопровождаем при
погружении под воду стрекотом кинокамер
новых старцев. Два-три
грузных голубя, снявшихся с капители,
на лету превращаются в чаек: таков налог
на полет над водой, либо – поклеп постели,
сонный, на потолок.

III

Сырость вползает в спальню, сводя лопатки
спящей красавицы, что ко всему глуха.
Так от хрустнувшей ветки ежатся куропатки,
и ангелы – от греха.
Чуткую бязь в окне колеблют вдох и выдох.
Пена бледного шелка захлетьвается, легка,
стулья и зеркало – местный стеклянный выход
вещи из тупика.

IV

Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную
раковину заполняет дребезг колоколов.
То бредут к водопою глотнуть речную

рябь стада куполов.

Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,
крепкий кофе, скомканное тряпье.

И макает в горло дракона золотой Егорий,
как в чернила, копье.

V

День. Невесомая масса взятой в квадрат лазури,
оставляя весь мир – всю синеву! – в тылу,
припадает к стеклу всей грудью, как к амбразуре,
и сдается стеклу.

Кучерявая свора тщится настигнуть вора
в разгоревшейся шапке, норд-ост суля.

Город выглядит как толчея фарфора
и битого хрусталя.

VI

Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,
как непарная обувь с ноги Творца,
ревностно топчут шпильки, пилястры, арки,
выраженья лица.

Все помножено на два, кроме судьбы и кроме
самой H₂O. Но, как всякое в мире «за»,
в меньшинстве оставляет ее и кровли
праздная бирюза.

VII

Так выходят из вод, ошеломляя гладью
кожи бугристой берег, с цветком в руке,
забывая про платье, предоставляя платью

всплескивать вдалеке.

Так обдают вас брызгами. Те, кто бессмертен, пахнут
водорослями, отличаясь от вообще людей,
голубей отрывая от сумасшедших шахмат
на торцах площадей.

VIII

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвигая скулы
фразами на родном.
Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня.

1982

В окрестностях Александрии

Карлу Профферу

Каменный шприц впрыскивает героин
в кучевой, по-зимнему рыхлый мускул.
Шпион, ворошачий в помойке мусор,
извлекает смятый чертеж руин.

Повсюду некто на скакуне;
все копыта – на пьедестале.

Всадники, стало быть, просто дали
дуба на собственной простыне.

В сумерках люстра сродни костру,
пляшут сильфиды, мелькают гузки.
Пролежавший весь день на «пуске»
палец мусолит его сестру.

В окнах зыблется нежный тюль,
терзает голый садовый веник
шелест вечнозеленых денег,
непрекращающийся июль.

Помесь лезвия и сырой
гортани, не произнося ни звука,
речная поблескивает излука,
подернутая ледяной корой.

Жертва легких, но друг ресниц,
воздух прозрачен, зане исколот
клювами плохо сносящих холод,
видимых только в профиль птиц.

Се – лежащий плашмя колосс,
прикрытый бурю оболочкой

с отделанной кружевом оторочкой
замерзших после шести колес.

Закат, выпуская из щели мышь,
вгрызается – каждый резец оскален -
в электрический сыр окраин,
в то, как строить способен лишь

способный все пережить термит;
депо, кварталы больничных коек,
чувствуя близость пустыни в коих,
прячет с помощью пирамид

горизонтальность свою земля
цвета тертого кирпича, корицы.
И поезд подкрадывается, как змея,
к единственному соску столицы.

1982, Вашингтон

Келломаки

М. Б.

І

Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны,
городок из фанеры, в чьих стенах едва чихни -
телеграмма летит из Швеции: «Будь здоров».

И никаким топором не наколешь дров
отопить помещение. Наоборот, иной
дом согреть порывался своей спиной
самую зиму и разводил цветы
в синих стеклах веранды по вечерам; и ты,
как готовясь к побегу и азимут отыскав,
засыпала там в шерстяных носках.

II

Мелкие, плоские волны моря на букву "б",
сильно схожие издали с мыслями о себе,
набегали извилинами на пустынный пляж
и смерзались в морщины. Сухой мандраж
голых прутьев боярышника вынуждал порой
сетчатку покрыться рябой корой.

А то возникали чайки из снежной мглы,
как замусоленные ничьей рукой углы
белого, как пустая бумага, дня;
и подолгу никто не зажигал огня.

III

В маленьких городках узнаешь людей
не в лицо, но по спинам длинных очередей;
и население в субботу выстраивалось гуськом,
как караван в пустыне, за сах. песком
или сеткой салаки, пробивавшей в бюджете брешь.
В маленьком городе обыкновенно ешь
то же, что остальные. И отличить себя
можно было от них лишь срисовывая с рубля
шпиль кремля, сужавшегося к звезде,

либо – видя вещи твои везде.

IV

Несмотря на все это, были они крепки,
эти брошенные спичечные коробки
с громыхавшими в них посудой двумя-тремя
сырыми головками. И, воробья кормя,
на него там смотрели всею семьей в окно,
где деревья тоже сливались потом в одно
черное дерево, стараясь перерастить
небо – что и случилось часам к шести,
когда книга захлопывалась и когда
от тебя оставались лишь губы, как от того кота.

V

Эта внешняя щедрость, этот, на то пошло,
дар – холодея внутри, источать тепло
вовне – постояльцев сближал с жильем,
и зима простыню на веревке считала своим бельем.
Это сковывало разговоры; смех
громко скрипел, оставляя следы, как снег,
опушавший изморозью, точно хвою, края
местоимений и превращавший "я"
в кристалл, отливавший твердою бирюзой,
но таявший после твоей слезой.

VI

Было ли вправду все это? и если да, на кой
будоражить теперь этих бывших вещей покой,
вспоминая подробности, подгоняя сосну к сосне,

имитируя – часто удачно – тот свет во сне?
Воскресают, кто верует: в ангелов, в корни (лес);
а что Келломаки ведали, кроме рельс
и расписанья железных вещей, свистя
возникавших из небытия, пять минут спустя
и растворявшихся в нем же, жадно глотавшем жуть,
мысль о любви и успевших сесть?

VII

Ничего. Негашеная известь зимних пространств, свой корм
подбирая с пустынных пригородных платформ,
оставляла на них под тяжестью хвойных лап
настоящее в черном пальто, чей драп,
более прочный, нежели шевиот,
предохранял там от будущего и от
прошлого лучше, чем дымным стеклом – буфет.
Нет ничего постоянной, чем черный цвет;
так возникают буквы, либо – мотив «Кармен»,
так засыпают одетыми противники перемен.

VIII

Больше уже ту дверь не отпирать ключом
с замысловатой бородкой, и не включить плечом
электричество в кухне к радости огурца.
Эта скворешня пережила скворца,
кучевые и перистые стада.
С точки зрения времени, нет «тогда»:
есть только «там». И «там», напрягая взор,
память бродит по комнатам в сумерках, точно вор,
шаря в шкафах, роняя на пол роман,

запуская руку к себе в карман.

IX [75]

В середине жизни, в густом лесу,
человеку свойственно оглядываться – как беглецу
или преступнику: то хрустнет ветка, то всплеск струи.
Но прошедшее время вовсе не пума и
не борзая, чтоб прыгнуть на спину и, свалив
жертву на землю, вас задушить в своих
нежных объятьях: ибо – не те бока,
и Нарциссом брезгающая река
покрывается льдом (рыба, подумав про
свое консервное серебро,

X [76]

уплывает заранее). Ты могла бы сказать, скрепя
сердце, что просто пыталась предохранить себя
от больших превращений, как та плотва;
что всякая точка в пространстве есть точка "а"
и нормальный экспресс, игнорируя "b" и "с",
выпускает, затормозив, в конце
алфавита пар из запятых ноздрей;
что вода из бассейна вытекает куда быстрее,
чем вливается в оный через одну
или несколько труб: подчиняясь дну.

XI

Можно кивнуть и признать, что простой урок
лобачевских полозьев ландшафту пошел не впрок,
что Финляндия спит, затаив в груди

нелюбовь к лыжным палкам – теперь, поди,
из алюминия: лучше, видать, для рук.
Но по ним уже не узнать, как горит бамбук,
не представить пальму, муху це-це, фокстрот,
монолог попугая – вернее, тот
вид параллелей, где голым – поскольку край
света – гулял, как дикарь, Маклай.

XII

В маленьких городках, хранящих в подвалах скарб,
как чужих фотографий, не держат карт -
даже игральных – как бы кладя предел
покушеньям судьбы на беззащитность тел.
Существуют обои; и населенный пункт
освобождает ими обычно от внешних пут
столь успешно, что дым норовит назад
воротиться в трубу, не подводить фасад;
что оставляют, слившиеся в одно,
белое после себя пятно.

XIII

Необязательно помнить, как звали тебя, меня;
тебе достаточно блузки и мне – ремня,
чтоб увидеть в трельяже (то есть, подать слепцу),
что безымянность нам в самый раз, к лицу,
как в итоге всему живому, с лица земли
стираемому беззвучным всех клеток «пли».
У вещей есть пределы. Особенно – их длина,
неспособность сдвинуться с места. И наше право на
«здесь» простиралось не дальше, чем в ясный день

клином падавшая в сугробы тень

XIV

дровяного сарая. Глядя в другой пейзаж,
будем считать, что клин этот острый – наш
общий локоть, выдвинутый вовне,
которого ни тебе, ни мне
не укусить, ни, подавно, поцеловать.
В этом смысле, мы слились, хотя кровать
даже не скрипнула. Ибо она теперь
целый мир, где тоже есть сбоку дверь.
Но и она – точно слышала где-то звон -
годится только, чтоб выйти вон.

1982

К Урании

И. К.

У всего есть предел: в том числе у печали.
Взгляд застревает в окне, точно лист – в ограде.
Можно налить воды. Позвенеть ключами.
Одиночество есть человек в квадрате.
Так дромадер нюхает, морщась, рельсы.
Пустота раздвигается, как портьера.
Да и что вообще есть пространство, если
не отсутствие в каждой точке тела?
Оттого-то Урания старше Клио.
Днем, и при свете слепых коптилок,

видишь: она ничего не скрыла,
и, глядя на глобус, глядишь в затылок.
Вон они, те леса, где полно черники,
реки, где ловят рукой белугу,
либо – город, в чьей телефонной книге
ты уже не числишься. Дальше, к югу,
то есть к юго-востоку, коричневеют горы,
бродят в осоке лошади-пржевали;
лица желтеют. А дальше – плывут линкоры,
и простор голубеет, как белье с кружевами.

1981

Полонез: вариация

I

Осень в твоём полушарьи кричит «курлы».
С обнищавшей державы сползает границ подпруга.
И, хотя окно не закрыто, уже углы
привыкают к сорочке, как к центру круга.
А как лампу зажжешь, хоть строчи донос
на себя в никуда, и перо – улика.
Плюс могилы нет, чтоб исправить нос
в пианино ушедшего Фредерика.
В полнолуние жнивье из чужой казны
серебром одаривает мочажина.
Повернешься на бок к стене, и сны
двинут оттуда, как та дружина,
через двор на зады, прорывать кольцо
конопли. Но кольчуге не спрятать рубищ.
И затем что все на одно лицо,

согрешивши с одним, тридцать трех полюбишь.

II

Черепица фольварков да желтый цвет
штукатурки подворья, карнизы – бровью.

Балагола одним колесом в кювет,
либо – мерин копытом в луну коровью.

И мелькают стога, завалившись в Буг,
вспять плетется ольшаник с водой в корзинах;
и в распаханых тучах свинцовый плуг
не сулит добра площадям озимых.

Твой холщовый подол, шерстяной чулок,
как ничей ребенок, когтит репейник.

На суровую нитку пространство впрок
зашивает дождем – и прощай Коперник.

Лишь хрусталик тускнеет, да млечный цвет
тела с россыпью родинок застит платье.

Для самой себя уже силуэт,
ты упасть не способна ни в чьи объятия.

III

Понимаю, что можно любить сильнее,
безупречней. Что можно, как сын Кибелы,
оценить темноту и, смешавшись с ней,
выпасть незримо в твои пределы.

Можно, пору за порой, твои черты
воссоздать из молекул пером сугубым.

Либо, в зеркало вперясь, сказать, что ты
это – я; потому что кого ж мы любим,
как не себя? Но запишем судьбе очко:

в нашем будущем, как бы брегет не медлил,
уже взорвалась та бомба, что
оставляет нетронутой только мебель.
Безразлично, кто от кого в бегах:
ни пространство, ни время для нас не сводня,
и к тому, как мы будем всегда, в веках,
лучше привыкнуть уже сегодня.

1981

* * *

Точка всегда обозримей в конце прямой.
Веко хватает пространство, как воздух – жабра.
Изо рта, сказавшего все, кроме «Боже мой»,
вырывается с шумом абракадабра.
Вычитанье, начавшееся с юлы
и т. п., подбирается к внешним данным;
паутиной окованные углы
придают сходство комнате с чемоданом.
Дальше ехать некуда. Дальше не
отличить златоуста от златоротца.
И будильник так тикает в тишине,
точно дом через десять минут взорвется.

<1982>

Элегия

М. Б.

До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу
в возбужденье. Что, впрочем, естественно. Ибо связки
не чета голой мышце, волосу, багажу
под холодными буркалами, и не бздюме утряски
вещи с возрастом. Взятый вне мяса, звук
не изнашивается в результате тренья
о разряженный воздух, но, близорук, из двух
зол выбирает большее: повторенье
некогда сказанного. Трезвая голова
сильно с этого кружится по вечерам подолгу,
точно пластинка, стачивая слова,
и пальцы мешают друг другу извлечь иголку
из заросшей извилины – как отдавая честь
наважденью в форме нехватки текста
при избытке мелодии. Знаешь, на свете есть
вещи, предметы, между собой столь тесно
связанные, что, норовя прослыть
подлинно матерью и т. д. и т. п., природа
могла бы сделать еще один шаг и слить
их воедино: тум-тум фокстрота
с крепдешиновой юбкой; муху и сахар; нас
в крайнем случае. То есть повысить в ранге
достиженья Мичурина. У щуки уже сейчас
чешуя цвета консервной банки,
цвета вилки в руке. Но природа, увы, скорей
разделяет, чем смешивает. И уменьшает чаще,
чем увеличивает; вспомни размер зверей
в плейстоценовой чаше. Мы – только части
крупного целого, из коего вьется нить

к нам, как шнур телефона, от динозавра
оставляя простой позвоночник. Но позвонить
по нему больше некуда, кроме как в послезавтра,
где откликнется лишь инвалид – зане
потерявший конечность, подругу, душу
есть продукт эволюции. И набрать этот номер мне
как выползти из воды на сушу.

1982

Сидя в тени

I

Ветреный летний день.

Прижавшееся к стене

дерево и его тень.

И тень интересней мне.

Тропа, получив плетей,

убегает к пруду.

Я смотрю на детей,

бегающих в саду.

II

Свирепость их резвых игр,

их безутешный плач

смутили б грядущий мир,

если бы он был зряч.

Но порок слепоты

время приобрело

в результате лапты,

в которую нам везло.

III

Остекленелый кирпич
царапает голубой
купол как паралич
нашей мечты собой
пространство одушевить;
внешность этих громад
может вас пришибить,
мозгу поставить мат.

IV

Новый пчелиный рой
эти улья займет,
производя живой,
электрический мед.
Дети вытеснят нас
в пригородные сады
памяти – тешить глаз
формами пустоты.

V

Природа научит их
тому, что сама в нужде
зазубрила, как стих:
времени и т. д.
Они снабдят цифру «100»
завитками плюща,
если не вечность, то
постоянство ища.

VI

Ежедневная ложь
и жужжание мух
будут им невтерпеж,
но разовьют их слух.
Зуб отличит им медь
от серебра. Листва
их научит шуметь
голосом большинства.

VII

После нас – не потоп,
где довольно весла,
но наважденье толп,
множественного числа.
Пусть торжество икры
над рыбой еще не грех,
но ангелы – не комары,
и их не хватит на всех.

VIII

Ветреный летний день.
Запахи нечистот
затмевают сирень.
Брюзжа, я брюзжу как тот,
кому застать повезло
уходящий во тьму
мир, где, делая зло,
мы знали еще – кому.

IX

Ветреный летний день.

Сад. Отдаленный рев
полицейских сирен,
как грядущее слов.

Птицы клюют из урн
мусор взамен пшена.

Голова, как Сатурн,
болью окружена.

X

Чем искреннее певец,

тем все реже, увы,
давешний бубенец
вибрирует от любви.

Пробовавшая огонь,
трогавшая топор,
сильно вспотев, ладонь
не потреплет вихор.

XI

Это – не страх ножа

или новых тенет,
но того рубежа,

за каковым нас нет.

Так способен Луны
снимок насторожить:
жизнь как меру длины
не к чему приложить.

XII

Тысячелетье и век
сами идут к концу,
чтоб никто не прибег
к бомбе или к свинцу.
Дело столь многих рук
гибнет не от меча,
но от дешевых брюк,
скинутых сгоряча.

XIII

Будущее черно,
но от людей, а не
оттого, что оно
черным кажется мне.
Как бы беря займы,
дети уже сейчас
видят не то, что мы;
безусловно не нас.

XIV

Взор их неуловим.
Жилистый сорванец,
уличный херувим,
впившийся в леденец,
из рогатки в саду
целясь по воробью,
не думает – «попаду»,
но убежден – «убью».

XV

Всякая зоркость суть
знак сиротства вещей,
не получивших грудь.
Апофеоз прыщей
вооружен зрачком,
вписываясь в чей круг,
видимый мир – ничком
и стоймя – близорук.

XVI

Данный эффект – порок
только пространства, впрок
не запасшего клочок.
Так глядит в потолок
падающий в кровать;
либо – лишенный сна -
он же, чего скрывать,
забирается на.

XVII

Эта песнь без конца
есть результат родства,
серенада отца,
ария меньшинства,
петая сумме тел,
в просторечьи – толпе,
наводнившей партер
под занавес и т. п.

XVIII

Ветренный летний день.

Детская беготня.

Дерево и его тень,

упавшая на меня.

Рваные хлопья туч.

Звонкий от оплеух

пруд. И отвесный луч

– как липучка для мух.

XIX

Впитывая свой сок,

пачкая куст, тетрадь,

множась, точно песок,

в который легко играть,

дети смотрят в ту даль,

куда, точно грош в горсти,

зеркало, что Стендаль

брал с собой, не внести.

XX

Наши развиг черты,

ухватки и голоса

(знак большой нищеты

природы на чудеса),

выпятив челюсть, зоб,

дети их искажат

собственной злостью – чтоб

не отступить назад.

XXI

Так двигаются вперед,
за горизонт, за грань.
Так, продолжая род,
предает себя ткань.
Так, подмешавши дробь
в ноль, в лейкоциты – грязь,
предает себя кровь,
свертыванья страшась.

XXII

В этом и есть, видать,
роль материи во
времени – передать
все во власть ничего,
чтоб заселить верто-
град голубой мечты,
разменявши ничто
на собственные черты.

XXIII

Так в пустыне шатру
слышится тамбурин.
Так впопыхах икру
мечут в ультрамарин.
Так марают листы
запятая, словцо.
Так говорят «лишь ты»,
заглядывая в лицо.

июнь 1983

1983

Первый день нечетного года. Колокола
выпускают в воздух воздушный шар за воздушным шаром,
составляя компанию там наверху шершавым,
триста лет как раздевшимся догола
местным статуям. Я валяюсь в пустой, сырой,
желтой комнате, заливая в себя Бертани.
Эта вещь, согреваясь в моей гортани,
произносит в конце концов: "Закрой
окно". Вот и еще одна
комбинация цифр не отворила дверцу;
плюс нечетные числа тем и приятны сердцу,
что они заурядны; мало кто ставит на
них свое состоянье, свое неименье, свой
кошелек; а поставив – встают с чем сели...
Чайка в тумане кружится супротив часовой
стрелки, в отличие от карусели.

1983

* * *

Повернись ко мне в профиль. В профиль черты лица
обыкновенно отчетливее, устойчивее овала
с его блядовитыми свойствами колеса:
склонностью к перемене мест и т. д. и т. п. Бывало,

оно на исходе дня напоминало мне,
мертвому от погони, о пульмановском вагоне,
о безумном локомотиве, ночью на полотне
останавливавшемся у меня в ладони,
и сова кричала в лесу. Нынче я со стыдом
понимаю – вряд ли сова; но в потемках любо-
дорого было путать сову с дроздом:
птицу широкой скулы с птицей профиля, птицей клюва.
И хоть меньше сбоку видать, все равно не жаль
было правой части лица, если смотришь слева.
Да и голос тот за ночь мог расклевать печаль,
накрошившую голой рукой за порогом хлеба.

<1983>

* * *

Раньше здесь щебетал щегол
в клетке. Скрипела дверь.
Четко вплетался мужской глагол
в шелест платья. Теперь
пыльная капля на злом гвозде -
лампочка Ильича
льется на шашки паркета, где
произошла ничья.
Знающий цену себе квадрат,
видя вещей разброд,
не оплакивает утрат;
ровно наоборот:
празднует прямоту угла,

желтую рвань газет,
мусор, будучи догола,
до обоев раздет.
Печка, в которой погас огонь;
трещина по изразцу.
Если быть точным, пространству вонь
небытия к лицу.
Сука здесь не возьмет следа.
Только дверной проем
знает: двое, войдя сюда,
вышли назад втроем.

<1983>

* * *

Ты – ветер, дружок. Я – твой
лес. Я трясу листвой,
изъеденною весьма
гусеницею письма.
Чем яростнее Борей,
тем листья эти белей.
И божество зимы
просит у них взаймы.

<1983>

В горах

1

Голубой саксонский лес

Снега битого фарфор.
Мир бесцветен, мир белес,
точно извести раствор.

Ты, в коричневом пальто,
я, исчадье распродаж.
Ты – никто, и я – никто.
Вместе мы – почти пейзаж.

2

Белых склонов тишь да гладь.
Стук в долине молотка.
Склонность гор к подножью дать
может кровли городка.

Горный пик, доступный снам,
фотопленке, свалке туч.
Склонность гор к подножью, к нам,
суть изнанка ихних круч.

3

На ночь снятое плато.
Трепыханье фитиля.
Ты – никто, и я – никто:
дыма мертвая петля.

В туче прячась, бродит Бог,

ноготь месяца грызя.

Как пейзажу с места вбок,
нам с ума сойти нельзя.

4

Голубой саксонский лес.

К взгляду в зеркало и вдаль
потерявший интерес
глаза серого хрусталь.

Горный воздух, чье стекло

вздых неведомо о чем
разбивает, как ракло,
углекислым кирпичом.

5

Мы с тобой – никто, ничто.

Эти горы – наших фраз
эхо, выросшее в сто,
двести, триста тысяч раз.

Снизит речь до хрипоты,

уподобить не впервой
наши ребра и хребты
ихней ломаной кривой.

6

Чем объятие плотней,

тем пространства сзади – гор,
склонов, складок, простыней -
больше, времени в укор.

Но и маятника шаг
вне пространства завести
тоже в силах, как большак,
дальше мяса на кости.

7

Голубой саксонский лес.
Мир зазубрен, ощутив,
что материи в обрез.
Это – местный лейтмотив.

Дальше – только кислород:
в тело вхожая кутья
через ноздри, через рот.
Вкус и цвет – небытия.

8

Чем мы дышим – то мы есть,
что мы топчем – в том нам гнить.
Данный вид суть, в нашу честь,
их отказ соединить.

Это – край земли. Конец

геологии; предел.

Место точно под венец
в воздух вытолкнутых тел.

9

В этом смысле мы – чета,
в вышних слаженный союз.
Ниже – явно ни черта.
Я взглянуть туда боюсь.

Крепче в локоть мне вцепись,
побеждая страстью власть
тяготенья – шанса, ввысь
заглядевшись, вниз упасть.

10

Голубой саксонский лес.
Мир, следящий зорче птиц
– Гулливер и Геркулес -
за ужимками частиц.

Сумма двух распадов, мы
можем дать взамен числа
абажур без бахромы,
стук по комнате мосла.

11

«Тук-тук-тук» стучит нога

на ходу в сосновый пол.
Горы прячут, как снега,
в цвете собственный глагол.

Чем хорош отвесный склон,
что, раздевшись догола,
все же – неодушевлен;
то же самое – скала.

12

В этом мире страшных форм
наше дело – сторона.
Мы для них – подножный корм,
многоточье, два зерна.

Чья невзрачность, в свой черед,
лучше мышцы и костей
нас удерживает от
двух взаимных пропастей.

13

Голубой саксонский лес.
Близость зрения к лицу.
Гладь щеки – противовес
клеток ихнему концу.

Взгляд, прикованный к чертам,

освещенным и в тени, -
продолженье клеток там,
где кончаются они.

14

Не любви, но смысла скул,
дуг надбровных, звука «ах»
добиваются – сквозь гул
крови собственной – в горах.

Против них, что я, что ты,
оба будучи черны,
ихним снегом на черты
наших лиц обречены.

15

Нас других не будет! Ни
здесь, ни там, где все равны.
Оттого-то наши дни
в этом месте сочтены.

Чем отчетливей в упор
профиль, пористость, анфас,
тем естественней отбор
напрочь времени у нас.

16

Голубой саксонский лес.

Грез базальтовых родня.
Мир без будущего, без
– проще – завтрашнего дня.

Мы с тобой никто, ничто.
Сумма лиц, мое с твоим,
очерк чей и через сто
тысяч лет неповторим.

17

Нас других не будет! Ночь,
струйка дыма над трубой.
Утром нам отсюда прочь,
вниз, с закушенной губой.

Сумма двух распадов, с двух
жизней сдача – я и ты.
Миллиарды снежных мух
не спасут от нищеты.

18

Нам цена – базарный грош!
Козырная двойка трэф!
Я умру, и ты умрешь.
В нас течет одна пся крев.

Кто на этот грош, как тать,

точит зуб из-за угла?

Сон, разжав нас, может дать
только решку и орла.

19

Голубой саксонский лес.

Наста лунного наждак.

Неподвижности прогресс,
то есть – ходиков тик-так.

Снятой комнаты квадрат.

Покрывало из холста.

Геометрия утрат,
как безумие, проста.

20

То не ангел пролетел,
прошептавши: «виноват».

То не бдение двух тел.

То две лампы в тыщу ватт

ночью, мира на краю,

раскаляясь добела -

жизнь моя на жизнь твою

насмотреться не могла.

21

Сохрани на черный день,

каждой свойственный судьбе,
этих мыслей дребедень
обо мне и о себе.

Вычесь временное из
постоянного нельзя,
как обвалом верх и низ
перепутать не грозя.

1984

На выставке Карла Вейлинка

Аде Стреве

I

Почти пейзаж. Количество фигур,
в нем возникающих, идет на убыль
с наплывом статуй. Мрамор белокур,
как наизнанку вывернутый уголь,
и местность мнится северной. Плато;
гиперборей, взъерошивший капусту.
Все так горизонтально, что никто
вас не прижмет к взволнованному бюсту.

II

Возможно, это – будущее. Фон
раскаяния. Мести сослуживцу.
Глухого, но отчетливого «вон!».
Внезапного приема джиу-джитсу.

И это – город будущего. Сад,
чья заросли рассматриваешь в оба,
как ящерица в тропиках – фасад
гостиницы. Тем паче – небоскреба.

III

Возможно также – прошлое. Предел
отчаяния. Общая вершина.
Глаголы в длинной очереди к "л".
Улегшаяся буря крепдешина.
И это – царство прошлого. Тропы,
заглохнувшей в действительности. Лужи,
хранящей отраженья. Скорлупы,
увиденной яичницей снаружи.

IV

Бесспорно – перспектива. Календарь.
Верней, из воспалившихся гортаней
туннель в психологическую даль,
свободную от наших очертаний.
И голосу, подробнее, чем взор,
знакомому с ландшафтом неуспеха,
сподручней выбрать большее из зол
в расчете на чувствительное эхо.

V

Возможно – натюрморт. Издалека
все, в рамку заключенное, частично
мертво и неподвижно. Облака.
Река. Над ней кружащаяся птичка.

Равнина. Часто именно она,
принять другую форму не умея,
становится добычей полотна,
открытки, оправданием Птоломея.

VI

Возможно – зебра моря или тигр.
Смесь скинутого платья и преграды
облизывает щиколотки икр
к загару неспособной балюстрады,
и время, мнится, к вечеру. Жара;
сняв потный молот с пылкой наковальни,
настойчивое соло комара
кончается овациями спальни.

VII

Возможно – декорация. Дают
"Причины Нечувствительность к Разлуке
со Следствием". Приветствуя уют,
певцы не столь нежны, сколь близоруки,
и «до» звучит как временное «от».
Блестящее, как капля из-под крана,
вибрируя, над проволокой нот
парит лунообразное сопрано.

VIII

Бесспорно, что – портрет, но без прикрас:
поверхность, чьи землистые оттенки
естественно приковывают глаз,
тем более – поставленного к стенке.

Поодаль, как уступка белизне,
клубятся, сбившись в тучу, олимпийцы,
спиною чужа брошенный извне
взгляд живописца – взгляд самоубийцы.

IV

Что, в сущности, и есть автопортрет.
Шаг в сторону от собственного тела,
повернутый к вам в профиль табурет,
вид издали на жизнь, что пролетела.
Вот это и зовется «мастерство»:
способность не страшиться процедуры
небытия – как формы своего
отсутствия, списав его с природы.

1984

* * *

Теперь, зная многое о моей
жизни – о городах, о тюрьмах,
о комнатах, где я сходил с ума,
но не сошел, о морях, в которых
я захлебывался, и о тех, кого
я так-таки не удержал в объятьях, -
теперь ты мог бы сказать, вздохнув:
«Судьба к нему оказалась щедрой»,
и присутствующие за столом
кивнут задумчиво в знак согласия.

Как знать, возможно, ты прав. Прибавь
к своим прочим достоинствам также и дальноркость.
В те годы, когда мы играли в чха
на панели возле кинотеатра,
кто мог подумать о расстояньи
больше зябнущей пятерни,
растопыренной между орлом и решкой?

Никто. Беспечный прощальный взмах
руки в конце улицы обернулся
первой черточкой радиуса: воздух в чужих краях
чаще чем что-либо напоминает ватман,
и дождь заштриховывает следы,
не тронутые голубой резинкой.

Как знать, может, как раз сейчас,
когда я пишу эти строки, сидя
в кирпичном маленьком городке
в центре Америки, ты бредешь
вдоль горчичного здания, в чьих отсыревших стенах
томится еще одно поколение, плясь
в серобуромалиновое пятно
нелегального полушарья.

Короче – худшего не произошло.
Худшее происходит только

в романах, и с теми, кто лучше нас
настолько, что их теряешь тотчас
из виду, и отзвуки их трагедий
смешиваются с пеньем веретена,
как гуденье далекого аэроплана
с жужжаньем буксующей в лепестках пчелы.

Мы уже не увидимся – потому
что физически сильно переменились.
Встретяся мы, встретились бы не мы,
но то, что сделали с нашим мясом
годы, щадящие только кость,
и собаке с кормилицей не узнать
по запаху или рубцу пришельца.

Щедрость, ты говоришь? О да,
щедрость волны океана к щепке.
Что ж, кто не жалуется на судьбу,
тот ее не достоин. Но если время
узнает об итоге своих трудов
по расплывчатости воспоминаний
то – думаю – и твое лицо
вполне способно собой украсить
бронзовый памятник или – на дне кармана -
еще не потраченную копейку.

1984

Е. Р.

Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке
отражения город. Позвякивают куранты.

Комната с абажуром. Ангелы вдалеке
галдят, точно высыпавшие из кухни официанты.

Я пишу тебе это с другой стороны земли
в день рожденья Христа. Снежное толковище
за окном раздражается искренним «ай-люли»:
белизна размножается. Скоро Ему две тыщи
лет. Осталось четырнадцать. Нынче уже среда,

завтра – четверг. Данную годовщину
нам, боюсь, отмечать не добавляя льда,
избавляя следующую морщину
от еенной щеки; в просторечии – вместе с Ним.
Вот тогда мы и свидимся. Как звезда – селянина,
через стенку пройдя, слух бередит одним
пальцем разбуженное пианино.

Будто кто-то там учится азбуке по складам.

Или нет – астрономии, вглядываясь в начертанья
личных имен там, где нас нету: там,
где сумма зависит от вычитанья.

декабрь 1985

В Италии

Роберто и Флер Калассо

И я когда-то жил в городе, где на домах росли
статуи, где по улицам с криком «растли! растли!»
бегал местный философ, тряся бородкой,
и бесконечная набережная делала жизнь короткой.

Теперь там садится солнце, кариатид слепя.
Но тех, кто любили меня больше самих себя,
больше нету в живых. Утратив контакт с объектом
преследования, собаки принохиваются к обедкам,

и в этом их сходство с памятью, с жизнью вещей. Закат;
голоса в отдалении, выкрики типа "гад!
уйди!" на чужом наречьи. Но нет ничего понятней.
И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней

сильно сверкает, зрачок слезя.

Человек, дожив до того момента, когда нельзя
его больше любить, брезгуя плыть противу
бешеного течения, прячется в перспективу.

1985

Муха

Альфреду и Ирене Брендель

I

Пока ты пела, осень наступила.

Лучина печку растопила.

Пока ты пела и летала,

похолодало.

Теперь ты медленно ползешь по глади

замызанной плиты, не глядя

туда, откуда ты взялась в апреле.

Теперь ты еле

передвигаешься. И ничего не стоит

убить тебя. Но, как историк,

смерть для которого скучней, чем мука,

я медлю, муха.

II

Пока ты пела и летала, листья

попадали. И легче литься

воде на землю, чтоб назад из лужи

воззриться вчуже.

А ты, видать, совсем ослепла. Можно

представить цвет крупинки мозга,

померкшей от твоей, брусчатке

сродни, сетчатки,

и содрогнуться. Но тебя, пожалуй,
устраивает дух лежалый
жилья, зеленых штор понурость.
Жизнь затянулась.

III

Ах, цокотуха, потерявши юркость,
ты выглядишь, как старый юнкерс,
как черный кадр документальный
эпохи дальней.

Не ты ли заполночь там то и дело
над люлькою моей гудела,
гонимая в оконной раме
прожекторами?

А нынче, милая, мой желтый ноготь
брюшко твое горазд потрогать,
и ты не вздрагиваешь от испуга,
жужжа, подруга.

IV

Пока ты пела, за окошком серость
усилилась. И дверь расселась
в пазах от сырости. И мерзнут пятки.
Мой дом в упадке.

Но не пленить тебя не пирамидой
фаянсовой давно не мытой
посуды в раковине, ни палаткой
сахары сладкой.

Тебе не до того. Тебе не
до мельхиоровой их дребедени;
с ней связываться – себе дороже.
Мне, впрочем, тоже.

V

Как старомодны твои крылья, лапки!
В них чудится вуаль прабабки,
смешавшаяся с позавчерашней
французской башней -

– век номер девятнадцать, словом.

Но, сравнивая с тем и овом
тебя, я обращаю в прибыль
твою погибель,

подталкивая ручкой подлой
тебя к бесплотной мысли, к полной
неосязаемости раньше срока.
Прости: жестоко.

VI

О чем ты грезишь? О своих избитых,
но не рассчитанных никем орбитах?
О букве шестирукой, ради
тебя в тетради

расхристанной на месте плоском
кириллициным отголоском
единственным, чей цвет, бывало,
ты узнавала

и вспархивала. А теперь, слепая,
не реагируешь ты, уступая
плацдарм живым брюнеткам, женским
ужимкам, жестам.

VII

Пока ты пела и летала, птицы
отсюда отбыли. В ручьях плотицы
убавилось, и в рощах пусто.
Хрустит капуста

в полях от холода, хотя одета
по-зимнему. И бомбой где-то
будильник тикает, лицом не точен,
и взрыв просрочен.

А больше – ничего не слышно.

Дома отбрасывают свет покрывно
обратно в облако. Трава пожухла.
Немного жутко.

VIII

И только двое нас теперь – заразы
разносчиков. Микробы, фразы
равно способны поражать живое.
Нас только двое:

твое страшщееся смерти тельце,
мои, играющие в земледельца
с образованием, примерно восемь
пудов. Плюс осень.

Совсем испортилась твоя жужжалка!
Но времени себя не жалко
на нас растрчивать. Скажи спасибо,
что – неспесиво,

IX

что совершенно небрезгливо, либо -
не чувствует, какая липа
ему подсовывается в виде вялых
больших и малых

пархатостей. Ты отлеталась.

Для времени, однако, старость
и молодость неразличимы.

Ему причины

и следствия чужды де-юре,
а данные в миниатюре
– тем более. Как пальцам в спешке
– орлы и решки.

X

Оно, пока ты там себе мелькала
под лампочкою вполнекала,
спасаясь от меня в стропила,
таким же было,

как и сейчас, когда с бесцветной пылью
ты сблизилась, благодаря бессилью
и отношению ко мне. Не думай
с тоской угрюмой,

что мне оно – большой союзник.

Глянь, милая, я – твой союзник,
подельник, закадычный кореш;
срок не ускоришь.

XI

Снаружи осень. Злополучье голых
ветвей кизилковых. Как при монголах:
брак серой низкорослой расы
и желтой массы.

Верней – сношения. И никому нет дела
до нас с тобой. Мной овладело
оцепенение – сиречь, твой вирус.
Ты б удивилась,

узнав, как сильно заражает сонность
и безразличие рождая, склонность
расплачиваться с планетой
ее монетой.

XII

Не умирай! сопротивляйся, ползай!
Существовать не интересно с пользой.
Тем паче, для себя: казенной.
Честней без оной

смущать календари и числа
присутствием, лишенным смысла,
доказывая посторонним,
что жизнь – синоним

небытия и нарушенья правил.

Будь помоложе ты, я б взор направил
туда, где этого в избытке. Ты же
стара и ближе.

XIII

Теперь нас двое, и окно с поддувом.
Дождь стекла пробует нетвердым клювом,
нас заштриховывая без нажима.
Ты недвижима.

Нас двое, стало быть. По крайней мере,
когда ты кончишься, я факт потери
отмечу мысленно – что будет эхом
твоих с успехом

когда-то выполненных мертвых петель.
Смерть, знаешь, если есть свидетель,
отчетливее ставит точку,
чем в одиночку.

XIV

Надеюсь все же, что тебе не больно.
Боль места требует и лишь окольно
к тебе могла бы подобраться, с тыла
накрыть. Что было

бы, видимо, моей рукою.

Но пальцы заняты пером, строкою,
чернильницей. Не умирай, покуда
не слишком худо,

покамест дергаешься. Ах, гумозка!

Плевать на состоянье мозга:
вещь, вышедшая из повиновенья,
как то мгновенье,

XV

по-своему прекрасна. То есть,
заслуживает, удостоясь
окации наоборот, продлиться.
Страх суть таблица

зависимостей между личной
беспомощностью тел и лишней
секундой. Выражаясь сухо,
я, цокотуха,

пожертвовать своей согласен.

Но вроде этот жест напрасен:
сдает твоя шестерка, Шива.
Тебе паршиво.

XVI

В провалах памяти, в ее подвалах,
среди ее сокровищ – палых,
растаявших и проч. (вообще их
ни при кощелях

не пересчитывали, ни, тем паче,
позднее) среди этой сдачи
с существования, приют нежесткий
твоею тезкой

неполною, по кличке Муза,
уже готовится. Отсюда, муха,
длинноты эти, эта как бы свита
букв, алфавита.

XVII

Снаружи пасмурно. Мой орган тренья
о вещи в комнате, по кличке зренье,
сосредоточивается на обоях.
Увы, с собой их

узор насиженный ты взять не в силах,
чтоб ошарашить серафимов хилых
там, в эмпиреях, где царит молитва,
идеей ритма

и повторимости, с их колокольни -
бессмысленной, берущей корни
в отчаяньи, им – насекомым
туч – незнакомом.

XVIII

Чем это кончится? Мушиным Раем?
Той пасекой, верней – сараем,
где над малиновым вареньем сонным
кружатся сонмом

твои предшественницы, издавая
звук поздней осени, как мостовая
в провинции. Но дверь откроем -
и бледным роем

они рванутся мимо нас обратно
в действительность, ее опрятно
укутывая в плотный саван
зимы – тем самым

XIX

подчеркивая – благодаря мельканью, -
что души обладают тканью,
материей, судьбой в пейзаже;
что, цвета сажи,

вещь в колере – чем бить баклуши -
меняется. Что, в сумме, души
любое превосходят племя.
Что цвет есть время

или стремление за ним угнаться,
великого Галикарнасца
цитируя то в фас, то в профиль
холмов и кровель.

XX

Отпрянув перед бледным вихрем,
узнаю ли тебя я в ихнем
заведомо крылатом войске?
И ты по-свойски

спланируешь на мой затылок,
соскучившись вдали опилок,
чьим шорохом весь мир морочим?
Едва ли. Впрочем,

дав дуба позже всех – столетней! -
ты, милая, меж них последней
окажешься. И если примут,
то местный климат

XXI

с его капризами в расчет принявши,
спешащую сквозь воздух в наши
пределы я тебя увижу
весной, чью жижу

топча, подумаю: звезда сорвалась,
и, преодолевая вялость,
рукою вслед махну. Однако
не Зодиака

то будет жертвой, но твоей душою,
летающею совпасть с чужою
личинкой, чтоб явить навозу
метаморфозу.

1985

Бюст Тиберия

Приветствую тебя две тыщи лет
спустя. Ты тоже был женат на бляди.
У нас немало общего. К тому ж
вокруг – твой город. Гвалт, автомобили,
шпана со шприцами в сырых подъездах,
развалины. Я, заурядный странник,
приветствую твой пыльный бюст
в безлюдной галерее. Ах, Тиберий,
тебе здесь нет и тридцати. В лице

уверенность скорей в послушных мышцах,
чем в будущем их суммы. Голова,
отрубленная скульптором при жизни,
есть, в сущности, пророчество о власти.
Все то, что ниже подбородка, – Рим:
провинции, откупщики, когорты
плюс сонмы чмокающих твой шершавый
младенцев – наслаждение в ключе
волчицы, потчующей крошку Рема
и Ромула. (Те самые уста!
глаголющие сладко и бессвязно
в подкладке тоги.) В результате – бюст
как символ независимости мозга
от жизни тела. Собственного и
имперского. Пиши ты свой портрет,
он состоял бы из сплошных извилин.

Тебе здесь нет и тридцати. Ничто
в тебе не останавливает взгляда.
Ни, в свою очередь, твой твердый взгляд
готов на чем-либо остановиться:
ни на каком-либо лице, ни на
классическом пейзаже. Ах, Тиберий!
Какая разница, что там бубнят
Светоний и Тацит, ища причины
твоей жестокости! Причин на свете нет,
есть только следствия. И люди жертвы следствий.
Особенно в тех подземельях, где
все признаются – даром, что признанья

под пыткой, как и исповеди в детстве,
однообразны. Лучшая судьба -
быть непричастным к истине. Понеже
она не возвышает. Никого.
Тем паче цезарей. По крайней мере,
ты выглядишь способным захлебнуться
скорее в собственной купальне, чем
великой мыслью. Вообще – не есть ли
жестокость только ускоренье общей
судьбы вещей? свободного паденья
простого тела в вакууме? В нем
всегда оказываешься в момент паденья.

Январь. Нагроможденье облаков
над зимним городом, как лишний мрамор.
Бегущий от действительности Тибр.
Фонтаны, бьющие туда, откуда
никто не смотрит – ни сквозь пальцы, ни
прищурившись. Другое время!
И за уши не удержать уже
взбесившегося волка. Ах, Тиберий!
Кто мы такие, чтоб судить тебя?
Ты был чудовищем, но равнодушным
чудовищем. Но именно чудовищ -
отнюдь не жертв – природа создает
по своему подобию. Гораздо
отраднее – уж если выбирать -
быть уничтоженным исчадьем ада,
чем неврастеником. В неполных тридцать,

с лицом из камня – каменным лицом,
рассчитанным на два тысячелетия,
ты выглядишь естественной машиной
уничтожения, а вовсе не
рабом страстей, проводником идеи
и прочая. И защищать тебя
от вымысла – как защищать деревья
от листьев с ихним комплексом бессвязно,
но внятно ропщущего большинства.

В безлюдной галерее. В тусклый полдень.

Окно, замызганное зимним светом.

Шум улицы. На качество пространства
никак не реагирующий бюст...

Не может быть, что ты меня не слышишь!

Я тоже опрометью бежал всего
со мной случившегося и превратился в остров
с развалинами, с цаплями. И я
чеканил профиль свой посредством лампы.

Вручную. Что до сказанного мной,
мной сказанное никому не нужно -
и не впоследствии, но уже сейчас.

Но если это тоже ускоренье
истории? успешная, увы
попытка следствия опередить причину?

Плюс, тоже в полном вакууме – что
не гарантирует большого всплеска.

Раскаяться? Переверстать судьбу?

Зайти с другой, как говорится, карты?

Но стоит ли? Радиоактивный дождь
польет не хуже нас, чем твой историк.
Кто явится нас проклинать? Звезда?
Луна? Осатаневший от бессчетных
мутаций, с рыхлым туловищем, вечный
термит? Возможно. Но, наткнувшись в нас
на нечто твердое, и он, должно быть,
слегка опешит и прервет буренье.

"Бюст, – скажет он на языке развалин
и сокращающихся мышц, – бюст, бюст".

1981

* * *

В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой,
и одна в углу говорила мне: "Молодой!
Молодой, поди, кому говорю, сюда".
И я шел, хотя голова у меня седа.

А в другой – красной дранкой свисали со стен ножи,
и обрубок, качаясь на яйцах, шептал: «Бежи!»
Но как сам не в пример не мог шевельнуть ногой,
то в ней было просторней, чем в той, другой.

В третьей – всюду лежала толстая пыль, как жир

пустоты, так как в ней никто никогда не жил.
И мне нравилось это лучше, чем отчий дом,
потому что так будет везде потом.

А четвертую рад бы вспомнить, но не могу,
потому что в ней было как у меня в мозгу.
Значит, я еще жив. То ли там был пожар,
либо – лопнули трубы; и я бежал.

1986

Представление

Михаилу Николаеву

Председатель Совнаркома, Наркомпроса, Мининдела!
Эта местность мне знакома, как окраина Китая!
Эта личность мне знакома! Знак допроса вместо тела.
Многоточие шинели. Вместо мозга – запятая.
Вместо горла – темный вечер. Вместо буркал – знак деленья.
Вот и вышел человечек, представитель населенья.

Вот и вышел гражданин,
достающий из штанин.

«А почему та радиолоа?»

«Кто такой Савонарола?»

«Вероятно, сокращенье».

«Где сортир, прошу прощения?»

Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах – папироса.

В чистом поле мчится скорый с одиноким пассажиром.

И нарезанные косо, как полтавская, колеса

с выковыренным под Гдовом пальцем стрелочника жиром

оживляют скатерть снега, полустанки и развилки

обдавая содержимым опрокинутой бутылки.

Прячась в логово свое

волки воют «i-мое».

«Жизнь – она как лотерея».

«Вышла замуж за еврея».

«Довели страну до ручки».

«Дай червонец до получки».

Входит Гоголь в бескозырке, рядом с ним – меццо-сопрано.

В продуктовом – кот наплакал; бродят крысы, бакалея.

Пряча твердый рог в каракуль, некто в брюках из барана

превращается в тирана на трибуне мавзолея.

Говорят лихие люди, что внутри, разочарован

под конец, как фиш на блюде, труп лежит нафарширован.

Хорошо, утратив речь,
встать с винтовкой гроб стеречь.

"Не смотри в глаза мне, дева:
все равно пойдешь налево".
«У попа была собака».
«Оба умерли от рака».

Входит Лев Толстой в пижаме, всюду – Ясная Поляна.
(Бродят парубки с ножами, пахнет шипром с комсомолом.)
Он – предшественник Тарзана: самописка – как лиана,
взад-вперед летают ядра над французским частоколом.
Се – великий сын России, хоть и правящего класса!
Муж, чьи правнуки босые тоже редко видят мясо.

Чудо-юдо: нежный граф
превратился в книжный шкаф!

«Приучил ее к минету».
«Что за шум, а драки нету?»
«Крыл последними словами».
«Кто последний? Я за вами».

Входит пара Александров под конвоем Николаши.
Говорят «Какая лажа» или «Сладкое повидло».

По Европе бродят нары в тщетных поисках параши,
натыкаясь повсеместно на застенчивое быдло.
Размышляя о причале, по волнам плывет «Аврора»,
чтобы выпалить в начале непрерывного террора.

Ой ты, участь корабля:

скажешь «пли!» – ответят «бля!»

«Сочетался с нею браком».

«Все равно поставлю раком».

"Эх, Цусима-Хиросима!

Жить совсем невыносимо".

Входят Герцен с Огаревым, воробьи щебечут в рощах.

Что звучит в момент обхвата как наречие чужбины.

Лучший вид на этот город – если сесть в бомбардировщик.

Глянь – набрякшие, как вата из нескромная ложбины,

размножаясь без резона, тучи льнут к архитектуре.

Кремль маячит, точно зона; говорят, в миниатюре.

Ветер свищет. Выпь кричит.

Дятел ворону стучит.

«Говорят, открылся Пленум».

«Врезал ей меж глаз поленом».

"Над арабской мирной хатой
гордо реет жид пархатый".

Входит Сталин с Джугашвили, между ними вышла ссора.

Быстро целятся друг в друга, нажимают на собачку,
и дымящаяся трубка... Так, по мысли режиссера,
и погиб Отец Народов, в день выкуривавший пачку.

И стоят хребты Кавказа как в почетном карауле.

Из коричневого глаза бьет ключом Напареули.

Друг-кунак вонзает клык
в недоеденный шашлык.

«Ты смотрел Дерсу Узала?»

«Я тебе не все сказала».

«Раз чучмек, то верит в Будду».

«Сукой будешь?» «Сукой буду».

Входит с криком Заграница, с запрещенным полушарьем

и с торчащим из кармана горизонтом, что опошлен.

Обзывает Ермолая Фредериком или Шарлем,

придирается к закону, кипятится из-за пошлин,

воскликая: «Как живете!» И смущают глянцем плоти

Рафаэль с Буонаротти – ни черта на обороте.

Пролетарии всех стран
Маршируют в ресторан.

«В этих шкарах ты как янки».

«Я сломал ее по пьянке».

«Был всю жизнь простым рабочим».

«Между прочим, все мы дрович».

Входят Мысли о Грядущем, в гимнастерках цвета хаки.

Вносят атомную бомбу с баллистическим снарядом.

Они пляшут и танцуют: "Мы вояки-забияки!

Русский с немцем лягут рядом; например, под Сталинградом".

И, как вдовы Матрены, глухо воют циклотроны.

В Министерстве Обороны громко каркают вороны.

Входишь в спальню – вот те на:

на подушке – ордена.

«Где яйцо, там – сковородка».

"Говорят, что скоро водка

снова будет по рублю".

«Мам, я папу не люблю».

Входит некто православный, говорит: "Теперь я – главный.

У меня в душе Жар-птица и тоска по государю.

Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной.
Дайте мне перекреститься, а не то – в лицо ударю.
Хуже порчи и лишая – мыслей западных зараза.
Пой, гармошка, заглушая саксофон – исчадь джаза".

И лобзают образа
с плачем жертвы обреза...

«Мне – бифштекс по-режиссерски».

"Бурлаки в Североморске
тянут крейсер бечевой,
исхудав от лучевой".

Входят Мысли о Минувшем, все одеты как попало,
с предпочтением к чернобурым. На классической латыни
и вполголоса по-русски произносят: "Все пропало,
а) фокстрот под абажуром, черно-белые святыни;
б) икра, севрюга, жито; в) красавицыны бели.
Но – не хватит алфавита. И младенец в колыбели,

слыша «баюшки-баю»,
отвечает: «мать твою!» ".

«Влез рукой в шахну, знакомясь».
«Подмахну – и в Сочи». "Помесь

лейкоцита с антрацитом
называется Коцитом".

Входят строем пионеры, кто – с моделью из фанеры,
кто – с написанным вручную содержательным доносом.
С того света, как химеры, палачи-пенсионеры
одобрительно кивают им, задорным и курносым,
что врубают «Русский бальный» и вбегают в избу к тятю
выгнать тятю из двуспальной, где их сделали, кровати.

Что попишешь? Молодежь.
Не задушишь, не убьешь.

«Харкнул в суп, чтоб скрыть досаду».
«Я с ним рядом срать не сяду».
"А моя, как та мадонна,
не желает без гондона".

Входит Лебедь с Отраженьем в круглом зеркале, в котором
взвод берез идет вприсядку, первой скрипке корча рожи.
Пылкий мэтр с воображеньем, распаленным гренадером,
только робкого десятку, рвет когтями бархат ложи.
Дождь идет. Собака лает. Свесясь с печки, дрянь косая
с голым задом донимает инвалида, гвоздь кусая:

"Инвалид, а инвалид.

У меня внутри болит".

«Ляжем в гроб, хоть час не пробил!»

«Это – сука или кобель?»

"Склока следствия с причиной

прекращается с кончиной".

Входит Мусор с криком: «Хватит!» Прокурор скулу квадратит.

Дверь в пещеру гражданина не нуждается в «сезаме».

То ли правнук, то ли прадед в рудных недрах тачку катит,
обливаясь щедрым недрам в масть кристальными слезами.

И за смертную чертою, лунным блеском залитою,
челюсть с фиксой золотою блещет вечной мерзлотою.

Знать, надолго хватит жил

тех, кто головы сложил.

«Хата есть, да лень тащиться».

«Я не блядь, а крановщица».

"Жизнь возникла как привычка

раньше куры и яичка".

Мы заполнили всю сцену! Остается влезть на стену!

Взвиться соколом под купол! Сократиться в аскарида!

Либо всем, включая кукол, языком взбивая пену,
хором вдруг совокупиться, чтобы вывести гибрида.
Бо, пространство экономя, как отлиться в форму массе,
кроме кладбища и кроме черной очереди к кассе?

Эх, даешь простор степной
без реакции цепной!

«Дайте срок без приговора!»
«Кто кричит: „Держите вора!“?»
«Рисовала член в тетради».
«Отпустите, Христа ради».

Входит Вечер в Настоящем, дом у чорта на куличках.
Скатерть спорит с занавеской в смысле внешнего убранства.
Исключив сердцебиенье – этот лепет я в кавычках -
ощущенье, будто вычтен Лобачевский из пространства.
Ропот листьев цвета денег, комариный ровный зуммер.
Глаз не в силах увеличить шесть-на-девять тех, кто умер,

кто пророс густой травой.
Впрочем, это не впервой.

"От любви бывают дети.
Ты теперь один на свете.

Помнишь песню, что, бывало,
я в потемках напевала?

Это – кошка, это – мышка.

Это – лагерь, это – вышка.

Это – время тихой сапой
убивает маму с папой".

1986

Примечание к прогнозам погоды

Аллея со статуями из затвердевшей грязи,
похожими на срубленные деревья.
Многих я знал в лицо. Других
вижу впервые. Видимо, это – боги
местных рек и лесов, хранители тишины,
либо – сгустки чужих, мне невнятных воспоминаний.
Что до женских фигур – нимф и т. п. – они
выглядят незаконченными, точно мысли;
каждая пытается сохранить
даже здесь, в наступившем будущем, статус гостьи.

Суслик не выскочит и не перебежит тропы.
Не слышно ни птицы, ни тем более автомобиля:
будущее суть панацея от
того, чему свойственно повторяться.
И по небу разбросаны, как вещи холостяка,

тучи, вывернутые наизнанку
и разглаженные. Пахнет хвоей,
этой колкой субстанцией малознакомых мест.
Изваяния высятся в темноте, чернея
от соседства друг с дружкой, от безразличья
к ним окружающего ландшафта.

Заговори любое из них, и ты
скорей вздохнул бы, чем содрогнулся,
услышав знакомые голоса, услышав
что-нибудь вроде «Ребенок не от тебя»
или: "Я показал на него, но от страха,
а не из ревности" – мелкие, двадцатилетней
давности тайны слепых сердец,
одержимых нелепым стремлением к власти
над себе подобными и не замечавших
тавтологии. Лучшие среди них
были и жертвами и палачами.

Хорошо, что чужие воспоминанья
вмешиваются в твои. Хорошо, что
некоторые из этих фигур тебе
кажутся посторонними. Их присутствие намекает
на другие события, на другой вариант судьбы -
возможно, не лучший, но безусловно
тобою упущенный. Это освобождает -
не столько воображение, сколько память
– и надолго, если не навсегда. Узнать,

что тебя обманули, что совершенно
о тебе позабыли или – наоборот -
что тебя до сих пор ненавидят – крайне
неприятно. Но воображать себя
центром даже невзрачного мироздания
непристойно и невыносимо.

Редкий,
возможно, единственный посетитель
этих мест, я думаю, я имею
право описывать без прикрас
увиденное. Вот она, наша маленькая Валгалла,
наше сильно запущенное имение
во времени, с горсткой ревизских душ,
с угожьями, где отточенному серпу,
пожалуй, особенно не разгуляться,
и где снежинки медленно кружатся, как пример
поведения в вакууме.

1986

Реки

Растительность в моем окне! зеленый колер!
Что на вершину посмотреть что в корень -
почувствуешь головокружение, рвоту;
и я предпочитаю воду,
хотя бы – пресную. Вода – беглец от места,
предместья, набережной, арки, крова,
из-под моста – из-под венца невеста,
фамилия у ней – серова.

Куда как женственна! и так на жизнь похожа
ее то матовая, то вся в морщинках кожа
неудержимостью, смятением, грустью,
стремленьем к устью
и к безымянности. Волна всегда стремится
от отраженья, от судьбы отмыться,
чтобы смешаться с горизонтом, с солью -
с прошедшей болью.

1986

* * *

Только пепел знает, что значит сгореть дотла.
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед:
не все уносимо ветром, не все метла,
широко забирая по двору, подберет.
Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст.
И слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
в перегонной, в осадок, в культурный пласт.
Замаравши совок, археолог разинет пасть
отрыгнуть; но его открытие прогремит
на весь мир, как зарытая в землю страсть,
как обратная версия пирамид.
«Пададь!» выдохнет он, обхватив живот,
но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,
потому что пададь – свобода от клеток, свобода от
целого: апофеоз частиц.

1986

Элегия

А. А.

Прошло что-то около года. Я вернулся на место битвы,
к научившимся крылья расправлять у опасной бритвы
или же – в лучшем случае – у удивленной брови
птицам цвета то сумерек, то испорченной крови.

Теперь здесь торгуют останками твоих щиколоток, бронзой
загорелых доспехов, погасшей улыбкой, грозной
мыслью о свежих резервах, памятью об изменах,
оттиском многих тел на выстиранных знаменах.

Все зарастает людьми. Развалины – род упрямой
архитектуры, и разница между сердцем и черной ямой
невелика – не настолько, чтобы бояться,
что мы столкнемся однажды вновь, как слепые яйца.

По утрам, когда в лицо вам никто не смотрит,
я отправляюсь пешком к монументу, который отлит
из тяжелого сна. И на нем начертано: Завоеватель.

Но читается как «завыватель». А в полдень – как «забыватель».

1986

Рождественская звезда

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти:

мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца,

24 декабря 1987

* * *

Кончится лето. Начнется сентябрь. Разрешат отстрел
утки, рябчика, вальдшнепа. «Ах, как ты постарел»
скажет тебе одна, и ты задерешь двустволку,
но чтоб глубже вздохнуть, а не спугнуть перепелку.
И легкое чутко дернется: с лотков продают урюк.
Но и помимо этого мир вокруг
меняется так стремительно, точно он стал колотья
дурью, приобретенной у смуглого инородца.

Дело, конечно, не в осени. И не в чертах лица,
меняющихся, как у зверя, бегущего на ловца,

но в ощущении кисточки, оставшейся от картины,
лишенной конца, начала, рамы и середины.
Не говоря – музея, не говоря – гвоздя.
И поезд вдаль по равнине бежит, свистя,
хотя, взглядевшись как следует, ты не заметишь дыма.
Но с точки зренья ландшафта, движение необходимо.

Это относится к осени, к времени вообще,
когда кончаешь курить и когда еще
деревья кажутся рельсами, сбросившими колеса,
и опушки ржавеют, как узловое леса.
И в горле уже не комок, но стопроцентный еж -
ибо в открытом море больше не узнаешь
силуэт парохода, и профиль аэроплана,
растерявший все нимбы, выглядит в вышних странно.

Так прибавляют в скорости. Подруга была права.
Что бы узнал древний римлянин, проснись он сейчас? Дрова,
очертания облака, голубя в верхотуре,
плоскую воду, что-то в архитектуре,
но – никого в лицо. Так некоторые порой
ездят еще за границу, но, лишены второй
жизни, спешат воротиться, пряча глаза от страха,
и, не успев улечься от прощального взмаха,

платочек трепещет в воздухе. Другие, кому уже
выпало что-то любить больше, чем жизнь, в душе

зная, что старость – это и есть вторая
жизнь, белеют на солнце, как мрамор, не загорая,
уоставившись в некую точку и не чужды утех
истории. Потому что чем больше тех
точек, тем больше крапинок на проигравших в прятки
яйцах рябчика, вальдшнепа, вспугнутой куропатки.

1987

Назидание

I

Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах,
в избах, банях, лабазах – в бревенчатых теремах,
чьи копченые стекла держат простор в узде,
укрывайся тулупом и норови везде
лечь головою в угол, ибо в углу трудней
взмахнуть – притом в темноте – топором над ней,
отяжелевшей от давеча выпитого, и аккурат
зарубить тебя насмерть. Вписывай круг в квадрат.

II

Бойся широкой скулы, включая луну, рябой
кожи щеки; предпочитай карему голубой
глаз – особенно если дорога заводит в лес,
в чащу. Вообще в глазах главное – их разрез,
так как в последний миг лучше увидеть то,
что – хотя холодней – прозрачнее, чем пальто,
ибо лед может треснуть, и в полынье
лучше барахтаться, чем в вязком, как мед, вранье.

III

Всегда выбирай избу, где во дворе висят
пеленки. Якшайся лишь с теми, которым под пятьдесят.
Мужик в этом возрасте знает достаточно о судьбе,
чтоб приписать за твой счет что-то еще себе;
то же самое – баба. Прячь деньги в воротнике
шубы; а если ты странствуешь налегке -
в брючине ниже колена, но не в сапог: найдут.
В Азии сапоги – первое, что крадут.

IV

В горах продвигайся медленно; нужно ползти – ползи.
Величественные издалека, бессмысленные вблизи,
горы есть форма поверхности, поставленной на попа,
и кажущаяся горизонтальной вьющаяся тропа
в сущности вертикальна. Лежа в горах – стоишь,
стоя – лежишь, доказывая, что, лишь
падая, ты независим. Так побеждают страх,
головокруженье над пропастью либо восторг в горах.

V

Не откликайся на «Эй, паря!» Будь глух и нем.
Даже зная язык, не говори на нем.
Старайся не выделяться – в профиль, анфас; порой
просто не мой лица. И когда пилой
режут горло собаке, не морщься. Куря, гаси
папиросу в плевке. Что до вещей, носи
серое, цвета земли; в особенности – белье,
чтоб уменьшить соблазн тебя закопать в нее.

VI

Остановившись в пустыне, складывай из камней
стрелу, чтоб, внезапно проснувшись, тотчас узнать по ней,
в каком направлении двигаться. Демоны по ночам
в пустыне терзают путника. Внемлющий их речам
может легко заблудиться: шаг в сторону – и кранты.
Призраки, духи, демоны – дома в пустыне. Ты
сам убедишься в этом, песком шурша,
когда от тебя останется тоже одна душа.

VII

Никто никогда ничего не знает наверняка.
Глядя в широкую, плотную спину проводника,
думай, что смотришь в будущее, и держись
от него по возможности на расстоянии. Жизнь
в сущности есть расстояние – между сегодня и
завтра, иначе – будущим. И убыстряй свои
шаги стоит, только ежели кто гонится по тропе
сзади: убийца, грабители, прошлое и т. п.

VIII

В кислом духе тряпья, в запахе кизяка
цени равнодушие вещи к взгляду издалика
и сам теряй очертания, недостижим для
бинокля, воспоминаний, жандарма или рубля.
Кашляя в пыльном облаке, чавкая по грязи,
какая разница, чем окажешься ты вблизи?
Даже еще и лучше, что человек с ножом
о тебе не успеет подумать как о чужом.

IX

Реки в Азии выглядят длинней, чем в других частях света, богаче аллювием, то есть – мутней; в горстях, когда из них зачерпнешь, остается ил, и пьющий из них сокрушается после о том, что пил.

Не доверяй отраженью. Переплывай на ту сторону только на сбитом тобою самим плоту.

Знай, что отблеск костра ночью на берегу, вниз по реке скользя, выдаст тебя врагу.

X

В письмах из этих мест не сообщай о том, с чем столкнулся в пути. Но, шелестя листом, повествуй о себе, о чувствах и проч. – письмо могут перехватить. И вообще само перемещение пера вдоль по бумаге есть увеличение разрыва с теми, с кем больше сесть или лечь не удастся, с кем – вопреки письму - ты уже не увидишься. Все равно, почему.

XI

Когда ты стоишь один на пустом плоскогорьи, под бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот или ангел разводит изредка свой крахмал; когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал, помни: пространство, которому, кажется, ничего не нужно, на самом деле нуждается сильно во взгляде со стороны, в критерии пустоты. И сослужить эту службу способен только ты.

Ария

I

Что-нибудь из другой
оперы, типа Верди.
Мало ли под рукой?
Вообще – в круговерти.
Безразлично о ком.
Трудным для подражания
птичкиным языком.
Лишь бы без содержания.

II

Скоро мене полста.
Вон гоношится бобрик
стриженого куста.
Вон изменяет облик,
как очертанья льдин,
марля небесных клиник.
Что это, я – один?
Или зашел в малинник?

III

Розовый истукан
здесь я себе поставил.
В двух шагах – океан,
место воды без правил.
Вряд ли там кто-нибудь,
кроме солнца, садится,

как успела шепнуть
аэроплану птица.

IV

Что-нибудь про спираль
в башне. И про араба
и про его сераль.
Это редкая баба
если не согрешит.
Мысль не должна быть четкой.
Если в горле першит,
можно рискнуть чечеткой.

V

День пролетел. Пчела
шепчет по-польски «збродня».
Лучше кричать вчера,
чем сегодня. Сегодня
оттого мы кричим,
что, дав простор подошвам,
Рок, не щадя причин,
топчется в нашем прошлом.

VI

Ах, потерявши нить,
«моль» говорит холстинка.
Взгляда не уронить
ниже, чем след ботинка.
У пейзажа – черты
вывернутого кармана.

Пение сироты
радует меломана.

<1987>

* * *

Вечер. Развалины геометрии.
Точка, оставшаяся от угла.
Вообще: чем дальше, тем беспредметнее.
Так раздеваются догола.

Но – останавливаются. И заросли
скрывают дальнейшее, как печать
содержанье послания. А казалось бы -
с лабии и начать...

Луна, изваянная в Монголии,
прижимает к бесчувственному стеклу
прыщавую, лезвиями магнолии
гладко выбритую скулу.

Как войску, пригодному больше к булочным
очередям, чем кричать «ура»,
настоящему, чтоб обернуться будущим,
требуется вчера.

Это – комплекс статуи, слиться с теменью
согласной, внутренности скрепя.
Человек отличается только степенью
отчаянья от самого себя.

<1987>

* * *

Л. К.

В этой маленькой комнате все по-старому:
аквариум с рыбкою – все убранство.
И рыбка плавает, глядя в сторону,
чтоб увеличить себе пространство.

С тех пор, как ты навсегда уехала,
похолодало, и чай не сладок.
Сделавшись мраморным, место около
в сумерках сходит с ума от складок.

Колесо и каблук оставляют в покое улицу,
горделивый платан не меняет позы.
Две половинки карманной луковицы
после восьми могут вызвать слезы.

Часто чудится Греция: некая роца, некая
охотница в тунике. Впрочем, чаще
нагая преследует четвероногое
красное дерево в спальней чаще.

Между квадратом окна и портретом прадеда
даже нежный сквозняк выберет занавеску.
И если случается вспомнить правило,
то с опозданием и не к месту.

В качку, увы, не устоять на палубе.
Бурю, увы, не срисовать с природы.
В городах только дрозды и голуби
верят в идею архитектуры.

Несомненно, все это скоро кончится -
быстро и, видимо, некрасиво.
Мозг – точно айсберг с потекшим контуром,
сильно увлекшийся Куросиво.

<1987>

Жизнь в рассеянном свете

Грохот цинковой урны, опрокидываемой порывом
ветра. Автомобили катятся по булыжной
мостовой, точно вода по рыбам

Гудзона. Еле слышный
голос, принадлежащий Музе,
звучащий в сумерках как ничей, но
ровный, как пенье зазимовавшей мухи,
нашептывает слова, не имеющие значенья.

Неразборчивость буквы. Всклоченная капуста
туч. Светило, наказанное за грубость
прикосновенья. Чье искусство -
отнюдь не нежность, но близорукость.
Жизнь в рассеянном свете! и по неделям
ничего во рту, кроме бычка и пива.
Зимой только глаз сохраняет зелень,
обжигая голое зеркало, как крапива.

Ах, при таком освещении вам ничего не надо!
Ни торжества справедливости, ни подруги.
Очертания вещи, как та граната,
взрываются, попадая в руки.
И конечности коченеют. Это
оттого, что в рассеянном свете холод
демонстрирует качества силуэта -
особенно, если предмет немолод.

Спеть, что ли, песню о том, что не за горами?
о сходстве целого с половинкой
о чувстве, будто вы загорали

наоборот: в полнолуние, с финкой.

Но никто, жилку надув на шее,
не подхватит мотивчик ваш. Ни ценитель,
ни нормальная публика: чем слышнее
куплет, тем бесплотнее исполнитель.

<1987>

Из Парменида

Наблюдатель? свидетель событий? войны в Крыму?
Масса жертв – все в дыму – перемирие полотенца...
Нет! самому совершить поджог! роддома! И самому
вызвать пожарных, прыгнуть в огонь и спасти младенца,
дать ему соску, назваться его отцом,
обучить его складывать тут же из пальцев фигу.
И потом, завернув бутерброд в газету с простым лицом,
сесть в электричку и погрузиться в книгу
о превращеньях красавиц в птиц, и как их места
зарастают пером: ласточки – цапли – дрофы..
Быть и причиной и следствием! чтобы, N лет спустя,
отказаться от памяти в пользу жертв катастрофы.

<1987>

* * *

Как давно я топчу, видно по каблуку.
Паутинку тоже пальцем не снять с чела.
То и приятно в громком кукареку,

что звучит как вчера.

Но и черной мысли толком не закрепить,
как на лоб упавшую косо прядь.

И уже ничего не сниться, чтоб меньше быть,
реже сбываться, не засорять
времени. Нищий квартал в окне
глаз мозолит, чтоб, в свой черед,
в лицо запомнить жильца, а не
как тот считает, наоборот.

И по комнате точно шаман кружа,
я наматываю, как клубок,
на себя пустоту ее, чтоб душа
знала что-то, что знает Бог.

<1980 – 1987>

* * *

Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга,
нет! как платформа с вывеской «Вырица» или «Тарту».
Но надвигаются лица, не знающие друг друга,
местности, нанесенные точно вчера на карту,
и заполняют вакуум. Видимо, никому из
нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах
недостаточно извести. "В нашей семье, – волнуясь,
ты бы вставила, – не было ни военных,
ни великих мыслителей". Правильно: невским струям
отраженье еще одной вещи невыносимо.
Где там матери и ее кастрюлям
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!

То-то же снег, этот мрамор для бедных, за неимением тела
тает, ссылаясь на неспособность клеток -
то есть, извилин! – вспомнить, как ты хотела,
пудря щеку, выглядеть напоследок.
Остается, затылок от взгляда прикрыв руками,
бормотать на ходу «умерла, умерла», покуда
города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,
дребезжа, как сдаваемая посуда.

1985

На виа Джулиа

Теодоре Л.

Колокола до сих пор звонят в том городе, Теодора,
будто ты не растаяла в воздухе пропеллерною снежинкой
и возникаешь в сумерках, как свет в конце коридора,
двигаясь в сторону площади с мраморной пиш. машинкой,
и мы встаем из-за столиков! Кочевника от оседлых
отличает способность глотнуть ту же жидкость дважды.
Не говоря об ангелах, не говоря о серых
в яблоках, и поныне не утоливших жажды
в местных фонтанах. Знать, велика пустыня
за оградой собравшего рельсы в пучок вокзала!
И струя буквально захлебывается, вестимо
оттого, что не все еще рассказала
о твоей красоте. Городам, Теодора, тоже
свойственны лишние мысли, желанья счастья,
плюс готовность придраться к оттенку кожи,

к щиколоткам, к прическе, к длине запястья.

Потому что становишься тем, на что смотришь, что близко видишь.

С дальноркостью отпрыска джулий, октавий, ливий
город смотрит тебе вдогонку, точно распутный витязь:
чем длиннее улицы, тем города счастивей.

<1987>

* * *

Ночь, одержимая белизной
кожи. От ветреной резеды,
ставень царапающей, до резной,
мелко вздрагивающей звезды,
ночь, всеми фибрами трепеща
как насекомое, льнет, черна,
к лампе, чья выпуклость горяча,
хотя абсолютно отключена.
Спи. Во все двадцать пять свечей,
добыча сонной белиберды,
сумевшая не растерять лучей,
преломившихся о твои черты,
ты тускло светишься изнутри,
покуда, губами припав к плечу,
я, точно книгу читая при
тебе, сезам по складам шепчу.

<1987>

Посвящается стулу

I

Март на исходе. Радостная весть:
день удлинился. Кажется, на треть.
Глаз чувствует, что требуется вещь,
которую пристрасно рассмотреть.
Возьмем за спинку некоторый стул.
Приметы его вкратце таковы:
зажат между невидимых, но скул
пространства (что есть форма татарвы),
он что-то вроде метра в высоту
на сорок сантиметров в ширину
и сделан, как и дерево в саду,
из общей (как считалось в старину)
коричневой материи. Что сухо
сочтется камуфляжем в Царстве Духа.

II

Вещь, помещенной будучи, как в Аш-
два-О, в пространство, презирая риск,
пространство жаждет вытеснить; но ваш
глаз на полу не замечает брызг
пространства. Стул, что твой наполеон,
красуется сегодня, где вчерась.
Что было бы здесь, если бы не он?
Лишь воздух. В этом воздухе бвилась
пыль. Взгляд бы не задерживался на
пылинке, но, блуждая по стене,
он достигал бы вскорости окна;
достигнув, устремлялся бы вовне,
где нет вещей, где есть пространство, но

к вам вытесненным выглядит оно.

III

На мягкий в профиль смахивая знак
и «восемь», но квадратное, в анфас,
стоит он в центре комнаты, столь наг,
что многое притягивает глаз.

Но это – только воздух. Между ног
(коричневых, что важно – четырех)
лишь воздух. То есть дай ему пинок,
скинь все с себя – как об стену горох.

Лишь воздух. Вас охватывает жуть.

Вам остается, в сущности, одно:

вскочив, его рывком перевернуть.

Но максимум, что обнажится – дно.

Фанера. Гвозди. Пыльные штыри.

Товар из вашей собственной ноздри.

IV

Четверг. Сегодня стул был не у дел.

Он не переместился. Ни на шаг.

Никто на нем сегодня не сидел,
не двигал, не набрасывал пиджак.

Пространство, точно изморось – пчелу,
вещь, пользоваться коей перестал
владелец, превращает ввечеру
(пусть временно) в коричневый кристалл.

Стул напрягает весь свой силуэт.

Тепло; часы показывают шесть.

Все выглядит как будто его нет,

тогда как он в действительности есть!

Но мало ли чем жертвуют, вчера
от завтра отличая, вечера.

V

Материя возникла из борьбы,
как явствуют преданья старины.
Мир создан был для мебели, дабы
создатель мог взглянуть со стороны
на что-нибудь, признать его чужим,
оставить без внимания вопрос
о подлинности. Названный режим
материи не обещает роз,
но гвозди. Впрочем, если бы не гвоздь,
все сразу же распалось бы, как есть,
на рейки, перекладины. Ваш гость
не мог бы, при желании, присесть.
Составленная из частей, везде
вещь держится в итоге на гвозде.

VI

Стул состоит из чувства пустоты
плюс крашенной материи; к чему
прибавим, что пропорции просты
как тыщи отношенья к одному.
Что знаем мы о стуле, кроме,
того, что было сказано в пылу
полемики? – что всеми четырьмя
стоит он, точно стол ваш, на полу?
Но стол есть плоскость, режущая грудь.

А стул ваш вертикальностью берет.
Стул может встать, чтоб лампочку ввернуть,
на стол. Но никогда наоборот.
И, вниз пыльцой, переплетенный стебель
вмиг озарит всю остальную мебель.

VII

Воскресный полдень. Комната гола.
В ней только стул. Ваш стул переживет
вас, ваши безупречные тела,
их плотно облежавший шевиот.
Он не падет от взмаха топора,
и пламенем ваш стул не удивишь.
Из бурных волн под возгласы «ура»
он выпрыгнет проворнее, чем фиш.
Он превзойдет употребленьем гимн,
язык, вид мироздания, матрас.
Расшатан, он заменится другим,
и разницы не обнаружит глаз.
Затем что – голос вещь, а не зловец -
материя конечна. Но не вещь.

<1987>

Посвящение

Ни ты, читатель, ни ультрамарин
за шторой, ни коричневая мебель,
ни сдача с лучшей пачки балерин,
ни лампы хищно вывернутый стебель

– как уголь, данный шахтой на-гора,
и железнодорожное крушение -
к тому, что у меня из-под пера
стремится, не имеет отношенья.
Ты для меня не существуешь; я
в глазах твоих – кириллица, названья...
Но сходство двух систем небытия
сильнее, чем двух форм существованья.
Листай меня поэтому – пока
не грянет текст полуночного гимна.
Ты – все или никто, и языка
безадресная искренность взаимна.

<1987>

Послесловие

I

Годы проходят. На бурой стене дворца
появляется трещина. Слепая швея наконец продевает нитку
в золотое ушко. И Святое Семейство, опав с лица,
приближается на один миллиметр к Египту.

Видимый мир заселен большинством живых.
Улицы освещены ярким, но посторонним
светом. И по ночам астроном
скупулезно подсчитывает количество чаевых.

II

Я уже не способен припомнить, когда и где

произошло событие. То или иное.

Вчера? Несколько дней назад? В воде?

В воздухе? В местном саду? Со мною?

Да и само событие – допустим взрыв,
наводнение, ложь бабы, огни Кузбасса -
ничего не помнит, тем самым скрыв
либо меня, либо тех, кто спасся.

III

Это, видимо, значит, что мы теперь заодно
с жизнью. Что я сделался тоже частью
шелестящей материи, чье сукно
заражает кожу бесцветной мастью.

Я теперь тоже в профиль, верно, не отличим
от какой-нибудь латки, складки, трико паяца,
долей и величин, следствий или причин -
от того, чего можно не знать, сильно хотеть, бояться.

IV

Тронь меня – и ты тронешь сухой репей,
сырость, присущую вечеру или полдню,
каменоломню города, ширь степей,
тех, кого нет в живых, но кого я помню.

Тронь меня – и ты заденешь то,

что существует помимо меня, не веря
мне, моему лицу, пальто,
то, в чьих глазах мы, в итоге, всегда потеря.

V

Я говорю с тобой, и не моя вина,
если не слышно. Сумма дней, намозолив
человеку глаза, так же влияет на
связки. Мой голос глух, но, думаю, не назойлив.

Это – чтоб лучше слышать кукареку, тик-так,
в сердце пластинки шаркающую иголку.
Это – чтоб ты не заметил, когда я умолкну, как
Красная Шапочка не сказала волку.

1986

Резиденция

Небольшой особняк на проспекте Сарданапала.
Пара чугунных львов с комплексом задних лап.
Фортепьяно в гостиной, точно лакей-арап,
скалит зубы, в которых, короткопала
и близорука, ковыряет средь бела дня
внучка хозяина. Пахнет лавандой. Всюду,
даже в кухне, лоснится, дразня посуду,
образ, в масле, мыслителя, чья родня
доживает в Европе. И отсюда – тома Золя,
Бальзака, канделябры, балясины, капители

и вообще колоннада, в чьем стройном теле
размещены установки класса «земля-земля».

Но уютней всего в восточном – его – крыле.

В окнах спальни синее ольшаник, не то орешник,
и сверчок верещит, не говоря уже о скворешнях
с их сверхчувствительными реле.

Здесь можно вечером щелкнуть дверным замком,
остаться в одной сиреневой телогрейке.

Вдалеке воронье гнездо как шахна еврейки,
с которой был в молодости знаком,
но, спасибо, расстались. И ничто так не клонит в сон,
как восьмизначные цифры, составленные в колонку,
да предсмертные вопли сознавшегося во всем
сына, записанные на пленку.

1983

Стрельна

В. Герасимову

Боярышник, захлестнувший металлическую ограду.

Бесконечность, велосипедной восьмеркой принюхивающаяся к коридору.

Воздух принадлежит летательному аппарату,
и легким здесь делать нечего, даже откинув штору.

О, за образчик взявший для штукатурки лунный
кратер, но каждой трещиной о грозовом разряде
напоминавший флигель! отстраняемый рыжей дюной

от кружевной комбинации бледной балтийской глади.

Тем и пленяла сердце – и душу! – окаменелость

Амфитриты, тритонов, вывихнутых неловко

тел, что у них впереди ничего не имелось,

что фронтон и была их последняя остановка.

Вот откуда брались жанны, ядвиги, ляли,

павлы, тезки, евгении, лентяи и чистоплюи;

вот заглядевшись в чье зеркало, потом они подставляли

грудь под несчастья, как щеку под поцелуи.

Многие – собственно, все! – в этом, по крайней мере,

мире стоят любви, как это уже проверил,

не прекращая вращаться ни в стратосфере,

ни тем паче в искусственном вакууме, пропеллер.

Поцеловать бы их в правду затяжным, как прыжок с парашютом, душным

мокрым французским способом! Или – сменив кокарду

на звезду в головах – ограничить себя воздушным,

чтоб воскреснуть, к губам прижимая, точно десантник, карту.

<1987>

* * *

Те, кто не умирают, – живут

до шестидесяти, до семидесяти,

педствуют, строчат мемуары,

путаются в ногах.

Я вглядываюсь в их черты

пристально, как Миклуха

Маклай в татуировку

приближающихся

дикарей.

<1987>

* * *

М. К.

Ты узнаешь меня по почерку. В нашем ревнивом царстве
все подозрительно: подпись, бумага, числа.

Даже ребенку скучно в такие цацки;
лучше уж в куклы. Вот я и разучился.

Теперь, когда мне попадается цифра девять
с вопросительной шейкой (чаще всего, под утро)
или (заполночь) двойка, я вспоминаю лебедь,
плывущую из-за кулис, и пудра
с потом щекочат ноздри, как будто запах
набирается как телефонный номер
или – шифр сокровища. Знать, погорев на злаках
и серпах, я что-то все-таки сэкономил!

Этой мелочи может хватить надолго.

Сдача лучше хрусткой купюры, перила – лестниц.

Брезгуя шелковой кожей, седая холка
оставляет вообще далеко наездниц.

Настоящее странствие, милая амазонка,
начинается раньше, чем скрипнула половица,
потому что губы смягчают линию горизонта,
и путешественнику негде остановиться.

<1987>

* * *

Чем больше черных глаз, тем больше переносиц,
а там до стука в дверь уже подать рукой.
Ты сам себе теперь дымящий миноносец
и синий горизонт, и в бурях есть покой.
Носки от беготни крысиныя промокли.
К лопаткам приросла бесцветная мишень.
И к ней, как чешуя, прикованы бинокли
не видящих меня смотря каких женьшень.
У северных широт набравшись краски трезвой,
(иначе – серости) и хлестких резюме,
ни резвого свинца, ни обнаженных лезвий,
как собственной родни, глаз больше не бздюме.
Питомец Балтики предпочитает Морзе!
Для спасшейся души – естественней петит!
И с уст моих в ответ на зимнее по морде
сквозь минные поля эх яблочко летит.

<1987>

* * *

Я распугивал ящериц в зарослях чаппаралья,
куковал в казенных домах, переплывал моря,
жил с китаянкой. Боюсь, моя
столбовая дорога вышла длинней, чем краля
на Казанском догадывалась. И то:
по руке не вычислить скорохода.

Наизнанку вывернутое пальто
сводит с ума даже время года,
а не только что мусора. Вообще верста,
падая жертвой своего предела,
губит пейзаж и плодит места,
где уже не нужно, я вижу, тела.
Знать, кривая способна тоже, в пандан прямой,
озверевши от обуви, пробормотать «не треба».
От лица фотографию легче послать домой,
чем срисовывать ангела в профиль с неба.

<1987>

Bagatelle [77]

Елизавете Лионской

I

Помрачнение июльских бульваров, когда, точно деньги во сне,
пропадают из глаз, возмущенно шурша, миллиарды,
и, как сдача, звезда дребезжит, серебрясь в желтизне
не от мира сего замусоленной ласточкой карты.

Вечер липнет к лопаткам, грызя на ходу козинак,
сокращает красавиц до профилей в ихних камнях;
от великой любви остается лишь равенства знак
костенеть в перекладинах голых садовых скамеек.

И ночной аквилон, рыхлой мышцы ища волокно,

как возможную жизнь, тербит взбаламученный гарус,
разодрав каковой, от земли отплывает фоно
в самодельную бурю, подняв полированный парус.

II

Города знают правду о памяти, об огромности лестниц в так наз.
разоренном гнезде, о победах прямой над отрезком.
Ничего на земле нет длиннее, чем жизнь после нас,
воскресавших со скоростью, набранной к ночи курьерским.

И всегда за спиной, как отбросив костяшки, рука
то ли машет вослед, в направленьи растрченных денег,
то ли вслух громоздит зашвырнувшую вас в облака
из-под пальцев аккордом бренчащую сумму ступенек.

Но чем ближе к звезде, тем все меньше перил; у квартир -
вид неправильных туч, зараженных квадратностью, тюлем,
и версте, чью спираль граммофон до конца раскрутил,
лучше броситься под ноги взапуски замершим стульям.

III

Разрастаясь как мысль облаков о себе в синеве,
время жизни, стремясь отделиться от времени смерти,
обращается к звуку, к его серебру в соловье,
центробежной иглой разгоняя масштаб круговерти.

Так творятся миры, ибо радиус, подвиги чьи

в захолустных садах созерцаемы выцветшей осью,
руку бросившем пальцем на слух подбирает ключи
к бытию вне себя, в просторечьи – к его безголосью.

Так лучи подбирают пространство; так пальцы слепца
неспособны отдернуть себя, слыша крик «Осторожней!»
Освещенная вещь обрастает чертами лица.
Чем пластинка черней, тем ее доиграть невозможней.

<1987>

Бегство в Египет

... погонщик возник неизвестно откуда.

В пустыне, подобранной небом для чуда
по принципу сходства, случившись ночлегом,
они жгли костер. В заметаемой снегом
пещере, своей не предчувствуя роли,
младенец дремал в золотом ореоле
волос, обретавших стремительный навык
свеченья – не только в державе чернявых,
сейчас, – но и вправду подобно звезде,
покуда земля существует: везде.

25 декабря 1988

Дождь в августе

Среди бела дня начинает стремглав смеркаться, и
кучевое пальто норовит обернуться шубой
с неземного плеча. Под напором дождя акация
становится слишком шумной.

Не иголка, не нитка, но нечто бесспорно швейное,
фирмы Зингер почти с примесью ржавой лейки,
слышится в этом стрекоте; и герань обнажает шейные
позвонки белошвейки.

Как семейно шуршанье дождя! как хорошо заштопаны
им прорехи в пейзаже изношенном, будь то выпас
или междудеревье, околица, лужа – чтоб они
зрению не дали выпасть
из пространства. Дождь! двигатель близорукости,
летописец вне кельи, жадный до пищи постной,
испещряющий суглинок, точно перо без рукописи,
клинописью и оспой.

Повернуться спиной к окну и увидеть шинель с погонами
на коричневой вешалке, чернобурку на спинке кресла,
бахрому желтой скатерти, что, совладав с законами
тяготенья, воскресла
и накрыла обеденный стол, за которым втроем за ужином
мы сидим поздно вечером, и ты говоришь сонливым,
совершенно моим, но дальностью лет приглушенным
голосом: «Ну и ливень».

1988

Кентавры

Кентавры I

Наполовину красавица, наполовину софа, в просторечьи – Софа,
по вечерам оглашая улицу, чьи окна отчасти лица,
стуком шести каблучков (в конце концов, катастрофа -
то, в результате чего трудно не измениться),
она спешит на свидание. Любовь состоит из тюля,
волоса, крови, пружин, валика, счастья, родов.
На две трети мужчина, на одну легковая – Муля -
встречает ее рычанием холостых оборотов
и увлекает в театр. В каждом бедре с пеленок
сидит эта склонность мышцы к мебели, к выкрутасам
красного дерева, к шкапу, у чьих филенок,
в свою очередь, склонность к трем четвертям, к анфасам
с отпечатками пальцев. Увлекает в театр, где, спрятавшись в пятый угол,
наезжая впотьмах друг на дружку, мяся колесом фанеру,
они наслаждаются в паузах драмой из жизни кукол,
чем мы и были, собственно, в нашу эру.

Кентавры II

Они выбегают из будущего и, прокричав «напрасно!»,
тотчас в него возвращаются; вы слышите их чечетку.
На ветку садятся птицы, большие, чем пространство,

в них – ни пера, ни пуха, а только к черту, к черту.
Горизонтальное море, крашенное закатом.
Зимний вечер, устав от его заочной
синевы, поигрывает, как атом
накануне распада и проч., цепочкой
от часов. Тело сгоревшей спички,
голая статуя, безлюдная танцплощадка
слишком реальны, слишком стереоскопичны,
потому что им больше не во что превращаться.
Только плоские вещи, как то: вода и рыба,
слившись, в силах со временем дать вам ихтиозавра.
Для возникшего в результате взрыва
профиля не существует завтра.

Кентавры III

Помесь прошлого с будущим, данная в камне, крупным
планом. Развитым торсом и конским крупом.
Либо – простым грамматическим «был» и «буду»
в настоящем продолженном. Дать эту вещь как груду
скушных подробностей, в голой избе на курьих
ножках. Плюс нас, со стороны, на стульях.
Или – слившихся с теми, кого любили
в горизонтальной постели. Или в автомобиле,
суть в плену перспективы, в рабстве у линий. Либо
просто в мозгу. Дать это вслух, крикливо,
мыслью о смерти – частой, саднящей, вещной.
Дать это жизнью сейчас и вечной

жизнью, в которой, как яйца в сетке,
мы все одинаковы и страшны насадке,
повторяющей средствами нашей эры
шестикрылую помесь веры и стратосферы.

Кентавры IV

Местность цвета сапог, цвета сырой портянки.

Совершенно не важно, который век или который год.

На закате ревут, возвращаясь с полей, муу-танки:

крупный единорогий скот.

Все переходят друг в друга с помощью слова «вдруг»

– реже во время войны, чем во время мира.

Меч, стосковавшись по телу при перековке в плуг,

выскальзывает из рук, как мыло.

Без поводка от владельцев не отличить собак,

в книге вторая буква выглядит слепком с первой;

возле кинотеатра толпятся подростки, как

белоголовки с замерзшей спермой.

Лишь многорукость деревьев для ветерана мзда

за одноногость, за черный квадрат окопа

с ржавой водой, в который могла б звезда

упасть, спасаясь от телескопа.

1988

Новая жизнь

Представь, что война окончена, что воцарился мир.

Что ты еще отражаешься в зеркале. Что сорока
или дрозд, а не юнкере, щебечет на ветке «чирр».

Что за окном не развалины города, а барокко
города; пинии, пальмы, магнолии, цепкий плющ,
лавр. Что чугунная вязь, в чьих кружевах скучала
луна, в результате вынесла натиск мимозы, плюс
взрывы агавы. Что жизнь нужно начать сначала.

Люди выходят из комнат, где стулья как буква "б"
или как мягкий знак, спасают от головокруженья.

Они не нужны, никому, только самим себе,
плитняку мостовой и правилам умноженья.

Это – влияние статуй. Вернее, их полых ниш.

То есть, если не святость, то хоть ее синоним.

Представь, что все это – правда. Представь, что ты говоришь
о себе, говоря о них, о лишнем, о постороннем.

Жизнь начинается заново именно так – с картин
изверженья вулкана, шлюпки, попавшей в бурю.

С порожденного ими чувства, что ты один
смотришь на катастрофу. С чувства, что ты в любую
минуту готов отвернуться, увидеть диван, цветы
в желтой китайской вазе рядом с остывшим кофе.

Их кричащие краски, их увядшие рты
тоже предупреждают, впрочем, о катастрофе.

Каждая вещь уязвима. Самая мысль, увы,
о ней легко забывается. Вещи вообще холопы
мысли. Отсюда их формы, взятые из головы,
их привязанность к месту, качества Пенелопы,
то есть потребность в будущем. Утром кричит петух.
В новой жизни, в гостинице, ты, выходя из ванной,
кутаясь в простыню, выглядишь как пастух
четвероногой мебели, железной и деревянной.

Представь, что эпос кончается идиллией. Что слова -
обратное языку пламени: монологу,
пожиравшему лучших, чем ты, с жадностью, как дрова;
что в тебе оно видело мало проку,
мало тепла. Поэтому ты уцелел.
Поэтому ты не страдаешь слишком от равнодушья
местных помон, вертумнов, венер, церер.
Поэтому на устах у тебя эта песнь пастушья.

Сколько можно оправдываться. Как ни скрывай тузы,
на стол ложатся вальты неизвестной масти.
Представь, что чем искренней голос, тем меньше в нем слезы,
любви к чему бы то ни было, страха, страсти.
Представь, что порой по радио ты ловишь старый гимн.
Представь, что за каждой буквой здесь тоже плетется свита
букв, слагаясь невольно то в «бетси», то в «ибрагим»,
перо выводя за пределы смысла и алфавита.

Сумерки в новой жизни. Цикады с их звонким "ц";
классическая перспектива, где не хватает танка
либо – сырого тумана в ее конце;
голый паркет, никогда не осязавший танго.

В новой жизни мгновенью не говорят «постой»:
остановившись, оно быстро идет насмарку.

Да и глянца в чертах твоих хватит уже, чтоб с той
их стороны черкнуть «привет» и приклеить марку.

Белые стены комнаты делаются белей
от брошенного на них якобы для остротки
взгляда, скорей привыкшего не к ширине полей,
но в отсутствие в спектре их отрешенной краски.
Многое можно простить вещи – тем паче там,
где эта вещь кончается. В конечном счете, чувство
любопытства к этим пустым местам,
к их беспредметным ландшафтам и есть искусство.

Облако в новой жизни лучше, чем солнце. Дождь,
будучи непрерывен – вроде самопознания.
В свою очередь, поезд, которого ты не ждешь
на перроне в плаще, приходит без опоздания.
Там, где есть горизонт, парус ему судья.
Глаз предпочтет обмылок, чем тряпочку или пену.
И если кто-нибудь спросит: «кто ты?» ответь: "кто я,
я – никто", как Улисс некогда Полифему.

Открытка из Лиссабона

Монументы событиям, никогда не имевшим места:

Несостоявшимся кровопролитным войнам.

Фразам, проглоченным в миг ареста.

Помеси голого тела с хвойным
деревом, давшей Сан-Себастьяна.

Авиаторам, воспарявшим к тучам
посредством крылатого фортепьяно.

Создателю двигателя с горючим
из отходов воспоминаний. Женам
мореплавателей – над блюдом
с одинокой яичницей. Обнаженным

Конституциям. Полногрудым
Независимостям. Кометам,
пролетевшим мимо земли (в погоне
за бесконечностью, чьим приметам
соответствуют эти ландшафты, но не
полностью). Временному соитию

в бороде арестанта идеи власти
и растительности. Открытью

Инфарктики – неизвестной части
того света. Ветреному кубисту
кровель, внемлющему сопрано
телеграфных линий. Самоубийству
от безответной любви Тирана.

Землетрясению – подчеркивает современник, -

народом встреченному с восторгом.
Руке, никогда не сжимавшей денег,
тем более – детородный орган.
Сумме зеленых листьев, вправе
заранее презирать их разность.
Счастью. Снам, навязавшим яви
за счет населения свою бессвязность.

1988

Примечания папоротника

Gedenke meiner,
fluestert der Staub [78]. Peter Huchel

По положению пешки догадываешься о короле.
По полоске земли вдалеке – что находишься на корабле.
По сытым ноткам в голосе нежной подруги в трубке
– что объявился преемник: студент? хирург?
инженер? По названию станции – Одинбург -
что пора выходить, что яйцу не сносить скорлупки.

В каждом из нас сидит крестьянин, специалист
по прогнозам погоды. Как то: осенний лист,
падая вниз лицом, сулит недород. Оракул
не лучше, когда в жилище входит закон в плаще:
ваши дни сочтены – судьей или вообще
у вас их, что называется, кот наплакал.

Что-что, а примет у нас природа не отберет.

Херувим – тот может не знать, где у него перед,
где зад. Не то человек. Человеку всюду
мнится та перспектива, в которой он
пропадает из виду. И если он слышит звон,
то звонят по нему: пьют, бьют и сдают посуду.

Поэтому лучше бесстрашие! Линия на руке,
пляска розовых цифр в троллейбусном номерке,
плюс эффект штукатурки в комнате Валтасара
подтверждают лишь то, что у судьбы, увы,
вариантов меньше, чем жертв; что вы
скорей всего кончите именно как сказала

цыганка вашей соседке, брату, сестре, жене
приятеля, а не вам. Перо скрипит в тишине,
в которой есть нечто посмертное, обратное танцам в клубе,
настолько она оглушительна; некий антиобстрел.
Впрочем, все это значит просто, что постарел,
что червяк устал извиваться в клюве.

Пыль садится на вещи летом, как снег зимой.

В этом – заслуга поверхности, плоскости. В ней самой
есть эта тяга вверх: к пыли и к снегу. Или
просто к небытию. И, сродни строке,
«не забывай меня» шепчет пыль руке

с тряпкой, а мокрая тряпка вбирает шепот пыли.

По силе презренья догадываешься: новые времена.

По сверканью звезды – что жалость отменена
как уступка энергии низкой температуре
либо как указанье, что самому пора
выключить лампу; что скрип пера
в тишине по бумаге – бесстрашье в миниатюре.

Внемлите же этим речам, как пению червяка,
а не как музыке сфер, рассчитанной на века.
Глуше птичкиной песни, оно звончей, чем щучья
песня. Того, что грядет, не остановить дверным
замком. Но дурное не может произойти с дурным
человеком, и страх тавтологии – гарантия благополучья.

1988

Элегия

Постоянство суть эволюция принципа помещенья
в сторону мысли. Продолженье квадрата или
параллелепипеда средствами, как сказал бы
тот же Клаузевиц, голоса или извилин.

О, сжавшаяся до размеров клетки
мозга комната с абажуром,
шкаф типа «гей, славяне», четыре стула,
козетка, кровать, туалетный столик

с лекарствами, расставленными наподобье
кремля или, лучше сказать, нью-йорка.

Умереть, бросить семью, уехать,
сменить полушарие, дать вписать
другие овалы в четырехугольник
– тем громче пыльное помещенье
настаивает на факте существования,
требуя ежедневных жертв от новой
местности, мебели, от силуэта в желтом
платье; в итоге – от самого себя.

Пауку – одно удовольствие заштриховывать пятый угол.

Эволюция – не приспособление вида
к незнакомой среде, но победа воспоминаний
над действительностью. Зависть ихтиозавра
к амебе. Расхлябанный позвоночник
поезда, громыхающий в темноте
мимо плотно замкнутых на ночь створок
деревянных раковин с их бесхребетным, влажным,
жемчужину прячущим содержимым.

1988

* * *

Под раскидистым вязом, шепчущим «че-ше-ще»,
превращая эту кофейню в нигде, в вообще
место – как всякое дерево, будь то вяз
или ольха – ибо зелень переживает вас,

я, иначе – никто, всечеловек, один
из, подсохший мазок в одной из живых картин,
которые пишет время, макая кисть
за неимением, верно, лучшей палитры в жисть,

сiju, шелестя газетой, раздумывая, с какой
натуры все это списано? чей покой,
безымянность, безадресность, форму небытия
мы повторяем в летних сумерках – вяз и я?

<1988>

* * *

Сюзанне Мартин

Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне
«Яникулум» новое кодро болтает на прежней фене.
Тая в стакане, лед позволяет дважды
вступить в ту же самую воду, не утоляя жажды.

Восемь лет пронеслось. Вспыхивали, затухали
войны, рушились семьи, в газетах мелькали хари,
падали аэропланы, и диктор вздыхал «о Боже».
Белье еще можно выстирать, но не разгладить кожи

даже пылкой ладонью. Солнце над зимним Римом

борется врукопашную с сизым дымом;
пахнет жженым листом, и блещет фонтан, как орден,
выданный за бесцельность выстрелу пушки в полдень.

Вещи затвердевают, чтоб в памяти их не сдвинуть
с места; но в перспективе возникнуть трудней, чем сгнуть
в ней, выходящей из города, переходящей в годы
в погоне за чистым временем, без счастья и терракоты.

Жизнь без нас, дорогая, мыслима – для чего и
существуют пейзажи, бар, холмы, кучевое
облако в чистом небе над полем того сраженья,
где статуи стынут, празднуя победу телосложения.

18 января 1989

Выступление в Сорбонне

Изучать философию следует, в лучшем случае,
после пятидесяти. Выстраивать модель
общества – и подавно. Сначала следует
научиться готовить суп, жарить – пусть не ловить -
рыбу, делать приличный кофе.

В противном случае, нравственные законы
пахнут отцовским ремнем или же переводом
с немецкого. Сначала нужно
научиться терять, нежели приобретать,
ненавидеть себя более, чем тирана,

годами выкладывая за комнату половину
ничтожного жалования – прежде, чем рассуждать
о торжестве справедливости. Которое наступает
всегда с опозданием минимум в четверть века.

Изучать труд философа следует через призму
опыта либо – в очках (что примерно одно и то же),
когда буквы сливаются и когда
голая баба на смятой подстилке снова
дл вас фотография или же репродукция
с картины художника. Истинная любовь
к мудрости не настаивает на взаимности
и оборачивается не браком
в виде изданного в Геттингене кирпича,
но безразличием к самому себе,
краской стыда, иногда – элегией.

(Где-то звенит трамвай, глаза слипаются,
солдаты возвращаются с песнями из борделя,
дождь – единственное, что напоминает Гегеля.)

Истина заключается в том, что истины
не существует. Это не освобождает
от ответственности, но ровно наоборот:
этика – тот же вакуум, заполняемый человеческим
поведением, практически постоянно;
тот же, если угодно, космос.

И боги любят добро не за его глаза,
но потому что, не будь добра, они бы не существовали.
И они, в свою очередь, заполняют вакуум.
И может быть, даже более систематически,
нежели мы: ибо на нас нельзя
рассчитывать. Хотя нас гораздо больше,
чем когда бы то ни было, мы – не в Греции:
нас губит низкая облачность и, как сказано выше, дождь.

Изучать философию нужно, когда философия
вам не нужна. Когда вы догадываетесь,
что стулья в вашей гостиной и Млечный Путь
связаны между собою, и более тесным образом,
чем причины и следствия, чем вы сами
с вашими родственниками. И что общее
у созвездий со стульями – бесчувственность, бесчеловечность.
Это роднит сильнее, нежели совокупление
или же кровь! Естественно, что стремиться
к сходству с вещами не следует. С другой стороны, когда
вы больны, необязательно выздоравливать
и нервничать, как вы выглядите. Вот что знают
люди после пятидесяти. Вот почему они
порой, глядя в зеркало, смешивают эстетику с метафизикой.

март 1989

На столетие Анны Ахматовой

Страницу и огонь, зерно и жернова,

секиры острое и усеченный волос -
Бог сохраняет все; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь – одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, – тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

июль 1989

Памяти Геннадия Шмакова

Извини за молчанье. Теперь
ровно год, как ты нам в киловаттах
выдал статус курей слеповатых
и глухих – в децибелах – тетерь.

Видно, глаз чтит великую сушь,
плюс от ходиков слух заложило:
умерев, как на взгляд старожила -
пассажир, ты теперь вездесущ.

Может статья, тебе, хвастуну,
резонеру, сверчку, черноусу,
ощущавшему даже страну
как безадресность, это по вкусу.

Коли так, гедонист, латинист,
в дебрях северных мерзнувший эллин,
жизнь свою, как исписанный лист,
в пламя бросивший, – будь беспределен,

повсеместен, почти уловим
мыслью вслух, как иной небожитель.
Не сказать «херувим, серафим»,
но – трехмерных пространств нарушитель.

Знать теперь, недоступный узде
тяготенья, вращению блюдец
и голов, ты взаправду везде,
гастроном, критикан, себялюбец.

Значит, воздуха каждый глоток,
тучка рваная, жиденский ельник,
это – ты, однокашник, годок,
брат молочный, наперсник, поделщик.

Может статься, ты вправду целей
в пляске атомов, в свалке молекул,
углерода, кристаллов, солей,
чем когда от страстей кукарекал.

Может, вправду, как пел твой собрат,
сентименты сильней без вместилищ,
и постскриптум махровой стократ,
чем цветы театральных училищ.

Впрочем, вряд ли. Изнанка вещей
как защита от мины капризной
солоней атлантических щей,
и не слаще от сходства с отчизной.

Но, как знавший чернильную спесь,
ты оттуда простишь этот храбрый
перевод твоих лядвий на смесь
астрономии с абракадаброй.

Сотрапезник, ровесник, двойник,
молний с бисером щедрый метатель,
лучших строк поводырь, проводник
просвещения, лучший читатель!

Нищий барин, исчадьё кулис,
бич гостиных, паша оттоманки,
обнажившихся роц кипарис,
пьяный пенъем великой гречанки,

– окликать тебя бестолку. Ты,
выжав сам все, что мог, из потери,
безразличен к фальцету тщеты,
и когда тебя ищут в партере,

ты бредешь, как тот дождь, стороной,
вьешься вверх струйкой пара над кофе,
треплешь парк, набегаешь волной
на песок где-нибудь в Петергофе.

Не впервой! так разводят круги
в эмпиреях, как в недрах колодца.
Став ничем, человек – вопреки
песне хора – во всем остается.

Ты теперь на все руки мастак -
бунта листьёв, падения хунты -
часть всего, заурядный тик-так;
проще – топливо каждой секунды.

Ты теперь, в худшем случае, пыль,
свою выше ценящая небыль,
чем салфетки, блюдущие стиль
твердой мебели; мы эта мебель.

Длинный путь от Уральской гряды
с прибауткою «вольному – воля»
до разреженной внешней среды,
максимально – магнитного поля!

Знать, ничто уже, цепью гремя
как причины и следствия звенья,
не грозит тебе там, окромя
знаменитого нами забвенья.

21 августа 1989

Доклад для симпозиума

Предлагаю вам небольшой трактат
об автономности зрения. Зрение автономно
в результате зависимости от объекта
внимания, расположенного неизбежно
вовне; самое себя глаз никогда не видит.

Сузившись, глаз уплывает за
кораблем, вспархивает вместе с птичкой с ветки,

заволакивается облаком сновидений,
как звезда; самое себя глаз никогда не видит.
Уточним эту мысль и возьмем красавицу.
В определенном возрасте вы рассматриваете красавиц,
не надеясь покрыть их, без прикладного
интереса. Невзирая на это, глаз,
как невыключенный телевизор
в опустевшей квартире, продолжает передавать
изображение. Спрашивается – чего ради?
Далее – несколько тезисов из лекции о прекрасном.
Зрение – средство приспособления
организма к враждебной среде. Даже когда вы к ней
полностью приспособились, среда эта остается
абсолютно враждебной. Враждебность среды растет
по мере в ней вашего пребывания;
и зрение обостряется. Прекрасное ничему
не угрожает. Прекрасное не таит
опасности. Статуя Аполлона
не кусается. Белая простыня
тоже. Вы кидаетесь за шуршавшей юбкой
в поисках мрамора. Эстетическое чутье
суть слепок с инстинкта самосохранения
и надежней, чем этика. Уродливое трудней
превратить в прекрасное, чем прекрасное
изуродовать. Требуется сапер,
чтобы сделать опасное безопасным.
Этим попыткам следует рукоплескать,
оказывать всяческую поддержку.
Но, отделившись от тела, глаз
скорей всего предпочтет поселиться где-нибудь

в Италии, Голландии или в Швеции.

август 1989, Tor?

* * *

М. Б.

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал в партере китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.

Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошной
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь – человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

1989

Ландсвер-Канал, Берлин

Канал, в котором утопили Розу
Л., как погашенную папиросу,
практически почти зарос.
С тех пор осыпалось так много роз,
что нелегко ошеломить туриста.
Стена – бетонная предтеча Кристо -
бежит из города к теленку и корове
через поля отмытой цвета крови;
дымит сигарой предприятие.
И чужестранец задирает платье
туземной женщине – не как Завоеватель,
а как придирчивый ваятель,
готовящийся обнажить
ту статую, которой дольше жить,
чем отражению в канале,
в котором Розу доканали.

1989

Облака

О, облака

Балтики летом!

Лучше вас в мире этом

я не видел пока.

Может, и в той

вы жизни клубитесь

– конь или витязь,

реже – святой.

Только Господь

вас видит с изнанки -

точно из нанки

рыхлую плоть.

То-то же я,

страхами крепок,

вижу в вас слепок

с небытия,

с жизни иной.

Путь над гранитом,

над знаменитым

мелкой волной

морем держа,
вы – изваянья
существованья
без рубежа.

Холм или храм,
профиль Толстого,
Рим, холостого
логова хлам,

тающий воск,
Старая Вена,
одновременно
айсберг и мозг,

райский анфас -
ах, кроме ветра
нет геометра
в мире для вас!

В вас, кучевых,
перистых, беглых,
радость оседлых
и кочевых.

В вас мне ясна
рваность, бессвязность,
сумма и разность
речи и сна.

Это от вас
я научился
верить не в числа -
в чистый отказ

от правоты
веса и меры
в пользу химеры
и лепоты!

Вами творим
остров, чей образ
больше, чем глобус,
тесный двоим.

Ваши дворцы -
местности счастья
плюс самовластья
сердца творцы.

Пенный каскад
ангелов, бальных
платьев, крахмальных
крах баррикад,

брак мотылька
и гималаев,
альп, разгуляев -
о, облака,

в чутком греху
небе ничейном
Балтики – чей там,
там, наверху,

внемлет призыв
ваша обитель?
Кто ваш строитель,
кто ваш Сизиф?

Кто там, вовне,
дав вам обличья,
звук из величья
вычел, зане

чудо всегда
ваше беззвучно.
Оптом, поштучно
ваши стада

движутся без
шума, как в играх
движутся, выбрав
тех, кто исчез

в горней глуши
вместо предела.
Вы – легче тела,
легче души.

1989

Памяти отца: Австралия

Ты ожил, снилось мне, и уехал
в Австралию. Голос с трехкратным эхом
окликал и жаловался на климат
и обои: квартиру никак не снимут,
жалко, не в центре, а около океана,
третий этаж без лифта, зато есть ванна,
пухнут ноги, «А тапочки я оставил» -

прозвучавшее внятно и деловито.

И внезапно в трубке завыло «Аделаида! Аделаида!»,
загремело, захлопало, точно ставень
бился о стенку, готовый сорваться с петель.

Все-таки это лучше, чем мягкий пепел
крематория в банке, ее залога -
эти обрывки голоса, монолога
и попытки прикинуться нелюдимом

в первый раз с той поры, как ты обернулся дымом.

1989

* * *

Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере,
используй, чтоб холод почувствовать, щели
в полу, чтоб почувствовать голод – посуду,
а что до пустыни, пустыня повсюду.

Представь, чиркнув спичкой, ту полночь в пещере,
огонь, очертанья животных, вещей ли,
и – складкам смешать дав лицо с полотенцем -
Марию, Иосифа, сверток с Младенцем.

Представь трех царей, караванов движение
к пещере; верней, трех лучей приближение
к звезде, скрип поклажи, брэнчание ботал
(Младенец покамест не заработал
на колокол с эхом в сгустившейся сини).
Представь, что Господь в Человеческом Сыне
впервые Себя узнает на огромном
впотьмах расстояньи: бездомный в бездомном.

1989

Fin de Siecle [79]

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.

Это, боюсь, не вопрос чутья.

Скорее – влиянье небытия

на бытие. Охотника, так сказать, на дичь -

будь то сердечная мышца или кирпич.

Мы слышим, как свищет бич,

пытаясь припомнить отчества тех, кто нас любил,

барахтаясь в скользких руках лепил.

Мир больше не тот, что был

прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот,

кушетка и комбинация, соль острот.

Кто думал, что их сотрет,

как резинкой с бумаги усилья карандаша,

время? Никто, ни одна душа.

Однако время, шурша,

сделало именно это. Поди его упрекни.

Теперь повсюду антенны, подростки, пни

вместо деревьев. Ни

в кафе не встретить сподвижника, раздавленного судьбой,

ни в баре уставшего пробовать возвыситься над собой

ангела в голубой

юбке и кофточке. Всюду полно людей,

стоящих то плотной толпой, то в виде очередей;

тиран уже не злодей,

но посредственность. Также автомобиль

больше не роскошь, но способ выбить пыль

из улицы, где костыль

инвалида, поди, навсегда умолк;

и ребенок считает, что серый волк

страшней, чем пехотный полк.

И как-то тянет все чаще прикладывать носовой
к органу зрения, занятому листвою,
принимая на свой

счет возникающий в ней пробел,
глаголы в прошедшем времени, букву "л",
арию, что пропел

голос кукушки. Теперь он звучит грубей,
чем тот же Каварадосси – примерно как «хоть убей»
или «больше не пей» -

и рука выпускает пустой графин.
Однако в дверях не священник и не раввин,
но эра по кличке фин-

де-сьекль. Модно все черное: сорочка, чулки, белье.
Когда в результате вы все это с нее
стаскиваете, жильё

озаряется светом примерно в тридцать ватт,
но с уст вместо радостного «виват!»

срывается «виноват».

Новые времена! Печальные времена!

Вещи в витринах, носящие собственные имена,
делятся ими на

те, которыми вы в состоянии пользоваться, и те,
которые, по собственной темноте,
вы приравниваете к мечте

человечества – в сущности, от него
другого ждать не приходится – о нео-
душевленности холуя и о

вообще анонимности. Это, увы, итог
размножения, чей исток
не брюки и не Восток,

но электричество. Век на исходе. Бег
времени требует жертвы, развалины. Баальбек
его не устраивает; человек

тоже. Подай ему чувства, мысли, плюс
воспоминания. Таков аппетит и вкус

времени. Не тороплюсь,

но подаю. Я не трус; я готов быть предметом из
прошлого, если таков каприз
времени, сверху вниз

смотрящего – или через плечо -
на свою добычу, на то, что еще
шевелится и горячо

наощупь. Я готов, чтоб меня песком
занесло и чтоб на меня пешком
путешествующий глазком

объектива не посмотрел и не
исполнился сильных чувств. По мне,
движущееся вовне

время не стоит внимания. Движущееся назад
стоит, или стоит, как иной фасад,
смахивая то на сад,

то на партию в шахматы. Век был, в конце концов,
неплох. Разве что мертвецов

в избытке – но и жильцов,

исключая автора данных строк,

тоже хоть отбавляй, и впрок

впору, давая срок,

мариновать или сбивать их в сыр

в камерной версии черных дыр,

в космосе. Либо – самый мир

сфотографировать и размножить – шесть

на девять, что исключает лезть -

чтоб им после не лезть

впопыхах друг на дружку, как штабель дров.

Под аккомпанемент авиакатастроф,

век кончается; Проф.

бубнит, тыча пальцем вверх, о слоях земной

атмосферы, что объясняет зной,

а не как из одной

точки попасть туда, где к составу туч

примешиваются наши «спаси», «не мучь»,

«прости», вынуждая луч

разменивать его золото на серебро.

Но век, собирая свое добро,

расценивает как ретро

и это. На полюсе лает лайка и реет флаг.

На западе глядят на Восток в кулак,

видят забор, барак,

в котором царит оживление. Вспугнуты лесом рук,

птицы вспархивают и летят на юг,

где есть арык, урюк,

пальма, тюрбаны, и где-то звучит там-там.

Но, присматриваясь к чужим чертам,

ясно, что там и там

главное сходство между простым пятном

и, скажем, классическим полотном

в том, что вы их в одном

экземпляре не встретите. Природа, как бард вчера -

копирку, как мысль чела -

букву, как рой – пчела,

искренне ценит принцип массовости, тираж,
страшась исключительности, пропаж
энергии, лучший страж

каковой есть распущенность. Пространство заселено.

Трению времени о него вольно
усиливаться сколько влезет. Но

ваше веко смыкается. Только одни моря
невозмутимо синеют, издали говоря
то слово «зря», то – «зря».

И, услышавши это, хочется бросить рыть
землю, сесть на пароход и плыть,
и плыть – не с целью открыть

остров или растение, прелесть иных широт,
новые организмы, но ровно наоборот;
главным образом – рот.

1989

* * *

Не важно, что было вокруг, и не важно,
о чем там пурга завывала протяжно,
что тесно им было в пастушьей квартире,
что места другого им не было в мире.

Во-первых, они были вместе. Второе,
и главное, было, что их было трое,
и все, что творилось, варилось, дарилось
отныне, как минимум, на три делилось.

Морозное небо над ихним привалом
с привычкой большого склоняться над малым
сверкало звездой – и некуда деться
ей было отныне от взгляда младенца.

Костер полыхал, но полено кончалось;
все спали. Звезда от других отличалась
сильней, чем свеченьем, казавшимся лишним,
способностью дальнего смешивать с ближним.

25 декабря 1990

Вертумн [80]

Памяти Джанни Буттафавы

I

Я встретил тебя впервые в чужих для тебя широтах.

Нога твоя там не ступала; но слава твоя достигла
мест, где плоды обычно делаются из глины.

По колена в снегу, ты возвышался, белый,
больше того – нагой, в компании одноногих,
тоже голых деревьев, в качестве специалиста
по низким температурам. «Римское божество» -
гласила выцветшая табличка,
и для меня ты был богом, поскольку ты знал о прошлом
больше, нежели я (будущее меня
в те годы мало интересовало).

С другой стороны, кудрявый и толстощекий,
ты казался ровесником. И хотя ты не понимал
ни слова на местном наречьи, мы как-то разговорились.

Болтал поначалу я; что-то насчет Помоны,
петляющих наших рек, капризной погоды, денег,
отсутствия овощей, чехарды с временами
года – насчет вещей, я думал, тебе доступных
если не по существу, то по общему тону
жалобы. Мало-помалу (жалоба – универсальный
праязык; вначале, наверно, было

«ой» или «ай») ты принялся отзываться:

щуриться, морщить лоб; нижняя часть лица
как бы оттаяла, и губы зашевелились.

«Вертумн», – наконец ты выдавил. «Меня зовут Вертумном».

II

Это был зимний, серый, вернее – бесцветный день.

Конечности, плечи, торс, по мере того как мы
переходили от темы к теме,

медленно розовели и покрывались тканью:
шляпа, рубашка, брюки, пиджак, пальто
темно-зеленого цвета, туфли от Балансиаги.
Снаружи тоже теплело, и ты порой, замерев,
вслушивался с напряжением в шелест парка,
переворачивая изредка клейкий лист
в поисках точного слова, точного выраженья.
Во всяком случае, если не ошибаюсь,
к моменту, когда я, изрядно воодушевившись,
витийствовал об истории, войнах, неурожае,
скверном правительстве, уже отцвела сирень,
и ты сидел на скамейке, издали напоминая
обычного гражданина, измученного государством;
температура твоя была тридцать шесть и шесть.
«Пойдем», – произнес ты, тронув меня за локоть.
«Пойдем; покажу тебе местность, где я родился и вырос».

III

Дорога туда, естественно, лежала сквозь облака,
напоминавшие цветом то гипс, то мрамор
настолько, что мне показалось, что ты имел в виду
именно это: размытые очертанья,
хаос, развалины мира. Но это бы означало
будущее – в то время, как ты уже
существовал. Чуть позже, в пустой кофейне
в добела раскаленном солнцем дремлющем городке,
где кто-то, выдумав арку, был не в силах остановиться,
я понял, что заблуждаюсь, услышав твою беседу
с местной старухой. Язык оказался смесью
вечнозеленого шелеста с лепетом вечносиних

волн – и настолько стремительным, что в течение разговора ты несколько раз превратился у меня на глазах в нее.
«Кто она?» – я спросил после, когда мы вышли.
«Она?» – ты пожал плечами. «Никто. Для тебя – богиня».

IV

Сделалось чуть прохладней. Навстречу нам стали часто попадаться прохожие. Некоторые кивали, другие смотрели в сторону, и виден был только профиль. Все они были, однако, темноволосы. У каждого за спиной – безупречная перспектива, не исключая детей. Что касается стариков, у них она как бы скручивалась – как раковина у улитки. Действительно, прошлого всюду было гораздо больше, чем настоящего. Больше тысячелетий, чем гладких автомобилей. Люди и изваянья, по мере их приближенья и удаленья, не увеличивались и не уменьшались, давая понять, что они – постоянные величины. Странно тебя было видеть в естественной обстановке. Но менее странным был факт, что меня почти все понимали. Дело, наверно, было в идеальной акустике, связанной с архитектурой, либо – в твоём вмешательстве; в склонности вообще абсолютного слуха к нечленораздельным звукам.

V

"Не удивляйся: моя специальность – метаморфозы. На кого я взгляну – становятся тотчас мною. Тебе это на руку. Все-таки за границей".

VI

Четверть века спустя, я слышу, Вертумн, твой голос,
произносящий эти слова, и чувствую на себе
пристальный взгляд твоих серых, странных
для южанина глаз. На заднем плане – пальмы,
точно всклокоченные трамонтаной
китайские иероглифы, и кипарисы,
как египетские обелиски.

Полдень; дряхлая балюстрада;
и заляпанный солнцем Ломбардии смертный облик
божества! временный для божества,
но для меня – единственный. С залысинами, с усами
скорее а ла Мопассан, чем Ницше,
с сильно раздавшимся – для вящего камуфляжа -
торсом. С другой стороны, не мне
хвастать диаметром, прикидываться Сатурном,
кокетничать с телескопом. Ничто не проходит даром,
время – особенно. Наши кольца -
скорее кольца деревьев с их перспективой пня,
нежели сельского хоровода
или объятия. Коснуться тебя – коснуться
астрономической суммы клеток,
цена которой всегда – судьба,
но которой лишь нежность – пропорциональна.

VII

я водворился в мире, в котором твой жест и слово
были непререкаемы. Мимикрия, подражание
расценивались как лояльность. Я овладел искусством

сливаться с ландшафтом, как с мебелью или шторой
(что сказало с годами на качестве гардероба).
С уст моих в разговоре стало порой срывать
личное местоимение множественного числа,
и в пальцах проснулась живость боярышника в ограде.
Также я бросил оглядываться. Заслышав сзади топот,
теперь я не вздрагиваю. Лопатками, как сквозняк,
я чувствую, что и за моей спиной
теперь тоже тянется улица, заросшая колоннадой,
что в дальнем ее конце тоже синюют волны
Адриатики. Сумма их, безусловно,
твой подарок, Вертумн. Если угодно – сдача,
мелочь, которой щедрая бесконечность
порой осыпает временное. Отчасти – из суеверья,
отчасти, наверно, поскольку оно одно -
временное – и способно на ощущение счастья.

VIII

"В этом смысле таким, как я, -
ты ухмылялся, – от вашего брата польза".

IX

С годами мне стало казаться, что радость жизни
сделалась для тебя как бы второй натурой.
Я даже начал прикидывать, так ли уж безопасна
радость для божества? не вечностью ли божество
в итоге расплачивается за радость
жизни? Ты только отмахивался. Но никто,
никто, мой Вертумн, так не радовался прозрачной
струе, кирпичу базилики, иглам пиний,

цепкости почерка. Больше, чем мы! Гораздо больше. Мне даже казалось, будто ты заразился нашей всеядностью. Действительно: вид с балкона на просторную площадь, дребезг колоколов, обтекаемость рыбы, рваное колоратуро видимой только в профиль птицы, перерастающие в овацию аплодисменты лавра, шелест банкнот – оценить могут только те, кто помнит, что завтра, в лучшем случае – послезавтра все это кончится. Возможно, как раз у них бессмертные учатся радости, способности улыбаться. (Ведь бессмертным чужды подобные опасенья.) В этом смысле тебе от нашего брата польза.

Х

Никто никогда не знал, как ты проводишь ночи. Это не так уж странно, если учесть твоё происхождение. Как-то за полночь, в центре мира, я встретил тебя в компании тусклых звезд, и ты подмигнул мне. Скрытность? Но космос вовсе не скрытность. Наоборот: в космосе видно все невооруженным глазом, и спят там без одеяла. Накал нормальной звезды таков, что, охлаждаясь, горазд породить алфавит, растительность, форму времени; просто – нас, с нашим прошлым, будущим, настоящим и так далее. Мы – всего лишь градусники, братья и сестры льда, а не Бетельгейзе. Ты сделан был из тепла и оттого – повсеместен. Трудно себе представить

тебя в какой-то отдельной, даже блестящей, точке.

Отсюда – твоя незримость. Боги не оставляют
пятен на простыне, не говоря – потомства,
довольствуясь рукотворным сходством
в каменной нише или в конце аллеи,
будучи счастливы в меньшинстве.

XI

Айсберг всплывает в тропики. Выдохнув дым, верблюды
рекламируют где-то на севере бетонную пирамиду.
Ты тоже, увы, наострился пренебрегать
своими прямыми обязанностями. Четыре времени года
все больше смахивают друг на друга,
смешиваясь, точно в выцветшем портмоне
заядлого путешественника франки, лиры,
марки, кроны, фунты, рубли.
Газеты бормочут «эффект теплицы» и «общий рынок»,
но кости ломит что дома, что в койке за рубежом.
Глядишь, разрушается даже бежавшая минным полем
годами предшественница шалопая Кристо.
В итоге – птицы не улетают
вовремя в Африку, типы вроде меня
реже и реже возвращаются восвояси,
квартплата резко подскакивает. Мало того, что нужно
жить, ежемесячно надо еще и платить за это.
"Чем банальнее климат, – как ты заметил, –
тем будущее быстрее становится настоящим".

XII

Жарким июльским утром температура тела

падает, чтоб достичь нуля.

Горизонтальная масса в морге
выглядит как сырье садовой
скульптуры. Начиная с разрыва сердца
и кончая окаменелостью. В этот раз
слова не подействуют: мой язык
для тебя уже больше не иностранный,
чтобы прислушиваться. И нельзя
вступить в то же облако дважды. Даже
если ты бог. Тем более, если нет.

XIII

Зимой глобус мысленно сплющивается. Широты
наползают, особенно в сумерках, друг на друга.
Альпы им не препятствуют. Пахнет оледенением.
Пахнет, я бы добавил, неолитом и палеолитом.
В просторечии – будущим. Ибо оледенение
есть категория будущего, которое есть пора,
когда больше уже никого не любишь,
даже себя. Когда надеваешь вещи
на себя без расчета все это внезапно скинуть
в чьей-нибудь комнате, и когда не можешь
выйти из дому в одной голубой рубашке,
не говоря – нагим. Я многому научился
у тебя, но не этому. В определенном смысле,
в будущем нет никого; в определенном смысле,
в будущем нам никто не дорог.
Конечно, там всюду маячат морены и сталактиты,
точно с потекшим контуром лувры и небоскребы.
Конечно, там кто-то движется: мамонты или

жуки-мутанты из алюминия, некоторые – на лыжах.
Но ты был богом субтропиков с правом надзора над
смешанным лесом и черноземной зоной -
над этой родиной прошлого. В будущем его нет,
и там тебе делать нечего. То-то оно наползает
зимой на отроги Альп, на милые Апеннины,
отхватывая то лужайку с ее цветком, то просто
что-нибудь вечнозеленое: магнолию, ветку лавра;
и не только зимой. Будущее всегда
настает, когда кто-нибудь умирает.
Особенно человек. Тем более – если бог.

XIV

Раскрашенная в цвета зари собака
лает в спину прохожего цвета ночи.

XV

В прошлом те, кого любишь, не умирают!
В прошлом они изменяют или прячутся в перспективу.
В прошлом лацканы уже; единственные полуботинки
дымятся у батареи, как развалины буги-вуги.
В прошлом стынувшая скамейка
напоминает обилием перекладин
обезумевший знак равенства. В прошлом ветер
до сих пор будоражит смесь
латыни с глаголицей в голом парке:
жэ, че, ша, ща плюс икс, игрек, зет,
и ты звонко смеешься: "Как говорил ваш вождь,
ничего не знаю лучше абракадабры".

XVI

Четверть века спустя, похожий на позвоночник
трамвай высекает искру в вечернем небе,
как гражданский салют погасшему навсегда
окну. Один караваджо равняется двум бернини,
оборачиваясь шерстяным кашне
или арией в Опере. Эти метаморфозы,
теперь оставшиеся без присмотра,
продолжаются по инерции. Другие предметы, впрочем,
затвердевают в том качестве, в котором ты их оставил,
отчего они больше не по карману
никому. Демонстрация преданности? Просто склонность
к монументальности? Или это в двери
нагло ломится будущее, и непроданная душа
у нас на глазах приобретает статус
классики, красного дерева, яичка от Фаберже?
Вероятней последнее. Что – тоже метаморфоза
и тоже твоя заслуга. Мне не из чего сплести
венки, чтоб как-то украсить чело твое на исходе
этого чрезвычайно сухого года.
В дурно обставленной, но большой квартире,
как собака, оставшаяся без пастуха,
я опускаюсь на четвереньки
и скребу когтями паркет, точно под ним зарыто -
потому что оттуда идет тепло -
твое теперешнее существование.
В дальнем конце коридора гремят посудой;
за дверью шуршат подола и тянет стужей.
"Вертумн, – я шепчу, прижимаясь к коричневой половице
мокрой щекою, – Вертумн, вернись".

декабрь 1990, Милан

Шеймусу Хини

Я проснулся от крика чаек в Дублине.

На рассвете их голоса звучали
как души, которые так загублены,
что не испытывают печали.

Облака шли над морем в четыре яруса,
точно театр навстречу драме,
набирая брайлем постскрипtum ярости
и беспомощности в остекленевшей раме.

В мертвом парке маячили изваяния.

И я вздрогнул: я – дума, вернее – возле.

Жизнь на три четверти – узнавание
себя в нечленораздельном вопле
или – в полной окаменелости.

Я был в городе, где, не сумев родиться,
я еще мог бы, набравшись смелости,
умереть, но не заблудиться.

Крики дублинских чаек! конец грамматики,
примечание звука к попыткам справиться
с воздухом, с примесью чувств праотца -
раздирали клювами слух, как занавес,
требуя опустить длинноты,
буквы вообще, и начать монолог свой заново
с чистой бесчеловечной ноты.

1990

Метель в Массачусетсе

Виктории Швейцер

Снег идет – идет уж который день.
Так метет, хоть черный пиджак надень.
Городок замело. Не видать полей.
Так бело, что не может быть белей.

Или – может: на то и часы идут.
Но минут в них меньше, чем снега тут.
По ночам темнота, что всегда была
непроглядна, и та, как постель, бела.

Набери, дружок, этой вещи в горсть,
чтоб прикинуть, сколько от Бога верст -
мол, не зря пейзаж весь январь молил
раз дошло насчет даровых белил.

Будто вдруг у земли, что и так бедна,
под конец оказалась всего одна
сторона лица, одна щека.
На нее и пошли всех невест шелка.

Сильный снег летит с ледяной крупой.
Знать, всю разгулялся лихой слепой.
И чего ни коснется он, то само
превращается на глазах в бельмо.

Хоть приемник включить, чтоб он песни пел.
А не то тишина и сама – пробел.
А письмо писать – вид бумаги пыл
остужает, как дверь, что прикрыть забыл.

И раздеться нельзя догола, чтоб лечь.
Не рубаха бела, а покаторь плеч.
Из-за них, поди, и идут полки
на тебя в стекле, закатив белки.

Эх, метет, метет. Не гляди в окно.
Там подарка ждет милосердный, но
мускулистый брат, пеленая глушь
в полотнице цвета прощенных душ.

1990, South Hadley

Presepio [81]

Младенец, Мария, Иосиф, цари,
скотина, верблюды, их поводыри,
в овчине до пят пастухи-исполины

– все стало набором игрушек из глины.

В усыпанном блестками ватном снегу
пылает костер. И потрогать фольгу
звезды пальцем хочется; собственно, всеми
пятью – как младенцу тогда в Вифлееме.

Тогда в Вифлееме все было крупней.
Но глине приятно с фольгой над ней
и ватой, разбросанной тут как попало,
играть роль того, что из виду пропало.

Теперь ты огромней, чем все они. Ты
теперь с недоступной для них высоты
– полночным прохожим в окошко конурки -
из космоса смотришь на эти фигурки.

Там жизнь продолжается, так как века
одних уменьшают в объеме, пока
другие растут – как случилось с тобою.
Там бьются фигурки со снежной крупой,

и самая меньшая пробует грудь.

И тянет зажмуриться, либо – шагнуть
в другую галактику, в гулкой пустыне

которой светил – как песку в Палестине.

декабрь 1991

Портрет трагедии

Заглянем в лицо трагедии. Увидим ее морщины,
ее горбоносый профиль, подбородок мужчины.
Услышим ее контральто с нотками чертовщины:
хриплая ария следствия громче, чем писк причины.
Здравствуй, трагедия! Давно тебя не видали.
Привет, обратная сторона медали.
Рассмотрим подробно твои детали.

Заглянем в ее глаза! В расширенные от боли
зрачки, наведенные карим усиьем воли
как объектив на нас – то ли в партере, то ли
дающих, наоборот, в чьей-то судьбе гастроли.
Добрый вечер, трагедия с героями и богами,
с плохо прикрытыми занавесом ногами,
с собственным именем, тонущим в общем гаме.

Вложим ей пальцы в рот с расшатанными цингою
клавишами, с воспаленным вольтовой дугою
небом, заплеванным пеплом родственников и пургою.
Задерем ей подол, увидим ее нагою.
Ну, если хочешь, трагедия, – удиви нас!
Изобрази предательство тела, вынос

тела, евоный минус, оскорбленную невинность.

Прижаться к щеке трагедии! К черным кудрям Горгоны,
к грубой доске с той стороны иконы,
с катящейся по скуле, как на Восток вагоны,
звездю, облюбовавшей околыши и погоны.
Здравствуй, трагедия, одетая не по моде,
с временем, получающим от судьи по морде.
Тебе хорошо на природе, но лучше в морге.

Рухнем в объятья трагедии с готовностью ловеласа!
Погрузимся в ее немолодое мясо.
Прободаем ее насквозь, до пружин матраса.
Авось она вынесет. Так выживает раса.
Что нового в репертуаре, трагедия, в гардеробе?
И – говоря о товаре в твоей утробе -
чем лучше роль крупной твари роли невзрачной дроби?

Вдохнуть ее смрадный запах! Подмышку и нечистоты
помножить на сумму пятых углов и на их кивоты.
Взвизгнуть в истерике: "За кого ты
меня принимаешь!" Почувствовать приступ рвоты.
Спасибо, трагедия, за то, что непоправима,
что нет аборта без херувима,
что не проходишь мимо, пробуешь пыром вымя.

Лицо ее безобразно! Оно не прикрыто маской,
ряской, замазкой, стыдливой краской,
руками, занятыми развязкой,
бурной овацией, нервной встряской.
Спасибо, трагедия, за то, что ты откровенна,
как колуном по темени, как вскрытая бритвой вена,
за то, что не требуешь времени, что – мгновенна.

Кто мы такие, не-статуи, не-полотна,
чтоб не дать свою жизнь изуродовать бесповоротно?
Что тоже можно рассматривать как приплод; но
что еще интереснее, ежели вещь бесплотна.
Не брезгуй ею, трагедия, жанр итога.
Как тебе, например, гибель всего святого?
Недаром тебе к лицу и пиджак, и тога.

Смотрите: она улыбается! Она говорит: "Сейчас я
начнусь. В этом деле важнее начаться,
чем кончиться. Снимайте часы с запястья.
Дайте мне человека, и я начну с несчастья".
Давай, трагедия, действуй. Из гласных, идущих горлом,
выбери "ы", придуманное монголом.
Сделай его существительным, сделай его глаголом,

наречьем и междометием. "Ы" – общий вдох и выдох!
"Ы" мы хрипим, блюя от потерь и выгод
либо – кидаясь к двери с табличкой «выход».

Но там стоишь ты, с дрыном, глаза навывкат.
Врежь по-свойски, трагедия. Дави нас, меси как тесто.
Мы с тобою повязаны, даром что не невеста.
Плюй нам в душу, пока есть место

и когда его нет! Преврати эту вещь в трясину,
которой Святому Духу, Отцу и Сыну
не разгрести. Загусти в резину,
вкати ей кубик аминазину, воткни там и сям осину:
даешь, трагедия, сходство души с природой!
Гибрид архангелов с золотою ротой!
Давай, как сказал Мичурину фрукт, уродуй.

Раньше, подруга, ты обладала силой.
Ты приходила в полночь, махала ксивой,
цитировала Расина, была красивой.
Теперь лицо твое – помесь тупика с перспективой.
Так обретает адрес стадо и почву – древо.
Всюду маячит твой абрис – направо или налево.
Валяй, отворяй ворота хлева.

1991

Вид с холма

Вот вам замерзший город из каменного угла.
Геометрия оплакивает свои недра.
Сначала вы слышите трио, потом – пианино негра.

Река, хотя не замерзла, все-таки не смогла
выбежать к океану. Склонность петлять сильнее
заметна именно в городе, если вокруг равнина.
Потом на углу загорается дерево без корней.
Река блестит, как черное пианино.

Когда вы идете по улице, сзади звучат шаги.
Это – эффект перспективы, а не убийца. За два
года, прожитых здесь, вчера превратилось в завтра.
И площадь, как грампластинка, дает круги
от иглы обелиска. Что-то случилось сто
лет назад, и появилась вежа.
Вежа успеха. В принципе, вы – никто.
Вы, в лучшем случае, пицца эха.

Снег летит как попало; диктор твердит: «циклон».
Не выходи из бара, не выходи из бара.
Автомышь светом фар толчею колонн
сводит вдаль с ума, как слонов Ганнибала.
Пахнет пустыней, помнящей смех вдовы.
«Бэби, не уходи», – говорит Синатра.
То же эхо, но в записи; как силуэт сената,
скука, пурга, температура, вы.

Вот вам лицо вкрутую, вот вам его гнездо:
блеск желтка в скорлупе с трещинами от стужи.
Ваше такси на шоссе обгоняет еще ландо

с венками, катящее явно в ту же
сторону, что и вы, как бы само собой.
Это – эффект периметра, зов окраин,
низкорослых предместий, чей сон облаян
тепловозами, ветром, вообще судьбой.

И потом – океан. Глухонемой простор.
Плоская местность, где нет построек.
Где вам делать нечего, если вы историк,
врач, архитектор, делец, актер
и, тем более, эхо. Ибо простор лишен
прошлого. То, что он слышит, – сумма
собственных волн, беспрецедентность шума,
который может быть заглушен

лишь трубой Гавриила. Вот вам большой набор
горизонтальных линий. Почти рессора
мироздания. В котором петляет соло
Паркера: просто другой напор,
чем у архангела, если считать в соплях.
А дальше, в потемках, держа на Север,
проваливается и возникает сейнер,
как церковь, затерянная в полях.

2 февраля 1992, Вашингтон

Колыбельная

Родила тебя в пустыне

я не зря.

Потому что нет в помине

в ней царя.

В ней искать тебя напрасно.

В ней зимой

стужи больше, чем пространства

в ней самой.

У одних – игрушки, мячик,

дом высок.

У тебя для игр ребячьих

– весь песок.

Привыкай, сынок, к пустыне

как к судьбе.

Где б ты ни был, жить отныне

в ней тебе.

Я тебя кормила грудью.

А она

приучила взгляд к безлюдью,

им полна.

Той звезде – на расстояньи
страшном – в ней
твоего чела сиянье,
знать, видней.

Привыкай, сынок, к пустыне,
под ногой,
окромя нее, твердыни
нет другой.

В ней судьба открыта взору.
За версту
в ней легко признаешь гору
по кресту.

Не людские, знать, в ней тропы!
Велика
и безлюдна она, чтобы
шли века.

Привыкай, сынок, к пустыне,
как щепоть
к ветру, чувствуя, что ты не
только плоть.

Привыкай жить с этой тайной:

чувства те

пригодятся, знать, в бескрайней

пустоте.

Не хуже́й она, чем эта:

лишь длинней,

и любовь к тебе – примета

места в ней.

Привыкай к пустыне, милый,

и к звезде,

льющей свет с такою силой

в ней везде,

будто лампу жжет, о сыне

в поздний час

вспомнив, тот, кто сам в пустыне

дольше нас.

1992

К переговорам в Кабуле

Жестоковейные горные племена!

Все меню – баранина и конина.

Бороды и ковры, гортанные имена,

глаза, отродясь не выдавшие ни моря, ни пианино.

Знаменитые профилями, кольцами из рыжья,
сросшейся переносицей и выстрелом из ружья
за неимением адреса, не говоря – конверта,
защищенные только спиной от ветра,
живущие в кишлаках, прячущихся в горах,
прячущихся в облаках, точно в чалму – Аллах,

видно, пора и вам, абрекам и хазбулатам,
как следует разложиться, проститься с родным халатом,
выйти из сакли, приобрести валюту,
чтоб жизнь в разреженном воздухе с близостью к абсолюту
разбавить изрядной порцией бледнолицых
в тоже многоэтажных, полных огня столицах,
где можно сесть в мерседес и на ровном месте
забыть мгновенно о кровной мести
и где прозрачная вещь, с бедра
сползающая, и есть чадра.

И вообще, ибрагимы, горы – от Арарата
до Эвереста – есть пища фотоаппарата,
и для снежного пика, включая синий
воздух, лучшее место – в витринах авиалиний.
Деталь не должна впадать в зависимость от пейзажа!
Все идет псу под хвост, и пейзаж – туда же,
где всюду лифчики и законность.
Там лучше, чем там, где владыка – конус
и погладить нечего, кроме шейки

приклада, грубой ладонью, шейхи.

Орел парит в эмпиреях, разглядывая с укором
змеиную подпись под договором
между вами – козлами, воспитанными в Исламе,
и прикинутыми в сплошной габардин послами,
ухмыляющимися в объектив ехидно.

И больше нет ничего нет ничего не видно
ничего ничего не видно кроме
того что нет ничего благодаря трахоме
или же глазу что вырвал заклятый враг
и ничего не видно мрак

1992

Памяти Клиффорда Брауна

Это – не синий цвет, это – холодный цвет.

Это – цвет Атлантики в середине
февраля. И не важно, как ты одет:
все равно ты голой спиной на льдине.

Это – не просто льдина, одна из льдин,
но возраженье теплу по сути.
Она одна в океане, и ты один
на ней; и пенье трубы как паденье ртути.

Это не искренний голос впотьмах саднит,
но палец примерз к дизелю, лишен перчатки;
и капля, сверкая, плывет в зенит,
чтобы взглянуть на мир с той стороны сетчатки.

Это – не просто сетчатка, это – с искрой парча,
новая нотная грамота звезд и полос.

Льдина не тает, словно пятно луча,
дрейфуя к черной кулисе, где спрятан полюс.

февраль 1993

Персидская стрела

Веронике Шильц

Древко твое истлело, истлело тело,
в которое ты не попала во время оно.

Ты заржавела, но все-таки долетела
до меня, воспитанница Зенона.

Ходики тикают. Но, выражаясь книжно,
как жидкость в закупоренном сосуде,
они неподвижны, а ты подвижна,
равнодушной будучи к их секунде.

Знала ли ты, какая тебе разлука

предстоит с тетивою, что к ней возврата
не суждено, когда ты из лука
вылетела с той стороны Евфрата?

Даже покоясь в теплой горсти в морозный
полдень, под незнакомым кровом,
схожая позеленевшей бронзой
с пережившим похлебку листом лавровым,

ты стремительно движешься. За тобою
не угнаться в пустыне, тем паче – в чаще
настоящего. Ибо тепло любое,
ладони – тем более, преходяще.

февраль 1993

* * *

Она надевает чулки, и наступает осень;
сплошной капроновый дождь вокруг.
И чем больше асфальт вне себя от оспин,
тем юбка длинней и острей каблук.
Теперь только двум колоннам белеть в исподнем
неловко. И голый портик зарос. С любой
точки зрения, меньше одним Господним
Летом, особенно – в нем с тобой.
Теперь если слышится шорох, то – звук ухода
войск безразлично откуда, знамен трепло.

Но, видно, суставы от клавиш, что ждут бемоля,
себя отличить не в силах, трещи в хряще.
И в форточку с шумом врывается воздух с моря
– оттуда, где нет ничего вообще.

17 сентября 1993

25.XII.1993

М. Б.

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
щепотка сегодня, крупица вчера,
и к пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок.

И чудо свершится. Зане чудеса,
к земле тяготей, хранят адреса,
настолько добраться стремясь до конца,
что даже в пустыне находят жильца.

А если ты дом покидаешь – включи
звезду на прощанье в четыре свечи
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя, во все времена.

1993

Как это ни провинциально, я настаиваю, что существуют птицы с пятьюдесятью крыльями. Что есть пернатые крупней, чем самый воздух, питающиеся просом лет и падалью десятилетий.

Вот почему их невозможно сбить и почему им негде приземлиться.

Их приближение выдает их звук - совместный шум пятидесяти крыльев, размахом каждое в полнеба, и вы их не видите одновременно.

Я называю их про себя «углы».

В их опереньи что-то есть от суммы комнат, от суммы городов, куда меня забрасывало. Это сходство снижает ихнюю потусторонность.

Я вглядываюсь в их черты без страха: в мои пятьдесят три их клювы и когти – стершиеся карандаши, а не угроза печени, а языку – тем паче.

Я – не пророк, они – не серафимы.

Они гнездятся там, где больше места, чем в этом или в том конце галактики. Для них я – точка, вершина острого или тупого - в зависимости от разворота крыльев - угла. Их появление сродни

вторженью клинописи в воздух. Впрочем,
они сужаются, чтобы спуститься,
а не наоборот – не то, что буквы.
«Там, наверху», как персы говорят,
углам надоедает расширяться
и тянет сузиться. Порой углы,
как веер складываясь, градус в градус,
дают почувствовать, что их внимание к вашей
кончающейся жизни есть рефлекс
самозащиты: бесконечность тоже,
я полагаю, уязвима (взять
хоть явную нехватку в трезвых
исследователях). Большинство в такие
дни восставляют перпендикуляры,
играют циркулем или, напротив, чертят
пером зигзаги в стиле громовержца.
Что до меня, произнося «отбой»,
я отворачиваюсь от окна
и с облегченьем упираюсь взглядом в стенку.

1993

Томас Транстремер за роялем

Городок, лежащий в полях как надстройка почвы.

Монарх, замордованный штемпелем местной почты.

Колокол в полдень. Из местной десятилетки
малолетки высыпавшие, как таблетки

от невнятного будущего. Воспитанницы Линнея,
автомашины ржавеют под вязами, зеленея,
и листва, тоже исподволь, хоть из другого теста,
набирается в смысле умения сорваться с места.
Ни души. Разрастающаяся незаметно
с каждым шагом площадь для монумента
здесь прописанному постоянно.

И рука, приделанная к фортепиано,
постепенно отделяется от тела,
точно под занавес овладела
состоянием более крупным или
безразличным, чем то, что в мозгу скопили
клетки; и пальцы, точно они боятся
растерять приснившееся богатство,
лихорадочно мечутся по пещере,
сокровищами затыкая щели.

1993, Вастерес

Ангел

Белый хлопчатобумажный ангел,
до сих пор висящий в моем чулане
на металлических плечиках. Благодаря ему,
ничего дурного за эти годы
не стряслось: ни со мной, ни – тем более – с помещением.
Скромный радиус, скажут мне; но зато
четко очерченный. Будучи сотворены

не как мы, по образу и подобию,
но бесплотными, ангелы обладают
только цветом и скоростью. Последнее позволяет
быть везде. Поэтому до сих пор
ты со мной. Крылышки и бретельки
в состоянии действительно обойтись без торса,
стройных конечностей, не говоря – любви,
дорожа безыменностью и предоставляя телу
расширяться от счастья в диаметре где-то в теплой
Калифорнии.

1992

Архитектура

Евгению Рейну

Архитектура, мать развалин,
завидующая облакам,
чей пасмурный кочан разварен,
по чьим лугам
гуляет то бомбардировщик,
то – более неуязвим
для взоров – соглядатай общих
дел – серафим,

лишь ты одна, архитектура,
избранница, невеста, перл
пространства, чья губа не дура,

как Тассо пел,
безмерную являя храбрость,
которую нам не постичь,
оправдываешь местность, адрес,
рябой кирпич.

Ты, в сущности, то, с чем природа
не справилась. Зане она
не смеет ожидать приплода
от валуна,
стараясь прекратить исканья,
отделаться от суеты.
Но будущее – вещь из камня,
и это – ты.

Ты – вакуума императрица.
Граненностью твоих корост
в руке твоей кристалл искрится,
идуций в рост
стремительнее Эвереста;
облекшись в пирамиду, в куб,
так точится идеей места
на Хронос зуб.

Рожденная в воображеньи,
которое переживешь,
ты – следующее движенье,

шаг за чертеж
естественности, рослых хижин,
преследующих свой чердак,
– в ту сторону, откуда слышен
один тик-так.

Вздыхая о своих пенатах
в растительных мотивах, etc.,
ты – более для сверхпернатых
существ насест,
не столько заигравшись в кукол,
как думая, что вознесут,
расчетливо раскрыв свой купол
как парашют.

Шум Времени, известно, нечем
парировать. Но, в свой черед,
нужда его в вещах сильнее, чем
наоборот:
как в обществе или в жилище.
Для Времени твой храм, твой хлам
родней как собеседник тыщи
подобных нам.

Что может быть красноречивей,
чем неодушевленность? Лишь
само небытие, чьей нивой

ты мозг пылишь
не столько циферблатам, сколько
галактике самой, про связь
догадываясь и на роль осколка
туда просясь.

Ты, грубо выражаясь, сыто
посматривая на простертых ниц,
просеивая нас сквозь сито
жил. единиц,
заигрываешь с тем светом,
взяв формы у него взаймы,
чтоб поняли мы, с чем на этом
столкнулись мы.

К бесплотному с абстрактным зависть
и их к тебе наоборот,
твоя, архитектура, завязь,
но также плод.

И ежели в ионосфере
действительно одни нули,
твой проигрыш, по крайней мере,
конец земли.

<1993>

* * *

Взгляни на деревянный дом.

Помножь его на жизнь. Помножь
на то, что предстоит потом.
Полученное бросит в дрожь
иль поразит параличом,
оцепенением стропил,
бревенчатостью, кирпичом -
всем тем, что дымоход скопил.

Пространство, в телескоп звезды
рассматривая свой улов,
ломающийся от пустоты
и суммы четырех углов,
темнеет, заражаясь не-
одушевленностью, слепой
способностью глядеть вовне,
ощупывать его тропой.

Он – твой не потому, что в нем
все кажется тебе чужим,
но тем, что, поглощен огнем,
он не проговорит: бежим.
В нем твой архитектурный вкус.
Рассчитанный на прочный быт,
он из безадресности плюс
необитаемости сбит.

И он перестоит века,
галактику, жилую часть
грядущего, от паука
привычку перенявши прясть
ткань времени, точнее – бязь
из тикающего сырца,
как маятником, колотясь
о стенку головой жильца.

<1993>

В окрестностях Атлантиды

Все эти годы мимо текла река,
как морщины в поисках старика.
Но народ, не умевший считать до ста,
от нее хоронился верстой моста.

Порой наводнение, порой толпа,
то есть что-то, что трудно стереть со лба,
заливали асфальт, но возвращались вспять,
когда ветер стихал и хотелось спать.

Еще были зимы, одна лютей
другой, и привычка плодить детей,
сводивших (как зеркалом – платяной
шкаф) две жизни к своей одной,

и вообще экономить. Но как ни гни
пальцы руки, проходили дни.
В дело пошли двоеточья с "е",
зане их труднее стереть. Но все

было впустую. Теперь ослабь
цепочку – и в комнату хлынет рябь,
поглотившая оптом жильцов, жилищ
Атлантиды, решившей начаться с лиц.

<1993>

* * *

Голландия есть плоская страна,
переходящая в конечном счете в море,
которое и есть, в конечном счете,
Голландия. Непойманные рыбы,
беседуя друг с дружкой по-голландски,
убеждены, что их свобода – смесь
гравюры с кружевом. В Голландии нельзя
подняться в горы, умереть от жажды;
еще трудней – оставить четкий след,
уехав из дому на велосипеде,
уплыв – тем более. Воспоминанья -
Голландия. И никакой плотиной
их не удержишь. В этом смысле я
живу в Голландии уже гораздо дольше,

чем волны местные, катящиеся вдаль
без адреса. Как эти строки.

<1993>

Дедал в Сицилии

Всю жизнь он что-нибудь строил, что-нибудь изобретал.

То для критской царицы искусственную корову,
чтоб наставить рога царю, то – лабиринт (уже
для самого царя), чтоб скрыть от досужих взоров
скверный приплод; то – летательный аппарат,
когда царь наконец дознался, кто это у него
при дворе так сумел обеспечить себя работой.

Сын во время полета погиб, упав
в море, как Фэтон, тоже некогда пренебрегшими
наставленьем отца. Теперь на прибрежном камне
где-то в Сицилии, глядя перед собой,
сидит глубокий старик, способный перемещаться
по воздуху, если нельзя по морю и по суше.

Всю жизнь он что-нибудь строил, что-нибудь изобретал.

Всю жизнь от этих построек, от этих изобретений
приходилось бежать, как будто изобретенья
и постройки стремятся отделаться от чертежей,
по-детски стыдясь родителей. Видимо, это – страх
повторимости. На песок набегают с журчаньем волны,
сзади синеют зубцы местных гор – но он
еще в молодости изобрел пилу,
использовав внешнее сходство статики и движенья.

Старик нагибается и, привязав к лодыжке

длинную нитку, чтобы не заблудиться,
направляется, крякнув, в сторону царства мертвых.

1993

Иския в октябре

Фаусто Мальковати

Когда-то здесь клочкотал вулкан.

Потом – грудь клевал себе пеликан.

Неподалеку Вергилий жил,

и У. Х. Оден вино глушил.

Теперь штукатурка дворцов не та,

цены не те и не те счета.

Но я кое-как свожу концы

строк, развернув потускневший рцы.

Рыбак уплывает в ультрамарин

от вывешенных на балкон перин,

и осень захлестывает горный кряж

морем другим, чем безлюдный пляж.

Дочка с женой с балюстрады вдаль

глядят, высматривая рояль

паруса или воздушный шар -

затихший колокола удар.

Немыслимый как итог ходьбы,
остров как вариант судьбы
устраивает лишь сирокко. Но
и нам не запрещено

хлопать ставнями. И сквозняк,
бумаги раскидывая, суть знак
– быстро голову поверни! -
что мы здесь не одни.

Известкой скрепленная скорлупа,
спасающая от напора лба,
соли, рыхлого молотка
в сумерках три желтка.

Крутя бугенвиллей [82] вензеля,
ограниченная земля,
их письменностью прикрывая стыд,
растительностью пространству мстит.

Мало людей; и, слышав «ты»,
здесь резче делаются черты,
точно речь, наподобье линз,

отделяет пейзаж от лиц.

И пальцем при слове «домой» рука
охотней, чем в сторону материка,
ткнет в сторону кучевой горы,
где рушатся и растут миры.

Мы здесь втроем и, держу пари,
то, что вместе мы видим, в три
раза безадресней и синей,
чем то, на что смотрел Эней.

1993

Испанская танцовщица

Умолкает птица.
Наступает вечер.
Раскрывает веер
испанская танцовщица.

Звучат удары
луны из бубна,
и глухо, дробно
вторят гитары.

И черный туфель
на гладь паркета
ступает; это
как ветер в профиль.

О, женский танец!
Рассказ светила
о том, что было,
чего не станет.

О – слепок боли
в груди и взрыва
в мозгу, доколе
сознание живо.

В нем – скорбь пространства
о точке в оном,
себя напрасно
считавшем фоном.

В нем – все: угрозы,
надежда, гибель.
Стремление розы
вернуться в стебель.

В его накале
в любой детали
месть вертикали
горизонтали.

В нем – пыткой взгляда
сквозь туч рванину
зигзаг разряда
казнит равнину.

Он – кровь из раны:
побег из тела
в пейзаж без рамы.
Давно хотела!

Там – больше места!
Знай, сталь кинжала,
кому невеста
принадлежала.

О, этот танец!
В пространстве сжатый
протуберанец
вне солнца взятый!

Оборок пена;
ее кружение
одновременно
ее крушение.

В нем сполох платья
в своем полете
свободней плоти,
и чужд объятья.

В нем чувство брезжит,
что мирозданье
ткань не удержит
от разрастанья.

О, этот сполох
шелков! по сути
спуск бедер голых
на парашюте.

Зане не тщится,
чтоб был потушен
он, танцовщица.
Подобно душам,

так рвется пламя,
сгубив лучину,
в воздушной яме,
топча причину,

виденье Рая,
факт тяготенья,
чтоб – расширяя
свои владенья -

престол небесный
одеть в багрянец.
Так сросся с бездной
испанский танец.

<1993>

Итака

Воротиться сюда через двадцать лет,
отыскать в песке босиком свой след.
И поднимет барбос лай на весь причал
не признаться, что рад, а что одичал.

Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам;
но прислуга мертва опознать твой шрам.
А одну, что тебя, говорят, ждала,

не найти нигде, ибо всем дала.

Твой пацан подрост; он и сам матрос,
и глядит на тебя, точно ты – отброс.
И язык, на котором вокруг орут,
разбирать, похоже, напрасный труд.

То ли остров не тот, то ли впрямь, залив
синевой зрачок, стал твой глаз брезглив:
от куска земли горизонт волна
не забудет, видать, набегая на.

<1993>

Каппадокия

Сто сорок тысяч воинов Понтийского Митридата
– лучники, конница, копья, шлемы, мечи, щиты -
вступают в чужую страну по имени Каппадокия.
Армия растянулась. Всадники мрачновато
поглядывают по сторонам. Стыдясь своей нищеты,
пространство с каждым их шагом чувствует, как далекое
превращается в близкое. Особенно – горы, чьи
вершины, устав в равной степени от багрянца
зари, лиловости сумерек, облачной толчеи,
приобретают – от зоркости чужестранца -
в резкости, если не в четкости. Армия издалека
выглядит как извивающаяся река,

чей исток норовит не отставать от устья,
которое тоже все время оглядывается на исток.
И местность, по мере движения армии на восток,
отражаясь как в русле, из бурого захолустья

преображается временно в гордый бесстрастный задник
истории. Шарканье многих ног,
ругань, звяканье сбруи, поножей о клинок,
гомон, заросли копий. Внезапно дозорный всадник
замирает как вкопанный: действительность или блажь?
Вдали, поперек плато, заменив пейзаж,
стоят легионы Суллы. Сулла, забыв про Мария,
привел сюда легионы, чтоб объяснить, кому
принадлежит – вопреки клейму
зимней луны – Каппадокия. Остановившись, армия
выстраивается для сраженья. Каменное плато
в последний раз выглядит местом, где никогда никто
не умирал. Дым костра, взрывы смеха; пенье: «Лиса в капкане».
Царь Митридат, лежа на плоском камне,
видит во сне неизбежное: голое тело, грудь,
лядвие, смуглые бедра, колечки ворса.

То же самое видит все остальное войско
плюс легионы Суллы. Что есть отнюдь
не отсутствие выбора, но эффект полнолуния. В Азии
пространство, как правило, прячется от себя
и от упреков в однообразии
в завоевателя, в головы, серебря

то доспехи, то бороду. Залитое луной,
войско уже не река, гордящаяся длиной,
но обширное озеро, чья глубина есть именно
то, что нужно пространству, живущему взаперти,
ибо пропорциональна пройденному пути.
Вот отчего то парфяне, то, реже, римляне,
то и те и другие забредают порой сюда,
в Каппадокию. Армии суть вода,
без которой ни это плато, ни, допустим, горы
не знали бы, как они выглядят в профиль; тем паче, в три

четверти. Два спящих озера с плавающим внутри
телом блестят в темноте как победа флоры
над фауной, чтоб наутро слиться
в ложбине в общее зеркало, где уместится вся
Каппадокия – небо, земля, овца,
юркие ящерицы – но где лица
пропадают из виду. Только, поди, орлу,
парящему в темноте, привыкшей к его крылу,
ведомо будущее. Глядя вниз с равнодушьем
птицы – поскольку птица, в отличие от царя,
от человека вообще, повторима – орел, паря
в настоящем, невольно парит в грядущем
и, естественно, в прошлом, в истории: в допоздна
затянувшемся действии. Ибо она, конечно,
суть трение временного о нечто
постоянное. Спички о серу, сна

о действительность, войска о местность. В Азии
быстро светает. Что-то щебечет. Дрожь
пробегаёт по телу, когда встаешь,
заражая зябкостью долговязые,
упрямо жмущиеса к земле
тени. В молочной рассветной мгле
слышатся ржание, кашель, обрывки фраз.
И увиденное полумиллионом глаз
солнце приводит в движенье копья, мослы, квадриги,
всадников, лучников, ратников. И войска
идут друг на друга, как за строкой строка
захлопывающейся посередине книги
либо – точнее! – как два зеркала, как два щита, как два
лица, два слагаемых, вместо суммы
порождающих разность и вычитанье Суллы
из Каппадокии. Чья трава,

себя не выдавшая отродясь,
больше всех выигрывает от звона,
лязга, грохота, воплей и проч., глядясь
в осколки разбитого вдребезги легиона
и упавших понтийцев. Размахивая мечом,
царь Митридат, не думая ни о чем,
едет верхом среди хаоса, копий, гама.
Битва выгядит издали как слитное «О-го-го»,
верней, как от зрелища своего
двойника взбесившаяся амальгама.
И с каждым падающим в строю
местность, подобно тупящемуся острию,

теряет свою отчетливость, резкость. И на востоке и
на юге опять воцаряются расплывчатость, силуэт,
это уносят с собою павшие на тот свет
черты завоеванной Каппадокии.

1992

Лидо

Ржавый румынский танкер, барахтающийся в лазури,
как стоптанный полуботинок, который, вздохнув, разули.

Команда в одном исподнем – бабники, онанюги -
загорает на палубе, поскольку они на юге,

но без копейки в кармане, чтоб выйти в город,
издали выглядящий, точно он приколот

как открытка к закату; над рейдом плывут отары
туч, запах потных подмышек и перебор гитары.

О, Средиземное море! после твоей пустыни
ногу тянет запутаться в уличной паутине.

Палубные надстройки и прогнивший базис

разглядывают в бинокль порт, как верблюды – оазис.

Ах, лишь истлев в песке, растеряв наколки,
можно видать, пройти сквозь ушко иголки,

чтоб сесть там за круглый столик с какой-нибудь ненаглядной
местных кровей под цветной гирляндой

и слушать, как в южном небе над флагом морской купальни
шелестят, точно пальцы, мусоля банкноты, пальмы.

1989

* * *

Мир создан был из смешенья грязи, воды, огня,
воздуха с вкрапленным в оный криком «Не тронь меня!»,
рвущимся из растения, впоследствии – изо рта,
чтоб ты не решил, что в мире не было ни черта.

Потом в нем возникли комнаты, вещи, любовь, в лице -
сходство прошлого с будущим, арии с ТБЦ,
пришли в движение буквы, в глазах рябя.

И пустоте стало страшно за самое себя.

Первыми это почувствовали птицы – хотя звезда
тоже суть участь камня, брошенного в дрозда.

Всякий звук, будь то пенье, шепот, дутье в дуду, -
следствие тренья вещи о собственную среду.

В клетоте, в облике облака, в сверкании ночных планет
слышится то же самое «Места нет!»,
как эхо отпрыска плотника либо как рваный SOS,
в просторечии – пульс окоченевших солнц.
И повинуюсь воплю "прочь! убирайся! вон!
с вещами!", само пространство по кличке фон
жизни, сильно ослепнув от личных дел,
смещается в сторону времени, где не бывает тел.
Не бойся его: я там был! Там, далеко видна,
посредине стоит прялка морщин. Она
работает на сырье, залежей чьих запас
неиссякаем, пока производят нас.

<1993>

Михаилу Барышникову

Раньше мы поливали газон из лейки,
в комара попадали из трехлинейки,
жука сажали, как турка, на кол.
И жук не жужжал, комар не плакал.

Теперь поливают нас, и все реже – ливень.
Кто хочет сует нам в ребро свой бивень.
Что до жука и его жужжания,
всюду сходят с ума машины для подражания.

Видно, время бежит, но не в часах, а прямо.

И впереди, говорят, не гора, но яма.
И рассказывают, кто приезжал оттуда,
что погода там лучше, когда нам худо.

Помнишь скромный музей, где не раз видали
одного реалиста шедевр «Не дали»?
Был ли это музей? Отчего не назвать музеем
то, на что мы теперь глазеем?

Уехать, что ли, в Испанию, где испанцы
увлекаются боксом и любят танцы,
когда они ставят ногу, как розу в вазу,
и когда убивают быка, то сразу.

Но говорят, что пропеллер замер.
Что – особенно голые – мы тяжелей, чем мрамор:
столько лет отталкивались от панели
каблуком, что в итоге окаменели.

Лучше, видно, остаться. Лечь, постелив на сене,
чтобы плававший при свечах в теплом, как суп, бассейне,
чью каплю еще хранит ресница,
знал, где найти нас, решив присниться.

Видимо, низкая облачность может вправду смутить пилота:

как будто там кто-то стирает что-то,
не уступающее по силе
света тому, что в душе носили.

1992

Михаилу Барышникову (поздний вариант)

Раньше мы поливали газон из лейки.
В комара попадали из трехлинейки.
Жука сажали, как турка, на кол.
И жук не жужжал, комар не плакал.

Теперь поливают нас, и все реже – ливень.
Кто хочет сует нам в ребро свой бивень.
Что до жука и его жужжанья,
всюду сходят с ума машины для подражанья.

Видно, время бежит; но не как часы, а прямо.
И впереди, говорят, не гора, а яма.
И рассказывают, кто приезжал оттуда,
что погода там лучше, когда нам худо.

Помнишь скромный музей, где не раз видали
одного реалиста шедевр «Не дали»?
Был ли это музей? Отчего не назвать музеем
то, на что мы теперь глазеем?

Уехать, что ли, в Испанию, где испанцы
увлекаются боксом и любят танцы;
когда они ставят ногу – как розу в вазу,
и когда убивают быка – то сразу.

Разве что облачность может смутить пилота;
как будто там кто-то стирает что-то
не уступающее по силе
света тому, что в душе носили.

<1993>

Надпись на книге

Когда ветер стихает и листья пастушьей сумки
еще шуршат по инерции или благодаря
безмятежности – этому свойству зелени -
и глаз задерживается на рисунке
обоев, на цифре календаря,
на облигации, траченной коллизеями
ноликов, ты – если ты был прижит
под вопли вихря враждебного, яблочка, ругань кормчего -
различишь в тишине, как перо шуршит,
помогая зеленой траве произнести «все кончено».

<1993>

* * *

Наряду с отоплением в каждом доме
существует система отсутствия. Спрятанные в стене
ее беззвучные батареи
наводняют жилье неразбавленной пустотой
круглый год, независимо от погоды,
работая, видимо, от сети
на сырье, поставляемом смертью, арестом или
просто ревностью. Эта температура
поднимается к вечеру. Один оборот ключа,
и вы оказываетесь там, где нету
никого: как тысячу лет назад
или несколько раньше: в эпоху оледененья,
до эволюции. Узурпированное пространство
никогда не отказывается от своей
необитаемости, напоминая
сильно зарвавшейся обезьяне
об исконном, доледниковом праве
пустоты на жилплощадь. Отсутствие есть всего лишь
домашний адрес небытия,
предпочитающего в итоге,
под занавес, будучи буржуа,
валунам или бурому мху обои.
Чем подробней их джунгли, тем несчастнее обезьяна.

<1993>

* * *

Не слишком известный пейзаж, улучшенный наводнением.

Видны только кроны деревьев, шпили и купола.

Хочется что-то сказать, захлебываясь, с волнением,

но из множества слов уцелело одно «была».

Так отражаются к старости в зеркале бровь и лысина,

но никакого лица, не говоря – муде.

Повсюду сплошное размытое устно-письменно,

сверху – рваное облако и ты стоишь в воде.

Скорей всего, место действия – где-то в сырой Голландии,

еще до внедренья плотины, кружев, имен де Фриз

или ван Дайк. Либо – в Азии, в тропиках, где заладили

дожди, разрыхляя почву; но ты не рис.

Ясно, что долго накапливалось – в день или в год по капле, чьи

пресные качества грезят о новых соленых га.

И впору поднять перископом ребенка на плечи,

чтоб разглядеть, как дымят вдали корабли врага.

1993

Новая Англия

Хотя не имеет смысла, деревья еще растут.

Их можно увидеть в окне, но лучше издалека.

И воздух почти скандал, ибо так раздут,

что нетрудно принять боинг за мотылька.

Мы только живем не там, где родились – а так

все остальное на месте и лишено судьбы,

и если свести с ума требуется пустяк,

то начеку ольха, вязы или дубы.

Чем мускулистей корни, тем осенью больше бздо,
если ты просто лист. Если ты, впрочем, он,
можно пылать и ночью, включив гнездо,
чтоб, не будя, пересчитать ворон.

Когда-нибудь всем, что видишь, растопят печь,
сделают карандаш или, Бог даст, кровать.
Но землю, в которую тоже придется лечь,
тем более – одному, можно не целовать.

<1993>

Ответ на анкету

По возрасту я мог бы быть уже
в правительстве. Но мне не по душе
а) столбики их цифр, б) их интриги,
в) габардиновые их вериги.

При демократии, как и в когтях тирана,
разжав объятия, встают министры рано,
и отвратительней нет ничего спросонок,
чем папка пухлая и бантики тесемок.

И, в свой черед, невыносим ковер с узором
замысловатым и с его подзолом
из микрофончиков, с бесцветной пылью смешанных,
дающий сильные побеги мыслей бешеных.

Но нестерпимее всего филенка с плитусом,
коричневость, прямоугольность с привкусом
образования; рельеф овса, пшеницы ли,
и очертания державы типа шницеля.

Нет, я не подхожу на пост министра.
Мне все надоедает слишком быстро.
Еще – я часто забываю имя-отчество.
Наверно, отрочество мстит, его одрочество.

Когда ж о родине мне мысль приходит в голову,
я узнаю ее в лицо, тем паче – голую:
лицо у ней – мое, и мне не нравится.
Но нет правительства, чтоб с этим чувством справиться,

иль я – не член его. Я мог сказать бы проще, но
во мне, наверно, что-то так испорчено,
что не починишь ни отверткой выборов,
ни грубым кодексом, ни просто выпоров.

Лишь те заслуживают званья гражданина,
кто не рассчитывает абсолютно ни на
кого – от государства до наркотиков -
за исключением самих себя и ходиков,

кто с ними взапуски спешит, настырно тикая,
чтоб где – естественная вещь, где – дикая
сказать не смог бы, даже если поднатужится,
портрет начальника, оцепенев от ужаса.

<1993>

Памяти Н. Н.

Я позабыл тебя; но помню штукатурку
в подъезде, вздувшуюся щитовидку
труб отопленья вперемежку с сыпью
звонков с фамилиями типа «выпью»
или «убью», и псориаз асбеста
плюс эпидемию – грибное место
электросчетчиков блокадной моды.
Ты умерла. Они остались. Годы
в волну бросаются княжною Стеньки.
Другие вывески, другие деньги,
другая поросль, иная падаль.
Что делать с прожитым теперь? И надо ль
вообще заботиться о содержаньи
недр гипоталамуса, т. е. ржаньи,
раскатов коего его герои

не разберут уже, так далеко от Трои.

Что посоветуешь? Развеселиться?

Взглянуть на облако? У них – все лица
и в очертаниях – жакет с подшитым
голландским кружевом. Но с парашютом
не спрыгнуть в прошлое, в послевоенный
пейзаж с трамваями, с открытой веной
реки, с двусмысленностью стиральных меток.

Одиннадцать квадратных метров
напротив взорванной десятилетки
в мозгу скукожились до нервной клетки,
включив то байковое одеяло
станка под лебедем, где ты давала
подростку в саржевых портках и в кепке.
Взглянуть на облако, где эти тряпки
езде разбросаны, как в том квадрате,
с одним заданием: глаз приучить к утрате?

Не стоит, милая. Что выживает, кроме
капризов климата? Другое время,
другие лацканы, замашки, догмы.
И я – единственный теперь, кто мог бы
припомнить всю тебя в конце столетья
вне времени. Сиречь без платья,
на простыне. Но, вероятно, тело
сопротивляется, когда истлело,
воспоминаниям. Как жертва власти,

греху отказывающей в лучшей части
существования, тем паче – в праве
на будущее. К вящей славе,
видать, архангелов, вострящих грифель:
торс, бедра, ягодицы, плечи, профиль
– все оборачивается расплатой
за то объятие. И это – гибель статуй.

И я на выручку не подоспею.
На скромную твою Помпею
обрушивается мой Везувий
забвения: обид, безумий,
перемещения в пространстве, азий,
европ, обязанностей; прочих связей
и чувств, гонимых на убой оравой
дней, лет, и прочая. И ты под этой лавой
погребена. И даже это пенье
есть дополнительное погребенье
тебя, а не раскопки древней,
единственной, чтобы не крикнуть – кровной!
цивилизации. Прощай, подруга.
Я позабыл тебя. Видать, дерюга
небытия, подобно всякой ткани,
к лицу тебе. И сохраняет, а не

растрчивает, как сбереженья,
тепло, оставшееся от изверженья.

<1993>

Подражание Горацию

Лети по воле волн, кораблик.

Твой парус похож на помятый рублик.

Из трюма доносится визг республик.

Скрипят борта.

Трещит обшивка по швам на ребрах.

Кормщик болтает о хищных рыбах.

Пища даже у самых храбрых

валится изо рта.

Лети, кораблик, не бойся бури.

Неистойей, но бесцельней пули,

она и сама не знает, в ту ли

сторону ей

кинуться, или в эту. Или

в третью. Их вообще четыре.

Ты в этом смысле почти в квартире;

владелец – Гиперборей.

Лети, кораблик! не бойся острых

скал. Так открывают остров,

где после белеют кресты матросов,
где, век спустя,

письма, обвязанные тесемкой,
вам продает, изумляя синькой
взора, прижитое с туземкой
ласковое дитя.

Не верь, дружок, путеводным звездам,
схожим вообще с офицерским съездом.
Тебе привязанность к праздным безднам
скорей вредна.

Верь только подлинно постоянной
демократии волн с еенной
на губах возникающей в спорах пеной
и чувством дна.

Одни плывут вдаль проглотить обиду.
Другие – чтоб насолить Эвклиду.
Третьи – просто пропасть из виду.
Им по пути.

Но ты, кораблик, чей кормщик Боря,
не отличай горизонт от горя.

Лети по волнам стать частью моря,
лети, лети.

<1993>

* * *

Подруга, дурнея лицом, поселись в деревне.
Зеркальце там не слыхало ни о какой царевне.
Речка тоже рябит; а земля в морщинах -
и думать забыла, поди, о своих мужчинах.

Там – одни пацаны. А от кого рожают,
знают лишь те, которые их сажают,
либо – никто, либо – в углу иконы.
И весною пахать выходят одни законы.

Езжай в деревню, подруга. В поле, тем паче в роще
в землю смотреть и одеваться проще.
Там у тебя одной на сто верст помада,
но вынимать ее все равно не надо.

Знаешь, лучше стареть там, где верста маячит,
где красота ничего не значит
или значит не молодость, титьку, семя,
потому что природа вообще все время.

Это, как знать, даст побороть унылость.

И леса там тоже шумят, что уже случилось
все, и притом – не раз. И сумма
случившегося есть источник шума.

Лучше стареть в деревне. Даже живя отдельной
жизнью, там различишь нательный
крестик в драной березке, в стебле пастушьей сумки,
в том, что порхает всего лишь сутки.

И я приеду к тебе. В этом «и я приеду»
усмотри не свою, но этих вещей победу,
ибо земле, как той простыне, понятен
язык не столько любви, сколько выбоин, впадин, вмятин.

Или пусть не приеду. Любая из этих рытвин,
либо воды в колодезе привкус бритвин,
прутья обочины, хаос кочек -
все-таки я: то, чего не хочешь.

Езжай в деревню, подруга. Знаешь, дурнея, лица
лишь подтверждают, что можно слиться
разными способами; их – бездны,
и нам, дорогая, не все известны.

Знаешь, пейзаж – то, чего не знаешь.

Помни об этом, когда там судьбе пеняешь.

Когда-нибудь, в серую краску уставясь взглядом,
ты узнаешь себя. И серую краску рядом.

1992

Посвящается Джироламо Марчелло

Однажды я тоже зимою приплыл сюда
из Египта, считая, что буду встречен
на запруженной набережной женой в меховом манто
и в шляпке с вуалью. Однако встречать меня
пришла не она, а две старенькие болонки
с золотыми зубами. Хозяин-американец
объяснял мне потом, что если его ограбят,
болонки позволят ему свести
на первое время концы с концами.
Я поддакивал и смеялся.

Набережная выглядела бесконечной
и безлюдной. Зимний, потусторонний
свет превращал дворцы в фарфоровую посуду
и население – в тех, кто к ней
не решается прикоснуться.
Ни о какой вуали, ни о каком манто
речи не было. Единственной прозрачной
вещью был воздух и розовая, кружевная

занавеска в гостинице «Мелеагр и Аталанта»,
где уже тогда, одиннадцать лет назад,
я мог, казалось бы, догадаться,
что будущее, увы, уже
настало. Когда человек один,
он в будущем, ибо оно способно
обойтись, в свою очередь, без сверхзвуковых вещей,
обтекаемой формы, свергнутого тирана,
рухнувшей статуи. Когда человек несчастен,
он в будущем.

Теперь я не становлюсь
больше в гостиничном номере на четвереньки,
имитируя мебель и защищаясь от
собственных максим. Теперь умереть от горя,
боюсь, означало бы умереть
с опозданием; а опаздывающих не любят
именно в будущем.

Набережная кишит
подростками, болтающими по-арабски.
Вуаль разрослась в паутину слухов,
перешедших впоследствии в сеть морщин,
и болонок давно поглотил их собачий Аушвиц.

Не видать и хозяина. Похоже, что уцелели
только я и вода: поскольку и у нее
нет прошлого.

1988

Посвящается Чехову

Закат, покидая веранду, задерживается на самоваре.

Но чай остыл или выпит; в блюде с вареньем – муха.

И тяжелый шиньон очень к лицу Варваре

Андреевне, в профиль – особенно. Крахмальная блузка глухо

застегнута у подбородка. В кресле, с погасшей трубкой,

Вяльцев шуршит газетой с речью Недоброво.

У Варвары Андреевны под шелестящей юбкой

ни-че-го.

Рояль чернеет в гостиной, прислушиваясь к овации

жестких листьев боярышника. Взятые наугад

аккорды студента Максимова будят в саду цикад,

и утки в прозрачном небе, в предчувствии авиации,

плывут в направлении Германии. Лампа не зажжена,

и Дуня тайком в кабинете читает письмо от Никки.

Дурнушка, но как сложена! и так не похожа на

книги.

Поэтому Эрлих морщится, когда Карташев зовет

сразиться в картишки с ним, доктором и Пригожиным.

Легче прихлопнуть муху, чем отмахнуться от

мыслей о голой племяннице, спасающейся на кожаном

диване от комаров и от жары вообще.

Пригожин сдает, как ест, всем животом на столике.

Спросить, что ли, доктора о небольшом прыще?

Но стоит ли?

Душные летние сумерки, близорукое время дня,
пора, когда всякое целое теряет одну десятую.

"Вас в коломянковой паре можно принять за статую
в дальнем конце аллеи, Петр Ильич". «Меня?» -
смущается деланно Эрлих, протирая платком пенсне.

Но правда: близкое в сумерках сходится в чем-то с далью,
и Эрлих пытается вспомнить, сколько раз он имел Наталью
Федоровну во сне.

Но любит ли Вяльцева доктора? Деревья со всех сторон
липнут к распахнутым окнам усадьбы, как девки к парню.
У них и следует спрашивать, у ихних ворон и крон,
у вяза, проникшего в частности к Варваре Андреевне в спальню;
он единственный видит хозяйку в одних чулках.
Снаружи Дуня зовет купаться в вечернем озере.
Вскочить, опрокинув столик! Но трудно, когда в руках
все козыри.

И хор цикад нарастает по мере того, как число
звезд в саду увеличивается, и кажется ихним голосом.
Что – если в самом деле? «Куда меня занесло?» -
думает Эрлих, возясь в дощатом сортире с поясом.
До станции – тридцать верст; где-то петух поет.
Студент, расстегнув тужурку, упрекает министров в косности.
В провинции тоже никто никому не дает.
Как в космосе.

Послесловие к басне

"Еврейская птица ворона,
зачем тебе сыра кусок?
Чтоб каркать во время урона,
терзая продрогший лесок?"

"Нет! Чуждый ольхе или вербе,
чье главное свойство – длина,
сыр с месяцем схож на ущербе.
Я в профиль его влюблена".

"Точней, ты скорее астроном,
ворона, чем жертва лисы.
Но профиль, присущий воронам,
пожалуй не меньшей красоты".

"Я просто мечтала о браке,
пока не столкнулась с лисой,
пытаясь помножить во мраке
свой профиль на сыр со слезой".

<1993>

Приглашение к путешествию

Сначала разбей стекло с помощью кирпича.

Из кухни пройдешь в столовую (помни: там две ступеньки).

Смахни с рояля Бетховена и Петра Ильича,
отвинти третью ножку и обнаружишь деньги.

Не сворачивай в спальню, не потроши комод,
не то начнешь онанировать. В спальне и в гардеробе
пахнет духами; но, кроме тряпок от
Диора, нет ничего, что бы толкнуть в Европе.

Спустя два часа, когда объявляют рейс,
не дергайся; потянись и подави зевоу.
В любой толпе пассажиров, как правило, есть еврей
с пейсами и с детьми: примкни к его хороводу.

Наутро, когда Зизи распахивает жалюзи,
сообщая, что Лувр закрыт, вцепись в ее мокрый волос,
ткни глупой мордой в подушку и, прорывав «Грызи»,
сделай с ней то, от чего у певицы садится голос.

<1993>

Пристань Фегердала

Деревья ночью шумят на берегу пролива.

Видимо, дождь; ибо навряд ли ива,
не говоря – сосна, в состояньи узнать, в потемках,

в мелкой дроби листа, в блеске иглы, в подтеках

ту же самую воду, данную вертикально.

Осознать это может только спальня

с ее опытом всхлипывания; либо – голые мачты шведских

яхт, безмятежно спящих в одних подвязках, в одних подвесках

сном вертикали, привыкшей к горизонтали,

комкая мокрые простыни пристани в Фегердале.

<1993>

Провинциальное

По колено в репейнике и в лопухах,

по галош в двухполоске, бегущей попасть под поезд,

разъезд минующий впопыхах;

в сонной жене, как инвалид, по пояс.

И куда ни посмотришь, всюду сады, зады.

И не избы стоят, а когда-то бревна

порешили лечь вместе, раз от одной беды

все равно не уйдешь, да и на семь ровно

ничего не делится, кроме

дней недели, месяца, года, века.

Чем стоять стоймя, лучше лечь плашмя

и впускать в себя вечером человека.

<1993>

Семенов

Владимиру Уфлянду

Не было ни Иванова, ни Сидорова, ни Петрова.
Был только зеленый луг и на нем корова.
Вдали по рельсам бежала цепочка стальных вагонов.
И в одном из них ехал в отпуск на юг Семенов.
Время шло все равно. Время, наверно, шло бы,
не будь ни коровы, ни луга: ни зелени, ни утробы.
И если бы Иванов, Петров и Сидоров были,
и Семенов бы ехал мимо в автомобиле.
Задумаешься над этим и, встретившись взглядом с лугом,
вздрагнешь и отвернешься – скорее всего с испугом:
ежели неподвижность действительно мать движенья,
то отчего у них разные выраженья?
И не только лица, но – что важнее – тела?
Сходство у них только в том, что им нет предела,
пока существует Семенов: покуда он, дальний отпрыск
времени, существует настолько, что едет в отпуск;
покуда поезд мычит, вагон зеленеет, зелень коровой бредит;
покуда время идет, а Семенов едет.

<1993>

* * *

Снаружи темнеет, верней – синеет, точней – чернеет.
Деревья в окне отменяет, диван комнеет.
Я выдохся за день, лампу включать не стану
и с мебелью в комнате вместе в потемки кану.
Пора признать за собой поверхность и, с ней, склонность
к поверхности, оставить претензии на одушевленность;

хрустнуть суставами, вспомнить кору, корни и,
смахнув с себя пыль, представить процесс горенья.
Вор, скрипя половицей, шаря вокруг как Шива,
охнет, наткнувшись на нечто твердое, от ушиба.
Но как защита от кражи, тем более – разговора,
это лучше щеколды и крика «держите вора».

Темнеет, точней – чернеет, вернее – деревенеет,
переходя ту черту, за которой лицо дурнеет,
и на его развалинах, вприсядку и как попало,
неузнаваемость правит подобье бала.
В конце концов, темнота суть число волокон,
перестающих считаться с существованьем окон,
неспособных представить, насколько вещь окрепла
или ослепла от перспективы пепла
и в итоге – темнеет, верней – ровнеет, точней – длиннеет.
Незрячесть крепчает, зерно крупнеет;
ваш зрачок расширяется, и, как бы в ответ на это,
в мозгу всюду разгорается лампочка анти-света.

Так пропадают из виду; но настоящий финиш
не там, где кушетку вплотную к стене придвинешь,
но в ее многоногости за полночь, крупным планом
разрывающей ленточку с надписью «Геркуланум».

<1993>

Томасу Транстремеру

Вот я и снова под этим бесцветным небом,
заваленным перистым, рыхлым, единым хлебом
души. Немного накрапывает. Мышь-полевка
приветствует меня свистом. Прошло полвека.

Барвинок и валун, заросший густой щетиной
мха, не сдвинулись с места. И пахнет тинной
блеклый, в простую полоску, отрез Гомеров,
которому некуда деться из-за своих размеров.

Первым это заметили, скорее всего, деревья,
чья неподвижность тоже следствие недоверья
к птицам с их мельтешеньем и отражает строгость
взгляда на многорукость – если не одноногость.

В здешнем бесстрастном, ровном, потустороннем свете
разница между рыбой, идущей в сети,
и мокнущей под дождем статуей алконавта
заметна только привыкшим к идее деленья на два.

И более двоеточье, чем частное от деленья
голоса на бессрочье, исчадье оледененья,
я припадаю к родной, ржавой, гранитной массе
серой каплей зрачка, вернувшейся восвояси.

<1993>

* * *

Ты не скажешь комару:
«Скоро я, как ты, умру».
С точки зренья комара,
человек не умира.

Вот откуда речь и прыть -
от уменья жизни скрыть
свой конец от тех, кто в ней
насекомого сильней,

в скучный звук, в жужжанье, суть
какового – просто жуть,
а не жажда юшки из
мышц без опухоли и с,

либо – глубже, в рудный пласт,
что к молчанию горазд:
всяк, кто сверху языком
внятно мелет – насеком.

<1993>

Цветы

Цветы с их с ума сводящим принципом очертаний,
придающие воздуху за стеклом помятый
вид, с воспаленным "А", выглядящим то гортанней,
то шепелявей, то просто выкрашенным помадой,
– цветы, что хватают вас за душу то жадно и откровенно,
то как блеклые губы, шепчущие «наверно».

Чем ближе тело к земле, тем ему интересней,
как сделаны эти вещи, где из потусторонней
ткани они осторожно выкроены без лезвий
– чем бестелесней, тем, видно, одушевленной,
как вариант лица, свободного от гримасы
искренности, или звезды, отделавшейся от массы.

Они стоят перед нами выходцами оттуда,
где нет ничего, опричь возможности воплотиться
безразлично во что – в каплю на дне сосуда,
в спички, в сигнал радиста, в клочок батиста,
в цветы; еще поглощенные памятью о «сезаме»,
смотрят они на нас невидящими глазами.

Цветы! Наконец вы дома. В вашем лишенном фальши
будущем, в пресном стекле пузатых
ваз, где в пору краснеть, потому что дальше
только распад молекул, по кличке запах,
или – белеть, шепча «пестик, тычинка, стебель»,

сводя с ума штукатурку, опережая мебель.

<1993>

* * *

– Что ты делаешь, птичка, на черной ветке,
оглядываясь тревожно?

Хочешь сказать, что рогатки метки,
но жизнь возможна?

– Ах нет, когда целятся из рогатки,
я не теряюсь.

Гораздо страшнее твои догадки;
на них я и озираюсь.

– Боюсь, тебя привлекает клетка,
и даже не золотая.

Но лучше петь сидя на ветке; редко
поют, летая.

– Неправда! Меня привлекает вечность.

Я с ней знакома.

Ее первый признак – бесчеловечность.

И здесь я – дома.

<1993>

* * *

Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос.

Я вижу не то, во что ты одета, а ровный снег.

И это не комната, где мы сидим, но полюс;

плюс наши следы ведут от него, а не к.

Когда-то я знал на память все краски спектра.

Теперь различаю лишь белый, врача смутив.

Но даже ежели песенка вправду спета,

от нее остается еще мотив.

Я рад бы лечь рядом с тобою, но это – роскошь.

Если я лягу, то – с дерном заподлицо.

И всхлипнет старушка в избушке на курьих ножках

и сварит всмятку себе яйцо.

Раньше, пятно посадив, я мог посыпать щелочь.

Это всегда помогало, как тальк прыщу.

Теперь вокруг тебя волнами ходит сволочь.

Ты носишь светлые платья. И я грущу.

<1993>

Ritratto di donna [83]

Не первой свежести – как и цветы в ее
руках. В цветах – такое же вранье
и та же жажда будущего. Карий
глаз смотрит в будущее, где
ни ваз, ни разговоров о воде.
Один гербарий.

Отсюда – складчатость. Сначала – рта,
потом – бордовая, с искрой, тафта,
как занавес, готовый взвиться
и обнаружить механизм ходьбы
в заросшем тупике судьбы;
смутить провидца.

Нога в чулке из мокрого стекла
блестит, как будто вплавь пересекла
Босфор и требует себе асфальта
Европы или же, наоборот, -
просторов Азии, пустынь, щедрот
песков, базальта.

Камея в низком декольте. Под ней,
камеей, – кружево и сумма дней,
не тронутая их светиллом,
не знающая, что такое – кость,
несобираемая в горсть;
простор белилам.

Что за спиной у ней, опричь ковра
с кинжалами? Ее вчера.
Десятилетия. Мысли о Петрове,
о Сидорове, не говоря
об Иванове, возмущавших зря
пять литров крови.

Что перед ней сейчас? Зима. Стамбул.
Ухмылки консула. Настырный гул
базара в полдень. Минареты класса
земля-земля или земля-чалма
(иначе – облако). Зурна, сурьма.
Другая раса.

Плюс эта шляпа типа лопуха
в провинции и цвета мха.
Болтун с палитрой. Кресло. Англичане
такие делали перед войной.
Амур на столике: всего с одной
стрелой в колчане.

Накрашенным закрытым ртом
лицо кричит, что для него «потом»
важнее, чем «теперь», тем паче -
«тогда»! Что полотно – стезя

попасть туда, куда нельзя

попасть иначе.

Так боги делали, вселяясь то
в растение, то в камень: до
возникновенья человека. Это
инерция метаморфоз
сиеной и краплаком роз
глядит с портрета,

а не сама она. Она сама
состарится, сойдет с ума,
умрет от дряхлости, под колесом, от пули.
Но там, где не нужны тела,
она останется какой была
тогда в Стамбуле.

<1993>

Храм Мельпомены

Поднимается занавес: на сцене, увы, дуэль.

На секунданте – коричневая шинель.

И кто-то падает в снег, говоря «Ужель».

Но никто не попадает в цель.

Она сидит у окна, завернувшись в шаль.

Пока существует взгляд, существует даль.

Всю комнату заполонил рояль.

Входит доктор и говорит: «Как жаль...»

Метель за окном похожа на вермишель.

Холодно, и задувает в щель.

Неподвижное тело. Неприбранная постель.

Она трясет его за плечи с криком: "Мишель! Мишель,

проснитесь! Прошло двести лет! Не столь
важно даже, что двести! Важно, что ваша роль
сыграна! Костюмы изгрызла моль!"

Мишель улыбается и, преодолевая боль,

рукою делает к публике, как бы прося займы:

"Если бы не театр, никто бы не знал, что мы
существовали! И наоборот!" Из тьмы
зала в ответ раздаётся сдержанное «хмы-хмы».

март 1994

Остров Прочида

Захолустная бухта; каких-нибудь двадцать мачт.

Сушатся сети – родственницы простыней.

Закат; старики в кафе смотрят футбольный матч.

Синий залив пытается стать синей.

Чайка когтит горизонт, пока он не затвердел.

После восьми набережная пуста.

Синева вторгается в тот предел,

за которым вспыхивает звезда.

1994

* * *

Е. Леонской

В воздухе – сильный мороз и хвоя.

Наденем ватное и меховое.

Чтоб маяться в наших сугробах с торбой -

лучше олень, чем верблюд двугорбый.

На севере если и верят в Бога,

то как в коменданта того острога,

где всем нам вроде бока намяло,

но только и слышно, что дали мало.

На юге, где в редкость осадок белый,

верят в Христа, так как сам он – беглый:

родился в пустыне, песок-солома,

и умер тоже, слышать, не дома.

Помянем нынче вином и хлебом
жизнь, прожитую под открытым небом,
чтоб в нем и потом избежать ареста
земли – поскольку там больше места.

декабрь 1994

Надежде Филипповне Крамовой на день ее девяностопятилетия

15 декабря 1994 г.

Надежда Филипповна [84] милая!

Достичь девяноста пяти
упрямство потребно и сила – и
позвольте стишок поднести.

Ваш возраст – я лезу к Вам с дебрями
идей, но с простым языком -
есть возраст шедевра. С шедеврами
я лично отчасти знаком.

Шедевры в музеях находятся.
На них, разеваючи пасть,
ценитель и гангстер охотятся.
Но мы не дадим Вас украсть.

Для Вас мы – зеленые овощи,
и наш незначителен стаж.
Но Вы для нас – наше сокровище,
и мы – Ваш живой Эрмитаж.

При мысли о Вас достижения
Веласкеса чудятся мне,
Учелло картина «Сражение»
и «Завтрак на травке» Мане.

При мысли о Вас вспоминаются
Юсуповский, Мойки вода,
Дом Связи с антеннами – аиста
со свертком подобье гнезда.

Вы жили вблизи абортария,
Людмилу [85] от мира тая.
и изредка пьяная ария
в подъезде звучала моя.

Орава черняво-курчавая
клубилась там сутками сплошь,
талантом сверкая и чавкая,
как стайка блестящих галош.

Как вспомню я Вашу гостиную,
любому тогда трепачу
доступную, тотчас застыну я,
вздохну, и слезу проглочу.

Там были питье и питание,
там Пасик [86] мой взор волновал.
там разным мужьям испытания
на чары их баб я сдавал.

Теперь там – чужие владения.
Под новым замком, взаперти,
мы там для жильца – привидения,
библейская сцена почти.

В прихожей кого-нибудь тискают
на фоне гвардейских знамен, [87]
мы там – как Капелла Сикстинская -
подернуты дымкой времен.

Ах, в принципе, где бы мы ни были,
ворча и дыша тяжело,
мы, в сущности, слепки той мебели,
и Вы – наш Микельанджело.

Как знать, благодарная нация
когда-нибудь с тростью в руке
коснется, сказав: «Реставрация!»,
теней наших в том тупике.

Надежда Филипповна! В Бостоне
большие достоинства есть.
Везде – полосатые простыни
со звездами – в Витькину [88] честь.

Повсюду – то гости из прерии.
то Африки вспыльчивый князь,
то просто отбросы Империи.
ударившей мордочкой в грязь.

И Вы, как бурбонская лилия
в оправе из хрусталя,
прищурясь, на наши усилия
глядите слегка издаля.

Ах, все мы здесь чуточку парии
и аристократы чуть-чуть.
Но славно в чужом полушарии
за Ваше здоровье хлебнуть!

«Звезда». No. 5. 1995

Византийское

Поезд из пункта А, льющийся из трубы
туннеля, впадает с гудением в раскинувшееся широко,
в котором морщины сбежались, оставив лбы,
а те кучевой толпой сбились в чалму пророка.
Ты встретишь меня на станции, расталкивая тела,
и карий местного мусора примет меня за дачника.
Но даже луна не узнает, какие у нас дела,
заглядывая в окно, точно в конец задачника.
Мы – на раскопках грядущего, бьющего здесь ключом,
то есть жизни без нас, уже вывозимой за море
вследствие потной морзянки и семафора в чем
мать родила, на память о битом мраморе.
И ежели нас в толпе, тысячу лет спустя,
окликнет ихний дозор, узнав нас по плоскостопию,
мы прикинемся мертвыми, под каблуком хрустя:
подлиннику пустоты предпочитая копию.

1994

В разгар холодной войны

Кто там сидит у окна на зеленом стуле?
Платье его в беспорядке, и в мыслях – сажа.
В глазах цвета бесцельной пули -
готовность к любой перемене в судьбе пейзажа.

Всюду – жертвы барометра. Не дожидаясь залпа,
царства рушатся сами, красное на исходе.
Мы все теперь за границей, и если завтра
война, я куплю бескозырку, чтоб не служить в пехоте.

Мы знаем, что мы на севере. За полночь гроздь рябины
озаряет налечник осиротевшей дачи.
И пусть вы – трижды Гирей, но лицо рабыни,
взявшись ее покрыть, не разглядеть иначе.

И постоянно накрапывает, точно природа мозгу
хочет что-то сообщить; но, чтоб не портить крови,
шепчет на местном наречьи. А ежели это – Морзе,
кто его расшифрует, если не шифер кровли?

1994

В следующий век

Постепенно действительность превращается в недействительность.

Ты прочтешь эти буквы, оставшиеся от пера,
и еще упрекнешь, как муравья – кора
за его медлительность.

Помни, что люди съезжают с квартиры только когда возник
повод: квартплата подпрыгнула, подпали под сокращение;
просто будущему требуется помещение
без них.

С другой стороны, взять созвездия. Как выразился бы судья,

поскольку для них скорость света – бедствие,
присутствие их суть отсутствие, и бытие – лишь следствие
небытия.

Так, с годами, улики становятся важнее преступления, дни -
интереснее, чем жизнь; так знаками препинания
заменяется голос. Хотя от тебя не дождешься ни
телескопа, ни воспоминания.

1994

Из Альберта Эйнштейна

Петру Вайлю

Вчера наступило завтра, в три часа пополудни.

Сегодня уже «никогда», будущее вообще.

То, чего больше нет, предпочитает будни
с отсыревшей газетой и без яйца в борще.

Стоит сказать «Иванов», как другая эра
сразу же тут как тут, вместо минувших лет.

Так солдаты в траншее поверх бруствера
смотрят туда, где их больше нет.

Там – эпидемия насморка, так как цветы не пахнут,
и ропот листвы настойчив, как доводы дурачья,
и город типа доски для черно-белых шахмат,
где побеждают желтые, выглядит как ничья.

Так смеркается раньше от лампочки в коридоре,
и горную цепь настораживает сворачиваемый вигвам,
и, чтоб никуда не ломиться за полночь на позоре,
звезды, не зажигаясь, в полдень стучатся к вам.

1994

* * *

Меня упрекали во всем, кроме погоды,
и сам я грозил себе часто суровой мздой.
Но скоро, как говорят, я сниму погоны
и стану просто одной звездой.

Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба
и прятаться в облако, слыша гром,
не видя, как войско под натиском ширпотреба
бежит, преследуемо пером.

Когда вокруг больше нету того, что было,
не важно, берут вас в кольцо или это – блиц.
Так школьник, увидев однажды во сне чернила,
готов к умноженью лучше иных таблиц.

И если за скорость света не ждешь спасибо,

то общего, может, небытия броня
ценит попытки ее превращения в сито
и за отверстие поблагодарит меня.

1994

Моллюск [89]

Земная поверхность есть
признак того, что жить
в космосе разрешено,
поскольку здесь можно сесть,
встать, пройти, потушить
лампу, взглянуть в окно.

Восемь других планет
считают, что эти как раз
выводы неверны,
и мы слышим их «нет!»,
когда убивают нас
и когда мы больны.

Тем не менее я
существую, и мне,
искренне говоря,
в результате вполне
единственного бытия
дороже всего моря.

Хотя я не враг равнин,
друг ледниковых гряд,
ценитель пустынь и гор -
особенно Апеннин -
всего этого, говорят,
в космосе перебор.

Статус небесных тел
приобретаем за счет
рельефа. Но их рельеф
не плещет и не течет,
взгляду кладя предел,
его же преодолев.

Всякая жизнь под стать
ландшафту. Когда он сер,
сух, ограничен, тверд,
какой он может подать
умам и сердцам пример,
тем более – для аорт?

Когда вы стоите на
Сириусе – вокруг
бурое фантази
из щебня и валуна.

Это портит каблук
и не блестит вблизи.

У тел и у их небес
нету, как ни криви
пространство, иной среды.
"Многие жили без, -
заметил поэт, – любви,
но никто без воды".

Отсюда – мой сентимент.
И скорей, чем турист,
готовый нажать на спуск
камеры в тот момент,
когда ландшафт волнист,
во мне говорит моллюск.

Ему подпевает хор
хордовых, вторят пять
литров неголубой
крови: у мышц и пор
суши меня, как пядь,
отвоевал прибой.

Стоя на берегу
моря, морща чело,

присматриваясь к воде,
я радуюсь, что могу
разглядывать то, чего
в галактике нет нигде.

Моря состоят из волн -
странных вещей, чей вид
множественного числа,
брошенного на произвол,
был им раньше привит
всякого ремесла.

По существу, вода -
сумма своих частей,
которую каждый миг
меняет их чехарда;
и бредни ведомостей
усугубляет блик.

Определенье волны
заключено в самом
слове «волна». Оно,
отмеченное клеймом
взгляда со стороны,
им не закабалено.

В облике буквы "в"

явно дает гастроль

восьмерка – родная дочь

бесконечности, столь

свойственной синеве,

склянке чернил и проч.

Как форме, волне чужды

ромб, треугольник, куб,

всяческие углы.

В этом – прелесть воды.

В ней есть нечто от губ

с пеною вдоль скулы.

Склонностью пренебречь

смыслом, чья глубина

буквальна, морская даль

напоминает речь,

рваные письма,

некоторым – скрижаль.

Именно потому,

узнавая в ней свой

почерк, певцы поют

рыхлую бахрому -

связки голосовой

или зрачка приют.

Заговори сама,
волна могла бы свести
слушателя своего
в одночасье с ума,
сказав ему: "я, прости,
не от мира сего".

Это, сдается мне,
было бы правдой. Сей -
удерживаем рукой;
в нем можно зайти к родне,
посмотреть Колизей,
произнести «на кой?».

Иначе с волной, чей шум,
смахивающий на «ура», -
шум, сумевший вобрать
«завтра», «сейчас», «вчера»,
идуший из царства сумм, -
не занести в тетрадь.

Там, где прошлое плюс
будущее вдвоем
бьют баклуши, творя
настоящее, вкус

диктует массам объем.

И отсюда – моря.

Скорость по кличке «свет»,

белый карлик, квазар

напоминают нерях;

то есть пожар, базар.

Материя же – эстет,

и ей лучше в морях.

Любое из них – скорей

слепок времени, чем

смесь катастрофы и

радости для ноздрей,

или – пир диадем,

где за столом – свои.

Собой превращая две

трети планеты в дно,

море – не лицедей.

Вещью на букву "в"

оно говорит: оно -

место не для людей.

Тем более если три

четверти. Для волны

суша – лишь эпизод,
а для рыбы внутри -
хуже глухой стены:
тот свет, кислород, азот.

При расшифровке «вода»,
обнажив свою суть,
даст в профиль или в анфас
«бесконечность-о-да»;
то есть, что мир отнюдь
создан не ради нас.

Не есть ли вообще тоска
по вечности и т. д.,
по ангельскому крылу -
инерция косяка,
в родной для него среде
уткнувшегося в скалу?

И не есть ли Земля
только посуда? Род
пиалы? И не есть ли мы,
пашущие поля,
танцующие фокстрот,
разновидность каймы?

Звезды кивнут: ага,
бордюр, оторочка, вязь
жизней, которых счет
зрения отродясь
от громокипящих га
моря не отвлечет.

Им виднее, как знать.
В сущности, их накал
в космосе объясним
недостатком зеркал;
это легче понять,
чем примириться с ним.

Но и моря, в свой черед,
обращены лицом
вовсе не к нам, но вверх,
целя их, наоборот,
как выдуманной слепцом
азбуки фейерверк.

Оказываясь в западне
или же когда мы
никому не нужны,
мы видим моря вовне,
больше беря займы,
чем наяву должны.

В облике многих вод,
бегущих на нас, рябя,
встающих там на дыбы,
мнится свобода от
всего, от самих себя,
не говоря – судьбы.

Если вообще она
существует – и спор
об этом сильнее в глуши -
она не одушевлена,
так как морской простор
шире, чем ширь души.

Сворачивая шапито,
грустно думать о том,
что бывшее, скажем, мной,
воздух хватая ртом,
превратившись в ничто,
не сделается волной.

Но ежели вы чуть-чуть
мизантроп, лиходей,
то вам, подтянув кушак,
приятно, подставив ей,

этой свободе, грудь,
сделать к ней лишний шаг.

1994

* * *

Мы жили в городе цвета окаменевшей водки.
Электричество поступало издалека, с болот,
и квартира казалась по вечерам
перепачканной торфом и искусанной комарами.
Одежда была неуклюжей, что выдавало
близость Арктики. В том конце коридора
дребезжал телефон, с трудом оживая после
недавно кончившейся войны.
Три рубля украшали летчики и шахтеры.
Я не знал, что когда-нибудь этого больше уже не будет.
Эмалированные кастрюли кухни
внушали уверенность в завтрашнем дне, упрямо
превращаясь во сне в головные уборы либо
в торжество Циолковского. Автомобили тоже
катились в сторону будущего и были
черными, серыми, а иногда (такси)
даже светло-коричневыми. Странно и неприятно
думать, что даже железо не знает своей судьбы
и что жизнь была прожита ради апофеоза
фирмы Кодак, поверившей в отпечатки
и выбрасывающей негативы.
Райские птицы поют, не нуждаясь в упругой ветке.

1994

* * *

О если бы птицы пели и облака скучали,
и око могло различать, становясь синей,
звонкую трель преследуя, дверь с ключами
и тех, кого больше нету нигде, за ней.

А так – меняются комнаты, кресла, стулья.
И всюду по стенам то в рамке, то так – цветы.
И если бывает на свете пчела без улья
с лишней пыльцой на лапках, то это ты.

О если б прозрачные вещи в густой лазури
умели свою незримость держать в узде
и скопом однажды сгуститься – в звезду, в слезу ли -
в другом конце стратосферы, потом – везде.

Но, видимо, воздух – только сырье для кружев,
распятых на пальцах в парке, где пасся царь.
И статуи стынут, хотя на дворе – бесстужев,
казненный потом декабрист, и настал январь.

1994

Письмо в оазис

Не надо обо мне. Не надо ни о ком.
Забиться о себе, о всаднице матраца.
Я был не лишним ртом, но лишним языком,
подспудным грызуном словарного запаса.

Теперь в твоих глазах амбарного кота,
хранившего зерно от порчи и урона,
читается печаль, дремавшая тогда,
когда за мной гналась секира фараона.

С чего бы это вдруг? Серебряный висок?
Оскомина во рту от сладостей восточных?
Потусторонний звук? Но то шуршит песок,
пустыни талисман, в моих часах песочных.

Помол его жесток, крупички – тяжелы,
и кости в нем белей, чем просто перемыты.
Но лучше грызть его, чем губы от жары
облизывать в тени осевшей пирамиды.

1994

* * *

После нас, разумеется, не потоп,
но и не засуха. Скорей всего, климат в царстве

справедливости будет носить характер
умеренного, с четырьмя временами года,
чтоб холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик
правили поочередно: на протяжении трех
месяцев каждый. С точки зрения энциклопедии,
это – немало. Хотя, бесспорно,
переменная облачность, капризы температуры
могут смутить реформатора. Но бог торговли
только радуется спросу на шерстяные
вещи, английские зонтики, драповое пальто.
Его злейшие недруги – штопанные носки
и перелицованные жакеты. Казалось бы, дождь в окне
поощряет именно этот подход к пейзажу
и к материи в целом: как более экономный.
Вот почему в конституции отсутствует слово «дождь».
В ней вообще ни разу не говорится
ни о барометре, ни о тех, кто, сгорбясь
за полночь на табуретке, с клубком вигони,
как обнаженный Алкивиад,
коротают часы, листая страницы журнала мод
в предбаннике Золотого Века.

1994

Робинзонада

Новое небо за тридевятью земель.
Младенцы визжат, чтоб привлечь внимание
аиста. Старики прячут голову под крыло,
как страусы, упираясь при этом клювом

не в перья, но в собственные подмышки.
Можно ослепнуть от избытка ультрамарина,
незнакомого с парусом. Увертливые пироги
подобны сильно обглоданной – стесанной до икры! -
рыбе. Гребцы торчат из них, выдавая
тайну движения. Жертва кораблекрушенья,
за двадцать лет я достаточно обжил этот
остров (возможно, впрочем, что – континент),
и губы сами шевелятся, как при чтеньи, произнося
«тропическая растительность, тропическая растительность».
Скорей всего, это – бриз; во второй половине дня
особенно. То есть, когда уже
остекленевший взор больше не отличает
оттиска собственной пятки в песке от пятки
Пятницы. Это и есть начало
письменности. Или – ее конец.
Особенно с точки зрения вечернего океана.

1994

MCMXCIV

Глупое время: и нечего, и не у кого украсть.
Легионеры с пустыми руками возвращаются из походов.
Сивиллы путают прошлое с будущим, как деревья.
И актеры, которым больше не аплодируют,
забывают великие реплики. Впрочем, забвенье – мать
классики. Когда-нибудь эти годы
будут восприниматься как мраморная плита
с сетью прожилок – водопровод, маршруты

сборщика податей, душные катакомбы,
чья-то нитка, ведущая в лабиринт, и т. д. и т. п. – с пучком
дрока, торчащим из трещины посередине.

А это было эпохой скуки и нищеты,
когда нечего было украсть, тем паче
купить, ни тем более преподнести в подарок.

Цезарь был ни при чем, страдая сильнее прочих
от отсутствия роскоши. Нельзя упрекнуть и звезды,
ибо низкая облачность снимает с планет ответственность
перед обжитой местностью: отсутствие не влияет
на присутствие. Мраморная плита
начинается именно с этого, поскольку односторонность -
враг перспективы. Возможно, просто
у вещей быстрее, чем у людей,
пропало желание размножаться.

1994

На независимость Украины [90]

Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
«время покажет Кузькину мать», руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.

То не зелено-квитный, траченный изотопом,-
жовто-блакытный реет над Конотопом,
скроенный из холста, знать, припасла Канада.

Даром что без креста, но хохлам не надо.

Гой ты, рушник, карбованец, семечки в полной жмене!

Не нам, кацапам, их обвинять в измене.

Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми [91] глазами жили, как при Тарзане.
Скажем им, звонкой матерью паузы медля [92] строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога!
Ступайте от нас в жупане, не говоря – в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны. [93] Пусть теперь в мазанке хором гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть – так сообща, путь выбирая в чаще, [94]
а курицу из борща грызть в одиночку слаще.
Прощевайте, хохлы, пожили вместе – хватит!
Плюнуть, что ли, в Днипро, может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
кожаными [95] углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом. Вашего хлеба, неба,
нам, подавись мы жмыхом и колобом, не треба. [96]
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коль и была промежду.
Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом? [97]
Вас родила земля, грунт, чернозем с подзолом. [98]
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Это земля не дает вам, кавунам, [99] покоя.
Ой да Левада-степь, краля, баштан, вареник!
Больше, поди, теряли – больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза -
нет на нее указа, ждате до другого раза.
С Богом, орлы, казаки, [100] гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.

Бегство в Египет (2)

В пещере (какой ни на есть, а кров!
Надежней суммы прямых углов!)
в пещере им было тепло втроем;
пахло соломою и тряпьем.

Соломенною была постель.
Снаружи молола песок метель.
И, припоминая его помол,
спросонья ворочались мул и вол.

Мария молилась; костер гудел.
Иосиф, насупясь, в огонь глядел.
Младенец, будучи слишком мал
чтоб делать что-то еще, дремал.

Еще один день позади – с его
тревогами, страхами; с «о-го-го»
Ирода, выславшего войска;
и ближе еще на один – века.

Спокойно им было в ту ночь втроем.

Дым устремлялся в дверной проем,
чтоб не тревожить их. Только мул
во сне (или вол) тяжело вздохнул.

Звезда глядела через порог.
Единственным среди них, кто мог
знать, что взгляд ее означал,
был младенец; но он молчал.

декабрь 1995

Воспоминание

Je n'ai pas oublie, voisin de la ville

Notre blanche maison, petite mais tranquille. Charles Baudelaire

Дом был прыжком геометрии в глухонемую зелень
парка, чьи праздные статуи, как бросившие ключи
жильцы, слонялись в аллеях, оставшихся от извилин;
когда загорались окна, было неясно – чьи.

Видимо, шум листвы, суммируя варианты
зависимости от судьбы (обычно – по вечерам),
пользовался каракулями, и, с точки зренья лампы,
этого было достаточно, чтоб раскалить вольфрам.
Но шторы были опущены. Крупнозернистый гравий,
похрустывая осторожно, свидетельствовал не о
присутствии постороннего, но торжестве махровой
безадресности, окрестностям доставшейся от него.
И за полночь облака, воспитаны высшей школой

расплывчатости или просто задранности голов,
отечески прикрывали рыхлой периной голый
космос от одичавшей суммы прямых углов.

1995

Выздоровливающему Волосику[101]

Пока срастаются твои бесшумно косточки,
не грех задуматься, Волосенька, о тросточке.

В минувшем веке без нее из дому гении
не выходили прогуляться даже в Кении.

И даже тот, кто справедливый мир планировал,
порой без Энгельса, но с тросточкой фланировал.

Хотя вообще-то в ход пошла вещица в Лондоне
при нежном Брэммеле и гордом Джордже Гордоне.

Потом, конечно, нравы стали быстро портиться:
то – революция, то – безработица,

и вскоре тросточка, устав от схваток классовых,
асфальт покинула в разгар расстрелов массовых.

Но вот теперь, случайно выбравшись с поломками
из-под колес почти истории с подонками,

больнички с извергом захлопнув сзади двери и
в миниатюре повторив судьбу Империи,

– чтоб поддержать чуть-чуть свое телосложение -
ты мог бы тросточку взять на вооружение.

В конце столетия в столице нашей северной
представим щеголя с улыбкою рассеянной,

с лицом, изборожденным русским опытом,
сопровождаемого восхищенным ропотом,

когда прокладывает он сквозь часть Литейную
изящной тросточкою путь в толпе в питейную.

Тут даже гангстеры, одеты в кожу финскую,
вмиг расступаются, поблескивая фиксою,

и, точно вывернутый брюк карман – на деньги,
взирают тучки на блистательного дэнди.

Кто это? Это – ты, Волосик, с тросточкой
интеллигентов окруженный храброй горсточкой,

вступаешь, холодно играя набалдашником,
в то будущее, где жлобы с бумажником

царить хотели бы и шуровать кастетами.
Но там все столики уж стойки и эстетами

позанимали, и Волосик там – за главного:
поэт, которому и в будущем нет равного.

1995

* * *

Клоуны разрушают цирк. Слоны убежали в Индию,
тигры торгуют на улице полосами и обручами,
под прохудившимся куполом, точно в шкафу, с трапеции
свешивается, извиваясь, фрак
разочарованного иллюзиониста,
и лошадки, скинув попоны, позируют для портрета
двигателя. На арене,

утопая в опилках, клоуны что есть мочи
размахивают кувалдами и разрушают цирк.
Публики либо нет, либо не аплодирует.
Только вышколенная болонка
тявкает непрерывно, чувствуя, что приближается
к сахару: что вот-вот получится
одна тысяча девятьсот девяносто пять.

1995

Корнелию Долабелле

Добрый вечер, проконсул или только-что-принял-душ.
Полотенце из мрамора чем обернулась слава.
После нас – ни законов, ни мелких луж.
Я и сам из камня и не имею права
жить. Масса общего через две тыщи лет.
Все-таки время – деньги, хотя неловко.
Впрочем, что есть артрит если горит дуплет
как не потустороннее чувство локтя?
В общем, проездом, в гостинице, но не об этом речь.
В худшем случае, сдавленное «кого мне...»
Но ничего не набрать, чтоб звонком извлечь
одушевленную вещь из недр каменоломни.
Ни тебе в безрукавке, ни мне в полушубке. Я
знаю, что говорю, сбивая из букв когорту,
чтобы в каре веков вклинилась их свинья!
И мрамор сужает мою аорту.

1995, Hotel Quirinale, Рим

На виа Фунари

Странные морды высовываются из твоего окна,
во дворе дворца Гаэтани воняет столярным клеем,
и Джино, где прежде был кофе и я забирал ключи,
закрылся. На месте Джино -
лавочка: в ней торгуют галстуками и носками,
более необходимыми нежели он и мы,
и с любой точки зрения. И ты далеко в Тунисе
или в Ливии созерцаешь изнанку волн,
набегающих кружевом на итальянский берег:
почти Септимий Север. Не думаю, что во всем
виноваты деньги, бег времени или я.
Во всяком случае, не менее вероятно,
что знаменитая неодушевленность
космоса, устав от своей дурной
бесконечности, ищет себе земного
пристанища, и мы – тут как тут. И нужно еще сказать
спасибо, когда она ограничивается квартирой,
выраженьем лица или участком мозга,
а не загоняет нас прямо в землю,
как случилось с родителями, с братом, с сестренкой, с Д.
Кнопка дверного замка – всего лишь кратер
в миниатюре, зияющий скромно вследствие
прикосновения космоса, крупинки метеорита,
и подъезды усыпаны этой потусторонней оспой.
В общем, мы не увиделись. Боюсь, что теперь не скоро
представится новый случай. Может быть, никогда.
Не горюй: не думаю, что я мог бы

признаться тебе в чем-то большем, чем Сириусу – Канопус,
хотя именно здесь, у твоих дверей,
они и сталкиваются среди бела дня,
а не бдительной, к телескопу припавшей ночью.

1995, Hotel Quirinale, Рим

Посмертные публикации [102]

* * *

Л. С.

Осень – хорошее время, если вы не ботаник,
если ботвинник паркета ищет ничью ботинок:
у тротуара явно ее оттенок,
а дальше – деревья как руки, оставшиеся от денег.

В небе без птиц легко угадать победу
собственных слов типа «прости», «не буду»,
точно считавшееся чувством вины и модой
на темно-серое стало в конце погодой.

Все станет лучше, когда мелкий дождь зарядит,
потому что больше уже ничего не будет,
и еще позавидуют многие, сил избытком
пьяные, воспоминаньям и бывшим душевным пыткам.

Остановись, мгновенье, когда замирает рыба
в озерах, когда достает природа из гардероба
со вздохом мятую вещь и обводит оком
место, побитое молью, со штопкой окон.

1995

Посвящается Пиранези

Не то – лунный кратер, не то – колизей; не то -
где-то в горах. И человек в пальто
беседует с человеком, сжимающим в пальцах посох.
Неподалеку собачка ищет пожрать в отбросах.

Не важно, о чем они говорят. Видать,
о возвышенном; о таких предметах, как благодать
и стремление к истине. Об этом неодолимом
чувстве вполне естественно беседовать с пилигримом.

Скалы – или остатки былых колонн -
покрыты дикой растительностью. И наклон
головы пилигрима свидетельствует об известной
примиренности – с миром вообще и с местной

фауной в частности. «Да», говорит его

поза, "мне все равно, если колется. Ничего страшного в этом нет. Колкость – одно из многих свойств, присущих поверхности. Взять хоть четвероногих:

их она не смущает; и нас не должна, зане ног у нас вдвое меньше. Может быть, на Луне все обстоит иначе. Но здесь, где обычно с прошлым смешано настоящее, колкость дает подошвам

– и босиком особенно – почувствовать, так сказать, разницу. В принципе, осязать можно лишь настоящее – естественно, приспособив к этому эпидерму. И отрицаю обувь".

Все-таки, это – в горах. Или же – посреди древних руин. И руки, скрещенные на груди того, что в пальто, подчеркивают, насколько он неподвижен. «Да», гласит его поза, "в принципе, кровли хижин

смахивают силуэтом на очертанья гор.

Это, конечно, не к чести хижин и не в укор горным вершинам, но подтверждает склонность природы к простой геометрии. То есть, освоив конус,

она чуть-чуть увлеклась. И горы издалика

схожи с крестьянским жилищем, с хижинкой батрака
вблизи. Не нужно быть сильно пьяным,
чтоб обнаружить сходство временного с постоянным

и настоящего с прошлым. Тем более – при ходьбе.

И если вы – пилигрим, вы знаете, что судьбе
угодней, чтоб человек себя полагал слугою
оставшегося за спиной, чем гравия под ногою

и марева впереди. Маревы впереди
представляется будущим и говорит "иди
ко мне". Но по мере вашего к мареву приближенья
оно обретает, редая, знакомое выраженья

прошлого: те же склоны, те же пучки травы.

Поэтому я обут". "Но так и возникли вы, -
не соглашается с ним пилигрим. – Забавно,
что вы так выражаетесь. Ибо совсем недавно

вы были лишь точкой в мареве, потом разрослись в пятно".

"Ах, мы всего лишь два прошлых. Два прошлых дают одно
настоящее. И это, замечу, в лучшем
случае. В худшем – мы не получим

даже и этого. В худшем случае, карандаш

или игла художника изобразят пейзаж
без нас. Очарованный дымкой, далью,
глаз художника вправе вообще пренебречь деталью

– то есть моим и вашим существованием. Мы -
то, в чем пейзаж не нуждается как в пирогах кумы.
Ни в настоящем, ни в будущем. Тем более – в их гибриде.
Видите ли, пейзаж есть прошлое в чистом виде,

лишившееся обладателя. Когда оно – просто цвет
вещи на расстояньи; ее ответ
на привычку пространства распоряжаться телом
по-своему. И поэтому прошлое может быть черно-белым,

коричневым, темно-зеленым. Вот почему порой
художник оказывается заморожен горой
или, скажем, развалинами. И надо отдать Джованни
должное, ибо Джованни внимателен к мелкой рвани

вроде нас, созерцая то Альпы, то древний Рим".
«Вы, значит, возникли из прошлого?» – волнуется пилигрим.
Но собеседник умолк, разглядывая устало
собачку, которая все-таки что-то себе достала

поужинать в грудe мусора и вот-вот

взвизгнет от счастья, что и она живет.

«Да нет, – наконец он роняет. – Мы здесь просто так, гуляем».

И тут пейзаж оглашается залиvistым сучьим лаем.

1993 – 1995

С натуры

Джироламо Марчелло

Солнце садится, и бар на углу закрылся.

Фонари загораются, точно глаза актриса
окаймляет лиловой краской для красоты и жути.

И головная боль опускается на парашюте
в затылок врага в мостовой шинели.

И голуби на фронтоне дворца Минелли
ебутся в последних лучах заката,

не обращая внимания, как когда-то
наши предки угрюмые в допотопных
обстоятельствах, на себе подобных.

Удары колокола с колокольни,
пустившей в венецианском небе корни,

точно падающие, не достигая
почвы, плоды. Если есть другая

жизнь, кто-то в ней занят сбором
этих вещей. Полагаю, в скором

времени я это выясню. Здесь, где столько
пролито семени, слез восторга

и вина, в переулке земного рая
вечером я стою, вбирая

сильно скукожившейся резиной
легких чистый, осенне-зимний,

розовый от черепичных кровель
местный воздух, которым вдоволь

не надыхаться, особенно – напоследок!
пахнувший освобождением клеток

от времени. Мята точно деньги,
волна облизывает ступеньки

дворца своей голубой купюрой,
получая в качестве сдачи бурый

кирпич, подверженный дерматиту,
и ненадежную кариатиду,

водрузившую орган речи
с его сигаретой себе на плечи

и погруженную в лицезренье птичьей,
освободившейся от приличий,

вывернутой наизнанку спальни,
выглядающей то как слепок с пальмы,

то – обезумевшей римской
цифрой, то – рукописной строчкой с рифмой.

1995, Casa Marcello

Стакан с водой

Ты стоишь в стакане передо мной, водичка,
и глядишь на меня сбежавшими из-под крана
глазами, в которых, блестя, двоится
прозрачная тебе под стать охрана.

Ты знаешь, что я – твое будущее: воронка,
одушевленный стояк и сопряжен с потерей
перспективы; что впереди – волокна,
сумрак внутренностей, не говоря – артерий.

Но это тебя не смущает. Вообще, у тюрем
вариантов больше для бесприютной
субстанции, чем у зарешеченной тюлем
свободы, тем паче – у абсолютной.

И ты совершенно права, считая, что обойдешься
без меня. Но чем дольше я существую,
тем позже ты превратишься в дождь за
окном, шлифующий мостовую.

1995

Ere perennius

Приключилась на твердую вещь напасть:

будто лишних дней циферблата пасть
отрыгнула назад, до бровей сыта
крупным будущим чтобы считать до ста.

И вокруг твердой вещи чужие ей
встали кодлом, базаря «Ржавей живей»
и "Даешь песок, чтобы в гроб хромать,
если ты из кости или камня, мать".

Отвечала вещь, на слова скупа:

"Не замай меня, лишних дней толпа!

Гнуть свинцовый дрын или кровли жечь -
не рукой под черную юбку лезть.

А тот камень-кость, гвоздь моей красы -
он скучает по вам с мезозоя, псы:
от него в веках борозда длинней,
чем у вас с вечной жизнью с кадиллом в ней".

1995

Август

Маленькие города, где вам не скажут правду.

Да и зачем вам она, ведь все равно – вчера.

Вязы шуршат за окном, поддакивая ландшафту,
известному только поезду. Где-то гудит пчела.

Сделав себе карьеру из перепутья, витязь
сам теперь светофор; плюс, впереди – река,
и разница между зеркалом, в которое вы глядитесь,

и теми, кто вас не помнит, тоже невелика.

Запертые в жару, ставни увиты сплетнею
или просто плющом, чтоб не попасть впросак.
Загорелый подросток, выбежавший в переднюю,
у вас отбирает будущее, стоя в одних трусах.

Поэтому долго смеркается. Вечер обычно отлит
в форму вокзальной площади, со статуей и т. п.,
где взгляд, в котором читается «Будь ты проклят»,
прямо пропорционален отсутствующей толпе.

<январь 1996 г.>

Роману Каплану на следующий день после его 55-летия [103]

Прости, Роман, меня, мерзавца,
дай по лицу.
Но приключилось нализаться
вчера певцу.

И потому в твоей гостиной
был только Юз.
Роман, я был всегда скотиной
и остаюсь.

Прощенья нет подобной твари
(плюс иудей).

И нет мне места в «Самоваре»
среди людей.

В приличный дом теперь ублюдка
не станут звать.

Там, где блистают <...> [104], Людка,
мне не бывать.

Теперь мне пищей, вне сомнений, -
одна маца.

Ни шашлыка мне, ни пельменей,
ни холодца,

ни рюмки дорогой отныне.

Душою стар,
войду я, как Моисей в пустыне,
в ближайший бар

и прошепчу, припав к стакану

сухой губой:

"Ура! 55 Роману!

О boy! О boy!"

<1990-e>

Примечания

1

Собраны 26 недатированных ранних стихов, не вошедших в СИБ. Тексты помечены датой «<?>» и даются по электронным источникам, по ФВ, либо по книге: И. Бродский. Стихотворения и поэмы, Нью-Йорк, 1965 (далее «СИП»), в которой они также не датированы. – С. В.

2

В СИП более ранний вариант: после этой строки вставка следующих 8 строк: – С. В.

Полевой сезон

пятьдесят восьмого года!

Узнаешь:

это – твое начало.

Еще живой Добровольский,

улыбаясь, идет по городу.

В дактилической рифме

еще я не разбираюсь.

3

Текст приводится по неизвестному источнику. – С. В.

4

Текст приводится по СИП, где датирован 1964-м годом. – С. В.

5

Текст приводится по неизвестному источнику. – С. В

6

Текст приводится по неизвестному источнику. – С. В.

7

Текст приводится по СИП. Датировка по кн. В. Полухиной. – С. В.

8

Вариант следующих двух строк, сообщенный по памяти Анной Румшиской:

«И одинокий памятник поэту.» – С. В.

9

В неизв. ист. «понимающие» вместо «принимающие». – С. В.

10

Стихотворение отсутствует во 2-м изд. СИБ. Борис Абрамыч – Слуцкий.

11

Ранний вариант (по ФВ): «Апрель, сумятица и кротость» – С. В.

12

Ранний вариант строфы (по ФВ): – С. В.

как будто более тоскливы
чужой и собственной тщеты,
вдоль нас и Финского залива
стоят рекламные щиты.

13

Следующие 9 стихотворений входят в цикл «Июльское интермеццо», в СИБ пронумерованные 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. – С. В.

14

Слово «что» пропущено в СИБ. – С. В.

15

Все примечания, кроме 2-го, мои – С. В.) Текст – сверка файла-источника (неизвестного происхождения) по СИБ (2-е изд.). Неизв. ист. – вероятно, ручной компьютерный набор с ранней публикации, т. к. при сверке с СИБ обнаружено много мелких отличий, в т. ч. отдельных слов и порядка слов, и некоторые большие пропуски («песенка в тиши» из гл. 9). Осн. Отличие пунктуации: в СИБ убраны почти все вопр. и воскл. знаки, напр.: в неизв. ист. в гл. 31: «И кто прочтет мою поэму? Тень?»; в СИБ: «И кто прочтет мою поэму. Тень».

16

СИБ: «а жизнь» вместо «но и жизнь» – опечатка?

17

Прощай, грусть (фр.) (прим. в СИБ).

18

Ранний вариант (неизв. ист.): после этой строки и перед следующей вставлен текст и дополнительный номер главы («12»; в неизв. ист. не отмечено цифрой начало гл. 16, так что общее число глав такое же):

Всего не понимая до конца,
я целиком на стороне Лжеца.

12

Мое повествование, вперед.
Вот шествие по улице идет,
а кто-то в переулках отстает,
и дождь над головами льет и льет.

Какая беспредельная тоска,
стирая струйки с влажного виска,
взглянуть вперед среди обвисших шляп
и увидеть развершуюся хлябь
дневных небес и то же впереди.
Не все ль равно куда ступай, иди,
прижмись, прижмись к соседу своему,
все хуже и все лучше потому

в такую же погоду одному.

Так наступает иногда предел
любым страданиям, и думаешь – удел
единственный, а все-таки не твой,
вот так брести с печальной толпой
и лужу обходить у фонаря,
и вдруг понять, что столько прожил зря,
и где-то от процессии отстать.

И, как всегда, твой утомленный ум
задержит выполнение новых дум,
когда б не оказался ты в толпе,
я все равно не удивлюсь тебе.

19

После этой строки в неизв. ист. вставлена строка «Что далее – известная игра,»

20

После этой строки в неизв. ист. вставлено четверостишие:

Останься здесь, мне никуда не деться,
как будто кровь моя бежит из сердца,
а по твоим губам струятся слезы,
а нас не ждут, не ожидают розы.

21

Эта нерифмованная строка отсутствует в неизв. ист.

22

Датировано 1962 в SP. – С. В.

23

Эпиграф написан Бродским (из примеч. в SP). – С. В.

24

Вариант: «но долго деревья для нас»? – С. В.

25

Ранний вариант следующих 4 строк (по ЧР): – С. В.

Висит в кустах аэростат.

Две лодки тонут в разговорах,
что туфли в комнате блестят,
но устрицам не давят створок.

26

Ранний вариант следующих 3 строк (по ЧР): – С. В.

И ветер паутину гонит,
из веток шевеля вуаль,

где глаз аэростата тонет.

27

В сб. ФВ под заглавием «Лесная баллада». – С. В.

28

«Закрываю <я> воду, теперь?» – С. В.

29

В СИБ первая строчка разбита: «Верней / песка с морской водой» – опечатка? – С. В

30

Следующие четыре стихотворения 1964 г., а также стихотворение 1965 г. "Ночь. Камера. Волчок..." входят в цикл «Камерная музыка». – С. В.

31

Это стихотворение следует в СИБ первым, вместо предыдущего, и вместе с двумя следующими озаглавлено «Инструкция заключенному». Также посвящение А. А. А. (по неизв. источнику) в СИБ отсутствует. – С. В.

32

В СИБ «весна» вместо «зима» – ошибка? – С. В.

33

В неизв. источнике вариант этой и следующей строк: – С. В.

Тюрьмы зиждутся только на том,
что отборные свойства природы

34

«Фэд» – «Феликс Эдмундович Дзержинский», популярный в СССР фотоаппарат,
производившийся с 1930-х годов в Харькове. – С. В.

35

Развлечение для Мэри (англ.) (прим. в СИБ)

36

КОМ – Компания объединенная Маркони (прим. автора). (прим. в СИБ)

37

Заглавие: «Старому архитектору в Рим» (нем.) (прим. в СИБ).

38

Я люблю тебя (нем.) (прим. в СИБ).

39

Я умираю (нем.) (прим. в СИБ).

40

В сб. ФВ под заглавием «Зимняя почта» и с пронумерованными строфами.– С. В.

41

«Холодный небосвод разрушен» – в книге «Новые стансы к Августе» (1983). – С. В.

42

Грустный человек шутит на свой манер (англ.). (прим. в СИБ).

43

Краткий немецко-русский словарь к стихотворению; указаны также не немецкие слова и выражения. – С. В.

a ganze – (искаж.), здесь: больша'я (срочность)

abgemacht – решено

alles – все

cher – дорогой (франц.)

cogito, ergo sum – я мыслю, значит, я существую (лат.)

das ist ganze – это целая

das Wasser – вода

dem Zeit – времени (искаж.)

der grosse – большой

der Weg zurgueck – обратный путь

die Kunst – искусство

Dog – собака (англ.)

Donnerwetter – черт возьми (устар. проклятие)

eine kleine – маленькая
Fraeulein – девушка
Fruestueck – завтрак
gehabt – имеет
Genosse – товарищ
Gott strafe England – Боже, покарай Англию
grosser Dichter – великий поэт
gute Nacht, meine liebe Herren – спокойной ночи, господа
ich (bin) – я (есть)
ich liebe – я люблю
ja – да
jawohl – да, ладно
juedisch – еврейский
macht – делает
Matrosen – матросы
nein gehabt – не имеет (искаж.)
nichts – ничего
Ofizieren – офицеры
schlafen – спать
schwarze – черные
September – сентябрь
spazieren – прогуливаться
Sprache – язык (речь)
ueber alles – превыше всего
und – и
Vater – отец
Vaterland – отечество
veni, vidi, vici – пришел, увидел, победил (лат.)
«Voelkisch Beobachter» – немецкая газета «Народное обозрение»
was ist das – что' это

zum Faust – к Фаусту

zum Beispiel – например

44

Стихотворение отсутствует в СИБ; текст и послесловие по журналу «Звезда». – С. В.

Послесловие к стихотворению

Осенью 1990 г. готовилась в Москве телепередача с названием «Браво-90», куда пригласили Бродского. В Москву поехать он не захотел. Я тогда снял видеофильм с ним (в Швеции, где он в то время находился), которое показал в телепередаче, куда пригласили и меня. Была также приглашена моя жена Е. С. Янгфельдт-Якубович – исполнять песни на стихи русских поэтов. Узнав об этом, Иосиф вдруг сказал: «Подождите, у меня есть что-то для вас» – и пошел за портфелем (это все происходило у нас дома). Со словами: «Вот это вы можете положить на музыку» он дал ей авторскую машинопись стихотворения «Песенка о Свободе», написанного в 1965 г. и посвященного Булату Окуджаве. Положенная на музыку моей женой, «Песенка» была впервые исполнена ею в программе «Браво-90», показанной в начале 1991 г., но, по-видимому, нигде не напечатана. Жена много говорила с Иосифом о песне, о том, какое значение имеют для нее стихи, положенные на музыку. Но она никогда не задавалась целью петь Бродского, зная, что другого просодического выражения, чем собственное, он не признает – он очень не любил, когда актеры читают или поют его вещи. Тем не менее мелодию «Песни» она сочинила – очевидно, поэт счел, что именно это стихотворение, с его балладным настроением, подходит для такой жанровой метаморфозы.

Бенгт Янгфельдт

45

Стихотворение отсутствует в СИБ, приводится по публикации в журнале "Звезда", 1989 г., по сообщению Алексея Голицына. – С. В.

46

Стихотворение было вначале озаглавлено «К Ликомеру, на Скирос» (так в ЧР и в других сборниках). – С. В.

47

Возможна опечатка в СИБ: «П. В.» вместо «Ц. В.»? Стих. отсутствует во 2-м изд. СИБ. – С. В.

48

Не взрыв, но всхлип (англ.). – Из стихотворения Т. С. Элиота «The Hollow Men». (прим. в СИБ).

49

1 Строфы VII и IX (отсутствуют в СИБ) были вычеркнуты Бродским до 1972 г. (прим. в SP).
Текст строф по ЧР: – С. В.

VII

Распадаются дома,
обрывается нить.
Чем мы были и что мы
не смогли сохранить, -
промолчишь поневоле,
коль с течением дней
лишь подробности боли,
а не счастья видней.

IX

Только то и тревожит,
что грядущий режим,
не испытан, не прожит,
но умом постижим.
И нехватка боязни
– невесомый балласт -
вознесенья от казни

обособить не даст.

50

В СИБ, буквы «ЕФАК» напечатаны в зеркально отраженном виде от «КАФЕ».– С. В

51

Текст по публикации: Альманах «Петрополь», N 7, 1997. – С. В.

52

Стихотворение датировано автором. В распоряжение издательства поступило в 1993 году. (прим. в СИБ).

53

Стихотворение написано в соавторстве с Я. Гординым ко дню рождения А. Кушнера. (прим. в СИБ)

54

Перевод заглавия: После нашей эры.

55

Диоскуры – Кастор и Поллукс (Кастор и Полидевк) в греческой мифологии символ нерасторжимой дружбы. Их изображение помещалось на греческих монетах. Греки классического периода считали богохульством чеканить изображения государей; изображались только боги или их символы; также – мифологические персонажи.

56

Лемнос – остров в Эгейском море, служил и служит местом ссылки.

57

Верзувий – от славянского «верзать».

58

Талласса – море (греч.).

59

Улица в Вильнюсе.

60

«Другу-философу о мании, меланхолии и польском колтуне» (лат.). Название трактата XVIII века, хранящегося в библиотеке Вильнюсского университета.

61

Паланга (нем.).

62

«Доминиканцы» (костел в Вильнюсе) (лит.).

63

Придет смерть, и у нее будут твои глаза (ит.). Ч. Павезе. (прим. В СИБ).

64

Неоднозначность «пи'сать» – «писа'ть»; в переводе в SP – «write» («писа'ть»). – С. В

65

На киностудии «Леннаучфильм» в шестидесятые годы кормилось немало отверженных: ученые, идеи которых не признавала академическая наука, литераторы, которые нигде не печатались и выживали благодаря сценарной работе. Однажды ко мне, редактору студии, подошел режиссер Михаил Гавронский. Он вывел меня в коридор, дал несколько листков со стихами и сказал: «Это написал мой племянник Ося. Ему нужно как-то зарабатывать: родители очень волнуются, что он без дела». Было это в 1962 году. Стихи показались мне замечательными, и, когда ко мне пришел молодой Иосиф Бродский, мы стали вместе думать, что бы ему написать. Он предложил сделать фильм о маленьком буксире, который плавает по большой Неве. Через месяц он принес стихи о буксире и сказал, что это и есть сценарий. К сожалению, нам пришлось отказаться от темы, потому что было ясно, что Госкино никогда не утвердит сценарий в таком виде. Иосиф же сказал, что написал все, что мог. Через год, еще до ссылки, стихи о буксире были опубликованы в детском ленинградском журнале. Эта единственная публикация не имела, конечно, никакого значения для судебного решения по поводу «тунеядства» поэта.

В 1971 году, пользуясь давностью знакомства, я обратился к Иосифу Бродскому с просьбой написать текст в стихах к фильму «Рембрандт. Офорты». Иосиф прочитал мой режиссерский сценарий и сказал, что попробует. Через две недели я пришел к нему и получил четыре страницы стихов. Он пообещал: «Это проба. Когда фильм будет отснят, я напишу больше». Фильм был снят, а стихи отвергнуты сценарным отделом студии «Леннаучфильм»: Бродский уже был «слишком известной» фигурой. Стихи так и остались у меня; копии у автора не было, единственный экземпляр был отдан мне в руки прямо с машинки. Сейчас эти стихи Иосифа Бродского публикуются впервые.

Виктор КИРНАРСКИЙ. «Московские новости». No. 5. 1996

66

Датировано по переводам в SP и в PS. Примечание в SP: дата написания стихотворения – день рождения Анны Ахматовой. Датировка СИБ: март 1972. – С. В.

67

Датировано «январь-март 1972» в переводе Карла Проффера. – С. В.

68

Мексиканский дивертисмент (цикл из 7 стихов)

69

Следующие 20 стихотворений объединены в цикл «Часть речи» – С. В

70

Ранний вариант последних двух строк: «наколов на буквы пером слова, / как сложенные в штабеля дрова». – С. В

71

Nebbia (итал.) – туман (прим. в СИБ)

72

Эта строфа отсутствует в СИБ и в ЧР, источник неизвестен. – С. В.

73

«Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской, / Сызнова ныне времен зачинается строй величавый...» (лат.; Вергилий, Эклога IV, пер. С. Шервинского.) (прим. в СИБ).

74

С. Дягилев, похороненный в Венеции. (прим. в СИБ).

75

Эти две строфы были опущены в ЧР. – С. В

76

Эти две строфы были опущены в ЧР. – С. В.

77

Bagatelle – пустяк, всякая всячина (франц.) (прим. в СИБ)

78

«Помни обо мне, шепчет прах.» Петер Гухель (нем.) (прим. в СИБ).

79

Fin de siècle: конец века (франц.) (прим. в СИБ)

80

(Прим. в журнале «Огонек»)

Передавая новые стихи в «Огонек», Бродский попросил сделать несколько сносок.

Вертумн – языческое божество, в римской мифологии бог перемен (будь то времена года, течение рек, настроения людей или созревание плодов). Был одним из мужей Помоны, олицетворяющей плодородие.

Джанни Буттафава (1939-1990), чьей памяти посвящена поэма, – знаменитый критик театра и кино и переводчик, открывший итальянскому читателю романы Достоевского, произведения многих современных прозаиков и поэтов.

Слова «караваджо» и «бернини» написаны с маленькой буквы намеренно – в связи с тем, что как-то на аукционе работа одного была оценена примерно в 100 миллионов лир, а другого – в 50.

81

Presepìo: ясли (итал.). (прим. в СИБ).

82

Так в СИБ. «Бугенвиль», согласно Советскому Энциклопедическому Словарю, пишется с одним л. Сообщено А. Румшиской. – С. В.

83

Ritratto di donna: Женский портрет (итал.). (прим. в СИБ)

84

Надежда Филипповна Крамова, актриса и писательница, ныне живет в Бостоне, США.

85

Людмила Штерн, писательница, журналистка, дочь Надежды Крамовой.

86

Пасик – кот в доме Надежды Крамовой.

87

Яков Иванович Давидович, муж Надежды Крамовой, был известным знатоком русского военного быта и коллекционером предметов этого быта.

88

Виктор Штерн, зять Надежды Крамовой, профессор математики Бостонского университета. (прим. изд.)

89

Опубликовано в сб. «В окрестностях Атлантиды» («Пушкинский фонд», С-Пб., 1995) под заглавием «Моллюск». В СИБ идентичный текст озаглавлен «Тритон». – С. В.

90

Стихотворение отсутствует в СИБ и, видимо, неопубликовано; было несколько раз прочитано Бродским в начале 1990-х годов. Я нашел два интернет-источника с существенными расхождениями – очевидно, ошибками расшифровки звуковой записи. Стихотворение дается по третьему источнику – тексту, присланному мне Алексеем Голицыным, с отмеченными расхождениями со вторым (более поздним) интернет-источником («вариант 2») и с более-менее произвольной пунктуацией. – С. В.

Комментарий к первому источнику (украинский веб-сайт): "(Прочитано 28.02.1994 року, Квінсі-коледж, вечір. С магнітна стрічка цього вечора). Цей текст із коментарієм було оприлюднено у газеті «Вечірній Київ» 14 листопада 1996 року.

Комментарий ко второму источнику (сетевой журнал «:ЛЕНИН:» под ред. М. Вербицкого): «Прочитано Иосифом Бродским 28 февраля 1994 года на вечеринке в Квинси-коледж (США). Существует магнитофонная запись этой вечеринки. Републикация из газеты „Голос громадянина“ N 3, 1996 год.»

Комментарий к третьему источнику: «Текст транскрибирован с видеокассеты. <Запись 25 августа 1992 г., Стокгольм.> Отвечаю за все, кроме орфографии. – Алексей Голицын». Запись начинается словами Бродского: «Сейчас я прочту стихотворение, которое может вам сильно не понравиться, но тем не менее... Стихи называются...»

91

Вариант 2: «с сальными глазами».

92

Вариант 2: «паузы метя строго»

93

Вариант 2: «по адресу на три буквы, на стороны все четыре. / Пусть теперь...»

94

Вариант 2: «суп выбирая в чаше»

95

Вариант 2: «как оскомой, битком набитый / отторгнутыми углами»

96

Вариант 2: «подавись вы жмыхом, не подолгом не треба»

97

Вариант 2: «в рваных корнях покопом»

98

Вариант 2: «чернозем с подзомбом»

99

Вариант 2: «вам, холуям, покоя»

100

Вариант 2: «орлы и казаки»

101

«Волосик» – юношеская кличка от имени Володя (прим. В. Уфлянда)

102

Следующие 6 стихотворений отсутствуют в СИБ. Текст по журналу «Новый Мир» N 5, 1996. Примечание в тексте: «Эти стихи были переданы нам поэтом за несколько дней до ухода: публикация, к нашему глубокому сожалению, оказалась посмертной. В стихах сохранена пунктуация автора.»

103

Стихотворение прочитано Р. Капланом (совладельцем ресторана «Русский самовар») в телефильме о Бродском. Не датировано. Сообщено А. Голицыным. – С. В.

104

В этих скобках <...> – женское имя, которое я из-за неуверенности не стал приводить (Зинка, Нинка, да какое угодно – не разобрать). – Прим. А.Голицына.